АРКАДИЙ
СТРУГАЦКИЙ
БОРИС
СТРУГАЦКИЙ

Annotation

В одиннадцатый том собрания сочинений включены произведения, ранее не публиковавшиеся и избранная публицистика.

Том дополняют комментарии Б. Стругацкого.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ ОДИННАДЦАТЫЙ

Неопубликованное. Публицистика

Неопубликованное

КАК ПОГИБ КАНГ

1

Канг ждал, зарывшись всем своим огромным телом в мягкий ил и выставив наружу только глаза – круглые черные шишки, похожие на безобидные обломки базальта, в изобилии разбросанные по всему дну подводной пропасти. Кругом царил непроглядный мрак, вечный мрак пятикилометровой глубины, озаряемый только слабым мерцанием ила да редкими цветными искорками светящихся рыб. Но глазам Канга не нужно было много света – он отлично видел все, что ему требовалось видеть. Теперь объектом его внимания была темная расщелина под скалой напротив, узкая горизонтальная щель под нависшей каменной глыбой. Канг ждал, он был терпелив. Глупые креветки, копошившиеся тут же в толще ила, отыскивая и пожирая крошечных рачков, вскарабкивались на его глаза, шевелили усиками и, высмотрев добычу, стремглав бросались за ней. Канг терпел, вернее, не замечал прыгунов: он ждал.

И вот во мраке под скалой он заметил какое-то волнообразное движение. Что-то шевелилось там, тонкое, длинное. Выползло, извиваясь, сокращаясь и вытягиваясь, за ним другое такое же, третье, четвертое – длинные белесые щупальцы, усеянные бородавчатыми наростами. Щупальцы проворно шарили в светящейся пыли, вот одно из них коснулось неосторожной креветки и словно прилипло к ней. Креветка рванулась, стала отчаянно биться, выгибая коленчатое брюшко, но щупальце быстро убралось обратно в пещеру и снова выскользнуло, жадно ищущее, как и раньше. Все это хорошо видели неподвижные зоркие глаза Канга. Он ждал. Его враг не торопился. Четыре креветки и большой краб на тонких длинных ногах были схвачены цепкими щупальцами прежде, чем, заполняя всю расщелину, из глубины пещеры появился безобразно раздутый грязно-серый пузырь, весь в пятнах и наростах, и в середине его открылись внимательные выпуклые глаза. Спрут выбрался из своего логова и медленно двинулся вокруг скалы, приподняв над дном мешкообразное тело.

Ждать больше было нечего. Мускулы Канга напряглись, он слегка подался назад и прыгнул. В тот же миг спрут метнулся в сторону, но было уже поздно. Страшные челюсти сомкнулись позади его глаз, впились в вязкую ткань пухлого мешка, мгновенно принявшего светло-розовый

оттенок. Головоногое судорожно задергало щупальцами, стараясь ухватиться за скалу и вырваться. Черная мускусная слизь смешалась со светящейся мутью взбаламученного ила и тяжелым облаком повисла над схватившимися гигантами. Отчаянным усилием спруту удалось освободиться, оставив в зубах Канга порядочный кусок своего мяса. Он сейчас же охватил щупальцами голову противника. Канг не мог разжать челюстей – упругие скользкие кольца с невероятной силой сжимали его, клюв спрута царапал костяные покрышки на его затылке. Но Канг отлично знал, что рыхлое чудовище бессильно причинить какой-либо вред его закованному в роговой панцирь телу. Он медленно опустился на дно и снова попытался разжать челюсти, и сейчас же почувствовал, что кольца вокруг них сжимаются еще плотнее. Медленно оседал ил, расплылось мускусное облако. Сцепившиеся гиганты оставались неподвижны, ничто внешне не выдавало огромного напряжения их сил. Что сильнее – смертельная хватка спрута или могучие челюстные мускулы Канга? Канг оказался сильнее: дюйм за дюймом, растягивая всосавшиеся в чешую щупальцы, открывалась пасть, усеянная длинными острыми зубами. И вдруг напряжение сразу ослабло – два кольца, сжимавшие голову Канга у самых глаз, не выдержали и лопнули. Упругая ткань их расползлась, присоски соскользнули, и Канг одним движением челюстей – справа налево – перекусил остальные кольца. Искалеченное головоногое, выпустив остатки черной слизи, пыталось спрятаться где-нибудь на дне, зарыться в ил между камнями. Но во мраке подводной бездны это последнее средство было почти бесполезно – Канг снова схватил спрута. Схватка между разъяренным победителем и полуживым побежденным была коротка. Два раза раскрылись и щелкнули челюсти Канга, и мягкое тело моллюска распалось на три трепещущих куска. Снова осела светящаяся пыль, зашевелились забившиеся от ужаса под камни креветки и рачки и стали потихоньку собираться вокруг Канга, чуя легкую поживу. Гигант торопливо рвал и глотал еще извивающиеся обрывки щупалец и рыхлое белое мясо. Скоро от побежденного остались только лохмотья и волокна, и сытый Канг выплыл из ила, уступая окружившей его мелюзге остатки пиршества.

2

В жизни Канга – а день его рождения был так далек, что, умей он думать, он считал бы себя вечным – несколько раз наступали периоды,

когда им овладевало смутное беспокойство, заставлявшее его бросать насиженное место и пускаться в далекие бесцельные путешествия. Он мчался тогда с огромной скоростью, извиваясь всем телом, огибая встречающиеся на пути скалистые пики, переплывая горные хребты, спускаясь в пропасти, встречаясь с разного рода препятствиями и опасностями. В его темном мозгу время от времени возникали неясные воспоминания: обширная каменистая равнина, усеянная грудами огромных костей; странное бесформенное животное, поражающее издали – столкновение с ним едва не стоило Кангу жизни; узкое извилистое ущелье, вода в котором была почти горячей и имела неприятный запах – дышать в ущелье было очень трудно, но, миновав его, гигант почувствовал себя необыкновенно бодрым и сильным; скопища крабов, гнездившихся в пещерах; необозримые косяки осьминогов, переселявшихся из одной подводной долины в другую... Много видел, во многих местах побывал Канг, иногда останавливался надолго и снова пускался в путь и покрывал огромные расстояния, гонимый непонятным стремлением. И теперь, переваривая спрута, он почувствовал в себе такое стремление, но на этот раз оно толкало его не в горизонтальном, а в вертикальном направлении. И Канг, слегка изогнувшись, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее стал подниматься вверх. Слабое свечение дна погасло. Кругом воцарилась полная темнота. Впрочем, нет, не совсем полная. Вот неторопливо проплыло сияющее нежным фиолетовым светом круглое существо – широкое брюхо, зубастая пасть и наверху – маленький дрожащий хвостик. Промчалась стайка красных огоньков, где-то вспыхнуло облачко белого света и медленно растворилось во мраке. Канг поднимался быстро, мерно и сильно работая ластами и хвостом. Вода становилась прохладнее, цветные огоньки все чаще попадались на пути. Раз Канг заметил в глубине несколько больших неопределенных теней, поднимавшихся вслед за ним, – тогда гигант перевернулся вниз головой и устремился на них, они шарахнулись в разные стороны и исчезли.

Канг чувствовал себя не очень хорошо – началась отрыжка, словно что-то выдавливало из внутренностей содержимое, стучало в голове, перед глазами плыли кровавые пятна. Потом появилась ноющая боль во всем теле, усилилась, стала почти нестерпимой (Канг бешено забил хвостом) и вдруг прекратилась, осталось только тупое раздражающее ощущение, будто мускулы и кости растягивают изнутри шкуру и вот-вот вывалятся наружу. Но по-прежнему легко и быстро поднимался Канг, и цветные огоньки крутились в мощных водоворотах за его телом.

Вокруг не было уже прежней чернильной темноты, слабые невидимые

лучи пронизывали ее, придавая ей тончайший синеватый оттенок. Становилось все светлее. Стая белобрюхих косаток налетела на Канга, принимая его, вероятно, за кита необычайного размера и формы. Канг даже не замедлил движения, только на мгновение повернул голову, и самая смелая из хищниц, разорванная пополам, закувыркалась в водовороте. Остальные отстали и набросились на погибшую товарку.

Вода быстро теплела и принимала прозрачно-зеленую окраску. И вот Канг со всего разгона в столбе брызг и пены вылетел на поверхность и со страшным плеском бухнулся обратно, закачался на волнах оглушенный, ослепленный, недоумевающий.

3

Командир эсминца «Свифт» получил с гидроплана донесение: «Субмарина в двух милях к юго-востоку». Пробили боевую тревогу. Длинный серо-голубой красавец развернулся и полным ходом пошел на юго-восток. В стереотрубу было отчетливо видно, как уходит в волны тонкий столбик перископа – на подводной лодке, по-видимому, поняли, что их заметили, и она спешила принять более выгодное для боя положение.

В эту минуту пришло новое донесение: «Еще одна субмарина в одной миле по курсу».

– Черт побери! – вырвалось у капитана.

– Странно, – медленно произнес помощник, наблюдавший в стереотрубу.

– Ничего странного, в этих местах их может быть очень много.

– Я не о том, сэр, – ответил помощник. – Это не субмарина. Не угодно ли взглянуть?

Он уступил место капитану, и тот нагнулся к окулярам. В поле зрения, немного ближе того места, где скрылась первая подлодка, виден был длинный неровный бугор черного цвета, словно скалистая вершина подводной горы внезапно выдвинулась на поверхность океана.

– Да, это не субмарина, – сказал капитан.

– Вероятно, это кит, сэр, – заметил помощник.

Капитан помолчал, подсчитывая, сколько делений занимает странный объект на шкале в поле зрения.

– Мне никогда не приходилось слышать о китах в сорок с лишним метров длиной... и с такими зубьями на спине.

– Сорок с лишним метров, сэр? Вот это чудовище!

– Оно движется!

Длинный зубчатый бугор действительно стал поворачиваться, двинулся в сторону «Свифта» и вдруг исчез под волнами, выбросив в воздух столб белой пены.

– Приготовить глубинные бомбы, – скомандовал капитан. Позже он признался, что охота на невиданное морское чудище интересовала его в тот момент больше, чем потопление вражеской субмарины. В то же время с гидроплана, видевшего все, что происходит в глубине, поступали все новые и новые донесения. Первая подлодка погрузилась метров на двадцать пять и, вероятно, готовилась к торпедной атаке – голубоватый силуэт, едва различимый на сине-зеленом фоне воды. Вдруг вторая подлодка – нет, не подлодка, а черт знает что – огромное, черное, тоже нырнуло и, извиваясь, бросилось в глубину, оставляя за собой пузырчатый след. Ах, какая досада, облако заслонило солнце, ничего нельзя различить.

Капитан сорвал наушники.

– На гидрофоне, что слышно? – крикнул он.

– Шум винтов, сэр... Только странно, они не двигаются... и еще звук такой, будто пилят железо.

– «Он» мешает им, – пробормотал капитан и скомандовал: – Глубинные бомбы!

Три водяных столба вздулись за кормой. Прошло несколько минут.

– Ага, – крикнул гидрофонист. – Они всплывают!

– Взгляните сюда, сэр, – вполголоса заметил помощник, указывая на что-то за правым бортом. Там, в прозрачных бутылочно-зеленых волнах расплывались жирные темно-красные пятна.

– Мы ранили «его», – сказал капитан.

Помощник молча кивнул головой.

Между тем метрах в двухстах от левого борта забурлила вода, забили фонтаны пены – это поднималась субмарина. У всех, находившихся на палубе эсминца, вырвался крик изумления. Рубка субмарины была помята, как консервная банка, на которую наступили сапогом, труба перископа скручена узлом, поручни на рубке сорваны и выгнуты невероятной силой, носовая пушка едва держалась – висела на каких-то обрывках.

– Неужели мы так точно попали в нее? – пробормотал помощник, поднимая бинокль. – Не может быть!

Да, что-то загадочное произошло там, под ласковыми голубыми волнами.

– Сейчас мы все узнаем, – отозвался капитан.

Из люка искалеченной рубки выбиралась команда подлодки:

осматривали разрушения, что-то кричали, отчаянно жестикулируя. Капитан приказал послать туда шлюпки.

И тут произошло нечто ужасное. Едва отошла первая шлюпка с десятью вооруженными матросами, вода между эсминцем и субмариной раздалась, и чудовищная голова величиной с легковой автомобиль появилась над поверхностью. Все оцепенели от ужаса. Она была отвратительна, эта голова, плоская, продолговатая, как у крокодила, покрытая роговыми чешуйками, с торчащими по сторонам телескопическими глазами, яростными, ненавидящими, налитыми кровью. Раскрылась страшная пасть с частоколом огромных конических зубов... Матросы в шлюпке, вероятно, так и не успели сообразить, в чем дело. Пасть захлопнулась и снова раскрылась, выплевывая расщепленные доски и клочья мяса.

Тогда капитан бросился к скорострелке, оттолкнул застывшего канонира и раз за разом вбил в чудовищную глотку пять снарядов.

Канг медленно проваливался в глубину, изуродованный, с оторванной челюстью, с широкой рваной раной в животе, но еще живой. Мутные кровавые струи клубились над ним. Теперь он желал одного – добраться до родного мягкого ила, зарыться в него и умереть.

ЧЕТВЕРТОЕ ЦАРСТВО (На грани возможного)

Глава первая СВИНЦОВЫЙ ЦИЛИНДР

Самолет лег на крыло и пошел вниз. Облака расступились, и стал виден остров — громадное пестрое ржаво-серое пятно на синей поверхности океана, окаймленное белым кружевом прибоя.

— Кажется, приехали наконец, — с облегчением сказал майор Соколов. — Слава богу, все кишки вымотала болтанка проклятая.

Капитан Олешко, согнув в дугу длинное неуклюжее туловище, приник лбом к холодному стеклу окна. Под самолетом быстро проносились крутые скалы и сопки, покрытые кое-где пятнами потемневшего от пыли снега, мрачные ущелья, безжизненные каменистые долины, тускло-зеленые участки зарослей курильской березы. Промелькнули разбросанные крыши поселка, несколько лодок у берега, потянулись и исчезли пунктирные линии старых японских траншей. Рев моторов вдруг стих. Олешко сморщился и затряс головой: заложило уши. Соколов засмеялся, показав знаками, что тоже ничего не слышит. В этот момент самолет мягко ударился колесами, подпрыгнул, снова ударился и, покачиваясь и слегка подскакивая, покатился по земле. Из пилотской кабины вышел полковник Крюков, сказал что-то. Олешко с трудом проглотил слюну, и сразу словно пробки вынули из ушей.

— Я спрашиваю, как самочувствие, — крикнул Крюков.

— Отлично, товарищ полковник, — ответил Олешко. — Оглох вот немного, но уже прошло.

Самолет развернулся, остановился, в последний раз неистово взревел моторами и смолк.

— Пошли, — сказал Крюков.

Один из летчиков побежал вперед раскрыть дверь и выкинуть лестницу. Офицеры взяли плащи и чемоданы и, разминая затекшие от трехчасового сидения ноги, двинулись к выходу. Внизу их встретил молодой сухощавый капитан-пограничник. Пока он рапортовал Крюкову о благополучии на вверенной ему, капитану, заставе, Олешко с любопытством огляделся. Они приземлились на старой взлетно-посадочной полосе, проложенной когда-то японцами между двумя невысокими холмиками. Бетон полосы потрескался и местами выкрошился, из трещин выбивались веселые травинки. На одном из холмов

располагался домик со сложным антенным устройством на крыше. В стороне стоял облезлый, непривычно маленький самолет, по-видимому, японский.

— Познакомьтесь, товарищи, и поехали, — сказал полковник.

— Капитан Нелюдин, — отрекомендовался начальник заставы.

Соколов и Олешко назвали себя и пожали ему руку. Окутываясь тучами сизого дыма, подкатил потрепанный газик. Шофер, красивый плечистый сержант, выскочил и взялся было за чемоданы, но Нелюдин остановил его.

— Все всё равно не поместимся, — сказал он. — Останьтесь с вещами, я пришлю за вами машину с Баевым.

— Далеко до заставы? — осведомился Соколов, залезая на заднее сидение.

— Минут двадцать езды. Дорога очень скверная, а то бы за десять минут доехали.

Нелюдин не преувеличивал, дорога действительно была на редкость плохая. Газик, отчаянно дребезжа и фыркая, переползал с ухаба на ухаб. Когда аэродром скрылся за сопками и вокруг открылось изрытое поле, Крюков спросил:

— Как ваш задержанный?

— Умер, — виноватым голосом ответил капитан, напряженно вертя баранку.

Полковник даже подскочил от неожиданности. Олешко и Соколов переглянулись.

— Как умер? Когда?

— Сегодня утром, часа четыре назад.

— Так. — Полковник помолчал, раскачиваясь в такт тряске. — Зря, выходит, я сюда следователя с переводчиком тащил...

— Товарищ полковник, видели бы вы, в каком он был состоянии, когда мы его...

— У вас есть фельдшер, на худой конец врача из поселка могли пригласить.

— Врач и фельдшер всю ночь над ним колдовали. Так и не поняли, что с ним. Ранен в левую ногу, похоже — из пистолета, но ведь от этого не умирают.

— Выяснили, откуда он взялся?

— Выяснил. Выполз из тоннеля в сопке, где его нашли. Совсем рядом с заставой.

— Из какого тоннеля?

— Вроде шахты в скале, японцы вырыли. Здесь все такими шахтами изрыто. Целый подземный город. Ходы, переходы, колодцы... Лабиринт, одним словом.

Дорога пошла косогором, и машина сильно накренилась. Все невольно склонились в противоположную сторону, хватаясь друг за друга. Только Нелюдин продолжал править как ни в чем не бывало, видимо, простодушно радуясь, что начальство не очень сердито на него за смерть задержанного.

— Вот мы едем, а под нами, может быть, залы, склады, помещения разные, — говорил он.

— Может быть? Разве вы сами там не бывали? — спросил Соколов.

Нелюдин рассмеялся.

— Думаете, туда так просто попасть? Во-первых, мы, собственно, так и не знаем входы в это подземное царство. Замаскированы они замечательно. Вот, например, тот, у которого задержанного взяли. Сто раз мы там проходили и не заметили ничего. Только по следам и отыскали. Со стороны поглядеть — просто расщелина в скале... Во-вторых, многие входы японцы перед капитуляцией взорвали, обрушили. Чтобы пробраться в них, нужно их расчистить, раскопать завалы, да того и гляди в какую-нибудь ловушку попадешь...

— Что за ловушки? — с любопытством спросил Олешко.

Машина спустилась с сопки и покатила по более или менее сносному проселку. Впереди открылся вид на океан, показалась тесная кучка небольших строений.

— Есть у меня командир отделения сержант Новиков, бывший шахтер, — сказал Нелюдин. — Я поручил ему обследовать все известные тоннели и искать новые. Любопытно, да и для дела, безусловно, полезно. Он излазил все, что только можно, иногда по два дня проводил под землей. Раз в прошлом году, в мае, полез он со своим другом и напарником Костенкой в пещеру, что под Танковой сопкой. Это утес такой на западном берегу. Зашли они далеко, осматриваются. Новиков что-то замешкался. Костенко вперед пошел, светит фонариком, смотрит — дальше вода. Он думал, что лужа, ну и шагнул. И сразу с головой, только пузыри пошли. Там оказался не то колодец, не то штольня. Насилу Новиков его вытащил.

— А сам ты туда ходил? — спросил Крюков.

— В Танковую — нет. А вообще — ходил, конечно. Во многих тоннелях побывал. Жутко там, мрак, тишина, только вода с потолка капает. Идешь, идешь, словно в преисподнюю. Надо сказать, почти все шахты, входы в которые известны, оканчиваются тупиком. Либо завалом, либо колодцем с водой. Дальше не пройдешь.

— Думаешь, и этот новый тоннель тоже такой? — словно случайно обронил Крюков.

Нелюдин скосил на него глаза.

— Нет, этого я не думаю, — проговорил он. — Да вы не беспокойтесь, товарищ полковник, я возле него пост выставил.

— И не думаю беспокоиться. — Крюков зевнул, явно притворно, затем спросил: — А почему ты считаешь, что там целый город, склады и прочее?

— А как же? Вот, например, там, — Нелюдин ткнул пальцем в сторону гряды мрачных серо-желтых скал километрах в пяти от дороги, — торчит из-под земли обрывок толстого многожильного кабеля. Что за кабель? Куда он ведет? Где начинается? Да что далеко ходить... Два года назад было сильное землетрясение. Помните, наверное? Волна метров в пятнадцать высотой ударила в восточный берег, залила все низины. На другой день смотрим — валяются на берегу тюки с японским обмундированием. Откуда их вынесло? Ясно, под землей что-то есть.

Газик подкатил к группе одноэтажных домиков, окруженных оградой, и остановился у самого большого из них. Часовой у крыльца поприветствовал по-ефрейторски. Подбежал, придерживая кобуру, дежурный с рапортом.

— Веди к себе, — сказал полковник, вылезая из машины.

— Слушаюсь, товарищ полковник, — отозвался Нелюдин и торопливо приказал дежурному. — Найдите Баева, пусть съездит на аэродром за сержантом. Он там с вещами остался. Да напомни повару насчет обеда.

Кабинет начальника заставы оказался крохотной комнаткой с подслеповатым оконцем. Посередине стоял канцелярский стол, в углу этажерка с книгами и газетами, слева от стола на полу — железный ящик. Полковник уселся за стол, Соколов и Олешко — на принесенных дневальным табуретах, хозяин кабинета за недостатком места примостился на подоконнике.

— Карту, — приказал полковник.

Нелюдин нагнулся над железным ящиком, порылся в нем и развернул на столе стотысячную карту Кунашу.

— Покрупнее масштабом нет?

— Никак нет, товарищ полковник. — Нелюдин сокрушенно вздохнул. — Сколько раз комендатуру запрашивал — не присылают.

Крюков пробормотал что-то нелестное по адресу бюрократов на погранслужбе и вынул портсигар:

— Курите.

— Благодарю, товарищ полковник, бросил. Леденцы теперь сосу.

— Твое дело. Показывай, где входы в тоннели.

— Вот, товарищ полковник, красными кружочками отмечены. А вот этот — новый.

— Так это совсем рядом?

— Так точно. Километрах в трех отсюда. За речкой.

— Пост там поставил, говоришь?

— Поставил. Два человека.

— Значит, понимаешь?

Нелюдин спокойно ответил, слегка отстраняясь от клубов табачного дыма:

— Дело загадочное, товарищ полковник. Рисковать нам никак нельзя.

Крюков кивнул.

— Дело загадочное, что и говорить. Давайте разгадывать. Что нам известно? Вчера в полдень из-под земли, в двух шагах от заставы, выполз неизвестный. Он не пытался скрываться. Наоборот, он выл во весь голос, словно от страшной боли, и что-то выкрикивал на иностранном языке. У него была прострелена нога, он был слеп. Несмотря на все усилия местных светил медицины, он умер сегодня утром, поставив нас, пограничников, в весьма глупое положение. Так?

Все дипломатично промолчали.

— Ну-ка, покажи, что нашли у этого... покойника.

Нелюдин снова наклонился над ящиком.

— Так, ясно. Г-образный фонарь, «мэйд ин Ю Эс Эй», батарейка уже при последнем издыхании. Капитан, на сколько рассчитана такая батарейка?

— Часов на пятьдесят, по-моему.

— И по-моему тоже. Значит...

— Нарушитель пробыл под землей не менее двух суток.

— Правильно. Финский нож, ну, это обыкновенно. Пистолета у него не было?

— Никак нет.

— А это что такое?

Офицеры с удивлением и любопытством рассматривали тяжелый металлический цилиндр величиной с граненый стакан. Цилиндр был совершенно гладкий, только вокруг дна виднелась едва заметная шероховатая полоска, словно дно было запаяно.

— Судя по всему... — Крюков взвесил цилиндр на ладони, поскреб его финским ножом, постучал по нему пальцем. — Судя по всему — свинец. Но что бы это могло быть? Мина?

— Если мина, то замедленного действия, — сказал Соколов. — Хотя, возможно, детонатор привязывают к ней снаружи.

— Но кто слыхал о минах в свинцовой оболочке? Странная штука. Больше на задержанном ничего не было?

— Никак нет. Я сам осмотрел всю одежду, прощупал каждый шов, распотрошил его ботинки — ничего. Да, еще пачка сигарет. Вот она.

— «Честерфилд», знаменитые... Потом отправим на экспертизу. Ну, ладно. Ни продуктов, ни огнестрельного оружия... Кстати, Нелюдин, это тебе принадлежала мысль, что нарушитель кричал по-английски?

— Так точно, — покраснев, сказал Нелюдин. — Я судил по произношению.

— Он кричал, по-видимому, от боли в раненой ноге? — спросил Соколов.

— Возможно, товарищ майор. К тому же, как говорил врач, он весь в ожогах.

— Тогда все понятно, — воскликнул Соколов. — Он имел неосторожность чиркнуть спичку в таком месте, где скопился какой-либо горючий газ, вроде рудничного. Взрывом этого газа он был обожжен и ослеплен.

Олешко с сомнением покачал головой.

— Я не специалист, конечно, — проговорил он. — Но... ведь Кунашу — остров вулканический, не так ли?

— Да, — подтвердил Нелюдин. — Здесь даже горячее озеро в горах есть.

— Не знаю, но... недра вулканических районов не должны содержать горючих газов. Возможно, нарушитель обварился в горячем источнике... или попал под струю раскаленных вулканических паров...

— Которые заодно влепили ему пулю в ляжку, — нетерпеливо перебил полковник. — Давайте ближе к делу. Понятно, под землей с ним произошла какая-то неприятность. Но для нас гораздо важнее факт, что он там был не один. С каким заданием эти бандиты высадились на Кунашу? Сколько их? Какое отношение к их заданию имеет эта свинцовая коробка? Можно было бы вскрыть ее, вероятно, ее содержимое объяснило бы нам многое. Но лучше оставим это экспертам, а сами будем действовать нашими средствами.

— Надо бы исследовать новый тоннель, — сказал Нелюдин.

— Усилить наблюдение за побережьем и вызвать сторожевой корабль, — предложил Соколов. — За нарушителями должны прийти.

— Предупредить рыбаков в поселке, — добавил Олешко.

Полковник рассеянно-доброжелательно кивал головой. Затем вдруг сказал Нелюдину:

— Как у тебя с обедом? Готов?

— Давно готов, товарищ полковник. Разрешите распорядиться?

— Ступай, распоряжайся.

Начальник заставы вышел. Было слышно, как он позвал кого-то и забубнил вполголоса. Крюков с минуту прислушивался, усмехаясь.

— Хороший офицер, этот Нелюдин, правда, товарищи? — сказал вдруг он.

— Ничего, — сдержанно отозвался Соколов, слегка пожимая плечами.

— Мне он понравился, — пробормотал с оттенком недоумения в голосе Олешко.

— Ну-ну, штабные крысы, не обижайтесь. — Полковник рассмеялся, провел рукой по лицу и снова стал серьезен. — Сторожевик выслан еще вчера, завтра будет здесь. Рыбаков Нелюдин поднял на прочес окрестностей поселка сразу, как только взяли нарушителя. Они теперь на круглые сутки у своих лайб сторожей ставят. И еще кое-что сделано. Нам остались пустяки: спуститься под землю и посмотреть, зачем туда полезли наши незваные гости. Теперь слушайте меня внимательно, товарищи офицеры. Есть данные, что японцы незадолго до войны с нами вели на Кунашу большие строительные работы. Сюда свозили тысячи китайцев, корейцев, англо-американских пленных, загоняли их под землю и, по-видимому, использовали их там до конца. Во всяком случае, ни один из них в живых не остался. Так что можно себе представить, какое огромное хозяйство лежит у нас под ногами. Предполагается, что строилась грандиозная база для новых подводных лодок с большим радиусом действия. Нам неизвестно, успели ли японцы создать эти лодки, но они возлагали на них последние надежды, и, весьма вероятно, господам американцам очень не поздоровилось бы, не прикрой мы вовремя эту лавочку. В общем, Нелюдин совершенно прав, толкуя о подземных складах, казармах и о прочих помещениях под землей. Не исключено, что задание наших гостей как-то связано с этой подземной крепостью. Словом, дело предстоит очень сложное, и прошу отнестись к нему со всей ответственностью, как подобает советским офицерам-пограничникам. Не скрою, я предпочел бы сейчас иметь вместо вас двух офицеров, хорошо знакомых с оперативной работой, но... мы вынуждены торопиться. Ждать нам некогда. К исследованию нового тоннеля приступим сегодня же вечером. У меня все. Вопросы есть?

— Давно бы уже следовало заняться этим японским муравейником, —

пробормотал Соколов. Полковник насмешливо прищурился.

— Можно подумать, что после войны нашему народу только и было дела, что копаться в брошенных противником крепостях. Разве крепость на Кунашу — единственная? Знаете, сколько это дело, если браться за него основательно, потребовало бы людей и средств?

Соколов пожал плечами:

— Много, разумеется.

— То-то, что много. Ну, все? А теперь — обедать и отдыхать.

После обеда, состоявшего из лососевой ухи и тушенки с рисом, полковник отправился с Нелюдиным в радиорубку для переговоров с отрядом, а Соколов и Олешко решили прогуляться перед сном. Молча спустились они к берегу и остановились на скользких, заросших тиной валунах у самой воды.

— Отлив, — сказал Олешко. — Тишина здесь какая, прислушайся. Только птицы кричат. А солнце сияет — глазам больно. И какое чистое небо!

— Это тебе повезло, — отозвался Соколов. — В позапрошлом году мы в это примерно время приезжали сюда для инспекторской проверки, так целый месяц солнца не видали. Туманы ужасные. В двух шагах ничего не видно. Проверку за неделю закончили, а потом полмесяца загорали, ждали летной погоды.

— Будем надеяться, что на этот раз бог нас не... Ох ты, черт, смотри-ка!

Слева, над уступом почти отвесной скалы, возвышался серый бетонный колпак японского дота. Прямоугольные черные провалы двух амбразур были обращены в сторону офицеров и, казалось, разглядывали их с мрачным упорством. Олешко поежился.

— Я даже испугался, знаешь ли. Оглянулся случайно, смотрю — уставился. Неприятное ощущение.

— Эх, ты, — рассмеялся Соколов, хлопая товарища по плечу. — Нервная барышня. А вообще правильно, неприятно. Похоже на огромный череп какой-то.

— Давай проберемся к нему, посмотрим, — предложил Олешко. — Никогда еще вблизи таких дотов не видел.

Майор хотел было удержать его, но, увидев, что тот карабкается вверх по скале, махнул рукой и последовал за ним. Через несколько минут оба, отдуваясь и отирая пот, остановились у одной из амбразур. Олешко согнулся и влез в нее до пояса.

— Темно и пусто, — послышался его голос, глухой, как из бочки. — А стены толстые, метр-полтора, наверное. Ага... — Он скорчился еще больше, дернулся, и его длинные ноги повисли в воздухе. — Теперь понимаю, как сюда приходили. В задней стене был вход, только теперь он завален.

— Скоро ты там? — сердито спросил майор. Олешко продолжал бормотать что-то, поворачиваясь с боку на бок. Тогда Соколов потерял терпение и выволок его за ноги наружу. — Налюбовался?

— Очень интересно. — Олешко поправил фуражку. — Какая махина, а защищать не сумели.

— Пошли, пора уже.

Когда они вернулись, полковник Крюков беседовал с двумя пограничниками — сержантом Новиковым и ефрейтором Костенко. По-видимому, Новиков только что рассказал о своих экспедициях в тоннели, и теперь Крюков расспрашивал его о способах ориентировки и о неожиданностях, которые могут встретиться в подземном лабиринте.

— Мелом знаки на стенах ставлю, товарищ полковник, — говорил сержант. — Камни кучкой или в линию укладываю. Как натолкнусь на поворот или разветвление, сразу знак рисую, стрелку, направленную к выходу. Перед вертикальной штольней, конечно, камней поперек тоннеля наложу, чтобы не свалиться туда ненароком в следующий раз.

— Спускаться в эти штольни ты не пробовал?

— Никак нет, товарищ полковник, не пробовал. Какие водой не залиты, у тех скобы для спуска поржавели, опасно на них полагаться. На веревке еще можно было бы, так это нужно туда идти впятером или вшестером. Да и веревки много надо. Штольни ведь очень глубокие. Камень туда бросишь — не слышно, как падает.

— Осталось в тоннелях что-нибудь от прежних хозяев? — спросил Соколов.

— От японцев? Осталось. Провода кое-где вдоль стен идут. В одной галерее узкоколейка проложена. Есть там и пошире помещения, как бы комнаты или залы, в них сохранились обломки столов, стульев. Правда, все это погнило от сырости.

— Радиоприемник нашли, — густым басом сказал Костенко и покраснел. — Весь, однако, покорежен. Японцы его перед побегом разбили, так я думаю.

— Как, по-вашему, что следует с собой взять для спуска под землю?

— Смотря на какое время, товарищ полковник.

— Скажем, на двое суток.

— Первым делом, конечно, запасных батареек, спички, свечи на всякий случай. Консервы и сухари, веревки побольше, если спускаться придется.

— Воды, однако, взять не мешает, — пробасил Костенко.

— Вы же говорили, что вода там со сводов капает. Даже, кажется, тонули.

— Он правильно говорит, товарищ полковник. Вода где капает, где нет, а в колодцах она не питьевая. Морская вода.

Крюков переглянулся с офицерами.

— Вероятно, некоторые тоннели соединены с океаном, — заметил Олешко. — Это, кстати, позволит определять, хотя бы приблизительно, высоту над уровнем моря. Удобно для ориентировки.

— Так. Еще что?

— Шинели нужно взять, или ватники.

— Холодно там?

— Не то что холодно, а познабливает как-то.

— Ясно. Нелюдин!

— Слушаю, товарищ полковник.

— Заготовь по этому списку все на двенадцать человек. Выдели мне девять бойцов с карабинами, в том числе и этих двух, пусть сейчас же ложатся отдыхать. В восемь часов всех нас разбудить.

— Ясно, товарищ полковник. А я... а мне можно будет с вами?

— А кто на заставе останется, товарищ начальник? Учти, бездельничать тебе не придется. За тобой патрули по побережью. Чтобы и муха не проскочила. Людей у тебя маловато остается, и хлопот будет полон рот. Ну, всем спать. Покажи нам наши койки.

Олешко сидел на жестковатом соломенном матрасе, покрывающем скрипучий деревянный топчан, и стягивал сапоги, когда в кабинете начальника заставы за фанерной перегородкой задребезжал телефон.

— Нелюдин слушает. Так, докладывайте... Что? Четыре? Немедленно доставить, да. Впрочем, нет. Я сейчас сам буду. Ждите меня там, ничего не трогайте.

Нелюдин вошел в спальню спокойный, сосредоточенный и немного бледный. Он отдал честь и доложил:

— Товарищ полковник, третий патруль с восточного берега доносит, что им обнаружены спрятанные под камнями четыре водолазных маски с кислородными баллонами. Разрешите отбыть туда для осмотра?

Полковник крякнул, сел на топчане и достал из-под подушки портсигар.

— Хотел бы я знать, — медленно проговорил он, — что собой представляет этот свинцовый цилиндр.

Глава вторая КРАСНЫЙ ГАЗ

Даже ребенком Чарльз Хилл не боялся темноты, он не мог даже представить себе, как можно бояться просто из-за того, что нет света. Более того, по роду своей деятельности он всегда предпочитал свету тьму. Диверсант, разведчик-профессионал — ночное животное. Свет слишком часто был врагом Чарльза Хилла, а тьма всегда была его верным союзником. Но здесь, в катакомбах Кунашу, он понял, что, в сущности, никогда не знал, что такое настоящая тьма. Плотная, непроглядная, она давила на мозг, искажала нормальные представления о действительности, вызывала в сознании странные фантастические образы. Время от времени это становилось нестерпимым, и, чтобы не видеть тьмы, приходилось изо всех сил жмурить глаза — тогда вспыхивали и расплывались белесые световые пятна, и этот воображаемый свет доставлял минутное облегчение. Тьма была спрессована миллионами тонн гранита, нависшими над головой, она сжималась и грозила расплющить в лепешку, но стоило пошевелиться, выпрямить затекшее тело, и она мгновенно превращалась в абсолютный вакуум, оставляя измученного человека в непостижимом пустом пространстве.

Хилл чувствовал, что испытал бы громадное наслаждение от созерцания светящегося циферблата часов или компаса. Но и единственные в группе часы, и единственный компас унес с собой японец. Сколько времени прошло с тех пор, как он остался один? Десять часов? Двадцать? Двое суток? И сколько времени ему еще придется так сидеть, считая удары редких капель, падающих где-то неподалеку? Он не испытывал ни голода, ни жажды, ни сонливости, но чувствовал, что в такой обстановке это ничего не значит. Ему казалось, что наверху, на поверхности, могли пройти месяцы и годы, а здесь время словно остановилось, и у человеческого организма не осталось никаких потребностей, кроме неистовой жажды света. А что, если время и вправду остановилось? Что, если японец заблудился? Если его поймали? Чарльз Хилл вытер со лба обильно выступивший холодный пот. Нет, об этом и думать не стоит. Хорошо бы зажечь фонарик хоть на минуту. Но, во-первых, последняя батарейка и так уже на исходе, во-вторых, японец категорически запретил зажигать свет. Он даже отобрал у Хилла спички. Хилл мысленно поблагодарил бога за то, что

не курит. Все-таки этот Сунагава — порядочная скотина. Как только они выползли на проклятый берег проклятого острова, он безо всяких разговоров взял командование в группе в свои руки. Хиллу пришлось покорно проглотить эту пилюлю: от японца зависел весь успех операции. По сути дела Хилл так и не понял толком, какое задание поручено его группе. Истинную цель знал только Сунагава. Шеф объяснил, что нужно отыскать месторождение какой-то особой плесени, которая водится исключительно на этом Кунашу, и доставить образец в Штаты. Экспедиция за плесенью? Пожалуйста! Хоть за окурками. Хиллу не было до этого никакого дела. Ему хорошо платили, и больше он ничего не хотел знать. Чем меньше знать, тем лучше. Зачем ему заботиться о том, о чем должен заботиться японец? А японец этот — бестия, себе на уме, с ним нужно держать ухо востро. Чтобы отвлечься, Хилл стал вспоминать, как он впервые встретился с Сунагава.

Это было всего две недели назад в Сан-Франциско. Утром его разбудил телефонный звонок. После вчерашней попойки, от которой горело во рту, тошнило под ложечкой и трещала голова, просыпаться страшно не хотелось. Но телефон продолжал настойчиво звонить. Чертыхаясь, Хилл спустил ноги с постели, с отвращением взглянул на рыжую голову любовницы, зарывшуюся в подушки, и поднял трубку. Голос шефа сразу привел его в себя. Шеф приказал ему зайти к двенадцати часам.

— В офис, сэр?

— Нет, ко мне в сортир. Не будь идиотом, Чарли. Без опоздания, ровно к двенадцати. Пропуск на тебя заказан.

— Слушаю, сэр.

Вешая трубку, Хилл уже знал, что веселому беззаботному житью пришел конец. И пора бы уже. Деньги, полученные за работу у корейцев, кончались. Хиллу даже стало весело. Он бросил в рот облатку филопона, чтобы встряхнуться, и отправился в ванную.

Когда он вошел в кабинет шефа, там уже сидел маленький японец в роговых очках. Хилл подумал было, что секретарь пропустил его по ошибке, потому что не в обычаях шефа было принимать сразу двух посетителей. Но японец встал, поклонился и оскалил большие редкие зубы, а шеф дружелюбно сказал:

— Входите, входите, Хилл. Знакомьтесь, мистер Сунагава, мистер Хилл. Прошу садиться.

Как всегда, он перешел прямо к делу. Предположения Хилла оправдались: предстояла важная и не совсем обычная операция. На этот раз речь шла не о широкой диверсии в странах Дальнего Востока, не об

убийстве видных политических деятелей и не о натравливании полудиких кочевников на мирных крестьян.

— Вы высадитесь на Кунашу, есть такой островок у русских на Тихом океане, там мистер Сунагава проведет вас в подземную крепость, выстроенную его соотечественниками перед капитуляцией. Мистер Сунагава прекрасно знает это место, в свое время он прослужил там несколько лет. Не правда ли, мистер Сунагава?

Японец поклонился и снова оскалил зубы.

— Там вы найдете... — Шеф замялся и вопросительно взглянул на японца. — Одним словом, ваша роль — обеспечить действия мистера Сунагава. Он сам сделает все, что требуется, вы же будете его охранять и, если потребуется, помогать ему. Успех операции будет оцениваться по тому, как выполнит свое задание мистер Сунагава. Понятно?

Хилл поморщился.

— Я предпочел бы не иметь дела с русскими, — пробормотал он. — Особенно с пограничниками.

— Разумеется, — насмешливо сказал шеф. — Гораздо проще в полной безопасности таскаться по Южной Корее и натравливать пьяных громил на учителей и рабочих. Вы безбожно разленились, Чарли, и мне это не нравится. Не рекомендую в дальнейшем ставить меня в известность о том, что вы предпочитаете, и чего вам не хотелось бы.

— О'кэй, сэр, — поспешно согласился Хилл. — Я же не увиливаю. Вы меня неправильно поняли. Я хотел только сказать...

— Относительно гонорара? Можете не беспокоиться. Вы знаете, сколько платят работникам, занятым в России.

Хилл облизнулся и осклабился. Оскалил зубы и японец.

— Теперь вот что, — продолжал шеф. — С вами по просьбе мистера Сунагава пойдут еще два человека. Подберите себе сами из нынешнего выпуска.

— Я бы взял Берга и Штрассена, если позволите, сэр.

— Идет. Нет, погодите. Штрассен мне нужен. И вообще... — Тут шеф помедлил и бросил на Хилла один из тех взглядов, какие без слов понимают опытные, давно с ним связанные разведчики. — Было бы удобнее, если бы вы не старались выбирать из самых лучших.

— По... понятно, сэр. — В глотке у Хилла внезапно запершило, и он до слез закашлялся. Шеф улыбнулся одними губами.

— Вам следует беречь здоровье, Чарли.

— Ничего, сэр. Благодарю вас. Я хотел только заметить, что, может быть, проще было бы провести эту операцию нам вдвоем с мистером... э-

э...

— Сунагава, — подсказал японец.

— Да, вдвоем с мистером Сунагава. Два человека — это не четыре, легче высадиться, легче прятаться... Ведь чем меньше группа, тем...

— Как хорошо вы знаете арифметику, Чарли, — снова усмехнулся шеф. — Не забыли даже, что два — это не четыре.

— С вашего разрешения, мистер Хилл, — вкрадчиво сказал на превосходном английском языке Сунагава. — Дело в том, что если мы пойдем вдвоем, то одному из нас — и это будете вы — придется остаться там навсегда.

— Понятно, — упавшим голосом сказал Хилл.

— Вот и отлично. Теперь о снаряжении, Чарли. С собой возьмете карманные фонари с двумя комплектами батареек, финские ножи, один пистолет...

— Всего один пистолет, сэр? — Хилл в изумлении воззрился на шефа.

— Два, — сказал Сунагава. — Прошу прощения, сэр.

— Ладно, два пистолета, по две обоймы к ним, часы, компас и на несколько дней продовольствия. И самое главное — вот это.

И шеф положил руку на предметы, лежавшие перед ним на столе, на которые Хилл раньше не обратил внимания. Две небольшие банки из серого металла с плотно завинченными крышками.

— Это не мины, Чарли, не гранаты и вообще не оружие. Но открывать их и ковыряться внутри нельзя. Их откроют в нужном месте в нужный момент, снова закроют, и вы привезете их ко мне, в этот кабинет и поставите на этот самый стол вот сюда.

— С вашего разрешения, сэр, — после минутной паузы сказал Сунагава. — Я бы все же хотел, чтобы мистер Хилл знал, хотя бы в самых общих чертах, о целях нашей операции.

Шеф пожал плечами.

— Возможно, вы и правы. Считайте себя участником научной экспедиции, Чарльз Хилл. В подземельях острова Кунашу водится единственная в своем роде плесень, и вы должны доставить мне несколько кусочков, лоскутков, ломтиков или как их там. Причем, заметьте, Чарли, доставить ее можно только в этих банках. В этом смысле просьба мистера Сунагава поставить вас в известность о конкретных целях предприятия представляется мне вполне законной. Вы должны усвоить, что без этих банок предприятие теряет всякий смысл. Поэтому берегите их, как зеницу ока. Можете терять ноги, руки, голову, но банки должны быть сохранены.

Шеф достал из стола бутылку и три стакана. Разговор был окончен.

Вскоре после этого... Перелет через океан в компании с неразговорчивым японцем и двумя обреченными партнерами — весьма посредственными типами с точки зрения разведчика. Несколько дней в Токио, переговоры с начальником агентурного отдела штаба оккупационных войск. Снова перелет, на этот раз короткий, в Хакодатэ. Выход в море на катере. Пересадка на подводную лодку. Несколько суток в подводной лодке — вонь масла и разогретого металла, монотонный гул моторов. Затем обмен традиционным рукопожатием с капитаном и небольшой, но тяжелый переход по морскому дну. Наконец — мертвая давящая тьма подземелья.

Сколько прошло времени? Сутки? Неделя? Профессия приучила Хилла к терпению, но, по-видимому, и терпению матерого разведчика может прийти конец. Он решительно поднялся и потянулся до хруста в костях. Сейчас он зажжет фонарь, будь оно все проклято. В конце концов, ему нужно подкрепиться, съесть хотя бы кусочек пеммикана, а рыться в мешке без света он не может. И в этот момент Сунагава вернулся. Он появился совсем не с той стороны, в которую ушел. Сначала во тьме промелькнули светлые блики, и Хилл подумал было, что это галлюцинация. Но тьма стала редеть, понемногу стали видны очертания предметов и, наконец, послышались торопливые шаги. Хилл на всякий случай лег ничком и вынул пистолет. Внезапно в глаза ему брызнула молния. Он невольно вскрикнул от острой боли и закрылся рукой.

— Отвернитесь в сторону, привыкайте к свету постепенно, мистер Хилл, — услышал он странно напряженный голос японца. — Простите, нечаянно осветил ваше лицо.

Японец тяжело дышал, фонарь дрожал в его руке, беспорядочно бросая яркий круг на влажные стены тоннеля.

— Вы... один? — осведомился Чарли, все еще прикрывая глаза ладонью.

— Один, — не сразу отозвался Сунагава и быстро заговорил: — Произошла катастрофа. Нужно действовать скорее. Где мешок? Глоток вина и... Их накрыло. Я сам едва спасся. Где у вас уложено вино? А, вот...

Ошеломленный Хилл услышал, как он жадно глотает.

— Да что же произошло, черт побери? — тревожно спросил он, открывая, наконец, глаза. — Кто их накрыл? Русские? За вами гнались русские?

Он осекся. Лицо японца было страшно. Щеки, покрытые щетиной, ввалились, мокрый рот был раскрыт, глаза блуждали.

— Они оба погибли, их накрыло, — с трудом выговорил Сунагава,

сжимая бутылку костлявыми пальцами.

— Чем накрыло?

— Ака-гасу, конечно. — Японец перевел дух и вытер рот рукавом. — Красным газом. Сначала все шло хорошо. Правда, часть старых тоннелей обрушилась, и нам пришлось сделать изрядный крюк, но все же мы вышли к шахте, которая привела нас к гнезду красного газа.

Хилл подумал, что японец сошел с ума. Он поспешно отодвинулся.

— Какой красный газ? Что вы мелете, Сунагава-сан?

— Успокойтесь, мистер Хилл. — Японец, видимо, пришел в себя, и в голосе его зазвучали обычные приторно-любезные нотки. — Я имею в виду цель нашей операции. То, что шеф называл плесенью. Красный газ.

Хилл опустился на корточки.

— Ладно, пусть будет красный газ. Дальше!

— Я приказал обоим болванам открыть банки и спуститься в яму. Они испугались. Правда, зрелище не из приятных. Кроме того, они еще переживали то, что видели на пути. Но я не считал себя вправе терять время, один из фонарей уже потух, другой едва горел. Свой фонарь мне расходовать не хотелось. Я вынул пистолет. Тогда они под моим руководством открыли банки и полезли вниз. И в эту минуту пленка вдруг вспучилась и накрыла их с головой. Они завопили от ужаса, бедняги, и стали карабкаться назад. Больше всего я боялся, чтобы они не выронили банки. Но тогда этого не случилось. Когда они вылезли, клочья светящейся слизи развевались вокруг них, как волшебные украшения. Я убедился, что банки полны, и приказал закрыть и запаять их. Пока они занимались этим, я стоял поодаль и думал, как поступить дальше. Я приказал тщательно обтереть банки сверху. И тут у них начались первые приступы. Оба затряслись, как в лихорадке. На мне лежал долг милосердия, я обязан был избавить их от страшных мучений. Я подошел ближе и выстрелил в голову тому, который выше ростом, помните? Но я промахнулся, и он бросился на меня. Я еще успел заметить, как его банка полетела в яму. Мы боролись на самом краю, а другой идиот бестолково прыгал вокруг, размахивая руками. Через плечо противника я увидел, что красный газ стал светиться ярче, и я знал, что последует через несколько минут. На поверхности пленки уже образовалась воронка, затем отросток. Отчаяние придало мне силы. Я оторвал противника от себя и сбросил его туда... вниз.

Сунагава замолк, опустив голову на руки.

— Дальше, дальше, — торопил Хилл, трясясь от нетерпения. — Вы, конечно, овладели второй банкой...

Он еще многого не понимал в рассказе японца, но воображение

подсказывало ему то, на что не хватало здравого смысла.

— Мы бросились в разные стороны, я и тот, со второй банкой. Я еще успел несколько раз выстрелить ему вслед. И сейчас же волна красного газа разделила нас. Я выронил пистолет и побежал, слыша за спиной, как выл от боли и ужаса тот, второй. Но мне надо было спасаться самому.

— Значит... значит, все пропало? Обе банки потеряны?

Японец не ответил. Хилл в бешенстве ударил кулаком по колену.

— Ведь шеф с нас шкуру спустит, вы понимаете или нет? Теперь нам лучше идти прямо в лапы к русским или сдохнуть здесь! Что вы наделали, желтая макака? Джап проклятый! Угробил двух ребят ни за грош! Да за это... — Он выхватил пистолет и взвел курок.

Тогда Сунагава встал и спокойно сказал:

— Не надо волноваться, мистер Хилл. Еще не все потеряно. Я просто немного устал, и это произвело на вас дурное впечатление. Кроме того, я совсем забыл, что вы не все знаете. Давайте решим, что нам делать. Отдыхать мне, конечно, не придется. Нам необходимо немедленно отправиться на поиски нашего сбежавшего друга. Далеко он уйти не мог, я знаю свой красный газ. Мы найдем труп где-нибудь в окрестностях гнезда, и все будет в порядке. Если же не найдем...

— Тогда я заставлю вас спуститься в яму и отыскать банку, которую вы уронили, — сквозь зубы произнес Хилл, опуская пистолет и ставя его на предохранитель. — И не вздумайте пытаться бежать от меня. Вы пойдете впереди с фонарем и мешком. Впрочем, нет, мешок я понесу сам. Мне нужно, чтобы ваша спина была открыта...

— С вашего разрешения, — невозмутимо продолжал японец, — если мы не найдем нашего друга, тогда вернемся к гнезду и бросим жребий, кому лезть за банкой. Как вы совершенно справедливо изволили заметить, нам нельзя вернуться к шефу с пустыми руками. Но зачем нам гибнуть обоим? Застрелив меня, вы не выберетесь отсюда. Без вас же я теряю последний шанс на успех предприятия. Почему бы нам не заключить полюбовную сделку? Кстати, давайте спешить. До прихода подводной лодки осталось всего... — Он взглянул на часы. — Всего около тридцати часов.

Они двинулись в путь так, как потребовал Хилл: впереди японец с фонарем, сзади, в пяти шагах от него — американец с мешком за плечами и пистолетом за поясом. Они шли через бесконечные коридоры, то узкие, как траншеи, то широкие, как улицы, поднимались и опускались по шатким лестницам, миновали несколько помещений, заставленных ржавыми механизмами, заваленных штабелями тюков и ящиков. Справа и слева

попадались низкие дверцы, одна из них была раскрыта, и луч фонарика выхватил на мгновение из тьмы груду костей, облепленную истлевшими лохмотьями. Раз Сунагава остановился, подумал немного и повернул назад. Затем пришлось перелезать через обвалившиеся с потолка пласты камня. Кое-где вдоль тоннелей беззвучно струились ручейки, неподвижно темнела затхлая, с тяжелым запахом вода. Через час японец предложил передохнуть. Они присели у стены, выпили по глотку вина и поели сухарей с мясными консервами.

— Здесь мы примерно на двадцать метров ниже уровня океана, — сказал Сунагава. — Пройдет несколько десятков лет, все придет в запустение и разрушится. А сколько труда и жизней вложено в эту работу!

Хилл был подавлен и изумлен грандиозностью колоссального лабиринта в толще гранитного массива, но разговаривать ему не хотелось. Он только пробурчал насмешливо:

— Вчуже жалко становится...

— Я все же надеюсь, что с помощью Америки Япония вернется сюда.

— Ну уж дудки! Полагаю, Америка и сама сможет управиться с этим хозяйством. Как вы думаете, мистер Сунагава?

Японец внимательно поглядел на него и молча поднялся. Снова потянулись тоннели. Скоро американец заметил, что они идут под уклон. Покатость пола, вначале неприметная, становилась круче, и через четверть часа начали попадаться широкие ступеньки, грубо выбитые в камне. Отделка стен и свода тоже была здесь грубой, словно сделанной наспех. На пути попадались большие кучи щебня, валялись забытые кирки и тачки, какие-то полусгнившие доски. Хилл стал спотыкаться, один раз даже упал, налетев на брошенные посередине тоннеля носилки. Тогда он достал свой фонарь. Японец даже не обернулся. Теперь идти было легче. И все же Хилл чувствовал себя очень скверно. Он не заметил, когда появилось болезненное ощущение в груди и в висках, но теперь оно разрослось и заполнило все его существо. Дышать стало тяжело, пот заливал глаза, мешок за плечами превратился в слиток чугуна. Силуэт японца впереди то необыкновенно увеличивался, закрывая все поле зрения, то исчезал совсем. Мрак исчез, все вокруг заполнилось тусклым фосфорическим сиянием. Внезапно что-то мерзкое, липкое, отвратительно пахнущее вязко мазнуло его по щеке. Он закричал, закрыл глаза и сел на пол. Сунагава вернулся и, прерывисто, с всхлипом дыша, стал возле него. Несколько минут они молчали.

— Это его эманации, — сказал наконец японец.

Хилл открыл глаза и увидел над собой его блестящее от пота лицо.

Вокруг по-прежнему царил непроглядный мрак, только слабо двигались по своду блики, отраженные от фонаря в руке Сунагава водой под его ногами. Сверху свисали какие-то длинные растрепанные лоскуты.

— Мне показалось, — неуверенно пробормотал Хилл, — что кто-то...

Японец прервал его.

— Вам дурно? Это пройдет. Это всего лишь эманации ака-гасу. Мы уже близко. Где ваш фонарь?

Хилл беспомощно огляделся.

— Потерял... Выронил где-то...

— Это очень плохо. Нужно найти. Идите и ищите.

Американец не нашел в себе сил возражать. Он с трудом поднялся на ноги и потащился назад. К счастью, фонарь не потух и оказался недалеко. Когда Хилл вернулся, Сунагава отобрал у него и фонарь, и пистолет.

— Так вам будет легче, мистер Хилл, — оскалив зубы, сказал он.

В этот момент американец вновь ощутил на лице омерзительное прикосновение. По-видимому, это был один из тех лоскутов, что гроздьями висели под сводами. Сунагава поднял фонарь, и американец увидел то, чего не замечал раньше. Своды и стены были покрыты толстым слоем странной белесой растительности. Ни разу в жизни ему не приходилось видеть что-либо подобное. Полутораметровые нитчатые ростки сплетались в тяжелые, неподвижно висящие фестоны, заполняющие всю верхнюю часть тоннеля. От них шел густой гнилостный запах. Хилл судорожно вцепился в руку японца.

— Что это? — прошептал он.

— Это плесень, — отозвался тот. — Всего лишь плесень. Здесь побывал красный газ. А вот...

Луч фонаря скользнул ниже. Яркий световой круг лег на продолговатое влажное тело, которое Хилл принял сначала за большой булыжник.

— Газ дает жизнь плесени, а плесень — вот этим. Их много здесь.

Исполинская улитка медленно двинулась, оставляя за собой темный след. Хилл стиснул зубы.

— Пойдемте, — хрипло сказал он.

Последующие несколько часов американец провел как в бреду. Сунагава вел его по узким, забитым холодной жижей коридорам, заглядывал в низкие вонючие норы, заставлял карабкаться через груды осклизлых бетонных плит. Они брели по пояс в воде, пробирались через жуткие заросли плесени, останавливались передохнуть в пыльных тоннелях. Время от времени японец приказывал Хиллу кричать, и тогда болезненный вопль американца будил во мраке гулкое раскатистое эхо. Все

было напрасно. Того, с драгоценной банкой, нигде не было. Наконец Сунагава остановился.

— С вашего разрешения, мистер Хилл, — устало сказал он. — По-видимому, худшие мои опасения оправдались. Наш друг попал не в нижнюю, а в верхнюю галерею.

— Значит... Нужно искать его не здесь?

— Боюсь, что его вообще бесполезно теперь искать. Верхняя галерея с одной стороны взорвана, с другой — упирается в «Большой Лифт Оцу». Это вертикальный ход, соединяющий все четыре этажа крепости. И если он добрался до этого хода, то...

— Он вышел на поверхность?

— Скорее всего — да. Я надеялся, что он сорвался и разбился вдребезги. Но видите, его здесь нет... — Световой круг скользнул по полу, выхватывая из темноты обломки гранита, мусор, почерневшие доски.

— Значит, он там.

Над их головами зиял широкий квадратный провал. Луч фонаря терялся в нем. Они находились как бы на дне громадной трубы.

— Куда он мог выйти?

— Через второй ход, там строились позиции для береговой батареи. В двух-трех километрах от пограничной заставы, с вашего разрешения.

Хилл выругался и в изнеможении опустился на камень.

— Возможно, они его уже...

— Вполне возможно. Правда, вряд ли он будет способен рассказать им что-либо, но банка... банка для нас потеряна.

— Что же нам делать?

— Найти другую банку. В нашем распоряжении еще около суток. Пойдемте.

— Куда?

— К гнезду.

— Не пойду.

— Вы отказываетесь выполнить задание? Что скажет шеф?

— Плевать мне на шефа. Я хочу жить.

Сунагава шумно вздохнул, и в свете фонаря Хилл увидел направленный ему в грудь ствол пистолета. Он с проклятием поднялся.

— Ладно, идите вперед.

— Я очень извиняюсь, но теперь впереди придется идти вам. Я вас буду направлять.

В течение получаса они шли молча. Вдруг Сунагава сказал:

— Прошу вас остановиться на минуту. Взгляните сюда. Здесь, вот этот

тоннель, — аварийный проход в верхнюю галерею. Наш друг бежал именно сюда. А здесь... не бойтесь, подойдите ближе.

Они стояли на пороге тесной каморки. Тяжелая железная дверь ее была раскрыта настежь. В глубине ее Хилл увидел большое металлическое колесо, укрепленное горизонтально на подставке, похожей на этажерку. Толстая ось колеса уходила в пол.

— Известно ли вам, что это такое, мистер Хилл?

Хилл покачал головой. Тогда японец торжественно произнес:

— Если повернуть это колесо десяток-другой раз, под нами поднимутся шлюзы, океан хлынет в подземную крепость. Мы успели в свое время сделать это только с западным ее сектором. Русские ворвались на остров слишком неожиданно. Нам едва удалось вывезти в море и утопить ненужных свидетелей. Но теперь... Тот из нас, кто будет возвращаться с банкой назад, к «Лифту Оцу», возьмет на себя эту обязанность. Красный газ не должен попасть в руки большевиков. Несколько десятков оборотов справа налево. И — бегом по аварийному ходу. Запомните, мистер Хилл?

Американец не ответил. Они двинулись дальше, путь снова пошел под уклон, и снова бешено забилась кровь в висках, сперло дыхание. Снова бред наяву, заросли плесени, гнусные гады, застывшие на полу и на стенах. Хиллу показалось, что еще несколько шагов, и он упадет. И в этот момент Сунагава окликнул его и выключил фонарь.

— Смотрите.

Далеко впереди мерцало пятно кровавого света. Хилл инстинктивно подался назад и наткнулся на японца. Тот, толкнув его в спину пистолетом, резко скомандовал:

— Вперед!

Они медленно приближались к краю тоннеля. Багровое пятно увеличивалось, делалось ярче, мерцало сильнее. Наконец американец сделал последние шаги, вцепился в иззубренный край скалы и замер, остолбенев от изумления.

Сразу за тоннелем открывалась пустота, заполненная кровавым светящимся туманом. Казалось, не было пределов этой пустоте, ибо не было видно ни стен, ни сводов, которые ее ограничивали. А внизу беззвучно кипела и пузырилась странная багровая масса. Она напоминала густое забродившее тесто и в то же время производила впечатление чего-то легкого, почти воздушного, чему только вязкость не дает оторваться от земли. И казалось, что этот студень покрыт тонкой, но плотной пленкой, которую он может сколько угодно растягивать, но не прорвать. Под ней

вздувались пузыри, образовывались углубления, пробегала конвульсивная дрожь, и это наводило на мысль о неведомых силах, сталкивающихся и борющихся в глубине.

Хилл, словно завороженный, смотрел на невиданное зрелище, шепча про себя:

— Господи, что же это? Господи, что это такое?

Его вывел из оцепенения голос японца:

— Это и есть красный газ, мистер Хилл. Там, внизу, наша банка. Пора бросать жребий, времени у нас мало.

Глава третья НЕОБЫЧАЙНОЕ КЛАДБИЩЕ

Олешко не спалось. Осторожно, чтобы не разбудить товарищей, он поднялся с нудно скрипевшего топчана, оделся и вышел. Было около шести часов. С океана дул легкий свежий ветерок, принося неповторимые запахи бескрайних просторов соленой воды. Над островом царила тишина — не было слышно ни птиц, ни насекомых, ни шелеста ветвей. Шагах в двадцати от казармы, у ворот неторопливо прохаживался часовой. Олешко присел на лавочку у крыльца перед вкопанной в землю железной бочкой, на дне которой валялись окурки. «На земле покой, во человецах благоволение», — почему-то вспомнилось ему. Он чуть не рассмеялся вслух. Благоволение! А вот трое этих самых «человец» бродят сейчас где-то у него под ногами по пустынным темным пещерам и творят свое неизвестное, но, несомненно, отнюдь не доброе дело. Он снова подумал о предстоящей операции и постарался представить себе, как все произойдет. Они настигнут нарушителей, загонят их в тупик, как крыс, и заставят сдаться. Возможно, будет погоня, перестрелка... Бой в катакомбах. Кажется, это у Катаева, «За власть Советов». И, возможно, именно он, Олешко, решит судьбу боя, пусть тогда вспомнит полковник свои слова об офицерах, хорошо знакомых с оперативной работой... Фу, как стыдно! Размечтался, как мальчишка. Это в тридцать-то лет! Нет, жена права, он неисправимый романтик. А ведь дело серьезное, пахнет кровью. По всему видно, что крысы будут кусаться. Ну что же, он никого не заставит краснеть за себя. Капитану Олешко не пришлось участвовать ни в боях с немцами, ни в боях с японцами, в него никогда не стреляли, и врагов он видел только пленными. Это очень удручало его, и он всегда испытывал чувство стыда и какой-то вины перед своими прошедшими через горнило войны товарищами и начальниками. Может быть, именно поэтому предстоящее дело казалось ему не тяжелой

черной работой, как оно представлялось полковнику и Соколову, а чем-то средним между праздником и экзаменом. Только бы не сплоховать. Да, жена права, он, пожалуй, романтик. Но где, черт возьми, сказано, что это плохо?

Дверь стукнула, и на крыльцо вышел Новиков. Увидев его, часовой хотел что-то сказать, но, покосившись на незнакомого приезжего капитана, отвернулся и с прежним усердием принялся мерить шагами ширину ворот. Новиков спрыгнул с крыльца, легким гимнастическим шагом пробежался до спортплощадки и в один момент оказался на турнике. Олешко с затаенной завистью и восхищением следил за его ловкими и точными движениями: самому капитану спорт никак не давался. Новиков принялся делать солнце, то есть, вися на руках, стал описывать телом круги вокруг перекладины, и в этот момент из-за ограды послышался тоненький женский голосок:

— Новиков! Костя!

Олешко оглянулся. За оградой, держась руками за решетку, стояла невысокая круглолицая девушка в белом платье. Голова ее была повязана голубым платком, на ногах красовались большие резиновые сапоги.

— А-а, здоровеньки булы... — Новиков лихо спрыгнул с турника и, явно кокетничая, спортивной походкой приблизился к ней. — Здравствуй, Настенька. Как поживаете?

— Ты чего долго не приходил? — строго спросила Настенька.

— Дела были, дорогая, не мог. Сама понимаешь, служба наша солдатская.

— Служба, служба... А кто в ту субботу Клавку Хлебникову из клуба провожал?

— Так ведь ты в ночной смене тогда была. А Клавка... Что ж Клавка... Одна боялась вечером домой возвращаться, вот и проводил. У вас в поселке ведь парни озорные...

— Ну ладно, пусть так. Завтра воскресенье, на озеро пойдешь?

Новиков замялся.

— Не знаю, Настенька. Отпустят — приду, конечно. С Сашкой вместе придем.

— А как не отпустят?

— Ну, сама понимать должна. Не маленькая.

— А мы с Соней собрались, думали, вы тоже придете. Там весело будет. Баян будет играть. Придете?

Тут она заметила устремленные в их сторону взгляды Олешко и часового, с увлечением следивших за ходом свидания, страшно покраснела

и очень сухо добавила:

— Коли не хочешь, не приходи, конечно. Дело хозяйское. Но уж только...

Часовой с новой энергией принялся ходить у ворот, Олешко тоже сконфузился и отвернулся, но продолжал прислушиваться.

— Чудная ты, Настя. Ну как я могу обещать? А вдруг не отпустят? Чем злиться зря, скажи лучше, где такой платок красивый достала.

— Да ну тебя. В общем, мы с Сонькой придем, все наши девчата пойдут с засольного цеха. Придете — хорошо, не придете — и без вас обойдемся. Прощай пока.

— До свидания, Настенька.

Через минуту Новиков понуро подошел к крыльцу. Олешко остановил его.

— Садитесь, товарищ Новиков. Посидим, покурим.

Сержант поблагодарил, взял папиросу и несколько раз жадно затянулся.

— Знакомая ваша? — сочувственным тоном спросил капитан.

— Так точно, знакомая. Время вместе проводим.

— Хорошая, видно, девушка.

— Да, девка она ничего. Только никак в толк не возьмет, чего можно, чего нельзя.

— Им это трудно понять.

— Известное дело, баба. Что с нее возьмешь?

— Послушайте, Новиков, — после приличной паузы спросил капитан. — Вы, конечно, извините, я здесь невольно подслушал... Что это за озеро, о котором она говорила?

— Есть здесь в середине острова, в горах, горячее озеро такое. Там ключи горячие бьют, как кипяток. Туда по воскресеньям чуть ли не весь поселок купаться ходит. Холодно ли, тепло ли, а купаться там хорошо. Только серой очень воняет, и, говорят, у кого больное сердце, тому купанье там во вред.

— Надо бы сходить, посмотреть.

— А вот это дело закончим, возьму увольнительную, и сходим, товарищ капитан. Отсюда не очень далеко, напрямую — километров восемь. Правда, через горы приходится лезть, но ничего, часа за два дойдем. Оно очень красивое, если с сопок на него смотреть. Синее-синее, как креп-жоржет.

Олешко улыбнулся: последнее слово как-то не подходило этому крепкому парню с грубоватым смелым лицом.

— Обязательно сходим, Новиков. Ну, — он посмотрел на часы, — пожалуй, можно попробовать еще раз уснуть на часок-другой. А там и собираться надо.

Они встали, бросили окурки в бочку и пошли в казарму. «Вот Новиков, — подумал Олешко. — Для него тоже нынешнее дело — главным образом препятствие к завтрашнему свиданию. И, конечно, труд, нормальный солдатский труд, требующий смелости и смекалки».

К половине девятого все были готовы. Олешко выглядел очень воинственно и немного смешно в криво сидящих очках, затянутый донельзя солдатским ремнем, с кобурой, съезжающей на живот. Полковник сам придирчиво осмотрел каждого солдата и офицера. Дойдя до Олешко, он покачал головой и вполголоса, чтобы не слышали солдаты, сказал:

— До чего же ты, братец, неприспособленный какой-то. Все на тебе мешком. Если бы не твои языки, ни за что не взял бы. Смотри, вперед не лезь, держись все время возле меня.

Олешко отлично знал, что Крюков никогда не упускает случая поворчать и подтрунить над ним, даже если всем доволен, но все же испытал легкую обиду. Впрочем, обижаться было некогда. Они выступили. Вечер был ясный, неярко светил молодой месяц, косо повисший в тускнеющих красках заката. К удивлению Олешко, сильно похолодало. Группа двигалась молча, гуськом. Впереди шел Нелюдин, он должен был проводить их до входа и предупредить часового. Сначала шли по тропинке, потом по густой высокой траве, мокрой от росы, и наконец подкованные сапоги солдат застучали по камням. Крюков догнал Нелюдина и стал шепотом выговаривать ему за то, что не позаботился о мягкой обуви. Тот сокрушенно пробормотал:

— Горит мягкая у нас на острове, товарищ полковник. Все-таки сплошной камень. И без подковок нельзя. Сходил солдат раз-другой в патрули на берегу, считай, что нет каблуков. Да вы не беспокойтесь, они и в подкованных тихо ходить умеют.

Он повернулся и дал команду. Звон металла о камень сразу прекратился. Слышалось только осторожное шуршание шагов и дыхание. Полковник прислушался, хмыкнул и, пропустив Нелюдина вперед, вернулся на свое место. Переход занял не более часа. Заря потухла, месяц опустился ниже и налился багровым светом, когда впереди послышалось негромкое: «Стой, кто идет?»

— Капитан Нелюдин, — отозвался начальник заставы. Он приказал группе остановиться и исчез в густой тени за выступом скалы.

— Можно идти, товарищ полковник, — вполголоса сказал он,

вернувшись через минуту. Солдаты и офицеры, цепляясь за скользкие камни, поползли вслед за ним на кручу. Олешко ничего не видел в темноте и догадался, что достиг входа в тоннель, только больно стукнувшись макушкой о нависший свод. Вспыхнул фонарик, осветивший мрачную шахту, заваленную обломками гранита.

— Ну, все здесь? — раздался негромкий голос полковника.

— Все, — ответил Соколов, оглядевшись. — Можно начинать.

— Майор Соколов и сержант Новиков, зажечь фонари и вперед. Остальным следовать за мной.

Перебравшись через завал, группа очутилась в довольно просторном круглом помещении, посреди которого возвышались какие-то ржавые железные фермы.

— Похоже на капонир для орудия, — пробормотал Соколов.

Отсюда шли два хода — направо и налево, и полковник разделил группу пополам. Майор Соколов с четырьмя солдатами получил задачу исследовать левый тоннель, полковник с остальными двинулся направо. Олешко шел сразу вслед за полковником и видел впереди себя только силуэты на фоне светового круга от фонаря, который нес впереди Новиков. Через несколько минут полковник приказал остановиться.

— Дальше пойдем, соблюдая полную тишину. Новиков идет посередине тоннеля, остальным следовать за ним, прижимаясь к стенам. Новиков!

— Слушаю вас, товарищ полковник!

— В случае обстрела немедленно гасите фонарь и ложитесь.

— Слушаюсь.

— Вперед!

Но скоро маленький отряд снова остановился.

— Осторожно, — приглушенным голосом сказал Новиков.

Путь был прегражден широким квадратным колодцем с низким, сантиметров в двадцать высотой, каменным парапетом. Олешко заглянул вниз и отшатнулся: бездонная пустота пахнула в лицо страшным ледяным дыханием. В глубине торчали остатки какого-то деревянного сооружения, должно быть, подъемника. Скользнув по осклизлому камню и почерневшим бревнам, световые пятна замерли на металлических скобах, вделанных в стену колодца. Эти скобы начинались от самого парапета и уходили вниз, во тьму, куда свет фонарей достать не мог. Все выжидательно посмотрели на полковника.

— Сделаем так, — сказал он, подумав. — Вы, капитан, вы, Новиков, вы и вы, — он указал на двух солдат, одним из которых был Костенко, —

останетесь здесь и попробуете спуститься в сию дыру. Я иду дальше. Будьте осторожны, — не удержался он и поспешно пошел вперед. Олешко с некоторым замешательством поглядел на Новикова и Костенко.

— Ну, хлопцы, вам и карты в руки.

— Попробуем, товарищ капитан.

Солдаты быстро размотали веревки, прочно связали их и сделали на одном конце петлю. Новиков продел петлю под мышки и полез через парапет.

— Крепче держите, — коротко сказал он Костенко.

Перебирая одной рукой веревку, другой стиснув фонарик, Олешко с волнением следил, как он ловко и бесшумно спускается со скобы на скобу. Скоро в поле зрения осталась только вздрагивающая веревка.

— Еще одна шахта, — глухо донеслось из глубины, и веревка вяло обвисла. — Хватит травить, из петли вылез, пойду смотреть.

Прошли томительные четверть часа. Новиков не давал о себе знать. Из глубины тоннеля, куда пошел полковник, раздались голоса и шаги, мелькнул огонек, и скоро к колодцу подошел Крюков со своими двумя солдатами.

— Там хода нет, — коротко сказал он. — Что у вас?

Олешко рассказал.

— Думаю, следует спуститься еще кому-нибудь, — добавил он. — Разрешите мне.

Полковник решительно отказал:

— Полезет Костенко.

— Слушаюсь, товарищ полковник, — прогудел ефрейтор и вдруг озабоченно свистнул. — Не вытягивается, однако.

— Кто не вытягивается?

— Веревка. Однако, Новиков ее, видно, к скобе прикрутил. Да я и так полезу, товарищ полковник.

— Ладно, лезь. Пропусти только веревку между ног.

Костенко уже спустил ноги в колодец, когда снизу донеслось:

— Товарищ капитан, дозвольте сюда Костенке спуститься!

— Что у тебя там, Новиков? — наклонившись над парапетом, спросил полковник.

— Странная здесь вещь, товарищ... Это вы, товарищ полковник?

— Да-да, ну что?

— Кладбище здесь...

— Что ты сказал? Спускайся, Костенко. Повтори, не расслышал!

— Кладбище нашел. Мертвецов видимо-невидимо.

Полковник и Олешко переглянулись.

— Слушай, Новиков! Сейчас к тебе спустится Костенко, отвяжи веревку. Спустим капитана. Доложишь ему подробно или покажешь. Понял?

— Так точно. Только докладывать тут нечего. Пусть спускаются, посмотрят.

Через пять минут Новиков и Костенко ловко подхватили Олешко и втащили его в тоннель. Тоннель был коротким, шагах в двухстах от входа его во всю ширину и высоту перегораживала ржавая решетка.

— Смотрите, товарищ капитан! — срывающимся шепотом проговорил сержант, просунув руку с фонарем между толстыми железными прутьями.

Зрелище было зловещее. Пространство за решеткой было заполнено мертвецами. Черные, как уголь, голые или прикрытые жалкими лохмотьями, они в разных позах сидели или лежали на каменном полу. Жутко блестели неестественно белыми зубами оскаленные рты. Слепо глядели перед собой пустые глазницы. Трупов было много, вероятно, не менее сотни. Точно сосчитать было невозможно, ибо луч фонаря едва проникал в темноту за ближайшими рядами.

— Ой-ой-ой, — пробормотал Костенко. — Однако, навалили их здесь японцы!

— Заметьте, товарищ капитан, — сказал Новиков, — это не скелеты. Они ничуть не погнили, только вроде как бы обуглились. Словно мумии.

Олешко и сам заметил это, но его мутило, и он только кивнул.

— Посчитать, однако, надо бы, — сказал Костенко.

— Пошли назад. — Олешко сморщился и украдкой сплюнул. — Только... А ну, попробуйте, тряхните решетку. Не поддается? Пошли.

Новиков и Костенко остались на краю тоннеля, а Олешко выбрался наверх и доложил обо всем, что видел, полковнику.

— Несомненно, это часть несчастных рабов, которые строили крепость. Японцы умертвили их, как поступали со всеми, работавшими у них на военном строительстве.

— Так. Говорите, даже кожа у них цела? — задумчиво сказал Крюков. — Очень интересно. Ну, это все потом. Соколов прислал записку, доносит, что тоже наткнулся на непроходимый завал. Значит, нарушитель мог попасть к выходу только из этого колодца. Им мы и займемся. Кстати, Олешко, для вас будет много работы по специальности. Соколов обнаружил под камнями несколько сейфов с японскими документами. Я приказал, чтобы он оставил там двух солдат продолжать раскопки, а сам шел сюда. Штурмовать преисподнюю будем все вместе. Мне почему-то кажется, что

эти диковинные мертвецы и свинцовая банка как-то между собой связаны, — неожиданно закончил он.

— Товарищ полковник, — взмолился Олешко, — пустите меня вперед с Новиковым и Костенко.

Полковник сделал вид, что не слышит. Скоро пришел Соколов.

— Принес образец документика, — сказал он, доставая из кармана сложенный вчетверо лист бумаги. — Пусть наш переводчик посмотрит.

— Не время сейчас, — поморщился было Крюков, но ему и самому было интересно, и он проворчал: — Ладно, переведи, что там... пока солдаты петли сделают на веревках.

— Кунасю, сиова дзюкунэн хатигацу микка... — забормотал Олешко, потом замолчал и стал медленно двигать головой сверху вниз, быстро вверх и снова медленно сверху вниз. Один из солдат подсвечивал ему фонарем.

— Ничего особенного, — сказал наконец Олешко. — Рапорт на имя коменданта Кунашу 3-го августа сорок пятого года от майора... Сунагава, по-видимому, или Сунакава... о выделении ему саперной роты для каких-то работ.

— И все? — спросил Крюков.

— Все.

— Отлично. Теперь вспомним, что где-то поблизости бродят по крайней мере три нарушителя. Спрячьте эту бумажку, капитан, и приготовьтесь к спуску. Пойдете первым, так и быть. Крикните Новикову, чтобы двигался дальше.

Глава четвертая ФАБРИКАНТ СМЕРТИ

— Я от всего сердца выражаю вам свое сочувствие, — сказал Сунагава.

Хилл остолбенело глядел на обломок спички. Короткая... Жребий пал на него. Лезть с головой в смертоносный багровый студень выпало на его долю. Он никак не мог заставить себя осознать это. Бред, кошмарный сон! Он перевел взгляд на японца. Тот сидел на корточках напротив него, положив руку с пистолетом на колено, внимательно следя за каждым его движением из-под опущенных век.

— Очень сожалею, мистер Хилл. По-видимому, так угодно богу, с вашего разрешения. Я расскажу шефу о вашем героизме и передам в Америку все, что вам угодно будет мне поручить.

Хилл все еще не понимал. Он с проклятием отбросил предательскую

спичку и поглядел в сторону страшной ямы.

— Нет, — негромко сказал он, и сам удивился, услышав звук своего голоса. Ему показалось, что говорит кто-то другой. — Нет, я не хочу так... умирать.

Брови японца сдвинулись.

— Прошу вас обратить ваше благосклонное внимание на тот факт, что долгое пребывание возле красного газа весьма опасно. Я тоже рискую не добраться до выхода, если мы здесь слишком задержимся. Почтительнейше прошу вас поскорее выполнить ваш долг. Уверяю вас, я бы никогда не стал злоупотреблять вашим терпением.

— Не хочу, — сипло повторил Хилл.

И тут он понял, что погиб. Эта уверенность мгновенно овладела его сознанием, лишила его воли и сил. Ноги его подогнулись, и он мешком повалился на колени. Чарльз Хилл, матерый разведчик и диверсант, профессиональный убийца и шантажист, заплакал. Слезы лились по его ввалившимся щекам, застревали в четырехдневной щетине, капали на засаленную ткань куртки. Сунагава с омерзением смотрел на него. Это янки, один из тех, кто оккупировал Японию и правит ею от имени божественного тэнно... Какой позор! Он вскочил на ноги и ткнул американца стволом пистолета в лицо.

— В яму! Живо, трус, мерзавец! Сумей хоть умереть как человек, а не как пес!

— Да-да, я... я сейчас, я понимаю... — бессвязно забормотал Хилл, отодвигаясь от него ползком, спиной к яме.

Он, шатаясь, поднялся и, путаясь дрожащими руками в лямках, стал снимать мешок. В кровавых отсветах лицо его казалось маской. Он оглянулся назад, взвизгнул и снова повалился на колени.

— Не хочу! Не хочу! Не надо!

В его крике не было уже ничего человеческого. Сунагава понял, что банка останется в яме. Он поднял пистолет и дважды, почти не целясь, спустил курок. Вопль оборвался. Площадка опустела. На поверхности красной пленки медленно затягивалась глубокая впадина. Сунагава глубоко вздохнул, засовывая пистолет в карман брюк, и провел грязной ладонью по лицу. Вернулся к мешку с продуктами, достал бутыль с вином, сделал несколько длинных глотков. Понемногу возбуждение улеглось, и мысли потекли с обычной ясностью и четкостью. Необходимо было сделать две вещи: во-первых, открыть шлюзы, во-вторых, выбраться наружу и поспеть к назначенному месту к моменту прибытия подводной лодки. Времени оставалось в обрез. Сунагава сунул бутылку за пазуху, набил карманы

галетами, затем, после минутного колебания, швырнул мешок в яму.

— Оватта[1], — вслух сказал он.

Да, все было кончено. Сунагава, офицер давно переставшей существовать армии навсегда останется бесправным наемником тупых и кичливых янки, он навсегда обречен на покорное выслушивание брюзгливых нотаций от бездарей, вроде шефа, на совместную темную деятельность с ничтожествами, подобными Чарли Хиллу, на опасную и позорную жизнь третьеразрядного шпиона. И жизнь эта окончится либо в тюрьме, либо на виселице. Ему уже никогда не стать тем, кем мечтал он стать более десяти лет — могущественным хозяином грандиозного комбината багровой смерти. Он, Сунагава, имел для этого все возможности. Пусть Морган производит атомные бомбы, а Дюпон — водородные. Хорошее оружие, сильное оружие, кому-кому, а его соотечественникам это хорошо известно. Но он бы перехватил часть золота, которое льется в бездонные карманы этих миллиардеров. Ака-гасу мог бы стать славой и честью любой желающей платить армии, любой, кроме, разумеется, большевистской. И вот все кончено, мечты разлетелись в прах накануне их осуществления. Может быть, имеет смысл броситься головой вниз в страшную яму? Сунагава поежился. Нет. Надежды исчезли, а ненависть осталась. Если не ему, то никому. Во всяком случае, не русским. Через час сюда хлынет океан, и люди никогда не узнают о красном газе, если только... Нет, нужно надеяться, что тот болван заблудился в бесконечных галереях верхних этажей и сломал себе шею в какой-либо шахте. А если даже его выловили русские? Что поймут грубые безграмотные пограничники? Они испугаются, что в свинцовой банке спрятана какая-нибудь мина и поскорее выбросят ее в океан. В худшем случае распилят ее пополам. И найдут там... Сунагава даже улыбнулся, представив себе содержимое банки на грубых ладонях увальня-русского. Тайна красного газа, которую не смог разгадать до конца даже сам Сунагава, умрет вместе с ним. С кем — с ним? С Сунагава или с русским? Мысли снова стали путаться. И, не оглядываясь больше на место гибели всех его надежд, он почти бегом устремился в тоннель. Перед глазами мерцал фосфорический туман, зрение его как бы раздвоилось, и он видел одновременно и то, на что падал пляшущий луч фонаря, и мертвые лица убитых им на пути к славе и могуществу, и их было много. Преодолевая чудовищную усталость, падая, цепляясь за покрытые мерзостью стены, японец упрямо поднимался к развилке галерей, где находилась камера управления шлюзами.

До нее оставалось не более сотни шагов, когда он остановился и потушил фонарь. Ему показалось, что слышны голоса людей. В ушах гулко

билась кровь, ему пришлось собрать всю силу воли, чтобы успокоиться. Но когда глаза привыкли к полному мраку, сомнения исчезли. Кто-то шел навстречу. Сунагава увидел слабые вспышки света далеко впереди, затем послышались отчетливо негромкие голоса, звук торопливых шагов, кашель. На мгновение им овладел ужас. Но он сумел взять себя в руки. Не зажигая фонаря, ощупывая стену слева от себя, он быстро и бесшумно пошел дальше. Скоро рука его ушла в пустоту — здесь была дверь. Он на ощупь, высоко поднимая ноги, чтобы не запнуться, вступил в камеру и нащупал металлический обод колеса. Стопор он нашел быстро, но, когда приготовился крутить, шум шагов раздавался уже совсем близко. Колесо заскрипело тонким пронзительным визгом. Один оборот, два, три, четыре... На шестом оно внезапно остановилось. Мокрый от пота, затаив дыхание, Сунагава изо всех сил налегал на него, но все было напрасно. По-видимому, несложный поворотный механизм вышел из строя. Сунагава бешено выругался и выскочил за дверь. И сейчас же в лицо ему ударил яркий свет и раздался резкий окрик:

— Стой!

Он повернулся и бросился бежать.

— Стой, стрелять буду!

Грохот выстрела прокатился под сводами, пуля щелкнула о камни и с жалобным воем улетела в пустоту. Сунагава мчался вниз по уклону тоннеля, слыша тяжелый топот ног преследователей. Он знал, что свернуть здесь некуда, и ему придется еще раз увидеть гнездо красного газа. В этом было его преимущество: те, кто преследовал, должны были внимательно осматриваться по сторонам, чтобы не пропустить возможного поворота. Кроме того, их фонари давали ему возможность более или менее свободно ориентироваться на бегу. Но он очень устал и скоро почувствовал, что задыхается. Начались заросли плесени. Он услыхал позади изумленные восклицания. Тогда он понял, как должен действовать. Из последних сил он добежал до края тоннеля, проскочил через площадку, озаренную багровым заревом, и оказался в галерее, по которой убегал сутки назад от волны красного газа. Тут он залег, достал пистолет и постарался отдышаться, чтобы не дрожала рука. Отсюда до выхода из противоположного тоннеля не было и двадцати шагов, а Сунагава всегда считал себя неплохим стрелком. Итак, Хилл оказался не последним из тех, кому суждено окунуться в красную пленку. Расчет японца оправдался. Через минуту к яме выбежали трое русских — долговязый офицер в очках и двое солдат с карабинами наперевес. Выбежали и остановились, как вкопанные, пораженные невиданным зрелищем. Сунагава отчетливо видел их лица, выражающие

сильнейшее удивление и растерянность. Он улыбнулся, упер для верности пистолет рукояткой в выступ скалы и поймал на мушку грудь офицера. И все же японец просчитался. Он забыл, что имеет дело с советскими пограничниками. Треснул выстрел, и офицер рухнул навзничь. Но одновременно с ним упали и оба солдата, выбросив на лету вперед стволы карабинов. И не успел Сунагава опомниться, как вокруг него защелкали пули. Одна из них содрала кожу и клок волос на его макушке, другая обожгла вскользь руку. Сунагава пригнул голову и стал отползать. Противный мокрый озноб охватил тело. Одежда вдруг стала тесной, мешала двигаться. «Ранен?» — подумал он, бессильно роняя голову, и сейчас же испуганно приподнялся: под ним была вода. Значит, шлюзы все-таки открылись, дело сделано. Он чуть не рассмеялся в припадке истеричного злорадства. Темная тень на мгновение заслонила освещенный вход в тоннель. Сунагава хотел выстрелить, но что-то обрушилось на его голову, ударило в мозг, яркими искрами озарило полумрак перед его глазами.

Новиков сунул пистолет диверсанта за пояс, подобрал карабин и тревожно оглянулся. Костенко, покряхтывая, принес на плечах вяло обвисшее тело Олешко.

— Ну чего ты сюда с ним приперся? — с раздражением спросил Новиков.

— Там уже, однако, нельзя оставаться, — угрюмо пробормотал ефрейтор.

— Что такое? Почему нельзя?

— Вода...

Новиков взглянул под ноги. В неярких красных отсветах поблескивали вокруг голенищ тяжелых армейских сапог ленивые мелкие волны. Нарушитель, лежавший лицом вниз со скрученными за спиной руками, отчаянно забился, пытаясь подняться.

— Лежи, сволочь, — злобно крикнул Новиков.

— Захлебнется, однако, — озабоченно возразил Костенко. — Прислони-ка его к стене. Вот так. Мнится мне, однако, что водица-то прибывает... Вот, послушай...

Пограничники прислушались. Далекий смутный гул наполнял спертый воздух тоннеля. Казалось, где-то далеко работают мощные электромоторы.

— Ровно водопад, как ты думаешь?

Новиков не ответил. Он с удивлением и тревогой смотрел через плечо товарища. Костенко оглянулся, все еще держа Олешко на плечах. Прямо перед входом в тоннель маячил, покачиваясь взад и вперед, длинный узкий

язык багрового пламени. Он медленно изгибался упругими, полными сдержанной силы движениями, словно чудовищная змея, и заметно было странное вращательное движение всей его поверхности. Он как бы ввинчивался в воздух, вытягиваясь все больше и больше.

— А-а-а! — прокатился по тоннелю дикий крик.

Японец дергался, сидя по пояс в воде, не спуская широко раскрытых глаз с того, что происходило над ямой.

— Икэ! Икэ! — кричал он. — Ака-гасу га дэру! Моттэтэ курэ! Тэйк ми эвэй, йэ рашэн дэвилс! Дэс! Дэс![2]

— Уйдем отсюда по добру по здорову, — испуганно проговорил Костенко. — Не к добру, однако, этот поганец разоряется...

— Капитана перевязать бы надо, — нерешительно предложил Новиков.

— Выйдем куда повыше, там и перевяжем. Здесь все одно посадить его негде. Вода-то прибывает, не видишь?

Не дожидаясь ответа, он бережно поправил свою ношу, достал фонарь и зашагал вглубь тоннеля. Новиков поднял задержанного на ноги. Тот сразу же замолк и пошел, почти побежал, так быстро, что пограничники едва поспевали за ним.

Вскоре мутный розоватый свет померк и скрылся за поворотом. Вода все прибывала. Новиков споткнулся и ушел в нее с головой, едва не выронив оружие.

— Соленая, — сказал он, отплевываясь. — Океанская, видать.

Костенко хрипло выдохнул:

— Затопляет, никак, пещеры. Шагу прибавить, однако, надо.

Но они и без того бежали изо всех сил. Вдруг японец остановился и показал на узкий проход слева. Там виднелись вбитые в стену железные скобы, совсем как те, по которым пограничники спускались час назад. Костенко поднял фонарик. В своде тоннеля зияла круглая дыра. Новиков вопросительно взглянул на диверсанта. Тот кивнул головой. Возможно, это была ловушка. Ведь диверсант был не один в катакомбах. Где-то поблизости скрывались его приятели. Но выбора не оставалось. К тому же задержанный должен был понимать, что погибнет прежде, чем его смогут освободить. И Новиков приказал:

— Давай сюда капитана, Костенко, возьми веревку и лезь наверх. Оружие держи наготове. Оттуда спустишь петлю, вытянешь сперва капитана, затем самурая. Я поднимусь последним.

Когда мокрый с головы до ног сержант выбрался в верхний тоннель, Костенко осторожно разрезал на Олешко гимнастерку, а японец сидел на

корточках, опершись спиной о стену. Пуля прошла через мякоть плеча навылет и, по мнению Новикова, знавшего толк в подобных делах, кости не задела. Бессознательное состояние раненого объяснялось тем, что, падая, он сильно ударился затылком об острый выступ скалы. Крови из раны вышло немного. Пограничники тщательно перевязали капитана, истратив на это все индивидуальные пакеты. Затем, смущенно оглянувшись на сержанта, Костенко достал из заднего кармана плоскую флягу, открыл Олешко рот, сдавив ему сбоку челюсти своими железными пальцами, и влил туда чуть ли не половину содержимого. Капитан закашлялся, рванулся и застонал.

— Спиртец? — ехидно спросил Новиков.

Костенко кивнул. Избегая укоризненного взгляда товарища, завинтил крышку, сунул флягу в карман. Японец пристально наблюдал за этой процедурой.

— Что смотришь, бандит? — заорал на него зло Костенко, замахнувшись огромным кулаком. Тот отшатнулся и что-то быстро проговорил, ощеряя редкие блестящие зубы.

— Он говорит... ты не смеешь бить... пленного... Говорит, что он офицер и дворянин, а ты простой солдат... — слабым голосом сказал вдруг Олешко.

— Товарищ капитан, очнулись? — обрадовано вскрикнул Новиков.

— Кажется... Где мы? Что это... было? Красный свет...

Сержант кратко рассказал, что произошло внизу.

— Черт... Голова болит... и плечо... Ранен, значит. Это... ничего. Покажите мне... мерзавца. — Олешко, ужасно сморщившись, принял при помощи Костенко сидячее положение. Новиков подтащил диверсанта ближе и направил ему в лицо луч фонаря.

— Нихондзин да ка?[3]

— Со дэс, — с угрюмой покорностью сказал японец. — Эйго мо дэкимас[4].

— Сорэ ва... бэнри да[5]. Ребята, вы его обыскали?

— Так точно, товарищ капитан. Вот, пистолет я у него отобрал, нож, сухари, бутылка с чем-то, фонарик. Больше ничего нет.

— Прелестно. Теперь нужно выбираться. Дорога известна?

Новиков и Костенко переглянулись.

— Выберемся как-нибудь, — неуверенно сказал Новиков.

— Внизу никак не пройти?

— Никак, товарищ капитан. Вода кругом. Я последним поднимался,

так мне чуть не по шею было. И откуда ей взяться, скажи на милость...

Олешко указал на диверсанта.

— Он знает. Это... его рук дело. Погодите, я с ним поговорю.

Исполнились его «романтические бредни». Раненый, измученный, сидит он в самом сердце зловещего подземного лабиринта и допрашивает только что пойманного при его участии диверсанта. Олешко внимательно разглядывал обтянутое заросшее лицо японца. Черный рот устало раскрыт, лоб испачкан запекшейся кровью, губы потрескались, а глаза... холодные, жесткие, безжалостные, они прячутся под набрякшими веками, словно боятся выдать страх и ненависть. Лицо врага.

— Кто вы?

— Я уже имел удовольствие сообщить вам, что я офицер и дворянин.

— Ваше имя?

— Это не имеет значения, с вашего разрешения.

— Говорить отказываетесь?

— С вами — да, почтительнейше прошу извинить. Я буду говорить с вашими почтенными начальниками.

Олешко подумал.

— Вы хорошо знаете эти тоннели?

— Да, смею сказать, хорошо.

— По-видимому, служили здесь раньше?

Японец не ответил. Олешко достал из кармана смятый листок, доставленный Соколовым полковнику и попросил Костенко посветить.

— Вам известен некий Сунагава? — медленно спросил он.

По-видимому, напряжение и усталость, вызванные всем, что произошло за последние трое суток, сказались даже на этом прожженном пройдохе и лицемере. Японец сильно вздрогнул и с изумлением заморгал глазами.

— Вы... знаете? — пролепетал он.

— Понятно, — процедил Олешко, ловя его убегающий взгляд. — Вы?

Он был изумлен не меньше диверсанта, но сумел скрыть это. Недаром у него за плечами было участие в подготовке к Хабаровскому процессу, когда через его руки прошло несколько десятков подлых убийц, ученых бандитов из шайки генерала медицинской службы императорской армии Исии Сиро. Он хорошо знал своего противника, а тот, по-видимому, мог рассчитывать только на свое нахальство.

— Значит, — повторил Олешко, — вы — Сунагава?

Японец ожесточенно замотал головой и с трудом проглотил слюну.

— Нет, нет, — хрипло выкрикнул он. — Вы говорите ложно. Я не

Сунагава. Но я его знаю. Он руководил нашей группой и погиб. Я все расскажу о нем, что мне о нем известно, если вам нужно...

— Сколько вас высадилось на остров?

— Дво... двое.

— Вместе с Сунагава? Врете.

— Я ошибся, нас было четверо. — Японец опустил голову.

— Где остальные?

— Погибли.

— Вы убили их?

— Их сожрал красный газ. Всех... троих. Они там, внизу, под водой.

Олешко с омерзением поглядел на диверсанта.

— Врете, господин Сунагава. Вы перестреляли их, чтобы избавиться от свидетелей. Но имейте в виду, одному удалось спастись. — Он помедлил немного и прибавил: — Свинцовая банка тоже в наших руках. Запираться бесполезно. Вас послали сюда за этим самым... за красным газом. Так?

— Я все расскажу... все расскажу, — торопливо забормотал японец. — Но почтительнейше умоляю вас, давайте уйдем отсюда. Сюда идет вода.

— Откуда вы знаете?

— Океан прорвал шлюзы, по моему ничтожному мнению. Так уже случилось в тоннелях на западной стороне острова... десяток лет назад, с вашего разрешения. Нужно уходить.

— Новиков, — сказал Олешко. — Загляни в шахту, по которой мы сюда поднимались.

Сержант отошел в сторону. Видно было, как он наклонился с фонарем в руке, потом лег на грудь. Сейчас же на сводах тоннеля заиграли причудливые световые блики.

— Вода, товарищ капитан, — тревожно проговорил он. — Уже до половины...

— Уходим, — коротко сказал Олешко. — Костенко, будь другом, помоги подняться. Нож забери, а галеты отдай японцу.

И они пошли. Впереди, сопровождаемый по пятам Новиковым, шел диверсант. За ним, опираясь на карабин, тащился Олешко. Шествие замыкал Костенко, готовый в любой момент подхватить шатавшегося от слабости капитана. Японцу было неловко идти со связанными руками, но шел он быстро, пугливо оглядываясь и прислушиваясь к чему-то. Во время короткой остановки, сделанной для отдыха, все отчетливо расслышали: издалека доносился грозный рев воды. Наступали последние часы существования подземной крепости.

Вскоре вновь пришлось прибегнуть к помощи веревочного кольца. На

этот раз шахта оказалась очень глубокой, так что пограничники должны были связать две веревки вместе. Наверху с японцем произошла разительная перемена. Он принял гордый вид и грубо потребовал, чтобы ему освободили руки.

— Иначе дальше я не поведу, — нагло объявил он.

Олешко догадался, что опасность затонуть миновала. Эта галерея была, очевидно, уже выше уровня океана. Трясясь от ярости, он выхватил из рук Новикова карабин и щелкнул затвором. Диверсант отступил на шаг и принялся извиняться:

— Простите, пожалуйста, я не имел в виду ничего дурного. Я сам офицер, и ни за что на свете не пожелал бы навлечь на себя неудовольствие, — тут он приторно осклабился, — такого храброго офицера, как вы.

— Одаэва сиоко дзя най, кусо да, — прорычал Олешко. — Ведите дальше.

Но идти дальше Олешко не мог. Его лихорадило, горела рана, страшно ломило ушибленный затылок. Тогда Костенко, невзирая на его протесты, опять взвалил его на плечи. Свой карабин он повесил на шею японца, предварительно осмотрев узлы, спутывавшие руки диверсанта, и высыпав патроны. Идти с каждым часом становилось труднее. Измученный японец то и дело падал. Новиков в конце концов сжалился и забрал у него карабин. Олешко потерял сознание, метался, бредил. Но останавливаться больше было нельзя. Батарейки в фонарях были на исходе. Пограничники с тревогой следили за тем, как тускнеет и принимает красноватый оттенок световой круг. Новиков собрался уже достать свечу, когда японец вдруг встал, как вкопанный, огляделся и выдохнул: «Коко...»

Направо виднелся узкий ход. Заглянув туда, сержант радостно вскрикнул. В конце хода слабо брезжило сероватое пятно дневного света.

Олешко очнулся от спирта, жидким пламенем наполнившего горло. Он открыл глаза и тут же зажмурился. Ослепительное радостное солнце било ему прямо в лицо.

— Выбрались? — прошептал он.

— Выбрались, однако, товарищ капитан, — прогудел Костенко, пряча заветную флягу. — Теперь отдохнем малость, и до дому.

— Далеко же мы зашли, — послышался голос Новикова. — Никак к серному заводу. Ну да! Глядите, товарищ капитан!

Олешко приподнялся. Они находились на склоне крутой скалистой горы. Внизу проходила утонувшая в зелени узкая долина, за нею поднималась вторая гряда сопок. Там, куда указывал Новиков, виднелись

развалины какого-то деревянного строения.

— Это и есть серный завод. Там японцы серу добывали, что ли... Сейчас спустимся, пройдем километра два этой долинкой, поднимемся на сопочку и увидим горячее озеро... — Сержант запнулся. Олешко захохотал.

— Похоже, что свидание состоится, а, Новиков?

— Похоже, — пробормотал, смущенно улыбаясь, сержант. — А я, признаться, только сейчас о нем вспомнил.

— О чем это? — спросил Костенко, удивленно глядя на него.

— Так, об одном деле, потом расскажу. Ну, гляди, куда самурай нас вывел. Вот. Не думал, не гадал...

Это было огромным наслаждением — брести по колено в густой сочной траве, ощущая всем телом живительное тепло солнечных лучей, вдыхая полной грудью (пусть при каждом вдохе саднит рана в плече, для таких ощущений можно и потерпеть) чистый воздух, напоенный терпким запахом свежей зелени. Страшные катакомбы, обитающая в них фантастическая нечисть, вода, идущая по пятам, таинственный красный газ — все это казалось здесь нереальным и далеким, приснившимся после приключенческой книжки, сном, от которого осталась только тяжелая усталость, боль в ране и связанный диверсант. Олешко сорвал красивый цветок, поднес его к носу. К его удивлению, никакого аромата у цветка не было.

— Это уж так на нашем острове, — вздохнул почему-то Новиков. — Не пахнут наши цветы, хоть и красивые.

Перед подъемом на сопку отдохнули, лежа в траве. Видя, что японец совершенно выбился из сил, Олешко приказал развязать ему руки. На всякий случай сказал:

— Попытаетесь бежать — за последствия не отвечаю. От наших солдат не убежишь, а поймают, не будут, наверное, смотреть на ваше дворянское звание, господин Сунагава. Наложат по шее самым простонародным образом.

Японец сделал вид, что не расслышал или не понял. Повторять Олешко не стал. Воля врага была сломлена, и он знал это.

Когда они, запыхавшись, выбрались на гребень сопки, покрытый запыленным снегом, Олешко ахнул от восхищения. Далеко внизу синело ярко круглое озеро, окруженное желтыми и бурыми скалами. Кое-где из скал поднимались струйки белых паров. Свежий ветерок доносил слабый запах сернистых газов. Несколько десятков крохотных фигурок виднелись на берегах — молодежь из рыбацкого поселка не пожалела ног ради удовольствия выкупаться в целебных горячих водах, хотя мало кто

нуждался в целебных свойствах этих вод. Озеро было поводом, а не целью для прогулки и веселого пикника.

— Отдохнули? — спросил Олешко.

— Отдохнули, товарищ капитан, — откликнулся Новиков. — Ну, ты, бандит, ступай вперед. — И он подтолкнул японца к спуску.

Путь их проходил по самому берегу озера, и парни и девушки с удивлением разглядывали почерневших от подземного праха пограничников и ободранного маленького японца, устало-равнодушно смотревшего себе под ноги.

— Поймали субчика? — крикнул кто-то.

— Молодцы, пограничники! Жаль только, что не пристукнули...

— И чего эта сволочь суется к нам?

— Глядите, чтобы опять не убежал...

— Убежит — поймаем да так дадим, что забудет, как бегать...

И Настя тоже была здесь. Увидев Новикова, она слабо охнула и шагнула было к нему, но сержант повел бровями, и она остановилась, прижимая руки к груди, глядя на него с немой преданностью и восхищением. Олешко улыбнулся, нагнал сержанта и проговорил вполголоса:

— Пропала теперь девка. Навеки приворожил ты ее сегодня.

Новиков растерянно оглянулся на него, хотел что-то сказать, но только вздохнул. Озеро осталось позади.

Вечером, с пристрастием расспросив доктора и фельдшера, полковник Крюков вошел в комнату, где лежал Олешко, и присел на край его койки.

— В состоянии? — спросил он.

— В состоянии, товарищ полковник, — сказал капитан. — Мне даже не терпится.

— Ну, лады. Нелюдин! Поставь здесь нам стол, дай бумагу, чернила, и веди японца сюда. Будем ковать железо, пока горячо. Ну, Олешко, удивил ты меня. Зарекусь теперь тебя вышучивать.

Олешко с трудом сдерживал счастливую улыбку.

Глава пятая ЧЕТВЕРТОЕ ЦАРСТВО

— Прошу извинения, товарищ генерал, — сказал капитан Олешко. — Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите о Четвертом Царстве.

Генерал Игнатьев, ученый с мировым именем, улыбнулся, поглаживая

небольшую серебряную бородку.

— Ну, видите ли... Это, разумеется, довольно условное выражение, — ответил он. — Поэтическая вольность, если хотите. Некогда естествоиспытатели делили природу на три царства: царство минералов, или неживых вещей и явлений, растительное царство и царство животных. В те времена считали, что эти области явлений природы совершенно обособлены и друг с другом не связаны. Современная же наука полностью отвергает представление об их обособленности. Четкой границы между живым и неживым нет, тем более нет ее между растительным и животным мирами. Так что употреблять выражение «три царства природы» в строго научном смысле по меньшей мере предосудительно. И когда я говорил о Четвертом Царстве, то просто имел в виду явления, которые не укладываются в некоторые наши представления ни о растительном и животном мире, ни о неживой природе.

— Непонятно, — покачал головой Олешко. — Как же это так, ни живое, ни мертвое... Что-нибудь вроде вирусов, может быть?

— Нет. Биология отводит вирусам вполне определенное место в общей схеме органического мира. Вирус — простейший живой организм, нечто от переходной ступени от живого вещества к живому существу. И как он ни мал, сколь ни примитивны его физиологические отправления, принципиально он не отличается от более высокоразвитых организмов. Короче говоря, вирус — это живое. А Четвертое Царство — оставим для простоты такой термин — должно коренным образом отличаться от живого. Ведь что такое живое? Что такое жизнь?

— По Энгельсу, — сказал Олешко, — жизнь есть способ существования белковых тел.

— Совершенно верно. Способ существования белковых тел. Следует добавить, что этот способ существования характеризуется способностью данной комбинации белков производить постоянный обмен веществ с окружающей средой, размножаться, так или иначе реагировать на внешние раздражители и так далее. Но самое главное — жизнь немыслима без белка. Вирус отвечает всем этим условиям. А вот явления, которые я отношу к Четвертому Царству, не отвечают, во всяком случае, отвечают не полностью. Следовательно, они не являются жизнью. Четвертое Царство не знает белка. В известном смысле оно даже враждебно белку. И в то же время оно резко отлично от инертной неживой природы, ибо обнаруживает, хотя и очень своеобразно, целый ряд свойств, присущих только живым организмам.

— Значит, то, что мы видели в тоннеле на Кунашу, и было из

Четвертого Царства?

— Совершенно не сомневаюсь в этом. Между прочим, товарищ Олешко, ведь вы — один из немногих, кому привелось взглянуть на красный газ во всем его великолепии, не так ли?

— Пожалуй, товарищ генерал. Если не считать Сунагаву, яму, гнездо красной пленки, видели только трое — я, сержант Новиков и Костенко. Да и то мельком. Нам было тогда не до этого. Мы наткнулись на нее неожиданно и были слишком ошарашены, чтобы разглядеть что-нибудь. Меня ранило, началась перестрелка, так что при всем желании я не возьмусь сообщить вам какие-либо подробности. Помню только широкую поверхность, переливающуюся темно-красным светом, словно расплавленный металл. И такой же багровый туман над ней. Может быть, Костенко или Новиков...

Генерал кивнул.

— Описание внешнего вида явления у нас есть. Ведь Сунагава, как выяснилось, давно уже был знаком с красным газом. Он совершенно случайно открыл его в начале сорок пятого года во время строительства этой самой подземной крепости. Среди бумаг, которые ваша группа обнаружила в сейфе в верхней пещере, оказалось много документов, непосредственно касающихся красного газа. Часть их составлена самим Сунагавой. Так что нам известно теперь о красном газе все, что знал о нем этот неудавшийся фабрикант смерти. И надо сказать, дорогой Олешко, редкое открытие уходит своими корнями в такую чудовищную пучину жестокости и научно организованного варварства. Вы — непосредственный участник событий на Кунашу, и вам следует знать кое-какие детали этого дела.

Генерал поднялся, прошел к книжному шкафу и достал большую зеленую папку.

— Здесь у меня все письменные материалы по красному газу, — сказал он. — Все, что найдено вами, все, что я обнаружил в архивах трофейных документов, все, что имеется по этому вопросу в иностранной прессе.

Он раскрыл папку, и Олешко увидел кипу пожелтевших бумаг, исписанных иероглифами, несколько тетрадей, конверты с газетными вырезками.

— Как видите, много документов на японском языке. К каждому приложен перевод. Впрочем, вы, кажется, сами знаете японский, не правда ли? В свое время я хотел привлечь вас к работе с этой документацией, но не смог договориться с вашим начальством... Ага, вот он.

Генерал извлек большой лист бумаги, истершийся на сгибах, и

бережно развернул его. Олешко с любопытством скользнул взглядом по аккуратным колонкам иероглифов, написанных поблекшими синими чернилами. Поперек текста шла размашистая надпись красным карандашом.

— Докладная записка гарнизонного врача Кунашу майора Сунагава генералу Исии. Надпись красным — по-видимому, резолюция самого Исии, — сказал он. — Если вы не возражаете, товарищ генерал, я бы предпочел прочитать готовый перевод.

— Пожалуйста. — Генерал перелистал одну из тетрадей. — Вот он.

Олешко прочел: «Его превосходительству генералу Исии от майора медицинской службы Сунагавы, старшего врача гарнизона 17-А. 5 июня 1945 года. Считаю своим долгом довести до сведения вашего превосходительства, что при строительстве подземных сооружений в гарнизоне 17-А было обнаружено скопление неизвестного вещества, похожего одновременно и на коллоид, и на газ. Это скопление располагается в обширной пустоте в толще гранита на глубине около тридцати метров ниже уровня океана. Указанное вещество проникло в штольню, проходившую недалеко от места скопления. Проникновение его сопровождалось сильным взрывом, в результате которого обрушилась стена штольни. Вещество быстро затопило штольню, причем погибли не только те рабочие и техники, которые остались в нем, но и часть успевших выбраться на поверхность. Исследовав характер повреждений, нанесенных им, я пришел к выводу, что смерть их последовала не от контузии и не от отравления, а от странных ожегообразных поражений, напоминающих лишаи. Это навело меня на мысль о возможности использования упомянутого «газо-коллоидного» вещества в интересах империи. Воспользовавшись существующим приказом об уничтожении больных и раненых рабочих на стройках особого назначения, я с разрешения начальника гарнизона полковника Ояма собрал потерявших трудоспособность шестьдесят китайцев, корейцев и англо-американских военнопленных в одной из штолен по соседству с гнездом газа и велел им пробивать ход к гнезду. Результат получился удовлетворительный. Когда через два дня, приняв все меры предосторожности, я спустился к подопытным, все они были мертвы, в том числе охранявший их солдат. Никаких следов газа там не оказалось, не было его и в галерее, прилегающей к гнезду. К сожалению, пролом в стене оказался завален, и доступ к гнезду был невозможен без специальных работ. Даю описание газа на основании собственных наблюдений и со слов оставшихся в живых свидетелей взрыва. Это клубящаяся, непрерывно движущаяся

железобразная масса, по-видимому, легче воздуха или одного с ним удельного веса. Светится интенсивным красным светом, запаха не заметно. Исчезновение его из прилегающих штолен объясняю разложением в результате реакции с воздухом. Уверен, что, проведя должные работы, можно добиться доступа к гнезду, исследовать это вещество и, возможно, найти ему военное применение».

— К этой бумаге приложено описание состояния убитых газом, — сказал генерал. — Суть этого описания сводится к тому, что кровь жертв содержит невероятно малое количество эритроцитов и кишит белыми кровяными шариками, что наблюдается омертвление кожных покровов и так далее. И резолюция Исии: «Благодарю за усердие. Продолжайте работу. Обещаю помочь». Как вам это нравится?

— Да, мерзавец отменный, — пробормотал Олешко. — Врач-убийца... И все остальные бумаги тоже в таком роде?

— Есть и такие, — сказал генерал. — Японские фашисты в людоедстве ничем не уступали немецким.

— Или американским. Стоит только вспомнить генерала-чуму Риджуэя.

— Кстати, да будет вам известно, — заметил Игнатьев, — что именно Риджуэй дал санкцию на проведение операции по добыче образцов красного газа. А вот еще один документ. Хотите послушать?

— Конечно, товарищ генерал.

— «Приложение 2 к рапорту от 17 июля. Описание методики третьей серии опытов с ака-гасу. Подопытных на веревках опускали с головой в гнездо и держали в красной пленке по хронометру от одной секунды до двух минут, после чего помещали в специально для этого отведенный штрек, забранный решеткой, что позволяло вести за ними непрерывное наблюдение. Установлено, что все подопытные, независимо от времени их пребывания в красном газе, умерли в страшных мучениях через двенадцать-пятнадцать часов после опыта».

— Сволочь какая, — непроизвольно вырвалось у пораженного Олешко. — Вы знаете, товарищ генерал, ведь мы нашли этот самый «специальный штрек». Он был битком набит мертвецами. Полковник Крюков рассказывал мне, что их пытались вытащить на поверхность и похоронить. Но они рассыпались при первом прикосновении, превращались в пыль...

— Это я знаю, — сказал генерал. — А вот не скажете ли вы мне, не было ли чего-нибудь необычного в тоннелях поблизости от гнезда?

Олешко подумал и рассказал о зарослях исполинской плесени, о

громадных слизняках и мокрицах. Слушая его, генерал кивал головой. Затем достал еще один документ.

— «Эманации красного газа вызывают усиленный рост и развитие низших организмов, хотя на человека действуют весьма болезненно. Особенно благотворно их влияние на скорость размножения различных бактерий и микроскопических грибков». Это отрывок из проекта второй докладной Сунагава, в которой он, по-видимому, старался подытожить свои наблюдения. Теперь послушайте выдержку из его дневника: «В десять часов вечера на поверхности пленки начало образовываться воронкообразное возвышение, сопровождавшееся быстрым вращательным движением ее частиц вокруг этого места. Воронка увеличивалась, вытягивалась подобно смерчу, и закругленный конец ее раскачивался в разные стороны. Свечение было в этот момент особенно интенсивным. Затем она почти мгновенно превратилась как бы в длинное щупальце, которое протянулось из ямы и устремилось...» — тут неразборчиво, как отмечает переводчик. Так, дальше... «Все трое подопытных китайцев и один из солдат погибли через полсуток. Полковник Ояма порекомендовал мне быть осторожнее и обеспечить впредь безопасность солдат».

— Новиков рассказывал, — заметил Олешко, — что они с Костенко тоже наблюдали что-то в этом роде, пока я был без сознания.

— Вот как? — Генерал погладил бородку и с интересом взглянул на него. Потом махнул рукой. — Впрочем, теперь это уже все равно. А жаль... право, жаль... Но вы избежали, в таком случае, страшной опасности.

— Товарищ генерал, — набравшись смелости, спросил Олешко, — что же было в той свинцовой банке? Красная пленка?

— Да, там был единственный в мире сохранившийся образец Четвертого Царства. К сожалению, мы не имели еще тогда бумаг Сунагава, а сам он упорно отлынивал от разговоров на эту тему. У нас был только сбивчивый и показавшийся нам мало правдоподобным отчет, составленный Крюковым с ваших слов. Тем не менее мы открыли банку со всеми мерами предосторожности. В банке оказался комок красноватой прозрачной массы, упругой и сухой на ощупь. В темноте он светился слабым багряным блеском. А внутренние стенки банки были покрыты слоем радиоактивного кобальта. Впоследствии это обстоятельство навело меня на кое-какие размышления, но тогда мы только удивились. В результате пленка, помещенная в простую толстостенную стеклянную посуду, распалась на следующий же день. Единственный в мире образец... Мы успели узнать очень мало. Срез под микроскопом показал подобие клеточного строения, напоминающего колонии бактерий или вольвокс. Химический состав —

много кремния, есть следы кислорода. Об остальном можно только догадываться. Что касается смертоносных свойств красного газа, то вот...

Генерал положил на стол руки ладонями вверх, и Олешко увидел множество тонких извилистых шрамов, покрывающих их причудливым рисунком.

— Я забыл об осторожности и несколько раз брал пленку голыми руками. Зажили только через два-три месяца.

Олешко вздохнул.

— Я только побывал возле ямы, и то врачи удивлялись, почему моя рана так долго не затягивалась. Кроме того, мы все трое, а особенно японец, долго еще испытывали приступы головокружения и слабости. Потом прошло. Но что же все-таки представляет собой этот красный газ?

Некоторое время генерал молчал, приводя в порядок бумаги в папке. Затем неохотно сказал:

— У меня есть, конечно, на этот счет некоторые соображения, но, насколько они соответствуют истине, сказать трудно. Для меня ясно одно: красный газ — не мертвая материя. С другой стороны, как я уже говорил, это не белок, следовательно — не живой организм. Несомненно, он может размножаться, иначе быстро распался бы, соприкасаясь с воздухом. Значит, он способен брать из окружающей среды материалы и энергию для своего воспроизводства. Можно представить себе такую форму организации материи, которая приспособлена для воспроизводства за счет, например, энергии радиоактивных веществ. Возможно, гнездо красного газа образовалось в толще радиоактивных залежей. Это представляется наиболее вероятным вариантом, и Сунагава, как видно, понимал это, когда упаковывал образец в банку с радиоактивным кобальтом. Конечно, возможны и другие теории... Но если принять «радиоактивную» теорию, красный газ должен выглядеть следующим образом. Его молекулы поглощают энергию жесткого гамма-излучения радиоактивных атомов. Не исключено, что они как-то способны перехватывать и энергию альфа-частиц и электронов, образующихся при радиоактивном распаде. За счет этой энергии они совершают обмен веществ с внешней средой, то есть хотя бы с гранитными стенами ямы или с веществами, входящими в состав радиоактивных руд. Может быть, они абсорбируют и атомы радиоактивных элементов... Так они растут, делятся и так далее. Излишки энергии они отдают в виде весьма мягкого излучения, состоящего из красной, инфракрасной и еще более длинноволновой частей спектра. Так можно объяснить и странное влияние красного газа на живой организм. По-видимому, излучение его состоит, главным образом, именно из

электромагнитных колебаний такой длины волны, которые больше не встречаются нигде в природе. Искусственно их вызывали путем пропускания электрического тока через железные опилки, взвешенные в масле. Свойства их мало изучены. Вероятно, они действительно должны активизировать рост и развитие низших организмов. Но, повторяю, это только рабочая гипотеза. Что касается ячейкового строения пленки, то, мне кажется, естественно предположить красный газ похожим на вольвокс — колонию одноклеточных организмов. Как возник красный газ, закономерно ли его возникновение, или он самозародился в совершенно исключительных неповторимых условиях, обо всем этом судить трудно. Остается только пожалеть, что мерзавцу удалось затопить крепость. Под водой красный газ несомненно погиб. Хотя, кто знает...

— Если красный газ не распался, — сказал Олешко, — мы все равно рано или поздно доберемся до него. Доберемся, изучим и заставим служить себе, как заставляем служить все силы природы.

— Судя по тому, что я слышал об этой самой крепости, — с сомнением проговорил генерал, — добраться туда будет трудно.

— Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Возьмем и эту!

ПЕСЧАНАЯ ГОРЯЧКА

— Знаешь, — сказал Боб, — я сейчас бы выпил томатного сока. Холодного томатного сока... — Он перевернулся на другой бок и с отвращением выплюнул окурок. — Когда от сигарет болит язык, лучше всего выпить томатного сока.

— Когда у тебя что-нибудь болит, надо пить коньяк. — Говоривший был велик ростом и тощ. Звали его Виконт. — Можно водку. Годятся и ликеры. Не возбраняется вино, в котором, как известно, истина. Но лучше всего — спирт...

— Ты забыл пиво. Ты болван, — сказал Боб, — я бы выпил сейчас пива...

В палатке было жарко и темно. На полу валялись спальные мешки, множество окурков, винтовка, стреляные гильзы и пара сапог. В низкую треугольную дверь палатки виднелись красноватые сумрачные барханы и обложенное тяжелыми тучами небо. Налетал порывами горячий ветер, шелестел брезентовыми стенами.

— Слушай, Боб, у тебя скрипит песок на зубах?

— Не успеваю отплевываться. А что?

— Мне надоело. Я жую его вторую неделю. Это нервит. Я подожду еще пару дней, накоплю побольше слюны, пойду к нашему и...

— По дороге ты будешь питаться слюной и гильзами. Ты будешь ужасен в своем гневе, ты будешь рубить колючки, но Багровое Небо сожжет тебя, и твой высохший труп занесут пески. Ибо такова жизнь. Уходя, не забудь выстрелить себе в лоб — это укоротит твой тернистый путь и сбережет много драгоценного времени. Я буду рыдать над твоим телом. Клянусь удачей.

Боб сплюнул и потянулся за сигаретой. Сел, чиркнул спичкой, закурив, стал разглядывать свои босые ноги. Осторожно потрогал вспухший синий шрам.

— Здешние муравьи кусаются подобно леопардам, — сказал он, — ты должен пожалеть меня, Виконт.

Виконт не ответил. Порыв ветра распахнул полы палатки, дохнул горячим песком. Боб кряхтя поднялся, чертыхнулся, задев за столб, и неторопливо вылез из палатки.

— Горячо, дьявол, — донесся его голос. — Виконт, дружище, ты сгниешь заживо... Выйди подышать чистым воздухом. О, этот воздух! Он

прохладен, как дыхание холодильника! Ривьера, Ривьера! Не верите? Нюхните сами...

Виконт, злобно жуя губами и поминутно сплевывая, слушал, как Боб бродил вокруг палатки — проверял крепления. Из-за стенки сквозь шелест ветра доносилось:

В стране, где зной, где плеск волны морской,
Жил длинноногий Джо...

До чего же горячо пяткам! Ай-яй!..

Ром кружкой пил, в бар часто заходил...

Виконт, какой у нас обычно ветер?.. Ага, понятно.

...В бар часто заходил...

Виконт, выйди, милый, дело есть...

Потом что-то случилось. Стенки палатки колыхнулись, треснул и накренился столб. Виконт поднялся и сел, прислушиваясь. Голос Боба:

— Эй-ей! Тебе чего?.. Пошел!.. А-а-а-а!.. Виконт, ко мне!..

За стеной дрались. Боб крикнул и замолчал. Палатка тряслась, доносилось хриплое тяжелое дыхание.

На ходу загоняя в карабин обойму, путаясь в спальных мешках, Виконт кинулся из палатки. Зацепившись затвором за петлю в дверях, несколько секунд остервенело рвал брезент, освобождаясь...

— Ввва-а-а!.. — неслось из-за палатки...

— Эге-гей! Держись, Бобби! — рявкнул Виконт, огибая угол. Там не было никого и ничего. Только разрытый горячий песок...

— Бобби... — тихо сказал Виконт, озираясь, — Бобби, дружище...

Дымящиеся красные барханы, саксаул, раскаленное тяжелое небо... обвисший брезент палатки... всё. И разрытый горячий песок. Виконт облизал губы.

— Бобби, где ты?

Он выплюнул песок и медленно пошел вокруг палатки. Красные барханы, саксаул, разрытый горячий песок... всё.

— Я болен, — нерешительно сказал Виконт.

В брезент с глухим шорохом били мириады песчинок. Гулко стучала кровь в висках. Небо темнело, опускалось ниже и ниже. Виконт передернул затвор, несколько раз выстрелил вверх. Затем испуганно огляделся. Он был один.

— Если это шутка, Боб, то очень неудачная. И я воздам тебе... — Голос его упал.

Разумеется, это не было шуткой, и Виконт с самого начала прекрасно понимал это. Но ему вдруг почему-то стало смешно, и он рассмеялся:

— Ладно, Боб, захочешь жрать — придешь.

Виконт решительно обогнул палатку и полез внутрь. Разумеется, первое, что он там увидел, был Боб, вернее, его ноги — длинные, сухие, в серо-зеленых парусиновых сапогах, они торчали из-под спальных мешков. Тогда Виконт рассердился. Он снял с центрального столба знаменитую многохвостую плетку Джаль-Алла-эд-Муддина из жил древнего зверя Уф и угрожающе взмахнул ею.

— Вылезай, старое дерьмо! — заорал он. — Вылезай, не то восплачешь, аки жиды у стен Синайских!

Боб не двигался. Виконт осторожно ударил по мешку. Сапоги не дрогнули.

— Кэ дьябль! — пробормотал Виконт, боясь, что мелькнувшая мысль вернется снова. — Хватит валять Катта. Вставай.

И вдруг, задрожав от нестерпимого ужаса, отскочил назад: ноги не двигались. Шуршал песок по брезенту палатки. Гулко стучала кровь.

— Это ничего, — громко сказал Виконт.

Он бросил плетку и нагнулся над одеялами. Тонкий вязкий запах красного цвета ударил ему в нос. Тонкий пьянящий аромат — единственный в мире аромат — самый вкусный запах во Вселенной, запах свежей крови. Одеяла еще скрывали его источник, но можно уже было догадаться, что это не Боб. Кровь Боба пахнет не так, Виконт хорошо знал это. Но — сапоги? Серо-зеленые сапоги Боба? Ах, но ведь это очень просто... Виконт сбросил одеяла и усмехнулся:

— Так и есть!

Задрав вверх свалявшуюся бородку и открывая бесстыдно широкую черную щель над ключицами, загадив простыни кашей из крови и песка, лежал там смуглый человек в пестром халате.

— Здравствуй, Бажжах-Туарег, — улыбнулся Виконт.

Бажжах не ответил. Он пристально всматривался в обвисший брезентовый потолок и сжимал в правом кулаке клочья короткой рыжей

шерсти — космы с круглой веселой головы Боба.

— Неужели Боб отдал тебе свои сапоги... да еще и вместе с ногами! — глумливо спросил Виконт.

Мертвец улыбнулся и сел, отряхивая руки. Его лицо заливала краска, светившаяся в темноте...

Палатка снова затрепетала. Голос Боба тревожно спросил:

— Виконт, ты что?.. Тебе плохо?..

Виконт обернулся: в дверях, согнувшись, стоял Боб черным силуэтом на красном фоне песков.

— Я тебя звал, ты не слышал? С кем это ты болтал тут? Да очнись ты, старый сапог!..

Виконт вытер пот со лба, сплюнул, глянул через плечо. В сумраке — покосившийся столб, сваленные в кучу спальные мешки, окурки...

— Плохо дело, Бобби, старина, — он не узнал своего голоса, — здесь был Бажжах. Я видел его лучше, чем тебя сейчас...

— Бажжах-Туарег?! — Боб нырнул в палатку, выпрямился, настороженно озираясь. — Ты не ошибся? Ты понимаешь, что ты говоришь...

Он осекся. Виконт опустился на пол, сел, обхватив голову руками.

— Бажжах-Туарег... — прошептал он с отчаянием. — Мы погибли, Боб. Господи, помоги нам! Мы хуже, чем умерли... Бажжах-Туарег!.. Это конец, это конец, Бобби... Мы все равно что мертвецы теперь...

Боб кинулся было из палатки, потом вернулся и встал, вцепившись в центральный столб.

— К дьяволу, Вик! — прохрипел он. — Я не видел его... Ведь меня не было в палатке, не правда ли? Почему МЫ? Ведь Я-то не видел его?..

Он сел на одеяла и начал быстро обуваться. Руки его дрожали. Виконт быстро повернулся к нему:

— Ты... ты... уходишь?.. — Он судорожно глотнул. — Ты хочешь уйти... Боб?

Боб не отвечал. Он торопливо шарил в полутьме, хватал одежду, коробки с сигаретами, патроны — совал в рюкзак. Виконт несколько секунд молча следил за ним, облизывая сухие губы.

— Не оставляй меня одного, Боб... — проговорил он наконец, — позволь мне идти с тобой... Ведь мы старые друзья, не так ли?.. — Он потянулся дрожащей рукой к плечу товарища — похлопать. Тот, дико глянув, шатнулся в сторону. Виконт рванул на себе ворот: — Я буду нести палатку, Бобби... И... и винтовки, если хочешь. Может быть, я ошибся?.. Ну ясно же — я ошибся, мне показалось... Мне...

Он замолчал и весь наклонился вперед, стараясь поймать взгляд Боба. Тот затянул ремни, вскинул на плечо карабин и, не глядя на Виконта, шагнул к двери, волоча рюкзак по песку. Вцепившись в одеяло судорожно сжатыми пальцами, Виконт смотрел, как он, наклонившись, вылезает наружу. Красный треугольник двери исчез на мгновение и вновь появился, шаги зашуршали, удаляясь, и вдруг остановились. Виконт не отрываясь глядел на дверь. Пот крупными каплями стекал по его худым щекам.

Палатка колыхнулась, тело Боба опять заслонило вид на красные пески.

— Мы старые друзья, Вик... — Голос Боба дрогнул. — Клянусь удачей, я всегда любил тебя больше прочих... Ни с места, — вдруг заорал он, выбрасывая вперед карабин, — без эксцессов!.. Не прикасайся ко мне!

Он быстро отступил назад, выпуская из палатки бросившегося было к нему Виконта. Теперь они стояли лицом к лицу: Виконт с потухшими глазами, устало опирающийся о податливый брезент, и Боб с карабином на изготовку.

— Ты знаешь, я не могу взять тебя с собой, — мягко сказал Боб. — Ты не первый и не последний... Вспомни Хао... и Дэрка... и Зисса... Тебе ведь и самому приходилось поступать так же. Теперь твой черед... Когда-нибудь придет и мой... Не сердись, Вик, дружище... Прощай.

Они посмотрели друг другу в глаза. Боб отвернулся...

Далекий протяжный грохот заставил обоих задрать головы. Небо задрожало, пелена туч лопнула, пропуская добела раскаленное громадное тело, окутанное паром и дымом. Оно медленно опускалось на равнину, сотрясаясь от грохота.

— Это они!!! — покрывая дикий рев, заорал Виконт, хватая Боба за плечи. — Это они!.. Клянусь богом, это они...

Тело коснулось почвы и мгновенно скрылось в тучах песка. Земля дрогнула под ногами. Виконт, покачнувшись, бросился к палатке, таща за собой Боба. Тот не сопротивлялся...

Лохматый черно-оранжевый столб уперся в низкое небо. Раскаленный ураган свалил Боба и Виконта с ног, и они покатились по песку, как пустые папиросные коробки катятся по асфальту летнего города в ветреный день.

— Это ничего! — кашляя и отплевываясь, кричал Виконт. — Это пустяки... все пустяки! Милая старая Земля! Ты пришла за нами!

Им удалось остановиться. Боб поднялся первым, протирая глаза и тряся головой. Вихрь наконец унялся, и стала видна дрожащая сизая масса в полукилометре от них. Постепенно воздух вокруг нее успокоился. Не спуская глаз с астроплана, друзья медленно, с трудом вытягивая ноги из

песчаных наносов, двинулись к нему. Виконт всхлипывал судорожно от возбуждения и радости. У Боба был вид человека, вынутого из петли на секунду раньше, чем этого требовал приговор. Впрочем, карабин он держал под мышкой.

— Хао... Дэрк... Зисс... — бормотал Виконт. — Что мне за дело? Я вернусь и поправлюсь. Не правда ли, Бобби? Ведь я еще не совсем... И я не виноват, что Бажжах украл у тебя ноги... Но до чего все это смешно! Понимаешь, открываю я одеяло, а он тут... Такой же, как тогда... когда его убил Джаль-Алла... — Он захохотал идиотским смехом и забился от кашля. Боб ничего не сказал. Он только ускорил шаг.

До астроплана оставалось не больше двадцати шагов, когда часть его сизой щербатой поверхности откинулась, открыв квадратный провал люка. Несколько человек в легкой нейлоновой одежде выпрыгнули на песок, неуклюже подворачивая ноги.

— Эхой! Боб! Виконт! — крикнул один из них. — Живы? А где остальные?

Боб раскрыл было рот, но Виконт снова залился хохотом.

— Они все вернулись домой... и даже глубже! — заорал он. — Молитесь за них, ребята... за них и за старину Бажжаха. А я... вы видите меня, не правда ли? — я жив и здоров... не верите?

— Скорее! — стараясь перекричать сумасшедшего, визжал Боб. — Все в палатку и за дело! Забирайте товар! Грузитесь и сейчас же назад!

Экипаж астроплана окружил их. Кто-то схватил Виконта за руки и заставил замолчать. Командир растерянно сказал:

— У меня совсем другие инструкции, Боб. Я должен остаться здесь до тех пор, пока на базу не вернется группа Кайна... у них Золотое Руно.

Боб сбросил с плеч вещевой мешок и принялся с нарочитой медлительностью рыться в нем. Все стояли молча, неподвижные, не в силах оторвать взгляды от его дрожащих рук.

— Не держите меня, ребята, я здоров, — сказал Виконт. — Могу взять любой интеграл... или хотите, я расскажу вам, что случилось с Кайном?

Боб поднялся, протягивая командиру толстый сверток, обернутый в прорезиненную материю.

— Вот все, что осталось от группы Кайна. — Голос его дрогнул. — И это еще много. Так что торопитесь, ребята. В этих песках и без вас уже достаточно костей.

— Джаль-Алла! — прошептал один из вновь прибывших.

— Джаль-Алла, — сумрачно кивнул Боб. — Торопитесь же...

Командир бережно сунул сверток за пазуху и аккуратно застегнулся.

— Я все же думаю остаться здесь на более долгий срок, — сказал он.

— Не имеешь права, — хрипло выдохнул Боб.

— У меня есть указания дождаться Кайна.

— Я говорю тебе, Кайн и его группа...

— Я ничего не слышал и ничего не знаю.

— Но Золотое Руно, которое я передал тебе. — Боб ткнул пальцем в выпуклость под грудью командира. — Если не веришь, убедись, посмотри...

— Ты мне передал? — На лице командира изобразилось глубочайшее изумление. — Ты бредишь, Бобби.

Он повернулся к остальным.

— Передавал он мне что-либо, ребята?

Те молчали, с презрительными усмешками рассматривая Боба. Брови командира строго насупились.

— Вы двое паршивых сумасшедших... болтаете черт знает что, сеете панику в моем экипаже... Я прикажу расстрелять вас обоих по законам Страны Багровых Туч...

— Предатель, — почти беззвучно проговорил Боб.

Командир вынул пистолет.

— За нарушение дисциплины, выразившееся в... э-э... попытке организовать саботаж, оскорблении старшего должностного лица при... э-э... исполнении служебных обязанностей...

— За сопротивление приказаниям, — добавил тот, кто удерживал под руки бьющегося в бессмысленном смехе Виконта. — Да стой смирно, сволочь!

— Вот именно... за сопротивление...

Рука с пистолетом поднялась. Боб, облизывая губы, смотрел в черный зрачок... Пистолет был пневматический, выстрел не был слышен.

— Теперь в дорогу, ребята, — капитан, морщась, совал пистолет в кобуру. — Пошевеливайтесь, дело сделано...

— А куда девать этого? — спросил тот, что держал Виконта.

— К черту! Пусти его. По местам!

Виконт сел на песок рядом с телом Боба. Беззвучно смеясь, хлопал труп по плечу.

— Так-то, Боб... Так-то, дружище... — услыхал командир. Он брезгливо скривился, пошел, увязая в песке, к астроплану. Около люка остановился, положил руку на пистолет, оглянулся: Виконт, подпрыгивая, размахивая длинными тощими руками, брел к завалившейся палатке. Оглянулся — капитан увидел его перекошенное лицо, широко открытый

рот — Виконт пел, и слова сквозь ветер донеслись до командира, закрывающего люк:

...В бар часто заходил
...наш Джо... о-о-о...

Люк мягко захлопнулся.

Воздушным смерчем Виконта пронесло мимо палатки, и он еще несколько секунд лежал задыхаясь, полузасыпанный песком. Потом привстал и огляделся. Там, где только что стоял астроплан, тянулся к небу песчаный смерч, ветер гнал его вдаль. Песок вспыхивал, наливался горячей светящейся кровью, как давеча лицо Бажжах-Туарега, и это было очень смешно. Виконт хохотал от души, зарывался в горячий песок и нисколько не удивился, увидев рядом с собой Кайна. Тот тряс его за плечи, хрипел:

— Кто это был? Где Боб? Отвечай, отвечай!..

— Здорово, Кайн! — весело сказал Виконт. — Ты еще не видел Боба?! Он отправился туда, к вам... Веселый славный парень, ей-богу!.. Ему даже не дали рассказать, как тебя убил Джаль-Алла... тебя и Бажжаха... и всех. — Виконт разразился рыдающим хохотом.

— Песчаная горячка... — пробормотал Кайн, отодвигаясь. Он был весь черный, спалённый пустыней, покрытый вспухшими язвами, иссеченный песком.

— Я-то знал, что вы все живехоньки, — болтал Виконт, — я сегодня видел Бажжаха... Здоровый, веселый... светится... А Боб говорит: «Скорее, скорее. В песках и так уже... это... кости... Вот, мол, все, что осталось от Кайна». Шутник, ей-ей!..

— Что за дьявол, я жив! Он знал это. — Кайн растерянно озирался вокруг.

— Ругаются!.. Боб кричит — Руно! А тот говорит — прикажу расстрелять! Чудаки! Залезли в звездолет и — дззык!..

— Виконт, парень, очнись. — В голосе Кайна дрожали страх и надежда. — Где Боб? Может, он в палатке? Или улетел... Ведь не может же быть...

— Боб там лежит... Ты разве его еще не встречал? Он пошел к вам... к вам... Из пистолета... Золотое Руно, говорит, если не веришь — убедись...

— Золотое Руно?.. — прошептал Кайн, медленно поднимаясь с колен. — Какой подлец!..

Виконт видел, как с горизонта поползли красные мокрые облака,

опускался мрак. Едва видимый теперь сквозь красную мглу, Кайн вдруг рванул на себе рубаху и, увязая в песке, тяжело побрел куда-то в туман. Туман на секунду рассеялся, и Виконт в последний раз увидел: красные барханы, саксаул, горячий песок, тяжелое багровое небо...

ЗАТЕРЯННЫЙ В ТОЛПЕ

– Что-нибудь экстраординарное?

– Да как вам сказать... – Доктор Атта пожал плечами. Осторожно поднял бокал, отпил половину. – Да как вам сказать... Я ведь, собственно, не психиатр, я ларинголог, а горло у него было в полном порядке... (Гость вежливо улыбнулся.) В общем, сильное расстройство нервной системы... полная потеря памяти, речи... Нарушена координация движений – знаете, эдак заплетается на ходу, не сразу соображает, какой рукой взять что-нибудь, иногда сидит минут пять, не может встать – забывает, как... Одним словом, даже мне ясно – здесь пока нечему удивляться.

Гость согласно кивнул головой и сказал:

– Я видел случай более оригинальный. Помню...

– Да-да, простите. Я еще не кончил. Дело, конечно, не в этом. Знаете ли вы его историю? Как он попал к нам?

– Кое-что слыхал об этом, безусловно... Не уверен, правда... Это не в связи с катастрофой в Институте Сверхчастот?

– Да. Он был там швейцаром. Владислав Дьед – швейцар. В соседней лаборатории, где стоял новый генератор Ста – вы помните Ста, эдакий худощавый злобный мужчина? – так там лопнул какой-то баллон и произошло что-то вроде замыкания. Никто не пострадал – подождите, не перебивайте, я знаю, что вы хотите сказать, – никто не пострадал, потому, вероятно, что лаборанты в это время сидели в столовой. Возвращаясь оттуда, они заметили только, что Дьед мирно дремлет в своем кресле у подъезда... В лаборатории же, конечно, вонь, гарь, валяются горелые провода... Все, впрочем, оказалось, в общем, в порядке – да не перебивайте же. Ребята бросились прибирать и вдруг слышат – звенит бьющееся стекло. Выглянули в коридор – бедняга Дьед стоит белый как бумага, плотно прижавшись к стене... Глаза выкачены, руки в крови висят как плети... Рядом – огромное зеркало разбито вдребезги. Увидел людей – шарахнулся в сторону, налетел на колонну, упал, пытался уползти. Тут его и схватили. Привезли к нам в клинику, а у нас, разумеется, нет психиатрического отделения – откуда ему быть? – психиатра тоже нет, а ближайший теплоход с Большой Земли приходит через полмесяца... Но был у нас, правда, один врач-терапевт, молоденький парнишка, но великая умница, чертовски талантливый, упокой, Господи, его душу, как говорится...

Гость удивленно поднял брови, хотел что-то сказать. Атта опередил

его:

– Да-да, это то самое, о чем вы порывались все время спросить. Взрыв, о котором все – и вы в том числе – знают. Разворотило весь Восточный корпус. Погибло человек пятнадцать – сам Ста, его лаборанты, этот парнишка-терапевт – звали его Авеесве, Артур Авеесве, Арчи, – и еще куча народу. Все, кто находился в лаборатории, в коридоре, на лестнице... В том числе, между прочим, новый швейцар. Беднягу обожгло радиацией – живого места не было...

– О, так вашему пациенту повезло! Вот уж воистину не знаешь, где найдешь, где потеряешь... Но вы говорили что-то о враче-терапевте...

Атта допил вино, кивнул и устроился поудобнее в кресле.

– Артур сказал, что давно увлекался психиатрией и что он возьмется если не лечить, то, по крайней мере, следить за больным. До чего же умный был парнишка! Знаете, я уже не молод, то, что называется старый опытный врач, – ergo скептик и все такое, но он умел увлечь меня... Он находил проблемы там, где все было вроде абсолютно ясно, а из каждого белого пятна вытягивал дюжину хитроумнейших гипотез, предусматривающих результаты всех возможных экспериментов – и невозможных тоже, – на которые у него, конечно, никогда не хватало времени. И вот Арчи предлагает мне понаблюдать за этим больным, собрать кое-какой материал. Его, видите ли, заинтересовали причины возникновения этого помешательства... Обстоятельства, действительно, были, мягко говоря, не вполне ясны... Человек сходит с ума от того, что за стеной, за капитальнейшей стеной лопается баллон и происходит короткое замыкание!

– Что же это – удар, сильное нервное потрясение, шок? – Гость был явно заинтересован.

– Не знаю, – откровенно сказал доктор. – Совершенно не могу себе представить... Даже сейчас. Тогда я мог еще меньше и тоже заинтересовался. Что будете пить – «Сино-Руа» или «Каркетон»?

– Все равно, – сказал гость. – Рассказывайте дальше.

– Я налью вам «Сино-Руа», – сказал Атта, выволакивая из буфета темного стекла бутылку с яркой этикеткой. – Это вам должно, по-моему, понравиться больше. Нет-нет, позвольте уж, я налью в этот... Вот так... Пейте маленькими глотками... Ну что? Нектар? Отлично! Так вот. Мы начали наблюдать за несчастным Дьедом. Первые дни старик был ужасен. Он не принимал пищи и почти не мог двигаться. Он лежал на койке в отдельной палате и часами остекленело глядел в потолок. Периоды мертвой неподвижности сменялись буйными припадками, когда его приходилось

привязывать к постели. Говорить членораздельно он не мог, только мычал как паралитик. Его мучил, по-видимому, нестерпимый непроходящий ужас. Он боялся всего: санитаров, мух, тарелок, гудков машин... Какими глазами он смотрел на нас с Арчи, когда мы обследовали его!.. Увидев паука, он однажды чуть не выпрыгнул в окно... Но всему этому даже я не удивлялся. Собственно, те сумасшедшие, которых я видел на своем веку – еще в институте, на практических занятиях, – выглядели в общем так же. Артур уже тогда находил какие-то странности, но я как-то не удосужился поговорить с ним основательно на эту тему. Однако проходили дни, Дьед начал успокаиваться, в известном смысле приходить в себя, и тут-то и появились странности, которые поразили даже меня.

Атта медленно раскурил сигару и задумался. Потом продолжил:

– Знаете, сейчас очень трудно объяснить, что собственно странного было в его обыденном поведении. Ведь сумасшедшему все можно – думают обычно – на то он и сумасшедший... Но, понимаете, это сумасшествие было каким-то необычным, каким-то... осмысленным, что ли! Вот случай: вхожу, он сидит на койке и внимательнейше рассматривает свои руки. Подходит ко мне, начинает изучать мои ладони, сравнивает со своими, и глаза у него при этом ну самые что ни на есть здоровые. И в них – живейшее любопытство. Или – прогуливаемся с ним по аллейке вечером, солнце опускается в океан, небо темнеет, показывается серп луны. Он тычет пальцем на луну, на солнце и показывает мне на пальцах – «два». Потом себе в грудь, и на пальцах – «шесть». И так не один раз, в течение трех-четырех вечеров. И при этом что-то оживленно щебечет... Странно было все это. А по ночам иногда вскакивает, страшно кричит, бьется в двери, в окна... Приходят к нему, успокаивают, укладывают, он тихонько вырывается, плачет, неумело вытирает слезы и смотрит на мокрые руки с огромным удивлением... Но самое странное впереди. Однажды, войдя в его комнату, пока он прогуливался с Арчи, я увидел, что стюард старательно скоблит стену. В чем дело? Он мне показывает уже наполовину стертый, еле заметный рисунок: изображение большой птицы в полете. Сделано углем. Расспрашиваю стюарда. Этот болван рассказывает, что подобные рисунки Дьед оставляет на стенах, на полу, на мебели уже не в первый раз, и что он, стюард, уже жаловался управляющему, что ему надоело их каждое утро соскабливать. «Дурак, – говорю я, – пошел вон. И больше не смей стирать». Так мы обнаружили у бедняги его странный талант. Подождите, не задавайте вопросов, я все знаю и все расскажу сам... Лучше выпейте... Вот так!.. На следующий день мы с Артуром приходим к больному, подзываем его к столу (он уже научился немного понимать нас) и

раскладываем на столе бумагу, карандаши и все такое прочее для рисования. Он долго ничего не понимал, до тех пор, пока я не взял карандаш и не попытался изобразить лошадь. Артур, увидев эту лошадь, сказал, что боится, как бы у больного не возобновились припадки ужаса, но Дьед меня понял. Меня, я помню, тогда еще поразила мысль, что все это похоже не столько на разговор с сумасшедшим, сколько на объяснение двух людей, живущих в разных странах и говорящих на разных языках. Так или иначе, Дьед берет карандаш и... вот...

Атта пыхтя рылся в записной книжке.

– Вот... Извольте глянуть... – Он протягивал четвертушку бумаги, перегибаясь через стол грузным телом.

Гость осторожно взял, изумленно поднял брови, рассматривая, улыбка медленно сползала с его тонких губ.

– Дьявол!.. – выдохнул он.

На желтоватом клочке твердые четкие штрихи сливались в чудесную странную картину: пылающий огонь, несколько человеческих фигур у костра, бесформенная глухая чаща вокруг и темное, неуловимо прозрачное ночное небо с четырьмя узкими светлыми серпами, висящими над вершинами леса... Странное, неземное очарование струил этот диковинный пейзаж. Гость закрыл глаза и почувствовал вдруг, как пронесся мимо теплый ветер, полный аромата незнакомых цветов, влажный, тяжелый. И услыхал шорох затаившегося леса, и крик ночной птицы, и дыхание тех, что сидели у огня... Он сам стоял перед огнем, опираясь на тонкое копье и слушая ночь, глядел на блестящие серпики над серебристыми вершинами неподвижных деревьев...

– Это его последний рисунок. Чудесно, не правда ли?

Гость вздрогнул. Это было как сон. Виновато улыбаясь, протянул чудный рисунок доктору. Тот бережно спрятал его между страниц. Усмехнулся, встретившись взглядом с гостем.

– Я предупреждаю все ваши вопросы. Нет, Дьед никогда не был художником. Он не любил рисовать даже мальчиком, в школе. Нет, он никогда не был романтиком, для этого он был слишком хорошо воспитан. Это был прозаик до мозга костей. Он не любил читать и, держу пари, никогда не видел лесного костра. Откуда он взял талант и столь странные сюжеты своих рисунков – не знаю. Да-да, у него было сделано множество рисунков и даже одна небольшая картинка масляными красками. Набор красок привел меня в ужас – я никогда не видел голубых людей и ядовито-зеленых облаков. Но рисунок был великолепен. Вы слышали сейчас дыхание ночного леса? Картина пела! Клянусь богом, я слышал журчание

воды и треск цикад. Моментами мне казалось, что я слышу даже шелест шагов голубых людей, идущих через высокую траву... На многих рисунках он изображал ту самую птицу, о которой я уже говорил вам.

– Но где все это? – вырвалось у гостя.

– Ага, – удовлетворенно заметил доктор, – и вас заело... Давненько я не видел, чтобы вы волновались! Еще бы! Мне лично эта четырехлунная ночь во сне снилась... Где все это? Да погибло! Погибло вместе с Арчи, славным маленьким Арчи... Он взял эти рисунки, чтобы показать их Ста, они были большие друзья – Арчи и Ста, и пошел в Институт. Не знаю, успел он показать их или нет, но он ушел в девять утра, а в двенадцать Восточный корпус уже был перекошен и охвачен пламенем... Мы даже не нашли его тела, ни Арчи, ни Ста, ни лаборантов – они сгорели...

Атта замолчал, уткнувшись в стакан, – бокал он уже давно отставил в сторону. Они долго молчали, потом гость сказал:

– Простите, Атта, но я хотел бы услыхать конец истории.

– Конец?.. Это и был конец. Через три дня после взрыва прибыл корабль и забрал Дьеда. Мы очень трогательно простились. Он произнес речь – клянусь богом, она была вполне членораздельна, хотя я и не понял ни слова. Он подарил мне свою последнюю работу, – Атта положил руку на записную книжку, – а я сделал все, что мог, чтобы спасти его от сумасшедшего дома. Что с ним было дальше – не знаю. Родственники – они очень любили и жалели его, по слухам, – вместе с ним уехали куда-то на материк. Куда – не знаю.

– Но что же это – гениальный бред? Шутка природы? Что это за человек, Атта?

– Я не знаю, – задумчиво сказал Атта, – и никто, пожалуй, не знает. Арчи, бедняга, накануне смерти развивал передо мною свою очередную теорию, но мне хотелось спать, я мало что понял и еще меньше запомнил... Он называл эту болезнь «находкой памяти». Память, говорил он, это клетки мозга и процессы в них. Если переставить клетки или изменить процессы, человек может потерять одну память и «найти» другую. Дали, например, парню дубиной по голове, клетки переставились так, как они расположены в голове, скажем, американца, родившегося там-то и тогда-то, в такой-то семье и испытавшего в жизни такие-то потрясения. Даже лучше, например, пусть это будет не американец, а... ну, скажем, папуас. Мы скажем: человек потерял рассудок и память от сотрясения мозга. А бедняга будет лупить нам на океанийском наречии в тщетной надежде, что «белые люди объяснят ему, как он попал сюда с острова Фиджи и что с ним вообще происходит». Что-то в этом роде говорил Арчи, по крайней мере, я так

понял. Приобретение памяти – да, именно так. Что?

– То есть, позвольте... Может оказаться таким образом, что... э-э-э, как бы это выразиться... что пострадавший, как вы говорите, «обретет» память вообще не существовавшего человека или, скажем, человека будущего? Я вас верно понял?

Атта утвердительно замычал, энергично кивая головой, – он раскуривал сигару. Гость пожал плечами:

– Н-ну, знаете...

Они снова надолго замолчали, глядя, как стелется голубой дым.

– А где сейчас может быть этот старик?

– Господи, да где угодно... Привык к людям, к новому для него миру, бродит где-нибудь, стараясь понять, как и куда же он попал – следуя последней теории Артура Авеесве. – Доктор Атта встал и вытащил из буфета новую бутылку. Разливая оранжевый пахучий напиток, сказал: – Я думаю, мы выпьем коньяку... На прощанье.

...Да, он бродит, затерянный в толпе, одинокий и жалкий. Он привык к вечному шуму большого города, к странным людям и к вою сирен. Он научился даже ездить в метро. Но город подавляет его, гнетет. Только по вечерам, когда над улицами загораются желтые в тумане лучи фонарей, он будто немного оживает. Подходит к людям на остановках автобусов и, глядя поверх голов, громко говорит со всеми сразу на странном птичьем языке. Люди испуганно сторонятся или смеются, указывая на него пальцами, и никто, ни один человек, не знает, что видят сейчас эти тусклые старческие глаза – блики огня на темных лицах сидящих, спящие заросли и четыре блестящих серпа над неподвижными вершинами, озаренными их серебристым светом...

ЗВЕЗДОЛЕТ «АСТРА-12»

На сигарету упала тяжелая капля и погасила ее. Алексей бросил окурок, сунул руки поглубже в карманы и ежась прошелся по гребню. Было мокро, холодно, противно. Порывами налетал знобящий ветерок, приносил крупные капли. Вверху низко над головой клубилось серое туманное небо. Внизу, у подножья холма, на дороге стояло несколько машин — мощные приземистые грузовики-полувездеходы. Около машин стояли кучками люди, курили, нехотя переговаривались — ругали чертову погодку и ожидание. Дорога была хороша — совершенно прямая, гладкая, широкая, она рассекала черную топкую равнину, соединяя город с Большим Северным ракетодромом.

На горизонте, плохо видимые в тумане, темнели странные длинные сооружения, похожие на ангары для дирижаблей. Над ними торчали сетчатые мачты высоковольтной линии, уходящей за горизонт, и еще какие-то строения — серые куполообразные башни, огромные, тяжелые. Это был Большой Северный ракетодром — самый большой и самый северный в Союзе. Отсюда стартовали межпланетные корабли — на ИС Земли, на Луну, иногда и дальше: на Марс.

Алексей вздохнул и полез вниз, скользя по мокрой грязной земле, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Люди внизу подняли головы, парень в мокром кожаном шлеме, лихо сбитом на затылок, что-то сказал, все засмеялись. Алексей побагровел, сердито насупился и, повернувшись к ним спиной, побрел, увязая по щиколотку, к небольшой, настежь распахнутой дверце у самого подножья. Холм был искусственный. Лет десять назад здесь был просто большой полигон для испытания ракет. Наблюдатели помещались в окопах. Иногда громадные, величиной с дом, ракеты вследствие каких-то неточностей в установке вместо того, чтобы лететь в небо, начинали, изрыгая огонь, прыгать по равнине. Сначала обходилось без жертв, но однажды многотонная махина обрушилась прямо на окоп. Пришлось возвести вот такие холмы — под толстым слоем бетона и земли, рассчитанным на прямое попадание ракеты, наблюдатели могли чувствовать себя в полной безопасности.

Согнувшись, Алексей пролез в дверцу и поднялся по ступенькам в наблюдательный пункт. Здесь было тепло и светло. Алексей присел у стола, потер руки, озираясь. Большая серая комната с бетонными стенами. Вдоль передней стены в ряд — несколько столиков, рядом с каждым торчат прямо

из стены трубки в брезентовых чехлах — окуляры перископов. В комнате никого нет, но из-за полуоткрытой тяжелой двери в соседнее помещение доносятся голоса. Алексей узнал сиплый неторопливый бас Краюхина:

— ...Э-э, чепуха... Время у вас было... Нет, вы — растяпа...

Другой голос бормотал что-то, явно оправдываясь. Алексей усмехнулся — снова кого-то разносит — грозный дядя. С таким служить — ой-ёй-ёй! В комнату вошел, вытирая мокрое от дождя лицо, смуглый плечистый мужчина в кожаном пальто. Кивнул Алексею, прислушался, быстро прошел в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь. Теперь оттуда доносился гул трех голосов.

Алексей вспомнил — этого человека он видел в кабинете Краюхина во время их первого разговора, там, в Москве. Он сидел в углу у окна в большом кресле, лениво листал газету, поглядывая поверх нее на Алексея. Да, знаменательный был разговорчик. Здравствуйте, вы из военного министерства? Алексей отрапортовал. Так, очень хорошо, садитесь. Я Краюхин, Николай Захарович, будем знакомы. (Голос глуховатый и сиплый, слушая его, хотелось откашляться.) Кадровый офицер? Ага, двенадцать лет. Отлично. И все время служили в Кара-Кумах? Не надоело? Да, вы правы, конечно: и пустыню полюбить можно. Если не ошибаюсь, участвовали в Саульском походе? Конечно, не могли не участвовать — зампотех дивизиона бронетранспортеров. Вкратце, как там было дело? (Алексей рассказал. Это был страшный тройной самум, покрывший Саульский оазис и колонну транспортеров Алексея, вывозивших остатки населения. «За проявленную инициативу и успешное выполнение боевого задания» Алексей получил благодарность командования, но вспоминать об этом походе не любил: на одной из двух занесенных бурей машин остался его хороший друг — лейтенант Гаджибеков. Даже могилы его не нашли в барханах.) Краюхин слушал внимательно — плечистый, сутуловатый, с большелобой лысой головой. В полусумраке кабинета (шторы на огромных окнах были опущены) глубоко запавшие глаза его казались темными пятнами на узком безбровом лице. Так-так. Вы также принимали участие в спасении экспедиции Вальцева? Да, ну об этом я расспрашивать не буду — знаю хорошо и сам. (Об этом Алексей как раз рассказал бы с удовольствием — славное было, удачное дело.) Одинок и холост? Так-так. Это хорошо. (Чего уж хорошего, подумал Алексей.) Цель командировки известна? (Алексей сказал — участие в геологической разведывательной экспедиции.) Это, конечно, так, но и не совсем так. Вам, товарищ Громыко, предлагается принять участие в экспедиции на Венеру. (Алексей изумился так явно, что тот, смуглый у окна, с несколько запоздалой поспешностью

попытался скрыть улыбку за развернутой газетой.) Да, на Венеру. Разведка... м-м-м... некоторых полезных ископаемых и организация посадочной площадки для звездолетов. Почему именно вы? Нам нужен человек, похожий на вас — знающий пустыню, знающий свое дело, решительный, опытный, смелый. (Ого, усмехнулся Алексей.) Мы мало знаем о Венере, даром что крутимся около нее уже лет десять. Но там, вероятно, много пустынь, а это по вашей части. Песчаные бури, безводье, зыбучие пески — это тоже по вашей части. Очень, очень тяжелые условия, трудности, постоянное напряжение всех сил — и это опять же по вашей части. Командование рекомендовало мне человек пять, я выбрал вас. Так уж мне захотелось, что поделаешь. Срок? Полгода, год — трудно сказать заранее. Почему нужен обязательно военный? Я этого не говорил, но... знаете ли, может быть, понадобится именно военный: места дикие, незнакомые — Венера! (Краюхин растянул в усмешке тонкие губы.) Сейчас, капитан, от вас требуется только принципиальное согласие. Рассматривайте эту командировку как тяжелый опасный боевой поход. Участие в научных экспедициях для вас не новость — вели же вы Вальцева через черные пески. Межпланетное путешествие — ну что ж, летают ведь люди в _туда_, много лет уже летают и — ничего. Венера... Это, конечно, хуже, это совсем не курорт... Ну, одним словом, думайте... Вальцев, кстати, тоже летит... (Алексей видел, что человек с газетой украдкой, но внимательно наблюдает за ним. Черт побери, судя по всему — опасное дело, но не отказываться же. Если его послали, значит, он справится не хуже других... Да, и потом... А, ладно! Согласен, сказал Алексей, берусь.) Краюхин заулыбался. Отлично. Договорились. Ну вот пока и все, а теперь познакомьтесь — Зорин Андрей Андреич — начальник Большого Северного. С ним вы еще встретитесь... Выходя, Алексей встретился в дверях с маленьким толстым человечком, стремительно рванувшимся в кабинет, лишь только скрипнула дверь. Прямо с порога он негодующе начал: «Николай Захарович, но при чем тут я...» Краюхин в ответ грозно просипел: «Где стабилизаторы?» и снова, прерывая захлебывающийся тенорок: «Я вас спрашиваю, где стабилизаторы?» Алексей тихонько прикрыл дверь.

Что и говорить — знаменательный был разговорчик. Алексей встал, прошелся по комнате, посмотрел на часы. Через несколько минут прибывает звездолет с ИС Венеры. Тот самый — «Астра-12» — который полгода назад высадился на поверхность планеты. Первый в мире. То есть, конечно, высадился не первый — сумел вернуться первый. До него были, говорят, еще три попытки, и первая самая удачная. Это были чехи. Они

успели даже послать две радиограммы, из которых явствовало, что сели они довольно удачно и что кругом пустыни. Через пару недель пришла третья радиограмма — последняя. Из-за сильных помех в ней смогли разобрать только несколько слов, какой-то бред: что-то вроде «купи кипу пик» и потом до конца раз десять подряд: «горячка, горячка, горячка...». С тех пор о них ничего не слыхали. Скоро уже десять лет. Вторая экспедиция была тоже чешская — спасательная. О них известно только, что «пошли на посадку» и все. Третья экспедиция — совместная англо-советская. Сравнительно недавно — год, полтора. Звездолет сгорел в атмосфере. Люди превратились в пыль «вместе с сотней тонн высококачественной тугоплавкой легированной стали», как говорил подвыпивший Левка Вальцев, когда месяц назад рассказывал все это ему и еще одному парню — геологу, которого Вальцев хотел зачислить в эту новую экспедицию на Венеру. Они сидели у Левы, пили вино, за окном шумел вечерний город, было очень хорошо и уютно, и Вальцев рассказывал. О тяжелой работе, о славных бесстрашных ребятах, о метеорных полях, о лучевой болезни, поражающей почему-то в основном самых сильных и здоровых, о пропавших без вести, о строителях Лунного города близ кратера Коперник на Луне, об одиноких могилах на берегах марсианских морей, где лежали геологи — товарищи Вальцева по первой экспедиции. Он уже побывал и на Луне, и на Марсе, этот Вальцев. Пил вино стакан за стаканом и рассказывал, а этот паренек — Сергей его звали, кажется, — слушал с горящими глазами с потухшей папиросой в зубах. Потом он не пришел на вокзал, когда они уезжали сюда, а Вальцев всю дорогу ожесточенно играл в карты с Алексеем и только перед самым прибытием, когда, рассказав все анекдоты, они томились в ожидании у окошка, сказал вдруг: «Серега этот... Очень талантливый парень... и не трус... здесь на Земле... Но у него слишком богатое воображение. Слишком. Никаких шансов». Это была его любимая присловка — «никаких шансов». Говорил он серьезно, деловито, без насмешки и даже без жалости. А потом посмотрел на Алексея так, что тому стало неудобно за свои мысли.

Алексей быстро повернулся на стук двери. Краюхин и Зорин вышли из соседней комнаты и сразу бросились к перископам.

— «Астра» на подходе, — сказал Краюхин. — Вон там свободный перископ, Алексей Петрович.

Оптика в перископах была замечательная. Алексей видел черную кочковатую равнину, рябь ветерка в далеком озере, низкие лохматые облака и под ними у самого горизонта стаю каких-то птиц. Рядом недовольно ворчал Зорин — никак не мог снять чехол с окуляров. Чертыхнулся, снял,

глянул, снова чертыхнулся и полез в карман за носовым платком — протереть стекла. Краюхин не отрываясь глядел, собрав морщины на лбу. Большие черные очки лежали на столике рядом с перископом. Снаружи взвыла сирена. Алексей прильнул к окулярам и увидел, как с озера поднялась стая уток, поплыла на запад. Потом раздался тяжелый грохочущий рев, тучи озарились багрово, лопнули, пропуская массивное черное тело. Грохот усилился, тело медленно коснулось земли и тотчас же скрылось в столбе белого пара, взметнувшегося к небу. Алексей увидел, как фонтанами брызнула в стороны грязь, полетели куски земли, камни. Рев стих, теперь на равнине, там, где опустился звездолет, стояло большое белое облако, ветер раскачивал его, унося клочья пара на запад, где среди разорванных туч проглянуло тусклое низкое солнце.

— Николай Захарович, звездолет не отвечает на запрос, — донесся из соседней комнаты голос — очевидно, радиста. Краюхин медленно старательно протирал очки.

— Повторить запрос, — проговорил он. В тишине было слышно, как снаружи взревели моторы — шоферы заводили машины. На равнине таяло белое облако, грузно накренившись, остывала громада звездолета. Над ним дрожали струйки горячего воздуха.

— Звездолет на запрос не отвечает, — повторил голос из соседней комнаты.

— Какого черта молчат! — Зорин хмуро поглядел на Алексея и снова повернулся к Краюхину. — Николай Захарович, неужто снова... как тогда...

Краюхин, тяжело ступая, пошел к выходу, Зорин двинулся за ним, и в этот момент радист крикнул весело:

— Есть! Готово! Ответили: «Все в порядке, привет Земле, встречайте».

Огромный серый автомобиль Краюхина с фигуркой оленя на радиаторе первый остановился около звездолета, оглашая воздух ликующими воплями сирены. Сзади, растянувшись на несколько километров, разбрасывая грязную землю, ревели приближаясь грузовики, автокраны, могучие трактора и еще какие-то странные громадные сооружения на гусеничном ходу. Над головами гудя повисли два больших вертолета. Один опустился, обдав стоящих у звездолета горячим воздухом. Из люков полезли какие-то здоровенные плечистые парни в коротких куртках мехом наружу. Одна за другой подходили машины. Из одной выпрыгнул сухой черный Вальцев, побежал, скользя по мокрому мху. Алексей за Краюхиным и Зориным подошел к звездолету шагов на двадцать. Стальная громадина уже остыла. В яму, вырытую при посадке, натекла грязная вода. Звездолет, основательно врезавшийся в почву, стоял в

большой теплой луже. В темной воде отражались его могучие бока, покрытые коркой почерневшего горелого металла.

— Пришел, пришел, родимый, — раздался радостный голос Вальцева за спиной. — Алеха, милый, ведь я на нем должен был лететь! Заболел, понял? Перед самым отлетом свалился. Никаких шансов! А ведь какой полётец был! Герои!

— Герои! — желчно сказал мрачный Зорин, поглядывая на Краюхина — тот ссутулясь стоял в стороне, жевал папироску. — Герои! Сколько их уходило? Пятеро. А вернулся? Один! Один Строгов только и вернулся. Калекой вернулся... Нашел, чему завидовать... герой.

— Н-ну, знаешь, — Вальцев резко повернулся к Зорину, — чепуху городишь, Андрей Андреич...

Он еще сказал что-то, но Алексей не расслышал — толпа зашумела, тыча пальцами. В стенке ракетоплана на высоте трех метров откинулся большой квадратный люк, посыпался горелый металл. Из черного отверстия выскользнула легкая стальная лестница, а потом появился человек — молодой, неестественно бледный парень в засаленном комбинезоне и в новенькой рыжей меховой шапке-ушанке, у которой был такой вид, будто ее только что вытащили из сундука, где она лежала с самой покупки. Паренек огляделся — вид у него был слегка сумасшедший, — сорвал с головы шапку и заорал что-то вроде: «Приве-ет!»

— А-а-а! Е-е-е! — сочувственно откликнулась толпа и кинулась к звездолету. Алексея поволокло в сторону, кто-то наступил ему на ногу, кто-то нахлобучил шапку на глаза. Он успел только заметить, что парню в комбинезоне наподдали сзади и он, размахивая руками, полетел вниз, окунулся в толпу и снова взлетел к небу, дрыгая ногами в неописуемом восторге. В отверстии люка появился другой с таким же бледным лицом в ярчайшем красном шарфе. Сумятица была страшная. Выли сирены автомашин, кричали люди. Мелькнула черная от загара физиономия Вальцева с широко разинутым ртом. Давешний лихой шофер в кожаном шлеме оглушительно свистел в четыре пальца. Плечистые молодые люди в меховых куртках не переставая палили магний. Со второго вертолета, повисшего над головами, сверкали юпитера и кто-то уронил киноаппарат. Алексей поймал себя на том, что, стоя в луже по колено, пытался поймать за ногу взлетающего как перышко пилота в красном шарфе. Шарф орал что-то неразборчивое, но явно восторженное. Какой-то автокран пролез в толпу — на кабине длинный косматый рабочий, приплясывая, размахивал жестяной дощечкой с надписью: «Осторожно! Под стрелой не стоять!»

Потом все как-то сразу смолкло. Алексей выбрался из лужи, пробился

сквозь толпу и увидел, что в образовавшемся тесном кругу отдельно ото всех стоят Краюхин и Зорин, а перед ними небольшого роста человек без шапки с рукой на перевязи. Вся голова его была закутана грязноватым бинтом, так что лица его не было видно, только ерошились редкие светлые волосы на затылке да поблескивал одинокий глаз, темный и страшно усталый. Позади торопливо строились в неровный ряд четверо растрепанных пилотов с бледными бескровными лицами. Яркий шарф жадно глядел вверх, механически пытаясь застегнуть куртку на оторванную пуговицу. Алексей тоже поглядел вверх, но ничего кроме серого закатного неба не увидел. Даже второй вертолет с кинооператорами сел где-то за машинами.

— Небо, чудак!.. — прошептал над ухом Вальцев, голос его дрогнул. — Голубое небо, понял!

Алексей глянул на него изумленно. Он хотел сказать, что ничего не понял и что вообще небо не голубое, а серое, и довольно мерзкого вида, как и положено здесь, в тундре, но в это время забинтованный человек повернулся к пилотам и негромко сказал:

— Смирно.

Видно было, как от напряжения и усталости у него дрожат ноги, и весь он был какой-то больной, изнуренный, но голос его звучал неожиданно твердо и торжественно:

— Товарищ замминистра! Звездолет «Астра-12» закончил перелет Земля — Венера — Земля и прибыл в ваше распоряжение с новым экипажем, составленным из пилотов ИС-5. Во время обратного пути особых происшествий не было. Докладывал капитан звездолета Строгов.

Он, качнувшись, неловко шагнул в сторону, открывая шеренгу бледных людей с напряженными посуровевшими лицами. Все молчали. Молчал Краюхин, навесив тяжелый лоб на черные очки. Молчал Зорин — пальцы его рук, вытянутых по швам, судорожно подергивались. Молчали стоявшие кругом шоферы, механики, грузчики — многие стягивали с голов шапки. Молчали тяжело и угрюмо, будто не они пять минут назад радостно и бестолково метались около накренившейся махины звездолета. Потом Краюхин медленно снял очки, тяжело шагнул к Строгову и обнял его. Алексей видел, как Строгов — он казался совсем маленьким рядом с могучей фигурой «старика» — уронил забинтованную голову ему на плечо, а большая лапа Краюхина с зажатыми очками нежно гладила его подрагивающую спину. Вальцев громко судорожно дышал над самым ухом. Потом Краюхин повернулся к неподвижно стоящим пилотам, просипел: «Свободны, товарищи» и, осторожно поддерживая шатающегося Строгова,

направился прямо к своей машине...

Уже давно, мягко приседая на ухабах, скрылся в холодном тумане большой автомобиль Краюхина, погрузились в вертолет и улетели моментально вновь повеселевшие пилоты, скрылся куда-то Вальцев, проговорив бессвязно: «Вот оно как у нас, понял?» — а Алексей все стоял, зябко ежась от холода, засунув руки в карманы, и бездумно следил за поднявшейся вокруг звездолета суматохой. В голубоватых лучах двух прожекторов клубился вечерний слоистый туман, суетились люди, волокли и грузили на машины какие-то тяжелые ящики. Два автокрана выволакивали из звездолета ящики побольше, клали их штабелями. У подножья ракеты возилась группа чумазых парней в спецовках — от них шел пар. Зорин в распахнутой кожанке орал на маленького сутулого с портфелем и в очках. Сутулый отругивался тоненьким слабым голоском, но необычайно напористо. Мимо прополз трактор-тягач, разбрасывая шматья грязи. Липкий комок ударил Алексея в щеку. Он высвободил руку, вытер лицо и, тряхнув головой, отошел в сторонку.

Солнце скрылось за дальними холмами, наступила короткая северная ночь. В потемневшем небе задрожали слабенькие, еле видимые звезды. Туман затопил равнину, туман колыхался в лучах фар уходящих автомашин, оседал ледяными капельками на лице. Алексей подошел к звездолету вплотную. В лучах прожектора его неровная бугроватая поверхность казалась еще более изрытой и страшной. Алексей притронулся к его черному боку, рука дрогнула, наткнувшись на леденящий холод металла.

— Вот оно как у нас, — повторил Алексей и, повернувшись, пошел прочь. Перед его глазами качалось запрокинутое лицо — сверток бинтов с усталым невидящим глазом. Слабая тонкая шея, высохшая бессильно опущенная рука с белыми дрожащими пальцами. Реденький светлый хохолок на макушке...

— Прибыл в ваше распоряжение с новым экипажем, — бормотал он. — С новым! А где старый?..

Он оглянулся. Круглый черный купол звездолета резко отпечатался на фоне светлого на западе неба. Молочно-белый туман у подножья ракеты искрился голубым светом. Там плясали причудливые тени, вздымались длинные черные руки подъемных кранов. Он был сейчас одинок со своими мыслями. Одинок на этой болотистой равнине, затопленной холодным туманом. Одинок как никогда. И, как никогда, он понимал сейчас этого злосчастного парня — Сергея, кажется, — того, что испугался. Струсил, смалодушничал, побоялся даже отказаться лично — не пришел на вокзал, прислал потом письменный отказ. Он, наверное, уже видел себя, горящим

заживо в звездолете, погребенным где-нибудь в страшно чужих, далеких песках... Бедный мальчик, а ведь он еще не видел эту живую мумию, этих бескровных полубезумных лиц, этого (Алексей снова оглянулся) обгорелого памятника тем, кто не вернулся...

Рядом взревел мотор, сверкнули огни фар, голос Вальцева прокричал:

— Алексей, ты, что ли?

В машине (грузовик-полувездеход) в кабине сидели Вальцев и Зорин. Вальцев — за рулем, Зорин — рядом. Он спал, свесив голову на колени. Алексей, усаживаясь, толкнул его, он проснулся, пробурчал недовольно:

— Где вас черт носит, капитан? Мы там с ног сбились, а он — пожалуйста — пешком изволит...

— Ты что — до города этак собирался шкандыбать, — насмешливо осведомился Вальцев, — сто с лишком километров?..

Алексей промолчал, глядя, как бросается в стороны туман в лучах света. Машину кидало на ухабах, Зорин попытался снова задремать, но, стукнувшись пару раз о ветровое стекло, отказался от этого своего намерения и начал расспрашивать Алексея о службе в Кара-Кумах. Алексей отвечал односложно, и Зорин замолчал. Потом сказал с досадой:

— А, черт, забыл-таки спросить у радиста, что у них там случилось, почему не отвечали на запрос...

— Что? — спросил Вальцев, не расслышав.

— Я говорю, у радиста надо было спросить, почему они сразу после посадки не ответили на запрос. Я даже беспокоиться начал. Тут был случай однажды — тебя еще, Лев Александрович, здесь не было — тоже приземлился звездолет. Все честь-честь, а на запрос не отвечает. На запрос не отвечают и из ракеты не вылезают. Пришлось резать стенку. Входим мы внутрь — три мертвеца. Представляешь? Машина переключена на автоводителя, а все пилоты — разрыв сердца...

— Я знаю эту историю, — сказал Вальцев. — У них плохо сработал автоводитель, получилась временная перегрузка раз в двадцать — их всех раздавило. Это было страшно глупо. Бессмысленная случайная гибель.

— Да... — начал было Зорин, но Алексей неожиданно для себя прервал его:

— Слушайте... Я здесь уже полтора месяца. Я слышал чертову уйму рассказов. Почему во всех этих рассказах всегда одно и то же — смерть, смерть и смерть?.. Разные люди, разное время, разные случаи, и всегда там смерть... Ну, неужели... в этом вся ваша жизнь... Непонятно...

Он резко оборвал себя, чувствуя, как кровь заливает щеки. Фу ты, как глупо получилось, каким ослом он себя выставил. Черт, еще подумают, что

он трусит.

Зорин изумленно уставился на него:

— То есть... Ну, если угодно, да — это наша жизнь... Вечный риск, страх потерять товарища... Страх погибнуть самому... Ведь когда...

— Не надо, — сказал Вальцев резко. — Этого не объяснишь словами. Он и сам поймет. Он и сейчас понимает, только... Ведь ты все понимаешь, Алеша, верно?

— Я ничего еще не понимаю, — с отчаянием сказал Алексей и снова пожалел, что не придержал язык.

Все замолчали, потом Вальцев сказал просто:

— Ты, может быть, боишься?

Этого не следовало бы говорить. Алексей глянул на него исподлобья и отвернулся. Равнина кончилась, в клубах тумана грузовик выскочил на гладкое, прямое, как стрела, стокилометровое шоссе.

КТО СКАЖЕТ НАМ, ЭВИДАТТЭ?..

I

Это было похоже на продолжение странного сна, когда человек вдруг подскакивает на постели, тараща мутные глаза, и изрекает что-нибудь вроде: «Я не могу войти в этот домик на носу». В утреннем полусумраке уже виднеются знакомые стены комнаты, лампа-грибок на ночном столике и смятое одеяло, сползшее на пол, но сон еще здесь, еще не прошел, и на фоне стеллажей с книгами еще колышутся очертания гигантских деревьев сказочного леса и не покинуло сонный мозг чувство досады и разочарования из-за того, что никак не можешь проникнуть в хижину, построенную собственными руками на собственном носу.

Сергей Сергеевич явно еще не успел проснуться – чмокал губами, всхрапывал, порывался перевернуться на другой бок, – но чувство чего-то не совсем обычного уже охватило его. Во-первых, только что колыхавшаяся перед глазами знакомая портьера на окне вдруг стала совсем расплывчатой и пропала. Пропало теплое одеяло, под которое Сергей Сергеевич пытался спросонья забраться с головой. Сам он оказался сидящим, по-видимому, в кресле, одетым и привязанным широкими упругими ремнями. Во-вторых, огромный ярко освещенный зал, каких наяву не увидишь, вместо того, чтобы померкнуть и пропасть, стал еще ярче, еще больше, еще явственней. В уши проник совершенно незнакомый шум, перед глазами вспыхнули и пропали два ряда ярко-красных лампочек.

– Странный сон, – пробормотал Сергей Сергеевич, с трудом шевеля языком и снова пытаясь перевернуться на другой бок, – удивительно яркий сон. Надо будет рассказать ребятам...

Ремни не дали ему повернуться, а собственный голос показался необычайно хриплым и совершенно незнакомым. Сергей Сергеевич открыл глаза и огляделся. В голове шумело, веки казались очень тяжелыми, и он решил, что удивительный сон продолжается.

– Ну что ж, посмотрим, – решил он и даже стал ерзать в кресле, устраиваясь поудобнее, как будто сидел перед экраном телевизора. – Не проспать бы только будильник... Будильник, прямо скажем, неважный – зря его мне подарили. Изящной формы, но... Однако, что ж это – все комната да комната... Приборы какие-то. Скучно. Пусть здесь появится человек!..

Сергей Сергеевич, как и многие люди, был убежден, что может,

находясь в таком вот состоянии, управлять своими снами. Много раз это ему действительно удавалось, но сейчас человек не появился – комната осталась пуста. Огромная комната с высокими белыми стенами, с гладким блестящим, надо думать, металлическим полом. Вдоль стен тянулись громоздкие сооружения, тоже белые, украшенные многочисленными циферблатами, круглыми темными окошками и мигающими разноцветными лампами. В общем и целом все это походило скорее на зал центрального управления электростанцией, чем на сон, и вызвало в памяти Сергея Сергеевича звучные термины: пульт, реостат и «двести тысяч вольт». Сергей Сергеевич был ихтиологом и плохо разбирался в электротехнике.

– Потолок, скорее всего, стеклянный, – размышлял Сергей Сергеевич, подняв глаза к небу. – Большой матовый экран на противоположной стене – телевизор. И вообще – это самый яркий сон, который мне когда-либо приходилось видеть.

Странный шум над ухом неожиданно прекратился, и наступила глуховатая тишина, нарушаемая только металлическим звенящим пощелкиванием, доносившимся откуда-то из-за спины. «Тик-дзанг, тик-дзанг, тик-дзанг...» Сергей Сергеевич машинально принялся считать щелчки и, досчитав до шестнадцати, вдруг подумал, что его мысли и ощущения все-таки слишком ясны и резки – даже для самого яркого сна. Эта мысль поразила его и заставила прибегнуть к классическому методу: он поднял руку и дернул себя за нос. Рука показалась ему непривычно легкой, а нос – до удивления маленьким, и он не проснулся. «Тик-дзанг, тик-дзанг...» – неслось сзади. Сергей Сергеевич поднял руку и приблизил ее к глазам.

– У-ди-ви-тель-ный сон, – сказал он, стараясь изо всех сил подавить в себе чувство необычного, переходящее в страх: это была не его рука. – Слишком гладка и бела... Гм... Я бы сказал, даже голубовата и... и я бы не прочь проснуться...

Тик-дзанг, тик-дзанг...

– Да прекратите вы это щелканье, – крикнул Сергей Сергеевич. Эхо пролетело под сводами зала и погасло в дальнем углу его.

– Тик-дзанг, тик-дзанг, – ответила тишина.

– Это сон, – твердо сказал ихтиолог и взялся руками за ремень, мягко охвативший его грудь. – Это сон, но я сейчас встану и... э-э...

Ему было неясно, что будет дальше.

– И... э-э-э... так сказать, пройдусь...

Он принялся шарить в поисках пряжки или чего-нибудь в этом роде,

стараясь не замечать белой странной рубахи до пояса и коротких белых штанов, облекающих его тело (кстати говоря, тело было вовсе не его – маленькое, белое, мускулистое). Ремни он снял сравнительно легко, но так и не понял, как это у него получилось.

– Сон, конечно, сон, – подумал он с облегчением и встал.

Кресло было похоже на зубоврачебное и стояло на возвышении посреди зала с белыми стенами. Позади кресла, похожий на гигантский гриб, до самого потолка тянулся сверкающий матовым металлом агрегат с торчащими из него двумя длинными широкими трубами, уставленными прямо в затылок тому, кто сидел в кресле. В кресле сейчас никто не сидел, но в одной из труб вспыхивал и гас в такт «тик-дзанг» оранжевый огонь. Это было так красиво, что Сергей Сергеевич даже забыл на время, что видит сон. Он несколько раз обошел вокруг громадного гриба, рассматривая шкалы с бегающими стрелками, рубчатые кремальеры, цветные кнопки. Потом он споткнулся о кресло, остановился, озираясь.

– Пульт управления! – пробормотал он и дернул себя за нос изо всей силы. – Р-реостат...

Сон не проходил, сон оставался, и только теперь Сергей Сергеевич ясно себе представил, до какой степени он ничего не понимает. Он медленно спустился по лесенке на металлический пол, выложенный большими цельными шестигранными плитами, и, смахнув рукой пыль с последней ступеньки, уселся.

– Попытаемся суммировать, – сказал он, с содроганием вслушиваясь в хриплый, совершенно незнакомый голос, вырывающийся у него из горла. – Прежде всего, это – не сон. Следовательно, это – явь. Так. Что отсюда следует?

Отсюда ничего не следовало. Сергей Сергеевич абсолютно не мог представить, как он попал в этот пустой и довольно холодный (он поежился и стянул потуже ворот легкой рубахи) зал, уставленный приборами, не имеющими очевидно никакого отношения ни к нему, Сергею Сергеевичу, ни к его обычным занятиям. Память не подсказывала ему ничего определенного. Сначала в мозгу пронеслось название книги, которую он прочел сравнительно недавно – «Опыт разведения осетровых на высоких широтах». Потом он обнаружил, что не может припомнить своей фамилии, и это снова заставило его усомниться в реальности окружающего. Он оглянулся. «Тик-дзанг, тик-дзанг», – подмигнул ему оранжевый глаз.

– Ага, – сказал ихтиолог. – Я психически болен и нахожусь в клинике. Меня лечат... И правильно делают, но где же, однако, врачи?

Потом он посмотрел на руки, лежащие у него на коленях, – чужие

белые миниатюрные руки... «Тик-дзанг, тик-дзанг», – звенело в ушах.

– Главное – хладнокровие, – громко проговорил Сергей Сергеевич, поднимаясь. – Либо я болен и меня лечат – тогда скоро придут врачи и все объяснят. Либо (он снова оглядел себя, покусывая губу)... либо все это – кошмар, бред, и тогда... тогда... Очнусь же я вообще когда-нибудь!

Он осмотрелся по сторонам и пошел на чуть подгибающихся ногах к ближайшей стене.

– Наблюдать, наблюдать!.. Это интереснейший, любопытнейший бред! Смотреть в оба! Наблюдать...

Дойдя до стены, он пошел вдоль нее, огибая громадный зал, пытаясь одновременно и найти смысл всей сложнейшей аппаратуры, которая окружала его, и доказать ее бессмысленность, бредовость. Ничего не поняв, добрел до поворота и опустился прямо на холодный пол. Странное дело – ноги отказывались нести его тело, ставшее таким легким и упругим. Он испытывал ощущение человека, начавшего учиться ходить в зрелом возрасте.

Отсюда грибообразный агрегат с мигающими трубами казался маленьким и далеким, но звонкое щелканье было еще отчетливо слышно. Он прислонился спиной к стене, закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Память бездействовала. Портьера на окне... Будильник в виде рыбы, стоящей на хвосте, с циферблатом вместо глаза... Какой-то забор с объявлениями... Ярко красный закат над зеркальной гладью спокойной воды и заросли камыша. Строчка из стихотворения – «...зеленый вымпел над волной...» и снова – «Опыт разведения осетровых...» А в чем этот опыт состоит – хоть убей...

Он поднялся и пошел вдоль поперечной стены, опираясь рукой на выступ, поблескивающий циферблатами и круглыми выпуклыми иллюминаторами. За одним из иллюминаторов ему почудилась какая-то тень, он остановился и прильнул глазами к выпуклому стеклу.

Сначала он ничего не понял, а потом ахнул и отшатнулся. С другой стороны глядела на него волосатая человечья маска с маленьким ртом-трубочкой и большими желтыми глазами. Когда он отшатнулся, рот-трубочка вытянулся еще больше, глаза медленно моргнули и снова уставились пристально. Потом лицо исчезло. Сергей Сергеевич, слегка оправившись от неожиданности, долго вглядывался в темное стекло, но больше ничего не смог увидеть. Охваченный любопытством, он даже рискнул нажать одну из кнопок над иллюминатором, рассчитывая как-то осветить странное существо, но это привело только к тому, что за стеклом медленно выдвинулась серебристая пластинка и заслонила окошко. Другие

кнопки Сергей Сергеевич трогать не решился и двинулся вдоль стены дальше, заглядывая теперь уже в каждое из окошек. Все они оказались закрытыми серебристой пластинкой.

Дверь обнаружилась совершенно неожиданно. Сергей Сергеич шел задумавшись, по-прежнему опираясь рукой о стенку, как вдруг твердая белизна подалась под рукой, и он очутился перед приоткрытой дверью. Из-за нее виднелась освещенная лестница с высокими перилами. Сергей Сергеевич остановился и...

Дальше в сознании наступил какой-то непонятный провал. Кажется, он шагал по длинным пустым коридорам, уверенно распахивая двери, поднимаясь и опускаясь по узким чистым лестницам. Иногда ему казалось знакомым все, что окружало его, – коридоры, переходы, пустые комнаты, уставленные приборами, аршинные надписи на стенах... Он узнавал свои руки, свой голос, тело становилось то легче, то тяжелее, движения – более послушными или совсем непривычными. Он окликал кого-то, заглядывая в двери, и знал, кого окликает... Словно сон поминутно сменялся явью, явь бредом, бред – снова сном... Потом он словно очнулся, вспомнил громадный зал, тикающий гриб до потолка и странную физиономию за круглым окошком. Он вспомнил свою фамилию – Комлин, и это его страшно обрадовало и подбодрило.

– Какой, однако ж, громадный институт, – сказал он вслух.

Он стоял на площадке широкой, мраморной по виду, лестницы. Внизу у подножья виднелись высокие тяжелые двери, рядом с которыми стоял столик – совсем маленький по сравнению с громадными блестящими створками. За столиком, уронив голову на руки, по всей вероятности спал человек в белой одежде.

– Сторож! – Сергей Сергеевич начал спускаться по лестнице, все убыстряя и убыстряя шаг. – Сейчас, может быть, многое выяснится...

Человек внизу поднял голову и уставился на сбегающего с лестницы ихтиолога. Встал, шагнул навстречу. Скатываясь вниз, не в силах уже сдержать своего движения, Сергей Сергеевич почувствовал подступающую к горлу томительную тошноту страха: человек в белом не был человеком. Лысый череп, огромные, совершенно круглые глаза, маленькое возвышение вместо носа... Ушей нет, вместо рта – мигающий кружочек... Странный резкий голос, дикая жестикуляция... Сергей Сергеевич, не останавливаясь, вылетел за дверь...

Он шагал стремительно, почти бежал по темной широкой улице между рядами высоких куполообразных сооружений. Сжимал незнакомое лицо свое – безволосое, с маленьким носом и круглым, непрерывно

двигающимся ртом, рвал и щипал податливое тело, пытаясь прийти в себя, очнуться. Он ожидал чего угодно: пусть его схватят санитары, потащат грубо и швырнут в камеры для буйных; пусть он сумасшедший, неизлечимо больной, отринутый от привычной жизни, пусть даже навсегда, но не это... Не эта явь, не это чужое тело, несущее его мозг, не этот уродливый квазичеловек в белом, не эти темные громады непонятного города...

На темной дороге впереди заплясала его уродливая растянутая тень – он оглянулся. Три слепящих глаза неслись на него, приближаясь стремительно. Ааа! Мимо промчалось черное, обтекаемой формы, рассекая стонущий воздух. Сверкнула красная звездочка, пронесся горячий ветер – и все стихло.

Тяжело дыша, Сергей Сергеевич прильнул к теплой шершавой стене. Что это за город? Что за странные жители его? Где я, где? Он поднял глаза. Темное синее высокое небо, усыпанное звездами. Они тусклы, и рисунок созвездий чужой, дикий. Сергей Сергеевич пошел дальше. Цели у него не было, мысли разбегались. Странный город, окружающий его, был пуст. По широким темным улицам изредка проносились стремительные черные машины – так быстро, что ему ни разу не удалось разглядеть их. Один раз он наткнулся на группу людей в белом, стоящих в подъезде огромного особняка с погашенными окнами. Когда он приблизился, люди замолчали и повернулись к нему, как показалось, с почтительностью.

– Э-э... – начал Сергей Сергеевич растерянно. – Я чужой в этом городе...

Они стояли, уставясь глубокими блестящими стеклами глаз, круглые ротики их мигали. Сергей Сергеевич почувствовал себя крайне неловко.

– Мнэ-э... – Ему как-то нечего было сказать.

Люди в белом зашевелились и плавно, почти незаметно скользнули в тень под домом. Сергей Сергеевич поколебался, шагнул было им вслед, но потом раздумал: ну их, может, это влюбленные... неловко.

Странный был это город. Большой, очень большой, но какой-то слишком пустынный, слишком темный. Только один раз Сергей Сергеевич увидел здание с освещенными окнами – оттуда неслись непонятные голоса, звуки, похожие на заглушенную музыку, в ярко освещенных дверях стояло много существ в белом, группами и в одиночку... Сергей Сергеевич решил, что это ресторан или клуб. Здесь же, невдалеке за поворотом он увидел огромное количество черных обтекаемых машин – скорее всего, автомобилей. Он перебежал улицу и долго бродил между машинами, ища кого-нибудь, чтобы поговорить с глазу на глаз, в спокойной обстановке, но

никого не нашел. Черные молчаливо дремлющие машины показались ему герметически закупоренными – в них нельзя было ни проникнуть, ни заглянуть.

Странный это был город. Необозримые сумрачные площади, похожие на широкие озера, окаймленные высокими берегами куполообразных строений. На одну из них камнем упал с неба серебристый светящийся клубок света, подрожал немного, бросая блики на серый камень мостовой, снова взмыл к звездам и потух. На площади осталось несколько белых фигурок, которые неторопливо двинулись куда-то прочь и быстро затерялись на темном фоне зданий.

Небо вдруг посветлело, засеребрилось невидимыми до сих пор нитями высоких облаков. Из-за крыш далеко-далеко поднялись и торопливо пошли по огромной дуге две близко посаженные луны – два туманных широких серпа – и быстро скрылись за зданиями на другой стороне площади. Потом в обратном направлении бесшумно прорезала погасшие облака ослепительная точка, оставляя за собой не сразу гаснущую полоску света... И снова сумрак, тишина, холодок на коже, безлюдье...

Сергей Сергеевич сильно устал, кое-как доплелся до середины четвертой на его пути площади и сел на холодный камень, обхватив руками колени. Странное, странное пробуждение ихтиолога, специалиста по осетровым. Сергей Сергеевич Комлин, что с тобой? Куда тебя занесло?

– К сожалению, я материалист, – сказал Комлин вслух и подумал, что раньше у него никогда не было такой привычки – разговаривать с самим собой. – Для идеалиста все происшествие проще пареной репы. Переселение душ. Мое, комлинское, «я» – в другом теле. Однако...

Вдали вспыхнули огни тройных фар, минута – и мимо, совсем рядом, пронесся горячий ветер, блеснул красный бездымный огонек... И еще, и еще...

– Реактивные автомобили, – решил Сергей Сергеевич. – Чудесные машины будущего... А вот эта пара несомненно бредет сюда.

Двое в белом подошли и стали неподалеку, не обращая на Комлина никакого внимания. Оба в белом, оба глазастые и безносые, оба на одно лицо. Они звонко и певуче перебрасывались словами. Сергей Сергеевич подождал немного, потом встал и придвинулся к ним:

– Простите, ради бога... Видите ли – странное происшествие...

Он замолчал. Они, правда, не шарахнулись от него, как от чумного, но как-то сразу отодвинулись, повернулись спиной, отошли, не прерывая своего разговора...

– Н-да, – пробормотал Сергей Сергеевич. – С пьяным человеком какая

беседа!.. Пойду, посижу... Чего уж... Буду ждать.

Он снова сел на холодный камень. Ждать, собственно, было нечего. Разве что – утра. Утро вечера мудренее. С неба упал, как давеча серебристый клубок, – сверкающий светом большой колпак. Откинулась дверца у земли, те двое вошли внутрь... Звон, горячий ветер – и опять – тишина, сумрак, безлюдье... Сергей Сергеевич уронил голову на чужие острые колени.

II

– Простите, мой Когга, но, насколько я понял, это попросту установка для разгона элементарных частиц.

– Вы правы. При малых мощностях Атта добился весьма широкого диапазона энергий...

– Я знаю эту работу. Мне не понятно, в чем секрет его последних опытов по... Как он говорил?

– По созданию искусственной памяти.

– Да. Его первые работы удивительно сумбурны, я подозреваю – ему самому очень многое не ясно.

Говоривший присел на ручку кресла (того самого, в котором проснулся Сергей Сергеевич Комлин) и рассеянно погладил металл протянувшейся к нему широкой трубы, мигающей оранжевым огнем. Его собеседник – весь в белом с черной шапочкой (знаком Института Высшей Нервной Деятельности) на голой builtгрúстой голове – прикрыл прозрачными веками выпуклые глаза.

– Принцип прост, мой Эвидаттэ, принцип прост. Воздействие быстрых частиц вызывает коренные изменения нервных клеток мозга.

– Так...

– Старые связи могут быть нарушены, новые могут возникнуть. Психика Атта может стать психикой Эвидаттэ или... Когга...

– От изменений нейронов под действием частиц, мой Когга, до... до создания искусственной памяти – не один шаг!

– Это так, но Атта сделал эти шаги!

Оба помолчали, следя за белыми фигурами лаборантов, скользящими по обширному залу лаборатории. Потом Эвидаттэ сказал задумчиво:

– Правильно ли я понял, мой Когга, – ощущение вспышки света в глазу можно вызвать не только светом, но и острой иглой, коснувшейся нерва; связь в мозгу можно вызвать не только самим событием, но и чем-то

совершенно не похожим на это событие?..

– ...скажем, пучком частиц определенной энергии! – быстро подхватил Когга.

– Но так можно создавать только сумасшедших! Посудите сами, мой Когга, – нарушить ряд связей, возникших как следствие ряда восприятий, просто. Не это ли делает кунигасса – болезнь облученных? Но воссоздать такие связи искусственно, надеясь на случайность, на удачу... Ведь Атта не нашел закономерностей, не правда ли?

– Не нашел, его опыты пока случайны. Он нашел пока только принцип и тот участок спектра энергий, который производит особо эффективное воздействие на нейроны.

– Вот видите! При таких условиях пытаться воссоздать цельное, единое непротиворечивое сознание искусственно – то же самое, что, смешав все оттенки цвета, надеяться получить упорядоченный спектр!

– Но Атта сделал это! – спокойно возразил Когга.

– Значит, он нашел закономерность. – Эвидаттэ встал. – Значит, он нашел, нашел ее, Когга!..

– Не думаю. – Когга покачал шапочкой. – Не похоже, мой Эвидаттэ. Он не принял никаких мер. Он не ждал таких результатов. Он действовал наудачу... Как и в первый раз.

– Да, как и в первый раз, – медленно повторил Эвидаттэ. – Вы знаете, что Совет поднимает снова вопрос о дисциплине? Боюсь, дело Атта будет рассматриваться одним из первых...

Когга промолчал, глаза его были полузакрыты.

– Его опыт необычайно интересен – открыл он общую закономерность или не открыл. Но постановление Совета запрещает производить над собою опыты, исход которых может быть особо вреден для здоровья. Тем более криминальны опыты, производимые тайком, в одиночку... Боюсь, что за опыт Атта придется отвечать вам, мой Когга, директору Института.

Когга молчал.

– Ведь это уже не первый случай...

– Я не могу запретить своим сотрудникам отдавать себя науке целиком, – проговорил Когга, его слова звучали резко. – Я сам был таким недавно, я знаю, что такое – любить свое дело.

– Как носитель мысли, я согласен с вами, – поспешно заметил Эвидаттэ. – Я не могу не восхищаться поступком Атта. Но я вынужден говорить с вами, как член Совета...

– Я понимаю. – Когга слегка поклонился. – Если вы осмотрели оборудование, то, быть может, перейдем ко мне в кабинет? Прошу вас.

Они спустились с возвышения и двинулись к выходу, думая каждый о своем.

– Мне кажется, – сказал Эвидаттэ, – состояние Атта не внушает таких опасений, как после первого эксперимента?

– Конечно! Тогда он попросту потерял рассудок на некоторое время. Нарушил все нормальные связи, не сумев воссоздать упорядоченной системы новых... Это было типичное помешательство.

– Вы думаете, рассудок вернется к нему и на этот раз?

– Рассудок... Это не то слово, мой Эвидаттэ. Ведь он не только потерял рассудок, свой рассудок, но и приобрел рассудок – рассудок другого существа...

– О, не слишком ли это смело сказано! Не проще ли предположить, что он потерял память, впал в детство или что-нибудь в этом же роде? Ведь с полной определенностью ясно только то, что он потерял память. Он никого не узнает, элементарнейшие наши обычаи кажутся ему совершенно незнакомыми... Он даже не нашел пути домой!

– Да. Нам удалось собрать сведения, что он довольно долго бродил по научному поселку. Многие видели его после того, как он стремительно выбежал из Центрального здания, не сказав ни слова дежурному. Далеко уйти ему не удалось – его нашли на территории Института, на площади Белых Звезд, где он заснул прямо на мостовой. Потеря памяти – это верно. Но это еще далеко не все!

В кабинете, лишенном окон, но залитым ярким дневным светом, они уселись в удобные кресла, и Когга продолжал:

– Уже сейчас можно утверждать, что речь Атта членораздельна. К этому выводу пришли специалисты по фонетике, изучившие звукозапись беседы главного врача с больным. Его поступки, может быть, странны, не спорю, но не лишены логики, и эта логика доступна нам. Нам удалось даже выяснить его «новое» имя – «ихтийологг». О, уверяю вас, можно было бы найти много косвенных доказательств того, что Атта, потеряв свой рассудок, заменил его рассудком иного существа. Существа, отличного от нас, но имеющего общую с нами природу...

– Иначе и быть не могло! – заметил Эвидаттэ, пристально разглядывая потолок, льющий ровный голубоватый свет. – Если можно воссоздать сознание, то это должно быть сознание, близкое к нашему, хотя и отличающееся как по совокупности знаний, так и по их качествам. Если я только верно понял гипотезу Атта...

– К сожалению, мы лишены возможности воспроизвести во всех деталях образ мышления «нового» Атта – работы по психозаписи еще

только начаты, методы несовершенны. Но он идет нам навстречу! Его рисунки необычайно занимательны. Взгляните...

– О! – Эвидаттэ с изумлением поднял плечи, перебирая в голубоватых пальцах изрисованные квадратики плотной бумаги. – Какие удивительные существа! Неужели это внешность носителя мысли в представлениях «нового» Атта?

– Вряд ли! – Директор Института возбужденно прошелся по кабинету. – В высшей степени сомнительно, ибо «новый» Атта не потерял способности управлять своими органами. Я думаю, «новый» Атта не может сильно отличаться от «старого» ни внешностью, ни мышлением. Образ носителя мыслей во Вселенной един! Вспомните раскопки в Лунной пропасти в горах Ста – останки разбившегося чужого звездолета и останки экипажа. Наши механизмы отличаются больше, чем наши тела и наш мозг; все мы – Носители Мысли... А теперь, если удастся развить работы Атта, то и Творцы Мысли!

– Но это?.. – начал Эвидаттэ, с веселым любопытством следя за разволновавшимся коллегой, и тряхнул пачкой рисунков.

– Это? – Когга засмеялся. – Атта называет это «рыбба». Чудовища его мира. Что-нибудь вроде наших куффу...

Эвидаттэ кивнул согласно и углубился в изучение рисунков. Наступила тишина. Когга успокоился, присел за свой огромный стол и включил телевизионный экран. Потом сказал, прикрыв рукой микрофон, не отрывая глаз от сосредоточенных лиц своих товарищей, склонившихся за работой на экране:

– Атта поправится. Вернется к работе. Мы изучим набранный материал. Многое поймем из того, что он сейчас говорит. Узнаем, что такое «рыбба»... Но кто скажет нам, существует ли объективно во Вселенной носитель мысли по имени «ихтийологг», чье мышление создал труд Атта? И должен ли он обязательно существовать? Может быть, это – бред? Стройный, логичный, внутренне обоснованный бред. Кто скажет это нам, мой Эвидаттэ?..

...А в это время Сергей Сергеевич Комлин, «новый» Атта, вполне освоившись с обстановкой, сидел за столом напротив бледно-голубого человека и втолковывал ему, что такое «автобус», и как это слово звучит по-английски. Он только что вспомнил, что знает английский язык.

СТРАШНАЯ БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

1. СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ

Михаил Петрович очнулся от режущей боли в затылке. Под черепной коробкой пульсировало горячее пламя, перед глазами вспыхивали и гасли прозрачные багровые пятна. Голова, несомненно, была размозжена, и чьи-то грубые пальцы бесцеремонно копались в ране. Он дернулся и застонал.

– Сейчас, сейчас, – торопливо сказал кто-то. – Потерпи немного.

Голос был знакомый. Михаил Петрович с усилием разлепил веки и увидел над собой широколобое лицо Северцева.

– Лежи спокойно, – сказал Северцев. – Я уже кончаю.

– Что... кончаешь?

– Перевязку.

Северцев отодвинулся в сторону, и Михаил Иванович почувствовал на щеке прикосновение его жесткой ладони. От ладони пахло аптекой.

– Ничего не понимаю, – громко проговорил он.

– У тебя проломлен нос и разбит затылок.

– Проломлен нос...

Михаил Петрович озадаченно замолчал, прислушиваясь к горячим пульсирующим толчкам в мозгу. Северцев что-то с треском разорвал над его правым ухом.

– Вот так... и вот так. Все.

Матовые полушария заливали кабину голубоватым дневным светом. Свет мерцал на полированном дереве, на стекле и на металле, причудливыми бликами переливался на неровностях мягкой серебристо-серой обивки. Все казалось привычным, знакомым и даже уютным. Михаил Петрович снова закрыл глаза, силясь сообразить, что произошло. Затем до его сознания дошли странные необычные звуки. «О-о-о... о-о-о... о-о-о...» – однообразно, через равные промежутки времени доносилось из-за спины. Он прислушался. Кто-то стонал – негромко, с усилием, словно задыхаясь, и была в этом стоне такая горькая жалоба, такое страдание, что сердце Михаила Петровича сжалось. На мгновение он позабыл об острой боли, терзавшей его голову.

– Кто это? – шепотом спросил он.

– Валя... Кажется, у нее сломан позвоночник.

– Валентина Ивановна?

Михаил Петрович открыл глаза и сел, вцепившись пальцами в толстые валики подлокотников. Северцев схватил его за плечи.

– Лежи, лежи, Миша... Что уж теперь поделаешь...

– Погоди...

Михаил Петрович зажмурился, провел ладонью по лицу и сейчас же отдернул руку, наткнувшись на месте носа на что-то пухлое, зыбкое, почти бесформенное.

– Мой нос...

Он глубоко вздохнул, превозмогая тошноту, внезапно подкатившую к горлу.

– Валя... Сломан позвоночник... Да что произошло, в конце концов?

– Ляг сперва. Вот так. Ничего особенного. Сто шестьдесят третий.

– Сто шестьдесят третий?

– Ну да. Сто шестьдесят третий ударил в нас. Не успели увернуться. Слишком плотный поток. Вероятно, их было сразу два, и один из них попал в носовую часть.

– И...

– В пыль.

Михаил Петрович приподнялся и поглядел на круглый люк, ведущий в рубку управления. Люк был наглухо закрыт.

– Значит, там...

– Пустота.

Внезапно он вспомнил все. Метеоритная тревога. Толчки, от которых мутилось в голове. Беньковский что-то кричал о невиданной плотности потока. Ван приказал пристегнуться к креслам. Нет... Сначала Северцев считал толчки. Двадцать, пятьдесят, сто... Кажется, Ван появился в кабине уже после ста. Валентина Ивановна поила профессора какой-то микстурой. Сто шестьдесят, затем сразу сто шестьдесят один и сто шестьдесят два. И – слепящий удар в лицо.

– Постой... Кто был в рубке?

– Горелов.

– Один?

– Да.

– Горелов погиб?

Северцев не ответил.

– Так... – Михаил Петрович тупо уставился на люк в рубку. Он пытался представить себе за этим люком зияющую ледяную пустоту и не мог. «О-о-о... о-о-о... о-о-о...» – стонала Валентина Ивановна.

– Значит, Горелов... А остальные?

– Всем досталось, – тихо сказал Северцев. – Валя, кажется, умирает. – Он гулко проглотил слюну и откашлялся. – Да... Когда произошел удар, тебя швырнуло лицом на распределительный щит. Затем звездолет завертелся, как волчок. Настоящая мясорубка. Профессор вывихнул руку. У Вана спина разодрана до костей. Меня тоже оглушило. А Валя – вот.

– Она без сознания?

– Да. Во всяком случае, ничего не отвечает. А ты как? Тебе лучше?

– Лучше, – сердито пробормотал Михаил Петрович. – Где Беньковский?

– Возле Вали.

– А Ван?

Он запнулся.

– Ван... Слушай, Володька...

– Что?

– Рубка разрушена, Горелов убит... Как же звездолет? Куда мы летим?

– Куда летим?

Северцев нерешительно оглянулся, затем наклонился к самому уху Михаила Петровича.

– Кажется, всем нам крышка, Миша.

Михаил Петрович молча посмотрел ему в глаза. Лицо Северцева потемнело, на лбу выступили капли пота.

– Пока известно только, что запасное управление отказало, радио не работает. Ван отправился на корму осмотреть моторную часть, но, мне кажется, все кончено. Здесь нам помощи ждать неоткуда. Нам крышка, Миша.

– Помоги мне подняться. – Он сам удивился, услышав, как спокойно звучит его голос.

Северцев подхватил его под мышки, и он кое-как встал на ноги.

– Почему нет невесомости?

– Центробежная сила. Звездолет все еще вертится.

– Вот как...

– Очнулись?

Михаил Петрович обернулся. Перед ним стоял Беньковский, иссиня-бледный, с всклокоченной бородой. Обеими руками он опирался на какой-то толстый металлический стержень.

– Очнулся, Андрей Андреевич. Вижу, дела у нас невеселые.

Северцев предостерегающе толкнул его в бок.

– Да, дела не радуют, – спокойно согласился Беньковский. – Валентина Ивановна, вероятно, умрет через несколько часов.

Он помолчал немного и добавил неожиданно:

– Да и мы переживем ее ненадолго...

Северцев вытер лицо рукавом и шумно вздохнул.

– Ничего не поделаешь. Это иногда случается у нас в пространстве.

«О-о-о... о-о-о...» – жалобно звучало из-под простыни, покрывавшей маленькое неподвижное тело, вытянувшееся в кресле в дальнем углу кабины.

– Мы ничем не можем помочь ей? – почему-то шепотом спросил Михаил Петрович.

– Не знаю. – Беньковский вдруг яростно дернул себя за бороду. – Не знаю! Я даже не знаю, что с ней. Сломан позвоночник, ребра... Вся левая часть тела – сплошной волдырь... синий волдырь. Если бы она хоть на минуту пришла в себя, сказала бы, что нужно сделать... Такая неудача! Больше всех пострадал врач...

Он опустил голову и устало добавил:

– Впрочем, это лучше, что она без памяти. Теперь уже все равно.

Раздался тихий металлический звон. Дверь, ведущая в кормовой отсек, распахнулась, и в кабину шагнул Ван Лао-цзю – осунувшийся, пепельно-серый, с плотно сжатыми запекшимися губами. Его узкие, потонувшие в воспаленных веках глаза на мгновение задержались на кресле, в котором лежала Валентина Ивановна. Михаил Петрович шагнул к нему. Ван слабо улыбнулся.

– Очень рад, Миша, – сказал он. – Очень рад, что ты на ногах.

Он облизнул губы, сморщился, точно от сильной боли, и проговорил:

– Давайте сядем, товарищи, и кое-что обсудим. Дело в том, что мы падаем.

2. МЕЖПЛАНЕТНЫЙ БАКЕН

– Падаем? – спросил Беньковский. – Куда?

Северцев стиснул руку Михаила Петровича. Ван, с видимым трудом переставляя ноги, подошел к креслу, с которого только что поднялся Михаил Петрович, и сел, неестественно выпрямившись.

– Куда мы падаем? – снова спросил профессор. – На Ио? На Мальхиору?

Ван медленно покачал головой.

– Нет.

– Значит...

– На Юпитер.

На минуту воцарилось молчание. «О-о-о... о-о-о...» – тихо стонала Валя. Михаил Петрович слышал, как тяжело и часто дышит Ван. Беньковский закручивал бороду в косички. Северцев стоял, покачиваясь, подняв к потолку посеревшее, забрызганное кровью лицо.

– Вероятно, налетев на метеорит, мы потеряли скорость и направление. Может быть, есть и другие причины. Сейчас звездолет движется через экзосферу Юпитера. Точно определить скорость мне не удалось, но во всяком случае она не превосходит двадцати километров в секунду.

Северцев протяжно свистнул.

– Верная гибель, – пробормотал он.

– Верная гибель, – бесцветным голосом повторил Ван. – Особенно, принимая во внимание, что всех наших запасов горючего едва хватило бы, чтобы прибавить еще три-четыре километра. Мы много израсходовали, когда шарахались из стороны в сторону в метеорном потоке.

Все опять замолчали.

– А... Неужели двадцати с лишним километров в секунду недостаточно, чтобы оторваться от Юпитера?

– Двадцать с лишним километров! – дрожащим фальцетом выкрикнул Северцев. – Это же не Земля! Понимаешь, Миша? Не Земля! Забудь про Землю. Мы над Юпитером, и только чтобы не упасть на эту проклятую планету и вечно кружиться вокруг нее, нам нужно минимум сорок три километра. Понимаешь?

– Понимаю, не кричи, – холодно остановил его Михаил Петрович.

– Мы идем по спирали, – Ван описал пальцем закручивающуюся спираль, – и через два-три оборота врежемся в метановые облака.

– И сгорим, – с нервным смешком добавил Северцев.

– На такой скорости и против вращения – сгорим, – согласился Ван. – Но можно принять меры...

– Н у ж н о принять меры. – Беньковский твердо посмотрел Вану в глаза. – Нужно постараться затормозить и...

– Зачем? – Северцев протянул к нему руки. – Мы обречены. Так уж лучше сразу...

Михаил Петрович раскрыл было рот, но профессор опередил его.

– Что значит «лучше сразу»? – крикнул он. – Почему это «лучше сразу»? Вы понимаете, что вы говорите, Владимир Степанович? Я не узнаю вас! Нам на долю выпала возможность первыми заглянуть в недра гиганта Джупа, а вы хотите добровольно отказаться от нее? Мне стыдно за вас. Ученый, межпланетник...

– Я хочу сказать, – упрямо проговорил Северцев, – что нет никакого смысла оттягивать неизбежную гибель. Это жестоко хотя бы по отношению к Вале!

Все невольно оглянулись на покрытое простыней тело женщины.

– Говорите за себя, когда говорите такие вещи, – после короткой паузы, понизив голос, сказал Беньковский. – Я уверен, что если бы Валентина Ивановна была в сознании, она ни за что не встала бы на вашу точку зрения.

– Браво, профессор, – серьезно сказал Михаил Петрович. Он сопнул, скосил глаза и потрогал свой чудовищно распухший нос. – Будем стоять до конца!

Северцев пожал плечами и отвернулся. Ван безучастно поглядел на него из-под опущенных век.

– Значит, решили? – проговорил он. – Хорошо. Я выжму из двигателя все, чтобы затормозить. Впрочем, за успех не ручаюсь.

– Разве управление работает? – встрепенулся Михаил Петрович.

– Да... Я наладил там кое-что.

– Тогда... – Михаил Петрович смущенно переступил с ноги на ногу. – Тогда мне не совсем понятно...

– Что именно?

– Прошу прощения. Может быть, я говорю глупости, но... Слушайте, если управление в порядке, то почему мы должны обязательно погибнуть? Почему бы нам не сесть на Юпитер?

Северцев сморщился, как от кислого, и махнул рукой. Беньковский оторопело дернул себя за бороду.

– То есть... как это – сесть?

– Да так. Как обычно садятся. Как садятся на Марс, на Луну, на...

– Сесть на Юпитер?

– Да, на Юпитер. – Михаил Петрович говорил неуверенно, чувствуя, что «дал маху». – Разве нельзя?

– Милый юноша, – важно и с некоторым оттенком сострадания в голосе сказал Беньковский, – на Юпитер сесть невозможно, потому что... О, мой бог, ну просто потому, что негде!

– Негде? Что там, скалы? Поверхность расплавлена?

– Нет. На Юпитере нет скал. И нет расплавленной поверхности. На Юпитере нет ничего, поэтому и сесть негде.

– Ага... – Михаил Петрович растерянно глядел на всклокоченную бороду профессора. – Нет, ни черта не понял, простите.

Северцев подошел к нему.

– Ведь это большая планета, Миша. Понимаешь? Большая!

– Ну... понимаю. Большая. И что же?

– А то, что под нами, до самого центра планеты – водородная бездна. Пропасть глубиной в семьдесят тысяч километров, заполненная сжатым водородом! Понимаешь? Здесь нет ничего твердого. И уже на глубине десяти тысяч километров давление в семьсот тысяч атмосфер... Нас раздавит, как яичную скорлупу под каблуком.

– Понял, понял, успокойся. – Михаил Петрович, криво усмехаясь, отстранил Северцева. – Так бы и сказал. Понятно.

Он помолчал, затем быстро спросил:

– Короче говоря, надежды никакой нет?

– Нет.

– Все равно будем держаться до конца.

– До конца! – торжественно повторил Беньковский. Он с чувством пожал Михаилу Петровичу руку и добавил: – Нам, межпланетникам, не впервой смотреть смерти в лицо, а вот вы...

– Не знаю, – мрачно улыбаясь, возразил Михаил Петрович. – Бывало всякое. Три года назад я провел пренеприятные часы на дне Филиппинской впадины. Батискаф засосало в ил, и...

– У нас мало времени, – мягко перебил его Ван. – Нам еще нужно выкинуть бакен.

– Выкинуть... что?

– Бакен. Это небольшая ракетка с автоматическим передатчиком, – пояснил Ван. – Когда звездолет гибнет, пилоты, если позволяет обстановка, обязаны изложить все случившееся на бумаге или магнитофонной ленте. Документ вкладывается в ракетку и выстреливается в ней в пространство. Рано или поздно кто-нибудь запеленгует ее и выловит. И люди узнают, что произошло.

– Как бы наш бакен не упал вслед за нами, – пробормотал Беньковский.

– Не упадет. Скорость у него достаточно велика – порядка двадцати пяти километров в секунду, и если выбросить его по курсу, успех обеспечен. Только нужно поторопиться. По моим расчетам часа через четыре мы вступим в стратосферу Юпитера, и выпуск бакена будет весьма затруднен. Составляйте бумагу, а я пойду посмотрю, что можно сделать.

Ван поднялся (Михаил Иванович увидел, как его смуглое лицо приняло при этом пепельный оттенок), несколько секунд постоял с закрытыми глазами и неуверенной походкой двинулся к выходу. На пороге он обернулся:

– Помните, у нас в распоряжении не больше трех часов.

– Больше нам и не понадобится, – проворчал Беньковский. – Ну, дети капитана Гранта, начнем? Кому из вас приходилось раньше составлять предсмертные послания?

Он сел к столу и вынул из портфеля листок бумаги.

– Диктуйте, Михаил Петрович.

– Почему я?

– Ваша профессия, как-никак...

Северцев, ходивший взад и вперед по каюте, бросился в кресло и закрыл лицо руками.

– Скорость, проклятая скорость... – простонал он.

Беньковский нахмурился, но промолчал.

– Диктуйте, Миша, – попросил он.

– Пишите... – Михаил Петрович на мгновение задумался. – Фу, черт, голова трещит... Так. Ну... «Звездолет К-16. Земное время...» – Он посмотрел на универсальные часы над люком в рубку. – «Земное время 16 часов 3 февраля 19.. года. Местное время – 5 часов 336-го дня. Транспортный звездолет К-16 с грузом продовольствия для планетографической станции «Юпитер-1» на Мальхиоре...»

– На Мальхиоре, – повторил профессор. – Добавим в скобках «одиннадцатый спутник». На Западе еще не все знают, что такое Мальхиора.

– «...с грузом продовольствия для планетографической станции «Юпитер-1» на Мальхиоре (одиннадцатый спутник), имея на борту экипаж в составе капитана звездолета Горелова и штурмана-механика Ван Лао-цзю и пассажиров – юпитерологов профессора Беньковского и аспиранта ЛГУ Северцева, врача Зотову и корреспондента «Известий» Королькова, 336-го дня в 11 часов по местному времени попал в плотный метеоритный поток, будучи в сорока часах пути от станции назначения...»

– Погодите, – перебил Беньковский. – Я проставлю координаты. Так. Элементы орбиты потока... к сожалению, не выяснены. Дальше.

– «Звездолету на протяжении трех часов последовательно угрожали сто шестьдесят два столкновения. Сто шестьдесят третий метеорит ударил в носовую часть. Ударом была полностью разрушена рубка управления и убит капитан звездолета Горелов. Врач Зотова получила тяжелые повреждения и... и не приходит в сознание. Остальные участники полета отделались... гм... ушибами».

Перо профессора быстро бегало по бумаге.

– Продолжайте, Михаил Петрович.

– Продолжаю. «За три часа метеоритной тревоги и в результате удара звездолет израсходовал большую часть горючего, сбился с курсовой орбиты и на скорости около двадцати километров в секунду приблизился вплотную к поверхности Юпитера. Мы, оставшиеся в живых и в здравом рассудке, Беньковский, Ван, Северцев и Корольков приняли решение...»

– Приняли решение, – вполголоса повторил профессор.

– «...приняли решение: принять все меры к тому, чтобы...» Нет, не так. Вот: «...погибнуть на посту – постараться проникнуть невредимыми через внешние оболочки планеты и впервые в истории провести наблюдения ее недр». Так можно, Андрей Андреевич?

Беньковский кивнул. Выражение лица его было очень важным и торжественным.

– «Мы хотим до конца исполнить свой долг, свое назначение во Вселенной. Пусть никто не узнает, что мы увидим перед смертью. Пусть никто не узнает, каков был наш конец. Знайте только, что мы до конца сохранили за собой право на высокое звание Человека. Штурман Ван в последний раз покажет свое искусство, ведя корабль в водородную бездну; профессор Беньковский и аспирант Северцев проведут свои последние исследования. Корреспондент Корольков получит материал для последнего очерка...»

Северцев остановился за спиной профессора и глядел через его плечо. Затем провел ладонью по лицу и выпрямился. Глаза его были закрыты.

– «Последнее наше слово, – диктовал Михаил Петрович дрожащим голосом, – обращено к Земле. Последний привет наш – к нашим семьям, нашему народу, всей нашей родной планете». Дальше будут подписи, – сказал он, помолчав.

В наступившей тишине слышались только слабые стоны Валентины Ивановны и скрип пера по бумаге.

– Все, – сказал наконец Беньковский. – Перечитайте.

Михаил Петрович пробежал листок глазами и сложил его вчетверо.

– Найдут ли его? – спросил он.

Беньковский неопределенно хмыкнул.

3. ВОДОРОДНЫЕ ПРИЗРАКИ

Они поставили свои подписи – сначала Беньковский, затем Северцев и Михаил Петрович. Вернулся Ван, не читая, молча вывел в конце три иероглифа своего имени, помахал листком в воздухе, чтобы просохли

чернила, аккуратно сложил его и вышел, ни на кого не глядя. И потянулись бесконечно медленные минуты.

Никто не заметил, когда перестала стонать Валентина Ивановна. Странная неживая тишина воцарилась в кабине. Беньковский вдруг встрепенулся, на цыпочках подошел к умирающей, склонился над нею, прислушался. Потом так же на цыпочках вернулся на свое место.

– Дышит еще, – шепотом сообщил он.

Михаил Петрович плотнее ушел в кресло и прислонился горячей щекой к прохладной обивке. Думать ни о чем не хотелось, ибо всякая мысль неизбежно упиралась в главное: через несколько часов конец. Необходимо было отвлечься, сделать что-нибудь, иначе страх перед концом, прочно засевший ледяным комком где-то под желудком, мог вырваться и ударить в мозг.

– Интересно, что делает Ван? – пробормотал он.

Северцев пошевелился, но ничего не сказал. Беньковский поднял голову.

– Ван? Возится с бакеном, я полагаю. Или готовит звездолет к спуску.

– Может быть, сходить, помочь ему?

– Вряд ли, Миша, вы будете полезны.

Профессор внимательно посмотрел на Михаила Петровича, затем на Северцева.

– Не вешайте носы, друзья, – сказал он. – Помните, у Пушкина? «Умирать так умирать, дело служивое». Конечно, вы еще молоды... А я другой смерти и не желал бы. Мой дед был военным моряком и подорвал на себе фашистский танк под Сталинградом... Мать и отец погибли во время второй экспедиции Кожина. И я тоже умру на посту. И желаю такой смерти своим сыновьям. Настоящему человеку не пристало подыхать от старческой немощи в своей берлоге.

Михаил Петрович насильственно улыбнулся.

– С этим, конечно, можно спорить, Андрей Андреевич...

– Можно, – согласился профессор. – У каждого свой взгляд на такие вещи. Ит депендз, как говорил коллега Старк. Но если вы думаете иначе, то какого черта, простите, вас понесло за миллиард без малого километров от вашей постельки?

– И это правильно.

– Нет, – возразил вдруг Северцев. – По-моему, это неправильно. Человек рожден для счастья, а не для безвестной гибели.

– Человек рожден для труда. – Беньковский усмехнулся. – Ну, не будем препираться. К тому же у каждого свое понятие и о счастье. Я жалею

только о том, что мало успел сделать в своей науке. А я люблю свою науку. Это наука о водородных призраках, о планетах-гигантах, о самых странных и непонятных объектах в Солнечной системе. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун... Исполинские массы водорода и гелия, слегка подкрашенные метаном и аммиаком. Как они устроены? Почему они вращаются с такой бешеной скоростью? Какая энергия питает эти недозвезды, планеты-выродки? Вот мы наблюдаем на их поверхности титанические изменения: стремительно несутся полосы облаков, крутятся громадные воронки, со страшной силой вырываются потоки разреженных газов. Какие силы действуют за этими внешними проявлениями? Нет, это не всем известные термоядерные реакции, о которых знает каждый школьник. Ведь планеты эти холодны... смертельно холодны! Температура Юпитера – минус сто сорок, а остальных гигантов и того меньше. Что же представляет собой машина такой планеты? Новые, не знакомые еще человеку физические принципы, таинственные процессы, о которых мы пока не смеем и догадываться. Возьмите красное пятно...

– Или бурое свечение... – вполголоса вставил Северцев.

– ...или бурое свечение Юпитера, открытое бессмертным Лу Дзин-веем, тоже, кстати, погибшим где-то здесь... Когда Лу Дзин-вей впервые обогнул Юпитер и взглянул на него с ночной стороны, он убедился, что поверхность планеты излучает. Да, излучает! Поверхность с температурой в полтораста градусов ниже нуля светится жутким темно-бурым светом! За это англичане назвали Юпитер «Бурым Джупом»... Сколько тайн, сколько тайн! И меня огорчает только то, что не мне уже придется раскрыть их...

Беньковский рванул себя за бороду и откинулся на спинку кресла. Затем смущенно улыбнулся.

– Гимн планетографии... Простите великодушно старика.

– Ничего, Андрей Андреевич, – серьезно сказал Михаил Петрович. – Через час-другой вы своими глазами увидите эту самую... машину планеты.

Профессор вздохнул.

– Эх, Миша, – проговорил он, – вы не знаете, что вы говорите... Конечно, увидеть своими глазами – это тоже кое-что значит, и не скоро другим после нас удастся сделать это. Но измерения, расчеты... обработка наблюдений – вот где смерть перехитрит меня. Впрочем, будем благодарны и за то немногое...

– Благодарны! – Северцев яростно фыркнул. – Ну, разумеется, будем благодарны...

Они замолчали.

– Однако, где же Ван? – спросил вдруг Беньковский.

Михаил Петрович поднялся.

– Пойду посмотрю, что он делает.

– Ступайте, голубчик. Да поторопите. Время на исходе.

Стараясь не глядеть на тело Валентины Ивановны, Михаил Петрович прошел мимо ее кресла, открыл дверь и выбрался в узкий коридор, тянувшийся вдоль всего корпуса звездолета. Справа, слева, над головой находились вместительные отсеки грузовых трюмов. Под ногами, за полуметровой толщей стали – черная пропасть межпланетного пространства. Тусклым холодным светом сияли матовые колпаки. Поблескивали отполированные стены, выступы люков. В конце коридора за переборкой из гофрированного дюраля располагалась рубка запасного управления. Здесь было самое широкое место звездолета и, соответственно, здесь развивалась максимальная центробежная сила. Михаилу Петровичу казалось, что коридор идет под уклон. Невидимая тяжесть легла на плечи, стало трудно дышать. У входа в рубку он остановился. По верхней губе поползла теплая струйка, пот заливал глаза. Михаил Петрович осторожно промокнул лицо полой куртки и открыл дверь.

Ван лежал посередине кабины в странной позе, будто молился – подогнув колени под себя и припав головой к полу. Спину его, обтянутую нейлоновым комбинезоном, от правого плеча к пояснице пересекала неровная темная полоса. В руке он сжимал хронометр, рядом валялись исписанные листки бумаги и карандаш. Михаилу Петровичу был виден вихрастый затылок штурмана и белая линия воротничка на тонкой смуглой шее.

– Ван, – позвал он.

Ван не отозвался. Тогда Михаил Петрович опустился рядом с ним на корточки, с трудом перевернул его и положил его голову себе на колени. Лицо Вана было серо-желтым, глаза закрыты. На тонких губах запеклась кровь.

– Ван, очнись...

Он беспомощно огляделся, но ни воды, ни медикаментов в рубке запасного управления не держали. Он подул Вану в лицо, осторожно похлопал по щекам. Ван приподнял веки, широко, с хрустом, зевнул и сел.

– Что? Это ты, Миша?

– Я. Что случилось, Ван?

Штурман взглянул на хронометр, свистнул и поднялся на ноги.

– Чжэньши тай ци-ю цы-ли-ла... – пробормотал он. – Незадача! Отправил бакен, занялся вычислениями и вот тебе – закружилась голова, упал... А времени уже много. Следует торопиться.

Михаил Петрович с сомнением поглядел на него.
– Боюсь, опять ты свалишься...
– Надо надеяться, не свалюсь. Это все проклятая вертушка.
– Какая вертушка?
– Звездолет вертится. Сто оборотов в минуту около продольной оси. Там, в кабине, в узкой части, еще ничего. А здесь мы весим почти в полтора раза больше. Хочешь посмотреть, что снаружи делается?
Не дожидаясь ответа, Ван передвинул на панели какой-то рычажок, и под ногами его неслышно открылся круглый иллюминатор из кристаллического стекла.
– Видишь?
Михаил Петрович наклонился, вглядываясь.
– Нет. Мелькает только что-то.
– Мелькает... Это Мусин... Юпитер. Мы очень быстро вертимся. Будем останавливать вращение и выходить на правильный курс. Нам повезло...
Ван вдруг замолчал, глаза его остановились и остекленели.
– Бо...лит, – задыхаясь, проговорил он. – Ай-я! Чжэнь цзао-гао... Спина болит. Опять, кажется, кровь пошла. Слушай... У тебя на лице тоже... кровь? Или мне кажется?
Михаил Петрович подхватил его под руки.
– Сядь, отдохни, Ван.
– Хорошо. – Штурман сел, скрестив ноги, уронил голову на грудь. – Я все подсчитал. Теперь нужно так. Мы идем в направлении вращения Юпитера. Понимаешь? Мы его перегоняем. И почти в плоскости его экватора. Повезло... Здесь он вращается со скоростью десять километров в секунду. Наша скорость – двадцать. Тормозим своими двигателями – долой три-четыре километра. И врезаемся в атмосферу с относительной скоростью около шести-семи километров. Это... уже... хорошо. Не сгорим.
Он помолчал.
– Как там Валентина Ивановна?
– Еще дышит.
– Хорошо... Ну, давай за дело. Нужно только... сначала предупредить их. Пусть привяжутся. Возможны толчки. Ты... иди.
Ван дышал тяжело и часто, и Михаил Петрович со страхом и жалостью глядел на его неузнаваемо изменившееся лицо, на черный рот, в углах которого вздувались и пропадали розовые пузырьки.
– Иди, Миша.
– А ты как же?
– Иди. Я справлюсь.

Но что-то удерживало Михаила Петровича, и только когда штурман резко выкрикнул: «Иди, тебе говорят!» – он повернулся и вышел, прикрыв за собой дверь.

Потный и задыхающийся, добрался Михаил Петрович до передней кабины. И первое, что он увидел, были Беньковский и Северцев, стоявшие у кресла, в котором лежала Валя.

– Умерла, – коротко сказал профессор.

Северцев, не отрываясь, смотрел на мертвое запрокинутое лицо женщины, казавшееся теперь спокойным и даже радостным. Михаил Петрович кашлянул, помолчал с минуту и сказал шепотом:

– Разойдитесь по местам и пристегнитесь. Ван начинает.

4. РОЗОВЫЙ СВЕТ

Угрюмый неразговорчивый Горелов умер внезапно – он мгновенно растворился в ослепительной вспышке метеоритного взрыва, как пушинка в огне свечи, так и не успев, конечно, понять, что произошло. Валентина Ивановна Зотова, веселая хорошенькая хохотушка, угасла, не приходя в сознание, изувеченная страшным толчком, изломанная и разбитая.

А Ван... Теперь Михаил Петрович был уверен, что Ван хорошо знал, как и когда настигнет его смерть. Вероятно, жизнь ушла от него с последними литрами горючего, выброшенного из опустевших баков во взрывные камеры. Он больше не мог влиять на судьбу звездолета. Звездолет стал трупом, и Ван умер вместе с ним. Скрюченное тело штурмана висело у панели управления, и потребовалось немало усилий, чтобы разжать его пальцы, закостеневшие на рычагах.

Беньковский нерешительно посмотрел на Михаила Петровича.

– Мы должны остаться здесь, – сказал он. – Здесь единственный иллюминатор и... и достаточно просторно, чтобы расположиться с приборами.

– Я тоже так думаю, – серьезно ответил Михаил Петрович.

– Тогда...

– Да, я понимаю. Сейчас.

– Может быть, вам помочь?

– Нет, что вы, Андрей Андреевич...

Он бережно взял труп на руки, не испытывая при этом ни страха, ни брезгливости, которые обычно ощущал раньше при виде мертвецов, и понес в переднюю кабину. Теперь это было не трудно – звездолет больше

не вращался, в нем воцарилась невесомость. Северцев, стоявший в дверях, испуганно посторонился.

В передней кабине он уложил Вана в свое испачканное кровью кресло и, не торопясь, пристегнул широким ремнем. Затем несколько минут постоял у входа, придерживаясь за стенку.

– Прощайте, друзья, – сказал он вслух. – Вернее... до скорой встречи.

И, не оглядываясь, вышел.

В рубке Беньковский и Северцев согнулись у иллюминатора. Михаил Петрович присоединился к ним.

– Смотрите, смотрите, Миша, – прошептал профессор, отодвигаясь. – Смотрите, этого еще никто никогда не видел!

Звездолет несся над необозримыми полями рыжего клубящегося тумана, тускло озаренного далеким Солнцем. Далеко впереди туман расслаивался на жирные пухлые ряды облаков, похожих на извивающихся змей, с темными прогалинами между ними. Облака эти тянулись до самого горизонта и сливались там в плотную коричневую гладь. Впрочем, горизонта не было – он терялся в размытой желтой дымке, над которой начиналось бездонное черное небо, усеянное яркой звездной пылью. Глубоко внизу, в волнах тумана бежала тень звездолета, крохотная, но удивительно четкая, похожая на огрызок черного карандаша.

По правде говоря, это зрелище не произвело большого впечатления на Михаила Петровича, мысли которого все еще бродили вокруг того, что осталось в передней кабине. Он тоскливо вздохнул и покосился на Северцева. Лицо Володьки было напряжено, губы плотно сжаты, глаза, казалось, пожирали невиданный пейзаж, расстилавшийся за иллюминатором. С другой стороны жарко и часто дышал Беньковский. Жесткая борода его колола Михаилу Петровичу ухо. Михаил Петрович отодвинулся.

– Да, здорово, – пробормотал он.

– Это метан, аммиак и пары натрия, – сказал Беньковский. – Мы летим совсем низко...

– По всей видимости, ракета погрузится в облака на ночной стороне. – Северцев прильнул лицом к стеклу, силясь рассмотреть что-то внизу. – Между прочим, заметьте, звездолет принимает постепенно вертикальное положение.

– Совершенно верно, – откликнулся профессор. – Становится на корму.

– Эх, сейчас бы нам полные баки...

– Не болтайте ерунды, – сердито сказал Беньковский. – Никаких баков

не хватило бы нам сейчас, чтобы оторваться, и вы отлично это знаете.

– Знаю, конечно...

– А коли знаете, так оставьте ваши «если бы да кабы» при себе. Идите лучше и распакуйте спектроскоп. Пора готовиться к наблюдениям.

Северцев молча оттолкнулся от стены и поплыл к выходу. Михаил Петрович спросил:

– Андрей Андреевич, как по-вашему, долго мы будем падать?

Беньковский пожал плечами.

– Как вам сказать, голубчик... Предположительно часов десять, а то и пятнадцать. Если плотность газа будет возрастать согласно теории...

Он вдруг замолчал.

– То что?

– То... э-э... Мне сейчас пришло в голову... – Он сморщился, немилосердно теребя бороду. – Одним словом, в вашем распоряжении еще как минимум десять часов, Миша. Да, как минимум...

Бормоча что-то себе под нос, Беньковский достал из нагрудного кармана записную книжку и принялся перелистывать ее.

– Это было бы необыкновенно... И все-таки...

Михаил Петрович кашлянул и деликатно отвернулся к иллюминатору. В то же мгновение он изумленно вскрикнул.

– Андрей Андреевич, глядите!

Далеко впереди над желтой дымкой, обволакивающей горизонт, фантастическим призраком всплыл исполинский белесый бугор, похожий не то на солдатскую каску, не то на шляпку чудовищной поганки. Ракета неслась прямо на него, он рос на глазах, раздавался вширь, и вот уже можно было различить на его поверхности шевелящийся, словно клубок червей, струйчатый узор.

– Протуберанец! – прошептал Беньковский, судорожно вцепившись в стальную обойму иллюминатора. – Протуберанец, извержение газов на Юпитере! И так близко... – Он закричал: – Владимир Степанович! Северцев! Сюда, скорее!

Бугор вдруг осветился изнутри дрожащим фиолетовым светом, затрясся и взмыл вверх, волоча за собой хвост желтых прозрачных нитей, еле заметных на черном фоне неба. Исполинский вал рыжего пара покатился навстречу звездолету.

– Берегись! – отчаянно завопил Беньковский.

Михаил Петрович зажмурил глаза и отпрянул от иллюминатора. Звездолет качнуло, сначала легко, затем сильнее. Северцев, прибежавший на зов профессора, отлетел к панели управления и ухватился за нее обеими

руками.

– Начинается, – пробормотал он, едва шевеля побелевшими губами.

Со звоном захлопнулась и снова распахнулась дверь. Снаружи с головокружительной быстротой появлялись и исчезали клочья тумана. Туман был серым, а не рыжим, как казалось сверху. Сквозь просветы мелькали далекие облака, черное звездное небо. Быстро темнело.

– Кажется, погружаемся, – сказал Беньковский. – Не вижу ничего.

– Что же, – спросил Михаил Петрович, – здесь все время будет такая темнота?

– Это еще не худшее, что может с нами случиться, Миша. – Северцев, вытянув шею, смотрел через голову профессора. – Однако, мне кажется, что звездолет поворачивается?

– Глядите! – Беньковский приник к стеклу. – Солнце!

Пелена тумана снова порыжела, и на мгновение Михаил Петрович увидел Солнце – крошечный, ослепительно яркий теплый диск.

– Солнышко, – сдавленным голосом проговорил он.

– Прощай... навсегда.

Непроглядная тьма закрыла иллюминатор. Звездолет раскачивался, откуда-то доносилось протяжное гудение, временами переходившее в пронзительный свист. Температура в кабине быстро поднималась. Северцев прислушался.

– Сейчас самое время сгореть, – спокойно сказал он.

– Как это сгореть? – сердито возразил профессор. – А наблюдения? Нет, голубчик, не так скоро... не так скоро.

Качка усилилась. По-видимому, торможение звездолета в атмосфере происходило неравномерно. Время от времени людей бросало на стены и друг на друга. А затем... чудовищные силы страшной большой планеты подхватили звездолет и завертели его, словно щепку в водовороте. Все смешалось в кабине. Профессор, упав на вывихнутую руку, шипел и подвывал тихонько, кусая нижнюю губу. Северцев поймал его за плечо, притянул к себе и затиснул за панель управления.

– Держитесь крепче, – крикнул он. – Может быть... Господи, Миша, что с тобой?

Михаил Петрович только жалко улыбнулся в ответ. Он захлебывался кровью. В условиях невесомости кровь не вытекала из носа, она заполняла носоглотку и рот, заливала при каждом вдохе горло и вызывала мучительный кашель. Цепляясь за кресло пилота, с темно-багровым лицом и остановившимся взглядом Михаил Петрович судорожно дергался всем телом, отплевывался и сипло ругался. Мириады крохотных красных

капелек кружились вокруг него, разлетались по всей кабине и расплывались маслянистыми пятнышками на стенах и одежде. Каждая спазма в горле острым ударом отдавалась в затылке. Перед глазами вспыхивали разноцветные круги. Михаил Петрович рванул ворот куртки. Беньковский и Северцев растерянно с ужасом смотрели на него.

– Надо что-то делать... – как сквозь слой ваты донесся до него голос Северцева. И второй раз за последние сутки сознание его окуталось мраком, более глубоким и плотным, чем тот, что глядел сейчас на обреченных через иллюминатор.

Михаил Петрович пришел в себя внезапно, как от толчка. Было странно тихо, пол кабины слегка покачивался. Это едва заметное покачивание почему-то испугало Михаила Петровича, и он протянул руку, чтобы ухватиться за что-нибудь. Но при первом же движении вскрикнул и застонал от тупой ноющей боли, пронзившей мускулы. Он не мог пошевелиться. Все тело его стало необычайно тяжелым, собственные руки казались неуклюжими железными палками, что-то мягкое и теплое навалилось на грудь и мешало дышать. Сильно болела спина, особенно лопатки.

– Не шевелись, – услышал он голос Северцева.

– Дайте ему пить, – сказал Беньковский.

Тут только Михаил Петрович заметил, что кабина освещена необыкновенным розовым светом. Такой свет излучают некоторые газополные лампы, но здесь он был более плотным, сочным и, кажется, имел даже запах. Запах роз. Впрочем, Михаил Петрович знал, что это только галлюцинация. Над ним склонилось красное испачканное лицо Северцева с налитыми кровью глазами.

– Пей.

О его зубы стукнуло горлышко фляги. Михаил Петрович сделал несколько жадных глотков. Это был холодный бульон.

– Спасибо, Володька... – Он попытался приподняться.

– Осторожней, кости переломаешь...

– Кости? – Михаил Петрович подумал и спросил нерешительно: – Почему это?

– Вес.

– Мы больше не падаем?

– Минут двадцать, как остановились.

Тяжело дыша, упираясь ладонями в пол, Михаил Петрович принял сидячее положение.

– Где же мы остановились? – спросил он.

– Видишь ли... – Северцев кашлянул. – Мы, собственно, висим.

– Как так?

– Нет оснований беспокоиться, Миша, – отозвался Беньковский. Михаил Петрович обернулся. Профессор сидел под иллюминатором, всклокоченный, с отвисшей челюстью и доброжелательно кивал ему. – За те два часа, что вы были в обмороке, звездолет провалился на несколько тысяч километров. Бури, циклоны, все эти неприятности остались позади... вернее, далеко наверху. Мы достигли такой глубины, где плотность газа сравнялась со средней плотностью нашего звездолета. Звездолет плавает... и, по-видимому, вечно будет теперь плавать в слое водорода с таким же удельным весом, как у воды. Понимаете, Миша? А тяжесть... Ну что же, с этим придется смириться. Не забывайте все-таки, что Юпитер во много раз массивнее Земли.

Михаил Петрович уставился на иллюминатор, озаренный странным розовым светом.

– А это что?

– Это? – Голос профессора задрожал от гордости и волнения. – Это, голубчик, по моему глубокому убеждению, излучение гораздо более глубоких слоев Бурого Джупа – излучение металлического водорода.

5. КЛАДБИЩЕ МИРОВ

– Дело вот в чем, – продолжал Беньковский, заметив недоуменный взгляд Михаила Петровича. – Я вам уже говорил, что каждая из больших планет – в том числе и Юпитер – представляет собой громадный газовый шар. Мы считаем, что Юпитер на восемьдесят пять процентов состоит из водорода, и только пятнадцать приходится на гелий в смеси с другими, более тяжелыми элементами. При этом, как это было установлено еще лет пятьдесят назад, наружный слой планеты на глубину в восемь-десять километров состоит преимущественно из молекулярного водорода. Плотность газа на этой глубине составляет половину плотности воды. Здесь, по-видимому, и плавает сейчас наш звездолет с его пустыми баками для горючего.

Профессор остановился и, тяжело дыша, вытер ладонью мокрый рот.

– Ну вот, голубчик. А ниже под нами идет слой толщиной примерно в сорок тысяч километров. Это уже слой атомарного водорода, перешедшего в так называемую металлическую фазу. Здесь господствуют колоссальные давления – порядка миллиона атмосфер, электроны освобождаются и

перестают быть связанными с определенными атомарными ядрами. Да. Здесь плотность газа уже становится равной плотности воды и выше... гораздо выше. Вот там-то... по моему глубокому убеждению... и находится кухня страшной большой планеты.

Профессор уронил лицо на руки и замолк. Северцев лежал на спине, хмуро глядя в потолок.

– А еще глубже? – тихонько спросил Михаил Петрович. – Там, в центре... – Он ткнул пальцем в пол.

– Там... ядро. Радиусом в двадцать тысяч километров. Водород, гелий и прочее – в кристаллическом состоянии. Просто, не правда ли?

Михаил Петрович через силу улыбнулся.

– Н-не сказал бы... Так это светит металлический водород?

– Скорее всего, он. Впрочем, я не совсем уверен. Нужно будет достать приборы, произвести наблюдения...

– А что там видно?

– Ничего.

– Розовая пустота, – подал голос Северцев.

– Я посмотрю? – Михаил Петрович перевел вопросительный взгляд с профессора на аспиранта.

– Вольному воля, – усмехнулся тот.

– Только старайтесь не подниматься на ноги...

Михаил Петрович лег на живот и довольно ловко, без особых усилий одолел несколько шагов, отделявших его от иллюминатора. Поднявшись (не без помощи Беньковского) на колени, он выглянул наружу.

Северцев был прав. Звездолет плавал в пустоте, заполненной розовым светом. Не было видно ни одного предмета, ни одного движения, ни одного оттенка, на котором мог бы задержаться глаз. Ровный розовый свет. На минуту Михаилу Петровичу показалось, что он в упор смотрит на фосфоресцирующий экран. Потом он заметил, что наверху розовый оттенок темнее, а внизу светлее. Мысль о том, что взгляд его проникает, возможно, на многие сотни или даже тысячи километров, поразила его. Тысячи километров пустоты... Впрочем, сжатый газ вряд ли мог быть настолько прозрачным.

– Ну, нагляделся? – насмешливо осведомился Северцев.

Михаил Петрович напряженно скосил глаза.

– А знаете... Может, это только кажется мне... – Он замолчал. Прямо за стеклом в розовом свете плясали едва заметные черные точки. – Слушайте, рядом с нами трясется какой-то мусор!

Северцев свистнул.

– Трясется мусор... шокинг! Особенно для литработника.

– Вам показалось, Миша, – ласково сказал Беньковский.

Михаил Петрович почувствовал, что позвоночник его больше не выдерживает, и соскользнул на пол.

– Нет, не показалось. Такие темные точки и пятна... прямо перед стеклом.

– Возможно, метеоритная пыль... – Беньковский попытался подняться, но сейчас же сел снова. – Не могу, – виновато улыбнулся он. – Очень тяжело. Вот отдохну немного, тогда погляжу...

– У меня тоже голова еле держится на плечах, – сознался Михаил Петрович. – Как чугунная...

– Обременена массой новых знаний, – желчно заметил Северцев. – Ничего, корреспондент, знания эти полезны и несомненно пригодятся тебе в ближайшем будущем.

Михаил Петрович с холодным любопытством взглянул на него, но не ответил.

– Андрей Андреевич, – сказал он, – если кухня, как вы говорите, находится под нами, а кипит в тысячах километров над нашими головами, то как происходит передача энергии? Ведь здесь так спокойно, почти не качает...

– Это, по-видимому, только так кажется, Миша. Не исключено, что как раз сейчас нас несет с огромной скоростью, а мы не замечаем этого. Или нас занесло в полярные области. Там спокойнее... должно быть спокойнее. Не знаю, не знаю.

Профессор закрыл глаза и замолчал. Было очень тихо, только стучала в висках кровь.

– Здорово, – пробормотал Михаил Петрович. – Кругом чертова пропасть этого сжатого газа... и мы висим как цветок в проруби... Слушайте, Андрей Андреевич, сколько времени будет продолжаться такое положение?

– Не беспокойся, Миша, – опередил Беньковского Северцев. – До самого конца своих дней ты будешь плавать в этой полужиже... или пока не рехнешься от тоски. Но ты, несомненно, успеешь увидеть и узнать много нового. Так что утешься.

Профессор прищурившись поглядел на него.

– Слушайте, Владимир Степанович, – сказал вдруг он. – Почему вы, собственно, пошли в астрономы-межпланетники?

– То есть?

– Почему? Почему вы не занялись, скажем, разведением кроликов?

– А почему я должен был заняться кроликами? – озадаченно осведомился Северцев.

– Ну как же... Чтобы выращивать их... размножать, так сказать.

– Да на что мне кролики?

– Но ведь у вас их не было, правда? Когда вы поступали в университет...

– Не было, и слава богу. А если бы даже и были?

– У вас стало бы их еще больше! Вот хорошо было бы, а?

– Хорошо? – К восторгу Михаила Петровича лицо Северцева побагровело до синевы. – Чересчур хорошо, я полагаю...

– Вы могли бы снабжать кроликами студенческие столовые...

– Гм...

– Затопили бы кроликами всю Москву...

– А...

– Могли бы дарить кроликов своим знакомым...

Михаил Петрович не выдержал и расхохотался. Он хохотал долго, страдая от боли в груди и спине, держась за живот и уткнувшись лицом в пол. Беньковский снова опустил веки.

– Юмор в покойницкой... – пробормотал Северцев.

– Эх, Володя, Володя... – Профессор покачал головой. – Хорошо бы выставить вас на полчасика наружу. Это прохладило бы вас.

– Слушайте! – воскликнул Михаил Петрович. – У меня идея...

– Первая идея на Юпитере. Интересно.

– Да, идея. Давайте пообедаем!

Северцев и Беньковский переглянулись.

– Неплохо придумано. Когда еще призовет нас господь... А я, откровенно говоря, думаю: чего это мне не хватает...

– И выпьем тоже, – решительно сказал Беньковский, разглаживая бороду.

Не меньше часа прошло, прежде чем они ползком, часто останавливаясь и отдыхая, перетащили из кладовой все необходимое для обеда. Беньковский сидел у стены и открывал консервы, бутылки, разворачивал целлофановые пакеты, с поразительной ловкостью орудуя одной рукой.

– Кушать подано, – слабым голосом провозгласил он.

Михаил Петрович и Северцев, взмокшие и измученные, растянулись рядом с ним. Профессор наполнил стаканы.

– Итак, – сказал он. – Наша первая, но, по всей видимости, не последняя трапеза в водородной бездне...

Они чокнулись и выпили. Северцев потянулся за шпротами. Михаил Петрович занялся ветчиной.

– Собственно, не так уж плохо, – сказал профессор.

– Пикантно, – кивнул Северцев. – Как пир во время чумы.

– Иди ты с чумой, – добродушно-лениво сказал Михаил Петрович. – Чума, смерть... Надоело. Зачем об этом все время напоминать, спрашивается?

– Миша прав. – Профессор с усилием поднял бутылку. – Еще по одной... Вам куда, Миша?

– Сюда. – Михаил Петрович протянул свой стакан. – Сюда и не мимо, пожалуйста. Спасибо. Да, Андрей Андреевич, это совсем не так плохо. У нас есть продовольствие... кислород, приборы для кондиционирования воздуха. Что еще нужно? Мы можем прожить так годы...

– Аванпост человечества в недрах Юпитера, – криво усмехнулся Северцев.

– Вот именно. Аванпост человечества. – Михаил Петрович поднял палец. – Это, знаешь ли, обязывает.

– Собственно, сейчас наше положение не отличается от положения какого-нибудь Робинзона на необитаемом острове...

– С той только разницей, – сказал Северцев, – что у тех была надежда вернуться домой, а у нас...

– Виво – эсперо. – Профессор снова наполнил стаканы.

– Необитаемый остров... с утроенной силой тяжести, без солнца, затерянный в океане сжатого водорода... повисший в розовой пустоте!

– Тяжесть – это скверно, – признался Михаил Петрович. – Иногда мне кажется, что я слышу треск собственных костей. Неужели утроенная?

– Что-то в этом роде. На меньшую не стоило бы обращать внимания.

– Ничего, постепенно привыкнем, – сказал профессор. Глаза его блестели, борода растрепалась, обычно бледное лицо налилось краской. – Зато какой простор для исследований! Мы достанем из кладовых приборы, оборудуем здесь обсерваторию, мы будем наблюдать и вычислять...

– И в один прекрасный час звездолет рухнет в какую-нибудь водородную Ниагару и разлетится в пыль... И это может случиться в любую минуту! Вы понимаете?

– Но ведь может и не случиться? – мягко проговорил Михаил Петрович.

– Дамоклов меч!

– Ну и черт с ним! Плюнь. Или займись кроликами.

Профессор протянул к ним руку.

– Мы не имеем права так рассуждать. Я не хочу краснеть при мысли о том, что о нас подумают, когда найдут через сотни лет. Мы должны работать, черт вас побери совсем. И мы будем работать.

И тут что-то случилось. Послышался сухой скрежет. Звездолет сильно качнуло. Пол накренился. Упала и покатилась к стене бутылка. Сдвинулись с места банки и свертки. Снова раздался отвратительный звук ножа по стеклу. Что-то захрустело, гулко треснуло. Пол качнулся еще раз, медленно принял прежнее положение и замер. Розовый свет померк.

– Ого! – спокойно произнес Северцев. – Это что-то новенькое... Надо посмотреть.

Кряхтя от натуги, охая и поддерживая друг друга, они поднялись к иллюминатору. И то, что они увидели, показалось им похожим на сон.

Звездолет медленно проплывал над вершиной громадной серой скалы, основание которой тонуло в розовой дымке. Рядом поднималась другая скала, голая, отвесная, изрезанная глубокими прямыми трещинами. А за ней вырастала целая вереница таких же острых крутых вершин, молчаливых, загадочных, непонятных... Эта фантастическая горная страна, так неожиданно вынырнувшая из непостижимых недр планеты, потрясла людей. Это был как бы привет из привычного мира твердых предметов, увидеть который они уже не надеялись. Беньковский бормотал что-то, то и дело крепко потирая щеки ладонью. «Колдовство, колдовство», – повторял негромко Северцев. А Михаил Петрович смотрел во все глаза, провожая взглядом проплывающие под ним вершины и пропасти.

– И вон... еще! – услышал он голос Беньковского.

Выше скалистых зубьев из розового тумана выступил темный бесформенный силуэт, вырос, превратился в изъеденный обломок черного камня и снова скрылся. Сейчас же вслед за ним появился другой, за ним третий... А вдали, едва различимая, бледным пятном светилась округлая сероватая масса.

Между тем горный хребет внизу постепенно опускался, пока не исчез из вида. Первым нарушил молчание Михаил Петрович.

– Это мираж? – спросил он.

Беньковский ответил торжественно и грустно:

– Нет, Миша, это не мираж. Это открытие. Открытие, которое – увы! – не скоро станет достоянием наших друзей на Земле. Мы видели кладбище миров, Миша...

Северцев хлопнул себя по лбу.

– ...кладбище миров, которые когда-то – может быть, совсем недавно, а может, и миллионы лет назад – неосторожно приблизились к Бурому

Джупу и были проглочены им, как он проглотил и нас. Не исключено, что среди них есть планеты, мало уступающие по величине Луне и даже Меркурию. Недостаточно плотные, чтобы погрузиться в слои металлического водорода и распасться там, они вечно будут плавать здесь... и мы вместе с ними.

Под иллюминатором прошла поразительно гладкая, словно отполированная обширная равнина, окаймленная невысокой грядой округлых холмов, и исчезла.

– Может быть... – робко начал Михаил Петрович.

– Может быть, нас выбросит на такую планету, – торопливо проговорил Северцев, – и мы сможем что-нибудь предпринять...

Беньковский усмехнулся.

– Нам не выбраться на звездолете, даже если бы мы избрали такой путь самоубийства. Давление в сотни тысяч атмосфер...

– А что если... – Михаил Петрович задумался.

Они опустились на пол и молча выпили по стакану вина. За стальным панцирем звездолета царили невообразимые, начисто отрицающие жизнь, условия; мускулы и кости хрустели и угрожали лопнуть при каждом движении; двое товарищей лежали мертвыми в передней кабине, а третий сгорел дотла. Они были беспомощны, и гибель угрожала им каждое мгновение. Они знали это. И все же...

– Надо работать, – решительно сказал Беньковский.

И Северцев и Михаил Петрович серьезно кивнули.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
(Из бумаг покойного Антуана Понтине)

«...Начинается эта странная история.

Он не был дома почти полгода, никто не знал, что с ним, где он. На молоденькую мадам Тайо было жалко смотреть – она так любила мужа, да и было за что его любить: самый красивый мужчина в Дао-Рао, храбрец, силач, да еще и весельчак, каких мало...

Это была очень тихая и ясная ночь. Все уже спали – все поселение, – только плескалась вода у причалов и хохотали гиены в саванне. Никто не видел лодки, которая привезла Якомино Тайо: время было тихое, теллаков отогнали в глубь страны, и сторожа на пристани мирно спали, не выпуская изо рта тлеющих сигареток, пока им не обжигало губы. Тогда они просыпались, прислушивались, закуривали новую сигарету, устраивались поудобнее и засыпали вновь.

Никто не видел лодки, которая привезла Якомино Тайо в Дао-Рао, но когда луна поднялась над саванной, он уже открывал калитку своего дома – тяжелый, усталый, запыленный. Мадам Прискита услыхала только, как хлопнула дверь внизу, как заскрипели старые ступени под грузными шагами, увидела, как задрожали и наклонились огоньки свечей на столе. Она узнала эти шаги и тихое звяканье шпор, но не успела даже подняться, как он вошел в комнату, сгибаясь в низких дверях; вошел и встал у порога, медленно стягивая с большой головы широкополую шляпу с потускневшим золотым шитьем...

Он был очень, очень утомлен – лицо его потемнело от загара и пыли, тонкий полузаживший шрам тянулся, пересекая лоб, исчезал в грязных спутанных волосах. Что-то новое, необычно беспокойное проглядывало в каждом его движении – в бегающих, красных от бессонницы глазах, в странной безразличной улыбке, в том, как он замолкал, прерывая себя на полуслове. Мадам Прискита согрела ему ужин, помогла умыться, дала ему чистое белье – он попросил ее об этом («не надо будить слуг»), да она и сама хотела быть одна со своей радостью. Говорил он немного и неохотно, ел без аппетита, много и жадно пил. Ухаживая за ним, она весело вполголоса болтала, рассказывая все последние события маленького города, и то ласково прижималась щекой к его тяжелому плечу, то тихонько целовала смуглую большую руку – тогда он отрывался от еды и, повернув к ней темное обветренное лицо, утомленно улыбался. Казалось, он все время

прислушивается к чему-то очень далекому или чего-то ждет; два раза он вздрогнул так сильно, что зазвенели стаканы на столе, а поужинав, неожиданно встал, перебив ее на полуслове, подошел к широко открытому окну и долго вглядывался в голубую ночь, полную теней и прохладного ветра. Потом крепко запер ставни и обнял жену, которая, чувствуя что-то неладное, подошла и прижалась к нему.

– Что с тобой, Якомино? Ты ждешь плохих вестей? – тихонько спросила она его. В ответ он прижался губами к ее губам, и они долго стояли так во тьме, и дыхания их не было слышно в комнатке, слабо освещенной желтым мерцанием свечей.

Потом он пошел спать, попросив ее разобрать письма, лежащие в его сумке. Они будут нужны ему завтра рано утром, пусть она прочтет их все и ответит на те, на которые сможет. Он очень устал и не в состоянии сейчас сам сделать это. Он приляжет и будет дремать и ждать ее – там не очень много работы, часа на два, не больше. Он очень любил ее и страшно соскучился по ней, и он расскажет, почему от него не было писем так долго и будет просить ее прощения.

– Сегодня пятнадцатое? – спросил он, оборачиваясь, уже по пути в спальню. – Шестнадцатое? Ты уверена?

Она слышала, как он тяжело опустился на постель и уронил на пол башмаки. Писем было действительно немного, и она сделала уже половину дела, когда в спальне послышался шорох, и Якомино окликнул ее:

– Малютка, так ты совершенно уверена, что сегодня шестнадцатое?

Она сказала «да» и, читая очередное письмо, услыхала, как он встал с кровати и прошелся по комнате. Потом послышался щелчок, напомнивший ей те времена, когда, жутко полыхая, горела саванна и красные свирепые теллаки штурмовали маленький городок у реки, – в соседней комнате взвели курок. Она вздрогнула, но Якомино сказал негромко:

– Не бойся, девочка, что-то не спится, и я принялся чистить Старого Тома... Просто от скуки...

В его голосе слышалась улыбка, и мадам Тайо успокоилась и сама улыбнулась, услыхав давно забытую кличку. Старый Том – так звали большой пистолет Якомино, из которого он мог на полном скаку попасть в доллар, подброшенный в воздух...

Свечи почти догорели, и мадам Прискита читала последнее письмо, когда в спальне что-то громко стукнуло, упав на пол. Женщина подняла голову и прислушалась. Было очень тихо, только трещали цикады в саванне, и она торопливо дочитала письмо, сделала пару пометок и на цыпочках прошла в соседнюю комнату. Там было совсем темно – Якомино

опустил шторы и закрыл ставни, – догадалась она. Пришлось вернуться за свечами, три уже погасли, одна – только что, дымок еще струился, распространяя запах воска.

Молодая женщина, аккуратно сложив письма, вошла в спальню – и тотчас по сумрачным стенам, по низкому тростниковому потолку забегали широкие тени, слабо блеснуло зеркало в углу на столе.

Якомино спал, полузакрытый тонким одеялом, уткнувшись лицом в подушку; его могучие плечи были неподвижны, одна рука свешивалась, почти доставая до полу – смуглая мускулистая с тонкой – знала мадам Тайо – нежной кожей, которая так сладко ласкает целующие губы. Женщина наклонилась, подняла с пола упавший пистолет, положила его на стол и сама села перед зеркалом, поставив рядом подсвечник. Ей было обидно, немножко обидно, чуть-чуть... Мог бы и подождать ее... Ведь не виделись полгода. Она страшно соскучилась... Нет-нет, какая она гадкая – он так устал, утомлен, чем-то удручен... Пусть, пусть спит, ласковый, любимый... Часы негромко отзвенели полночь...

Ей не спалось. Пробило полчаса после полуночи, потом час... Как тихо спит Якомино... Страшно устал, бедняжка... Ужасная все-таки должность – круглые сутки в седле или за веслами... Кругом степь, пыль, солнце беспощадное... Или болота – топь, кайманы ревут по ночам, как быки... змеи... москиты. Она повернулась тихонько на другой бок, стараясь не побеспокоить мужа. Обидно все-таки немножко – заснул, не подождал... А завтра – опять прочь из дому на месяц, на два... Цикады поют в саванне... Тихая ночь... тихая... Спать... Завтра раньше встать... завтрак Якомино...

Она дремлет и чувствует, как ее обнимают знакомые сильные руки. Дыхание на лице... Ласковые губы... Она отвечает на поцелуй, не в силах шевельнуться, не в силах открыть глаза... Влажные холодные губы скользят по ее лицу, шее, груди... Странно – такая жаркая ночь, а руки так холодны... Ты замерз, любимый мой? Как ласковы прохладные губы на груди... Сладкая, невыносимая истома охватывает мадам Тайо... Она шепчет что-то торопливо и бессвязно... Медленным тающим звоном уплывает сознание... Три негромких удара... Три часа пополуночи... В саванне, залитой лунным сиянием, кричат и кричат неутомимые цикады...

Она проснулась как от толчка, потянулась и разом приподнялась, припомнив все события прошлого вечера и ночи. В комнате было полутемно, сквозь ставни и шторы еле пробивались лучи ослепительного утра. Поселение уже пробудилось от сна – пролетели копыта по улице, кто-то весело захохотал, кажется, брат Долни, а вот неуклюжая Инна загремела ведром по ступенькам. Пора, пора! Она уселась на постели, поправляя

волосы. Якомино еще спит... Странно...

Якомино лежал все в той же позе – уткнувшись носом в подушку, свесив тяжелую обнаженную руку. Он казался каким-то странно неподвижным, окаменевшим... неживым... Мадам Прискита тронула его за плечо и с криком отдернула руку – кожа была холодна как лед.

– Якомино! – закричала женщина, вскакивая на ноги и прижимаясь к стене. Пружины стонали под ее ногами, постель колебалась, и на секунду ей показалось, что муж пошевелился, но он не поднял головы, не переменил позы, и, крича от ужаса, мадам Тайо спрыгнула с кровати и, путаясь в рубашке, подбежала к окну и сорвала штору... Яркий солнечный свет, пробившись сквозь щели в ставнях, залил комнату – мадам Тайо увидела, как тело ее мужа медленно сползало с постели, увлекая за собой простыни и подушку, увидела, как оно тяжело и глухо рухнуло на пол, как широко раскинул руки мертвец, опрокидываясь на спину, обнажая широкую волосатую грудь и могучую шею, покрытую черными страшными пятнами... На улице перекликались испуганные голоса, трещала лестница под тяжестью бегущих на помощь, а она стояла, прижавшись спиной к горячему железу ставен и не отрывая взгляда от дико исковерканного лица, от посиневших раздутых губ – кричала, кричала, кричала сквозь судорожно закушенные, не чувствующие боли пальцы...

Никто не видел лодки, которая привезла Якомино Тайо в Дао-Рао. Никто не знал, где провел последние полгода этот неутомимый следопыт и охотник. Никто не видел его добычи. Письма, которые читала в эту страшную ночь несчастная мадам Тайо, исчезли – были, вероятно, похищены тем же человеком, который задушил хозяина дома в его собственной постели. Кто это был? God knows – говорят англичане. Время было тихое, теллаков прогнали в глубь страны, никто не жег саванну, и сторожа могли спать ночью от одного конца сигареты до другого, но это была Дао-Рао – река, населенная людьми без прошлого, а когда имеешь дело с такими, надо уметь промолчать даже там, где промолчать нельзя...

Мадам Тайо, наверное, сошла бы с ума – первое время она и была настоящей сумасшедшей, – если бы не ее беременность. Это чудесно повлияло на ее рассудок. Доктор Гой, лечивший ее (сам старый неизлечимый пьяница, но человек милейший), просто поражался, как быстро она пошла на поправку: стала узнавать людей, разговаривать, улыбаться и даже петь тихонько за рукоделием. О муже не вспоминала никогда и избегала говорить о нем – вставала тихонько и уходила прочь, и в глазах ее – или я ошибаюсь? – мелькали страх, растерянность, отчаяние... Один только раз она заговорила о нем, один-единственный – как только

пришла в себя после трехмесячного бреда. Мы сидели втроем – доктор, я и она. Развлекали ее, болтали обо всем и ни о чем. Она молчала и только слабо и болезненно улыбалась. А потом вдруг спросила:

– Скажите, Понтине (она всегда звала меня просто Понтине, мы были с ней хорошими друзьями), скажите, Понтине, убийца Якомино найден?

Мы были страшно смущены, но она настаивала, и доктору, который вел следствие, пришлось рассказать все, что он знал. Сначала он говорил неохотно, потом разошелся и, забыв обо всем, начал даже полемизировать сам с собой и с мадам Тайо и занимался этим, пока я не наступил ему на ногу под столом. Убийца не найден. Подозрение падает на двух метисов, у которых были, по всеобщему свидетельству и по их собственному признанию, старые счеты с господином Тайо. Но улик нет никаких. Оба метиса яростно отрицают свою виновность. Следов убийца не оставил. Экспертиза установила, что убийство было совершено не позже двенадцати...

– Когда? – переспросила мадам Тайо, и мне почудилось, что она побледнела.

Нельзя сказать точно когда, разглагольствовал доктор, распространяя запах дешевого рома, нельзя сказать точно, но, во всяком случае, не позже полуночи.

– Этого не может быть, – сказала мадам Тайо резко.

Доктор обиделся. Что значит – не может быть? Это определено совершенно научно, и он может повторить при всех и при ком угодно те факты, которые заставляют его сделать такой вывод. Скажем, состояние тетануса... Тут он понес какую-то околесицу по-латыни, и я, видя, что мадам Тайо бледнеет все сильнее и сильнее, наступил ему на ногу и давил до тех пор, пока он не замолчал. Воцарилось неловкое молчание. Доктор извинился и ушел, я хотел последовать за ним, но мадам Прискита удержала меня. Минут пятнадцать мы сидели молча, потом она начала говорить и рассказала мне все, что знала сама. Я несуеверен, но мне стало страшно. Я ничего не смог объяснить ей, помню – бормотал что-то совершенно бессмысленное... Я был просто ошеломлен тогда, а белое худое лицо мадам Тайо было ужасно...

– Чей это ребенок? – спрашивала она, стиснув тонкие руки. Я молчал. Больше она никогда не заговаривала о муже... Никогда, до самой смерти.

Через положенное время она родила мальчика – большого, тяжелого. Он убил свою мать – несчастная умерла, не приходя в сознание, у меня на руках.

– Три часа, три часа... – шептала она в бреду. И еще: – Понтине, дайте

ему имя... У него нет отца... У него не было отца...

Никто не понимал ее, кроме меня, конечно. Несчастная женщина.

Я усыновил мальчишку и дал ему имя Хао, что значит «Удивительный» на языке ауров. Если бы я знал, что ждет этого крикуна! Сколько горя он принесет людям, как страшна будет его судьба! Три больших родимых пятна величиною с пятак были на его тоненькой шейке – рука дьявола, говорила старуха нянька, он еще многих сделает мертвыми – этот дьяволенок, убивший ту, которая родила его. Как она была права – старая колдунья!

Чертовски странный был этот мальчик! Помню...»

На этом рукопись прерывается, но архив дядюшки Понтине велик. Я не теряю надежды отыскать продолжение этой любопытной истории.

НАРЦИСС

Доктор Лобс всегда был словоохотлив. К тому же сегодня он не взял с собой сигарет.

– Взгляните на господина у рояля, – сказал он. – Красавец, не правда ли?

Господин у рояля, действительно, выглядел очень привлекательно – высокий, стройный, с большими черными глазами на матово-бледном лице. Он беседовал с двумя дамами и говорил и двигался с удивительным изяществом. Превосходный образец мужской красоты. Одет он был безукоризненно.

– Пожалуй, – согласился я. – Слишком самодоволен, впрочем. Ему не следовало бы так часто смотреться в зеркало.

Доктор Лобс засмеялся.

– Знаете, кто это? Это Шуа дю-Гюрзель, последний граф Денкер.

– Денкер... Насколько я припоминаю, или, вернее, насколько я не припоминаю, не очень известный род?

– Не очень известный! Да это один из древнейших родов в стране! Правда, он пришел в упадок, но графство Денкерам было пожаловано еще во времена Безумного Правителя, так что родословная их насчитывает почти двадцать поколений. Они записаны в Первой Голубой Книге. У них есть замок с фамильными привидениями. Этот последний Денкер...

– Кстати, почему последний? – осведомился я, наблюдая, как граф изящно полирует ногти крошечной замшевой подушечкой.

– Последний... потому что последний. У него нет наследников. Нет и не будет.

– Он женоненавистник?

– Нет, он женат. Но это ничего не значит.

– Он педераст?

– Гораздо хуже. Ему не приходится рассчитывать даже на любовников жены.

– Почему?

– Она его безумно любит.

– А он ее нет?

– Он любит только себя.

– Вот как?

Я повернулся к доктору.

– Что-нибудь патологическое?

– Гм... Гораздо сложнее, чем то, что вы думаете. Послушайте, вы – большой любитель монстров, и я, так и быть, открою вам одну профессиональную тайну. Только при условии... Да вы все равно разболтаете.

Я с легким сердцем обещал не болтать.

– Тогда пойдемте в один укромный уголок, и я вам кое-что расскажу.

Бросив последний взгляд на последнего Денкера, я последовал за доктором в небольшую комнату рядом с библиотекой. Доктор уселся на диван и попросил у меня сигарету.

– Так вот, – сказал он. – Я вам уже говорил, что род Денкеров – один из самых древних в нашей стране. В четырнадцатом веке какой-то Денкер женился на баронессе Люст, и с тех пор Денкеры и Люсты женятся исключительно в своем кругу... ищут себе жен и мужей, если будет позволено так выразиться, только в ветвях своих сросшихся родословных деревьев. Как правило, такие замкнутые браки ведут к вырождению. Так оно и было с многими. Возьмите Карта сэ-Шануа, это полновесный идиот, ставший импотентом в шестнадцать лет, или Стэллу Буа-Косю, родную тетку графа Денкера, садистку и лесбиянку... да мало ли кто еще! Однако с Шуа дю-Гюрзелем случилось другое. Его прямые предки вопреки всем законам природы накапливали только все самое лучшее из физических и умственных данных своего рода и в конце концов стали даже приобретать некоторые... гм... полубожественные, сверхчеловеческие качества. Например, отец графа, говорят, мог читать мысли на расстоянии, дед обладал необычайно развитым инстинктом самосохранения, сослужившим ему хорошую службу в битве при Нуаи. Его прабабка... Короче говоря, Шуа дю-Гюрзель, граф Денкер, вырос таким, каким вы его видите – совершенным физически, великолепно развитым умственно... и обладающим чрезвычайно редким даром – даром гипноза. Не улыбайтесь, это гораздо серьезнее, чем вы думаете. Дайте мне еще одну... Благодарю. Лучше положите портсигар на стол. Да... Дар гипноза проявился у него в раннем детстве, причем в отличие от большинства известных гипнотизеров ему, по-видимому, не составляет никакого труда пускать этот дар в ход. Ему не нужны никакие предварительные условия, сосредоточенность клиента, усыпление... Нет. Он просто глядит человеку в глаза и сразу овладевает его волей. Человек в полной памяти и здравом рассудке делает все, что граф захочет. Об этом свойстве Шуа дю-Гюрзеля знают многие, но не верит почти никто, даже его жертвы. Но я-то знаю и верю, потому что близко знаком с мэтром Горри, наследственным врачом дома Денкеров, и потому

что... Да, вот таким необычайным качеством обладает этот молодой человек. Всего год назад он обладал еще одним незаурядным свойством. Дело в том, что он и сейчас еще является недосягаемым объектом подражания для нашей золотой молодежи. Как граф Денкер играет в карты! Как он кушает, как пьет! Вы бы назвали его современным графом де-Трай. Я бы назвал графа де-Трай прообразом – и весьма несовершенным – графа Денкера. Неудивительно поэтому, что граф Денкер с юности пользовался огромным успехом у женщин. И он любил их – всех. Вы смеетесь и хотите спросить, что тут незаурядного. Нет, дорогой мой, т а к любить женщин мог только он. Ни одна из его любовниц не теряла для него прелесть новизны. Он был искренне влюблен в каждую из них, во всех одновременно. Дон Жуан? Пожалуй. Но только Дон Жуан в интерпретации Кикутикана. Ну, вы видите сами, какова его наружность. Поверьте мне на слово, он еще и интереснейший человек. Огромная эрудиция, остроумен и все такое. И притом фантастическая неутомимость в любви. Так что победы его достались ему без особого труда. Шестнадцатилетняя виконтесса Аль-Торг, вдовствующая княгиня Са-Рио сэ-Куа, жены маркизов Лю-Сон и Гоппара, дочь миллионера Стэрна, прима-балерина Каппа... Какие это женщины! И вот что интересно – они все знали друг о друге, знали и не ревновали. Вот каков Шуа дю-Гюрзель, граф Денкер, командир бригады Серых Масок, видный фашист, необычайный гипнотизер и великолепный любовник, увенчавший собой два десятка поколений государственных деятелей, военачальников, советников и фавориток императоров...

Доктор Лобс бросил окурок в угол и взял третью сигарету.

– Теперь перейдем к сути нашего рассказа. Около года назад здесь, в этом самом доме, он встретил Валентину Пит, дочь Пита Третьего. Вы, вероятно, заметили, что хозяева дома – страшные снобы, и они ни за что не приняли бы Пита, если бы тот не пожертвовал восемнадцать миллионов на бригаду Серых Масок, которая должна была тогда отправиться в Корею. В Корее было заключено перемирие, и поход отложили до следующего случая. Одним словом, красавица Валентина появилась здесь на балу и встретилась с Шуа дю-Гюрзелем. И Шуа дю-Гюрзель моментально влюбился в нее. Все сразу заметили это, так как в ту ночь он ни на шаг не отходил от нее, сидел рядом с ней за ужином, приносил ей мороженое и напитки. Шокинг! Но она стоила этого, могу вас уверить. Гибкая, тонкая, как хлыст, с высокой крепкой грудью... синие глаза, роскошные пепельные волосы... Одним словом, папаша Пит, видя такую... гм... настойчивость графа, двинулся было к ним, чтобы «спасти ее репутацию и проучить

нахального молодчика», как он заявил на весь дом, засучивая рукав на своей лапе потомственного мясника, но Шуа только взглянул на него, и старик, бормоча что-то себе под нос, удалился в буфет, где и напился в два счета мертвецки пьяным. Граф продолжал свои ухаживания, и вот тут-то оказалось, что нашла коса на камень. Нет, Валентина не хмурилась, не старалась отделаться от графа, охотно с ним танцевала, охотно смеялась его шуткам – и только. Не чувствовалось, что она «вот-вот падет», так что папаша Пит волновался напрасно. Она, вероятно, видела в графе только очень занимательного собеседника и на редкость любезного кавалера. Как показали дальнейшие события, она не притворялась.

Не буду описывать подробно того, что происходило в течение последующего месяца. Коротко говоря, граф впервые в жизни оказался в положении отвергнутого влюбленного. Он забросил все дела, не обращал больше внимания на прежних любовниц, не появлялся неделями среди Серых Масок, не ходил в Совет Голубой Крови и день за днем околачивался у подъездов загородной виллы Пита, где ему отказывали и иногда даже очень грубо. Мало того, он уподобился самым заурядным влюбленным идиотам и совершал массу пошлых поступков: посылал букеты с надушенными записками, вздыхал, устраивал серенады под окнами Валентины. Все было напрасно. Она не любила его и доказывала это ему при каждом удобном случае с каким-то капитаном дальнего плавания, своим другом детства. Тогда, выйдя из терпения и отчаявшись, граф решился на последнее средство.

– Удивляюсь, почему он не решился на него раньше. Простите, доктор, слушаю вас.

– Почему не решился раньше? Гм... Право, не знаю. Конечно, это было бы много проще, не сомневаюсь. Может быть, он не хотел впутывать в сердечные дела свои сверхъестественные способности, или это представлялось ему несовместимым с его естественными способностями. А может быть, он просто не догадался сделать это раньше. Ну так вот. Как-то июльской ночью граф прокрался к особняку Пита, усыпил наружную охрану и по водостоку вскарабкался на третий этаж, где размещалась спальня, уборная, гардероб и другие комнаты Валентины. Окна спальни были изрядно удалены от водостока, но граф, человек очень сильный и ловкий, и к тому же распаленный любовью и нетерпением, кошкой пробежал по узкому карнизу, уцепился за мраморный наличник и заглянул внутрь. Бедный граф!

Лобс взял очередную сигарету, заглянул рассеянно в портсигар и продолжал:

– Спальня была ярко освещена. Прекрасная наследница Пита возлежала в высшей степени неглиже на огромной квадратной кровати черного дерева и читала. Ночь была душной, смятое одеяло валялось на полу. Я хочу, чтобы вы хорошо представляли себе все, что произошло. При виде возлюбленной, едва прикрытой незначительными обрезками кружевного крэйлона, граф окончательно потерял голову. Он распахнул окно, прыгнул в комнату и молча ринулся к кровати. Нет никакого сомнения, что ошеломленная Валентина не могла бы оказать серьезного сопротивления даже и без применения Шуа дю-Гюрзелем своих сверхъестественных способностей. Именно «не могла бы». Помешал пустяк, досадная случайность. Граф запутался в брошенном одеяле и с размаху упал головой вперед. Правда, он сейчас же снова оказался на ногах и затем, через мгновение, на кровати, но было уже поздно. Этой маленькой заминки оказалось достаточно, чтобы все изменилось. Валентина очнулась от оцепенения, завизжала и стремглав пустилась к двери. Секунда – и граф уперся глазами в ее роскошную, покрытую бархатным загаром голую спину, на которой от страха выступила испарина. Под его взглядом она запнулась и остановилась – остановилась возле самой двери. У нее подогнулись колени, она задрожала и припала лицом к платиновому зеркалу, вделанному в дверь. Да, в дверь было вделано овальное зеркало из платины, наподобие венецианского. Миллионеры немыслимы без таких штучек. Граф подбежал к Валентине...

Доктор Лобс обжег губы, сморщился, внимательно осмотрел окурок и бросил его.

– Граф уже готов был схватить вожделенную красавицу, но тут где-то в доме послышались встревоженные голоса и топот ног. Валентина снова взвизгнула, рванула дверь и захлопнула ее перед самым носом распаленного графа. И граф оказался лицом к лицу со своим отражением в зеркале. Гипнотизер и его отражение взглянули друг другу в глаза. Гипнотизер прочел в собственном взгляде свой приговор.

– Приговор?

– Настоящий приговор. Вы понимаете, в каком состоянии был граф, на что была устремлена его невероятная воля. Взгляд его был полон желания, мольбы, властного и нежного повеления, призыва к покорности и любви. Мэтр Горри как-то говорил мне, что ни один человек на свете, ни мужчина, ни женщина, не способен противостоять воле Шуа дю-Гюрзеля. Он оказался прав. Воле Шуа дю-Гюрзеля не смог противостоять даже сам Шуа дю-Гюрзель. Когда домочадцы во главе с разъяренным Питом ворвались в спальню, граф стоял у трюмо и смеялся счастливым смехом, гладя себя

ладонями по щекам. Обернувшись к изумленным преследователям, он со свойственной ему грацией послал им воздушный поцелуй, выскочил в окно и был таков.

Вот, собственно, и все. Граф Денкер без памяти влюбился сам в себя. Конечно, был небольшой скандал и все такое, Пит угрожал судом, но дело замяли. После той ночи граф не прикасается ни к одной женщине. Он объявил своей жене, что считает себя свободным от супружеских обязанностей, целыми днями сидит перед зеркалом, гладит и ласкает себя, не дает на себя сесть и пушинке, готов целовать следы собственных ног. Но он не стал затворником и не страдает от неудовлетворенной страсти, как тот мифический идиот. К его счастью, после Нарцисса жил еще пастух Онан. Граф живет сам с собой, выводит себя в свет, он кокетничает с дамами, вызывая, вероятно, у себя приятную возбуждающую ревность к самому себе... Фантастично, не правда ли? Но это так. И почти никто не знает об этом странном помешательстве... если это можно назвать помешательством. Жена и любовницы считают, что он либо стал гомосексуалистом, либо обратился к несовершеннолетним, и ждут, что он в конце концов перебесится и вернется к ним. Но он не вернется.

Доктор Лобс взял последнюю сигарету и встал. Я тоже поднялся.

– Любопытно только, – задумчиво сказал он, – как это можно объяснить с научной точки зрения? Может быть, все дело в том, что зеркало было металлическое. Мы еще очень мало знаем о гипнозе. Чертовски мало. Вернемся в зал?

Мне почему-то не хотелось еще раз видеть Шуа дю-Гюрзеля, и я отправился домой.

ВЕНЕРА. АРХАИЗМЫ

Юра стоял рядом с Жилиным, глядел на Памятник Первым, и ему казалось, что он прокрался в фильм о завоевании Венеры. Ему даже было немного не по себе, словно он был самозванцем и не имел никакого права находиться вблизи людей, которые первыми здесь высадились, перед грубо обтесанной базальтовой глыбой, на которой застыли обломки легендарного танка, погибшего в атомном взрыве, под низким небом, по которому неслись вечные багровые тучи. Такое чувство испытывает, наверное, мальчишка, наткнувшийся где-нибудь в роще под Брянском на забытую ржавую пушку, вросшую лафетом в землю. Сразу же начинает работать воображение, и перед глазами мелькают в бутафорском дыму мужественные профили из кинофильмов.

Они стояли так посередине широкой квадратной площади довольно долго, глядя на надпись, вырубленную в базальте. По площади мела стремительная, легкая, как дым, поземка, красные отсветы лежали на низких куполах зданий, слабо, но настойчиво отдавалась в ногах далекая дрожь Голконды.

Первым зашевелился генеральный инспектор. Он поднял руку, стряхнул с плеча черно-серый пепел и на негнущихся ногах направился к ракетомобилю. У ракетомобиля он остановился, откинул дверцу, но не полез в кабину, а обернулся и удивленно-обиженно позвал:

— Ну что же ты... э-э... Иван?

Жилин торопливо сжал Юрину руку выше локтя, кивнул ему за прозрачной стенкой шлема и побежал к Юрковскому. Юрковский сухо сообщил:

— Алексей... э-э... Мы поехали.

— Поезжайте, — сказал Быков. — Жилин!

— Слушаю вас, Алексей Петрович.

— Помните... — Тут Быков повернул голову, и Юра увидел на его лице безрадостную усмешку. — Помните, что вы сопровождаете генерального инспектора.

— Я бы попросил, Алексей, — сказал Юрковский.

Он кашлянул и головой вперед полез в ракетомобиль. Жилин влез вслед за ним и захлопнул дверцу. Из-под машины взлетело облачко черной пыли. Блеснул язык голубого пламени. Узкий, остроносый, как торпеда, ракетомобиль подпрыгнул, развернул короткие чешуйчатые крылья,

ринулся через багровое небо к куполам на другом конце площади и исчез. Ай да Жилин!

— Пойдем, Михаил, — негромко сказал Быков.

Он стоял за спиной Михаила Антоновича и смотрел, как под прозрачным колпаком спецкостюма мелко трясется лысая голова старого штурмана.

— Пойдем, — повторил Быков.

— Сейчас, Алешенька, — сдавленно пробормотал Михаил Антонович. — Одну минуточку еще...

Он постоял перед Памятником еще немного, затем всхлипнул, повернулся и побрел, загребая башмаками, к вездеходу. Водитель почтительно соскочил навстречу и придержал люк.

— Пойдемте, стажер, — сказал Быков.

Комендант города Порт-Голконда выделил им великолепный пятиосный вездеход и прикомандировал водителя. Даже Юре было известно, что это неслыханная честь — на венерианских базах постоянно не хватало транспортных средств, людей и многого другого. Но Быкову эта честь была оказана то ли потому, что капитан «Тахмасиба» был старинным другом генерального инспектора МУКСа, то ли потому, что Быков был капитаном «Тахмасиба».

— Сядете рядом с водителем, — приказал Быков.

Он с кряхтеньем полез на заднее сидение к Михаилу Антоновичу. Юра прыгнул за ним, водитель положил пальцы на пульт управления и, полуобернувшись, вопросительно поглядел на Быкова.

— Шоссе номер три, — сказал Быков. — На северо-запад. Знаете?

— Знаю, Алексей Петрович, — ответил водитель. — Берег Ермакова?

— Да. Берег Ермакова.

Водитель нажал на клавиши. Вездеход мягко, без толчков тронулся, пересек площадь, свернул в широкий проезд между низкими плоскими зданиями и выкатился на стеклянное шоссе. Открылась ровная, как стол, черная пустыня. Далеко впереди, у горизонта, она скрывалась в тусклом лиловом мареве, пронизанном смутными вспышками. Первые километры проехали в молчании. Юра сосредоточенно глядел на отсвечивающую красным блеском прямую ленту шоссе, бегущую под колеса вездехода. Затем водитель задумчиво спросил:

— А не познакомиться ли нам?

Юра с любопытством поглядел на него. Водителю было тоже не больше двадцати лет, у него было смуглое живое некрасивое лицо, и не знакомиться у Юры не было никаких оснований.

— Меня зовут Юрий, — сказал Юра. — Бородин.

— Меня зовут Василий, — сказал водитель. — Горчаков. Сын Иванович.

— Рабочий? — деловито спросил Юра.

— Рабочий. Сервомеханик.

— А я — сварщик, — сообщил Юра.

Водитель изумленно поглядел на него.

— Как сварщик? Вы же стажер.

— Это я как бы стажер, — доверительно сказал Юра. — На самом деле я сварщик. Вы давно здесь?

— На Венере? Скоро два месяца. Мне скоро сменяться.

Что-то широкое и темное соскользнуло с низкого красного неба, пересекло дорогу и скрылось в пустыне. Юра привстал.

— Что это? — взволнованно спросил он. — Живность какая-нибудь?

Василий помолчал, включил яркую фару и ответил:

— Не знаю. Возможно, действительно живность. С болота залетает тут всякое. На болоте этих тварей черным-черно, как черна ворона.

— Птицы?

— Почему именно птицы? Я же говорю — никто не знает. Да нужды нет, и так обходимся.

Юра презрительно сказал:

— А надо бы знать.

— Мы здесь не для этого, — веско сказал Вася. — Мы здесь для того, чтобы работать.

Юра огорченно пожал плечами. Его всегда огорчали нелюбопытные люди и люди без фантазии. Не интересоваться такими предметами, как живность на иной планете, представлялось ему признаком духовного убожества. Василий Горчаков сын Иванович, словно оправдываясь, пояснил:

— В свободную охоту нас не пускают, это только биологи на болота таскаются. А мы — до Голконды и обратно. Как-то несколько человек сходили на болота, не послушались — так их, добрых молодцев, того... выше дерева стоячего.

— Что? — не понял Юра.

— Ну... наказали, стало быть, по нагому телу, рассекли белы бедра до черна мяса...

— Не понял, — честно сказал Юра, отогнав с некоторым затруднением от себя мысленные зрелища телесной расправы.

— Короче, сразу с аттестацией вернули на Планету.

— Почему сразу так нельзя сказать? — возмутился Юра.

Водитель только улыбнулся. Юра сердито замолк. Дорога была пустынна, только раз навстречу промчался такой же вездеход, мчавшийся со страшной скоростью на четырех колесах. Остальные шесть его колес были поджаты. Под прозрачной броней кузова Юра успел заметить плотные ряды каких-то блестящих цилиндрических предметов.

— Что это он повез? — спросил за спиной Быков.

— Готовую продукцию, Алексей Петрович, — ответил Василий.

— Упаковка странная какая-то...

— Это недавно введено, — сообщил Василий. — Транспортировка в глубоком вакууме. Необычайно удобно. В возгоненном состоянии.

— А, — сказал Быков. — Я слыхал.

По тону водителя Юра понял, что водитель весьма уважает Алексея Петровича и преклоняется перед ним. Объяснения он давал каким-то виноватым тоном, словно ему было неловко, что он знает больше, чем прославленный Быков. А ведь что в нем такого? — подумал — в сотый раз — Юра и поглядел в овальное зеркало над ветровым щитом. Быков сидел, откинувшись на спинку сидения, и смотрел вправо, в черную курящуюся пустыню. Кирпичное лицо его было спокойным и угрюмым. А ведь он смотрел на черные дюны, через которые двадцать лет назад, израненный, умирающий, тащил на себе Юрковского. Не было тогда здесь ни этой блестящей дороги, ни города под гибким прозрачным куполом, ни мощных машин, работающих где-то впереди, на дымных берегах Голконды... только сгоревший транспортер был уже тогда, и в нем обгорелый труп командира экспедиции. А разве скажешь про Быкова, что это — Быков? Ни за что. И артист в кино, который играет его — это высокий стройный человек с мужественным профилем... Такой какой-то _особенный_ человек, ни на кого не похожий, всех вдохновляющий, заражающий мужеством, ведущий... Вот это слово: человек с внешностью ведущего. А у Быкова внешность не ведущего. Скорее ведомого. Да и повадки тоже. Поставить рядом Жилина и Быкова и спросить: кто из них волевой командир прославленного корабля, вершитель подвигов? Сразу скажешь: Жилин. И никто не поверит, что Жилин не просто подчиняется Быкову, как капитану, не просто уважает Быкова, как мастера и героя, а еще и изучает Быкова, словно учебник. И сам Юра еще до сих пор не понимает, что можно такого изучать в Быкове, если рядом находится его великолепный старый друг Юрковский, и однако же разве не Юрковский то и дело выдает свое уважение и преклонение перед Быковым, хотя почти ни в чем не соглашается с ним? Или все дело в том, что артист играл героя старого

времени, не эпохи покорения космоса, а Быков — герой нового времени, не романтическая фигура вроде Юрковского, выделяющаяся на любом фоне, а фигура незаметная, сливающаяся с другими людьми, и тем не менее ведущая этих людей, и в то же время черпающая у этих людей силы.

— Сворачивайте вправо, — сказал Быков.

— Да, это где-то здесь, — пробормотал Михаил Антонович.

Юра огляделся. Вездеход сворачивал на холмистую равнину, которую, словно сухой горелый лес, обступали острые колонноподобные скалы. Обломки каменных глыб причудливой формы виднелись повсюду, полузасыпанные черным прахом. Вездеход скатился в расщелину.

Интересно, какой видят Венеру Михаил Антонович и капитан? Для меня это мрачная злобная пустыня, черное со зловеще-багровым, работа — да что там, просто само пребывание в этом аду — уже подвиг, акт бессмертной славы. Я смогу похвастать: я был на Венере. Там страшнее, чем в пустом пространстве Вселенной. Там черная радиоактивная пустыня, и багровое адское небо, и бездушное непрерывно работающее железо, и горстка людей, прячущихся под прозрачными и непрозрачными укрытиями от угарного газа, от смертельной радиации, от пятисотградусных температур. И я там был и даже совершил поездочку по стеклянной дорожке, которая ведет в самое пекло. В самом пекле я, правда, не был, туда меня не пустили, туда пускают только механизмы, но зато я видел каменные зубы Венеры и смотрел, как великий капитан стоит среди этих зубов и вспоминает минувшие дни. Итак, как же видит Венеру капитан? И, скажем, Михаил Антонович? Про Васю говорить не будем, он видит ее так же, как и я, и ужасно гордится своей смелостью и своими мужественными друзьями. Хотя люди здесь сменяются каждые три месяца. Итак, что видят Быков и Михаил Антонович?

Если идти по стеклянной дороге на север, выйдешь к берегам Дымного моря. Его показывали в кино — чудовищная каша вздыбленного праха, дыма, паров, атомных вспышек. На берегах Дымного моря неутомимо работают всевозможные агрегаты. Они грызут, жуют, глотают прах Голконды, их утробы переваривают и рождают драгоценное сырье, которое в баках глубокого вакуума отправляют на Планету. Как фамилия инженера, который получил первую премию МУКСа за универсальный агрегат? Впрочем, неважно... Так вот, на севере лагерь машин. Где-то среди машин ползают титановые черепахи с рабочими. Они следят за машинами и сменяются через два часа. Вообще работа на Голконде идет непростительно осторожно — в двенадцать смен, с трехкратным запасом безопасности. Да... Рабочие в титановых черепахах. Веселые молодые

ребята, вроде меня. Так. А если пойти по стеклянной дороге на юг, вернешься в город. Тебя впустят через шлюз, дезактивируют твое облачение, ты вернешься в подземную гостиницу (мимо базальтовой глыбы с надписью «Первым»), поужинаешь, напьешься чаю или каких-либо соков и ляжешь отдохнуть. И рядом с тобой будут веселые молодые ребята, и клубы, и оранжереи, и концертный зал, и библиотека, и все такое... правда, в двух шагах от черно-красного пекла. Вот и вся разница. Я вижу пекло и ужас, а Быков видит машины, дорогу, город с читальнями. Там, где сейчас дорога, он полз на карачках, спасая друга и спасая огромное предприятие. Там, где он сейчас стоит, тяжело ворочая головой, он потерял одного из своих товарищей, там, где сейчас гостиница с соками, там он выл от нестерпимой жажды и кусал себе язык, чтобы не выпить последний глоток воды в термосе.

Честно? Все честно. Но я все равно прав. Мне здесь не нравится, и я все равно прав, хотя тут же стоит Быков, подвигом которого выросли на Голконде города. А мне теперь мало этих городов, мне нужна здесь зелень садов, синее небо и много чего еще, чтобы люди не прятались под землею... Ага, вот оно, что самое неприятное. Этого не было даже на Марсе. Раз человек пришел куда-нибудь, он должен добиваться того, чтобы ходить во весь рост.

Быков и Михаил Антонович медленно пошли прочь от вездехода, обходя гранитные валуны и остроконечные торчащие скалы. Вася и Юра остались у вездехода. Водитель с любопытством вертел головой, осматривался.

— Ты что, в первый раз здесь? — спросил Юра.

— Да считай, что в первый, — ответил тот. — Два месяца назад ездил сюда... вернее, дальше к востоку... ставили автометеостанции, и с тех пор не был. Неприятное место, правда?

Юра усмехнулся. Точно такие же слова на этом самом месте произнес Богдан Спицын в фильме о завоевании Венеры.

— Ты скоро обратно на Планету? — спросил он, помолчав.

— Да, — сказал Василий. — Через месяц-полтора. Мне экзамены сдавать пора.

— А потом?

— Вернусь, может быть, — неуверенно сказал водитель. — Да у нас мало кто возвращается сюда.

— Почему?

— С одной стороны... — Василий подумал. — Понимаешь, работа здесь не очень интересная. Производство налажено, с новинками работают

только производственники, а у остальных рутинная наладка приборов — и все. Экспедиции нам запрещены, это специальные люди прилетают. Скучно, друг мой добер молодец. А с другой стороны, большая очередь добровольцев на Земле. Годами ждут своей очереди.

— Это верно, — согласился Юра. Года два назад он тоже возмечтал о Венере. Очередь состояла главным образом из неквалифицированных мальков, квалифицированная опытная рабочая сила направлялась на Марс и на астероиды. Венера сейчас требовала не столько рабочих-творцов, сколько обслуживателей автоматики. Поэтому Юру без труда отговорили от этой затеи.

— Но ты не скажи, — сказал вдруг Василий. — Закалка здесь хорошая. Не в производственном смысле, правда, а в дисциплинарном. Работа здесь нудная и несложная, а вот правила дисциплины такие, что ребята рассказывают, на Земле потом еще целый год заходит человек к себе домой и полчаса в прихожей стоит по привычке — дезактивируется. Чуть отклонился от правил — и готов, заболел или покалечился. Валяй назад на Землю.

— Многих отсылают? — полюбопытствовал Юра.

— Человек пять в месяц набирается. Сразу же, в первые же дни новой смены. Большей частью итальянцы почему-то и греки. Нетерпеливый народ, темпераментный.

— Опасно это?

— Нет, что ты. Но здесь оставаться уже нельзя, конечно. Ну и срам большой. Отчислен по болезни, вызванной недисциплинированностью.

Вернулись Быков и Михаил Антонович. Лица у обоих были серьезные и сосредоточенные. Быков сказал: «Едем дальше на север». Вездеход развернулся, на несколько секунд забуксовал в насыпи легчайшего праха (Василий сказал сквозь зубы: «Ай ты волчья сыть, травяной мешок...») и выкатился на шоссе. Через полчаса пояс «зубов Венеры» закончился, вездеход выбрался на пригорок, и тогда Юра своими глазами увидел Урановую Голконду.

Впереди, километрах в пяти, стояла стена дыма и пыли, тянущаяся вправо и влево и исчезающая в серо-черном мареве у горизонта. Стена шевелилась, пучилась, колыхалась, словно исполинская занавеска на сквозняке. Над стеной, заслоняя красное небо, вздымалась угольно-черная, пронизанная вспышками гора неподвижного дыма — известный всему миру столб сжатых газов, рвущийся из бездонных недр атомного вулкана. До жерла было очень далеко, не менее сотни километров, и раскаленный фонтан газов пополам с камнем казался совершенно неподвижным. Почва

под вездеходом тряслась, черный жирный песок подбрасывался, как на дрожащем жестяном листе.

Водитель повернулся к Быкову:

— Внешнюю акустику включить, Алексей Петрович?

— Нет, — сказал Быков.

Он тоже смотрел вперед, но не на черную гору над дымной стеной, а вниз, под дымную стену, где среди нагромождений раскаленных скал копошились казавшиеся отсюда крохотными и незначительными механизмы. Многорукие роботы разрушали скалы, проделывали проходы, ворочали валуны и грызли, грызли, грызли породу, неутомимо и однообразно. За пеленой пыли, в тусклом красноватом сумеречном свете движения металлических сочленений были едва видны, округлые корпуса экскаваторов-универсалов оставались совсем незаметными, но это они оставили среди скал глубокие траншеи выработок и рыхлые насыпи отвалов и пустой породы. Быков должен быть доволен.

Василий, бормоча что-то себе под нос, возился с радиопеленгатором. Через несколько минут он опять обернулся к Быкову:

— Дежурный этого участка находится в семи километрах к западу, Алексей Петрович. Вызвать?

— Нет, — сказал Быков.

— Давайте подъедем поближе, — сказал Михаил Антонович.

Водитель с готовностью тронул клавиши управления. Шоссе заканчивалось на обширной площадке — ремонтном доке, где в пластметалловых стойлах стояли укутанные в целлофан и капрон резервные механизмы. За ремонтным доком начиналась целина, и вездеход начало немилосердно трясти. Через несколько минут Быков сказал:

— Стой.

Вездеход остановился.

— Дальше подъезжать вообще небезопасно, — сказал Быков. — Мы можем...

— Можно еще на полкилометра, — предложил Василий.

— Мы можем, — словно не слыша водителя, продолжал Быков, — выйти здесь, постоять и понаблюдать. Подходить к Дымному морю ближе нет никакой необходимости.

Они снова вышли из машины. Увязая по колено в рыхлой породе, Юра вслед за Быковым поднялся на небольшой холм. Василий остановился рядом с ним. Дымная стена была совсем недалеко, всего в километре, не больше. Зато машин больше видно не было, только кое-где над отвалами взлетали правильные струи красно-зеленого пара и фонтаны песка. Юра

поглядел в другую сторону. Место было ужасно неприятное, напоминало виденный в каком-то историческом фильме рудничный двор царских времен. Всюду ржавая развороченная земля, ободранные скалы, какие-то горячие дымящиеся лужи... Над всем этим нездоровый гнусный желтоватый туманец. А Быков, наверное, ужасно доволен. И он прав, конечно, что доволен. Венера запряжена и работает на Землю, на людей. Но все равно, здесь надо сделать лучше.

Туман медленно поднимался от развороченных рыхлых холмов. На секунду Юре показалось, что метрах в двухстах, между рыжими отвалами, что-то зашевелилось и метнулось в сторону. Он хотел сказать об этом Василию, но вместо этого спросил:

— Здесь есть живность какая-нибудь? Или это ты тоже не знаешь?

Василий покачал головой.

— Здесь, палица ты булатная, триста пятьдесят по Цельсию. Какая же здесь может быть живность?

— А красная пленка? — воинственно спросил Юра.

— Пленка — это не живность.

— А что же это по-твоему... калика перехожая?

Василий изумленно воззрился на Юру. Затем он веско сказал:

— Красная пленка — это радосиликат. Вещество. То, что оно обладает некоторыми свойствами живого, еще ничего не значит. Мы из него футляры для микрокниг делаем.

— Из чего?

— Из радосиликата. Вот вернемся — подарю тебе на память. У нас один техник есть, он этим занимается. Хорошо у него получается это — футлярчики всякие, обложки для книг, пояса нарядные для девушек. Цвет красивый, материал прочный, гибкий, не мнется... Не хуже кожи. Вот посмотришь.

— Футлярчики, — пробормотал Юра. — Загадка Тахмасиба.

— Что? Да... Загадка Тахмасиба. Ну так что же? Многие загадки так кончаются. А если тебя живность интересует, попросись с группой биологов на тяжеловодные болота. Там этого добра много...

— Вот он! — прервал Юра.

На этот раз они совершенно отчетливо увидели в полукилометре к западу на гребне отвала несколько быстрых темных силуэтов.

— Кто это? — изумленно спросил Юра.

— Аутсайдеры, наверное, — проговорил Василий, встревоженно вглядываясь в туман. — Шляются здесь, подлецы... — Он нервно передвинул на живот продолговатый чехол с пистолетом.

— Ого, — сказал Юра. — Дай посмотреть.

— Нечего смотреть, — сказал Василий. Он отвернулся и направился к Быкову. — Алексей Петрович, — сказал он, понизив голос, — здесь аутсайдеры таскаются.

— Где? — спросил Быков.

Василий протянул руку.

— Там. Мы со стажером сейчас видели.

— Черт с ними, пускай таскаются, — равнодушно сказал Быков и снова отвернулся к Михаилу Антоновичу, который что-то ему объяснял. Василий, сильно смущенный, вернулся к Юре.

— Кто это — аутсайдеры? — спросил Юра.

— Видишь ли, — сказал Василий, все еще держа руку на кобуре, — здесь на Венере только два промышленных предприятия: наше — международная фабрика по добыче и переработке трансуранитового сырья — и частная лавочка «Бамберга», принадлежащая «Спэйс Пёрл Лимитэд». Они, конечно, не трансураниты добывают — это частникам запрещено категорически, — а копают так называемый космический жемчуг. Эта «Бамберга» находится в шестистах километрах отсюда.

— Знаю, — сказал Юра. — Туда сейчас Юрковский с Жилиным уехали.

— Серьезно? — Василий с интересом уставился на Юру.

— Серьезно, — сказал Юра. — А в чем дело?

— Так, ничего. Так вот — аутсайдеры. Рабочих компания вербует, привозит сюда. По контракту они обязаны отработать столько-то. Но некоторые авантюристы заключают этот самый контракт только для того, чтобы добраться до Венеры. Здесь они удирают с Бамберги и ведут жемчугоискательство на свой страх и риск. Некоторые находят крупные жемчужины и затем под разными предлогами влезают в наши корабли. Обычно, как больные. Они действительно бывают очень больны, когда их поиски приходят к концу.

— А почему ты их испугался?

— Я? Испугался? — Василий снял наконец руку с кобуры. — И не подумал. Но народ это мерзкий, с ними нужно ухо востро. В прошлом году ограбили и убили одного нашего парня-техника. Кислородный регенератор отобрали. Ну, наши им дали...

— А что они здесь-то делают?

— В отвалах роются. Нам же этот самый жемчуг не нужен, мы его не берем, а в рыхлой породе взять его легче...

Страшный отчаянный вопль прозвучал вдруг в наушниках. Юра даже

подпрыгнул от неожиданности. Василий тоже вздрогнул и стал оглядываться. Быков и Михаил Антонович замолчали и тоже ворочали головами, стараясь определить, где кричат.

— Это по внешней радиосвязи, — уверенно сказал Быков.

— Но откуда?

Вопль повторился. Это был пронзительный визг смертельно перепуганного человека. И непонятно было, где этот человек находился. Пеленгаторов в скафандрах не было.

— Спасите! На помощь! — кричал человек.

— Внимание, — сказал Быков. — На поиск. Михаил — на восток, водитель — на юг, стажер — на запад, я — на север. Марш!

Они побежали в разные стороны. Юра бежал к тому месту, где четверть часа назад мелькнули тени аутсайдеров. Почему-то он был уверен, что крик этот связан с появлением аутсайдеров.

— Спасите! Помогите, люди добрые! — надрывался человек.

Несмотря на напряжение, Юра чуть не рассмеялся. В интонациях неизвестного было что-то диковинно архаичное, плаксивое, нездешнее. Юра мог бы сказать: таким тоном в наше время на помощь не зовут. И какой странный призыв: люди добрые!

И тут Юра увидел его.

Он бешено и беспомощно барахтался на дне глубокого котлована в рыхлой и полужидкой грязи, которая наползала на него со всех сторон. Он лежал на животе и отчаянно бил руками и ногами, весь облепленный черной и коричневой грязью, от которой поднимался желтоватый туман, и все время погружался в эту грязь, так как она лилась на него вязкими лавинами со стен котлована, и снова выкарабкивался на поверхность и бил руками и ногами и вопил:

— Помогите, люди добрые! Не дайте погибнуть!

Юра крикнул:

— Алексей Петрович, Михаил Антонович! Здесь!

Он помахал над головой руками и стал примериваться, как спуститься. Человек поднял голову, перестал биться и, погружаясь, попытался рассмотреть Юру сквозь залепленное грязью окно в шлеме.

— Милый! — хрипло простонал он. — Помоги, браток! А? Не брось!

— Не брошу, не беспокойтесь, — сердито сказал Юра и стал спускаться. Рыхлая порода под его ногами посыпалась вниз.

— Стажер, не сметь! — загремел в наушниках голос Быкова.

— Так что же, пропадать человеку? — сердито отозвался Юра.

Порода под ним обрушилась, и он съехал сразу метров на пять.

Человек больше не кричал, он только упорно высигивал из грязи, падал животом и грудью на скользкие стены и съезжал снова по шею в дымящееся болото.

— Мальчишка, — прохрипел в наушниках запыхавшийся голос. — Я приказываю, остановитесь!

«Поздно», — подумал Юра и соскользнул еще на несколько метров.

— У меня веревка, Алексей Петрович, — крикнул Василий. — Юра, держи!

По шлему хлестнула нейлоновая петля. Юра поспешно продел ее под мышки. В то же мгновение человек в яме снова прыгнул и ухватил Юру за ногу. Юра сейчас же обрушился на него и очутился по пояс в грязи. Человечек ворочался под ним, затем показалась его голова в залепленном шлеме.

— Не дай пропасть, не оставь, милый человек, — бормотал он, пытаясь забраться Юре на плечи.

«Вот еще дерьмо», — с отвращением подумал Юра. Он крикнул:

— Василий!

— Держу!

— Кинь, если есть, еще конец, вытяни этого дурака, а то он меня потопит.

— Стажер! — прогудел Быков. — Держишься?

— Все хорошо, Алексей Петрович, — как можно веселей отозвался Юра. — Тяните этого...

— Вот так, — сказал Василий. Видимо, незнакомец вцепился в веревку, и его потянули наверх, потому что Юрий почувствовал облегчение. Он поднял голову и увидел ноги незнакомца, бешено скребущие по рыхлой стене. Тащили его Быков и Василий. Конец с Юрой держал Михаил Антонович.

— Ну как ты там, Юрик? — заботливо спрашивал добрый штурман.

— Хорошо, — кратко ответствовал Юра.

Василий срывающимся от натуги голосом продекламировал:

— Крепок, поганый, на жилочках, ай и тянется поганый, сам не рвется...

Затем подняли Юру. Когда он вылез на сухое место, незнакомец сидел, торопливо обтирая грязь со шлема, и бормотал тонким плаксивым голосом:

— Погубители, негодяи, ах, ну и погубители окаянные...

— Ты с какого участка? — сердито спросил Василий. — Что с тобой случилось?

Быков возвышался над незнакомцем, как монумент, глядя на него

сверху вниз. Михаил Антонович сидел перед ним на корточках и помогал счистить тину.

— Мы-то? — сказал своим странным стилем незнакомец. — Мы не ваши, люди добрые, дай бог вам здоровья. Мы оттуда... — Он не пояснил откуда. — Да вот надсмеялись надо мною, ограбили да столкнули в ямину-то... Чуть было не потоп...

— Кто ты таков? — сердито спросил Быков. — Как ты сюда попал?

Незнакомец наконец поднялся на ноги, и Юра сквозь стекло помятого шлема увидел крошечное личико с красными веками, ввалившимися щеками, в рыжей жесткой неопрятной щетине.

— Простите великодушно, — сипло сказал незнакомец и поклонился. — Приятно встретить соотечественника. А мы молокане, вот понес черт на небеса за кладами. Камушки мы ищем. Камушки.

— Вербованный?

— Нет, сами по себе мы. Ни от кого, значит, не зависим.

— Аутсайдер, — брезгливо сказал Василий.

— Точно, аутсайдерами мы ищем, сами по себе. Ой, да что же мне теперь делать? Как же я теперь-то? А? И на что вы спасли меня?

У него началась настоящая истерика, и потребовались две здоровенные плюхи от разозленного Василия и глоток алкоголя из походной аптечки в вездеходе, чтобы это странное чудовище пришло в себя и рассказало о том, что произошло.

Под кровавым небом Венеры, на черном песке Урановой Голконды, в двух шагах от гигантского предприятия, где гением человека богатства чужой планеты уходили на питание Земли, прозвучал унылый и пошлый рассказ, напомнивший пошлейшие времена «золотой лихорадки» — рассказ об обмане, о предательстве, о годах, прожитых впустую, о мечте разбогатеть и открыть свое дело...

— Дурак, — сказал безжалостный Василий.

Человечек вдруг взорвался.

— Ты меня не дурач`и! — завизжал он. — Молод еще дурач`ить-то! Молоко еще... Ты мне скажи, что делать? Полгода я здесь гнил, а теперь ограбили, по миру пустили подлецы! На мои кровные, на пот мой и кровь мою жить в роскошестве будут, а я что? Подыхать здесь? Да?

— Дурак, — убежденно повторил Василий. — Иди к нам работать. Денег у нас, правда, не платят, так ведь жить как человек будешь.

Быков молчал, с брезгливым равнодушием глядя поверх головы подонка. Михаил Антонович вздыхал. Юра с изумлением заметил у него на добрых глазах слезы. «Жалеет эту мразь?» — подумал он.

Человечек неожиданно успокоился.

— Нет уж, — сказал он. — Этак не пойдет. Это уж вы, коммунисты, работайте без денег. А я еще так поживу. У меня кое-что еще есть. — Он хвастливо похлопал себя по груди, затем испуганно замолк, искательно улыбнулся Быкову и сказал: — Спасибо вам за спасение, добрые люди. Спасибочка. А я уж теперь пойду. Может, мне еще пофартит.

Он попятился, кланяясь, затем повернулся и торопливо зашагал прочь. Быков стоял, расставив ноги, смотрел ему вслед, и багровые отсветы ползали по его неподвижному лицу. Затем он резко повернулся к Михаилу Антоновичу. Михаил Антонович стоял с непередаваемо печальным выражением лица. Быков сказал сквозь зубы:

— Ничего подобного, Михаил. Мы это делали не для них. Это так, отходы. Издержки производства.

Все помолчали. Затем Юра тихонько спросил:

— Что это значит — пофартит?

Василий уверенно ответил:

— От слова «фартук». Наберу, мол, полный фартук драгоценностей.

ГОД ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

В свете фонарей падали с темного неба крупные снежинки, и было тепло и тихо. Здесь всегда было тихо и спокойно, даже ранними вечерами, только у подъезда клуба ВМА толпились молодые люди в длинных шинелях, да по площади бегали мальчишки, мокрые от снега.

Они условились встретиться в восемь, а было еще без четверти, и Григорий некоторое время постоял у афишной тумбы, читая, что в каком театре идет. Он терпеть не мог театра, но давно решил, что на этот раз надо обязательно сходить куда-нибудь с Валькой, хотя знал, что потом будет плеваться и поносить театральных критиков вообще и Мишку Шмидта в частности. Он подумал, что надо бы навестить Мишку и рассказать ему про его однофамильца из Баварии, Вольфганга Шмидта. Как тот все жаловался, что в Гвадалахаре нет пива, а потом под Торихой ему удалось подбить штабную машину, и в машине оказался целый ящик с пивом. Ящик был оцинкован, на нем, уткнувшись головой, лежал толстый майор с перебитым позвоночником. В ящик натекло крови, но Шмидт, отпихнув труп, стал доставать бутылку за бутылкой и передавать бойцам. Он таскал бутылки по три-четыре каждой рукой, из машины торчал его зад в брезентовых штанах, на каждой ягодице было по дыре, и из дыр торчали клочья серого от грязи белья. Бойцы подхватывали бутылки и тут же пили, отбивая горлышки, и мне тоже досталась бутылка. Стекло было в крови, пиво оказалось теплым, но оно было вкуснее, чем вода из Эбро — желтая, холодная, провонявшая мертвечиной.

Григорий взглянул на часы. Было ровно восемь. Сашка сказал, что будет дома ровно в восемь, а если не в восемь, то ровно в десять. Он и раньше назначал так свидания, даже девчатам, и те не обижались. Потому что догадывались, наверное, какая у него работа. Сашка не любил рассказывать, где он работает и чем занимается, но все его знакомые рано или поздно узнавали об этом. Он просил, чтобы про него говорили, будто он милиционер, но Григорий обычно рассказывал знакомым, что Сашка — завмаг, «знаете, булочная на углу Финляндского и Астраханской». «А-а...» — говорили знакомые разочарованно. Сашка был больше похож на боксера, чем на завмага.

Сашкина квартира была на третьем этаже, и окна были освещены. Григорий шагнул на мостовую, чтобы перейти улицу, но тут подкатила эмка, гуднула и остановилась, загородив дорогу. Из эмки вылез плечистый

парень, открыл капот и полез в мотор. Снег все падал, теплый, мягкий, совершенно ленинградский снег, кружился вокруг матовых шаров фонарей, опускался на лицо и на ресницы. Григорий протянул руку, и на ладонь опустились мохнатые снежинки. Ручной снег, подумал Григорий. Он обошел эмку, перешел улицу и вошел в вестибюль. В вестибюле топилась большая, зеленого кафеля печь, было светло и тепло, и было приятно подниматься по лестнице и знать, что тебя ждут, и завтра будут ждать — уже в другом месте и другие люди, и послезавтра и еще долго-долго, месяца два. Два месяца приятных обязанностей, исключительно приятных обязанностей и хорошей работы, и работать есть над чем, и приятно думать, что эта работа сейчас нужна, потому что на Эбро не так уж много журналистов, и большинство из них пишут ерунду, ставят все вверх ногами — чаще не по злобе, а по глупости. Просто не видят главного — классовая глупость, они считают, что человек — всего лишь человек, и переубедить их невозможно, да, наверное, и не нужно...

Сашка стоял на стремянке и копался в дверном звонке.

— Здравствуй, завмаг, — сказал Григорий.

Сашка взглянул сверху вниз, спрыгнул и сказал:

— Здравствуй, испанец.

— Салюд, камарада, — сказал Григорий, и они обнялись и стали хлопать друг друга по спине.

— Жив, жив, писака, — приговаривал Сашка. — Жив, старый хрен...

Они отпустили друг друга, и Сашка сказал:

— Заходи, раздевайся и кури. Я сейчас...

У него стало какое-то другое лицо — какое-то немного обрюзглое, немного старое, немного нездоровое, но глаза были теплые, кожа по-прежнему смуглая, и у него была прежняя боксерская челюсть.

— Заходи, заходи, нечего меня разглядывать. — Он втащил Григория в прихожую, а сам снова забрался на стремянку. — Там Олег сидит, — сообщил он со стремянки.

— Да ну! — Григорий торопливо стащил пальто, смотал с шеи шарф и бросил шапку на столик у дверей. Он пошел прямо в гостиную. Там сидел тощий и бледный Олег и курил трубку. На столе стояла всякая закуска и две бутылки с коньяком.

— Ого-го! — заорал Олег и вскочил, распахивая руки. — Писатель!

Они обнялись.

— Рассказывай, — сказал Олег.

— Да ну тебя к черту, — сказал Григорий. — Я тебя сто лет не видел. Ничего не хочу рассказывать.

— Чесать, где чешется, и слушать друга, вернувшегося из дальнего путешествия, — сказал Олег. Он очень любил Пруткова.

Они сели рядом на диван, и Григорий закурил, рассматривая Олега, комнату и вообще все. Он очень любил эту комнату. Здесь всегда было хорошо и уютно, хотя и не всегда чисто. И здесь ничего не менялось.

— Ты будешь рассказывать? — осведомился Олег.

— Потом. Дай отдышаться.

— Тогда будем коньяк пить. Сашка! Иди коньяк пить! Ты худой стал, как мощи. Не женился?

— Нет.

— Эх ты, старый хрен. В Испании — и не женился! Смотри, опоздаешь...

— Жениться, Олег, никогда не поздно и всегда рано, — сказал Григорий вдумчиво.

— Не жрешь по утрам, я думаю.

— Не жру.

— То-то и оно.

— Что «то-то и оно»?

— Да вот это самое.

— А конкретнее?

— Заработаешь язву.

— Аналогичный случай был в Пензе, — сказал Григорий.

— Ладно, дело твое, — сказал Олег. — Но учти, что язва желудка состоит в том, что желудок, не получая питания, начинает переваривать сам себя.

— Есть еще такая болезнь — волчанка, — сказал Григорий. — Ты на себя посмотри, мыслитель. Сеченов. Пастер. Тебя ведь анфас не видно.

— Я истощен наукой, — сказал Олег.

— А, — сказал Григорий. — Противоестественная любовь.

— Понаблюдай-ка, братец, десять ночей подряд — похудеешь.

— Я наблюдаю круглые сутки, — сказал Григорий важно. — Я наблюдаю жизнь.

— Ну и как жизнь?

— Да так. День живем, неделю хочем.

— Тьфу на тебя, — сказал Олег и заорал: — Сашка! Пора коньяк пить!

Ни черта здесь не меняется, думал Григорий, осматриваясь. Все то же. Э, а это кто? Здесь раньше висел Ягода... Ну ясно, он его снял. Нехорошая история. А кто же это?

— Сашка! — крикнул он. — Кто это у тебя на стене?

Было слышно, как Сашка ломится со стремянкой в переднюю.

— Эх ты, деревня, — сказал Олег. — Это Ежов.

— А, — сказал Григорий. — Ясно.

Вошел Сашка. Они сели за стол и подняли по первой.

— За Испанию, — сказал Олег.

— За Испанию, — повторил Григорий с удовольствием.

Они чокнулись и выпили. За Испанию я могу выпить сколько угодно, сказал Григорий. А как там дела? — спросил Олег. У него сразу широко раскрылись глаза. Не очень важно, сказал Григорий. Правда? Да, неважно. Трудно очень. А как же «но пасаран»? — сказал Олег расстроенно. Очень трудно. Все правильно, но очень трудно. Сволочь Франция, сказал Олег. Задержали оружие. Сволочи.

Сашка молча разлил коньяк.

— Теперь выпьем за встречу, — предложил Олег. — И чтоб не последнюю.

— Самый хороший тост — первый, — сказал Григорий. — Но все равно, выпьем...

Они выпили, и Олег стал есть шпроты прямо из банки. Сашка налил себе еще одну и выпил. Потом снова налил всем.

— Я рад, что ты жив, Гриша, — сказал он. — И давайте поговорим про что-нибудь веселое.

Олег оживился.

— Слыхали? — сказал он. — У нас в Пулкове раскрыли банду. Целая организация. Вот сволочи! И все маститые, пузатые... Такая дрянь!

— Поговорили про веселое, — сказал Сашка и выпил. Он был всегда такой — с ним было трудно разговаривать. Но обычно он расходился после пятой-шестой рюмки.

— Арестован Черепанов, — продолжал Олег, — Пересветов, Иванов — директор. Еще человек пять рангом поменьше. И подумать только — ведь известные ученые, в почете... Все им было дано, все — работайте только! Что им, хуже чем при царе, что ли, было? И главное — притаились, тихие. Никто ничего не знал, не подозревал даже.

— Я думаю. Иванов — это же мировое имя, — сказал Григорий.

Олег перестал жевать и задумчиво поглядел на него.

— Нет, — сказал он. — Иванов — это, я думаю, ошибка. Он, по-моему, хороший человек. Я думаю, его выпустят, когда разберутся. Ведь без ошибок нельзя, я понимаю... — Он поглядел на Сашку. Сашка выпил.

— Лес рубят — щепки летят, — сказал Олег. — Ничего не поделаешь. Лучше пусть пострадают несколько невиновных, чем останется какой-

нибудь притаившийся гад. Это верно Сталин сказал насчет моста.

— Да, — сказал Григорий. — Здесь зевать не приходится. В Мадриде пятая колонна, стреляют из-за угла, саботируют, шпионят. Говорят, их расстреливают.

— Душить без пощады, — сказал Олег яростно. Он был уже готов. — У нас здесь тоже пятая колонна. И еще страшнее. Потому что тихие и высокосидящие.

Сашка выпил еще рюмку и сказал:

— А как Валечка?

— Ничего, спасибо, — сказал Григорий.

— Рада?

— По-моему, рада. А ты с ней давно не виделся?

— Давно, — сказал Сашка. — Полгода, наверное. Она приходила к нам в клуб танцевать. Был с нею какой-то хмырь, но я к нему пригляделся и не стал его уничтожать. Недотепа. Никаких шансов.

— С-слушай, — сказал Олег. — Р-рскажи что-нибудь, Гришка. Черт, что вы все такие засекреченные?

— А как насчет источников свечения звезд? — осведомился Сашка.

— Что? — сказал Олег.

— Как там со звездами? Почему они, подлые, светят, но не греют?

— Цикл Бете, — сказал Олег и икнул.

— Все ясно, — сказал Григорий. — Вопросов нет. Есть два новых анекдота.

— Трави, — потребовал Сашка.

Григорий стал рассказывать, но у него получилось плохо. Он услыхал эти анекдоты полгода назад в батальоне Линкольна. Их рассказывал один славный парень, даже не парень, а мужик с седой головой, коммунист из Буффало. По-английски эти анекдоты звучали очень хорошо, но по-русски было трудно подобрать подходящие слова. Сашка кривовато усмехался, а Олег икал и говорил вежливо: «Н-ничего... Н-ничего себе...»

Тогда Григорий взял и рассказал, где он услышал эти анекдоты и кто их рассказывал. Это было под Бриуэгой. В каменной лощине горела танкетка, и красный огонь освещал трупы, темными мешками валявшиеся поодаль. Они сидели за огромным валуном, жадно курили, и Григорий все думал: на кой черт меня принесло сюда, на кой черт. В руках у него был карабин с горячим стволом, и было тихо, только трещало и шипело в танкетке, а фашисты только что откатились и теперь готовились к новой атаке. Тут парень из Буффало докурил окурок, выругался по-русски, очень забавно, и рассказал подряд оба анекдота, а когда вокруг отсмеялись —

смеялись почти все — вдруг запел очень энергично, но немузыкально:

Иф э-боди кисс э-боди,
Вуд э-боди край?
Иф э-боди лав э-боди,
Вуд э-боди дай?

После следующей атаки мы снова собрались за этим валуном и пили из фляжек, содранных с убитых мятежников, но парня из Буффало уже не было.

— Эх, — сказал Олег тоскливо. — Сижу тут, как старое дерьмо... Ну кому все это нужно — Дзета Пупис, Бета Лиры... Дерьмо. Я туда хочу!

— Там убивают, — сказал Григорий. Он сказал это просто так, механически. Он не хотел стращать или хвастаться. Ему вдруг стало нехорошо — там убивают, а он здесь сидит уютно и спокойно и пьет коньяк, когда там так нужны люди. Просто люди — руки с винтовкой и ясная душа. Там все были честные, даже анархисты...

— Я большевик, — упрямо сказал Олег. — И сижу тут как дерьмо. Безо всякого толка и пользы. Наше место там!

Сашка сидел, откинувшись, и медленно тянул коньяк. Теперь он пил из стакана.

— Все на свете проморгал, — продолжал Олег. — Перед Черепановым ходил на полусогнутых, а он враг. Где наши глаза были?

— Ну, этим заняты те, кому следует, — сказал Григорий.

— В-верно! Я тоже так думаю! Сталин знает, что делает. Раз не объявляют поголовный набор добровольцев в Испанию, значит, этого делать нельзя...

— Да. Нельзя, пожалуй.

— Там люди сидят поумнее нас с тобой, — сказал Олег. Он тяжело поднялся и пробрался к окну. — Мать честная, ясно! Мне ехать надо, ребята... Н-наблюдать надо!

— Ладно, — сказал Сашка. — Ложись и спи. Ехать ему надо. Тазик принести?

— Иди ты в штаны... Мне ехать... Н-наблюдать...

Олег пошел кругом по комнате, придерживаясь за мебель.

— Где мое пальто?! — заорал он.

Сашка встал, взял его за плечи и усадил, а затем уложил на диван.

— Дрыхни, астрономия, — сказал он.

— Й-эхать!..

Олег заснул и сразу захрапел. Сашка вышел и вернулся с тазиком.

— Среди ночи непременно поблюет, — сказал он.

— Н-на пол, — сказал Григорий Олеговым голосом.

Сашка сел и вылил остаток коньяка себе в стакан.

— Теперь рассказывай, — сказал он.

— Сначала скажи, что с тобой. Ты устал?

— Конечно, — сказал Сашка.

— Неприятности?

— Нет, — сказал Сашка. Он выпил и весь скривился, как от дряни.

— Ну хорошо, — сказал Григорий. — У тебя карта есть?

Сашка снова поднялся и принес свернутую в рулон большую немецкую карту Испании. Они сдвинули посуду и расстелили карту, прижав по углам пустыми стаканами.

— Вот где они, — сказал Григорий.

Сашка засопел.

— Что же это, — сказал он. — Это же значит...

— Да, — сказал Григорий.

— Что же это, — повторил Сашка. — Что же это...

— Я еще надеюсь вернуться, — сказал Григорий. — Я хочу быть там до конца. К чертовой матери, Сашка, ты это пойми... Я там как за родную землю дрался, как за Ленинград... После гражданской — это первый настоящий бой за советскую власть...

Они долго молчали. Потом громко зазвенел звонок, и Григорий вдруг увидел, как лицо Сашки стало серым. Наступила тишина, только тихонько храпел Олег на диване. Снова зазвенел звонок.

— Спокойно, — сказал Сашка. — Это за мной. Ты, главное, спокойно... — Он схватил Григория за руки и крепко стиснул. — Ты, главное, спокойно...

Звонок.

Сашка сидел неподвижно, и только быстро шарил глазами по стенам.

— Спокойно... Я через два дня вернусь... Максимум, через три...

Он вскочил и бросился в прихожую. В двери начали стучать. Что-то с грохотом повалилось в прихожей, и Григорий услыхал высокий незнакомый голос:

— Живой не дамся!..

Щелкнул замок. Стало тихо. В прихожей заговорили вполголоса, хлопнула дверь, и вернулся Сашка. Он был совершенно белый, с белыми вытаращенными глазами. Он держал обеими руками телеграмму, в правой

руке у него трясся наган.

— Почтальон, — сказал он, усмехаясь. — От мамы. Беспокоится, что не пишу.

Он посмотрел на наган и сунул его в карман пижамы.

— Здорово я его напугал, — сказал он.

Григорий молчал.

. . . .

Спать хотелось невыносимо. Только спать, и больше ничего. Не было больше ни тоски, ни ярости. Глаза сами собой съезжались к переносице, веки опускались, точки и крапинки на серой стене таяли и расплывались. И сейчас же возникала смеющаяся Валькина мордочка... Медленные снежинки в свете фонарей... Большая карта Испании — немецкая карта — и заскорузлый палец баварца Шмидта чертил грязным ногтем кривые линии поперек голубой ленты Эбро... Что там было, на Эбро? Что-то очень плохое или хорошее — надо только подумать и вспомнить. Но думать не хочется. Хочется спать.

Григорий качнулся и ударился лбом в стену. Следователь спокойно сказал:

— Стоять смирно, ты...

Григорий стоял спиной к следователю. Он смотрел в стену, выкрашенную серой краской, и слушал, как следователь шуршит бумагами, зевает, скрипит креслом. В кабинете было тепло, пахло табачным дымом. Хорошо бы убить следователя, подумал Григорий. И лечь спать прямо здесь, на полу. Закрыть глаза, растянуться и заснуть. Хоть на час. Хоть на четверть часа.

Дверь приоткрылась, кто-то сказал:

— Угости папиросой. Все, понимаешь, выкурил.

Следователь сказал:

— Бери.

Кто-то почти бесшумно прошел за спиной и остановился у стола.

— «Беломор»? А «Казбека» нет?

— Я только «Беломор» признаю, — сказал следователь. — От «Казбека» у меня кашель.

Чиркнула спичка. Кто-то сказал:

— Спасибо. Домой, понимаешь, собрался, хватился — папиросы кончились. Может, дашь парочку про запас? Магазины еще закрыты.

— Бери, — сказал следователь.

— Спасибо. Молчит?

— Молчит. Упорный попался, сука.

— Ну, я пошел. Пока.

— Пока.

Кто-то почти бесшумно прошел за спиной, дверь открылась и закрылась. Следователь громко, с прискуливанием, зевнул и опять зашуршал бумагами. Как ему не надоест, подумал вдруг Григорий. Неужели он не понимает, что все это — страшная ошибка? Лес рубят — щепки летят. Я — щепка. Нет, конечно, он не знает, что я — только щепка. Он уверен, что я фашист, изменник родины... Как это все они спрашивают: «Расскажите о ваших связях в Испании». Мои связи в Испании... Если бы ты побывал в Испании, ты бы сдох от страха, подумал Григорий. Или нет? Может быть, ты тоже сидел за валуном и торопливо тянул замусоленный окурок, и смотрел, как догорает фашистская танкетка, и трясущимися руками ощупывал горячий ствол карабина... И теперь, озлобленный, творишь суд и расправу? Но мне-то каково? Каждый день, каждый день, и этому не видно конца, и кажется, что вот-вот сойдешь с ума...

Странно, что меня не бьют, подумал Григорий. Других бьют. Иногда слышно даже, как кричат избиваемые. Вероятно, бьют очень больно. И рано или поздно начнут бить меня. И я тоже буду кричать... Сашка кричал тогда: «Живым не дамся». Сашка знал, конечно. Может быть, он тоже бил? И он, наверное, так и не дался. Григория взяли в подъезде Сашкиного дома и увезли на эмке. На той самой эмке. «Это недоразумение!» — «Молчите». — «Поймите, я журналист, я вернулся из Испании...» — «Там выясним, какой ты журналист». И потом: «Расскажите о ваших связях в Испании».

Точки и крапинки на серой стене снова растаяли. Григорий совершенно отчетливо увидел свой карабин. Он очень обрадовался. Он узнал даже царапины на ложе — это когда он переползал через битый кирпич вперемешку со стеклом, и пули хлестко щелкали перед самым носом, поднимая облачка красной пыли... Отличный карабин, когда смертельно хочется спать. Надо только разуться, сунуть дуло в рот и нажать большим пальцем ноги на спусковой крючок.

— Смирно стоять, я сказал... — спокойно сказал следователь.

Григорий разлепил глаза. Следователь отодвинул кресло и с хрустом потянулся.

— Ну что, долго в молчанку играть будем? — спросил он добродушно.

Григорий облизнул пересохшие губы.

— Ведь нам уже все известно. Твой приятель астроном все нам рассказал. Чего же ты зря запираешься? Умел нашкодить, умей и отвечать.

Григорий втянул голову в плечи. Да, Олег все рассказал. Добрый глупый Олежка. Он подписал отвратительную бумагу. Подпись была

страшная, корявая, но она была Олежкина. И ниже подписи — коричневый мазок, какой бывает на простыне от раздавленного клопа. Наверное, из носа.

— Ладно, — сказал следователь. — Пойди, часок отдохни.

Григорий молчал. Сейчас придет белобрысый лейтенант, отведет в камеру, а через двадцать минут придет чернявый лейтенант и снова приведет его в этот кабинет, или в другой кабинет. И его снова поставят носом в стену.

Пришел лейтенант и сказал:

— Пошли.

Григорий заложил руки за спину и направился к двери. Следователь, пожилой, с усталым желтым лицом раскуривал папироску. Григорий и лейтенант вышли из кабинета. Григорий с трудом переставлял затекшие ноги. Впрочем, он знал, что это сейчас пройдет. Это всегда проходит, когда кончается коридор. Лейтенант шел в двух шагах позади и, не отрываясь, смотрел Григорию в затылок. На лестничной площадке Григорий замедлил шаг и оглянулся, и сразу встретился взглядом с глазами, голубыми и злобно-испуганными.

— Давай-давай, живей, — сказал лейтенант.

Лейтенант был в новенькой гимнастерке с новенькими кубиками в петличках. Конечно же, лейтенант знал наверняка, что ведет фашиста, предателя, троцкистского последыша.

Они стали спускаться по лестнице. Лестница была широкая, трехмаршевая, точно по шестнадцать ступенек на марш, с балюстрадой под красное дерево и с гулким просторным колодцем.

Григорий спускался, придерживаясь за перила. Снизу, из шестиэтажной глубины донеслись чьи-то неразборчивые голоса. Потом пронзительный голос крикнул:

— Отойти от стены!

— Давай-давай, — пробормотал за спиной лейтенант.

Будет же когда-нибудь такое время, что не будут гореть танкетки, не будет следователей и глупых лейтенантов... И можно будет спать, сколько хочешь, и не ждать, когда тебя ударят по лицу. Но мне этого уже не увидеть, подумал Григорий. От жалости к себе у него навернулись слезы на глаза, хотя он еще не был уверен, что сделает это. Хорошо было Сашке, у него был наган... А мой карабин остался там.

Григорий нагнулся и вдруг перевалился через перила.

— Стой! Куда, сволочь? — отчаянно закричал лейтенант.

Было просто страшно. Потом он подумал: «Теперь здесь наверняка

поставят решетки...» И все кончилось.

ДНИ КРАКЕНА (Главы из неоконченной повести)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На третьем курсе в университете Юлю Марецкую выбрали комсоргом факультета и затем переизбирали еще два раза. Она не отказывалась, так как декан и члены партбюро постоянно твердили ей, будто она прирожденный комсомольский вожак. Никаким вожаком она не была, но значило это для нее очень много. Она училась старательно, но язык давался ей плохо, а в качестве комсорга она быстро избавилась от чувства неполноценности, которое всегда испытывала рядом с более способными ребятами. Разумеется, никто не относился к ней свысока, ее и вообще-то не очень замечали, зато она ощущала себя как рыба в воде. Ей ничего не стоило разобраться в каком-нибудь мелком конфликте или собрать товарищей на политзанятия, потому что она была девушкой искренней и благожелательной. Правда, вся эта деятельность имела для нее и плохую сторону. Она так увлеклась общественными обязанностями, что оставила далеко в тылу все личные проблемы, с которыми любая студентка способна справиться в двадцатилетнем нежном возрасте. Она так и не сумела отделаться от некоторых ублюдочных принципов, которые ей внушили еще в школе.

На четвертом курсе у нее случился роман с одним молодым преподавателем, и она по ночам плакала в подушку, воображая себя разрушительницей чужой семьи, но преподаватель вскоре отступился и вернулся к своей жене, устав бороться с несгибаемыми Юлиными принципами. Как-то я встретил этого преподавателя. Он хорошо помнил Юлю и очень интересовался, что с нею потом сталось. Вообще это довольно странно, потому что мало кто из однокурсников помнил ее, да и те, кто помнил, путали ее фамилию. Вообще-то она была милая девушка, даже хорошенькая, хотя все находили, что ей следует больше заботиться о внешности. На последнем семестре она была уже членом факультетского партбюро и стала носить очки, но перед госэкзаменами, кажется, сняла их.

Вскоре после университета она поступила в издательство «Иностранная литература» и тут же вышла замуж за старшего лейтенанта, только что уволенного в запас, веселого и развязного субъекта. У него не было гражданской специальности, поэтому она решила, что должна поставить его на ноги. У нее была комната в старом доме в районе Арбата,

и первое время бывший старший лейтенант то ли с непривычки, то ли из чувства благодарности сдерживался. Но потом он снова стал пить, связался с какими-то проходимцами, крал у жены деньги и даже пытался ее колотить. Юля из кожи вон лезла, чтобы перевоспитать его. Она ела и спала с книгами Макаренко, приводила домой сослуживцев, которые рассказывали, как славно работать в коллективе и любить свою работу. Неожиданно она узнала, что у него есть любовница, и прогнала его. К счастью, детей у них не получилось, но вся эта история крайне болезненно подействовала на ее самолюбие. Во-первых, ей было очень стыдно перед сослуживцами, хотя они жалели и всячески старались ободрить ее. И к тому же она сообразила, что не любит и никогда не любила мужа, а потому во всем виновата сама. Она поняла, что у нее с ним с самого начала не было никаких шансов на успех, поскольку собственная комната и довольно высокий оклад независимо от ее женского обаяния сами по себе представляли соблазн для бездомного бездельника. Она прямо-таки извелась, обвиняя себя в черствости и себялюбии, и долго еще снабжала бывшего мужа деньгами, когда он являлся к ней в подпитии с мольбами и упреками. Бедняжка успокоилась только через несколько месяцев, но из «Иностранной литературы» все-таки ушла и поступила к нам в редакцию современной прозы.

Работала она добросовестно и умело и нисколько не робела перед начальством, поэтому к ней так и льнули молоденькие девушки из корректорской и производственного отдела — она беззаветно и со студенческой пылкостью защищала их от раздраженных заведующих. Вскоре ее выдвинули в местком вместо старушки, ушедшей на пенсию, а затем она была выбрана в партийное бюро, хотя прошла большинством всего в два голоса. Это последнее обстоятельство ее обидело и в то же время прибавило ей рвения, так что на нее свалили всю текущую работу. В партийном бюро такие работники просто необходимы, и стоило ей однажды надолго заболеть, как с треском провалилось множество мелких мероприятий.

Мне она не нравилась еще в университете, и я сделал вид, что совсем не помню ее, когда она подошла ко мне в издательстве. Она меня раздражала. Есть люди с каким-то редкостным, книжным сочетанием необыкновенной душевной доброты и совершенно твердокаменных заблуждений. Это те самые, которые любят обиженно говорить: «Чем больше делаешь добра, тем хуже к тебе относятся». Мне приходилось сталкиваться с ними в армии — это были ефрейторы и сержанты из сибиряков и украинцев. Я никогда не сомневался, что в Юле главное —

большое чутье к чужому несчастью и что она готова сеять добро любой ценой. Но переносить ее даже в небольших дозах очень трудно, может быть потому, что она никак не способна понять, что люди вокруг не добрые и не злые, что каждый человек очень сложен и может очень сильно отличаться от нее. Она навязывает тебе свое хорошее отношение, выстаивает за тебя очереди в буфете, мчится после работы за город за книжкой, которую тебе захотелось прочесть, но посидеть в ресторане и просто потрепаться в перерыв ты предпочитаешь с Костей Синенко, который не постесняется забрать у тебя последние два рубля, с легким сердцем утеряет рукопись, взятую тобой под честное слово в соседней редакции, или в самое горячее время станет проситься во внеочередной отпуск.

Все же в конце концов мы с Юлей стали друзьями. Мы встретились на дне рождения у общего знакомого, поговорили в углу на диване на общие темы, потанцевали, и она решила, что я хороший человек. «Я к тебе давно присматриваюсь, и мне очень хотелось сойтись с тобой поближе», — заявила она с таким видом, словно я должен был немедленно проникнуться благодарностью к ней за это признание. Затем, не сходя с места, она чистосердечно рассказала мне все о себе. Это было трогательно, тем более что у меня в тот вечер было отличное настроение, а она была очень хороша — румяная от вина, в красивом платье, закрытом до шеи, и с голыми руками. Я проводил ее домой. Мы долго прохаживались перед ее подъездом, потом долго стояли у подъезда, и она все говорила, доверчиво заглядывая мне в лицо. Я уверен, что если бы я попытался тогда поцеловать ее, она бы страшно удивилась и обиделась.

Она здорово привязалась ко мне и стала часто бывать в нашей редакции. Раза два она заходила даже ко мне домой, но я старался не поощрять ее. Возможно, она влюбилась, а скорее всего, просто чувствовала себя одинокой. Ведь я был ее единственным другом в издательстве, если не считать девчонок из корректорской. А может быть потому, что я только слушал ее и никогда не рассказывал сам. Это вообще очень импонирует людям. Они видят в этом признак участия. Или еще потому, что я обедал в кафе, ужинал булкой с колбасой, и ей хотелось поставить меня на ноги. Как-то она предложила мне познакомиться с одной приятельницей из «Иностранной литературы». Не помню уже, почему знакомство не состоялось. Впрочем, говорили мы главным образом о делах, и мне иногда думается, что для себя она оправдывала эту дружбу необходимостью живой связи с массами. Все-таки она очень меня раздражала, потому что я все время был чем-то обязан ей. Например, она научила меня играть в бадминтон.

В тот день, когда привезли Кракена, она зашла после перерыва поговорить о моих отношениях с Майским, и я по-настоящему разозлился на нее. Мы все трое лежали животами на подоконнике и смотрели, как внизу во дворе ворочается «маз» с громоздким прицепом-цистерной. Вокруг «маза», взволнованно размахивая руками, бегали беспозвоночники и пронзительными голосами подавали водителю советы. Беспозвоночниками мы называли наших соседей, сотрудников Института беспозвоночных, да они и сами себя так называли. Костя пригляделся и сказал, что это беспозвоночникам привезли спирт, а Тимофей Евсеевич стал рассказывать, как бы он поступил на месте водителя. Тут подошла Юля, поздоровалась и сказала:

— Андрюша, ты, я вижу, не очень занят, мне надо поговорить с тобой.

Мы вышли в коридор и сели у стола, где обычно сидят с авторами, чтобы не мешать в редакции.

Она опустила ресницы, разгладила юбку на коленях, скорбно взглянула на меня и покраснела. Она не знала, с чего начать. Или притворялась, что не знает, — для нее это всегда было одно и то же. Я сразу понял, что она собирается резать мне в глаза правду-матку. Не люблю, когда мне режут эту самую правду-матку, но за удовольствие иметь такого друга приходилось время от времени платить. Я полез в карман за сигаретами, хотя у меня и без того было горько во рту от курения, и сказал:

— Давай, Юленька, рассказывай, что там еще стряслось. Синенко опять целовал Марину в рабочее время? Нет? Неужели Тимофей Евсеевич? Он старик, но еще может... Тоже нет? В чем же дело? Мне не к лицу этот галстук? Говори прямо и откровенно. Без околичностей и всяких там фиглей-миглей.

Пока я говорил все это, она с трагическим достоинством покачивала головой. Глаза ее были прикрыты. Затем она открыла глаза и сказала:

— Я не шучу, Андрюша. Вопрос очень серьезный. Боюсь, что тебе это будет не совсем приятно, но...

Последовала значительная пауза, и я поспешил заверить:

— Я слушаю тебя, Юленька.

— Что у тебя за отношения с Майским? — спросила она.

Я удивился.

— С Петей Майским? Хорошие отношения.

— Вы друзья?

— Не то чтобы друзья... А что случилось? Он попал в милицию? Это он может.

Она сурово сказала:

— Ты пьянствуешь с ним в ресторанах.

Это было сказано так убежденно и взволнованно, что я растерялся. Так мог бы сказать следователь, загнавший преступника в ловушку.

— Почему же именно пьянствую? — спросил я. — В ресторанах не обязательно пьянствовать, Юленька. Там разрешают и просто беседовать.

— Не в этом дело. Ты понимаешь, что я хочу сказать.

— Не понимаю, — сказал я искренне.

— Ты заведующий отделом, коммунист. Майский твой автор. Ты не должен ходить с ним по ресторанам.

— Послушай, Юля, — сказал я, сдерживаясь. — Я давно взрослый. Я сам знаю, с кем мне ходить.

Тогда она наклонилась ко мне и проговорила вполголоса:

— Ты не имеешь права. Как твой товарищ и как член партбюро я предупреждаю тебя, это выглядит некрасиво. Ты включил Майского в план редподготовки?

— Ладно, — сказал я и встал. — Довольно с меня. Да, я включил Майского в план редподготовки. По этому поводу мы устроили в ресторане «Метрополь» очередную попойку, и там Майский выдал мне нотариальную доверенность на половину будущего гонорара. А затем мы с ним отправились в Сандуновские бани, и его рука мыла мою руку. Я признаю свою вину и готов предстать.

Это было грубо, потому что Юля, конечно, затеяла этот разговор из самых лучших побуждений. Она сидела, как прибитая. Но я разозлился. Какая-то полицейская логика: не потому вне подозрений, что честный, а потому честный, что вне подозрений. Мне такая логика никогда не нравилась, и в свое время я от нее натерпелся. Я повернулся и пошел прочь. Юля догнала меня и схватила за рукав.

— Андрюша, — сказала она жалобно, — пойми меня правильно. Я вовсе не хотела тебя обидеть. Ты чистый и честный человек, Андрюша, я тебе во всем верю... Но зачем тебе всякие ненужные разговоры, сплетни? Я не хочу, ну просто не желаю, чтобы кому-нибудь пришло такое в голову. Ты только пойми меня...

По коридору шли люди, и она замолчала.

— Я понял тебя, — сказал я. — Прости, пожалуйста, мне пора.

Она не отпускала рукав.

— Не сердись, — сказала она.

— Я не сержусь.

— Не сердись. Я просто _должна_ была тебе это сказать. Я долго думала, а сегодня вдруг решила, что больше молчать не могу. Ты не

сердишься?

— Нет, — сказал я. Я действительно больше не сердился. На нее было смешно обижаться. Больше всего мне хотелось бы положить ее на колено и отшлепать по мягкому. Потом это желание тоже прошло, и я засмеялся.

— Ладно, — сказал я. — Все в порядке.

Она отпустила мой рукав и несмело улыбнулась. Когда я вернулся в редакцию, Костя и Тимофей Евсеевич все еще лежали на подоконнике. Я разогнал их за рабочие столы и сел разбирать корреспонденцию. Одно из писем было из Иностранной комиссии ССП. Малинина просила меня явиться в будущее воскресенье на встречу с Цутому Хида в «Пекин» к восьми часам вечера. Конечно, можно было попытаться увильнуть от этой встречи, но мне не хотелось подводить Малинину. Я позвонил ей, а затем меня вызвали к главному редактору.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Беседа с главным редактором затянулась, и я освободился только около семи. Я устал и хотел есть, дома меня ожидал «Призрак с хризантемой», завтра предстояла встреча с Кларой, но я все же обратил внимание на необычное оживление возле зимнего бассейна. Оттуда тянуло резким кислым запахом. Несколько рабочих в спецовках закладывали кирпичом обширный провал в стене, им помогали взволнованные и нервные беспозвоночники. У рабочих, как мне показалось, тоже был какой-то озадаченный и недоверчивый вид, и они очень торопились. Но я не стал подходить, так как решил, что бассейн просто-напросто опять ремонтируют.

Не знаю, когда и для чего построили посередине двора это грубое приземистое сооружение из потрескавшегося бетона. Судя по бледным надписям со стрелками, во время войны оно служило убежищем, затем в нем хранили уголь, а потом наши спортсмены объединились со спортсменами из Института беспозвоночных и оборудовали в нем приличный закрытый бассейн. Не бог весть какой он получился, глубиной всего полтора метра и площадью пятнадцать на двадцать, но ребята построили его сами и гордились кафелем, лампами дневного света и прочими удобствами. Летом в нем просто купались, а зимой занимались пловцы и команды ватерполистов профсоюза работников культуры.

Погода была прекрасная, и я побрел домой пешком, выбирая самые тихие переулки. По дороге я вспомнил, что у меня кончился кофе, зашел в

магазин и купил пачку за сорок четыре копейки, а заодно двести граммов буженины и масла. Можешь за меня не беспокоиться, друг мой сердечный Юля Марецкая. Кофе и хороший бутерброд с бужениной — это очень хорошо. Это не только хорошо, но и уютно. Ты себе представить не можешь, как уютно выкушать часа в два ночи большую фамильную чашку кофе, и никто не уговаривает тебя сонным голосом, что пора спать и что надо спать, когда спят все порядочные люди, и ты можешь сидеть и работать и думать, сколько угодно. Не надо обо мне беспокоиться, дорогая Юленька, даже когда я сижу в ресторане и даже с беспутным Петькой Майским, и возвращаюсь домой под утро. А если вы все-таки будете слишком беспокоиться, то смотрите, я разозлюсь и сделаю вам предложение, и вы по глупости и природной деликатности согласитесь стать моей женой, и вот тогда-то вы узнаете, что такое настоящее беспокойство, потому что у меня есть большой опыт по причинению близким беспокойства, а у вас нет практически никакого опыта, и поскольку я вас все-таки не люблю, а вы склонны видеть в семейной жизни некое продолжение общественного долга, вам придется очень, очень плохо. Так что не сердите меня, милая, останемся лучше друзьями. Я готов сколько угодно терпеть тебя в качестве члена партбюро и даже в качестве друга, но если ты воображаешь, что заботу обо мне можно простирать сколь угодно далеко, то прах с тобой, погибай. Вряд ли ты перенесешь еще одно разочарование.

Дома я принял душ, поужинал и стал готовиться к очередной схватке к Банъютэем. Я веду настоящую войну, по всем правилам и с высокой целью. Я наступаю, Банъютэй жестоко и умело обороняется. Это сильный противник, таких у меня еще не было. Он сопротивляется каждой строчкой, он подсовывает мне странные реалии, которых не найти ни в одном словаре, он сбивает меня с толку жаргонными оборотами и провинциальными словечками, он заманивает меня в ловушки поступками своих героев, на первый взгляд вполне естественными, но имеющими, как это неизменно случается, совершенно чуждый мне смысл. Настоящая война, сладкая каторга, которая выматывает так, что перестаешь гордиться собой и продолжаешь воевать из тупого упрямства.

Война ведется по вечерам и по ночам, и каждый раз перед боем я некоторое время стою перед столом, держась за спинку старого скрипучего кресла, и выжидаю. Как будто все готово. Серо-зеленая «комбина» заправлена чистым листком бумаги. Справа, так, чтобы было удобно дотянуться, разложены рыхлые от употребления тома Кацуматы, «Кодзиэн» и Роз-Иннеса. Слева раскрыта изящная книжка Банъютэя. Пепельница

пуста, папиросница полна, на всем свободном пространстве разбросаны коробки спичек. Остается сесть, положить пальцы на клавиши и посмотреть на текст. Но это невозможно сделать сразу. Мало того, это нельзя делать сразу.

Мешает рефлекс, выработавшийся за долгие годы работы. Этот рефлекс предупреждает, что после первого удара клавиши я, свободный человек в свободной стране, на несколько часов стану бесправным галерником. Когда я стою перед письменным столом, что-то во мне с ужасом протестует, жалобно и жалко требует не начинать. Совсем не начинать, а пойти, например, на диван и выспаться. Ну, раз уж это так необходимо, то начать через часок. Через десять минут. А пока все-таки лечь на диван и покурить, разглядывая потолок. Не знаю, как кто, а я люблю свои рефлексы. Особенно этот. Он ничему не мешает, он слаб и жалок, и, отдавая ему дань паузой, я ощущаю себя чуть ли не собственным благодетелем. При этом я хитрю. Я только делаю вид, что просто медлю. На самом деле я настраиваю себя на противника. Это не так просто — каждый вечер перетаскиваться из Москвы второй половины двадцатого века в Токио, вернее, в Эдо первой половины восемнадцатого. Забыть о метро и спутниках и провалиться в мир бидзэнских мечей и ёсиварских красавиц. Вползти в шкуру Банъютэя, увидеть его мир его глазами, разобраться в его эмоциях и постигнуть его логику.

Вот он идет по узкой улочке, бесцеремонно толкаясь и отпуская незатейливые шуточки, долговязый костлявый человек в стареньком кимоно с подоткнутыми полами. С первого взгляда в нем узнаешь «эдокко», настоящего коренного эдосца, во всяком случае — с первого слова. Его настоящее имя, конечно, не Банъютэй, но все зовут его так, потому что так он подписывает свои книжки в пестрых обложках и с потешными рисунками. Эти книжки взахлеб читает вся столица, да что там, вся Япония от Сэндая до Сацумы, грамотные читают неграмотным, и все хохочут, начиная от грозного диктатора и кончая последним эта, уборщиком падали. Всюду в столице Банъютэй как дома, тем более что собственного дома у него нет. Он бесцеремонно вмешивается в чинную беседу двух купцов из провинции и передразнивает их медлительный выговор так, что толпа вокруг ревет от восторга. Он закатывает оплеуху слуге какого-то самурая, который пытается преградить ему дорогу своим деревянным мечом, и тут же отвешивает обомлевшему от такой наглости самураю почтительно-шутовской поклон. Он показывает фигу — так в Эдо приглашают девок — важной дебелой даме в паланкине и несколько минут наслаждается ее визгливыми ругательствами. Он весел сегодня, он хорошо

продал свою очередную книгу «Призрак с хризантемой», и мир нехитрых удовольствий снова открыт для него. Скорее всего, он идет сейчас в веселые кварталы, где с друзьями и проститутками в два дня спустит всю выручку, а затем, если повезет, заставит еще неделю-другую развлекать себя какого-нибудь загулявшего купеческого сынка.

Я давно понял, какой веселый нетерпеливый талант носит в себе этот пройдоха и распутник. Талант гениального наблюдателя. Его сознание мгновенно отмечает мелочи, мимо которых равнодушно проходят другие люди, по взглядам, по позе, по голосу он отыскивает смешное в человеке, усилием воображения восстанавливает прошлое этого человека, мысленно ставит этого человека в необычайные обстоятельства — и вот уже готова небольшая новелла, которая, возможно, войдет в его следующую книгу...

Я обошел кресло, сел и придвинулся к столу. Мой дорогой рефлекс, воображающий себя, наверное, моим спасителем, больше не сопротивлялся. Я даже представил себе, как он огорченно махнул рукой и улегся дремать где-то в теплых глубинах подсознания. Добрый вечер, Банъютэй-сан. Глава двадцать седьмая. «Пришел все-таки, сволочь тоскливая, — сказал Тёдзаэмон. — И что ты под ногами путаешься?..» Цумаранээ яцу, отлично сказано. Редактор для этой книги нужен старше шестнадцати. Пожалуй, самое трудное у Банъютэя — это диалоги, из которых процентов на семьдесят состоят все его книги. Очень живописные диалоги, надо признать, и эдосский бытописатель не постеснялся передать их во всем сыром уличном великолепии, с грамматикой, словами и оборотами, давно канувшими в вечность. И реалии, реалии... У Кацуматы и в «Кодзиэне» есть, кажется, все, и реактор на медленных нейтронах, и рецессивная аллель, но нет никаких следов такого, например, слова, как «накаго». Что это? Меч в ножнах или стержень рукоятки?

Я проработал два часа. Стемнело, я зажег свет и закурил. За два часа едва одна страница. И это еще ничего, потому что в начале войны с Банъютэем бывали дни, когда страница текста обходилась мне в три и даже в четыре часа. Это не «Один в пустоте» бывшего солдата второго разряда бывшей Квантунской армии Цутому Хида, когда перевод сам лился в русские строчки, и я переводил столько, сколько успевал печатать. В воскресенье мне встречаться с Хида. Потерянный вечер. Но он хороший писатель, и, может быть, будет интересно. Надо подарить ему перевод. И какой-нибудь сувенир. Придется поломать голову над сувениром. Не буду ломать. Куплю матрешку или фигурку из мамонтовой кости. Или бутылку юбилейной водки в оригинальной упаковке, кажется, это так называется. Надо будет завтра сходить в магазин русских вин. Там я покупал

шампанское для Клары... Хотя нет, тогда этого магазина еще не было. Клара была в узкой короткой юбке, и на вечере все мужчины глазели на ее ноги. Красивые ноги, надо заметить. Ох, завтра мне встречаться с Кларой. Завтра — с бывшей женой Кларой, послезавтра — с бывшим солдатом второго разряда Цутому Хида. А сегодня, завтра, послезавтра и еще много-много дней подряд мне встречаться с веселым Банъютэем.

Вот вопрос: чего ради я связался с этим средневековым шутником? Ведь мне предлагали другую работу, куда более выгодную. Пухлую современную вещь на двадцать листов, работать можно почти без словаря. Закончил бы в полгода, расплатился с долгами, съездил бы в Карловы Вары... Правда, вещь эта скучна. До синих пятен скучна. Что-то из жизни наираспробеднейшего крестьянства, страдающего в лапах ростовщиков. Она сказала и заплакала. Он сказал и заплакал. И сопля дрожала на кончике его носа. Я не люблю таких вещей. От «Поликушки» меня тошнит. Даже от чеховских «Мужиков» меня тошнит. Банъютэй — другое дело. И сюжет незамысловат до глупости, да и взят он у какого-то китайца, чуть не у Цюй-ю Цзун-цзи, а как великолепно сделано! На мой взгляд «Призрак с хризантемой» сделал бы честь самому Акутагаве, который два века спустя вот так же использовал наивные сюжетики из «Кондзяку». Ладно. Кривошеин подождет, а в Карловых Варах будет весело и без меня. Я — чернорабочий мировой культуры.

Я перевел еще одну страницу, поставил завариваться кофе и постоял у окна, напрягая затекшие мускулы ног. Было уже совсем темно, похолодало, над крышами повисла распухшая красная луна. Внизу шуршали шины, стучали каблуки, кто-то визгливо засмеялся и сразу замолк. В окне напротив толстая женщина в сарафане укладывала спать маленькую девочку, тянула через голову платьице и что-то говорила ей, ласково улыбаясь. Я подумал, что Юля сейчас тоже укладывается спать или уже лежит в постели и огорченно вспоминает, как она неделикатно со мной разговаривала. Тут вскипел кофе, и я вернулся к столу.

Интересно, почему человечество все время возвращается к великим вехам? Почему считается, что мы и сейчас — сейчас в особенности! — не можем жить без Шекспира, Сервантеса, Ду Фу, Мурасаки, Гомера? Может быть, потому, что это вещественные доказательства человеческого гения? Смотрите, мол, вы, антропоиды двадцатого века, на что были способны ваши предки. Ведь говоря по правде, Шекспира читать довольно скучно. А Гомера я вообще так и не одолел. И если бы речь шла только обо мне, я бы, конечно, помалкивал и тихонько краснел бы в тряпочку. Но и среди моих знакомых только двое способны по своей воле читать Шекспира и только

один утверждает, что прочел «Илиаду». С другой стороны для авторитетных и глубоко мною уважаемых людей Шекспир вовсе не скучен. Он является для них неисчерпаемой сокровищницей новых идей и ощущений. Они вдохновенно разглагольствуют об огромной роли, о выразителях интересов, о гигантских трагедиях и прочем и с презрительным терпением стараются растолковать все это нам, непонимающим. А что если они врут? Что если сами эти старые песочницы втихомолку с наслаждением читают растрепанные книжки Буссенара? Попробуй, проверь.

Впрочем, проверить нетрудно. Взять, например, Банъютэя. Русскому литературоведению японская литература известна плохо, а Банъютэй и вообще неизвестен. Понести рукопись Шкловскому и попросить: «Прочитайте, пожалуйста, и дайте свое авторитетное заключение. Писатель этот не бог весть что, в японском литературоведении о нем ничего не говорится, но мне кажется...» и так далее. Это был бы интересный опыт. Не станет же Шкловский наводить справки...

Я отхлебнул кофе и вернулся к переводу. Всего в этот вечер я перевел пять страниц и лег спать в половине третьего.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Я прождал всего минут пять, поэтому понял, что нужен Кларе по важному делу. Она была в белом платье и белых босоножках, свежая, словно только что из нарзанной ванны, стремительная, как мальчишка. Она подошла, улыбаясь, протянула ладонью вниз левую руку в белой ажурной перчатке и сказала:

— Доброе утро, милый.

— Здравствуй, дорогая, — сказал я.

— Очень мило, что ты пришел.

— Напротив, очень мило, что ты пожелала встретиться.

— Нет, правда, я очень рада тебя видеть.

— Я тоже в восторге.

— Ты неважно выглядишь, милый. Дела замучили?

— Да. Пропасть дел.

— Но ты же знаешь, тебе нельзя утомляться.

— Что поделаешь... Зато ты выглядишь прекрасно.

— Нет, серьезно. Тебе не следует перегружать себя работой. Особенно в такую жару.

Я всегда ненавидел этот small talk, но Кларе он был необходим. В старое доброе время она как-то призналась мне, что для нее это нечто вроде разведки боем. Она-то, наверное, не помнила, что сказала мне об этом. Я сказал:

— Да, в последнее время стоит ужасная жара. Сегодня будет более жарко, чем вчера. А завтра будет еще жарче. Итак?

Она глядела на меня, безмятежно улыбаясь.

— Ты прав, — сказала она. — Времени мало. Я вызвала тебя, чтобы сообщить, что я даю согласие на развод.

— Что ж, — сказал я, — это хорошо.

— Ты не рад?

— Да нет, мне все равно.

— Три года назад ты говорил иначе.

— Три года назад! — Я даже рассмеялся. — Три года назад было очень давно. Целых три года. Теперь я привык.

Я видел, что она разочарована, и поспешно добавил:

— Нет, ты не думай, я с удовольствием. Действительно, сколько это может тянуться?

— Да, это тянется слишком долго. Ну, так или иначе, ты можешь подавать на развод и обретешь желанную свободу.

— Наконец, — сказал я.

— Вот именно. Наконец. Почему ты улыбаешься?

— Это я от счастья. Ослепительные перспективы.

Мы помолчали.

— Ты все еще в издательстве? — спросила она.

— Да.

— Недавно я видела где-то какую-то книжку в твоем переводе.

— Да, я перевожу. Время от времени. Все еще перевожу.

Мы опять помолчали. Я поглядел на часы.

— Между прочим, он прекрасный человек, — сказала вдруг она тихо. — Ты не должен был обращаться с ним так... грубо.

— Но я тогда не знал, что он прекрасный человек, — возразил я.

— Он очень страдал.

— Я тоже. Я вывихнул пальцы и получил выговор по партийной линии.

— До свидания, — сказала она.

— До свидания, Клара, — вежливо сказал я. — Очень рад был повидать тебя. Объявление я дам в ближайшее время.

Она ушла, не подав руки и не оглядываясь. Времени было в обрез, и я

взял такси. Утро было ясное и жаркое, блестели на солнце политые улицы, люди спешили на работу и в магазины, стараясь держаться в тени домов и деревьев. У меня горело под веками, и сами собой закрывались глаза. Больше всего спать хочется утром, к полудню это проходит. Я подумал, что мог бы поспать лишний часок, и неожиданно для себя скверно выругался вслух. Шофер изумленно оглянулся.

— Ничего, ничего, — пробормотал я. — Все в порядке.

Когда мы подъехали к издательству, до начала занятий оставалось еще минут десять. Я подошел к автомату выпить стакан воды. Пока я рылся в карманах, ища трехкопеечную монету, возле меня остановился Полухин. Он по-отечески пожал мне локоть и сказал:

— Вот кстати, Андрей Сергеевич! А я вас вчера искал!

Он никогда не здоровался, но на него не обижались. Говорили, что он не здоровается даже с министром. Открывает дверь к нему в кабинет и радостно кричит: «Вот кстати, товарищ министр! Разрешите?»

— Когда? — спросил я.

— Вечером. Во второй половине дня.

— Я сидел у Келлера.

Он подождал, пока я пил воду с грушевым сиропом. Мимо нас в ворота проходили сотрудники и здоровались с ним, и он благосклонно кивал в ответ, сияя отеческой улыбкой.

— Тут такое дело, — сказал он. — Мне позвонили от соседей. Беспозвоночники. Звонил их директор и спросил, нет ли у меня на примете специалиста по японскому языку. Разумеется, Андрей Сергеевич, я сразу вспомнил о вас.

Я покачал головой.

— Спасибо, Борис Михайлович, но я не могу. Очень занят.

— Пустяки, пустяки! Я уверен, это не займет у вас много времени. Они получили из Японии какие-то материалы. Какие-то документы, понимаете? И им хочется узнать, что это такое.

— Пусть обратятся в Институт научной информации. Я не могу.

У него от огорчения обвисли щеки.

— Но я уже обещал им! — сказал он. — Мы с вами не можем вот так просто взять и отказаться. Это наши соседи, наконец!

Я промолчал.

— Я вас очень прошу, Андрей Сергеевич, — сказал он. — Я не могу вам приказать в данном случае, я вас очень, очень прошу. Я совершенно уверен, что это не потребует много времени. Мы соседи, у нас множество общих интересов. В конце концов, должны же мы помогать друг другу,

разве не так?

— Почему им не обратиться в Институт информации?

— Возможно, им следовало обратиться в Институт информации, не спорю. Но, с другой стороны, они имеют полное право рассчитывать на поддержку соседей. Почему бы и нет? Слушайте, Андрей Сергеевич, ну зайдите к ним, посмотрите... Ведь, может быть, вы только посмотрите и сразу им скажете.

Черт с тобой, подумал я устало, черт с вами со всеми.

— Хорошо, — сказал я. — К кому у них там обратиться? И когда?

Он снова воссиял.

— Прямо к директору. В любое время. Лучше всего прямо сейчас.

— Нет, прямо сейчас я не пойду. Мне нужно в редакцию.

— Как вам угодно, Андрей Сергеевич! Значит, договорились? Ну, я очень, очень рад. Совершенно уверен, что времени это у вас займет немного. В крайнем случае посидите денек-другой дома...

Тут он заметил главбуха, только что появившегося из-за угла, радостно завопил: «Вот кстати, Илья Матвеевич, а вы мне нужны!..» и помчался ему навстречу. Я прошел в ворота. Мне было тошно от всего этого — и от Клары, и от глупых Юлиных претензий, и от самоуверенности Полухина. И от предстоящей встречи с японцем. Мне хотелось только, чтобы меня оставили в покое. Во дворе возле зимнего бассейна опять толклись люди. Они устанавливали на грубых деревянных козлах большой бак, выкрашенный серой краской, и при этом сердито спорили. Газон перед бассейном выглядел так, будто на нем занималась строевой рота новобранцев. И, как вчера вечером, остро воняло какой-то кислятиной. Черт с вами со всеми, думал я, ничего я не хочу. Ни бассейнов, ни газонов.

У лифта была очередь, и я поднялся по лестнице, поэтому мне пришлось подождать в коридоре, пока исчезнет тошнота. Ко мне подошел долговязый красавец Виля Смагин.

— Вот тебе и поплавали, — горестно сказал он. — Дай бедному Виле сигаретку. Придется теперь ездить в Химки.

— Почему, бедный Виля? — спросил я.

— Он еще спрашивает! Бассейн-то теперь нам отдадут месяца через два, не раньше...

— А что случилось с бассейном?

Виля недоверчиво посмотрел на меня.

— Ты что, дурачишь несчастного Смагина?

— Нет.

— Ты что, не знаешь, что бассейн у нас отобрали?

— Кто отобрал? Почему?

Виля вздохнул.

— Да, — сказал он. — Теперь я вижу. Ты действительно ничего не знаешь. Бассейн у нас отобрали беспозвоночники. В интересах науки, вот что ужасно. Они достали где-то громадную рыбу и запустили ее в наш бассейн. И бедному, несчастному Виле теперь негде тренироваться. Сочувствуешь?

— Да, — сказал я. — Интересно, какая это рыба?

Виля закурил, укоризненно покачал красивой маленькой головой и ушел. Почему-то мне стало весело. Не знаю почему. Я не был ватерполистом, как Виля, а рыба, для которой понадобился целый бассейн, — это было интересно. Видимо, ее и привезли вчера в цистерне-прицепе, и ради нее ломали и снова закладывали стену и ставили сегодня серый бак. Я направился в редакцию.

Все были на местах, и Люся сейчас же доложила, что меня спрашивала Марецкая. Костя Синенко сообщил:

— Она сегодня на редкость эффектна, Андрей Сергеевич. Этакая расклешенная синяя юбка, волосы...

— Придержите язык, Синенко, — холодно сказал я. — Аннотации вы написали?

— Не могу я писать аннотации.

— Хорошо. Я напишу сам.

— Давайте я напишу, — поспешно предложил Тимофей Евсеевич.

— Занимайтесь своим делом, — сказал я. — Вы закончили «Розу и зеркало»?

— Нет.

— Вот и заканчивайте. Занимайтесь своим делом. Вам ясно?

— Ясно, Андрей Сергеевич, — пробормотал Тимофей Евсеевич.

— Вот и хорошо. Синенко, давайте сюда материалы по аннотациям.

Костя сердито сказал:

— Я сам.

— Тогда не морочьте мне голову. Фомина, вы выписали неодобрение Глазунову?

— Нет еще, Андрей Сергеевич, сейчас выпишу.

— Поторопитесь.

Я взял из шкафа рукопись Майского и сел у окна. Некоторое время в редакции было тихо. Потом Тимофей Евсеевич робко кашлянул и сказал:

— Простите, Андрей Сергеевич, вчера вечером звонил Верейский...

— Да?

— Он получил рецензию Басова и страшно разозлился.

— Угу.

— Он сказал: «Передайте этому вашему интеллигентному павиану, что он кретин».

— Ну что ж, — сказал я. — Передайте, пожалуй. Только он будет польщен. Его еще никто не называл интеллигентным. Беда в том, что он у нас единственный человек, который знает суахили.

— А как быть с Верейским?

— Верните ему рукопись, вот и все.

Зазвонил телефон. Люся взяла трубку.

— Вас, Андрей Сергеевич, — сказала она.

Звонил Полухин.

— Вот кстати, Андрей Сергеевич, — заблеял он. — Я только что говорил с директором соседей. Он готов вас принять в любую минуту. Хоть сейчас. Вы сейчас свободны?

— Да, — сказал я. — Я иду.

Я повесил трубку и пошел к двери. В дверях я остановился.

— Я вернусь через час, — сказал я. — Может быть, немного позже. К обеденному перерыву все аннотации по плану следующего года должны быть у меня на столе. Всем ясно?

— Ясно, — сказал Тимофей Евсеевич.

— Синенко?

— Ясно, ясно, — проворчал Костя.

— И неодобрение Глазунову, Люся.

— Я сделаю, Андрей Сергеевич.

Я вышел и притворил дверь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Институт беспозвоночных помещался в глубине двора в старинном двухэтажном особняке. Я там никогда прежде не был, но кое-кого из беспозвоночников знал. Они ходили обедать в наш буфет, а один молодой лаборант, специалист по фиксирующим смесям, как он отрекомендовался, серьезно болел нашей Люсенькой Фоминой и в конце рабочего дня посещал редакцию. Из-за жары я не пошел напрямик через двор, а направился круговой аллеей, прячась в тени дряхлых лип. У зимнего бассейна по-прежнему толпился народ, должно быть, их волновала огромная рыба. По дороге я понял, что кислым запахом несет именно

оттуда, и подумал, что рыба, возможно, не совсем свежая. Потом, помнится, я рассеянно удивился, для чего могла понадобиться рыба беспозвоночникам.

В маленьком вестибюле старичок-вахтер словоохотливо объяснил мне, как пройти к директору. Директор сидел за столом в сумрачном от штор кабинете и грустно листал бумаги. Когда я представился, он оживился, отодвинул бумаги и предложил мне присесть. Он был толст, потен и то и дело снимал и протирал платочком очки с толстыми линзами без оправы. При этом он не спускал с меня бледных глаз с красноватыми веками и часто мигал.

— Да, — сказал он, — да! Я все знаю, товарищ Головин. Уважаемый Борис Михайлович мне все рассказал. Что вы очень заняты и прочее. Вы правы, мы могли бы послать эти документы на Балтийскую улицу. При иных обстоятельствах мы бы так, несомненно, и сделали. Несомненно! Но вы знаете, как это у них делается — заказ, оформление и прочее. А нам нужно срочно, очень срочно, немедленно! У нас здесь не океанарий на Вирджиния-Ки, у нас нет соответствующих специалистов-практиков, мы должны действовать по наитию, и у нас голова идет кругом. Многоуважаемый Дмитрий Иванович, академик Щербаков, любезно обещал прислать альбомы и руководства, но на них мало надежды. Единственное, на что мы можем рассчитывать, это документы. Возможно, они содержат какой-либо ключ. Ключ, намек, что угодно. Если и в них ничего не окажется, тогда я не знаю. Он может сдохнуть, и тогда получится грандиозный скандал и прочее.

Я ничего не понимал, но молчал. В кабинете было прохладно, кресло было на удивление мягкое. Директор положил перед собой объемистый пакет из плотной глянцевой бумаги.

— Я буду исходить из того, что вы согласны помочь нам, товарищ Головин. Вы пришли, следовательно, вы согласны и все прочее. Что нужно прежде всего? Прежде всего необходимо установить, каков должен быть режим. Не думаю, что нужно переводить все подряд. Сначала нужно все просмотреть и найти, выбрать, отчеркнуть то, что может помочь в определении режима. Это дело первостепенной срочности. Не нужно забывать, что он утомлен дорогой, напуган, может быть, даже болен. Вам приходилось когда-либо путешествовать в цистерне? Даже если цистерна выстлана водорослями. Правда, до Ленинграда его везли в довольно сносных условиях. Забортная вода и прочее. Но здесь, у нас, он чувствует себя, вероятно, значительно хуже.

— Простите, — прервал я директора. Мне стало как-то не по себе. —

Кто это — он?

— То есть как это — кто? Наш спрут. Мегатойтис.

— Ваш спрут?

— Да, да. Спрут, которого нам на беду подарили и прочее.

Мы уставились друг на друга, потом директор смущенно хихикнул.

— Тысяча извинений, товарищ Головин, — сказал он. — Я совершенно упустил из виду, что вы ничего не знаете. Разумеется, воображаю, с каким изумлением вы слушали меня. Воображаю. Нам здесь ведь кажется, что весь мир осведомлен о наших невзгодах. Чтобы вам сразу все стало понятно, дело обстоит следующим образом. Наш институт получил из Японии уникальнейший экземпляр живого гигантского головоногого, и мы озабочены тем, чтобы создать ему сносные условия существования. Во всяком случае, не допустить, чтобы он погиб. Именно в этом вы можете оказать нам неоценимую помощь.

— Вы держите его в бассейне?

— У нас нет пока иного выхода. Месяца через два будет готов специальный аквариум, а пока придется держать его в бассейне. Вы не представляете, сколько хлопот доставил нам этот подарок. И сколько хлопот он нам еще доставит! Гигантское головоногое в центре Москвы!

— Да, — сказал я. — Интересно. Так вам его подарили?

— Подарили. В том-то все и дело. Совершенно неожиданно. В прошлом году наша экспедиция сняла с рифов в районе Бугенвиля океанологическую шхуну профессора Акасиды. Об этом писали в газетах, возможно, вы читали. Так вот, Акасида в благодарность прислал нам это чудовище. Не понимаю, как им удалось поймать его. Надо отдать Акасиде справедливость: это королевский подарок. Экземпляра такой величины нет ни в одном аквариуме мира. Мало того, этот вид головоногого — Акасида нарек его мегатойтисом, сверхкальмаром, — еще не известен науке. Но мы оказались в ужаснейшем положении. Перед нами встали сложнейшие проблемы и прочее.

Положение, видимо, действительно было ужасным. На лице директора появилось выражение деловитого отчаяния. Он выставил перед собой пятерню.

— Вам следует знать, — заговорил он монотонным голосом, — что все эти мягкотелые монстры необыкновенно стенобионтны. Проблема номер один — вода. Вода должна быть, — он стал загибать пальцы, — проточной и свежей, достаточно теплой, солености не ниже тридцати пяти промиллей. К счастью, нам удалось достать солерастворитель. Проблема номер два — пища. Пока что мы договорились с живодерней, нам будут отпускать до

двух пудов собачьего мяса в неделю. Возможно, торговая сеть согласится отпускать нам испорченные рыбопродукты. Впрочем, собачье мясо он пока кушает с аппетитом. Наконец, проблема номер три. То, чего о нем никто не знает. Это абиссальное животное, не правда ли? А как на него подействует длительное пребывание под атмосферным давлением? Это в высшей степени подвижное животное, лучший пловец в природе. Как на него подействует длительное состояние вынужденной неподвижности? Он принадлежит к раздельнополым животным. Как на него подействует отсутствие партнера? — Директор положил руку на стол, подумал и произнес: — Или партнерши, мы еще не знаем. И прочее. Масса всевозможных вопросов, которые мы даже не догадываемся сейчас поставить. И вот тут на сцену выступаете вы, товарищ Головин.

Я слушал во все уши. Гигантский живой спрут в Москве, во дворе издательства, под нашими окнами — в этом было что-то забытое и возбуждающее. Как будто я вернулся в детство. Что кушает за обедом крокодил? Что кушает за обедом спрут? С нынешнего дня спрут будет кушать за обедом собачек, убитых на живодерне. И мне стало очень жалко директора института. Если этот подарок подохнет, у директора действительно будут большие неприятности. Директор взял в руки пакет из глянцевой бумаги.

— Вместе со спрутом, — сказал он, — господин Акасида прислал нам вот эти документы. В сопроводительном письме — к счастью, он догадался написать по-английски, — говорится примерно следующее. Япония на протяжении всей своей истории имела дело с Тихим океаном, Южными морями и прочее. Японцы знают о спрутах больше, чем какой-либо другой народ. Богатейший опыт, если можно так выразиться. Существуют мифы о спрутах, легендарные рассказы, предания, хроники и прочее. Он, Акасида, чтобы мы могли насладиться его подарком более полно, — директор говорил с заметной горечью, — взял на себя труд и отобрал из мифов и хроник наиболее интересные материалы, касающиеся спрутов. Копии каковых он и посылает нам на рассмотрение.

У меня упало сердце.

— Разрешите взглянуть, — пробормотал я.

Директор протянул мне пакет, и я развернул глянцевую обертку. Внутри была плотная пачка четких фотокопий на немыслимо тонкой бумаге. Я вытянул одну наугад. Ах, чтоб их черти побрали, так и есть! Полускоропись, хэнтайгана. Головоломка. Необычайно добросовестный человек, этот господин Акасида. Снял копии прямо с ксилографических изданий какого-нибудь Хатимондзия. Отступать было нельзя, как я мог

добровольно устраниться от участия в таком деле? Мне оставалось только, пока железо горячо, закрепить свои позиции. Директор деловито говорил:

— Если я правильно понял господина Акасиду, здесь заключена народная мудрость, результаты вековых наблюдений за повадками головоногих, опыт многих поколений рыбаков и прочее. Для нас это единственная надежда. Повторяю, товарищ Головин, не надо переводить все подряд. Для начала проглядите бегло, отметьте существенные моменты...

— Что ж, — сказал я, — согласен. Вы понятия не имеете о том, что говорите. Но я согласен.

— Вы можете быть спокойны, — поспешно сказал директор. — Мы вам заплатим.

— Да, вы мне заплатите, — подтвердил я. — И заплатите хорошо, потому что вряд ли найдете сейчас в Москве другого чудака, который согласится бросить свои дела, чтобы бегло проглядывать токугавскую грамоту. На Балтийской улице или в другом месте. Но я уже согласился. А вы мне гарантируете свободный доступ в бассейн.

Он страшно удивился.

— Помилуйте, товарищ Головин, зачем это вам?

— Для вдохновения. Это мое единственное условие. Всю жизнь мечтал увидеть живого спрута.

Он поколебался, сморщился, как печеное яблоко, затем махнул рукой.

— Бог с вами, — сказал он. — Ему это вреда не причинит, вам, надо полагать, тоже... Теперь давайте договоримся о сроках. Когда мы можем рассчитывать?

— Через неделю я расскажу вам, о чем приблизительно идет речь на каждой страничке, — ответил я, заворачивая фотокопии. — И это при условии, если Борис Михайлович позволит мне несколько дней поработать дома.

— Неужели это так сложно? — произнес директор уныло.

— Да.

— Хорошо. Я постараюсь договориться с Борисом Михайловичем. Еще что-нибудь?

— Послушайте, не делайте вид, будто вы меня облагодетельствовали. Честное слово, я не спекулянт. Просто я устал и очень занят. Понимаете? Покажите мне спрута, и я поеду работать.

Он встал.

— Благодарю вас, товарищ Головин, — важно сказал он. — Вы были очень любезны и прочее. Я сейчас собираюсь посмотреть, как у нас дела в

бассейне, и если вам угодно, вы можете пойти со мной.

Он отворил и придержал дверь, пропуская меня.

У входа в бассейн стоял огромный небритый детина в грязной рубахе и стоптанных сандалиях на босу ногу.

— Это наш сторож, — пояснил директор. — Товарищ Василевский, запомните вот этого товарища. Ему тоже разрешается входить внутрь.

— Заметано, — хрипло ответил детина и ухмыльнулся, разглядывая меня наглыми мутными глазами. От него воняло водкой и колбасой, а когда он раскрыл грязную пасть, эта вонь на секунду забила даже кислятину, которой остро тянуло из дверей павильона.

В бывшей раздевалке несколько рабочих в комбинезонах и беспозвоночников в перепачканных белых халатах возились с трубами и кранами. Пол был усыпан обломками кафеля и бетонной крошкой. В углу грузно стоял дерюжный мешок, заскорузлый мерзкими темными пятнами. Из мешка торчала окостеневшая собачья лапа.

— С фильтрами закончили? — не останавливаясь, спросил директор.

— Колонки подвезут, и все будет готово, — ответили нам вслед.

В низком длинном помещении бассейна ярко светили лампы и гулко плескалась вода. Бассейн был отгорожен от входа высоким, по грудь, парапетом из шершавых цементных плит. У парапета спиной к нам стояли трое беспозвоночников в белых халатах и смотрели вниз. Один держал наготове кинокамеру. Вот здесь был запах так запах. У нас сразу перехватило дыхание, мы остановились и дружно закашлялись. Директор стал протирать очки. Это был холодный резкий и в то же время гнилостный запах, как из преисподней, на дне которой кишат сонмища гнусной липкой нежити. Он вызывал в памяти жуткие наивные фантазии Босха и младшего Брейгеля. От него прямо мороз продирал по коже. Я поглядел на директора и увидел, что ему тоже не по себе. Он часто моргал слезящимися глазами и прикрывал нос платочком.

— Ужасно пахнет, — сказал он виновато. — Мне, знаете ли, приходилось бывать на крабоконсервной фабрике, но там гораздо легче, смею вас уверить.

Один из белых халатов вдруг зажужжал кинокамерой, и в то же мгновение из-за парапета косо взлетела толстенная струя воды, ударила в потолок и рассыпалась потоками пены и брызг. Белые халаты отшатнулись.

— Ну и дает! — сказал один с нервным смешком.

— Инстинкт движения, — объяснил другой.

Все утирались. Я подкрался к парапету. Сначала я ничего не видел. Вода волновалась, на ней прыгали блики света и крутились маслянистые

пятна. Постепенно я начал различать округлый бледно-серый мешок, темный выпуклый глаз и что-то вроде пучка толстых серых шлангов, вяло колыхавшихся на воде, словно водоросли у берега. Спрут лежал поперек бассейна, упираясь в стенку мягким телом. В первую минуту он не поразил меня размерами. Внимание мое привлекли щупальца. На треть длины их скрывала какая-то дряблая перепонка, а дальше они были толщиной в ногу упитанного человека и к концам утончались и становились похожими на узловатые плети. Эти плети непрерывно двигались, осторожно касаясь противоположной стены, и тут я сообразил, что ширина бассейна составляет почти шестнадцать метров! Но в общем-то таинственное чудовище океанских глубин, гроза кашалотов и корсар открытых морей походил больше всего на кучи простыней небеленого холста, брошенные отмокать перед стиркой.

Я глазел на спрута, директор вполголоса переговаривался с подчиненными, и я все никак не мог отождествить эту огромную вялую бледно-серую тряпку в бассейне с проворными чудовищами, лихо карабкающимися на борт «Наутилуса», как вдруг распахнулась дверь и ввалился воняющий потом и водкой Василевский, волоча по полу оскаленный труп собаки.

— Посторонись, граждане, — лениво просипел он, — время кормить.

Он нечаянно пихнул меня плечом, и я едва удержался, чтобы не ударить его. Я отошел от парапета.

— Мне пора, — сказал я директору. — Пожалуйста, не забудьте позвонить Полухину.

— Непременно, — отозвался директор. — Непременно. Но почему вы не хотите посмотреть, товарищ Головин? Это мало кто видел.

— Благодарю вас, — сказал я. — Нет, благодарю вас. Я должен идти.

Я услышал, как внизу шлепнулось в воду тяжелое тело. Наступила тишина, затем кто-то, кажется Василевский, испуганно и радостно вскричал: «Ага! Ага! Почуял!» Я почти бегом выбрался наружу. Мне было нехорошо. Я чуть не заплакал от солнца и чистого воздуха. У нас хороший двор, настоящий сквер с газонами, старыми деревьями и песчаными дорожками. Я шел по песчаной дорожке медленно, стараясь успокоиться и подавить тошноту.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Я не поднялся сразу в редакцию, а некоторое время постоял в холодке

возле лифта. Не знаю, что со мной было. Я не сентиментален и не люблю лучших друзей человека. Терпеть не могу ни собак, ни кошек. Но я все видел плачевную оскаленную морду дворняги, слышал плеск от падения тела и крик: «Ага! Почуял!» Я отлично сознавал огромную ценность спрута, знал, что беспозвоночники в любой момент готовы отдать ему всех собак Москвы, дохлых и живых, и что они правы. Но мне чудилось какое-то предательство в этом плеске и испуганно-радостном крике. Собаки принадлежали нашему миру. Они все время были с нами, на солнце и на воздухе. А чудище в бассейне было невероятно чужим. Ни мы, ни наши собаки не имели с ним ничего общего. Оно было чужое, насквозь чужое. Даже в его запахе не было ничего знакомого, пусть хотя бы и враждебного. Это было нелепо, что оно могло чего-то требовать от нас через разделявшую нас пропасть. А еще более нелепо было давать ему хотя бы самую незначительную частичку от нашего мира. И вдобавок низко радоваться, что оно приняло дань.

Потом я отдышался и вернулся в редакцию. Там все было привычно и светло. Тимофей Евсеевич торопливо царапал замечания на полях рукописи, наклонив над нею лысый череп и задрав правое плечо. Его желтоватая лысина тускло блестела под солнцем. Костя брезгливо перебирал запачканными в чернилах пальцами исписанные и исчерканные листки аннотаций. Волосы его были взъерошены, пестрая ковбойка расстегнута до пупа. Аккуратненькая Люся сидела очень прямо и стучала на машинке. Когда я вошел, она подняла мне навстречу хорошенькую мордочку и сообщила:

— Неодобрение я напечатала, Андрей Сергеевич, оно у вас на столе.

Я кивнул и прошел к своему столу. Костя с отвращением сказал:

— Аннотации я написал, но это все равно, по-моему, белиберда.

— Перепечатай и покажешь Тимофею Евсеевичу, — сказал я. — Сейчас я ухожу и вернусь, наверное, только в понедельник. Тимофей Евсеевич, остаетесь за меня.

— Слушаюсь, — тихонько отозвался Тимофей Евсеевич.

Они все внимательно глядели на меня. Но мне не хотелось рассказывать им о спруте. Я подписал неодобрение, убрал рукопись Майского в стол и поднялся.

— До свидания, — сказал я. — Если будет что-нибудь срочное — звоните. Но вообще постарайтесь не звонить.

— Знаем, — важно сказал Костя.

Люся, простая душа, осторожно оглянулась на него, покраснела и робко проговорила:

— Простите, Андрей Сергеевич, Марецкая опять заходила.

О господи! Что еще стряслось? Кто еще с кем пьянствует, кто с кем целуется? И что я еще такого натворил?

— До свидания, — повторил я и вышел.

В коридоре я с места перешел на бег. Я ринулся вниз по лестнице, прогрохотав каблуками по всем четырем этажам, как спринтер промчался через двор и перешел на солидный шаг только за воротами. У автомата я задержался и выпил два стакана воды без сиропа. Через минуту подошел троллейбус, и я до самой своей остановки сидел на горячем от солнца сидении, закрыв глаза и безудержно улыбаясь. Я вел себя как пьяный, но ничего не мог поделать. Меня одолевало чувство свободы. Очередное сражение с Банъютэем откладывалось, и ответственность за это нес не я. Дома я швырнул пакет с фотокопиями на стол, повалился на диван и крепко заснул.

Меня разбудил стук в дверь. Стук был неуверенный и тихий, но я, вероятно, уже основательно выспался к тому времени и сейчас же открыл глаза. Спросонок я подумал, что это сосед принес почту, встал и распахнул дверь. За дверью стояла Юля.

— Здравствуй, Андрюша, — сказала она, смущенно улыбаясь. — Я не помешала?

— Ох, — сказал я. — Что ты, Юленька, как ты можешь мне помешать? Входи, сделай милость.

Она вошла, поглядела на диван и спросила:

— Ты спал?

— Да, — признался я. — Слегка вздремнул. Неужели уже вечер?

Она посмотрела на часы.

— Половина шестого.

— Ох, — сказал я. — Хорошо, что ты меня разбудила. Ты только подожди немного, я умоюсь и поставлю чайник.

— Если чай для меня, — сказала она, — то не беспокойся. Я сейчас ухожу.

Я поставил чайник, с наслаждением попрыгал под ледяным душем, кое-как причесался и вернулся в комнату. Юля сидела в кресле и глядела на японскую саблю.

— Что это? — спросила она.

— А, — сказал я, — это у меня давно. Ты разве еще не видела?

Я вынул саблю из ножен и взялся за рукоятку обеими руками. Затем я сделал зверское лицо и, вращая клинок перед собой, двинулся на Юлю, приседая на полусогнутых ногах. Наверное, точь-в-точь как тот несчастный

негодяй на набережной в Хончхоне. Юля испуганно отодвинулась.

— Перестань дурачиться, пожалуйста, — сказала она. — Ну что за манера? Откуда это у тебя?

— Так, подарил один японец, — сказал я и сунул саблю обратно в ножны. — Такой милый человек. Очень любезно с его стороны, правда? Великолепная сталь. Неужели ты в первый раз видишь? Хотя да, ты тогда сидела, кажется, на диване, к ней спиной. Хочешь на диван?

Она закрыла глаза и помотала головой.

— Ну как хочешь. Что бы тебе еще показать? — Я огляделся. — Что у меня еще есть хорошенького?

— Сядь пожалуйста, Андрюша, — сказала она довольно резко. — Мне надо серьезно поговорить с тобой.

Я сел на диван. Она была какая-то бледная, с синяками под глазами. Летом в жару очень тяжело работать. Особенно женщинам.

— Между прочим, — сказал я. — Ты знаешь, я сегодня видел живого спрута. Живого, понимаешь? Такая огромная серая скотина. Он живет у нас в бассейне. Честное слово, я не шучу.

— Да? — сказала она безо всякого интереса. — Очень интересно. Послушай, Андрюша, у меня есть к тебе очень серьезный разговор.

— Опять о Майском?

— Нет. Не о Майском. Не о Майском, а о нас с тобой. Ты знаешь, что о нас с тобой говорят в издательстве?

— Какие-нибудь гадости, — предположил я.

Она вся так и вспыхнула, даже уши загорелись, а глаза наполнились слезами.

— Вчера вечером этот подлец Ярошевич при всех, при Полухине, при Степановой намекнул, будто я... будто мы с тобой... В общем, будто ты и я — любовники.

Последние слова она произнесла хриплым трагическим шепотом, достала из сумочки носовой платочек и высморкалась.

— Старый дурак, — сказал я. — Какое ему дело, спрашивается?

— Это он мстит, — продолжала Юля хриплым голосом. — Он сам всю зиму приставал ко мне, волочился, меня прямо тошнило от него. В новогодний вечер полез ко мне целоваться своими слюнявыми губами, я ему там же при всех пощечину залепила. Вот теперь он и мстит, распускает про меня мерзкую клевету.

— И про меня, — сказал я. — А почему ты не залепила ему еще одну пощечину?

— Ну что ты, Андрюша, он все-таки пожилой человек... и в партбюро,

в присутствии директора... И потом я растерялась, я даже не сразу поняла, что он имеет в виду. Знаешь, как он это подло умеет делать, будто просто такая стариковская шуточка, но все сразу поняли, ведь нас с тобой часто видят вместе.

— Да, — вздохнул я. — Очень часто. Но ты успокойся, Юленька. Не огорчайся. Ну кто же принимает Ярошевича всерьез? Старый дурак, только и всего.

— Нет, нет, это ужасно, — сказала Юля твердо. — Ты себе представить не можешь, как это ужасно. Мы сейчас ведем такую борьбу за моральную чистоту, стараемся не оставить без внимания ни одного случая нарушения норм коммунистической морали — и вот пожалуйста, коммунистка, член бюро подозревается в такой распущенности. С какими глазами я теперь буду выступать перед нашими девушками? У меня такое чувство, будто меня вымазали грязью и выставили на всеобщее обозрение.

Она опять страшно покраснела и стала сморкаться.

— Ну, ну, Юленька, — сказал я. — Не надо так расстраиваться. Пережили страшную войну, пережили кое-как культ личности, переживем и Ярошевича. Мне, между прочим, не совсем понятно. Сколько тебе лет?

— Двадцать восемь, — сказала она. — При чем здесь мой возраст?

— Я вот что не понимаю. С каких пор считается, что здоровая молодая женщина не имеет права на... э-э... интимную жизнь? Даже если она коммунист и член партбюро.

— Никто не говорит о праве на интимную жизнь. Речь идет о распущенности, неужели не понятно?

— Как! — вскричал я. — Ярошевич посмел намекнуть, будто ты спишь не только со мной, но и с другими мужчинами?

Она с ужасом поглядела на меня и встала.

— Ты не смеешь говорить со мной в таком тоне, — сказала она. Голос ее дрожал. — Это неприличный, гаерский тон. Я пришла к тебе как к ближайшему другу поделиться своей обидой. Но я вижу, что это тебя совершенно не трогает. По-видимому, мы смотрим на эти вещи по-разному. Я не из тех женщин, которые спят с мужчинами. И хотя мои взгляды могут кое-кому показаться смешными, я все же твердо убеждена, что интимная жизнь, как ты это называешь, вне брака постыдна и аморальна. Это просто распущенность, вот и все. Ты так не считаешь, что же, тем хуже для тебя.

Все-таки она была очень мила, даже сейчас, когда несла эту беспардонную чушь, усталая, истомленная жарой, с распухшим от слез носиком. Но она и ангела могла довести до шизофрении своими добродетелями. Я уже раз двадцать терпел ее ламентации по поводу общего

падения нравов в наше время и ее кровожадные проекты укрепления семьи. Вероятно, мне еще раньше следовало дать ей понять, что у меня совсем другие взгляды.

— Довольно молоть чепуху! — рявкнул я. — Да, я так не считаю. И слава богу, сплетни старых идиотов меня нисколько не задевают. И я не возьму в толк, почему они могут задевать тебя. Ты взрослая женщина, не замужем, и ты имеешь полное право жить с кем тебе заблагорассудится. И очень жаль, что мы не любовники, а то я бы постарался доказать тебе, что счастье не в печати от загса.

Она качнулась вперед, и мне показалось, что она хочет залепить мне пощечину, ту самую, которая по справедливости предназначалась старой песочнице Ярошевичу. Но она только высморкалась в последний раз и, не говоря ни слова, пошла из комнаты, пряча платок в сумочку. Что ж, это была у нас не первая ссора по принципиальному вопросу. И не последняя, надо думать. У нас редко случается, чтобы из-за принципиальных разногласий враждовали всерьез. Обыкновенно это горячие споры для души после плотного обеда или бесконечные самодовольные дуэты поверх рюмок с коньяком. А так как при этом не столько стараются уяснить точку зрения оппонента, сколько ищут способа его покрепче уязвить, то суть спора в конце концов исчезает в пучине празднословия, подобно песчинке в колодце. Но меня пугает не беспринципность. По-моему, в общежитии достаточно трех принципов: не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Гораздо страшнее тупая, мелочная, железобетонная принципиальность. Та самая, которая сводится к охотничьему инстинкту. Когда ловят на легкомысленном поступке, на неосторожном слове, на неправильно истолкованной мысли. Это от нее все гадости. Принципиальный человек быстро утрачивает драгоценное ощущение необходимости постоянной самопроверки. Принципиальность становится последней ступенью к уверенности в собственной непогрешимости. А что может быть ужаснее в человеке, да еще в неумном человеке, нежели абсолютная и непоколебимая уверенность в собственной правоте при любых обстоятельствах и в любую минуту!

Услышав, как захлопнулась входная дверь, я отправился на кухню и снял с плитки кипящий чайник. Идти в кафе мне не хотелось, и я решил ограничиться чаем, благо у меня еще остался карбонат и немного сыра, завернутого в мокрую тряпочку. Правда, сыр, несмотря на меры предосторожности, слегка подсох, да и вчерашний хлеб тоже.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Фотокопии, присланные профессором Акасидой, были пронумерованы от первой до девяносто четвертой, на обороте каждой было аккуратно выведено название первоисточника, а строки в тексте, относящиеся к объекту интереса, были четко выделены не то чернилами, не то черной тушью. На одной странице красовалась целая картина, выполненная очень тонко и, вероятно, в красках: по пенистым волнам плывет спрут, ужасное животное с голой раздутой головой, человеческими глазами и длинными бородавчатыми щупальцами. К сожалению, больше иллюстраций не было. Некоторые первоисточники были мне знакомы, но вот уж не думал я, что мне придется когда-либо прочесть из них хотя бы строчку. «Книга вод», «Предания юга», «Записи об обитателях моря», «Книга гор и морей», «Сведения о небесном, земном и человеческом». Было две страницы из «Упоминаний о тиграх вод», а я-то считал, что «Суйко-коряку» — выдумка Акутагавы. Однако большая часть названий встречалась мне впервые. Видимо, это были архивные материалы или документы из частных коллекций: провинциальные хроники, собрания трактатов с совершенно бессмысленными заголовками, какое-то «Свидетельство господина Цугами Ясумицу». Сомнительно, чтобы Акасида лично взялся за такую подборку, даже если чувство благодарности не давало ему покоя ни днем ни ночью. Конечно, этим занимались несколько человек и очень долгое время. И пусть они бегло читают корявую полускоропись, пусть воспринимают средневековую грамматику, как свою нынешнюю, все равно я снимаю перед ними шляпу. Это титаническая работа.

Поразмыслив, я решил читать все подряд и тут же выписывать все, что может представлять интерес для беспозвоночников — и для меня самого. Через сорок часов, в воскресенье около тринадцати, я закончил тридцать вторую фотокопию, вылез из-за стола и забрался на родимый диван. Записал же я вот что:

1. «Ика имеет восемь ног и короткое туловище, ноги собраны около рта, и на брюхе сжат клюв. Внутри имеет дощечку, содержащую тушь. Когда встречает большую рыбу, извергает волнами тушь, чтобы скрыть свое тело. Когда встречает мелких рыб и креветок, выплевывает тушевую слюну, чтобы приманить их. В «Бэнь-цао ган-му» сказано, что ика содержит тушь и знает приличия». («Книга вод».)

2. «По мнению Бидзана, ика есть не что иное как метаморфоза вороны, ибо есть и в наше время у ика на брюхе вороний клюв, и потому слово

"ика" пишется знаками "ворона" и "каракатица"». («Сведения о небесном, земном и человеческом».)

3. «К северу от горы Дотоко есть большое озеро, и глубина его очень велика. Люди говорят, что оно сообщается с морем. В годы Энсё в его водах часто ловили ика и ели в вареном виде. Ика всплывает и лежит на воде. Увидев это, вороны принимают его за мертвого и спускаются на него поклевать. Тогда ика сворачивается в клубок и хватает их. Поэтому слово «ика» пишется знаками «ворона» и «каракатица». Что касается туши, которая содержится в теле ика, то ею можно писать, но со временем написанное пропадает, и бумага снова делается чистой. Этим пользуются, когда пишут ложные клятвы». («Книга гор и морей».)

4. «Согласно старинным преданиям, ика являются челядью при особе князя Внутреннего моря. При встрече с большой рыбой они выпускают черную тушь на несколько футов вокруг, чтобы спрятать в ней свое тело». («Книга гор и морей».)

5. «У поэта древности Цзо Сы в «Оде столице У» сказано: «Ика держит меч». Это потому, что в теле ика есть лекарственный меч, а сам ика относится к роду крабов». («Книга вод».)

6. «В море водится ика, и спина его похожа на игральную кость «шупу», телом он короткий, имеет восемь ног. Облик его напоминает голого человека с большой круглой головой». («Записи об обитателях моря».)

7. «В бухте Сугороку видели большого тако. Голова его круглая, глаза как луна, длина его достигает тридцати футов. Цветом он был как жемчуг, но, когда питался, становился фиолетовым. Совокупившись с самкой, съедал ее. Он привлекал запахом множество птиц и брал их с воды. Поэтому бухту назвали Такогаура — Бухтой Тако». («Упоминания о тиграх вод».)

8. «В старину некий монах заночевал в деревне у моря. Ночью послышался сильный шум, все жители зажгли огни и пошли к берегу, а женщины стали бить палками в котлы для варки риса. Утром монах спросил, что случилось. Оказывается, в море около тех мест живет большой ика. У него голова как у Будды, и все называют его «бодзу» — «монахом». Иногда он выходит на берег и разрушает лодки». («Предания юга».)

9. «Береговой человек говорит «ика», «тако», но не знает разницы между ними. Оба знают волшебство, имеют руки вокруг рта и вместилище для туши внутри тела. А человек моря различает их легко, ибо у ика брюхо длинное и снабжено крыльями, восемь рук поджаты и две протянуты, в то

время как у тако брюхо круглое, мягкое, и восемь рук протянуты во все стороны. У ика иногда вырастают на руках железные крючья, поэтому имодо (ныряльщицы) боятся его». («Упоминания о тиграх вод».)

10. «В деревне Хоккэдзука на острове Кусумори жил рыбак по имени Гэнгобэй. Однажды он вышел на лодке и не вернулся. Жена его, положенный год прождав напрасно, вышла за другого человека. Гэнгобэй через десять лет объявился в Муроцу и рассказал, будто лодку его опрокинул ика, огромный, как рыба Кунь, сам он упал в воду и был подобран пиратом Надаэмоном». («Предания юга».)

11. «Тако злы нравом и не знают великодушия к побежденному. Если их много, они дерзко друг на друга нападают и разрывают на части. В старину на Цукуси было место, где они собирались для совершения своих междоусобиц. Ныряльщики находят там множество больших и малых клювов и продают любопытным. Поэтому говорится: "тако-но томокуи" — "взаимопожирание тако"». («Записи об обитателях моря».)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Отдохнуть мне не удалось. Едва я завел глаза, как меня позвали к телефону. Казенно-благожелательный женский голос осведомился, не забыл ли я, что сегодня вечером меня ждет Хида. Я ответил, что не забыл, и пошел стирать носки и носовой платок. Затем, когда я гладил выходные брюки, позвонил Костя Синенко. Он был пьян, как змий, даже из трубки пахло.

— Я все-таки звоню, — сообщил он. — Ничего не поделаешь. Мой нравственный долг. Принцип «и».

— Ты где нализался? — спросил я.

— Будь гуманен. Соблюдай принцип «жень». Я блюду принцип «и», а ты соблюдай «жень». Конфуций сказал: «Последовательно соблюдая мои принципы, вы улучшаете человеческую природу». Ты найдешь этот лозунг в любой столовой и закусочной.

— Хорошо, хорошо. Что случилось?

— Ты славный парень. Но ты лишен информации. А что сказал Винер? Винер сказал: «Чем более вероятно сообщение, тем меньше оно содержит информации». Такие плакаты ты увидишь в любом зале ожидания.

— Короче, — сказал я.

— Совершенно невероятное сообщение. Совершенно без энтропии. Я хотел позвонить тебе прямо вчера. Это мой долг, поскольку ты лишен

информации. Но ты не разрешаешь. Не разрешаешь — не надо. Я и не звоню.

— Правильно делаешь, — нетерпеливо сказал я. — Сообщай скорей, мне некогда.

— Я не буду тебя томить. Преданный подчиненный не должен томить гуманного начальника. Все тот же принцип «и». Что же было вчера? Ты меня постоянно перебиваешь, и я могу сбиться. Да! Вчера утром беспозвоночники пригласили Полухина, Степанову и прочих поглядеть на осьминога.

— На осьминога?

— Да. Превосходный осьминог, я потом тоже ходил смотреть. Но абсолютно беспринципный. Невзлюбил Степанову с первого взгляда и окатил какой-то черной жидкостью. Подумай только. Как сказал товарищ Апулей, «зловоннейшей мочой меня совсем залили». И у Степановой облез нос.

— Не может быть.

— Облез, можешь не сомневаться. Это нам так понравилось, что мы тоже пошли поглядеть. Всем издательством.

— На что пошли поглядеть? На нос Степановой?

— И на нос тоже. Но главным образом на осьминога. Да, совершенно забыл. Теперь у нас есть осьминог. Его привезли японцы, и он живет в бассейне, во дворе. Слушай, тут мои недоброжелатели не дают мне говорить. Отбирают трубку. Собралось множество хорошеньких девушек, и все как одна жаждут с тобой познакомиться. Особенно жаждет Зиночка. Я сказал, что ты холостой. Моя неосторожность. Теперь она жаждет...

Я повесил трубку. Ика содержит тушь и знает приличия. Интересно, подумал я, что в средневековой Японии понимали под приличиями? Если бы спрут профессора Акасиды знал приличия, он бы окатил не безобидную старую деву Анну Семеновну, а старого пройдоху Ярошевича. И Юля была бы отомщена. Впрочем, возможно, что он промахнулся. Или нравы головоногих здорово изменились. Я представил себе, как Анну Семеновну, плачущую, забрызганную серо-черными кляксами, выводят под руки из павильона. Эту тушь ведь не сразу отмоешь, не сразу отстираешь. Однажды в Байкове каракатица вот так же загадила китель одному моему знакомому, капитану траулера. Это был белый полотняный китель, и его пришлось выбросить, потому что ни мыло, ни щелок пятен не брали. Но жизнерадостному лоботрясу Косте все это представляется очень забавным. В общем-то он добрый мальчик, но его реакции на такого рода вещи, наверное, сродни реакциям живодера-сторожа. Уж не знаю, почему я

вспомнил о Василевском. Мне даже почудился смрад перегара и колбасы.

Я вышел в начале шестого, пообедал в кафе напротив и отправился на улицу Горького. В магазине подарков я после долгих колебаний купил за восемь рублей фигурку медведя тобольской резьбы, а затем, выстояв порядочную очередь в магазине русских вин, получил тяжелую коробку с подарочной водкой. Это очень хорошая водка, приятная и чистая на вкус, зеленовато-золотистого цвета. Она продается в массивных прямоугольных флаконах со стеклянной пробкой, ее особенно приятно разливать в широкие бокалы или в чайные стаканы тонкого стекла. Чтобы размяться, я решил идти пешком, и пока я шел, водка то и дело звонко булькала у меня под мышкой.

В вестибюле «Пекина» меня встретил полузнакомый юноша из Института востоковедения. Радостно улыбаясь, он пожал мне руку обеими руками и сказал:

— Вот хорошо, Андрей Сергеевич, а Хида уже ждет вас. Пойдемте?

— Пойдемте, — сказал я.

— У него номер на третьем этаже. Я уж боялся, что вы не сможете прийти. Что бы я тогда с ним делал?

— Сводили бы в кино.

— Только кино нам с ним и не хватало! Вы не поверите — я совсем замучился. — Вид у него действительно был несколько ошалелый. — Восьмой день как на карусели. ВДНХ, Кремль, Третьяковка, Большой театр. Жара, пить все время хочется. Такси не достать. Юго-запад, Юго-восток. Канал! Господи, я москвич, но в жизни прежде не был на канале.

— А что ему нужно от меня?

— Право, не знаю. Может быть, просто решил отдохнуть вечерок. Он ведь, бедняга, тоже округовел. И потом вы перевели его книгу, издательский работник. Будет, наверное, просить, чтобы перевели его новую книгу.

— Он говорит по-русски?

— Совсем не говорит.

— Скверно. Я не говорил по-японски лет десять.

— Дзэн-дзэн дэкимасэн-ка?

— Скоси дэкиру-то омоимас-га...

— Наруходо дзаннэн дэс. Мне сегодня позарез нужно съездить в одно место.

— Конечно, поезжайте. Как-нибудь договоримся.

Он очень обрадовался.

— Спасибо, Андрей Сергеевич. Вы меня здорово выручили.

— Вот кстати, — сказал я с настоящими полухинскими интонациями, — когда ему можно отдать подарки? Сразу?

— Да когда захотите. Мужик он простой, без церемоний.

Хида занимал небольшой однокомнатный номер с небольшим столиком, небольшим шкафом и чудовищной двуспальной кроватью. Он встал, нагнул голову и молча двинулся к нам, протягивая руку. Юноша важно провозгласил:

— Господин Хида. Головин-сан.

— Зудораствуйте, — сказал Хида.

— Извините, Хида-сан, — поспешно сказал юноша по-японски, — но поскольку Головин-сан знает японский язык, я вам, вероятно, не буду нужен.

Хида вопросительно взглянул на меня.

— Дайдзёбу дэс, — сказал я.

— Дэ-ва саёнара, Зорин-сан, — сказал Хида.

— Саёнара, Хида-сан! — сказал юноша. — Асьта мадэ. — Он прямо-таки сиял от радости. Даже неловко было. — До свидания, Андрей Сергеевич! — Он сделал ручкой и исчез.

— Окакэнасай, — чопорно сказал Хида и показал на стул. — Позаруйста.

Я поставил коробку с водкой на столик и сел. Хида сел напротив, расставив ноги и уперев ладони в колени. Мы уставились друг на друга. У Хиды были твердые спокойные глаза в щелках припухших век.

— Я говорю по-японски плохо, — сказал я, — и прошу меня извинить. Прошу также господина Хиду говорить медленно.

Хида поклонился, взял со столика веер и стал обмахиваться.

— В прошлом году, — начал он, — я имел удовольствие получить от господина Головина свою книгу на русском языке с его доброжелательной и великодушной надписью. Мой друг Касима Сёхэй, специалист по русской литературе, ознакомился с переводом и к моей радости нашел, что перевод очень точен в смысловом и эмоциональном отношении. Благодарю.

— Рад это слышать, — сказал я, потому что он сделал паузу.

— Мою книгу издали также в Англии и во Франции, — продолжал Хида. — Английский перевод очень слаб, в нем опущены целые главы и сильно искажена моя мысль. Что касается французского перевода, то он сделан с английского варианта и, следовательно, тоже никуда не годится. Тем больше удовольствия доставил мне отзыв моего друга Касимы Сёхэя о переводе господина Головина. Благодарю.

Я повторил, что рад слышать. Я чувствовал, что разговор на таком

официальном уровне я долго не выдержу. И вообще мне не давала покоя проблема подарков. Я решился.

— В свою очередь, — сказал я, старательно подбирая слова, — я тоже позволю себе искренне поблагодарить господина Хиду. Роман господина Хиды был тепло встречен советским читателем, девяносто тысяч экземпляров без остатка разошлись в несколько недель, и «Литературная газета» поместила на своих страницах самый лестный отзыв. Позвольте, господин Хида, в качестве скромного знака признательности за удовольствие, доставленное мне вашим романом «Один в пустоте», а также по случаю посещения вами Москвы вручить вам эти подарки.

Я переборщил. Для Хиды это звучало, наверное, так же, как звучала для мистера Кленнэма болтовня слабоумной простушки Флоры Финчинг. Во всяком случае, после первой моей фразы на его неподвижном лице изобразилось напряженное недоумение, которое исчезло только при слове «подарки». Он встал, я тоже встал. Приняв от меня водку и тобольского медведя, он протянул мне пластмассовый футляр с превосходной паркеровской авторучкой и маленькую деревянную куклу, похожую на кеглю.

— Господину Головину в память о нашей встрече в Москве, — сказал он и поклонился. — Благодарю.

Я тоже поклонился. Лед был сломан.

— Разрешите предложить вам коньяку, господин Головин, — сказал он. — Или пива?

— Благодарю вас, немного коньяку.

Он проворно поставил на столик две рюмки и открыл бутылку армянского коньяка. Он был коренастый, массивный и, когда сидел, казался неуклюжим. Но движения его были ловкие и точные. Он наполнил рюмки и сел.

— Господину Головину нравится японская литература? — спросил он.

— Я не специалист, — сказал я. — Я люблю хорошие книги. В японской литературе есть отличные книги. Мне нравится «Великое оледенение» Абэ Кобо. Потом «Море и яд» Эндо Сюсаку. Меня интересует Эдогава Рампо. Хотя вам он, наверное, не нравится, Хида-сан?

— У него есть примечательные вещи, — сказал Хида и отпил из рюмки.

— Потом мне нравится Гомикава. Нравится ваша «Луна над Малайей».

Хида отпил из рюмки.

— Очень хороший коньяк, — проговорил он сдавленным голосом и промокнул глаза платком. — К сожалению, мне много нельзя. Но бутылку

вот такого коньяку и ваш подарок я обязательно отвезу домой и буду угощать только самых близких друзей. — Он поставил рюмку. — Господин Головин, конечно, понимает, что «Луна над Малайей» является автобиографическим романом. Как и «Один в пустоте».

— Понимаю. 15-я армия?

Он помедлил, разглядывая меня из-под тяжелых век.

— Да. Я был солдатом во 2-й дивизии. Рядовым второго разряда. В романе я вывел себя под именем ефрейтора Сомэ.

— Я так и понял.

— Не знаю, зачем я это сделал. Рядовым второго разряда приходилось гораздо хуже, чем ефрейторам. Но остальное все было так, как описано. Дивизию высадили под Новый Год в Куантане. Второго февраля на переправе у Джохор-Бару я был ранен, и меня отправили в метрополию. Была даже красивая девушка Митико в гарнизонном госпитале Окаяма, не помню только, как ее звали по-настоящему. И больше в боях я не участвовал.

— Господину Хиде повезло.

— Да. Мне повезло. А господин Головин участвовал в боях?

— Участвовал, — сказал я. — Когда сдалась Германия, я лежал в гарнизонном госпитале в Кишиневе. Когда сдалась Япония, я лежал в госпитале в Хончхоне. В Хончхоне было лучше — меньше народу.

— Когда сдалась Япония, — грустно сказал Хида, — я сидел в военной тюрьме в Исикири. Меня освободили уже при американцах.

Мы помолчали. Мне почему-то было неприятно это молчание, и я бодро сказал:

— Господин Хида и я — мы оба воевали за мир, каждый по-своему.

Хида снова наполнил мою рюмку.

— Мир, — проговорил он. — Господин Головин изранен, мне в тюрьме отбили почки. Но что изменилось?

Наступил самый подходящий момент, чтобы затянуть дешевый диалог на тему «да, вы правы, жертвы народов были напрасны» или, как, наверное, ожидалось от меня, «нет, вы не правы, народы не дадут втянуть себя в новую бойню». Я сказал:

— Изменилось многое. Появилось множество факторов, которые не поддаются пока точному учету. Каждый из них может иметь определяющее влияние на ход событий. — Я подождал, проверяя, сумел ли Хида уловить смысл в моем ублюдочном японском. Хида кивнул. — Никто не имеет полной информации о положении в мире на каждый момент. — Я опять подождал, и Хида опять кивнул. — Политики знают больше нас, средних

людей, но и они знают далеко не все. Сейчас люди могут только увеличивать или уменьшать вероятность возникновения войны. Никто не смеет утверждать: да, война обязательно будет. Или: нет, война невозможна. Можно только утверждать: да, возможность войны не исключена.

— Господин Головин — коммунист? — спросил вдруг Хида.

— Да, я коммунист и член коммунистической партии.

— Но господин Головин, — сказал Хида с хитренькой улыбкой, — говорит о войне, как о явлении метафизическом. Он считает, что можно только верить, но не утверждать. А во что верить — это вопрос вкуса. Я правильно понял?

— Почти правильно. Это вопрос вкуса и совести. Не вижу в моей позиции никаких противоречий. Объективно, во всяком случае. Если верить, что война неизбежна, незачем работать. Но я, будучи убежденным коммунистом, не мыслю жизни без работы. Мне приятно верить, и я верю, что война не случится, что через какое-то время исчезнет ее возможность, и человечество заживет счастливо. И есть еще одно обстоятельство. Господин Хида не должен забывать, что люди могут увеличивать и уменьшать вероятность войны. Честная активная работа уменьшает эту вероятность. Я работаю. Господин Хида тоже работает. Мы не всегда это сознаем, но так или иначе господин Хида пишет антивоенные книги, а я способствую укреплению связей между нашими странами. И эта наша деятельность — не самая маловажная в мире. А теперь, если господин Хида разрешит, я хочу оставить эту тему. Я не каждый день встречаю японского писателя и не могу упустить случая выяснить некоторые вопросы о положении в современной японской литературе.

Господин Хида разрешил. Мы проговорили еще часа полтора, и я спохватился только, когда он встал, чтобы зажечь свет. Пора было уходить. Я больше не жалел, что пришел сюда. Хида был умница. Кроме того, он рассказал мне много интересного. Пока я курил последнюю сигарету, он завернул футляр с авторучкой и куклу в целлофан и с поклоном вручил мне.

— Было истинным удовольствием поговорить с вами, — сказал он вежливо.

— Напротив, — по всем правилам возразил я. — Это я получил большое удовольствие от беседы с вами. Между прочим, я совсем забыл. Господин Хида видел когда-нибудь осьминога?

— Осьминога? — Он озадаченно поглядел на меня.

— Да. Осьминога или каракатицу.

Он пошевелил пальцами, видимо, изображая щупальца.

— О, — сказал он. — Разумеется, я видел. Это очень вкусно. Осьминога варят и заправляют соусом. Очень вкусно. И совсем недорого.

Мы попрощались.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я спустился в вестибюль, раздумывая, не поужинать ли в ресторане. Я сильно проголодался, вероятно, из-за двух рюмок коньяка, выпитых у Хиды. До получки оставалось около тридцати рублей, и я мог позволить себе лапшу с подливой, стакан вэймэйсы и чашку кофе по-турецки. Неплохо было бы вареного осьминога, но осьминогов в «Пекине», по-моему, никогда не подавали. Вообще после того, как уехали китайские повара, готовить здесь стали гораздо хуже. Осьминога бы наверняка испортили, а лапшу не испортишь, разве что она подгорит, вино разливают в Китае, кофе везде одинаковый.

Я повернул к ресторану и вдруг увидел Нину. Мне кажется, что за секунду до этого я почувствовал, что увижу ее. Что-то мягкое толкнуло меня в сердце, и я задохнулся. И меня опять охватило чудесное и горькое ощущение великой утраты и грустного счастья, и я остановился, чуть не плача от радости и жалости к ней и к себе, и все сразу вылетело у меня из головы. Японец, вэймэйсы, спрут — все. Я стоял в десяти шагах от входа в ресторан и в десяти шагах от дверей уборных и смотрел на нее, и глотал и не мог проглотить комок, застрявший в горле. Через минуту это прошло.

Она стояла у стола перед почтовым барьером и разговаривала с какой-то иностранкой в очках. На ней был белый джемпер и широкая клетчатая юбка, она рассеянно улыбалась, похлопывая себя по бедру плоской белой сумочкой, крупная, стройная, с прекрасным неправильным лицом, с массивной копной темных волос на прекрасной голове, с крепкой длинной шеей, с маленькой грудью и сильными толстоватыми ногами, бесконечно женственная и прекрасная, хотя я понимал, что по-прежнему никто кроме меня этого не знает и не замечает. Она словно совсем не изменилась, а, может быть, она не изменилась только для меня, даже наверное так, недаром я видел ее такой в самых лучших своих снах, когда и думать не смел увидеть когда-нибудь наяву.

Она стояла и разговаривала с иностранкой, а я стоял и смотрел, не в силах оторваться, не в силах заставить себя уйти и не в силах заставить себя подойти к ней. Тут она, скучая, повернула голову и увидела меня. Она

рассеянно глядела на меня, продолжая говорить, потом замолчала на полуслове, и глаза ее потемнели и словно распахнулись, и одно-единственное мгновение она смотрела на меня так, как в то утро, в славном пустом сквере, когда маленькая дочка ее играла в песке у наших ног. Но это длилось одно-единственное мгновение. Она улыбнулась, кивнула и помахала мне рукой. Иностранка тоже посмотрела на меня и тоже улыбнулась, что-то сказала Нине, и они обе засмеялись. Потом иностранка ушла, вихляя тощим задом, и мы пошли навстречу друг другу и встретились посередине вестибюля.

— Здравствуй, Андрюшенька, — сказала она радостно. — Вот так неожиданность!

У нее были горячие, чуть-чуть влажные от жары руки, и я поцеловал эти руки, правую, в которой она держала сумочку, и свободную левую, и опять правую, и она отняла их от меня, опустила и сложила на животе. Я решился и поднял глаза. Она стала как будто выше ростом, потому что ее глаза были теперь на уровне моего подбородка. Ее лицо находилось совсем близко, сантиметрах в тридцати. Я увидел свое отражение в ее зрачках, и крошечные капли испарины на лбу и на пушистой верхней губе, и жесткие морщинки возле глаз и по сторонам рта. И заросшие дырочки от сережек в мочках ушей. Она тоже разглядывала меня, выпятив нижнюю губу.

— Здравствуй, Андрюша, — повторила она. — Вот как мы встретились.

— Да, — тупо сказал я.

— Ты давно в Москве?

— Давно. Уже лет пять... нет, шесть лет.

— И ни разу не зашел. Эх ты. А еще старый друг.

— Я не мог.

— Неужели так занят?

— Я никак не мог, Ниночка. Честное слово. Никак не мог.

— Нельзя забывать старых друзей.

Так могла сказать и Юля Марецкая. Но ведь мы встретились. Она не отвернулась. Она могла кивнуть и отвернуться. Могла даже не кивнуть. Но вот мы стоим в тридцати сантиметрах друг от друга и разговариваем, и она разглядывает меня, выпятив нижнюю губу. Она всегда так делала, когда была озабочена.

— Андрюша, — сказала она почти с испугом, — ты совсем седенький стал!

— Это от веселой жизни.

— Что, неужели так плохо?

— Отчего же плохо? Просто трудно.

— Работа?

— И работа. И всякие другие вещи.

— Бедненький.

— И возраст, Ниночка.

Она вздохнула.

— Да, возраст. Ну, а я?

— Что?

— Я сильно изменилась?

Я помотал головой. Она обрадовалась.

— Нет?

— Ничуть.

— Правда?

— Честное слово. Ты прелесть и женщина.

Не знаю, как это у меня вырвалось. Но она либо забыла, либо не обратила внимания.

— Как приятно слы-ышать! — сказала она. — Только не очень-то завидуй, Андрюшенька. Это наполовину косметика. Парикмахерская, кабинет красоты.

— Неправда.

— Правда. У меня тоже очень утомительная жизнь. Хлеб свой насущный снискиваю в поте лица. И души, между прочим.

— Не сердись, — попросил я. — Я только хотел сказать, что ты совсем не изменилась.

— Я стараюсь. Но знал бы ты, как это трудно, Андрюшка!

Она нагнула голову. Некоторое время мы молчали, и я смотрел, как от моего дыхания шевелятся отставшие волоски на ее макушке. Она подняла лицо.

— Глупости, — сказала она решительно. — Все это глупости. Работа есть работа. Я что-то расклеилась сегодня. Слушай, я тебя не задерживаю?

— Что ты, конечно нет.

— Разве ты здесь один?

— Где — здесь?

— В ресторане. Я думала, ты вышел из ресторана. Нет?

— Вовсе нет. В ресторане я не был. Имеет место на редкость одинокий Головин, который как раз собирается поужинать. Разреши пригласить тебя, Ниночка.

— Я бы с радостью, — сказала она, — но не могу.

— Почему?

— Во-первых, я только что ужинала.

— А во-вторых?

— Понимаешь, Андрюшенька, мне пора домой. Одиннадцатый час.

Я оглянулся на часы над гардеробом. Было пять минут одиннадцатого.

— Тогда разреши проводить тебя.

— Проводи, — просто согласилась она. — Это недалеко, да ты помнишь, наверное.

— Помню, — пробормотал я.

Мы вышли из гостиницы, повернули направо и медленно пошли по Садовому. Нина жила на улице Алексея Толстого.

— Где ты работаешь? — спросил я.

— В «Интуристе».

Она взяла меня под руку. Я чувствовал сквозь рукав, какие у нее горячие и твердые пальцы, ее юбка задевала мое колено, и я опять, впервые за долгое, долгое время ощутил великое чудо и великую прелесть женщины, прелесть женского голоса, женских интонаций, и мне было необыкновенно хорошо.

— Ты со мной не шути, — сказала она. — Я старший гид-переводчик, вот кто я.

— Ты прелесть и женщина, вот кто ты, — сказал я на этот раз умышленно. Она промолчала. — Ты работаешь с японским?

— Что ты, с английским, конечно.

— Забыла?

— Начисто. Корэ-ва кабан дэс. Больше ничего не помню.

— Не жалко?

— Не знаю. Пожалуй, жалко. Слушай, Андрюша, ты встречаешь кого-нибудь с нашего курса?

— Очень редко. Майского вот встречаю. Помнишь Петю Майского?

— Майский, Майский... Он ведь турок?

— Почти. Арабист. Орлов в министерстве иностранных дел, Мишенька Сегал в радиокомитете, он недавно был у меня. Кстати, а не помнишь ты Юлю Марецкую? Она училась на два курса позже нас.

— Марецкую? Комсорга? Ну как же, очень хорошо помню. Она была такая беленькая, хорошенькая, очень серьезная и не умела одеваться.

— Вот, вот. Она сейчас работает в том же издательстве, что и я.

— Нет, Юлю Марецкую я хорошо помню. Году в пятидесятом я отказалась подписаться на заем, и мы с ней немножко повздорили. Она назвала меня девкой и антисоветской сволочью и сказала, чтобы я не смела заходить в уборную на нашем этаже. Сказала, что уборной имеют право

пользоваться только честные студентки.

Я остановился и заглянул ей в лицо. Она спокойно улыбалась.

— Ну что ты остановился? Не веришь? Правда, правда. Я ее не послушалась, потому что, ты сам понимаешь, деваться мне было некуда. Но я весь месяц тряслась от страха, что меня лишат стипендии. Это у меня была полоса неприятностей. Нас обворовали, умерла мама, Наташка заболела скарлатиной, и, боюсь, я вела себя немножко нервно. Господи, как давно это было!

Юля Марецкая могла отколоть и не такое, но я понятия ни о чем не имел. Должно быть, это случилось до того, как Нина пришла за конспектами в нашу комнатушку под крышей. Я писал письмо в Ленинград, Петька Майский валялся на кровати и делал вид, что читает Коран, а Миша Злобин брился, и тут к нам несмело вошла Нина, ведя за руку крошечную смуглую девочку с носом-пуговкой.

— Нина, а что Наташа? — спросил я.

— Наташке пятнадцатый год, представляешь? Растет ужасно, скоро меня догонит. Мой домашний тиран.

— Ты замужем?

Она засмеялась.

— Что ты, Андрюшенька, я ведь убежденная мать-одиночка. И потом зачем мне благодетели?

Мы медленно шли мимо скамеек под липками, где сидели старички в парусиновых фуражках и старушки в диковинных капотах.

— А ты? — спросила она с любопытством.

— Я развелся.

— Бедняжка.

— Да. Сирота.

— Детей, конечно, нет?

— Почему — конечно?

— Ну, это же видно.

— То есть?

Она пожала плечами и нагнула голову.

— Почем я знаю? Просто видно, и все.

— Она не хотела ребенка, — сказал я. — Не то боялась, не то считала, что рано. В общем, все получилось к лучшему.

— Всегда все получается к лучшему.

— Надо надеяться.

Она держала меня под руку и смотрела вниз, старательно ступая в ногу со мной. На ней были светлые остроносые туфли на высоких каблуках. Вот

отчего она показалась мне выше ростом. Прежде она никогда не носила туфель на высоких каблуках. Тук... тук... тук... — стучали каблуки по асфальту.

— Ты ее любишь?

— Нет, — быстро ответил я. Затем добавил: — Когда-то думал, что люблю. А теперь нет. Ни капельки.

— Молодец. Если это правда, конечно.

— Это правда.

— Вы давно разошлись?

— Давно. Я вернулся с Сахалина, и она от меня ушла.

— А что ты делал на Сахалине?

— Разное. Плавал, главным образом. Хорошо было.

— Зачем же вернулся?

— Право, не знаю. Домой, должно быть, захотелось.

— Андрюшенька, ты можешь ответить мне откровенно на один вопрос?

— Могу.

— Слово?

— Слово.

— Это ты к ней тогда ушел?

— К ней, Ниночка.

Тук... тук... тук... тук... тук...

Она выпустила мою руку и остановилась.

— Вот, — сказала она. — Я почти дома. Ступай обратно. Пускают до одиннадцати, и ты как раз успеешь.

На мгновение меня охватила паника. Нельзя нам было вот так просто попрощаться и разойтись. Я уже знал, что лучше мне умереть, чем снова потерять ее.

— Ну уж нет, — сказал я, стараясь говорить спокойно. — Я обратно не пойду. На кой черт, спрашивается, мне идти обратно?

— Но ты же собирался ужинать.

— Ничего подобного. Мне расхотелось.

— Ты голоден, как волк.

— Это тебе кажется. Я сыт, как удав.

Она подняла руки и поправила волосы, искоса глядя на меня. Потом она улыбнулась.

— Ты уверен, что не голоден?

— Совершенно уверен.

— У тебя глаза какие-то голодные.

— У Босини тоже были голодные глаза.

— У кого?

— У Босини. Из «Саги».

По тому, как у нее застыло лицо, я понял, что она вспомнила.

— Эх ты, — тихо сказала она, — старый друг. Пойдем, нам на ту сторону.

Она опять взяла меня под руку и повела через улицу. Мы молчали, и только в лифте, повернувшись ко мне спиной и отыскивая нужную кнопку, она проговорила с нервным смешком:

— Интересно, что скажет Наташка.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В прихожей нас встретила длинная худая девочка в выцветшем сарафане, из которого она выросла года три назад, с длинными голыми ногами и с хорошеньким круглым личиком. На мать она совсем не была похожа, разве только глаза у нее тоже были большие и серые и расставлены так же широко. Увидев меня, она насупилась и сердито сказала:

— Здравствуйте.

— Это моя дочь Наташа, — чинно сказала Нина. — Наташа, это Андрей Сергеевич. Он из-за меня остался без ужина, и мы должны накормить его. — Она изо всех сил старалась выглядеть виноватой, но это у нее плохо получалось. — Пожалуйста, сделай там что-нибудь.

— Прекрасно, — ледяным тоном произнесла Наташа. — Я сделаю яичницу.

— Как вы относитесь к яичнице? — спросила Нина, повернувшись ко мне.

— Побольше, — попросил я. — Я голоден как волк. И чаю, если нетрудно. Сладкого.

Наташа стремительно повернулась и удалилась на кухню, стукнувшись боком о косяк.

— Ну как? — спросила Нина шепотом.

— Прелесть, — пробормотал я. — Жаль носа-пуговки, а так — прелесть.

— Много ты понимаешь...

На кухне загремели сковородки. Нина подтолкнула меня, и мы прошли в комнату. Почти ничего здесь не изменилось, только исчез пузатый родительский комод, и вместо детской кроватки стояла широкая низкая

тахта. По-прежнему было чисто и аккуратно, по-прежнему пахло свежим бельем и немножко парфюмерией. По-прежнему возле окна размещалось доброе полукруглое кожаное кресло. Дверь в _мою_ комнату была приоткрыта. Там был виден желтый угол новенького письменного стола, край белой постели и маленький матерчатый тапочек на пестром коврике.

— Там теперь Наташкино царство, — сказала Нина. Я взглянул на нее, и она поспешно отвела глаза.

— Что же мы стоим? — сказала она. — Пойдем, помоешь руки.

Я отправился в ванную, а она пошла на кухню. Через несколько минут она принесла мне полотенце.

— Держись, Андрюшка, — сказала она, загадочно усмехаясь. — Яичница на столе.

— Это опасно? — спросил я.

— Не знаю. В крайнем случае позовешь на помощь.

Затем она сказала, что будет переодеваться, и пожелала мне удачи. Когда я вернулся в комнату, на столе в семейной сковороде шипела гигантская яичница из десятка яиц, не меньше. Наташа сидела на тахте, выставив острые голые коленки, и с интересом ждала, что я буду делать. Драться так драться, подумал я и бодро вскричал:

— Вот это здорово!

— Вы просили побольше, — смиренно напомнила она.

Я уселся, придвинул сковороду и взялся за дело. Ударить лицом в грязь мне было никак нельзя. Впрочем, я действительно проголодался. Я ел неторопливо, время от времени со вкусом макал в масло кусочки хлеба и одобрительно мычал. Одновременно мы вели светский разговор о школе и о пионерских лагерях. Вошла Нина в легком белом платье и села напротив. Вот тут я на минуту остановился, заглядевшись на нее. Она была румяной от холодной воды, в растрепавшихся волосах дрожали радужные капли, и глаза у нее были блестящие и ясные. Я вдруг подумал, как я выгляжу сейчас — толстый седой дурак над огромной сковородой яичницы, грузный и красный, в безобразном костюме от магазина готового платья, с расстегнутым воротником и сбитым набок галстуком. Почему-то эта мысль совсем не задела меня.

Нина краем глаза покосилась на Наташу и незаметно подмигнула мне. Я вернулся к яичнице, кое-как разделался с нею и сказал в пространство:

— Отличная была яичница, в жизни такой не ел. А теперь хорошо бы сладкого чаю. Сладкого и покрепче.

Наташа взирала на меня с благоговейным ужасом. Нина фыркнула и закрылась ладонью. «Ну что ты, мама, право», — укоризненно прошептала

Наташа, покраснела и пошла за чайником.

Чай мы пили все втроем. Я рассказывал им про Камчатку и Курильские острова, про вулканы и про японских браконьеров, про спрута в бассейне, про документы профессора Акасиды, про Хиду и его книги. Это был славный вечер, и мне давно не было так легко и уютно. Потом Нина поглядела на часы и строго сказала:

— Все, Наташка, пора спать.

— Мамочка! — воскликнула Наташа с негодованием.

— Никаких мамочек. Попрощайся с Андреем Сергеевичем и отправляйся.

— Мамочка, еще десять минут.

— Нет.

— Капельку!

— Погоди, Нина, — сказал я и извлек из кармана подарок Хиды. — Возьми, Наташенька. Это тебе за твою чудесную яичницу.

— Что это? — спросила она.

— А ты разверни и погляди.

Она развернула и заулыбалась.

— Ой, какое чудо, смотри, мамочка, — сказала она. — Спасибо большое, Андрей Сергеевич.

— Это японец тебе подарил? — спросила Нина.

— Да, я подарил ему бутылку водки, и он сказал, что будет угощать своих друзей. Ну а я угощаю своих.

— Большое спасибо, — сказала Наташа, — мамочка, смотри, какая хорошенькая.

— Очень хорошенькая, — согласилась Нина. — А теперь ступай.

— Иду, мамочка, ты же видишь, я уже иду. Спокойной ночи. Андрей Сергеевич, спокойной ночи. Приходите к нам еще есть яичницу.

— Наталья! — сердито сказала Нина.

— Непременно, — пообещал я вполне искренне.

Она поцеловала Нину, повернулась ко мне, сделала книксен, приподняв кончиками пальцев подол своего короткого сарафана, и удалилась. Чудная девчонка. И в ней, конечно, есть много от матери. Какая-то милая угловатая гибкость, не знаю, как это объяснить. Я отодвинул стакан и встал.

— Спасибо, Ниночка, — сказал я. — Тебе тоже пора спать. Всем пора спать.

— Да, — пожаловалась она, — я встаю рано.

Мы вышли в прихожую. Я пропустил ее вперед и плотно прикрыл

дверь.

— Когда мы увидимся? — спросил я.

— Не знаю.

— Тогда я знаю. Мы увидимся завтра. Давай?

— Не получится, Андрюшенька. Завтра я со своими англичанками уезжаю в Минск.

— Ну вот! — Я расстроенно поглядел на нее.

— Ничего, это всего на два-три дня. Постой-ка...

Она подошла ко мне вплотную и стала поправлять мой галстук. Тогда я взял ее за плечи. Она вздохнула и опустила руки. Я поцеловал ее.

— Господи, — сказала она. — Господи, как давно это было.

Я поцеловал ее еще и еще раз.

— Не надо, — сказала она жалобно, — иди, пожалуйста. Иди, Андрюшка. Иди. Ну прошу тебя. Это же все было. Было. Было.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Утром я позвонил в издательство и сказал Люсе, что буду не раньше среды. На моей совести было еще шестьдесят фотокопий, но заставить себя копаться в словарях оказалось после вчерашнего не так-то просто. Я лежал на диване, заложив руки за голову, глядел в белый потрескавшийся потолок и думал о Нине. Вернее, не думал, а видел и ощущал, какой она была вчера. Как она поднимала руки, чтобы поправить волосы. Как у нее дрожал подбородок, когда она старалась удержаться от смеха. Как стучали каблуки по асфальту. Как у нее напряглась спина под моей ладонью и как она закрыла глаза, когда я поцеловал ее в губы. И какие у нее были горячие губы, мягкие и сухие. Великое колдовство памяти о своей нежности. Так можно было пролежать и сто лет. Самое скверное то, что понемногу начинаешь жалеть самого себя. Я рывком поднялся и сел.

Развлечемся. Вот передо мной стеллаж. Это моя библиотека, семь некрашеных полок, набитых книгами. Строго говоря, это моя пятая библиотека. Одна осталась у Нины. На улице Алексея Толстого, на пятом этаже. Я привез из общежития два чемодана книг, книжного шкафа не было, и мы сложили книги в комод. Интересно, где они сейчас. Наверное, в Наташкиной комнате, в _моей_ комнате. А первая моя библиотека погибла в Ленинграде в сорок первом году. В дом попала бомба. Сейчас на месте дома приличный скверик. Я в то время был под Одессой, и при контратаке у Сухого Лимана румын проломил мне нос прикладом. Огромный

заросший румын в желтой шинели с тусклыми пуговицами. Его тут же приколол маленький черноглазый матрос с окровавленной головой. Матрос тогда крикнул: «Живем, салага!» Через минуту его убили.

Вторую библиотеку я бросил в Порт-Артуре. Это было в сорок седьмом году, я еще не умел читать по-японски и не надеялся когда-либо научиться. Я был глуп. Отличная была библиотека, раньше она принадлежала японскому коммерсанту. Ирина из медсанбата приходила, стояла у шкафа, водя пальцем по корешкам, и вздыхала. Она была коротенькая, полногрудая, в мелких кудряшках, и чувствительно пела под гитару низким звучным голосом. Третья библиотека осталась на улице Алексея Толстого. Четвертую я отдал Поронайскому дому культуры, когда в пятьдесят шестом году возвращался на материк. Оставил себе только японские книги, которые подарил мне капитан «Конъэй-мару». Две книги: томик Кикутикана и «Человек-тень» Эдогавы. Кто бы мог подумать, что у капитана такой вонючей галоши окажется Кикутикан?

На палубе «Конъэй-мару» было скользко и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой. Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. «Сэнтё, айда», — строго сказал он. К нам вылез капитан. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах капитана были теплые носки с большим пальцем и гэта. Стуча гэта по палубе, капитан подошел к нам, сложил перед грудью руки и поклонился. «Спроси его, знает ли он, что находится в наших водах», — сказал майор. Я спросил. Капитан ответил, что не знает. «Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен», — сказал майор. Я спросил. Капитан ответил, что знает, и губы его искривились, обнажив редкие желтые зубы. «Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду», — сказал майор. Я перевел. Капитан часто закивал — или голова его затряслась. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. «Что он говорит?» — спросил майор. Насколько я понял, капитан просил отпустить его. Он говорил, что им нужна рыба и что они не смеют вернуться домой без рыбы. Он говорил на каком-то диалекте, вместо «ки» говорил «кси» и вместо «цу» говорил «ту». Понять его было очень трудно.

Вон они стоят рядышком, Кикутикан и Эдогава, между томом Куникиды в сером картонном чехле и выпуском «Фудзин корон» за август пятьдесят восьмого года. Пошлейший журнал, как и все женские журналы мира. Надо будет его выбросить или подарить Косте, там есть, кажется,

фото японских балерин. Костя любит такие фото. Я тоже когда-то любил. А левее «Фудзин корон» стоит мрачный темно-зеленый «Военный японско-русский словарь» издания, по-моему, тридцать седьмого года. Его тоже надо будет выбросить. Вообще пора как следует почистить библиотеку. Это моя пятая, и шестой у меня уже не будет.

Вот, например, на третьей полке в углу имеет место целая выставка очень разнородных предметов, которым там совершенно нечего делать. Посмотрим. Две коробки библиотечных карточек, пыльные руины ленивой попытки создать японо-русский математический словарь. Еще одна коробка библиотечных карточек, исписанных французскими словами, следы увлечения французским языком. Это бывает даже с заскорузлыми пессимистами, этакий приступ рвения, когда человек набирает кучу интересных французских книжек, составляет солидный план занятий, накупает библиотечных карточек для слов, целый месяц в соответствии с планом зубрит слова в метро и в троллейбусах и уже приценивается к Мопассану в оригинале, но тут случается чей-то день рождения, и на другое утро человеку уже не хочется французского, а хочется только пить, а еще через день наступает праздник с двумя выходными, а затем оказывается, что французские книжки куда-то девались, карточки перепутаны, план потерян и вместе с ним всякая потребность в оригинальном Мопассане.

Позади коробки с французскими карточками стоит настольный психотермобарометр, изящный на вид прибор, непоколебимо показывающий «к ясной погоде», плюс один градус и сто процентов. Мне подарили его друзья на день рождения, предварительно уронив в переполненном автобусе. Каждый раз, когда он попадает мне на глаза, я вспоминаю своих друзей. Это плохо, друзей надо помнить всегда — прекрасное правило, следовать которому так же трудно, как и любому другому, столь же прекрасному. Рядом с прибором располагаются две пачки сигарет «Друг», мраморный стакан для карандашей с пришедшей в негодность авторучкой и наполовину пустая пачка кукурузных хлопьев глазированных. Обособленно стоит пустой флакон из-под духов. Интересно, что может сказать такой набор предметов острому наблюдателю? Если учесть, что я пишу только карандашами или печатаю на машинке, терпеть не могу кукурузных хлопьев, курю только «Памир» и никогда не пользуюсь духами. Впрочем, я ни разу в жизни не встречал острых наблюдателей. Подозреваю, что это не столько объективная реальность, сколько литературный прием. Вроде выражения «в глазах ее вспыхнула нежность».

Книги. Самые мои любимые книги — если не считать собраний сочинений — стоят на четвертой полке. Кстати, о классификации. Не знаю, почему мы любим одни книги и не любим другие, но представляю себе, по какому признаку квалифицированный читатель относит книги к отличным, средненьким или серым. Квалифицированные читатели это те, кто, во-первых, читает много, а во-вторых, любит перечитывать. Не надо считать квалифицированным читателем равнодушного листателя, трудолюбиво читающего все подряд, не запоминая, не вспоминая, не влюбляясь в книгу, или тупого фанатика, который всю жизнь перечитывает один-разъединственный пятый том полного собрания сочинений Шеллера-Михайлова. Интересно, почему именно Шеллер-Михайлов, я его в жизни не читал. Он ассоциируется у меня с семью слониками на полочке и с бездарными лубочными вышивками. Так вот, квалифицированный читатель делит книги на серые, средненькие и отличные. Отличные и есть любимые. У каждого они свои. Впрочем, и серые, и средненькие тоже.

Серую книгу, как правило, трудно или невозможно дочитать до конца. Для меня это «Семья Тибо», почти все советские детективы, «Ому» превосходного писателя Мелвилла, «Лунная дорога». Средненькая — это книга, которую прочитываешь с удовольствием, но перечитывать либо не тянет, либо тяжело. Примеры: большая часть советской и зарубежной фантастики, «Кобра под подушкой» Кима, «Учитель Гнус», «Три товарища», «Брат мой, враг мой», историческая серия Конан-Дойля. А отличная, любимая книга — это книга, которую можно просмаковать хотя бы один раз, к которой непременно возвращаешься, по которой в самых неподходящих обстоятельствах вдруг начинаешь скучать, как по славному человеку.

Вот они, мои друзья и любимцы, слегка потрепанные, выстроились на полке безо всякой системы, некоторые, кажется, даже вверх ногами. Два черных с красным и серебром тома великого Хемингуэя. Я человек простодушный, больше всего люблю «Фиесту», «Иметь», «Трехдневную непогоду». И жалею, что не удалось достать «За рекой в тени деревьев». Настоящие ценители, вроде Пети Майского, меня презирают. Колосс Леонид Леонов, «Дорога на океан». Изумительная, неисчерпаемая книга. И по-моему, Курилов — единственный в мировой литературе образ _настоящего_ коммуниста-мечтателя, на которого смотришь с благоговейным восхищением, задрав голову и придерживая шапку. «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, воениздатовское издание с отвратительными дубовыми иллюстрациями, ничего общего не имеющими с живой умной яростью этой отличной повести. Том Ростана. Наверное,

если бы не Щепкина, половина прелести «Сирано» для нас, русских, безвозвратно пропала бы. Сологуб, «Мелкий бес». Не возьму в толк, почему наши критические ослы так ополчились на него. Помимо всего прочего, это крепкое, сильнодействующее лекарство от обывательского запора. Перечитываешь с наслаждением и с тайной дрожью какой-то: господи, как хорошо, что я не такой, как славно, что у нас уже не так. «Признания авантюриста Феликса Круля». Единственная книга Томаса Манна, которую я люблю. Вероятно, за поразительную, блистательно-бесстыдную откровенность. И еще за то, что она по-старинному, по-диккенсовски уютная. «Новеллы» Акутагавы. Акутагава писатель особенный, аналогий ему нет ни в Японии, ни во всем мире. Интересно, что старательный, нарочито дословный перевод Фельдман очень идет ему. Так и кажется, будто японцы должны воспринимать оригинал так же, как мы воспринимаем этот на первый взгляд неуклюжий, спотыкающийся перевод. «Швейк», «Человеческая комедия» Вильяма Сарояна, Честертон, Бёлль, «Мост» Грегора. Сюда бы еще «Вернера Хольта», но он располагается полкой ниже, выдранный из номеров «Иностранной литературы» и заключенный в картонную корку от «Нового мира», рядом со «Счастливчиком Джимом», «Над пропастью во ржи» и Дудинцевым. Грэм Грин. Трилогия Яна. Лем. У меня только «Астронавты» и «Магелланово облако». Когда и если выйдет отдельным изданием «Солярис», я их выкину. А пока пусть стоят, представляют в моей пятой и последней библиотеке любезного сердцу моему пана Станислава. «Повести древних лет» Валентина Иванова. Опоздал купить «Русь изначальную». Олеша. Бабель. Солнечный и интеллигентный Бабель. Говорят, он работал до последней минуты. Ему повезло, начальник тюрьмы оказался его почитателем и разрешил работать в своем садике. Бабель так и умер под синим небом за дощатым столом, уронив голову на незаконченную рукопись. «Туманность Андромеды» и «Великая Дуга». «Туманность» с дарственной надписью автора. Он меня, наверное, забыл, но я-то его хорошо помню. Огромный, видимо страшной физической силы человек в старом морском кителе и шлепанцах, с бледными твердыми глазами навыкат и щетинистыми серыми усиками. Это один из самых умных и добрых людей, кого я знаю, и я его люблю, за книги и его самого, да и нельзя его не любить, слишком в нем много того, что всегда хочется видеть в людях. За Ефремовым стоят два комплекта Уэллса, молодогвардейский и гослитиздатовский. И ни в одном нет отличной утопии «Люди как боги». «Три мушкетера», вечная книга, которую будут читать, пока на Земле нужны радость жизни, честь и храбрость. Стейнбек, «Зима тревоги нашей»,

будто в пару к «Мелкому бесу». Надо будет поставить их рядом. Трехтомник Чехова с зелеными корешками. Всё.

Всё. Я уперся ладонями в край дивана, чтобы встать, но нечаянно взглянул вверх, на седьмую полку, и остался сидеть. Седьмая полка — это усыпальница моих увлечений математическими науками. Серьезные были увлечения, и я до сих пор не уверен, что отделался от них навсегда. Вот, например, «Совершенный стратег», он же «Букварь по теории стратегических игр» Дж. Д. Вильямса, книга умная и веселая. К сожалению, она попала ко мне слишком поздно, и я так и не дочитал ее. Но я знаю, что рано или поздно я снова доберусь до нее, дочитаю и перечитаю. Рядом с «Совершенным стратегом» стоит «Курс высшей математики» Смирнова, том четвертый, а всего томов шесть. Наверное, Смирнов — последний энциклопедист в математике. Людей, которые бы знали всю математику, больше не будет. Времена энциклопедистов проходят безвозвратно, и люди, которые считают, что в будущем ученый совместит в себе кучу разнообразных специальностей, просто не понимают, что говорят. Они размахивают кибернетикой и прочими стыковыми науками и совершенно забывают, что для практической работы в таких науках совершенно не надо быть энциклопедистом. Облупленный плотный том издания одна тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года. Барон Вега, «Десятизначные математические таблицы». Гигантский научный подвиг. Тридцать лет однообразной вычислительной работы, тридцать лет утомительнейшей возни с цифрами. Кажется, Вега — самый трудолюбивый барон в истории человечества. В наше время эту работу проделала бы за месяц небольшая счетная машина типа «Минск-2». Может быть, когда-нибудь люди будут так же неохотно восхищаться подвигом Льва Толстого.

«Введение в статистическую физику» Левича. Мне нравится эта наука, построенная на незнании. Чем меньше мы знаем, тем больше можем сказать — любопытный парадокс всех наук, связанных со статистикой и с теорией вероятностей. Нежно люблю теорию вероятностей, но не люблю книгу Левича, потому, наверное, что она не ответила на мои очень частные вопросы. Несправедливо, но неприязнь всегда несправедлива, так же как любовь всегда права. «Курс теории вероятностей» Гнеденко. Эту книгу следует проштудировать всякому, кто интересуется стохастическими процессами хотя бы в применении к преферансу. У меня всегда была тайная мечта открыть что-нибудь с помощью теории вероятностей. Я применял ее, чтобы получить оптимальную стратегию игры в «девятый вал», чтобы рассчитать вероятность проигрыша мизера при игре без семерки и на чужом ходу, чтобы выяснить вероятность посещения нашей

планеты инопланетными пришельцами и даже чтобы найти вероятность счастливого троллейбусного билета. Мне удалось вывести несколько формул, изящных и никому не нужных. Я восторгался, исследуя различные карточные игры, выдуманные, наверное, задолго до теории вероятностей и тем не менее построенные так, будто авторами их были Гаусс или Колмогоров — изящно, непротиворечиво и рационально. И я нашел вероятность счастливого билета. Она равна примерно шести процентам, то есть на каждые сто билетов приходятся в среднем шесть счастливых. Представления не имею, кому это может понадобиться в практических целях...

Я все-таки встал, вышел в коридор к телефону и набрал номер Нины. Никто не отозвался. Я сел за стол и посмотрел на стопку фотокопий. Еще шестьдесят штук. Гигантский осьминог профессора Акасиды мокнул в нашем бассейне и томился ожиданием. Он жрал убиенных собачек и тухлую рыбу от щедрот горторга, для гадости обливал людей водой и сепией и нетерпеливо ждал, когда я разрешу наконец его сексуальные и прочие проблемы. Мой долг, ничего не поделаешь. Вот кстати, как сказал бы товарищ Полухин.

К вечеру следующего дня я обработал еще сорок фотокопий и сделал восемь выписок. На этот раз материалы были очень интересные. Безымянные авторы и авторы, от которых остались только имена, равнодушно сообщали о странных и неправдоподобных событиях. И приходилось им верить, ибо явственно чувствовалось, что они всего-навсего старательные регистраторы, не способные вложить в свою писанину ни капли воображения. Тоже мне летописцы. Виделся в полутемной канцелярии просвещенного кугэ этакий убогий писаришка, по совместительству прохвост, вымазанный тушью и изнуренный бамбуковыми палками, страстно и безнадежно мечтающий о рисовых колобках. Как он, глотая слюни, добросовестно записывает: «В тринадцатый день пятого месяца самурай по имени Гои с прошением удостоился светлейшей аудиенции, и его светлости благоугодно было назначить самураю по имени Гои по его прошению годовое содержание в пять коку риса». Чудо ему воспринимать нечем, бедняге, у него только бездонный желудок и кроличьи половые органы. Знаю я эту породу.

Я положил карандаш и потянулся. Хорошо потянуться после работы. Ныла спина, сильно горели веки. Стемнело, но я без труда уверил себя, что еще достаточно рано. Я вышел к телефону, набрал номер Нины и долго слушал длинные гудки. Потом трубку взяла Наташа.

— Вас слушают, — строго сказала она.

— Здравствуй, — сказал я. — Мама не приехала?

— Нет. Кто это говорит?

— Андрей Сергеевич.

— Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Она завтра приедет. Она сегодня звонила из Минска и сказала, что приедет завтра. Ей передать что-нибудь?

— Передай привет, дружок.

— Обязательно. Вы к нам придете?

Я задержал дыхание.

— Приду.

— Понимаете, Андрей Сергеевич, у меня к вам большущая просьба.

— Какая?

— Вы еще пойдете смотреть на осьминога?

— На осьминога? Возможно, пойду.

Голос ее стал вкрадчивым и проникновенным.

— Андрей Сергеевич, возьмите меня с собой. Можно?

— Почему же нет?

— Меня пустят?

— Со мной пустят.

— Понимаете, мне очень хочется посмотреть.

— Понимаю, кнопка.

— Что вы говорите?

— Понимаю.

— А если меня не пустят?

— Пустят. Пусть попробуют не пустить, я им тогда переводы не отдам.

— Это мысль. Когда мы пойдем? Завтра?

— Нет, у меня еще не все готово. Да я тебе позвоню.

Было слышно, как кто-то хрипло кричит о любви.

— Ты что сейчас делаешь?

— Я? Телевизор смотрю.

— Детям до шестнадцати?

— Ничего подобного. «Последние залпы», я уже два раза видела. Ничего там такого нет.

— Ну, ладно, смотри свои «Залпы». До свидания.

— Я буду ждать, Андрей Сергеевич!

Я повесил трубку и отправился стелить постель. Я стелил и думал: все хорошо, и Наташка — хорошо, и завтра приедет Нина, и я прямо все скажу ей, я скажу, хватит с меня всех этих глупостей и страхов, хватит, а сейчас надо спать, спать, а то я устал, хуже чем собака, хорошо бы выпить кофе, но если выпить кофе, то не уснешь, и вообще лень ставить чайник, и,

вообще, есть у меня нечего, а бежать в гастроном — страшно подумать, да и есть не хочется, потому что жарко и слипаются глаза. Я постелил постель и стал раздеваться, но тут сосед позвал меня к телефону. Звонил Костя Синенко.

— Андрей, — сказал он. Он был трезв и угрюм. — Ты когда будешь в издательстве?

— Завтра. В чем дело?

— Приходи обязательно. У нас очень плохо.

— Что случилось?

Он помолчал.

— Очень плохо, — повторил он. — Скорей приходи. Очень плохо. Ты сам увидишь. Пока.

(*Здесь текст авторской рукописи обрывается.*)

ПРИЛОЖЕНИЕ План сюжета раннего варианта повести

КРАКЕН ЧАСТЬ I Гл. 1

Интродукция: история взятия самурайского меча.

Андрей Сергеевич Головин, переводчик-японист, 37 лет, у себя дома. Заходит Петя Синенко, сосед по квартире, молодой рабочий, приносит два письма и фотоаппарат. Хвастает аппаратом. Андрей нюхает его и приходит в восторг. Читает письма: одно — с договорами из Издательства, другое — от Марецкого, с приглашением обмыть получение свидетельства на изобретение. Петя восхищается мечом, висящим над диваном, делает выпады и упражнения. Беседа Андрея с ним — о народе и о простых людях. Андрей одевается и идет в Издательство — отнести подписанные договоры. В редакции у Семена Федоровича Хейфица, старого товарища Головина по институту и армии, сидит разъяренная дама — мамаша какого-то переводчика, рукопись которого отвергли. Она одолевает Хейфица. Андрей слушает и потешается. Когда мамаша уходит, Андрей отдает Хейфицу договоры, они немного беседуют. Хейфиц кричит, что больше не может здесь, все надоело, хочется работать, а не возиться с бездарями. Но уйти из Издательства он боится — семья, двое детей. «А вдруг сократят гонорары? А вдруг я кому-нибудь не понравлюсь, и мне не дадут переводы?» Андрей прощается и уходит.

Гл. 2

Интродукция: 37-й год, школьные годы Андрея. Суматоха из-за фашистских знаков на пионерских галстуках, в актовом зале директор убеждает, что никаких знаков нет. Виктор рассказывает о профиле Троцкого на спичечном коробке и о том, что у них арестовали соседа.

Андрей покупает вино, сласти, идет к Марецким. Марецкие — Виктор Григорьевич, научный работник, кибернетист, и Юля, его жена, однолетки и школьные друзья Андрея. Юля работает инженером «Нефтьпроекта», с помощью Виктора занимается изобретательством в области автоматизации добычи нефти. Когда Андрей приходит, Юля возится на кухне, а Виктор крутит магнитофон с Питером Сигером. Стол накрыт, Андрей немедленно запускает пальцы в ветчину. Виктор начинает рассказывать про Кракена, но тут приходит Нина Владимировна Сойкина, переводчик Интуриста, 35 лет, мать-одиночка по убеждению. Андрея с нею знакомят. Садятся за стол, пьют, хохмят, танцуют. Спор об информации — нужна ли она, какой она должна быть, довод о летающем блюдце, севшем на площади Дзержинского. Виктор выдвигает свои положения о неспособности человеческих организаций управлять миром, возлагает свои упования на машины. Снова вспоминает про Кракена, пытается рассказать, но слишком пьян, ничего у него не получается. Андрей активно интересуется Ниной. Они собираются уходить. На прощание он дает Юле свой телефон, который только что поставили у них в квартире. Они с Ниной выходят, Андрей ввязывается в какой-то пьяный спор на улице, Нина тем временем удирает на такси.

Гл. 3

Интродукция: 44-й год. Андрей только что с фронта, его принимают в институт иностранных языков. «Какой хотите язык изучать? Английский? Ну так пошлите его на японский, там он и английский выучит». Тут же рядом другого абитуриента допрашивают, чувствует ли он себя евреем.

С утра Андрей приступает к переводу «Пионового фонаря». Чувство тревожного наслаждения перед началом большой работы. Он ходит крадучись около стола с машинкой и потирает руки. Описание начала работы. Разного рода трудности, интересные места. Здесь дать понять, что у работника интеллектуального труда ненормированный рабочий день, он

работает до пупковой грыжи. Звонок Виктора. Виктор стажируется в Институте беспозвоночных, создает модели нервной системы головоногих. Виктор просит Андрея срочно явиться в Институт к директору. Андрей, чертыхаясь, идет. В кабинете директора его встречает Виктор и сам директор, Борис Михайлович Полухин, того типа, что восторженно трепещут перед иностранцами. Полухин рассказывает Андрею о том, что японцы подарили Институту Кракена в благодарность за спасение их корабля в позапрошлом году, самое крупное головоногое из дошедших до человека живьем. Кракен помещен в специальном бассейне в подвалах Института. Но, кроме того, японцы подарили Институту старинные книги, в которых изложены многочисленные любопытные случаи столкновения островитян с гигантскими головоногими от времен «Кодзики» до Токугавской эпохи. И Полухин очень просит товарища Головина если не перевести, то, во всяком случае, проаннотировать эти книги. Андрей просматривает книги и содрогается — это все ксилографии, старинная полускоропись, правда, с многочисленными иллюстрациями. Хочет отказаться, но Виктор ему отчаянно подмигивает. Тогда он соглашается и просит разрешения взглянуть на Кракена. Полухин в панике, но делать нечего — разрешает. Андрей и Виктор спускаются в подвал. Сторож подвального бассейна, пьяненький дядя Сидор, впускает их. Андрей перегибается через край бассейна и видит чудовище.

ЧАСТЬ II Гл. 4

Интродукция: притча о пленном немце, которому студенты дали покурить.

Сразу взяться за рассмотрение японских книг Андрею не удалось, т. к. в тот же день ему позвонили из Иностранной комиссии ССП и сообщили, что с ним хочет повидаться японский писатель, автор романа «Один в пустоте», который Андрей перевел. Вечером Андрей, чертыхаясь, поехал в отель. Разговор с японцем. Он был офицером Квантунской армии, попал в плен. О японских писателях — Абэ Кобо, Эндо Сюсаку, о сущности и задачах литературы, о том, для чего читают литературу. Японец недвусмысленно дает понять, что не прочь был бы, если бы Андрей перевел его новую книгу. Андрей в туманных выражениях сообщает, что это не исключено. Обмен подарками — японец дарит куклу и авторучку, Андрей — бутылку юбилейной водки в оригинальной упаковке. Попрощавшись, Андрей спускается в ресторан с намерением отужинать.

Сталкивается с Ниной, которая только что проводила по номерам своих подопечных англичан. Нина приглашает к себе на чаек. Идут пешком, Нина рассказывает об иностранцах. Дома пьют чай и мирно беседуют, когда возвращается дочь Нины, Наташа, девочка лет пятнадцати. Знакомятся, она тоже садится к столу и разглядывает Андрея с холодным и враждебным любопытством. Видимо, ей до смерти надоели мамины поклонники, но Андрей отличается от них — он громаден, толст, красен, в расстегнутом пиджаке и растерзанном галстуке, иногда зевает, и вместе с тем добр, смешон и хорош. Андрей рассказывает про Кракена, тут Наташа совсем оживляется и просит, нельзя ли и ей поглядеть. Андрей благосклонно предлагает на днях позвонить. Затем он встает, одевается, дарит Наташе японскую куклу и уходит. Дома он перед сном снова просматривает японские материалы. Оказывается, среди них есть «Суйко-коряку», о котором упоминал Акутагава. Синим карандашом отчеркнуты места, относящиеся к спрутам. В одной из книг Андрей обнаруживает несколько листков почтовой бумаги с набросками какого-то «обоэгаки» — памятной записки. В скорописном тексте мелькает слово «Конъэй-мару», название корабля, поймавшего Кракена. Андрей откладывает листки в сторону и ложится спать.

Гл. 5

Интродукция: поход на горячее озеро на Парамушире, эпизод с приятелем, севшим голым гузном на горячий ключ, легенда о дочери начальника политотдела, сварившейся в озере заживо.

Неделю спустя. Андрей с красными от бессонницы глазами печатает перевод из японских книг. Выдержки. Придумать два-три определения спрутов пострашнее. Пяток легенд-преданий о спрутах. Как спрут опрокинул корабль с чиновником «бакуфу», ехавшим за сбором податей в южные провинции. Как садумские самураи подружились со спрутами и использовали их в войне против княжества Тёсю. Как старый рыбак на острове Ёкомэдзима приручил гигантского спрута и даже заставлял его выходить на берег. Как спруты держали в плену десяток рыбаков и по очереди питались ими. Как спруты держали в осаде Котиковые острова. Звонит Наташа, напоминает об обещании показать Кракена. Андрей приглашает ее к себе и звонит Виктору в Институт. Виктор не очень доволен, но поскольку перевод закончен и будет принесен, разрешает привести девчонку. В коридор выходит Петя, просит десятку взаймы.

Андрей дает. Петя неостроумно шутит, что интеллигентам лучше платят, у них всегда деньги есть. Андрей взрывается: «Ты, лоботряс, каждый день после работы по танцулькам шляешься, а я два часа в сутки сплю!» Петя ошарашен и удручен. Андрей возвращается к себе за машинку. Приходит Наташа, он дает ей пачку японских киножурналов и просит подождать. Кончив печатать, собирает бумагу и книги. Наташа спрашивает, откуда у него меч. «Приятель подарил», — отвечает Андрей. В Институте их встречает очень озабоченный и усталый Виктор. На вопросы Андрея отмахивается. Они идут к Полухину, Андрей передает все и рассказывает суть. Полухин благодарит, обещает оплатить работу в ближайшую неделю и шутит о том, что Виктор теперь дни и ночи проводит в подвале и видимо мечтает расчленить Кракена, чтобы посмотреть на его нервную систему. Виктор криво усмехается. Они прощаются с директором и спускаются с Наташей в подвал. Дядя Сидор, как всегда пьяный, кормит Кракена. Кракен обдает его сепией. Зрелище. Наташа в ужасе. Виктор, бледный и злой, не отрываясь, глядит на Кракена. Андрей не понимает, в чем дело. Дядя Сидор, вымазанный и дурно пахнущий, косноязычно бормочет: «Хитрый, стерва, все понимает... Вылезает, и ну бродить...» Виктор сквозь стиснутые зубы: «Император... Архитойтис Рекс...»

Гл. 6

Интродукция: первый внешкольный вечерок, встреча нового, 41-го года, Андрей ухаживает за Юлей.

Они выходят из Института. Сумерки. Шумная улица. Наташа прощается и уходит. Андрей и Виктор медленно идут по скверу. Сначала молчат, затем Виктор вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать все о головоногих. Андрей слушает, недоумевает. О необычайной экономичности организма, о неограниченном росте мозга, о гигантском долголетии, за которое спрут может последовательно переходить из одного вида в другой. Затем раздраженно говорит о скептиках, о людях, мешающих узнавать новые факты. О понятии факта. Так они идут и наконец останавливаются у парадного Викторова дома. Играют в сумерках ребятишки, сидят пенсионеры, кто-то играет в пинг-понг. Виктор вдруг торопливо рассказывает о том, как вчера к Кракену подсадили самку, он ее оплодотворил и тут же убил. Андрея это мало задело, но Виктор объяснил, что ни одна тварь на земле так не поступает. Самки убивают самцов у пауков, но наоборот никогда не бывает. И не сожрал, а просто убил. Затем

он объявляет, что хочет спать, и уходит. Андрей возвращается к себе. Хотел было поработать над «Пионовым фонарем», но сон сморил. Снится Кракен, который собирается убить Нину, беременную от него, Андрея.

ЧАСТЬ III Гл. 7

Интродукция: Ребята говорили, что она страстно мечтала выйти за китайца. Она влюбилась в актера, игравшего Ху Бэй-фына. Каждый раз, ложась с нею в постель, он должен был надевать пластическую маску, которую носил на сцене.

Спустя неделю. Андрей работает над «Пионовым фонарем». Вдруг приходит Виктор. Мешать не стал, поиграл мечом, завалился на диван, проглядел несколько книжек Колдуэлла. Взял «Вопросы литературы», перелистал и вслух сказал, что все это дерьмо и никому не нужно. Андрей осведомляется, какие черти его мучают. Виктор рассказывает о тете Дусе с четырьмя детьми, которая работает на кожевенном заводе и каждый вечер, вернувшись, отмачивает руки в теплой воде и плачет, разговаривая о ценах на картошку, и о профессорах-литературоведах в шубах и высоких боярских шапках, десятки лет обсуждающих, как нужно понимать социалистический реализм. Вообще все гуманитарные науки — дерьмо. И возникли-то они от праздности, и вообще они аппендикс на теле человеческой культуры. Начинается спор. Здесь надо подобрать вескую и умную аргументацию для обеих сторон. Идея такая: отказ от гуманитарных исследований — значит подчинение знания требованиям желудка. Андрей требует бесконечного развития абстрактной мысли, бесконечного развития способности чувствовать прекрасное. По его мнению, после установления коммунизма очень скоро прогресс за счет развития средств производства прекратится. В основу прогресса ляжет бесконечное духовное развитие, нужно только избавиться от забот о материальном обеспечении, а там материальные потребности людей быстро сократятся. Уже сейчас большинство интеллектуальных людей сильно сократили свои потребности, во всяком случае, им в голову не приходит торговать валютой или спекулировать, или отхватывать приусадебные участки. По мнению Виктора, человечество должно как можно скорее избавиться от страшной обузы интеллекта — от эмоциональной стороны его. Предельная рационалистичность, служение чистому знанию. Андрей возражает, что это был бы апофеоз мещанства, люди никогда не сделаются машинами. Виктор замечает, что если бы человек жил достаточно долго, он бы неизбежно

избавлялся от дурацкой чувствительности и занимался бы исключительно делом. Да каким же делом? Добыванием знаний. А не поисками средств так называемого художественного воздействия на духовную сторону натуры. И в порядке последнего аргумента Виктор объявляет, что природа уже знает такой разум: это Кракен. С мрачным восторгом описывает он этих чудовищ, которые столетиями растут в океанских безднах, накапливая колоссальный опыт в своем непрерывно растущем мозгу, далекие от духовных потрясений, всегда знающие, чего им надо, беспощадные охотники и холодные рационалисты, живущие индивидуально и без социальной организации, без принуждения, никогда не ошибающиеся, руководствующиеся в жизни немногими рациональными принципами. Их не беспокоит тоска по несбыточному, они философски принимают смерть, и они при всем том способны уловить возможную угрозу сверху — наблюдая батискафы и ощущая удары атомных бомб. И возможно, они воспротивятся вторжению человека, и будут правы... Андрей и Виктор расстаются, не очень довольные друг другом. Оставшись один, Андрей вспоминает, что у Теннисона что-то есть на этот счет. Он достает томик и перечитывает тот самый стих. Он испытывает раздражение от глупости и ограниченности «прагматиков», как он называет «физиков». Он удивлен, как такие умные ребята, как Виктор, не видят страшной угрозы омещанивания человечества. Ведь дух — это единственное, что отделяет человека от животного. Так он размышляет, когда Петя стучит к нему и сообщает, что его спрашивает какая-то дама. Это пришла Нина. Она спокойна, ласкова и самоуверенна. «Будем ужинать, — говорит она. — Я остаюсь у тебя».

Гл. 8

Интродукция: как разбился самолет на Шумшу и как искали трупы, чтобы наполнить девятнадцать гробов.

Андрей встает рано утром, Нина еще спит. Он тихонько садится к столу с мыслью поработать и случайно находит под бумагами листки с японской скорописью, которые забыл вернуть Полухину. Он читает. Это памятная записка капитана «Конъэй-мару», как был пойман Кракен. Оказывается, накануне удрал из неплотно запертого ящика крупный экземпляр спрута, а на следующий день, едва забросили трал, как в него заполз Кракен. И Кракен не сопротивлялся, он спокойно дал себя вывалить в трюмный бассейн и тут же принялся за еду. Андрей думает и

сопоставляет со словами Виктора, с бормотанием дяди Сидора. Просыпается Нина. Андрей предлагает ей выйти за него замуж. Она, смеясь, отказывается, одевается и уходит. Андрей весь день валяется на диване, погруженный в размышления, а вечером, захватив с собой самурайский меч, идет в Институт. Там он спускается в подвал и прячется за ящиками, так что дядя Сидор запирает его с Кракеном. Ночь, тьма. Кракен выползает из бассейна, таскается по подвалу. Начинается игра в кошки-мышки. В суматохе Андрей роняет меч и думает уже, что погиб, но Кракен, нагадив кругом сепией, возвращается в бассейн. Скоро рассвет. Приходит дядя Сидор, ругает ругательски Кракена и принимается за уборку. Андрей оглушен, отравлен ядом чудовища. Ему удается незаметно выскользнуть из Института, и он, пошатываясь, бродит по пробуждающемуся городу.

Гл. 9

Интродукция: как я убил политрука, которого схватили эсэсовцы.

Днем Андрей снова приходит в Институт. Он слоняется по коридорам, перекусывает в буфете, наконец решается и спускается в подвал. Там сотрудник в белом халате демонстрирует Кракена делегации биологов из Океанологического института. Кракен безучастно лежит на дне бассейна, как куча маслянистых тряпок. Делегация уходит. Дядя Сидор, что-то бормоча по обыкновению, замшелый и сгорбленный, сидит в углу и чинит метлу. Андрей нагибается над бассейном. Разговор с Кракеном. Это, конечно, бред, просто ответы Андрея на собственные смятенные мысли. Кракен с торжеством объявляет, что мещанство, ограниченность, отсутствие стремлений всегда восторжествуют, что все усилия так называемых мыслящих интеллигентных людей в конечном итоге служат лишь для мещан. Чувствуя, что это бред, Андрей трясет головой. И тогда Кракен выбрасывает к его ногам самурайский меч, потерянный ночью. И выворачивается наизнанку бесстыдным похабным образом, как он это делал и раньше, облив кого-либо сепией — Андрей всегда принимал это за смех. Андрей взял багор, с которого дядя Сидор обычно кормил Кракена, привязал к концу обнаженный меч и со всего размаха воткнул острие между глаз чудовища.

МЫСЛИТ ЛИ ЧЕЛОВЕК? (Некоторые новые данные о происхождении вида Хомо Сапиенс Еректус)

Перевод с неизвестного языка и примечания И. И. ВАРШАВСКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА:

Вы знаете, я глубоко убежден, что предисловий писать не надо. Всем неизвестный автор по этому поводу сказал: «В начале было слово» (а не предисловие). И вы знаете, я с ним согласен, потому что слово не требует предисловия, если это слово чего-нибудь стоит. А если оно ничего не стоит, то предисловие способно только испортить законченное впечатление о художественном несовершенстве.

Но поскольку приводимый текст не имеет начала, мне захотелось скомпенсировать этот недостаток. Я постарался быть краток, потому что чем короче предисловие, тем приятнее его читать.

Вы, конечно, уже прочли текст (мне всегда было непонятно, зачем вводить в язык два разных понятия — предисловие и послесловие, — если они обозначают абсолютно одно и то же: рассуждения никому не известного человека, которые никого не интересуют до прочтения книги и интересуют только критиков — после прочтения). Итак, текст вы уже прочли и теперь ждете, что в предисловии вам скажут, откуда он взялся и в чем, собственно, дело.

Надо сказать, что это самые трудные вопросы из тех, что можно задать по этому поводу. Об ответах я могу только догадываться.

Дело в том, что в прошлом году я был за границей в командировке и встретился со старинным другом, который там полпредом. Естественно, мы пошли в Лувр и провели там весь день, наслаждаясь прекрасной экспозицией Гогена, а когда я очнулся, то увидел, что лежу у себя в номере, одетый в пальто, но без брюк. Пальто было не мое, а в кармане, кроме рюмки с вензелем N, лежала еще и маленькая плоская обойма для портативного диктофона. На ленте был записан текст, который я передал в распоряжение одного института, где его перевели с помощью одной электронной машины с кодовым названием «Дешифратор шпионской и

дипломатической переписки № 6». Перевод осуществляли по методу доктора наук Андреева, и поэтому он представлял собою 7832642 возможных варианта разночтения. Задача, как всегда в науке, состояла в том, чтобы выбрать вариант по вкусу. Так, Андреев и сейчас еще изучает вариант № 0001007, представляющий собой случайное сочетание грамматических форм: овно, овнюк, овённый, овнецо, овновоз и т. д. Главный заказчик института заинтересовался вариантом № 1234567, который начинается так: «Петя, у Джона насморк. Тетя поехала в Гавану страдать неумеренной потливостью. Береги зубы, щеку и солитера...» Этот вариант по требованию заказчика сейчас пытаются дешифровать во втором приближении. А я выбрал вариант № 7000000 и литературно его обработал, т. е. расставил точки и запятые, потому что машина этого не умеет. Конечно, мой выбор не случаен. Происхождение человека, мозг, мышление — все это отличные темы для застольных бесед и поэтому интересуют меня издавна. О происхождении человека хорошо сказал мой годовалый внук: «То, что вы все произошли от обезьяны, — сказал он, — меня не удивляет. Странно, почему вас до сих пор не посадили. В клетку». О мозге неплохо отозвался Гален: «Мозг, — писал он, — есть наисовершеннейшая пища, изготовленная природой». Это сказано сильно, но не верно, потому что наисовершеннейшая пища, изготовленная природой, это коньяк с лимоном. И я не удивился бы, если бы конечной целью Материи было создание вовсе не царя природы — человека, а наисовершеннейшего коньяка с ломтиком лимона, а человек в этом процессе играл чисто вспомогательную роль орудия созидания.

Мося: ...онгруэнтно-неконпоротисепарабельная форма не всегда кантуемой псевдожизни. Я кончила.

Люпус _Эст_: Благодарю вас. Вы хотите что-нибудь дополнить, Оруд?

Оруд _Гаи_: Да, с вашего разрешения.

Люпус _Эст_: Прошу.

Оруд _Гаи_: Я хотел бы высказать несколько слов относительно сопутствующих обстоятельств. Дипломантка лишь коснулась предыстории, что и естественно, т. к. ее тема в конечном итоге...

Голос: Громче!

Оруд _Гаи_ (*орет так, что ничего не разобрать; постепенно голос его стихает*): ...Эта планетная система паразитирует на старой карликовой звезде и содержит одиннадцать больших планет. Мы выбрали третью, потому что она имеет большой безатмосферный спутник с отличным

альбедо, а мне очень нравятся лунные ночи. Атмосферу планеты — планету мы назвали Земля — пришлось существенно переменить — там была масса ненужных газов, вызывавших у нас несвоевременные перпендикулы. Было забавно наблюдать катастрофическое вымирание огромных масс бессмысленной протоплазмы, формы которой были бесчисленны. Особенно активно распадались довольно крупные животные, похожие на наших горных ящериц среднего размера. Во время перелета я очень утомился — я работал тогда над математизацией проблемы «смысл слова» — и, чтобы отдохнуть, первые десять-пятнадцать миллионов местных лет (примерно шесть наших суток) посвятил уборке этой весьма запущенной планеты. На седьмой день я почувствовал себя в силах заняться чем-нибудь более важным и засел за работу, поручив Мосе... прошу прощения... поручив дипломантке заняться изменением оси вращения, чтобы создать подходящий климат в той области, где мы решили поселиться. Однако сосредоточиться я не мог. Во-первых, Мося... прошу прощения... дипломантка, покончив с земной осью, сильно скучала. А во-вторых, мне ужасно мешали некрупные волосатые существа, бродившие окрест в поисках пищи. Их волосатая шкура, полная паразитов, их хвосты и бесстыдно замаранные голые...[6] пробуждали во мне какие-то странные, забытые еще предками, ощущения и чувства. Сравнительно несложный анализ показал, что следует поручить Мосе произвести какие-то действия с этими существами. Действительно, аналитическая цепочка Мося — существа позволяла решить одновременно обе проблемы: существа перестанут отвлекать меня, а Мося перестанет скучать. (*Гул голосов в зале:* «Очень интересно!..» — «Нет, это все-таки Гаи! Гаи — есть Гаи! Какой смысловой потуг вы применили, Оруд?..») Я думаю, меня простят, если я не буду распространяться о методах. Все-таки сегодня не я защищаю диплом, а? (*Одобрительный смех в зале.*) Итак, вначале я попытался поручить Мосе отгонять этих хвостатых пусковыми клепсидрами, но очень быстро понял, что иду если не по ложному, то, во всяком случае, не по самому простому пути. Нетрудно представить, что это такое — женщина, занятая хозяйством: достаточно посмотреть на наше правительство[7]. Поэтому, исправив наскоро последствия первого, признаюсь, опрометчивого решения, я предложил Мосе построить несложную кибернетическую систему, способную, так сказать, воздвигнуть стену между мной, носителем Разума, и этими гнусными волосатыми тварями. Киберсистему я назвал (*хохочет*)... простите меня, пожалуйста, я назвал ее (*хохочет совершенно неприлично*)... о-ох... назвал Человеком (*хохочет;*

хохот в зале)[8]. О-ох! Простите меня, старика... Я сейчас кончаю. Техническое задание я сформулировал в общем виде, так что машина получилась довольно способной. Хвостатых отгоняла неплохо, хотя и переняла у них некоторые дурные привычки: чесаться под мышками, искаться, много и бессмысленно болтать, стараться урвать побольше, а сделать поменьше и т. д. Вот и вся предыстория. Мне кажется, Мося поработала неплохо и можно ей присвоить звание и диплом.

Люпус _Эст_: Благодарю вас. Кто желает задать вопросы? (*Пауза.*) Вы, Мося?

Мося: Прошу прощения, у меня начался телеген. Я хотела бы выйти на две-три минуты.

Люпус _Эст_: О! Поздравляю вас! Прошу, прошу... Надеюсь, за это время собрание сформулирует вопросы...

Оруд _Гаи_: Я мог бы ответить желающим...

Голос: Как сформулировать смысл существования (*со смехом в голосе*) Человека?

Оруд _Гаи_: Смысл существования — преклонение. Квазистационарная дифференциация смысла: преклонение перед Потомством, преклонение перед Силой, преклонение перед Личностью, преклонение перед Удовольствием и, отчасти, преклонение перед Разумом, но это последнее выражено слабо.

Голос (*скептически*): Переработка информации на уровне протоплазмы...

Оруд _Гаи_: А что вы хотите от Человека? (*Хохочет; смех в зале.*) Простите... О-ох! Это же _дипломная_ работа!

Голос: Но могли бы, в самом деле, закодировать, например...

Оруд _Гаи_: Э-э, батенька! Да кому интересно этим заниматься? У меня на такую чепуху и тогда времени не было, да и сейчас в обрез.

Голос: Могли бы хоть преклонение перед Разумом довести до значимости...

Оруд _Гаи_: А зачем ему? В носу ковырять? Ему этот Разум только мешал бы совершать естественные отправления механизма... А вот и Мося. Все, Мосенька?

Мося: Да.

Оруд _Гаи_: Ну вот и хорошо.

Люпус _Эст_: Еще вопросы?

Голос: А как он выглядит?

Мося: Кто?

Голос: Человек.

Мося: А-а... Да как бы вам сказать... Видели вы новую машину для почесывания вымени у тахоргов? Нижние коленчатые стержни, верхние коленчатые, движение только в одну сторону — в сторону зрительных рецепторов... Оболочка пелеринчатая, служит одновременно для выделений...

Голос: Н-да-а...

Мося: Все это не представлялось важным.

Голос: Напомните, пожалуйста, параметры анализатора.

Мося: Белковый, сферический, мощностью десять ватт, емкостью 10^2 полубанок, не восстанавливающийся. Работает по принципу избыточности информации. Но избыточность малая. Память ничтожная, за ненадобностью, так как основная необходимая информация хранится в наследственном коде.

Голос: Знания хоть по наследству передаются?

Мося: Нет.

Голос: Расскажите вкратце о самовоспроизводстве.

Мося: Двуполый цикл...

Голос: Всего-то?

Мося: Обеспечивает перенаселение через 10 — 20 тысяч местных лет. Размножение начинается с гонки, причем...[9]

Голос (*разочарованно*): Ну и примитив же... Зачем было так упрощать?

Мося: Я уже говорила, что считала своей задачей заполнить белые пятна в серии машин, действующих на уровне квазиразума...

Голос: Это все понятно, но все-таки... Люпус, можно я выскажусь?

Люпус _Эст_: Прошу.

Голос: У меня такое впечатление, что дипломантка работала старательно. Некоторые узлы — например, обонятельные рецепторы или, скажем, аппендикс, — выполнены очень остроумно и даже изящно. Особенно аппендикс. Сама по себе очень остроумная мысль — закодировать в аппендиксе потенциал омега-смысла. Правда, я не уверен, что схема будет работать в том виде, как она предложена, но, тем не менее, это небезынтересно. Магнитные ловушки анализатора тоже изящны. Но, вы знаете, все это производит впечатление стрельбы из фаулера по галактикам. Сама основа настолько примитивна и убога, настолько малообещающа, что я решительно против присвоения дипломанту звания. Я рекомендовал бы еще и еще раз продумать сам принцип механизма. Создание квазиразумной машины — очень важная, нужная и интересная, хотя и частная задача, и к

ней следует подходить серьезно. В самом деле, что это за квазиразум? Простите за неуместную шутку, но если эти ваши человеки, может быть, способны серьезно спорить о том, мыслят они или нет (в квазисмысле, конечно), то уж у меня этот вопрос никаких сомнений не вызывает. Фактически работа дипломанта свелась к созданию еще одной бессмысленной и бесперспективной расы не всегда кантуемых квазиорганизмов, которых и так выдумано более чем достаточно, особенно организмов на белковой основе. Примитивнейший квазиразум, примитивнейшие квазичувства на уровне трехступенчатого инстинкта — все это уже было, было, старо и скучно. Я предлагаю следующее. Что касается дипломантки, то работу считать неудовлетворительной и предложить ей новую тему. А что касается этих рас, на которых защищено столько дипломов, и даже — по недосмотру — диссертаций, то предлагаю созвать очередную сессию Страшного Суда и рассмотреть там вопрос об их дальнейшем существовании. Я чувствую, большинство из них придется переработать в космическую пыль для юго-восточного рукава Мета-супергалактики, где наблюдается недостаток естественных веществ. Ведь я уже неоднократно предупреждал, что следует обратить внимание на систему защиты дипломов, когда дипломанты безответственно подходят к проблеме, создают квазиживые расы, причем зачастую даже без точки останова. Кстати, вы обеспечили хоть останов?

Мося: Да, конечно. Период полураспада расы порядка сорока тысяч локальных лет. Предусмотрено два варианта останова: злокачественные генетические опухоли или — на случай трансформации программы — останов по методу Бах-Траха.

Голос: Атомное ядро?

Мося: Да...

Дальше на пленке идет непереводимое шипение.

АДАРВИНИЗМ

А. – Будем мы писать рассказ или не будем?
Б. – Будем.
А. – А может, пьесу напишем?
Б. – Можно и пьесу.

(*Долго молчат. А. ковыряет в носу, Б. чешется.*)

Б. – Как ты думаешь: куда ведет эта канализационная труба?
А. – Это которая в море?
Б. – Да.
А. – Наверное, она от всех санаториев. По всему побережью.
Б. – Идеальное место для проникновения шпиона.
А. – Ползком в извержениях туберкулезных больных.
Б. – Ну, он будет в специальном костюме.
А. – Дышать-то ему все-таки нужно...
Б. – Ну, будут баллоны... Выход трубы-то под водой...
А. – Нет уж, лучше без трубы.
Б. – Конечно, можно просто вынырнуть с подводной лодки метрах в двухстах... доплыть до берега и идти. Правда, костюм нужен...
А. – Цена шпиону без резидента дерьмо.

(*Задумчивое молчание. А. разглядывает совокупляющихся мух на спинке кровати над его головой.*)

А. – Почему, интересно, у насекомых внутреннее оплодотворение? И у пауков тоже... А у позвоночных внешнее – у рыб, лягушек, ящериц... А потом снова внутреннее.
Б. – У ящериц внутреннее.
А. – Не может быть.
Б. – У них спаривание сопровождается так называемым склещиванием. Я сам видел – они так переплетаются, что и не оторвешь, пожалуй.

(*Задумчивое молчание.*)

А. – Рассказ мы будем писать?

Б. – Будем, конечно. Давай что-нибудь про оплодотворение.
А. – Давай. (*Берет блокнот.*)
Б. – Интересно, как мухи узнают, кто у них самка, а кто самец?
А. (*смотрит на него озадаченно*) – По форме головогруди, вероятно.
Б. (*проникновенно*) – Знаешь, давай писать не рассказ, а пьесу.
А. – Давай. Место действия?

(*Долгое, очень долгое молчание. Оба ковыряют в носу.*)

Б. – Место действия – Крым.
А. – Крым так Крым. (*Роняет ручку на пол и, свесив голову с кровати, смотрит на нее.*)
Б. – Разбил?
А. – Нет. (*Пробует достать ручку рукой.*)
Б. – Ногой.
А. – Сейчас. (*Пыхтит.*) Ты знаешь, у меня понос, кажется, начинается. Ну ее.
Б. – Дай я. (*Вытягивает ногу и ухватывает ручку пальцами. Подает А.*)
А. – У меня все лицо соленое. (*Проводит по лицу пальцами, затем лижет пальцы.*)
Б. (*смотрит на него с завистью, затем принимается нюхать матрац. Вызывающе*) – Здорово пахнет!
А. (*нюхает свой матрац*) – И у меня здорово пахнет.
Б. – У меня здоровее!
А. (*ехидно*) – А у меня зато грудь волосатая!
Б. (*после мучительного раздумья*) – А видал, как я ручку ногой поднял?
А. (*не говоря ни слова, поднимает ногу, снимает очки, дышит на них, вытирает о живот и надевает снова.*)
Б. (*берет сигарету и на четвереньках бежит прикуривать от электроплитки. Вернувшись, с вызовом*) – У меня зад красный!
А. (*бледнеет от зависти, затем расплывается*) – Это у тебя загар, он пройдет!
Б. – Нет, это у меня естественное, от природы! (*Пытается выкусывать что-то под мышкой.*) Черт, Копылов клопов развел... Нажрется молока со сливами...
А. (*тоже пытается добраться до подмышки и роняет очки*) – Пусть их. (*Смотрит с кровати.*) Пусть. (*Вылизывает колено.*)

Б. (*тоже пытается вылизать колено, но забывает, что во рту у него сигарета. Вопит*) – Аы-а!

А. (*злорадно хохочет*) – Кха-кха-кха-кха-крррр...

Б. – А я членораздельно говорить не умею! Аыа!

А. – Кхр-кхр-кхр!

Б. – Аыа! Мфух...

(*Оба неловко вскарабкиваются на перекладину и начинают там искаться, покрикивая: «Аыа! Кх-кх-кх...»*)

Избранная публицистика

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ…

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ПРО КРИТИКУ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ[10]

> Швейк тщетно старался завязать разговор с ефрейтором и по-дружески объяснить ему, почему ефрейторов называют ротной язвой.
>
> *Я. Гашек*

1. ПРЕАМБУЛА

Вид художественной литературы, именуемый научной фантастикой, существует. Другое дело, что многочисленные попытки теоретически отграничить научную фантастику от других видов художественной литературы не привели к сколько-нибудь определенным результатам. Мы поэтому исходим из предположения, что нормальный человек интуитивно улавливает разницу между, скажем, «Искателями» Гранина и «Туманностью Андромеды» Ефремова и между «Аэлитой» Толстого и народной русской сказкой про Лихо Одноглазое. Итак, научная фантастика существует. Она существует для того, чтобы удовлетворить естественное стремление человека к необычайному, будить воображение, утолять любознательность. Это специфическая цель научной фантастики, и это знает каждый фантаст. (Хотя до сих пор еще попадаются скучные личности, которые хотят, чтобы научная фантастика выполняла функции учебников для средней школы.) Чтобы покончить с банальными истинами, приведем еще две.

1. Современная научная фантастика отягощена многочисленными недостатками.

2. Тем не менее она является одним из наиболее массовых, наиболее читаемых видов литературы.

Отсюда следует тривиальный вывод: научной фантастике нужна доброкачественная критика.

2. НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, КАКОЙ ЕЕ ВИДИМ МЫ

Начнем с того, что с нашей точки зрения нет принципиальной разницы между научной фантастикой и другими видами литературы и между работой писателя-фантаста и любого другого писателя-беллетриста. Как и всякий вид литературы, научная фантастика не однородна, она содержит ряд различных идейно-тематических течений. Вот некоторые из них: судьбы величайших изобретений и открытий современной науки; создание образа человека будущего — романтического героя; создание образа обыкновенного человека будущего, принципиально не отличающегося от героя нашего времени; создание гротескных ситуаций, как следствий столкновения человека с необычайными свойствами природы. Как и любой честный писатель-беллетрист, писатель-фантаст в своем творчестве проделывает какую-то эволюцию, совершенствуется, иногда меняет взгляды. Писатель-фантаст, начиная работать над произведением, ставит перед собой определенную задачу, вытекающую из его взглядов и вкусов, и решает ее характерными для себя средствами, применяя ему одному присущие методы воздействия на читателя.

Как и в любом другом виде литературы, в научной фантастике правомерны все проводимые идеи и все разрабатываемые темы (за исключением, разумеется, идей и тем, противоречащих коммунистическому мировоззрению). О критике речь еще будет впереди, но заметим, что как и всякий писатель-беллетрист, фантаст крепко держится за свои взгляды, и если критика не способна эти взгляды изменить, то это между прочим может означать и слабость позиций критики. Отметим, наконец, что, как и в любом другом виде литературы, в научной фантастике есть случайные авторы и авторы-новички. Бывают и халтурщики — тоже как и в любом другом виде литературы.

Такова научная фантастика с нашей точки зрения, и возможностей для другой научной фантастики мы не видим.

3. НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА, КАК ЕЕ ВИДЯТ КРИТИКИ

Все, изложенное в предыдущем разделе, критика игнорирует. Вот как выглядит современная научная фантастика с точки зрения одной критикессы — с точки зрения, которая представляется нам довольно характерной.

«…Очень уж трудно обнаружить в… этих произведениях… индивидуальность пишущего, его личную особую тему. Попробуйте различить писателей-фантастов по голосам, попытайтесь найти в каждом из них своеобразие — у вас это вряд ли получится…» «…Большинство наших фантастов по большей мере озабочены только одним: они стараются писать как можно более фантастично, вовсе не заботясь о том, чтобы подняться „просто“ до настоящей, хорошей литературы. Вот почему главное для них — некая гипотеза, а все остальное: характеры, конфликты, сюжет — не более чем „упаковка“». «Берется набор стандартных ситуаций, характеристик героев, описаний — набор, напоминающий коробку с планками, винтами и колесиками из детского конструктора… Все это замешивается на дрожжах более или менее реальной научной гипотезы, потом выливается в многократно использованную форму „новеллы ужасов“, детектива, монолога „раскаявшегося скептика“ или „пламенного энтузиаста“ — и рассказ готов». Как видите, от первого абзаца предыдущего раздела не осталось камня на камне.

Не менее любопытные сведения о нашей научной фантастике мы узнаем из других критических работ. Безграмотными невеждами оказываются научные фантасты, коим по сюжетным надобностям потребовалось выскочить за пределы современных научных представлений. Скучными техницистами оказываются, с другой стороны, те фантасты, сюжетные надобности коих позволили им существовать на грани возможного. Критики из среды самих научных фантастов изобретают прелюбопытные теории, суть которых сводится к тому, что лишь направление, представленное автором теории, является истинным, а остальные направления следует карать беспощадно. Вот и второй абзац предыдущего раздела разнесен в пыль.

Таким образом, общая картина борьбы критики против научной фантастики выглядит так. Берется вся научная фантастика — скажем, за последние три года. Заметьте, если мы говорим «вся» — это значит вся. Молодые и старые. Новички и маститые. Халтурщики и честные. Способные и бездари. Произведения 59-го года и произведения 61-го. Все смешивается в кучу. Из этой кучи, как изюм из батона, выбирается самое неудачное и подвергается осмеянию. При этом, как правило, происходят такие вот вещи. Например, кто-нибудь из этой кучи авторов страдает склонностью к штампам. Берут из него пример, поднимают этот пример на надлежащую сатирическую высоту и объявляют: «Вот они какие, эти нынешние фантасты!» Попробуй потом оправдайся… Но мы забежали вперед.

Такова научная фантастика, которую видит критика, и никакой другой она почему-то не видит.

4. КРИТИКА, КАКОЙ ЕЕ ВИДИМ МЫ

Интересно, что бы сказал А. Н. Толстой, если бы увидел на третьей полосе какой-либо литературной газеты такую заметку:

НЕ ТО!

Я не раз пытался представить себе образ честного интеллигента, принявшего Октябрьскую Революцию. В воображении возникали образы самоотверженных людей, проводивших дни и ночи в тифозных бараках, с воспаленными от бессонницы глазами заседающих у Луначарского, беззаветно идущих в бой за молодую Республику.

Счастливый случай помог мне избавиться от заблуждений. Я прочитал книгу А. Н. Толстого «Восемнадцатый год». И теперь доподлинно знаю, чем занималась интеллигенция в дни Революции… Конец семнадцатого года. Необычайные трудности испытывает молодая Республика. Рабочий Рублев с гранитного цоколя памятника Александру III агитирует солдат повернуть штыки в защиту революции. И вот «здесь же у памятника остановился по малой надобности широкоплечий человек с поднятым воротником. Казалось, он не замечал ни памятника, ни оратора, ни солдат с узлами». Позже оказывается, что это интеллигент Телегин. Вот он, образ честного интеллигента по А. Толстому! Он не проводит дни и ночи в тифозных бараках! Он справляет малую надобность, не замечая ничего вокруг!

(С иронией и жалостью:) Хочется искренне поблагодарить редактора издательства, позволившего автору донести до нас живое дыхание великого прошлого.

Ж. Обмылкин, журналист

Классик советской литературы был бы, наверняка, удивлен таким лихим и странным толкованием образа Телегина. А вот нас, простых

советских научных фантастов, этакой лейб-гусарской атакой в пешем строю — сабли наголо, на нижней губе изжеванная пахитоска, холодно и спокойно поблескивает голубоватое пенсне — не удивишь. Мы уже привыкли. Мы только слабо повизгиваем, когда нам в бок втыкают золоченую авторучку. Хочется иногда, конечно… но…

К сожалению, в советской научной фантастике не создано пока еще ни одного произведения, достойного стоять хотя бы полкой ниже «Восемнадцатого года». Вероятно, именно поэтому разбором научно-фантастических произведений никогда не занимаются генералы-от-критики. Их как-то не тянет. А может быть, они просто не знают, что есть у нас такая научная фантастика, в которой честно и профессионально работают уже несколько писателей. Редко-редко (и такие события отмечаются у фантастов иллюминацией и сатурналиями) величественно выступит с проблемной статьей критический майор или полковник. Обычно же критическим обслуживанием научной фантастики занимаются ефрейторы. Иногда унтер-офицеры. В порядке отхожего промысла. И вот берет автор научно-фантастического произведения какую-нибудь литературную (а то и экономическую) газету, распахивает ее на какой-нибудь странице, судорожно пробегает штурмовой опус Ж. Обмылкина, журналист-ефрейтора, похожий на хриплую команду: «Сдеть шинеля!», и жалобно стонет: «Ну за что же? Ну неужели он действительно не понял? Ну что за кретин!»

Представим себе, что при этой сцене присутствует сам журналист-ефрейтор. «Ты это брось, — с ленивой ухмылкой скажет он автору. — Чего там еще понимать? Все и так ясно». И, наверное, ему действительно все совершенно ясно. Небрежно, не глядя, берет он очередную научно-фантастическую повесть, бегло проглядывает ее, молча спешивается, обнажает саблю и идет в атаку. Таковы рефлексы критического лейб-ефрейтора.

Несколько (а в некоторых случаях и гораздо) более сложны рефлексы унтер-офицера. Если принципы ефрейтора характеризуются просто возгласом: «Р-руби!», то принципы всякого уважающего себя унтер-офицера всегда заключаются им в следующую стандартную схему:

А. Наши ученые, одну за другой, завоевывают вершины науки.

Б. Развитие науки вызывает огромный спрос на научную фантастику.

В. И это не удивительно.

Г. В последнее время после долгого периода застоя научная фантастика наконец проснулась.

Д. Появились новые авторы (Иванов, Петров, Сидоров, А. Н. Лев-

Толстой), которые очень увлекательно написали про завоевание Венеры, про завоевание недр Земли и про достижения геронтологии.

Е. Но все ли у нас благополучно?

Ж. Не все. Бытуют еще некоторые недостатки. Образов нет. Людей нет. Художественного вкуса нет. Мастерства нет. Ничего нет. Скучно. Грустно.

З. Хочется пожелать нашим фантастам еще больших успехов.

Если ефрейторы унижаются все-таки до атаки на одного отдельно стоящего автора, то унтер-офицеры, как мы уже говорили, никак не способны подняться до этого. Он критикует оптом, окружая и перемалывая сразу целые подразделения авторов. Очевидно, унтер-офицеру тоже все ясно. Он явно считает, что понимать тут нечего, и потрошит научную фантастику, не замечая, где кончается один автор и начинается другой.

Кто станет спорить, что критик имеет полное право расчленить и исследовать литературное произведение, а автор имеет не меньшее право жалобно закричать: «Увы мне, опять не поняли!» Это несомненно бесспорное положение становится спорным, когда речь заходит о научной фантастике. Вот мы считаем, что это положение следует распространить на научную фантастику. Мы считаем, что критику в любом случае невместно заявлять: «Чего-де там понимать? Все и так ясно».

Мы считаем, что научного фантаста тоже можно понять, а можно и не понять. Переведем это на привычный ефрейторам язык письменного приказа: «Критикам навсегда запомнить надлежит, что всякий честный писатель-фантаст — это прежде всего писатель, обремененный мыслями и идеями и удовлетворение свое ищущий „в освобождении от груза своих мыслей“, как говаривал Моэм, и пишущий потому, что не может не писать».

Такова критика, которая у нас перед глазами, и другой критики мы не видим.

5. КРИТИКА, КАКОЙ МЫ БЫ ХОТЕЛИ ЕЕ ВИДЕТЬ

(С приложением списка некоторых запрещенных приемов)

Мы боимся, что нам опять придется говорить банальности. По нашему глубокому убеждению, критикам следует работать так (мы хотим сказать, что если бы мы были критиками, мы работали бы именно так):

1. Заинтересоваться данной книгой. (Только не говорите нам, что в

нынешней фантастике нечем интересоваться — мы все равно не поверим: мы же интересуемся. Есть, правда, критики, которые не любят научную фантастику вообще, — о них речи нет, пусть они критикуют то, чем они интересуются.)

2. Несколько раз внимательно прочитать книгу. (Иногда это бывает трудно, но это же ваша работа! Писать тоже трудно, уверяем вас.)

3. Постараться понять замысел автора. Путеводной звездой да послужит вам мысль о том, что таковой замысел наличествует почти всегда. (Тут, главное, не закричать еще над обложкой: «Чего там, все ясно!» Остальное пойдет как по маслу.)

4. Разобраться в художественных средствах, которыми пользуется автор для проведения своего замысла (при этом по возможности не стремитесь рассматривать каждый необычный эпизод как элемент разнузданного развлеченчества. Так, например, появление на страницах кошмарного чудища отнюдь не всегда задумывается автором-фантастом только для того, чтобы не дать заскучать читателю).

5. Оценить замысел и художественные средства и установить, насколько они соответствуют друг другу. Это самый существенный момент. Выяснение, как соотносятся форма и со…

Знаете, это все, наверное, уж слишком банально. Вы, вероятно, нас уже поняли, товарищи критики. По сути дела мы хотели бы только, чтобы вы были добросовестны. И еще. Есть такое понятие — запрещенный прием. На всякий случай список таковых мы прилагаем.

СПИСОК ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРИЕМОВ

1. Лихие наскоки журналист-ефрейторского типа. Нехорошо, нечестно выдирать из произведения одну-две строчки, обставлять выдранное насмешливо-уличающей фразеологией и сбывать то, что получилось, неприхотливым редакторам. Нехорошо, например, взяв на рассмотрение известный тургеневский рассказ, тщательно выписать оттуда все, что говорит немой Герасим, язвительно заметить, что во всем могучем русском языке автор находит только одно мычание, и снести этот нехитрый опус в редакцию, озаглавив его «Ни му, ни му».

2. Обвинение научной фантастики в восьмом, девятом и прочих смертных грехах. Обычно этим занимаются критики, которые научную фантастику терпеть не могут и потому видят в ней источник разнообразных бед. Нехорошо, нечестно фантастов, по каким-то соображениям вышедших

за пределы современных научных представлений, либо обвинять в подрыве достоинства науки, либо объявлять ответственными за появление прожектеров и всяких там перпетуммобилистов. Обвинения, при всей их нелепости, звучат очень обидно прежде всего потому, что практически каждый фантаст очень любит науку и презирает перпетуммобилистов. Современным фантастам остается утешаться мыслью о том, что в том же положении оказываются Гомер и Сирано де Бержерак, ответственные, по мнению нынешних критиков, за появление в отдаленные времена такой армии изобретателей вечного двигателя и искателей трисекции угла и квадратуры круга, что Парижская Академия наук вынуждена была отгородиться от нее специальным постановлением.

3. Унтер-офицерские шалости и передержки разных калибров. Например, передержка крупного калибра. Нехорошо, нечестно, взяв рассказ Уэллса «Яблоко» и кокетливо спутав цель с методом, объявить великого фантаста-реалиста мистиком-мракобесом на том основании, что в рассказе имеется одно яблоко с древа познания. А вот передержка калибром поменьше. Уцепиться за естественное желание какого-нибудь героя светлого будущего поспать, попить или поесть и торжествующе воскликнуть: так вот каковы по мнению автора заветные стремления героев — покорителей иных планет! Нехорошо, нечестно.

Если критики откажутся хотя бы от этих трех перечисленных запрещенных приемов, то даже при прочих равных условиях мы увидим почти такую критику, какой мы хотели бы ее видеть.

6. ДОЛЖНЫ ЛИ ПИСАТЕЛИ ЗАНИМАТЬСЯ КРИТИКОЙ ФАНТАСТИКИ

В идеале — не должны. Писатели вообще гораздо более миролюбивы, чем критики. Но уж очень донимают иной раз ефрейторы и унтеры — без всякой, что самое печальное, пользы для себя и для других. И вот тогда писатель, потный от злости, хватает неуклюжую критическую рапиру и начинает неумело тыкать ею в серую критическую массу.

А теперь, расставаясь с читателями, хочется пожелать нашим критикам еще больших успехов.

Аркадий Стругацкий
«ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА ЯВИТСЯ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА»[11]
(Отрывок из выступления на встрече писателей-фантастов и ученых «Человек и будущее»)

В советской, да и в зарубежной фантастике о человеке будущего пишется еще очень мало. Каков будет он, этот человек? Очевидно, он будет лишен таких пережитков прошлого, как приобретательство, эгоизм, зависть. Зато в полной мере откроются его духовные возможности. И в этой связи задачи писателей-фантастов, как ни странно, усложняются. Как, например, показать конфликты между людьми будущего? В какой форме эти конфликты будут проявляться? Видимо, основой их будет та же борьба, но борьба не добра со злом, а… добра против добра.

В этих конфликтах будут сталкиваться два или несколько положительных героев, из которых каждый убежден и прав по-своему и в чистоте стремлений которых никто не сомневается. Они и в ожесточенных столкновениях останутся друзьями, товарищами, братьями по духу. На чьей же стороне будут в таком случае симпатии автора?

Проблема человека большая и сложная, над ней предстоит еще немало потрудиться писателям-фантастам.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ЧЕРЕЗ НАСТОЯЩЕЕ — В БУДУЩЕЕ[12]
(Выступление в дискуссии под рубрикой «Мастерство писателя. Литература и наука»)

Если принять во внимание, что в наше время наука стала фактором первостепенного общественного значения, важнейшим аспектом Ее Величества Действительности, то вопрос «Писатель и наука» без труда сводится к не новому уже и по-прежнему сложному вопросу «Писатель и действительность». Но такая постановка вопроса слишком обща; она приводит к банальностям, вроде: «Неудержимо стремительный прогресс науки на глазах меняет повседневную жизнь…», «В своем стремительном развитии наука формирует у человека совершенно новое мироощущение…», «Возник и неудержимо растет массовый человек нового типа — научный работник…» и так далее. Поэтому мы позволим себе несколько сузить вопрос и поговорить на тему «Писатель-фантаст и

наука». Сразу оговоримся, это вовсе не значит, что мы признаем за фантастикой какую-то особую жанровую специфику. Просто вопрос о роли науки в литературной фантастике ставится в последнее время как-то излишне остро.

Прежде всего, что такое писатель-фантаст? Пресса распространяет мнение, будто писатель-фантаст есть либо крылатый мечтатель, либо генератор идей, либо популяризатор и бард науки, либо то и другое и третье вместе. Он крылато мечтает о грядущих достижениях науки, исходя из достижений науки сегодняшнего дня. Он занят генерированием научных идей, которые впоследствии поразят потомков мощью и глубиной предвидения. Он популяризирует и воспевает науку, вплетая скучноватые специальные сведения в роскошный ковер яркого и острого сюжета. Можно согласиться с таким мнением, а можно и не согласиться. Мы, например, соглашаемся, но считаем, что оно далеко не исчерпывает многообразия фантастики. Проваливаются куда-то Уэллс, Лем, Брэдбери и, что самое обидное, последние повести братьев Стругацких.

Функциональные определения задач фантастики только мешают и сбивают с толку. Правда состоит в том, что писатель-фантаст — это прежде всего такой же писатель, как и все остальные, — обремененный мыслями и идеями, удовлетворение свое ищущий «в освобождении от груза своих мыслей» (как говорил Моэм), пишущий потому, что не может не писать. И фантастика является полноправным видом художественной литературы без всяких скидок на жанр, призванный отражать действительность в художественных образах. Только полезно помнить, что действительность — это не только мир вещей и событий, но и духовный мир человека, и мир общественного сознания; что отражать — вовсе не обязательно означает отражать в плоском зеркале; что художественный образ есть нечто, существенно зависящее от цели, поставленной автором перед собой. И отличие писателя-фантаста от «обычного» писателя состоит в том, что он пользуется методами, которые не применяли ни писатели-реалисты, ни Рабле, ни Гофман, ни Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». Отличие только в методах.

Все это прекрасно, скажете вы. Но при чем здесь наука? Почему вас называют научными фантастами? Мы ответим: не знаем. Не знаем, почему до сих пор держится устаревший термин «научная фантастика». В лучшем случае он пригоден для определения одного из направлений фантастики. И мы понятия не имеем, почему у писателя-фантаста должны быть какие-то особые взаимоотношения с наукой, отличные от отношений с наукой любого другого писателя. Могут возразить: но ведь большинство фантастов

являются научными работниками или инженерами. Это так. Но Гранин, Грекова и многие другие тоже пришли в литературу не из литературного института. Гранин и Грекова показывают психологию научного коллектива и тернистые пути научного поиска не менее убедительно, чем, скажем, Савченко и Войскунский с Лукодьяновым. Отношения с наукой у них всех примерно одинаковые. Разные только методы работы. Хотя, заметьте, цели работы тоже одинаковые.

В идеале у всех писателей нашей страны отношения с теперешней «властительницей дум» должны быть такими же, как у Гранина и у Грековой. И не только потому, что новый ученый заявляет свои права на место в литературе наряду с другими, старыми героями нашего времени. Дело еще и главным образом в том, что только «короткая нога» с наукой, с научным мировоззрением, с философией науки позволяет сейчас раздвинуть рамки традиционных сюжетов литературы и заглянуть в новый, невиданный доселе мир гигантских человеческих возможностей, всепланетных тенденций, надежд и ошибок. Если можно так выразиться, «писатель-научник» может в литературе больше, чем «обыкновенный» писатель. Человек, не имеющий представления о самых общих закономерностях движения материи и общества, просто не может быть в наше время настоящим писателем. Ну что он нового скажет своему современнику, всюду побывавшему, острослову и умнице, открывателю миров и строителю морей? Современная литература высшего класса — это философская литература. Толстой, Достоевский, Фейхтвангер, Томас Манн — вот гигантские образцы того, как должен подходить к своей работе сейчас *каждый* писатель.

«Писатель-научник», писатель-философ видит дальше, угадывает вернее. Взрывоподобное развитие науки застало человечество врасплох. Лучшие умы человечества силятся ныне осмыслить этот процесс и научиться управлять им. Рано или поздно это им удастся. Что же касается не лучших умов, то они либо, как и встарь, на все плюют, либо по невежеству устраивают облавы на узкие брюки и участвуют в диспутах псевдофизиков против псевдолириков. Время сейчас сложное. Писатель должен пристально следить за социальной действенностью всех явлений жизни, прогресса науки; он должен первый привлечь внимание к росткам прекрасного нового, первым предупредить о возможной, никем еще не осознанной угрозе. Это может сделать только писатель, вооруженный знанием. Хочется добавить — современным знанием. К сожалению, таких писателей пока прискорбно мало.

Что же касается роли науки в нашем творчестве, в творчестве братьев

Стругацких, то добавить к уже сказанному, пожалуй, нечего.

Считается, что мы пишем о будущем, строим модели грядущих существований. Это, однако, не совсем так. Во всяком случае, для наших последних произведений: «Стажеры», «Попытка к бегству», «Далекая Радуга» и «Трудно быть богом». Акинари Уэда сказал как-то: «Настоящее можно узреть в глубокой древности». У него был свой метод, через столетие примененный Фейхтвангером. А мы поступаем немного по-другому — протягиваем элементы настоящего в более или менее отдаленное будущее. Нам представляется, что такой метод позволяет более отчетливо увидеть эти интересующие нас элементы. Но это, разумеется, не единственно возможный метод.

Очень хочется написать о многом.

О далеком будущем с его колоссальными проблемами, которые мы сейчас не в состоянии разрешить, но уже можем поставить, о будущем, которое предстает перед нами не как смутное розовое марево над болотом всеобщей успокоенности, а как великолепный и грозный мир человеческого духа, озаряемый молниями великих задач и дел, мир невиданных взрывов коллективного гения, мир поражающих воображение судеб и характеров.

О близком будущем, о великой эпохе человеческой истории, которая даст нашим потомкам мир и безопасность, об эпохе победоносного сражения с мещанством — сражения, о котором так хорошо сказал Паустовский: «Человек с рефлексом вместо души, человек плотоядный, зараженный эгоцентризмом, должен быть уничтожен. Посмотрим, кто кого пересилит. Мы сильнее своим гневом и непримиримостью, они — жадностью и волосатым кулаком». Мещанин в человеке будет уничтожен. Он не выдержит борьбы с развивающейся экономикой и наукой о воспитании человека в человеке.

И о нашем времени хочется написать, о нелегком и суровом, когда миллионы испытываются на прочность, создавая фундамент будущего. О времени проблем, требующих немедленного разрешения, о времени удивительно интересных, хотя и противоречивых людей, решающих эти проблемы.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ФАНТАСТИКА — ЛИТЕРАТУРА[13]
(Из материалов дискуссии, состоявшейся в январе 1965 года в ленинградском Доме детской книги)

Фантастика как явление в литературе существует уже много лет (по крайней мере со времен Ж. Верна), но по сей день не прекращаются споры: зачем она, какими проблемами ей надлежит заниматься и в чем ее суть. На первый взгляд может показаться, что споры эти являются чисто литературо — ведческими и не могут оказывать существенного влияния ни на работу писателей-фантастов, ни на суждения об этой работе читателей — любителей фантастики; но история, по крайней мере советской фантастики, показывает, что это неверно. И если мы — писатели, практики — принимаемся теоретизировать и намерены сейчас предложить вниманию свой взгляд на фантастику, то происходит это не потому, что нас увлекают литературоведческие проблемы сами по себе. Судьбы фантастики нам дороги, и нам кажется небезопасной та теоретическая путаница, которая имеет место в представлениях многих читателей, редакторов, библиотекарей и педагогов, — путаница, вызванная не только отсутствием общепринятой теории фантастики, но и существованием «имеющих хождение наравне» самодеятельных определений, слишком узких, слишком примитивных, упрощающих представлений о фантастике, принижающих требования к ней.

Газетные и журнальные статьи, встречи с читателями самых разных возрастов и профессий, споры с коллегами и беседы с людьми, работа которых связана с изданием и пропагандой фантастики, убедили нас в существовании по крайней мере трех достаточно распространенных взглядов на фантастику, влияние которых на общественное мнение представляется нам небезопасным для развития фантастики.

Когда-нибудь теория вскроет исторические и психологические корни этих взглядов (мы называем их «жесткими») и, может быть, даже покажет неизбежность их появления на определенном этапе развития литературы. Нас же сейчас интересует более всего вопрос: как нейтрализовать действие этих взглядов, как показать их несостоятельность и потенциально неблаговидную роль в развитии фантастики?

Вот эти жесткие взгляды в возможно более сжатой и обнаженной формулировке:

1. ФАНТАСТИКА ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА НАУЧНОЙ МЕЧТЫ. Главная ее задача — популяризовать достижения науки, приобщать широкие массы читателей к научно-техническому прогрессу, экстраполировать этот процесс в увлекательной и общедоступной форме. Это главное; все же прочее в фантастике не существенно и не стоит специального внимания.

2. ФАНТАСТИКА ЕСТЬ ЛИТЕРАТУРА О СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ. Главная ее задача — создать зримые картины коммунистического мира,

яркие образы людей будущего. Это главное, а все прочее не существенно и не стоит специального внимания.

3. ФАНТАСТИКА ЕСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Главная ее задача — снабжать духовной пищей многомиллионную армию советских школьников, формировать коммунистическое сознание детей, готовить их к вступлению в большой мир науки. Это главное, а все прочее в фантастике интересно лишь постольку, поскольку может способствовать решению главной задачи.

Очень важно подчеркнуть, что каждое из этих утверждений по сути своей бесспорно. Никакой нормальный человек, обладающий коммунистическим мировоззрением, не станет отрицать необходимость приобщения широких масс к научно-техническому прогрессу, огромной важности создания зримых картин светлого будущего и величайшего значения воспитания подрастающего поколения в духе коммунистической морали.

Вся беда состоит в том, что предлагаемые определения фантастики являются жесткими и каждое из них проникнуто духом нетерпимости. Стремление выделить некое ГЛАВНОЕ направление в фантастике, выделить любой ценой, хотя бы и в ущерб всем прочим направлениям, вопреки богатейшим традициям мировой фантастики, вопреки элементарному требованию, предъявляемому к любому определению, — требованию достаточной общности — вот что делает эти определения неприемлемыми и некорректными.

Пусть фантастика есть действительно по преимуществу литература научной мечты. Слава Ж. Верну, слава А. Беляеву, слава К. Циолковскому-писателю! Воистину слава этим замечательным людям, без сомнения, украсившим мировую фантастику! Но что делать с «Войной с саламандрами» К. Чапека? На какое место в литературе научной мечты может претендовать всемирно известная «Борьба миров» Г. Уэллса? Неужели вся прелесть блестящей «Аэлиты» А. Толстого объясняется тем, что повесть описывает межпланетный перелет ракеты на «ультралиддите»?

Пусть фантастика есть по преимуществу литература о светлом будущем. Да, превосходны «Туманность Андромеды» И. Ефремова и «Звезда КЭЦ» А. Беляева и не лишен больших достоинств утопический роман Г. Уэллса «Люди как боги». Но о каком светлом будущем идет речь в «Гиперболоиде инженера Гарина» А. Толстого? Не придется ли нам зачислить в несущественные и нетипичные для фантастики замечательные произведения Р. Брэдбери? Образцовые по литературным достоинствам памфлеты Л. Лагина? Популярнейшие среди читателей острые

сатирические рассказы И. Варшавского?

Утверждение же, что фантастика — это литература для детей, кажется неприемлемым уже хотя бы потому, что всемирно прогремевшая «Туманность Андромеды» вряд ли предназначена для детей. Это произведение сложное, насыщенное информацией, доступное, по сути, только высококвалифицированному читателю.

Да, фантастика оказывается слишком разнообразной, слишком разнотемной, чтобы можно было втиснуть ее в узкие рамки любого из жестких определений. Попытки же выделить некое главное направление в фантастике приводят только к новым абсурдам, ибо отсекают и низводят до несущественных лучшие образцы жанра и «открывают» вдруг главного и неглавного Уэллса, главного и неглавного Ефремова, главного и неглавного Верна. Более того, нетерпимость и узость жестких определений порождают не только классификационную нелепицу. Они ограничивают сферу действия фантастики, возможности изучения и отражения ею мира событий и идей.

Нельзя ограничивать фантастику задачей популяризации науки и изображения научно-технического прогресса. Этого слишком мало. В тени остаются важнейшие проблемы общефилософского характера, социологические аспекты технического прогресса, чисто человеческие его аспекты, наконец.

Мы не можем считать достаточно исчерпанной проблематику СОВРЕМЕННОСТИ, чтобы полностью отдаваться изображению картин грядущего коммунистического мира. Слишком много вопросов ставит еще перед литературой современность, слишком пристально наше внимание к человеку сегодняшнего дня.

Что же касается представлений о фантастике как о сугубо детской литературе, то оно означает несправедливейшее забвение интересов огромного слоя читателей, составляющих творческий пласт государства. Да, школьник — это верный друг фантастики, благодатный и благодарный читатель, ради которого надо и стоит работать. Но не только же ради него! Мы провели маленькую самодеятельную анкетку, опросив 64 человека в диапазоне от 20 до 60 лет, занимающих самое различное служебное положение — от лаборанта до директора научного учреждения. Все опрошенные представляли научно-техническую интеллигенцию: математики, астрономы, биологи, историки, инженеры… Вопрос анкеты формулировался так: «Внима— тельно ли вы следите за фантастической литературой и что вы ищете в ней?»

Оказалось, что 45 % опрошенных регулярно читают фантастику,

следят за ее выпуском, ищут ее в магазинах, выпрашивают у знакомых — словом, любят ее. Могут сказать: это ничего не значит, детективы (даже самые дрянные) тоже выпрашивают у знакомых и взахлеб читают в автобусах и метро. Так вот выяснилось, что четверть всех опрошенных (то есть половина любителей фантастики) рассматривают фантастику не как развлекательное чтиво, а как источник эмоций и эстетического наслаждения — то есть относятся к фантастике так же серьезно, как и к остальной прозе. Если распространить результаты анкеты на всю научно-техническую интеллигенцию страны (для этого есть все основания) и если добавить студентов, высококвалифицированных рабочих, инженеров-производственников и передовых колхозников, то мы получим многомиллионную армию читателей. Их меньше, конечно, чем школьников, но их тоже много, и это наиболее серьезные, наиболее требовательные читатели со своей точкой зрения на мир и на литературу. И, конечно, средний уровень их требований значительно выше среднего детского уровня. Их уже, как правило, не удовлетворяют Ж. Верн и А. Беляев, хотя они и сохранили об этих писателях самые приятные воспоминания, они тяготеют к таким, как Ефремов, Гор, Брэдбери, Уэллс, Варшавский, — их запросы шире и глубже детских…

Короче говоря, нам представляется совершенно очевидной теоретическая несостоятельность указанных жестких определений. Их узость, ограниченность, дух взаимной нетерпимости, заключенный в них, не могут не оттолкнуть любого человека, по-настоящему любящего и знающего фантастику. Тенденция же выделять и культивировать некое главное направление (тематическое или идейное) не может не привести к самым неприятным последствиям.

Во-первых, ограниченность задачи (а всякое жесткое определение есть, по сути, формулировка главной задачи писателя-фантаста) неизбежно порождает однообразие сюжетов и приемов, узость мысли и скудость проблематики. Именно так появляются произведения, осью которых становится фантастическое открытие или машина, повести, в которых человек сведен к схеме, к штампу, и даже творения, в предисловии к которым сообщается что-нибудь, вроде: «Главным достоинством предлагаемой повести является то обстоятельство, что все численные данные относительно взаимного расположения планет получены автором самостоятельно и абсолютно математически точны».

Во-вторых, уже само сознание того, что повесть пишется в «главном русле», способно играть злые шутки и с автором, и с читателем, и с литературой. Конечно, весьма заманчиво отыскать некую стержневую,

самую важную, самую главную задачу и работать именно в ее рамках. И начинает казаться тогда, что тебе можно многое простить: ведь ты решаешь ГЛАВНУЮ задачу. Можно не особенно следить за стилем, можно не потеть в поисках единственного верного слова, можно уделять не слишком уж много внимания достоверности образа… Многое можно: ведь ты зато решаешь ГЛАВНУЮ задачу! Именно так появляются зачастую произведения безукоризненно идейные, блистательно популярные и широко доступные и вместе с тем — бледные, пресные, водянистые, начисто лишенные чисто литературных достоинств, а потому не способные по-настоящему увлечь, заинтересовать, взволновать читателя; произведения, общественная ценность которых, несмотря на всю их доступность и идейную выдержанность (и вопреки им), равна нулю…

За много лет своего существования фантастика накопила богатейший опыт, создала завидные традиции. Диапазон тем и сюжетов, поставленных проблем, сконструированных миров, диапазон имен и талантов, литературных манер и авторских склонностей чрезвычайно широк. Верн и Уэллс, Ефремов и Брэдбери, Лем и Шекли, А. Беляев и Гор, Казанцев и Днепров, Немцов и Лагин, Чапек и Азимов, Веркор и Варшавский, А. Толстой и Карсак… Проблематика научно-технического прогресса и социологические его аспекты; философские вопросы самого общего характера; проблемы гносеологии, проблемы места человека во Вселенной; антивоенная и антиимпериалистическая тематика; утопические романы и романы-предупреждения… Никакое жесткое определение не способно, конечно, охватить и отразить все это многообразие, и если мы хотим сформулировать достаточно адекватный и корректный взгляд на фантастику как на литературное явление, мы ни на минуту не должны забывать о ее многогранности и разнообразии. Но, кроме того, мы должны иметь в виду еще и следующие обстоятельства.

Во-первых, фантастика никогда не сужалась до одной темы или даже до ограниченной совокупности тем или задач. Фантастика, как и вся литература, объективно полагала своей целью отражение действительности в художественных образах, причем под действительностью следует понимать не только мир вещей и событий, но и мир общественного сознания, мир прошлого и будущего человечества в преломлении творческого восприятия писателя. И это не теоретические соображения — это эмпирический факт, который нетрудно установить, если непредвзято окинуть взором весь пройденный фантастикой путь. Поэтому, формулируя свой взгляд на фантастику, мы исходим из представления о ней, как о части всей литературы, преследующей общелитературные цели, подчиняющейся

единым литературным законам. Мы стремимся не столько отграничить фантастику от всей литературы, сколько, найдя ее специфические черты, слить с общим потоком прозы.

Во-вторых (и это тоже эмпирический факт), фантастика уже дала миру образцы, занимающие достойное место в ряду лучших произведений мировой «большой» литературы. «Человек-невидимка» и «Машина времени» Уэллса, «Война с саламандрами» и «РУР» Чапека, «Туманность Андромеды» Ефремова и «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери — это не просто увлекательные, поражающие воображение и возбуждающие мысль произведения, это настоящая литература, без всяких скидок. Литература с большой буквы. Поэтому, формулируя свой взгляд на фантастику, мы должны делать это так, чтобы предъявить к фантастике максимальные требования, чтобы способствовать подъему ее уровня до уровня лучших ее образцов и, следовательно, до уровня большой литературы.

Короче говоря, определение фантастики должно быть достаточно общим, чтобы не остались за бортом самые, может быть, лучшие ее представители, и содержать литературные требования, чтобы специфические свойства фантастики не могли служить оправданием для снижения ее художественного уровня.

Нам представляется, что ФАНТАСТИКА ЕСТЬ ОТРАСЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ, ПОДЧИНЯЮЩАЯСЯ ВСЕМ ОБЩЕЛИТЕРАТУРНЫМ ЗАКОНАМ И ТРЕБОВАНИЯМ, РАССМАТРИВАЮЩАЯ ОБЩИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (типа: человек и мир, человек и общество и т. д.), НО ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРИЕМОМ — ВВЕДЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТА НЕОБЫЧАЙНОГО.

Необычайное может принимать в фантастическом произведении самые разнообразные конкретные формы. Это может быть некое научное открытие или изобретение; это может быть перенесение действия в небывалую обстановку (в будущее, на иную планету, в другой физический мир и т. д.); это может быть чисто сказочное допущение и т. д. Необычайное в фантастике может оказаться чистейшим приемом (как в «Человеке-невидимке» и «Яблоке» Уэллса), применяемым для решения задач, не связанных прямо с сущностью необычайного. Необычайное может быть и самоцелью в произведении, как это происходит, скажем, в большинстве романов Ж. Верна. Но необычайное присутствует всегда. Когда необычайное перестает быть необычайным, фантастика перестает быть фантастикой — мы можем наблюдать такой процесс испарения фантастичности из произведений, посвященных научным открытиям, когда

открытия эти, благодаря развитию науки и техники, становятся элементами реальной действительности. Необычайное может сделать произведение более фантастичным или менее фантастичным, но само по себе оно не способно сделать его литературно лучше или хуже. Как бы элемент необычайного ни поражал воображение, какой бы свежей или новой ни казалась связанная с ним идея, он не может поднять произведение до уровня большой литературы, если одновременно не выполняются некие более общие литературные требования, если, короче говоря, произведение НЕ БУДЕТ НАПИСАНО ХОРОШО. И именно поэтому не может быть никаких главных и неглавных направлений в фантастике — могут быть только литературно хорошие и литературно плохие произведения.

Мы ни в коей мере не собираемся утверждать, что наш взгляд является абсолютно истинным и представляет собою законченную основу для создания теории фантастики. Нам кажется только, что такой взгляд имеет все преимущества перед любым из жестких определений. Мы уверены, что наше представление о фантастике окажется лишь первым, самым грубым приближением к истине, и предвидим массу возражений.

Нам могут сказать, например, что наше определение страдает излишней общностью, что оно объединяет в одну рубрику и Уэллса, и Свифта, и Рабле, и даже народные сказки. И мы ответим: да, это так. Это непривычно, это даже шокирует, но по сути в этом нет ничего страшного. Литературоведение — не математика. Видовые определения в нем всегда страдают некоторой расплывчатостью. Кроме того, нам кажется предпочтительнее оставлять в рамках фантастики значительные образцы мировой литературы, нежели отбрасывать их. Пусть лучше Свифт украсит фантастику и станет образцом для фантастов, чем Чапек в угоду жесткому определению будет искусственно исключен из нее и потерян как объект изучения и положительный пример. И, честное слово, полезнее признать фантастическим произведением сказку об Аладдине, чем отказаться от великолепного приема введения в реалистическое произведение сказочного элемента, примененного Уэллсом в «Яблоке» и «Человеке, который мог творить чудеса». Ведь, в конце концов, дело не в том, как классифицировать «Шагреневую кожу» Бальзака, а в том, чтобы предоставить в распоряжение фантастики максимально большое разнообразие художественных приемов для постановки и разрешения максимального количества задач и приемов, стоящих перед литературой.

Нас могут спросить также, зачем, собственно, узаконивать прием введения необычайного, зачем говорить о фантастике специально, раз она призвана рассматривать все те же общелитературные проблемы. Этот

вопрос есть вопрос о НАЗНАЧЕНИИ фантастики как рода литературы. Он весьма емок и мог бы составить содержание нескольких статей. Но мы обратим внимание только на одну из задач фантастики, может быть, и не самую важную, но, во всяком случае, своим существованием доказывающую необходимость фантастики как отрасли литературы.

Речь идет о новых общечеловеческих проблемах и задачах литературы. Двадцатый век иногда называют веком разрушенных мифов. С тем же успехом его можно было бы назвать веком революций во всех областях человеческой деятельности. Социалистические революции разрушили миф о вечности и незыблемости принципа частной собственности. Антиколониальные революции разрушили миф о вечности колониализма. Революция в физике перевернула наши представления о микро- и макромире, время потеряло атрибут абсолютности, пространство оказалось тесно связанным с распределением вещества, и уже надвигается новая революция, готовая поколебать нашу веру в пространство и время как нечто непрерывное. Развитие кибернетики довершает вторую мировую промышленную революцию, переворачивает прежние, уже устоявшиеся представления о жизни как форме движения материи, о разуме, о месте человека во Вселенной. Стремительное развитие генетики порождает фантастические надежды и фантастические опасения. Человек устает удивляться, все труднее становится поразить его воображение. Прогресс столь быстр, что вопросы, еще в начале века казавшиеся праздными и наивными, сегодня приобретают чуть ли не утилитарный характер, и, наверное, никогда еще человек так ясно не представлял себе, как много неожиданного может подстерегать его на дорогах, ведущих в будущее.

Литература, если она хочет оставаться орудием формирования мировоззрения и мироощущения, обязана если не решать, то, во всяком случае, ставить перед обществом все задачи, ставшие насущными или кажущиеся насущными в перспективе. Таких задач сейчас много, как никогда.

Например, вопрос о контакте человечества с иным разумом. Этим вопросом интересуются сейчас миллионы. И не только потому, что он будоражит фантазию. Вопрос этот перестал быть абстрактным и схоластическим, вопрос стоит на повестке дня, вопрос в принципе решен развитием электроники и радиотехники. Но вопрос этот необычайно сложен, связан с десятком наук от астрономии до социальной психологии и имеет массу аспектов. Технический аспект достаточно детально изучен, и уже в ближайшие годы ученые смогут сигнализировать в космос о нашем существовании, но… нужен ли нам контакт? Полезен ли он человечеству?

Поможет ли он разрешить человечеству его человеческие проблемы или только добавит новые проблемы — совершенно иного масштаба, принципиально иной сложности? «Да, можем, но стоит ли?» Отвечать на этот вопрос с бухты-барахты по меньшей мере наивно, необходимо тщательнейшим образом продумать все возможные варианты, чтобы избежать последствий чрезвычайно неожиданного и малоприятного свойства.

Возьмем пример из области социологии. Мир «Туманности Андромеды» прекрасен, но дороги к нему преграждены многими рогатками, и, наверное, самой опасной из таких рогаток является влияние буржуазной идеологии. Совершенно ясно, что одним повышением уровня материального благосостояния невозможно достигнуть истинно светлого будущего. Мы знаем, что в целом ряде капиталистических стран достигнут более высокий, нежели у нас, уровень благосостояния. Но стали ли эти страны ближе к коммунизму, чем мы? Нет, ибо там свирепствует никем не пресекаемое и даже поощряемое мещанство. И если даже каким-то путем удалось бы достигнуть в этих странах общественного владения орудиями и средствами производства, то и тогда осталась бы величайшая из задач — задача восстановления ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО мировоззрения. Эта проблема еще более сложна; она связана, вероятно, с созданием научной коммунистической педагогики, исчерпывающей теории преобразования и совершенствования человеческих душ.

Мы привели только два примера современных проблем, можно было бы привести их значительно больше: от хорошо известной проблемы «человек и машина» до проблемы будущего животных инстинктов в человеке. Проблемы эти различаются и по степени их насущности, и, вероятно, по степени их важности, хотя именно об относительной их важности нам особенно трудно судить сейчас, когда мы так далеки от их разрешения. Существенно то, что большая литература крайне редко обращается к ним, оставаясь в рамках классической проблематики. И не важно, собственно, почему это происходит. Важно то, что проблемы сформулированы, что проблемы возникают ежедневно — новые и новые, — что они в значительной степени отражают коренные изменения, происходящие в мире, и есть сейчас только одна отрасль литературы, которая систематически ими интересуется. И эта отрасль — фантастика.

Прежде чем закончить это сообщение, нам хотелось бы лишний раз подчеркнуть, что теоретическая путаница в вопросах фантастики небезопасна. Она может привести к понижению художественного уровня фантастики, к сужению ее возможностей, к безнадежному оскучнению ее,

наконец, если теорию и дальше будут пытаться подменить системой жестких определений. Фантастика всегда была многообразной, умной и значительной. Такою она должна оставаться и впредь, потому что перед нею стоит много увлекательнейших проблем, число которых все время возрастает.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
О ЖИЗНИ, ВРЕМЕНИ, СЧАСТЬЕ…[14]

1. Что такое счастье в жизни, как связано это понятие с личными радостями и огорчениями, с успехами и преуспеянием (со славой, наградами, материальным благополучием)?

Для нас счастье — это кратковременное ощущение радости бытия, возникающего от сознания хорошо выполненного замысла. Ощущение острое, сильное и редкое. Оно возникает неожиданно и быстро исчезает, потому что невыполненного, незаконченного и неудачного всегда больше, и нормальное состояние озабоченности и неудовлетворенности, естественно, преобладает. Поэтому мы гораздо более ценим ощущение занятости и полноты жизни, ощущение менее яркое, но более длительное и надежное. Когда-то мы писали: «Жизнь дает человеку три радости: друга, любовь и работу». Мы сейчас думаем так же. Хотя прекрасно понимаем, что счастье — понятие чрезвычайно индивидуальное и зависит от многих факторов: от воспитания, от образа жизни человека, от его темперамента, от его окружения и физического здоровья. Мы знаем, что для многих людей счастье — это просто отсутствие несчастья, довольство, удовлетворенность, и мы понимаем этих людей, хотя и не приемлем такого представления о счастье. Для большинства людей счастье связано с осуществлением желаний, и, вообще говоря, желания предосудительные могут приносить столько же счастья, сколько и желания благороднейшие. Человек может быть счастлив даже в ущерб самому себе — когда источником его счастья оказывается удовлетво— рение дрянных и мелких желаний. Слава ради славы, награда ради награды, благополучие ради благополучия — все это рано или поздно приводит человека в духовный тупик, в котором нет места никакому счастью и где остаются одни только сомнительной приятности воспоминания. Для нас уже много лет основным источником счастья служит наша работа, и выражение «человек создан для счастья…» мы склонны истолковывать как «человек рожден для творчества» (если человек вообще рожден *для* чего-нибудь).

2. Как связана материальная обеспеченность с уровнем морали? Как вы определите сегодняшнее понятие мещанства, мещанской морали, мещанского вкуса? Как, по-вашему, связана талантливость человека с моральными качествами?

Материальная обеспеченность сама по себе — это нормальное и естественное состояние человека, в котором ему легче всего заниматься творчеством, не отвлекаясь на ерунду. Но материальная обеспеченность становится мощной преградой на пути человека к человеческому, если в силу воспитания или условий жизни превращается в самоцель. Кругозор сужается безнадежно, и человек так и не становится Человеком. Он становится мещанином.

Паскаль сказал: «Учитесь хорошо мыслить — вот основной принцип морали». Нам очень близка эта формулировка. Человека отличает от животного, по-видимому, прежде всего способность мыслить (хотя никто толком не знает, что это значит). И раз ты человек — то мысли. И мысли хорошо: ищи знание, сомневайся, бойся узости и не бойся разрушения привычного и общепризнанного, внимательно и бережно относись ко всему новому, как к ребенку, который будет жить, когда тебя уже не станет. Думай о будущем. Помни, что ты ежедневно и ежечасно своими действиями (или бездействием) творишь это будущее и поэтому очень многое зависит от твоих действий.

Мещанин — это человек, который не желает или не может мыслить хорошо. Его кругозор узок, его духовные потребности бедны и примитивны, а эгоизм его богат и многогранен. Он не хочет знать больше, чем знает, и не желает понять, что кто-то способен думать и чувствовать иначе, чем он. Мещанин — это прежде всего эгоист, и все его усилия направлены на создание оптимальных условий для своего существования. В достижении таких условий он не брезгует никакими средствами, потому что все его принципы сводятся к одному: «Пусть мне будет хорошо — это главное, а остальное как-нибудь утрясется». Бывает, на наш взгляд, мещанин глупый и мещанин умный. Глупый мещанин обнаруживается легко: он честен, ибо искренне полагает, что является центром мироздания. Умный мещанин подозревает, что это не так, но считает, что это *должно* быть так, а потому лжет и скрывается под удобными масками: под маской простосердечия или под маской учености, или под маской преданности, или под маской принципиальности и непримиримости.

Каждый человек в какой-то мере эгоист, а значит, несет в себе зеркало мещанства. Это надлежит иметь в виду, быть начеку и никогда не прощать себе ничего такого, что не прощаешь другим. Знания, любознательность,

интерес к миру, жадность к новому, мысль — отличное оружие против мещанства в себе и других. Наверное, талантливые люди в этом смысле находятся в более выгодном положении. Талант — это всегда способность видеть мир ярче и многообразнее, мыслить широко и с увлечением. Поэтому, как правило, талантливый человек всегда менее эгоистичен: ему легче понять, что в мире есть много интересного и важного и кроме его собственной персоны.

3. На каких путях представляется вам наиболее действенной борьба за коммунистическую мораль, за нового человека, против пережитков мещанской, эгоистической морали? Какую роль играет в этой борьбе материальное благосостояние?

Мы считаем, что материальное благосостояние само по себе ни в коем случае не способно обеспечить духовной и моральной базы коммунизма. Мы знаем страны, в которых уровень жизни весьма высок и которые в то же время безнадежно далеки от коммунизма, как мы себе его представляем. Благосостояние, доставшееся эгоисту и невежде, человеку ограниченному и духовно бедному, неизбежно обратится против этого человека и в конечном итоге, может быть, низведет его до уровня удовлетворенного животного. Но, с другой стороны, материальная недостаточность отвлекает человека от его основного назначения — творчества, мешает ему, тормозит его развитие. Путь борьбы за коммунистическую мораль проходит по Лезвию Бритвы между пропастями голода и пресыщения. Поднимая уровень материального благосостояния, мы должны одновременно и в том же темпе поднимать уровень духовный и моральный. Нам кажется, что решающее слово здесь должна сказать педагогика — наука о превращении маленького животного в большого человека. Проблема воспитания детей представляется нам сейчас самой важной в мире и, к сожалению, проблема эта пока не решена. Речь идет именно о воспитании, а не обучении. Теорией обучения занимаются сейчас много и плодотворно, вводятся все новые и все более эффективные методы, и положение дел здесь особой тревоги не вызывает.

4. Чем объясните вы упадок гуманитарных интересов у сегодняшней молодежи и очевидное преобладание техницизма, и само возникновение вопроса о «физиках и лириках»? Отражаются ли эти тенденции как-то на вопросах морали?

Нам кажется, что наблюдаемый «упадок гуманитарных интересов» — это результат сложного взаимодействия многих социальных и психологических факторов.

Явления произвола и отступления от ленинских норм, имевшие место

в прошлом, тормозили развитие гуманитарии в нашей стране, не могли способствовать утверждению критериев правды, искренности, проблемности в искусстве, способствовали насаждению элементов догматизма и примитивизма в гуманитарных науках — в философии, истории, языкознании и т. д.

Виноваты недостатки системы воспитания. Нынешняя школа (и средняя, и высшая) готовит по преимуществу работника, участника огромного производственного процесса, необходимого для создания материального благосостояния в стране. Это и проще, и, казалось бы, полезнее. Обучить всегда легче, чем воспитать. Квалифицированного математика, физика, рабочего достаточно просто подготовить — методика процесса обучения разработана удовлетворительно и продолжает улучшаться. Квалифицированного же читателя, ценителя живописи и музыки, человека, тонко чувствующего искусство, надо *воспитать* — это гораздо труднее и вообще не ясно как. Кроме того, математик, физик, рабочий нужны позарез сейчас, нужны для выполнения гигантской, исторически сложившейся задачи, а со всем прочим можно, как считают многие, и подождать. Так возникает философия практицизма, так из школ и институтов выходят деловые, практичные, несколько грубоватые и простоватые люди. Они нужны и отлично сознают это. Они видят гигантский темп развития естествознания и справедливо гордятся своим участием в великом деле покорения природы. И когда им приходится выбирать между отставшей, заторможенной гуманитарией, только-только начинающей подниматься, и грозной, поражающей воображение, всесильной физикой, они отдают свои сердца тому, чему отдавала и всегда будет отдавать сердца молодежь: прогрессирующему, яркому.

5. Является ли, по вашему мнению, закономерным развитие именно в век атомной физики и сверхскоростей таких вещей, как абстрактное искусство, додекафоническая музыка, «конкретная» музыка, современный эксцентризм танца?

Вопрос, поставленный в такой форме, представляется нам тривиальным. Конечно же, да, конечно же, закономерно. Искусство не может не отражать существенных изменений, происходящих в мире, а XIX и XX века — это не просто разные столетия, это разные эпохи. Другое дело, почему указанные «человеческие проявления» приняли именно такой характер? Почему они так привились? Почему тысячи художников ударились именно в абстракционизм, а миллионы людей с удовольствием проэволюционировали от полек и вальсов именно к рок-н-роллу и твисту? Какие психологические сдвиги привели к тому, что многими миллионами

людей искусство стало восприниматься иначе, чем полвека назад? В такой форме вопрос в анкете не стоит. И слава богу, потому что ответить на эти вопросы мы бы не взялись.

6. Как вы определяете понятие подвига, героизма и каковы, по вашему мнению, в большинстве случаев побудительные силы подвига и проявления героизма?

Подвиг — это победа человека над своими животными инстинктами и наклонностями: над страхом смерти, над страхом утратить спокойную, устроенную жизнь, над ленью, над стремлением к удовольствиям. Поэтому, нам кажется, подвиг тем более велик, чем сильнее внутреннее противодействие ему. Поэтому самые великие подвиги — растянувшиеся на годы: совершить их труднее всего, и почти всегда они бескорыстны. А побудительных сил так много, что мы просто затрудняемся назвать наиболее часто встречающиеся.

7. Волнует ли вас вопрос о жизни и смерти, и до какого момента или события больше всего вы хотели бы дожить?

Нам очень часто бывает обидно, когда мы думаем о том, что всего лишь через пятьдесят лет нас, наверняка, не будет в живых. Очень хочется знать, что будет дальше, очень хочется пожить в будущем: ясно ведь, что там будет очень много интересного. Мы прекрасно усвоили древнюю мысль о том, что бессмертие вряд ли явилось бы благом для человечества, и тем не менее с удовольствием согласились бы дожить до момента, когда бессмертие сделается общедоступным — пусть даже так называемое практическое бессмертие. И уж во всяком случае, хочется дожить до момента, когда жить надоест: по слухам, такой момент рано или поздно наступает.

8. Каковы, по вашему мнению, сегодня главные задачи литературы и ваши лично как литератора?

Главные задачи литературы сегодня такие же, что и всегда: отражение мира во всей его сложности, без упрощенчества, без самообольщения и без так называемой лжи во спасение. Литература должна быть умом и совестью своего времени, и каждый литератор должен работать, имея в виду это и только это.

Автор вопросов анкеты — А. Лесс

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ДАЛЬНОБОЙНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА[15]

«Машина времени».

«Борьба миров», «Человек-невидимка».

«Остров доктора Моро», «Когда спящий проснется», «Люди как боги»…

Автор этих книг родился ровно век назад, и с тех пор, как они были опубликованы, минуло много десятилетий. Книги стали классикой, вошли в золотой фонд мировой литературы, их читали, читают и будут читать с увлечением и восхищением все, кто любит книгу вообще.

На первый взгляд это может показаться странным. Читатель эпохи атомной энергии, завоевания космических пространств и торжества кибернетики ни за что не поверит, будто космический корабль можно построить в одиночку в сарае; он убежден, что современная армия в два счета вдребезги разнесла бы агрессивных марсиан с их треножниками и жалким тепловым лучом; идея превращать животных в человека при помощи набора хирургических инструментов вызывает у него только снисходительную улыбку.

В чем же дело? Почему этот квалифицированный читатель, умный и зачастую скептически настроенный, затаив дыхание, буквально живет в неправдоподобных ситуациях, созданных фантазией романиста? В чем секрет непреходящей власти этих странных книг с их архаическими ужасами и наивными прогнозами? Значит, заложено в них нечто очень важное, оставшееся неразрешенным и в наше время?

Но что?

Вероятно, было бы любопытно проследить, как менялось читательское восприятие уэллсовской фантастики на протяжении двадцатого века. Есть основание полагать, что вначале его считали «вторым Жюлем Верном», певцом технического прогресса (хотя и довольно грустным певцом), предсказателем новых дорог в науке и технике (хотя и не весьма удачливым), научным фантастом № 1 эпохи Эйнштейна и глобальных войн. Какое-то зерно истины в этом представлении, несомненно, есть. Но оно никак не может объяснить значение Уэллса в литературе. Время идет, смелые предвидения сбываются или не сбываются, а фигура Уэллса в мировой литературе, вопреки законам перспективы, не уменьшается, а увеличивается.

Если в начале нашего века блестящая и художественно совершенная «Борьба миров» рассматривалась как описание гипотетического столкновения человечества со сверхразумом, превосходящим нас, людей, настолько же, насколько мы превосходим обезьян; если в тридцатые годы в этой повести видели аллегорическое изображение грядущих

истребительных войн; если прежнее поколение читателей восхищалось гениальными выдумками фантаста (разум без эмоций, машины, не знающие колеса, лучи смерти и пр.), то перед сегодняшним читателем «Борьба миров» выдвигает куда более важную и общую мысль: мировоззрение массового человека сильно отстает от его космического положения, оно слишком косно, оно обусловлено самодовольствием и эгоизмом, и, если оно не изменится, это может обернуться огромной трагедией, огромным психологическим шоком. Марсианское нашествие превращается для читателя наших дней в некий символ всего неизвестного, выходящего за пределы земного опыта, с чем может столкнуться завтра космическое человечество без космической психологии. Эта мысль прошла мимо сознания прежних поколений читателей «Борьбы миров», для них она была совершенно неактуальна, и только великие умы уже тогда уловили ее суть; и четверть века спустя после появления «Борьбы миров» автор записал поразившее его замечание Ленина о том, что «все человеческие представления созданы в масштабах нашей планеты: они основаны на предположении, что технический потенциал, развиваясь, никогда не перейдет „земного предела“. Если мы сможем установить межпланетные связи, придется пересмотреть все наши философские, социальные и моральные представления, в этом случае технический потенциал, став безграничным, положит конец насилию как средству и методу прогресса» (Е. Драбкина, «Невозможного нет!», «Известия», 22.12.61).

Да, многое из того, что писал Уэллс несколько десятилетий назад, прошло мимо сознания его современников. Один из крупнейших исследователей творчества великого фантаста, советский литературовед Ю. Кагарлицкий пишет: «Мысль Уэллса была как бы подчинена законам баллистики… Когда он бил по дальним целям, то многие его выстрелы, казавшиеся современникам холостыми, на деле таковыми не были. К нам начали возвращаться первые снаряды, посланные Уэллсом высоко в воздух». Уэллс был первым писателем, который сделал фантастику не темой, а литературным приемом, аналогичным, скажем, сатире, то есть способом отражения философской, социальной, моральной действительности в литературе, рассматривающей далеко идущие общественные тенденции. И он же первым показал замечательную плодотворность этого приема.

Двадцатый век называют иногда веком крушения мифов.

Рухнул миф о вечности и неизменности капитализма.

Рухнул миф о вечности и неизбежности колониализма.

На наших глазах рушится миф о неизбежности мировых войн.

Гигантский скачок, который совершили естественные науки, разрушил миф об абсолютности пространства и времени, миф о детерминизме законов природы. Назревает новая революция в физике, которая, вероятно, снова существенно изменит картину мира. Кибернетика обеспечивает свершение новой промышленной революции и дарит идеи, сотрясающие старые представления о человеке и о его месте во Вселенной. Человечество вышло в космос. Человечество стоит перед окончательной разгадкой тайн наследственности и изменчивости организмов. Современный человек, если он хочет быть современным, обязан пересмотреть старые взгляды на сущность жизни, сущность разума, на свое положение в мире.

Возникают и встают во весь рост такие вопросы, которые в конце прошлого и в начале нынешнего века казались либо детски-наивными, либо непонятными, либо совершенно бессодержательными, никчемными и казуистическими.

Едина ли жизнь и ее законы во Вселенной?

Каковы перспективы налаживания связей с иными цивилизациями?

Всемогущ ли человек? И царь ли он всей природы?

Полезно или вредно изменять наследственность организмов? В частности — человека?

Несет ли ученый ответственность за свои открытия?

Что станет движущей силой общества великого благосостояния?

В наше время эти вопросы представляются отнюдь не простыми и отнюдь не праздными. Многие из них, несмотря на свою актуальность, не имеют ответа до сих пор. И даже в наше время мало кто задумывается над ними. А между тем большинство этих вопросов поставлено не сегодня и не вчера. Читая уэллсовскую фантастику, мы не перестаем удивляться гениальной интуиции великого англичанина, так точно увидевшего то, что будет занимать беспокойные умы читателей через несколько десятков лет. Философская, социальная, моральная проблематика, поднятая им в своих произведениях, возникла только сейчас как следствие двух глобальных войн и победоносных антикапиталистических революций, невиданного взрывоподобного научного прогресса и проникновения науки во все области жизни человечества, наступления второго промышленного переворота и появления нового типа массового человека — научного работника. Возможно, Уэллс предвидел не все причины. Возможно, многое он представлял себе совсем иначе. Но чутье большого художника и незаурядного социолога подсказало ему принципиально важные тенденции в истории. Вот почему мы с таким интересом и вниманием вчитываемся

сейчас в строки, написанные на рубеже веков. Нам не мешает понимание, что марсиан можно было бы сейчас разгромить одной ракетой средней дальности. Мы забываем, что невидимка, будь он возможен, был бы слеп, как летучая мышь, что селенитов не существует, что машина времени невозможна. И не беда, что люди-боги не сумели выйти в космос, а авиация через полтораста лет представлена Уэллсом на уровне братьев Райт. Сквозь эти архаизмы и несостоявшиеся пророчества, пораженные, мы видим свое время, свои тревоги, свои надежды, свой мир — разомкнутый в космос, устремленный в грозное и великолепное будущее; мы видим, какими мы не должны быть — маленькими, невежественными, самовлюбленными перед лицом бесконечной Вселенной, и видим, какими должны быть — могучими и величественными строителями миров; мы видим и понимаем, что старый мир сгнил и смердит, предстоит еще борьба, и борьба тяжелая.

Творчество Уэллса оказало огромное влияние на развитие мировой фантастической литературы. Созданный им литературный прием — овеществление в образах философских идей и социальных тенденций — был подхвачен и воплощен в произведениях лучших писателей-фантастов второй половины двадцатого века: Брэдбери, Ефремова, Лема и десятков других. И мы, писатели-фантасты, вместе с читателями будем всегда благодарны памяти великого английского писателя, умного, грустного и всю свою жизнь беспокойного человека.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ОТ АВТОРОВ[16]
(Предисловие к переработанному изданию повести «Полдень, XXII век (Возвращение)»)

Фантастику иногда называют литературой мечты. Мы не согласны с таким определением, мы считаем, что фантастика гораздо шире, и социальная либо научно-техническая мечта — это всего лишь одно из ее направлений. Главным предметом настоящей фантастики, как и всей художественной литературы, является человек в реальном мире. Настоящая фантастика не только и не столько мечтает, сколько утверждает, подвергает сомнению, предупреждает, ставит вопросы.

Тем не менее мы отлично понимаем тех писателей, для которых фантастика является средством выражения их мечты, их идеалов. Человеку вообще свойственно вырабатывать для себя идеалы, которые служат ему компасом в практической деятельности, которые дают ему возможность

сравнивать и определять, что хорошо, а что плохо. Именно поэтому трудно переоценить значение правильно (и неправильно) выбранного или выработанного идеала. В этом отношении писатель ничем не отличается от всех других людей. Он тоже вырабатывает свои идеалы и тоже по мере своих сил и возможностей стремится к ним, но как писатель он стремится вдобавок увлечь своими идеалами и читателей.

Эту нашу повесть ни в коем случае не следует рассматривать как предсказание. Изображая в ней мир довольно отдаленного будущего, мы вовсе не хотели утверждать, что именно так все и будет. Мы изобразили мир, каким мечтаем его видеть, мир, в котором мы хотели бы жить и работать, мир, для которого мы стараемся жить и работать сейчас. Мы попытались изобразить мир, в котором человеку предоставлены неограниченные возможности развития духа и неограниченные возможности творческого труда. Мы населили этот воображаемый мир людьми, которые существуют реально, сейчас, которых мы знаем и любим: таких людей еще не так много, как хотелось бы, но они есть, и с каждым годом их становится все больше. В нашем воображаемом мире их абсолютное большинство: рядовых работников, рядовых творцов, самых обыкновенных тружеников науки, производства, культуры. И именно наиболее характерные черты этих людей — страсть к познанию, нравственная чистота, интеллигентность — определяют всю атмосферу нашего воображаемого мира, атмосферу чистоты, дружбы, высокой радости творческого труда, атмосферу побед и поражений воинствующего разума.

Эта наша повесть писалась в шестидесятом году. И до нее, и после мы написали довольно много рассказов, где тоже изображался мир будущего, каким мы хотели бы его видеть. Готовя повесть к переизданию, мы включили в нее некоторые из этих рассказов, органически входящие, как нам показалось, в «систему» нашей мечты.

Если хотя бы часть наших читателей проникнется духом изображенного здесь мира, если мы сумеем убедить их в том, что о таком мире стоит мечтать и для такого мира стоит работать, мы будем считать свою задачу выполненной.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ ФАНТАСТАМИ…[17]

По-видимому, каждый литератор старается передать читателям свои

мысли и чувства по поводу интересующей его проблемы так, чтобы читатели не только восприняли эти проблемы, как важные и насущные, но и заразились бы интересом автора. По нашему мнению, каждое конкретное произведение литературы и искусства непременно имеет две стороны: рациональную и эмоциональную. Потребитель духовной пищи (читатель, зритель, слушатель) должен воспринять обе стороны, иначе нельзя сказать, что автор выполнил свою задачу. Фантастика, если рассматривать лучшие ее образцы, обладает особой способностью заставить читателя и думать, и чувствовать.

Как литература рациональная, фантастика успешно вводит думающего читателя в круг самых общих, самых современных, самых глубоких проблем, сплошь и рядом таких, которые выпадают из поля зрения иных видов художественной литературы: место человека во Вселенной, сущность и возможности разума, социальные и биологические перспективы человечества и так далее. В наше время задача литературы, как нам кажется, состоит не только в исследовании типичного человека в типичной обстановке. Литература должна пытаться исследовать типичные общества, то есть практически — рассматривать все многообразие связей между людьми, коллективами и созданной ими второй природой. Современный мир настолько сложен, связей так много и они так запутаны, что эту свою задачу литература может решать только путем неких социологических обобщений, построением социологических моделей, по необходимости упрощенных, но сохраняющих характернейшие тенденции и закономерности. Разумеется, важнейшими элементами этих моделей продолжают оставаться типичные люди, но действующие в обстоятельствах, типизированных не по линии конкретностей, а по линии тенденций. (Так, в «Машине времени» Уэллс типизирует современный ему капиталистический мир не по линии конкретностей, как это делали Золя, Горький, Драйзер, но по линии присущих тому времени главных тенденций капитализма.) Как литература эмоциональная, фантастика обладает свойством с максимальной силой воздействовать на воображение читателя. Прием введения фантастического элемента, даже если фантастическое произведение трактует классическую литературную проблему, обостряет и концентрирует эмоции автора, а значит, и читателя. Фантастический элемент служит неким катализатором, в присутствии которого реакция читателя на читаемое протекает особенно бурно. (Так, в романе «Человек-невидимка» Уэллс концентрирует ненависть и презрение к буржуазному мещанству с такой силой, как ему, на наш взгляд, никогда не удавалось больше в его антимещанских реалистических произведениях.) Глубина и

широта мысли, обостренная эмоциональность — эти свойства фантастики, будучи осознаны, привлекали крупнейших писателей на протяжении всей истории литературы. Эти же свойства в меру своих сил и способностей стараемся использовать в своем творчестве и мы.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
РАЗГОВОР ШЕЛ О ФАНТАСТИКЕ[18]

История знает, что каждое поколение стремится построить будущее в соответствии со своими идеалами настоящего. Однако ни одному поколению не удалось законсервировать свое настоящее. И чем активнее были попытки законсервировать действительность, тем грандиознее оказывались социальные взрывы, переводившие общество на новые ступени истории, тем больше оказывался разрыв между реально наступившим будущим и будущим, каким его пытались представить, тем больше углублялась пропасть между новыми и старыми философско-моральными представлениями. Любопытный пример по этому поводу приводят Повель и Бержье в своей книге «Утро магов». Если бы в наши дни воскрес рыцарь-монах, участник крестовых походов, и если предположить, что ему удалось разобраться хотя бы самым поверхностным образом в условиях нашего сегодняшнего существования, его поразили бы не автомобили и самолеты, которые он счел бы обыкновенным чародейством; не моды и странные обычаи, которые он бы, преодолевая известное отвращение, смог бы в конце концов перенять; и даже не космические полеты, которых он бы просто не понял. Больше всего его поразило бы то обстоятельство, что христианский мир, располагая смертоносным, неотразимым ракетно-ядерным оружием, поистине воплощающим гнев божий, до сих пор не обрушил это оружие на головы нечестивых, дабы отобрать у них гроб господень. Со времен крестоносцев прошло восемь столетий. Но не покажутся ли столь же нелепыми некоторые наши нынешние представления о целях жизни уже через несколько десятков лет? Сегодняшний человек должен иметь это в виду, должен внимательно следить за появлением и развитием новых тенденций и тщательно учитывать все то новое, из чего складывается фундамент грядущего. Материальной составляющей этого фундамента является, по сути, технический прогресс.

Теперь уже ясно, что человеку просто не удастся стать механическим придатком умной машины. Опыт показывает: чем умнее машина, тем более

квалифицированным, более творческим работником должен быть ее хозяин. Однако у проблемы технического прогресса все-таки есть несколько опасных аспектов, и один из них, едва ли не самый важный, это вопрос о свободном времени. Вследствие технического прогресса количество свободного времени у любого участника производственного процесса будет неуклонно возрастать. Это обстоятельство оборачивается благом для человека разностороннего, интересующегося миром, творчески настроенного, которому никогда не хватает времени и никогда не бывает скучно; но это же обстоятельство грозит разрушить мораль человека ограниченного, невежественного, не знающего и не признающего иных способов времяпрепровождения, чем примитивные развлечения. Поэтому вопрос о воспитании творческого человека, вопрос о воспитании Человека в человеке стоит сейчас особенно остро.

В разрешении этого вопроса роль литературы огромна. И нельзя не согласиться с тем, что огромна, в частности, роль настоящей фантастической литературы, которая по самому своему существу является антимещанской и антиконформистской, учит читателя думать, будит его воображение, внушает ему, что мир сложен, интересен и требует его, читателя, постоянного и активного вмешательства.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ПОЧЕМУ НЕТ КИНОФАНТАСТИКИ[19]

Если литературная фантастика в нашей стране существует сейчас уже как заметное явление советской культуры, то с «фантастическим» кинематографом дело обстоит значительно хуже. Практически фантастики в кино почти нет. Все, что вышло на экраны за последнее десятилетие, можно пересчитать по пальцам, может быть, хватит даже одной руки. «Тайна двух океанов», «Планета бурь», «Человек-амфибия», «Гиперболоид инженера Гарина»… Мало. Прискорбно мало. Однако беда не только в том, что мало. Беда в том, что плохо. Советская фантастическая литература за свою историю добилась многого. Алексей Толстой написал «Аэлиту», роман, сравнимый по своей силе с лучшими образцами советской прозы, Александр Беляев создавал произведения на мировом уровне фантастики своего времени. «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова потрясла читателей многих стран мира и открыла новую главу в развитии советской художественной фантастики.

В кино же фантастика не сделала почти ничего. Не припомним ни

одного яркого человеческого характера. Ни одной сколько-нибудь важной проблемы. Отснятые фантастические фильмы прошли по экранам, благополучно принесли доход и умерли для искусства. Правда, они прочно включились в стандартный репертуар детских киноутренников. Правда, с точки зрения мальчугана-пятиклассника или совсем уже невзыскательного взрослого зрителя, это фильмы как фильмы, смотреть можно: есть злодеи, есть герои, есть шпионы, есть погони… Но мы будем все-таки рассуждать с точки зрения квалифицированного зрителя, которого не очень волнует коммерческая сторона кинематографа. С точки зрения такого зрителя, упомянутые фильмы невыносимо слабы, потому что они примитивны и по замыслу и по исполнению. Замысел — развлечь, по возможности не теряя под ногами «поверхностно-идеологической» почвы. Исполнение… Берутся «испытанные средства»: красивые актеры и актрисы, незамысловатые шпионы и майоры с усталыми глазами, стандартные лобовые коллизии; все это обливается пряным соусом погонь и тайн, и фильм готов. Для взыскательного потребителя пищи духовной это хуже, чем ничего. Не то чтобы он, зритель, был против погонь и поцелуев. Но ему нужна мысль. А мысли в упомянутых фильмах нет. Ни большой, ни маленькой, ни простой, ни сложной. Есть прописи.

Фантастика в кино, как и в литературе, может многое. Фантастика может показать мещанство так, что зритель ощутит себя личным врагом всех мещан на земле и непримиримым противником мещанского мировоззрения. Фантастика может показать силу разума так, что зритель задохнется от восторга: какое это великое существо — Человек! Фантастика может раскрыть вселенскую проблему таким образом, что даже зритель, погрязший в рутине будней, ощутит великолепную сложность окружающего мира, почувствует свою незаменимость в выполнении грандиозных задач человечества. Фантастика способна с огромной эффективностью отшлифовывать мировоззрение, открывать Человека в человеке, предупреждать о возможных опасностях, раскрывать глаза на мир, направлять ненависть и разжигать любовь.

Когда мы говорим: советский фантастический фильм должен быть, — мы обязаны точно раскрыть содержание нашего пожелания. Не только (и не столько) детский фантастический фильм; не только (и не столько) приключенческий фантастический фильм; но фильм серьезный, страстный, заставляющий думать и сопереживать, фильм умный и совершенный по форме, трактующий важные проблемы, рассчитанный на самого строгого, взыскательного зрителя.

Для создания такого фильма прежде всего, разумеется, нужны люди.

творческие работники, которые хотят и умеют работать над таким фильмом, и администраторы, которые сумеют оценить такой фильм по достоинству. Здесь полезно вспомнить новейшую историю советской фантастической литературы. Литературная фантастика не смогла бы у нас достигнуть современного уровня, если бы не нашлись авторы, осознавшие ее возможности и силу, и издатели, осознавшие необходимость ее серьезной, проблемной, философской модификации.

Сейчас у нас нет или очень мало режиссеров — специалистов по фантастическому фильму. Иначе говоря, нет или очень мало творческих работников, осознавших возможности фантастики в кино. Одни, по-видимому, считают фантастику недостойной внимания серьезного человека, другие готовы взяться за такое дело, но не знают, какой в этом смысл, и опасаются провала. У нас фактически нет традиций в кинофантастике. Все предстоит создавать заново. У подавляющего большинства работников кино нет ни хорошо усвоенного представления о том, что такое фантастика, ни ощущения необходимости затеи (кроме очевидной, коммерческой), ни отработанных приемов съемки и режиссуры.

Настоящий фантастический фильм будет у нас поставлен только в том случае, если появится режиссер — умный, знающий человек, знаток и ценитель фантастики, понимающий ее гигантские возможности, человек талантливый, который сумеет найти специфику фантастики в кино, ту самую специфику, которая уже найдена в реалистическом кино и сделала кино особым видом искусства, не связанным жестко с литературой. Откуда появятся такие режиссеры, мы не знаем. Но думаем, что умные и талантливые художники не могут в один прекрасный момент не осознать блестящих перспектив, которые открывает использование в искусстве жанра фантастики. И режиссеры появятся так же, как появились в литературе Брэдбери, Ефремов и Лем.

Режиссер — это проблема номер один.

Проблема номер два — сценарий. Фантастов-сценаристов у нас тоже пока нет. Почти все упомянутые выше фильмы — это экранизации, как правило, неудачные, обедняющие экранизируемое произведение.

Оригинальные фантастические сценарии — большая редкость, а по-настоящему хороших среди них нет вовсе. Причины все те же: хроническое непонимание возможностей фантастики, косность представлений, отсутствие традиций. Вероятно, первыми сценаристами должны стать сами писатели-фантасты, и, возможно, первыми хорошими сценариями будут все-таки написанные по известным литературным произведениям. Но при всех условиях работа сценаристов имеет смысл только в том случае, если

есть режиссер, увлеченный этой темой.

И, наконец, проблема номер три — техника.

В фантастических кинофильмах сплошь и рядом требуется обстановка, далекая от обычной, бытовой, хорошо отработанной в кино. Внеземные пейзажи, картины далекого прошлого, антураж будущего, диковинные машины, фантастическое оборудование фантастических лабораторий, чудовища, наконец… В этом отношении упоминавшиеся фильмы более или менее удовлетворяют элементарным требованиям, но нет-нет да и резанет глаз фанерно-жестяной космический корабль или выдаваемый за чудо техники будущего древний осциллограф, взятый напрокат из третьеразрядной радиомастерской (и это показывают зрителям, среди которых миллионы научных работников, инженеров, студентов!). Как ни парадоксально, прием фантастики только тогда достигает цели, когда все описываемое и изображаемое абсолютно правдоподобно, когда люди ведут себя как люди (разговаривают, а не изрекают, ходят, а не выступают), а вещи — как вещи.

Режиссер, сценарист, киноинженер — это минимально необходимое для создания качественного фантастического кинематографа. Наверное, понадобится еще многое, но без них настоящий фантастический фильм не появится никогда.

Лично мы оптимисты.

Логика развития фантастики, наблюдаемая в советской и мировой культуре, должна обязательно привести к развитию у нас кинофантастики. Это почти неизбежно. Перспективы, во всяком случае, обнадеживают.

Зритель имеет все основания надеяться: советский фантастический фильм будет и, может быть, даже скоро.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
КОНТАКТ И ПЕРЕСМОТР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ[20]

Может быть, не все еще это понимают, но бешеное развитие науки уже поставило нас лицом к лицу со всеми мыслимыми и немыслимыми следствиями ситуации, когда будущее перестало быть чем-то неопределенным и нейтральным, не маячит уже неясно за далеким горизонтом, а придвинулось вплотную и запускает свои щупальца в самую толщу сегодняшнего дня. Вопросы, еще в начале века казавшиеся праздными, детски наивными или чисто умозрительными, встают нынче на повестку дня рядом с такими жизненно важными проблемами, как,

например, борьба против реваншизма и расизма, борьба за запрещение ядерного оружия и так далее.

Едины ли законы жизни для Вселенной?

Существуют ли пределы могущества человеческого разума?

Допустимо ли искусственное вмешательство в наследственность человеческого организма?

В чем заключается ответственность ученого за свои открытия?

Что станет движущей силой общества всеобщего благосостояния?

Рассмотрим один из простейших, «детских» вопросов, поставленных ныне развитием науки: вопрос о связи с иными цивилизациями Космоса.

Вопрос этот трактуется фантастической литературой с незапамятных времен. Однако сегодня мы находимся в таком положении, что можем хоть завтра направить в космос радиосигналы, свидетельствующие об обитаемости Земли и о высоком уровне нашей цивилизации. Сам вопрос формулируется так: посылать этот сигнал или не посылать? Философская и научная литература до сих пор мало занималась этими проблемами, и практически единственными людьми, которые разрабатывали эту тему, оказались писатели-фантасты.

Посылать или не посылать? С одной стороны, общение с чужой высокоразвитой цивилизацией в случае установления регулярных контактов означает, казалось бы, новый взлет земной научно-технической мысли. Этому должен способствовать обмен самой широкой информацией в различных областях науки и техники. Может быть, наши партнеры научат нас межзвездным перелетам, и земная цивилизация, перешагнув через целую эпоху, скачком превратится в цивилизацию космическую? Может быть, они уже знают секрет практического бессмертия, способа изготовления пищи из воздуха, принципов произвольной перестройки человеческого организма и многие другие тайны, которые нам еще предстоит открывать и открывать? Ослепительные и манящие перспективы! Кажется, что и вопроса-то никакого нет: посылать, конечно же посылать!

Однако, с другой стороны, задача оказывается не столь уж простой. Вероятность встречи с цивилизацией именно земного типа, да еще находящейся на уровне развития, не слишком отличающемся от нашего, пренебрежимо мала. Трудно ведь себе представить, чтобы цивилизации двух разных планетных систем развивались голова в голову. Одна наверняка будет впереди другой хотя бы на тысячи, а скорее всего — на миллионы лет. В космических масштабах миллион лет — это мгновение; в масштабах же человеческой истории это невообразимо долгий срок. Так

что если кто-нибудь действительно откликнется на наши сигналы, то почти наверное будет либо невероятно далеко ушедшая от нас цивилизация земного типа, либо цивилизация негуманоидная, обладающая сходной с нами технологией, однако безмерно отличающаяся от нас психологически. В первом случае мы просто окажемся неспособны на обмен информацией. Мы не сможем даже получить ее, как не смог бы троглодит получить от нас принципы устройства атомного котла. Во втором случае положение еще безнадежнее, а может быть, и опаснее. В лучшем случае мы могли бы представлять друг для друга интерес в плоскости сравнительной зоологии.

Но пусть нам даже повезет, и мы установим контакт с цивилизацией, которую способны понять. Оставим в стороне неприятные вопросы, связанные с психологическим шоком, который неизбежно испытает лишенное еще космического мировоззрения человечество; оставим и необычайные трудности, связанные с политической раздробленностью нашей планеты. Возникает вопрос: будет ли для человечества благом получить готовые знания? Опыт истории науки показывает, что процесс познания не менее важен, чем само знание. Человечество, перепрыгнув через столетия, может упустить нечто очень существенное, безвозвратно потеряет кусок своей истории и, возможно, очутится в положении дикаря, играющего ручной гранатой в пороховом погребе. Так посылать все-таки или не посылать?

Нет, мы не намеревались ответить на этот вопрос. Вряд ли мы способны на исчерпывающе обоснованный ответ. Мы хотели только проиллюстрировать сложность космической проблемы, и для полноты иллюстрации зададим себе несколько дополнительных вопросов. Если бы пришельцы научили человечество космическим перелетам, что понесли бы на Сириус и на Альдебаран неонацисты и хунвэйбины? Если бы человечеству был подарен секрет практического бессмертия, в чьих бы руках он оказался? Если бы военные лаборатории агрессивных государств овладели принципами произвольной перестройки человеческого организма, как бы они эти принципы применяли?

Возможно, прочтя эти строки, неубежденный читатель усмехнется. Проблема Контакта покажется ему смехотворно несоизмеримой с проблемой, скажем, разоружения или детской преступности. И если темой романа действительно является Контакт, то роман этот просто развлекательный или, в лучшем случае, умозрительный, не имеющий никакого отношения к потребностям сегодняшнего дня. Книжечка для чтения на сон грядущий, чтобы прочитать и вернуться к выполнению своих сложных и ответственных повседневных обязанностей.

Однако более правомерной нам кажется другая точка зрения. История учит, что философские, социальные и моральные представления не вечны, они меняются с развитием производительных сил и в соответствии с изменениями в производственных отношениях. В периоды особенно бурного развития естественнонаучных знаний эти представления необходимо от него отстают. Нам кажется, что проблема Контакта является одной из граней, частным случаем, иллюстрацией более общей, по-настоящему кардинальной проблемы: глубокого разрыва, существующего в настоящее время в мире между стремительным прогрессом технологии и отсталым буржуазным мировоззрением. Вот почему, на наш взгляд, трудности в вопросе о Контакте, вызванные распространенностью социально-атавистических представлений, следует в определенном и немаловажном отношении рассматривать в одном ряду с трудностями в вопросе о разоружении (следствие вековых социально-атавистических страхов и вожделений определенных классов) и с трудностями, связанными с детской преступностью (следствие векового социально-атавистического пренебрежения духовным миром подростка). Проблемы эти, как и многие другие, старые и новые, легче всего было бы решить в результате утверждения и полной победы во всей массе человечества новых, коммунистических представлений.

Мы совершенно убеждены в том, что пересмотр философских, социальных и моральных представлений надо готовить исподволь, с нарастающей активностью. Не позволять массовой психологии так далеко отставать от гигантских изменений, происходящих в мире. Сосредоточить все усилия общества на воспитании Завтрашнего Человека, Космического Человека, Человека Коммунистического. В огромном большинстве стран мира воспитание молодого поколения находится на уровне XIX столетия. Эта давняя система воспитания ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготавливать для общества квалифицированного участника производственного процесса. Все остальные потенции человеческого мозга эту систему практически не интересуют. Неиспользование этих потенций имеет результатом неспособность индивидуума к восприятию гигантски усложнившегося мира, неспособность связывать примитивно-психологически несовместимые понятия и явления, неспособность получать удовольствие от рассмотрения связей и закономерностей, если они не касаются непосредственного удовлетворения самых примитивных и архаичных социальных инстинктов. Однако неиспользованные потенции остаются скрытой реальностью человеческого мозга, и в них залог грядущего прогресса человечества.

Привести эти потенции в движение, научить человека фантазии, привести множественность и разнообразие потенциальных связей человеческой психики в качественное и количественное соответствие с множественностью и разнообразием связей все усложняющегося мира — вот цель и содержание гигантской революции духа, которая следует за социальными революциями, приводящими способ производства в соответствие со способом распределения.

Эта революция, на наш взгляд, наряду с коренными социальными преобразованиями должна стать основной задачей человечества на ближайшую эпоху. Она огромна. Никакой отдельный человек не в силах поставить ее во всей широте и глубине. Она является объектом деятельности целых правительств, крупнейших психологов, педагогов, самых талантливых администраторов. Однако уже сейчас ясно, что важная роль воспитания Человека в человеке принадлежит литературе. Конечно, глупо понимать этот тезис упрощенно, будто, прочитав хорошую книгу, злобный невежественный берчист, хунвэйбин или неонацист способен тут же превратиться в благородного борца-интеллектуала. Нет, речь идет о долговременном массированном воздействии хорошей литературы на общественную психологию, об исключительной способности литературы концентрировать в себе и выражать в художественных образах и поражающих воображение ситуациях новые тенденции, едва намеченные в сухих статистических таблицах или в высказываниях передовых ученых и политических деятелей, чутко улавливать зачастую еще не осознанные сдвиги в системе представлений передовых слоев общества и делать эти тенденции и сдвиги достоянием широкого читателя. Иными словами, речь идет о способности литературы подтягивать устаревшее массовое мировоззрение до уровня новейшего, космического, коммунистического мировоззрения, соответствующего уровню технологического и социального прогресса.

Субъективно писатель, вероятно, не ставит перед собой специальных воспитательных и мировоззренческих задач. Просто каждый честный писатель, как и всякий честный и достаточно культурный человек, исповедует благородную целеустремленность, гуманизм, стремление человека к познанию и изменению мира, исповедует приоритет чувства и разума над грубой силой и ненавидит всякий застой, всякую инертность мышления, обывательщину, самодовольное мещанское равнодушие. Эта любовь и эта ненависть формируют мировоззрение писателя — или нередко формируются его мировоззрением, — служат главным стимулом в его работе и являются верным залогом того, что его книги будут служить

воспитанию читателя.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ[21]

Как известно, сколько-нибудь общепризнанной теории фантастической литературы пока нет. И поэтому во избежание недоразумений давайте сразу же договоримся о терминах. Мы называем фантастическим всякое художественное произведение, в котором используется специфический художественный прием — вводится элемент необычайного, небывалого и даже вовсе невозможного. Все произведения такого рода могут быть развернуты в весьма широкий спектр, на одном конце которого расположатся «80 000 километров под водой», «Грезы о Земле и небе» и «Человек-амфибия» (то, что обычно именуется фантастикой научной), а на другом — «Человек, который мог творить чудеса», «Мастер и Маргарита» и «Превращение» (то, что мы склонны именовать фантастикой реалистической, как ни странно это звучит).

Научная фантастика, по сути, очень молода, она — порождение научного прогресса и технических революций, и она от рождения посвятила себя науке и технике — борьбе Человека с Природой. Фантастика же реалистическая стара, как сама литература, она восходит к Гомеру и Апулею, и она вместе со всей литературой решает проблему Человека в его отношениях к себе подобным, к обществу.

Различно происхождение этих двух разновидностей фантастики, различна, по-видимому, и их судьба в грядущих веках. Нам кажется, что реалистическая фантастика пребудет вовеки, как она пребывала и в прошлом. Ее судьба — это судьба литературы вообще. Можно даже предположить, что ее роль и удельный вес в общем потоке литературы будет возрастать вместе с возрастанием сложности нашего мира. Что же касается научной фантастики, то ее развитие целиком зависит от прогресса науки и техники, от общественного реноме естественных наук. Так что когда и если (как предполагают некоторые специалисты по науковедению) развитие естественных наук достигнет стадии насыщения и интересы переместятся в другую область, научная фантастика может захиреть и исчезнуть, как в связи с развитием письменности и усовершенствованием средств коммуникаций исчез эпос. Впрочем, если это и произойдет, то лишь в отдаленном будущем.

Пусть не поймут нас так, будто, подчеркивая различия в генезисе и в

дальнейшей судьбе этих разновидностей литературы, мы стремимся воздвигнуть между ними некую стену; напротив, даже в отношении реалистической и научной фантастики к так называемым фактам бытия невозможно усмотреть сколько-нибудь принципиальную разницу. В произведениях реалистической фантастики демоны и ведьмы могут разгуливать по городу, может нарушаться второй закон термодинамики и Иисус может вторично спуститься на грешную землю. Каждому непредубежденному читателю ясно, что это лишь художественные приемы, позволяющие автору подчеркнуть какую-то мысль или оттенить некоторые черты человека (или общества). Никому и в голову не придет обвинение в нарушении суверенных прав Ее Величества Науки и Его Величества Здравого Смысла. Что же касается фантастики научной, то своеобразие нынешней ситуации в естествознании заключается как раз в том, что современная наука с невиданным благодушием и терпимостью относится к любой игре научного воображения. Ведь и само развитие науки сделалось ныне возможным только благодаря «достаточно сумасшедшим гипотезам». Ошеломляющий темп этого процесса породил, во-первых, интуитивное ощущение всемогущества науки, абсолютности возможного и относительности невозможного, а во-вторых, выбросил в сферу интеллектуального потребления сырую массу идей, догадок, предположений, которые можно было бы квалифицировать как мифы нового времени, если бы не восторженная подсознательная уверенность, что все это возможно: и мыслящие машины, и небелковая жизнь, и негуманоидный разум, и фотонные звездолеты. Слишком широк сегодня фронт вторжения науки в неизвестное, слишком много сегодня существует гипотез, о которых наука способна сказать только (пожимая плечами): «Это не противоречит фундаментальным законам», — слишком сильна интуитивная убежденность, что невозможное сегодня станет возможным завтра. И странно поэтому слышать об ограничениях, которые якобы ставит перед фантастикой наука — та самая наука, которая всячески поощряет фантазию, которая не способна ни существовать, ни тем более двигаться вперед без самого безудержного фантазирования. Мы даже рискнули бы выдвинуть предположение, что сейчас, как никогда, трудно сформулировать такую гипотезу, о которой современная наука определенно и безоговорочно могла бы сказать: «Нет, это невозможно. Это наверняка неверно».

(Конечно, речь идет только о «сумасшедших» идеях и гипотезах. Существует стройное и величественное здание достоверных фактов и обоснованных теорий, разрушать которые по произволу не рекомендуется

никому из научных фантастов, если он не хочет прослыть невеждой и неучем.) Нам приходилось писать и научную фантастику, и фантастику реалистическую. Может быть, именно поэтому мы бесконечно далеки от мысли как-то противопоставлять эти две разновидности литературы, утверждать превосходство и общественную значимость одной разновидности перед другой, настаивать на гипертрофированном развитии одной разновидности за счет другой. С нашей точки зрения, реалистическая фантастика призвана выполнять те же благородные задачи, что и реалистическая литература. Что же касается фантастики научной, то она прежде всего выполняет несколько более специфическую, но нисколько не менее благородную задачу приобщения читателя (особенно молодого) к миру самого современного естествознания, будит воображение, формирует правильное отношение к науке и к научному прогрессу.

Не исключено, что определенная специфика научной фантастики сказывается и на характере творческого процесса. Наш опыт, во всяком случае, как будто подтверждает это предположение. Вообще, каждая новая повесть задумывается, разрабатывается и пишется иначе, чем предыдущая и последующая. Здесь нет единой закономерности, а если и есть, то мы ее не знаем. Между первоначальным замыслом и конечным результатом лежит иногда пропасть до такой степени глубокая, что мы сами удивляемся, откуда что взялось. (Например, «Попытка к бегству» была задумана как юмористическая повестушка из развеселой жизни туристов-кибернетиков XXIII века, а «Улитка на склоне» должна была рассказать о новых приключениях звездолетчика Горбовского на страшной планете Пандора.) Половина наших вещей была написана так: выкристаллизовалась идея, наметились герои, заиграл сюжет, подробно разработан план первых двух-трех глав. И вот, когда уже написаны несколько страниц первого черновика, уже вроде бы пошло дело, вдруг выясняется, что нам скучно. Что писать не хочется. Что мы занимаемся чепухой. Именно в этот момент отчаяния и бессилия, вероятно, и начинается настоящая работа, и из глубин сознания всплывает то, над чем мы подспудно думали последнее время, то, что нас особенно задевало, что мешало жить и помогало жить, то, что и было нашей настоящей жизнью последние годы. И когда, подвигаемые отчаянием и бессилием, мы осознаем все это, как-то сами собой всплывают и новые герои, и новые ситуации, и новая форма, и новый сюжет, и мы уже наперебой рассказываем друг другу, каким должен быть мир, где развернется действие. «Трудно быть богом», «Улитка на склоне», «Гадкие лебеди» появились не из четкого замысла, хорошо разработанного плана, взяли начало не от изящно придуманной ситуации и не от оригинальной

логической модели, а как раз вопреки всему этому. С другой стороны, такие повести, как «Страна багровых туч», «Стажеры», «Полдень, XXII век», почти все наши рассказы, то есть те наши вещи, которые явно относятся к фантастике научной, есть результат последовательной, планомерной, до конца наперед рассчитанной работы. Впрочем, мы бы никогда не рискнули утверждать, что такое различие в творческом процессе характерно для всех писателей, которым приходилось иметь дело с обеими разновидностями фантастики.

Вообще, если говорить о творческом процессе, трудно найти что-либо такое, что было бы характерно для всех писателей сразу. В конце концов, что такое писатель? По происхождению своему он — в идеале — прежде всего высококвалифицированный читатель. Читателя же — в частности, читателя фантастики — интересуют в литературе самые разнообразные предметы. Как показали социологические исследования последних лет, одни ищут в фантастике увлекательный сюжет, оснащенный новейшими научными идеями; другие — парадоксальность мышления, столкновение несопоставимых в обычном смысле понятий и представлений; третьи — фактическую достоверность, точную прогностику, логически безупречный анализ сущего… и так далее. И каждый по-своему прав, и каждому должна быть обеспечена возможность найти искомое.

Нас привлекает в фантастике прежде всего то, что в литературе она является идеальным и единственным пока орудием, позволяющим подобраться к одной из важнейших проблем сегодняшнего дня. Такой проблемой является вторжение будущего в настоящее, вторжение, обусловленное невиданными темпами социального и технологического прогресса человечества за последние десятилетия. Семена, посеянные утром нашей жизни, всходят теперь даже не к нашей старости, не вечером, а в полдень. Столкновение с иными цивилизациями, генетическая революция, Великий Потоп информации — все это стало реальными факторами жизни одного, только одного поколения. Великий скептик Олдос Хаксли писал: «Давайте думать о настоящем. Если мы не будем этого делать, то вскоре не будет и будущего». Нет, давайте думать о будущем — не только воспевать его, не только восторгаться или ужасаться им, не только мечтать о нем или бояться его — давайте думать о нем, изобретать его, готовиться к нему.

СЕМИДЕСЯТЫЕ…

Аркадий Стругацкий
ТРИ ОТКРЫТИЯ РЮНОСКЭ АКУТАГАВЫ[22]

Вот какой рассказ появился в октябре 1916 года в японском литературном ежемесячнике «Тюо корон».

Профессор Токийского императорского университета, специалист в области колониальной политики, сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Заметки о драматургии» знаменитого шведского писателя Стриндберга. Странно было подумать, что всего каких-нибудь пятьдесят лет назад обо всем этом и мечтать не приходилось — ни об императорском университете в Токио, ни о колониальной политике, ни о проблемах европейской драматургии. Прогресс налицо. И особенно заметен прогресс в материальной области. Отгремели пушки отечественных броненосцев в Цусимском проливе; страна покрылась сетью железных дорог; распространяются превентивные средства из рыбьего пузыря… Но вот в области духовной намечается скорее упадок, а профессор лелеял мечту облегчить взаимопонимание между народами Запада и своим народом. Он даже знал, на какой основе должно строиться это взаимопонимание. Бусидо, «путь воина», это специфическое достояние Японии, прославленная система морали и поведения самурайства, сложившаяся шесть веков назад. Конечно, не все в ней годится для целей профессора, но основное — требование жесткой самодисциплины и добродетельной жизни — явно сближает дух бусидо с духом христианства.

Профессор листал Стриндберга и размышлял о судьбах японской культуры, когда ему доложили о приходе посетительницы. В приемной ему представилась почтенная, изящно одетая женщина — мать одного из студентов. Усадив посетительницу за стол и предложив ей чаю, профессор осведомился о здоровье ее сына. К его величайшему смущению, выяснилось, что юноша умер и что гостья пришла передать профессору его последнее «прости». Некоторое время они обменивались малозначительными репликами, причем профессор заметил одно странное обстоятельство: ни на облике, ни на поведении дамы смерть родного сына не отразилась. Глаза ее были сухие. Голос звучал совершенно обыденно. Иногда она даже улыбалась как будто. Профессор поразился, от холодности

и спокойствия соотечественницы ему стало не по себе. И тут произошло вот что. Случайно уронив веер, профессор полез за ним под стол и увидел руки гостьи, сложенные у нее на коленях. Эти руки дрожали, и тонкие пальцы изо всех сил мяли и комкали носовой платок, словно стремясь изодрать его в клочья. Да, гостья улыбалась только лицом, всем же существом своим она рыдала.

Проводив гостью, профессор вновь уселся в кресло на веранде и взял Стриндберга. Но ему не читалось. Мысли его были полны героическим поведением этой дамы, и он растроганно и с гордостью думал о том, что дух бусидо, дух жестокой и благородной воинской самодисциплины, поистине вошел в плоть и кровь японского народа. В эту минуту рассеянный взгляд его упал на раскрытую страницу книги.

«В пору моей молодости, — писал Стриндберг, — много говорили о носовом платке госпожи Хайберг… Это был прием двойной игры, заключавшийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем его дурным вкусом…»

Профессор растерялся и оскорбился. Оскорбился не за даму, а за свою взлелеянную простодушную схему, в которую так четко укладывалось это происшествие. И ему в голову не пришло, что героическое поведение гостьи могло объясниться причинами, к которым пресловутые понятия военно-феодальной чести не имеют никакого отношения…

Так примерно выглядит откомментированное содержание одного из ранних рассказов Рюноскэ Акутагавы — «Носовой платок».

Невооруженному глазу заметна брезгливая усмешка автора по поводу мечтаний злополучного профессора сделаться идеологом японской культуры на основе бусидо, этой действительно специфической смеси клановых японских традиций с плохо переваренным конфуцианством. Еще в последние годы XIX века, сразу после окончания японо-китайской войны, заправилы империи недвусмысленно потребовали от отечественной литературы создания так называемых «комэй-сёсэцу» — «светозарных произведений», проникнутых казенным оптимизмом и прославляющих воинственность и великодушие средневекового и современного самурайства. Толпа бездарных полуграмотных писак бросилась заполнять книжные рынки страны бесконечными вариациями на тему о верности сюзерену и о кровавой мести, о вспоротых животах и о срубленных головах, о поединках на мечах и о лихих штыковых атаках, и в унисон им, только не так грубо и не так прямолинейно, заворковали о величии бусидо, о благотворности бусидо, о назревшей необходимости воскрешения бусидо идеологические дилетанты с профессорских кафедр. В далекой Европе

гремели пушки и лились реки крови, каблуки японских патрулей стучали по кривым улочкам взятого у немцев Циндао, империя готовилась к большим колониальным захватам. Неудивительно, что в эти дни думающий и широко эрудированный писатель (а Акутагава, как мы увидим, был именно таким) жестоко осмеял мечтательного либерала, усмотревшего духовное сходство между возрождающимся к жизни кодексом профессиональных убийц и плачевно дискредитировавшим себя христианством.

Но давайте проанализируем рассказ более тщательно. Итак, некий профессор, специалист по колониальной политике и приверженец бусидо, читает Стриндберга и предается размышлениям о способах преодоления духовного застоя в своей стране. Затем он беседует с женщиной, недавно потерявшей сына, и случайно обнаруживает, что ее внешнее спокойствие есть только маска, а на самом деле она мучается безутешным горем. Он приходит в восхищение — не столько от героизма гостьи, сколько от полного, как ему представляется, соответствия между ее поведением и бездарной умозрительной идеей. По нашему мнению, если бы речь в рассказе шла только об осмеянии идеологического дилетантизма, этого было бы вполне достаточно. Ну а Стриндберг? Для чего автору понадобилось противопоставлять сценический прием госпожи Хайберг поведению гордой матери? Не зря же он так смело ввел в рассказ элемент случайного совпадения: профессор натыкается на пресловутый абзац из Стриндберга чуть ли не сразу после случая с носовым платком. Видимо, дело обстоит не так просто, и у рассказа есть «второе дно», не столь очевидное, как первое, но наверняка не менее важное.

Действительно, концовка рассказа производит странное впечатление. Читатель далеко не сразу осознает, какая проблема всплывает вдруг из нее. Мономан-профессор смутно ощущает что-то неясное, что грозит разрушить безмятежную гармонию его мира. Пытаясь объяснить себе это ощущение, он готов заподозрить Стриндберга в попытке осмеять бусидо. Он даже готов оправдываться: «Сценический прием… и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные». И все это мимо цели, но на то и мономан. Если бы он дал себе труд отвлечься от любимой идеи, он сумел бы понять, что парадокс, с которым столкнул его случай, лежит совсем в другой плоскости понятий и представлений. Он сумел бы увидеть проблему такой, какой поставил ее перед читателем (и перед собой) автор. Проблему соотношения жизни и искусства.

В глазах знатоков театра сценический прием госпожи Хайберг давно уже стал банальностью. Но сотни тысяч, миллионы женщин и до и после

госпожи Хайберг при разных обстоятельствах и по разным причинам стискивали зубы, комкали носовые платки, впивались ногтями в ладони, чтобы не вскрикнуть, не разрыдаться, не показать своей боли, и никто никогда не называл это «дурным вкусом». И совершенно не важно, почему они это делали: по врожденной ли гордости или по твердости характера, пусть даже из приверженности кодексу бусидо. В данном случае не в этом дело. Дело в диковинной метаморфозе, которую претерпевает восприятие нами человеческого поведения, когда оно переносится из реальной жизни на сцену, на экран или на страницы книг. Какова психологическая природа этой метаморфозы? В чем секрет адекватного перевода с бесконечно разнообразного языка бесконечно разнообразной жизни на язык искусства?

Вот в этом, как нам кажется, и состоит глубинная суть, «второе дно» рассказа «Носовой платок». Это и есть главная его проблема, которую не то что решить — просто увидеть не дано профессорам — приверженцам бусидо, и эта проблема всю жизнь терзала странную и мудрую душу японского писателя Рюноскэ Акутагавы, покончившего самоубийством в 1927 году в возрасте тридцати пяти лет.

Он родился в Токио утром 1 марта 1892 года, или, по старинному времяисчислению, в час Дракона дня Дракона месяца Дракона, и потому его нарекли Рюноскэ, ибо «смысловой» иероглиф этого имени «рю» означает «дракон».

Когда ему исполнилось девять месяцев, его мать сошла с ума, и младенца, по закону и по обычаю, передали на усыновление и воспитание в бездетную семью старшего брата матери, начальника строительного отдела Токийской префектуры Акутагавы Митиаки. Так маленький Рюноскэ утратил фамилию Ниихара и получил фамилию Акутагава, покинул вульгарные кварталы Кёбаси и дом невежественного нувориша из далекой западной провинции и поселился в старинном Ходзё, районе мрачноватых эдоских особняков, единственным сыном коренного столичного жителя, большого ценителя и знатока японской культуры.

В небольшом предисловии не место подробностям детских и юношеских лет писателя. Скажем только, что первоначальную — и весьма основательную — культурную закалку он получает в доме своего приемного отца; что учится он прекрасно и со школьных лет увлекается чтением японской и китайской классики; что в одиннадцать лет он редактирует и оформляет рукописный журнал, который «издает» совместно с одноклассниками, а с четырнадцати лет принимается читать Франса и Ибсена; и что в двадцать лет, учась на литературном отделении так называемой высшей школы, без памяти и без разбора погружается в чтение

европейских поэтов, прозаиков и философов, в том числе Бодлера, Стриндберга и Бергсона.

В 1913 году Акутагава поступил на отделение английской литературы Токийского императорского университета и вскоре взялся за первые опыты в беллетристике. Но прежде чем говорить об этом, следует хотя бы в самых общих чертах представить себе, как был организован литературный мир Японии того времени и в каком состоянии находилась тогда японская литература.

Как это ни странно, в молодой буржуазной Японии, где все, начиная со структуры правительственного аппарата и кончая формой головных уборов железнодорожных носильщиков, дотошно копировалось с европейских образцов, в Японии, напряженно стремившейся сравняться с Западом и в материальном и в духовном плане, организация литературного мира сложилась первоначально в чисто феодальном стиле. Первые мастера новой литературы совершенно уподобились мастерам-ремесленникам — они объединялись в подобие цехов или кланов, обзаводились подмастерьями и учениками, которых нещадно эксплуатировали, стояли друг за друга стеной и яростно отбивали все попытки посягнуть на их прерогативы. А прерогативы эти были немалые; в частности, все дороги в литературу, то есть в центральные литературные ежемесячники, были в их руках, и проскочить через эти заставы без задержки могли либо только одиночки, имевшие протекцию непосредственно в журналах или располагавшие достаточными средствами, либо студенты университетов, удостоившиеся чести быть принятыми в соответствующий цех сразу же после первого произведения. Всем остальным не оставалось ничего иного, кроме как «войти в ворота», то есть идти на выучку и в услужение к литературному шефу.

Но мы не хотим сказать, что такая система имела только отрицательные стороны. Непосредственное шефство маститого писателя над начинающим автором, если отвлечься от феодального антуража, приносило, несомненно, громадную пользу. Не надо забывать, что начинающий стремился «в ворота» того мастера, которого глубоко уважал, перед которым преклонялся. В стране, где не существовало (да и сейчас, кажется, не существует) издательской редактуры в нашем смысле этого слова, кисть шефа, смоченная красной тушью, могла сделать и делала много доброго в рукописи, принесенной за пазухой. К тому же такая организация литературы как рабочая система продержалась в чистом виде сравнительно недолго, и к тому времени, когда в литературу вошел Рюноскэ Акутагава, она приняла уже гораздо более цивилизованные

формы. И когда в 1915 году он, автор всего двух рассказов, с бешено бьющимся сердцем вступил в кабинет своего любимого писателя Сосэки Нацумэ, ему не пришлось, конечно, ни таскать воду, ни бегать в соседнюю лавочку за овощами для кухни.

Тут уместно задаться вопросом: для чего Акутагава пошел в ученики — хотя бы и к такому мастеру, как Сосэки Нацумэ? Да, десятилетие работы Нацумэ в литературе называют «годами Нацумэ». Да, рассказ «Ворота Расёмон» привлек внимание и удостоился похвалы Нацумэ. Но двери в литературу были и без того широко распахнуты перед Акутагавой. Он принадлежал к университетскому литературному клану и активно участвовал в его печатном органе «Синейте». Его рассказы «Маска хёттоко» и «Расёмон» были опубликованы в солидном ежемесячнике «Тэйкоку бунгаку». У него уже складывались, как мы увидим, свои оригинальные взгляды на роль и задачи литературы. И тем не менее он «входит в ворота» Сосэки Нацумэ.

В 1885 году литературовед-англист Сёё Цубоути опубликовал трактат «Сущность романа», во многом определивший характер новой японской литературы. Он призвал писателей отказаться от принципов традиционной японской поэтики с ее стремлением к дерзкой метафоре и острой фабуле, предложил пользоваться исключительно европейской «техникой описания» и сформулировал новый литературный метод «сядзицусюги» («отражать как есть»). Этот метод предполагал фотографическую точность изображения всего, что фиксирует взгляд писателя, причем в первую голову — изображения человеческих чувств. Казалось бы, Сёё предлагал новой японской литературе именно то, чего ей не хватало: верность действительности. Ведь недаром этот метод был подхвачен с таким восторгом, и недаром его автора почтительно-восторженно называли «колоколом на рассвете». На самом же деле этот трактат явился скорее спасательным кругом, брошенным японским беллетристам, которые буквально захлебывались в кипучей разноголосице разнообразных и зачастую противоречивых западных влияний. Все, чего западная литературная традиция достигла за столетия эволюционного развития, обрушилось на Японию буквально в одночасье: и романтизм, и сентиментализм, и реализм, и натурализм, и первые декадентские и модернистские ухищрения. Все это надлежало переварить как можно скорее и выбрать или скомпилировать то, что, во-первых, соответствовало бы и было необходимым тогдашнему обществу, а во-вторых, что оказалось бы «под силу» нуворишам от литературы.

Принцип «сядзицусюги» устраивал многих. Воспринят он был с

неописуемым простодушием: описывай все, что перед глазами, и не надо заботиться ни о занимательности, ни о сюжете, ни о стилистике, и, уж конечно, не имеет никакого смысла анализировать увиденное, искать его связи с политическим, экономическим, социальным состоянием страны. Отражай как есть.

Разумеется, лучшие писатели восприняли этот принцип не столь буквально. Роман «Плывущее облако» Фтабатэя «показал изнанку мэйдзийской цивилизации». Ратовал за реализм, пронизанный идеалами, поэт конца века Тококу Китамура. Страшно писала о судьбе японской женщины Итиё Хигути. В первое десятилетие нового века, когда школьник Акутагава взахлеб зачитывался Франсом и Ибсеном, гневно гремели произведения Рока Токутоми, Тосона Симадзаки, Катай Таямы. Но основная тенденция была уже определена. Метод «сядзицусюги» оформился в японский натурализм, и вскоре тот же Катай Таяма выдвинул принципы «плоскостного» и «неприкрашенного изображения». Смысл этих принципов сводился к декларации: «Мы изгоняем из искусства все развлекательное; изгоняем все, что относится к мастерству; изгоняем все, что относится к идеалам». Принцип жесткой фотографичности логически привел к утверждению, что достоверно писатель может описать только себя самого. Писателям предложили публично раздеться. Так возникла эгобеллетристика, и на страницах журналов и книг предстали вывернутые наизнанку души и постели известных мастеров литературы.

Разумеется, имела место и оппозиция. В серую толщу унылых бессюжетных писаний, начисто лишенных настроений и здравого смысла, сверкающим лезвием вонзилась сатира Сосэки Нацумэ «Ваш покорный слуга кот». Весь богатейший арсенал японской и европейской поэтики, все известные в мировой литературе приемы сатиры, юмора, пародии, гротеска бросил он против застойного болота «плоскостного изображения». И при всем том это был настоящий полновесный реализм, реализм в высшем смысле этого слова, изображение жизни в ее социальных и психологических противоречиях…

Но одна ласточка не делает весны. «Ваш покорный слуга кот» появился в 1905 году, за ним последовало еще несколько повестей и романов Нацумэ. И все. Японская «натуральная школа» продолжала свое победное шествие, брезгливо сторонясь и «светозарной литературы», и большой общественной проблематики. Молодой Рюноскэ Акутагава с тревогой и недоверием следил за ее развитием. Все это было совсем не то, что он любил в литературе и что хотел сделать в литературе. И он пошел к великому мастеру. Нам кажется, он сделал это потому, что испытывал

потребность раз и навсегда перед собой и перед своими коллегами по университетскому клану отмежеваться от натурализма, от «плоскостного изображения», от эгобеллетристики. И еще, вероятно, он искал у Нацумэ подтверждение своей правоты. Можно представить себе, как Сосэки Нацумэ, прочитав очередной его рассказ, говорит, одобрительно кивая: «Ты на правильном пути, Акутагава Рюноскэ. Ты прав».

В «Кондзяку моногатари» («Стародавние повести»), литературном памятнике конца XI века, есть короткий рассказ о провинциальном воре, который в надежде поживиться пробрался в блестящую столицу и с досады ограбил в воротной башне Расёмон старуху-нищенку. В наше время благодаря Акутагаве (и успехам японской кинематографии) название Расёмон известно чуть ли не каждому культурному человеку в мире, а началось это, должно быть, с того, что двадцатичетырехлетний студент после долгих раздумий о своей теме в литературе, о своих литературных принципах и о своем собственном литературном методе пришел приблизительно к таким выводам. Моей темой должна быть бесконечная вселенная человеческого духа, человеческая психология; мои принципы сводятся к тому, что литература есть искусство, литература должна быть искусством, что бы там ни бубнили всеядные приверженцы простоты и безыскусности, убежденные противники мастерства; мой метод…

Вот тут Акутагава сделал свое первое открытие. Цубоути был, разумеется, прав, когда писал в своей «Сущности романа»: «Главное — описание чувства, потом уже нравов и обычаев… Чувство — это мозг произведения». Это правильно — объектом литературы должна быть психология человека. Правильно и то, что нравы и обычаи имеют второстепенное значение. Но термин «описание» легко влечет за собой, что и показала практика, представление о бездумном, пассивном копировании. Писатель должен быть активен в отношении объекта своей работы. Не описанием чувств должна заниматься литература, утверждал Акутагава, а исследованием, анализом психологии. Но анализ предполагает инструмент. Что может быть инструментом литературного анализа психического мира? Только одно: событие. Подобно тому как крупинка катализатора, брошенная в однородный мертвый раствор, вызывает в этом растворе бурную химическую реакцию, так и событие приводит в движение спящую в обычном состоянии человеческую психику, провоцирует ее на самые разнообразные проявления в поступках, анатомирует ее, выворачивает наизнанку. Событием может быть и вселенская катастрофа — например, война; и личное несчастье — например, неразделенная любовь; и подлая мелочь жизни — например, приобретение новой шинели. Выбор события

— это дело автора, выбор зависит от задачи, которую ставит перед собой автор, от личности героя произведения, от множества других факторов и является в конечном счете актом литературного мастерства. Так или примерно так рассуждал Рюноскэ Акутагава и принялся претворять свое открытие в слово.

Он пишет рассказ о человеке, который питал такое отвращение к злу, что готов был скорее умереть с голоду, чем встать на путь преступления. При виде старой нищенки, совершавшей мерзость, его абстрактная ненависть к злу логически перевоплотилась в ненависть к преступнице, а ненависть к преступнице столь же логически вылилась в преступление против нее: он, так ненавидевший зло, ограбил старуху. Старинный анекдот о воре, ограбившем старуху-нищенку в воротах Расёмон, явился той самой крупинкой катализатора, которая развернула плоское течение психики частного обывателя в яркий психологический этюд.

Характерно, что Акутагава сразу же демонстративно отказался от авторства в отношении событий. Сюжетные завязки его новелл, рисующих парадоксы и внезапные повороты человеческой психики, восходят к средневековым анекдотам и к эпизодам из военно-феодального эпоса. Он стремился еще и еще раз подчеркнуть, что быт и нравы, время действия и обстановка не играют для его анализа никакой роли. Психология человека, рассуждал Акутагава, не изменилась за все эти века, и он вправе анатомировать ее на фоне сколько угодно гротескных обстоятельств, лишь бы они помогали делу.

Следует сразу сказать, что он переоценил своих литературных оппонентов. Простодушные коллеги ничего не поняли в его методе и принялись наперебой упрекать его в ретроградстве, в стремлении уйти от действительности в прошлое, в болезненном пристрастии к старине. Вначале он презрительно отмалчивался, но в конце концов его заставили объясниться.

«Я беру тему, — писал он, — и решаю воплотить ее в рассказе. Чтобы дать этой теме наиболее сильную художественную выразительность, мне нужно какое-нибудь необычайное событие. Но мне не удается рассказать об этом необычайном событии, — именно потому, что оно необычайное, — так, словно оно произошло в сегодняшней, в нашей Японии. Если я все же пишу наперекор всему, не считаясь с тем, что мне это не удается, я, как правило, вызываю у читателя чувство неестественности. Единственное средство избегнуть такого затруднения, это… отнести событие в прошлое, рассказать о нем, как о произошедшем давным-давно в старину… В моих рассказах, в которых материал взят из старинных хроник, действие

развертывается в далеком прошлом большей частью именно под влиянием этой необходимости. Таким образом, хотя я пишу о старине, к старине как таковой у меня пристрастия нет». (Перевод Н. Фельдман.) В том обстоятельстве, что Акутагава начал использовать свой метод на материале старинных хроник, можно усмотреть влияние квазиисторических рассказов Франса. Но были у него предшественники и в Японии. Акинари Уэда, выдающийся писатель второй половины XVIII века, писал в предисловии к циклу своих новелл «Луна в тумане»: «Когда читаешь их сочинения (произведения классиков светской литературы Японии и Китая. — А. С.), то видишь, что сочинения эти полны необыкновенных образов, и хоть смехотворны и бессвязны они, но похожи на правду, фраза за фразой текут плавно и увлекают читателя. Настоящее можно узреть в глубокой древности». Как бы то ни было, «необычайные события», описанные в старину, стали в произведениях Акутагавы надежным инструментом для исследования механизмов человеческой психологии.

Особенный интерес представляет в этом отношении рассказ «Бататовая каша». В основу его тоже взят древний анекдот о том, как бедный самурай всю жизнь мечтал «нажраться» бататовой каши и как он ею объелся, когда сильные мира сего потехи ради предоставили ему эту возможность. Но Акутагава построил на этом незамысловатом анекдоте откровенный парафраз «Шинели» Гоголя. Аналог Акакия Акакиевича, самурай в мелких чинах служит при дворе могущественного феодала. В полном соответствии с общественным положением Акакия Акакиевича он — маленький человек, нищий и до крайности забитый. Как и Акакий Акакиевич, вид он собой являет самый неприглядный, одежды носит самые заношенные и, разумеется, служит для всех окружающих объектом самых грубых насмешек и издевательств. Мало того, словно бы не удовлетворяясь этими общими чертами сходства между своим героем и Акакием Акакиевичем, Акутагава вводит в рассказ абзац, который уже совершенно недвусмысленно указывает читателю на первоисточник. У Гоголя мы читаем: «Только если уж слишком была невыносима шутка… он произносил: „Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“ И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек… который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде». Акутагава пишет: «Лишь когда издевательства переходили все пределы… тогда он странно морщил лицо — то ли от плача, то ли от смеха — и говорил: „Что

уж вы, право, нельзя же так…“ Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости… Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у которых оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди всех немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек… Конечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды он услыхал голос, говоривший: „Что уж вы, право, нельзя же так…“ И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стал совсем другой личностью…» Наконец, аналогию завершает масштаб сокровенных желаний героев: Акакий Акакиевич «питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели», а красноносый бедолага самурай мечтал «нажраться» бататовой каши.

На этом сюжетная аналогия заканчивается и начинается эксперимент. Акакий Акакиевич гибнет, потому что невозможно оказалось перенести потерю шинели, вожделенной цели и смысла бытия. Маленький человек вырастает в трагическую фигуру. Ведь не случись несчастья, он прожил бы отпущенные ему дни и во благовремение скончался бы, тихо, словно его никогда и не было на свете. А что бы сталось с Акакием Акакиевичем, если бы не отняли у него шинель, а, напротив, подарили бы ему десяток шинелей, сотню шинелей, завалили бы его шинелями? Что сталось бы с гои, грезившем о бататовой каше, если бы поставить перед ним котел этой каши, десять котлов, море? Что происходит в психике маленького человека, когда его маленькие мечты осуществляются с гомерическим избытком? Именно этот эксперимент поставил Акутагава в своем рассказе. Как увидит читатель, бедолага пришел в ужас от обилия вожделенного лакомства. Он едва одолел маленький котелок. Он понял, что никогда в жизни больше в рот не возьмет бататовой каши. Мечта его при столкновении с перспективой полного удовлетворения перешла в панический страх, а страх — в безнадежное сожаление об утраченной мечте. Но в конце концов исчезло и сожаление. Маленькому человеку гораздо проще и легче жить без всяких желаний.

Квазиисторические новеллы о парадоксах психологии («Ворота Расёмон», «Нос», «Бататовая каша») скоро завоевали Акутагаве признание читателей и издателей и выдвинули Акутагаву в ряды лучших авторов того времени. Сосэки Нацумэ с радостной гордостью говорил о тонком вкусе и неподдельном юморе его произведений. Но сам Акутагава вскоре задумался. Инстинктом большого художника он почувствовал, что с его методом что-то не совсем в порядке — то ли с методом, то ли с

применением этого метода. Литературно, слишком литературно. Слишком интеллектуально, слишком от головы. Стремясь разобраться в своих сомнениях, он сделал попытку сформулировать фундаментальную проблему искусства и написал рассказ «Носовой платок». Что же все-таки такое искусство и как оно соотносится с жизнью?

В заметках «Об искусстве» Акутагава подчеркнул, что произведение искусства должно быть совершенным, как ничто другое, что совершенство состоит в полном воплощении художественного идеала, в противном же случае служить искусству просто не имеет смысла. Именно это занимало Акутагаву в 1919 году, в двадцать семь лет. К этому времени уже вышли три сборника его рассказов, восторженно встреченных читателями. Он был уже женат и служил преподавателем в военно-морской механической школе. Он стал сотрудником крупной газеты «Осака майнити» (оклад пятьдесят иен в месяц, гонорары отдельно, право печататься в любом журнале).

А с северо-запада, из гигантской страны, тянули огненные сквозняки невиданных событий, разносящие семена революции; по всей Японии чернели пепелища на месте магазинов, складов и особняков крупных спекулянтов рисом, спаленных в бешеной вспышке «рисовых бунтов»; в Токио бастовали железнодорожники, печатники, рабочие военных арсеналов, учителя, почтовые служащие; банды фашиствующих молодчиков из «рónинкай» («общества ронинов») нападали на рабочие собрания и демонстрации, штрейкбрехерствовали, громили помещения профсоюзов; в Корее императорская военщина злобно затаптывала пламя всенародного восстания; в Приморье и в Восточной Сибири японские и американские солдаты с помощью белогвардейских палачей жестоко расправлялись с местным населением.

Акутагава был далек от всего этого. Войны, революции, стихийные бедствия казались ему чем-то преходящим, не заслуживающим внимания художника. В лучшем случае они могли служить событиями, приводящими в движение скрытые механизмы человеческой души. Единственная, неповторимая, значимая реальность жизни — это искусство, отражающее — нет, не отражающее, а исследующее эти механизмы. «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера», — провозгласил он. Во всяком случае, жизнь, не связанная со служением искусству.

Во всей вселенной, считал он тогда, есть только одно дело, которое заполняет жизнь до краев, не оставляя места ни для сожалений, ни для разочарований. Это дело — служение искусству. Искусство приносит художнику высшие радости, окупает любые жертвы, оправдывает любые

преступления. Художнику могут быть свойственны обыкновенные человеческие слабости, в своей обыденной жизни художник может пребывать в зависимости от сильных мира сего, невежественная чернь может смеяться над художником или страшиться его — все это не имеет к служению искусству никакого отношения; мнение черни, полагал он, ничего не значит, духом художник всегда неизмеримо выше самого своего могущественного властелина, и если человеческие слабости губят художника, так это не вина его, а беда.

В июле 1918 года в газете «Осака майнити» была закончена публикация одной из самых блестящих новелл Акутагавы — «Муки ада».

Ёсихидэ, придворный художник владетельного князя, единовластного господина над жизнью и смертью своих слуг и вилланов, на всем белом свете любил только искусство и свою юную дочку. Он был великим мастером, познавшим все тайны красоты и уродства и умевшим воплотить в красках какую угодно радость и какую угодно тоску, и еще он был отвратительным, желчным и неуживчивым старикашкой. Наконец, он имел недостаток, совершенно несвойственный большинству художников XX века: он не умел изображать того, чего никогда не видел хотя бы во сне. И вот однажды его светлость повелел Ёсихидэ расписать ширмы изображением мук ада. Вначале работа Ёсихидэ продвигалась успешно; адское пламя он видел во время большого пожара, корчившихся в муках грешников он наблюдал, истязая своих учеников, адские слуги в китайских одеждах и с бычьими и конскими харями неоднократно являлись ему в бреду. Но, по его замыслу, в центре картины должна была быть охваченная огнем карета с погибающей в ней молодой придворной дамой. Такого мастеру никогда еще не приходилось видеть, и он почтительнейше поверг к стопам его светлости просьбу… Его светлость, пожелав проучить злобного старика, который ради своей картины готов был предать мучительной смерти безвинную женщину, повелел сжечь на глазах у Ёсихидэ карету с его единственной и любимой дочерью. Все было выполнено по повелению. Ёсихидэ не бросился в пламя, как ожидал того его светлость. Человек был ввергнут в огненную пучину ада, а погубивший его художник торжествовал. Закончив свой шедевр, Ёсихидэ удавился.

«Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера». Что стоят человеческие жизни в сравнении с шедевром! Трижды прав был Ёсихидэ, ибо только искусство приносит художнику высшую радость, окупает любые жертвы, оправдывает любые преступления. Целью жизни может быть только искусство, в конечном счете оно является и целью существования рода человеческого, а все остальное — борения страстей,

социальные катаклизмы, тяжкий труд крестьянина, хитрости политикана, технология, наука — имеет значение лишь в той мере, в какой может способствовать или препятствовать созданию шедевров.

Это было второе открытие Рюноскэ Акутагавы, но оно обрадовало его далеко не так сильно, как первое.

Рюноскэ Акутагава не стоял на бастионах осажденного города, как Лев Толстой; не поднимал голос в защиту справедливости, как Эмиль Золя; не сражался за революцию, как Ярослав Гашек. Он вел размеренную и довольно бестолковую жизнь японского литературного мэтра: по обусловленным дням принимал в своем кабинете «Тёкодо» («Храм чистой реки») литературную молодежь; посещал многочисленные банкеты; коллекционировал старинные картины и антиквариат; ссорился с издателями из-за гонораров; совершал лекционные поездки по стране; редактировал хрестоматийные сборники. В 1921 году он в первый и последний раз в жизни побывал за границей — по заданию редакции «Осака майнити» пропутешествовал по Китаю и по Корее. Великое землетрясение 1923 года, опустошившее пять префектур, в том числе и столичную, не произвело на него видимого впечатления: во всеуслышание он скорбел только о том, что в чудовищных пожарах погибло много бесценных произведений искусства…

Что еще? Как и многие другие литературные мэтры, он был неважным семьянином, хотя родил трех сыновей. Страдал от нервного истощения, от каких-то болезней желудочно-кишечного тракта, от ослабления сердечной деятельности и лечился на курорте Ютака.

И он непрерывно, бешено работал.

В первой половине 20-х годов «натуральная школа» Японии покатилась под гору. В литературную жизнь страны ворвался свирепый ветер коммерции. Сэйдзи Нома, основатель и владетель издательского концерна «Коданся», «журнальный король Японии», как восторженно назвал его другой крупнейший издатель, должно быть, первым понял, как надо разговаривать с литературной публикой. Теперь уже не издатель униженно просил у маститого мастера «все равно что, по вашему усмотрению», а маститые литераторы толпились в прихожей издателя в трепетном ожидании приема. Издатель диктовал свою волю. Издатель определял, что нужно писать и чего писать не следует. Издатель платил. И начался разгром.

Началась расплата за десятилетнее господство серости и безыдейности. Вчерашние поборники и беззаветные защитники вечных и незыблемых принципов упали на колени перед золотым тельцом.

Сочинители эгобеллетристики принялись спешно учиться писать детективы и приключенческие романы. Специалисты по публичному самораздеванию штудировали европейскую и американскую бульварную макулатуру. Крупнейшие писатели, в том числе старые друзья Акутагавы, организовывали по примеру Дюма-отца литературные фабрики, на которых нищие студенты за гроши сочиняли для них сюжеты и писали черновики. Покончил с собой один из самых талантливых современников Акутагавы, замечательный прозаик и драматург Такэо Арисима.

В этом хаосе дешевых соблазнов, трескучей пустопорожней болтовни, измен высоким идеалам Рюноскэ Акутагава работал как одержимый. Вероятно, из всех адептов «большой литературы» не склонил головы только он один. Впрочем, справедливости ради следует сказать: издатели отлично понимали, что помыкать им нет никакой выгоды, — громадный неиссякаемый талант все время держал его в фокусе читательского внимания. Но сам-то он не находил покоя. Поиск, поиск, поиск — вот что составляло суть его деятельности. Одно дело — открыть и усвоить некий принцип. Другое дело — претворить его в жизнь, в слово. И мысль писателя судорожно билась в недрах неповоротной груды фактов мировой культуры, стремясь нащупать в этом бесконечном разнообразии нечто главное, единственное, незаменимое, некий философский камень, который чудесным образом раз и навсегда решит для него все мучившие его проблемы. Он понимал, что никакие теоретические построения не удовлетворят его, что один лишь опыт может привести его к правильному решению, и писал рассказ за рассказом, эссе за эссе, танку за танкой. Его коллеги ныли, публично жалуясь, что писать больше не о чем, а он едва успевал переводить дух — мысли и чувства лились с кисти на бумагу, облекаясь в формы то простые и даже наивные, то странные и причудливые, порой фантастические. Пожалуй, ни один писатель не может похвастать такой жанровой и тематической мозаикой, какую являло собой творчество Акутагавы Рюноскэ.

Рассмотрим для примера литературную продукцию Акутагавы с декабря 1921 по август 1922 года.

«В чаще». Поразительное литературное произведение, совершенно уникальное в истории литературы, поднявшее откровенный алогизм до высочайшего художественного уровня.

«Генерал». Простой и суровый рассказ, раскрывающий облик профессионального вояки-фанатика в четырех очень точно подобранных аспектах: генерал и солдаты, генерал и враги, генерал и искусство, генерал и новое поколение.

«Усмешка богов». Рассказ, который сделал бы честь любой антологии современной научной фантастики.

«Вагонетка». Реалистическая новелла о детстве, лиричная и немного грустная, как и все произведения такого рода.

«Повесть об отплате за добро». Снова о парадоксах человеческой психологии, и снова на материале средневековья.

«Святой». Фантастическая притча.

«Сад». История гибели старинной семьи, пришедшей в упадок после переворота Мэйдзи. И в теме, и в настроении явственно ощущается могучее влияние Чехова.

«Барышня Рокуномия». Рассказ, развивающий ту же тему. Вообще Акутагаву очень занимали картины угасания последних представителей погибших цивилизаций. Впоследствии он еще не раз обратится к этой теме.

«Чистота О-Томи». Типичный исторический рассказ без всякого подтекста, рисующий эпизод из гражданской войны во время переворота Мэйдзи.

«О-Гин». Мастерски написанная новелла о гонениях на христиан в Японии XVII века. По определению Н. Фельдман, «его „христианские“ рассказы неизменно представляют собой соединение иронии и восхищения — иронии, направленной на объективную сторону религии, и восхищения субъективным миром верующего».

«Три сокровища». Нарочито наивная и простодушная пьеса-притча, явно стилизованная под средневековый народный театр, да еще европейский…

К этому списку можно было бы добавить повесть «Ересь», еще несколько рассказов, сборник маленьких эссе — дзуйхицу, стихи, но достаточно и того, что помещено в настоящем сборнике. Фантастика и реализм, средневековье и современность, политика и история, проза и драматургия, откровенный смех и тихая грусть, литературная простота и изощренная стилизация… увлеченное следование Чехову — и все это в течение одного года, в стремительном темпе, все это соседствует, переплетается, перекрывает одно другое. Акутагава был мастером-виртуозом, он с невероятной точностью находил или создавал сюжеты, наиболее подходящие для претворения в литературу его замыслов, облекал их в наиболее подходящую форму, не зная и не желая знать при этом никаких запретов и литературных табу.

Он писал много и разнообразно; он пользовался громадным успехом. Сборники его рассказов выходили один за другим и быстро раскупались. В апреле 1925 года его книгой открылась многотомная серия «Собрания

современных произведений». Разумеется, его критиковали, его поучали, на него клеветали — все это имело мало отношения к тому, что его мучило. Оказывается, найти и сформулировать принцип много легче, чем выяснить его пригодность на практике. Громадный литературный опыт самого Акутагавы был совершенно безразличен к этому принципу, а в мировоззренческом плане идея примата искусства над жизнью оборачивалась какой-то странной и неприятной стороной, возбуждая в душе и сознании сотни тысяч мучительных «зачем?» и «почему?». Да, искусство есть, несомненно, процесс отражения действительности в образах, причем понятие «отражение» никак не может быть сведено к отражению в плоском зеркале, понятие «действительность» должно, в зависимости от целей, которые ставит перед собой художник, включать в себя и его внутренний мир, а понятие «образ» существенно зависит от специфики данного вида искусства. Это вытекало из опыта культуры всех времен и народов, это четко подтвердилось опытом Акутагавы. Но этого, оказывается, было мало.

Акутагава был слишком большим художником, чтобы не быть диалектиком, хотя бы и интуитивным. «Принцип „искусство выше всего“, — объявил наконец он, — по крайней мере, в литературном творчестве — этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту». И дальше: «Исстари особенно рьяно провозглашали „искусство выше всего“ большей частью кастраты от искусства». Философский камень оказался не там, где его с такой бешеной энергией искал Акутагава. Не в сказочно прекрасном дворце человеческой культуры, а в грубом и монолитном фундаменте, на котором этот дворец был воздвигнут. Элементарная логика, азы диалектики. Искусство не может иметь бытия само по себе, как не может иметь бытия один сам по себе полюс магнита. Искусство существует лишь постольку, поскольку существует потребитель искусства. Между искусством и его потребителем должна быть прочная функциональная связь, выходящая далеко за рамки отношений типа «писатель пописывает, читатель почитывает». Некая форма мощного взаимодействия. Если отбросить в общем-то банальную и снобистскую в самом дурном смысле этого слова мысль о том, что потребителями искусства являются околокультурные недоучки и образованная, располагающая досугом элита, и принять, что потребителем искусства должен быть народ, то исчезают все «зачем?» и «почему?» и на месте хаоса возникает стройная система: народ из чрева своего порождает искусство, а искусство, в свою очередь, оплодотворяет лоно народа.

Так или примерно так рассуждал Рюноскэ Акутагава. Так он сделал

свое третье открытие.

Но было уже поздно.

На далеком, вдруг придвинувшемся вплотную северо-западе гигантская страна принялась за непомерную работу по преобразованию мира, выкорчевывая с корнем вековое невежество, изнемогая от разрухи, сквозь голод и холод, сквозь толщи предрассудков и заблуждений пробиваясь к фантастическому будущему. В Китае бушевала революция, возглавляемая Сунь Ятсеном, огромные народные массы поднимались против засилья иноземцев и собственных генералов-милитаристов, национально-революционные войска штурмовали города Северного Китая, занятые маньчжурским диктатором, ставленником японской военщины Чжан Цзо-лином. В Японии правительство, напуганное стремительным ростом социалистических настроений среди рабочих, издало закон «об опасных мыслях»; и одновременно — рост мощи и международного авторитета Советского государства вынудил правительство восстановить дипломатические и торговые отношения с Советским Союзом и вывести войска с Северного Сахалина; и тут же — глава правительства генерал Танака всеподданнейше поверг к стопам императора секретный меморандум, из которого следовало, что для Японии существует необходимость «вновь скрестить мечи с Россией на полях Южной Маньчжурии»…

Акутагава не дожил до продолжения. Все это было впереди — «мукденский инцидент» и Антикоминтерновский пакт, Пёрл-Харбор и битва на Волге, лагеря уничтожения, «отряды» генерала Исии и атомный гриб над Хиросимой. Но кровавые отблески грядущих потрясений уже дрожали на лице планеты, и он, утонченный, эрудированный и глубоко невежественный в политике художник, с тревогой вглядывался в них, пытаясь понять, что они предвещают. Громы исполинских классовых столкновений дошли наконец до его сознания, и каким же маленьким, каким ничтожным показался он себе со своими метаниями и поисками в горних высях чистого искусства! Он уже знал, что своим третьим, и последним, открытием вынес приговор самому себе прежнему, и мечтал только удержаться на ногах. Он писал: «Шекспир, Гете, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр». Он заклинал себя: «Акутагава Рюноскэ! Акутагава Рюноскэ! Вцепись крепче корнями в землю! Ты — тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются. Только стой крепко на ногах». Он утверждал, убеждая себя: «Конечно, я потерпел

неудачу. Но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева — частное явление. Пока существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне».

Он чувствовал себя все хуже и хуже. Сказывались годы напряженной работы, мучительные болезни, вечный ужас перед сумасшествием, неотвратимо, как ему казалось, унаследованным от матери. Но главным все-таки было другое. Страх перед одиночеством с необычайной силой охватил его. Он понял, что висит в пустоте. Недавние друзья, превратившиеся в благополучных литературных деляг, претили ему. Возможность для себя служить государству, с его империализмом и откровенной полицейской сущностью, он с ужасом отвергал. Всю свою жизнь он любил только искусство и поклонялся только искусству. Оставался народ, истинный источник и единственный потребитель искусства. Акутагава провозгласил: «Слушайте удары молота. Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет». Но это не было знанием, вошедшим в его плоть и кровь, это просто логически вытекало из его новых представлений. Он объявил: «Правота социализма не подлежит дискуссии. Социализм — просто неизбежность». Но он плохо разбирался в социализме, социализм лишь ассоциировался у него с Россией, перед гением которой он преклонялся, а вообще-то к социалистам он готов был причислить и Чаплина. Он сказал о себе: «Я… по характеру — романтик, по мировоззрению — реалист, по политическим убеждениям — коммунист». И здесь он вряд ли отчетливо представлял себе то, о чем говорил.

Провозгласив неразрывную связь между народом и искусством, он парадоксально не верил, что его работа, работа мастера-виртуоза, представляет для народа какую-либо ценность. По существу, он просто не верил в народ. В лучшем случае он был способен умиляться. И он был убежден, что ему, эстету и индивидуалисту, дорога к народу закрыта. Ясно для него было одно: действительность являет собой ад, в котором хорошо себя может чувствовать лишь «избранное меньшинство» — другое название для идиотов и негодяев. Для него же, Рюноскэ Акутагавы, остается только ад одиночества.

Пора было разобраться в этой душевной сумятице, свести счеты с самим собой и с тем, что он любил больше жизни. И он написал свои изумительные «Диалоги во тьме», своеобразнейшую самоисповедь, представленную в виде бесед-диспутов с Совестью, Искусством и Вдохновением.

Поединок с Совестью — ангелом, который на заре мира боролся с

Иаковом, то есть поединок с богом, — странным образом напоминает игру в поддавки. Акутагава кругом виноват, ему нечего противопоставить своей Совести, кроме изощренной казуистики и жалобно-растерянного «как все, так и я», и он отступает по всей линии. Диспут кончается страшно: Совесть оставляет художника страдать в аду, который он сам для себя создал. Далее следует поистине гениальный поворот. В споре с Искусством Акутагава выступает с позиций своей утраченной совести. Искусство всеми мерами пытается вернуть ему душевное спокойствие, привести его к миру с самим собой, но тщетно. Оно пытается доказать ему, что с совестью у него все в порядке, ведь он так страдает. Но для страдания не обязательно иметь совесть. «У меня есть только нервы». Искусство убеждает его, что он во всех своих чувствах, мыслях, делах был всегда прав. «Ты поэт, художник, тебе все дозволено». — «Я поэт, — соглашается Акутагава. — Я художник. Но я и член общества…» В его глазах возлюбленное искусство становится демоном великого соблазна. «Ты пес, — говорит он. — Ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту в облике пса». Утешить оно больше не может. И оно тоже оставляет его страдать.

Ушла совесть, перестало давать радость искусство. Но осталась еще могучая сила, которая, подобно рентгеновским лучам, проникает сквозь любые преграды, является непрошеной, завладевает художником без остатка. Эта сила — Вдохновение. Восставать против нее бесполезно. Она как дамоклов меч висит над головой Акутагавы и только и ждет момента, когда он возьмет в руку перо. Может быть, ему, утратившему совесть и радость творчества, возложившему на голые плечи бремя целой жизни, следует умереть? Рюноскэ Акутагава! Вцепись крепче корнями в землю! Стой крепко на ногах. Ради себя самого. Ради своих детей.

Но он уже чувствовал, что ему не устоять. Безобразные призраки обступали его со всех сторон, глумились, угрожали, мешали видеть. Давно умершая дочь сумасшедшего, которую он когда-то ласкал; обезображенный труп мужа сестры, этого незадачливого жулика, покончившего самоубийством; невнятные голоса по телефону и странные взгляды случайного прохожего. Он терял ориентировку — откуда, из каких щелей, из какой преисподней выползала на него эта мерзость? Из темной пропасти ошибок, каким представлялось ему теперь собственное прошлое? Из опостылевшей до омерзения суеты, в которой тянулись теперь его унылые дни? Из Африки его духа — больного, воспаленного, расстроенного воображения? Он еще лелеял мечту написать роман, героем которого должен был стать сам японский народ с мифических времен до его дней, но он не видел этого героя, его заслоняли свирепые полководцы в рогатых

шлемах и с окровавленными мечами, тихие и мудрые философы, посылавшие в мир бессмертные поучения из тиши отшельнических убежищ, величайшие художники, чьи творения потрясали души людей много поколений спустя…

Но он продолжал работать. Впервые в жизни он взял объектом своего анализа не личность, а общество в целом. Не желая связывать себя конкретными деталями быта, он перенес действие своего нового произведения в фантастическую страну. «Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Более того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя». Так, в мартовской книжке ежемесячника «Кайдзо» в 1927 году появилась на свет сатирическая утопия «В стране водяных» («Каппа») — блестящий гротеск, разительная пародия на буржуазную Японию… и страшная карикатура на самого автора, плоть от плоти, кровь от крови этой Японии, ее порождение и ее жертва. Некуда было ему уйти ни от своего прошлого, ни от настоящего, ни от себя.

В предчувствии неминуемой и близкой гибели он попытался освободиться от бремени «целой жизни», перенеся ее на бумагу. Возможно, он видел в этом последнюю соломинку, и решение приняться за такую работу было продиктовано полуосознанным стремлением «сублимироваться», навеянным причудливыми представлениями о методике фрейдовского психоанализа. Досконально, стараясь не упустить ни единой подробности, он описал свои действия и ощущения в течение нескольких дней во время одной из поездок в Токио, рассказал о страхе перед подступающим безумием, о своем отвращении к людям и к себе, о невыразимой муке повседневной жизни. «Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?» — в отчаянии воскликнул он, заканчивая рассказ, и сейчас же начал новую, и последнюю, повесть, в которой изложил историю своей жизни — нет, не жизни даже, а своего внутреннего ада, своего поражения. Эти два произведения — «Зубчатые колеса» и «Жизнь идиота» — можно, пожалуй, назвать кульминацией творчества Рюноскэ Акутагавы. И кульмина— цией всей довоенной литературы Японии. В них сосредоточилось все богатство чувств и мысли замечательного писателя, все его огромное мастерство, и вместе с тем в них, как в капле тяжелой и живой ртути, отразилась безысходность и безнадежность положения, в которое загнала себя культура страны накануне самых страшных испытаний, какие когда-либо выпадали на ее долю.

Он подарил миру еще два шедевра. Но освободиться ему не удалось. Сын сумасшедшей и торговца из Ямагути, писатель Рюноскэ Акутагава,

приняв смертельную дозу веронала, покончил жизнь самоубийством на рассвете 4 июля 1927 года в возрасте тридцати пяти лет.

Может быть, он ушел из жизни потому, что изнемог в борьбе с безумием.

Может быть, он перестал жить потому, что его обнаженная совесть не в силах была больше терпеть постоянное соприкосновение с кровавой пошлостью буржуазной действительности.

А может быть, сыграло тут свою роль и то обстоятельство, что свои открытия Рюноскэ Акутагава сделал не в том порядке.

Творческий прием, открытый им, в соединении с громадным литературным даром принес ему мировую славу. Его читают на всех континентах, причем круг его читателей непрерывно увеличивается. Большим успехом пользуется он и у читателей в Советском Союзе. Литературоведы и критики тщательно исследуют его творчество, а в Японии ежегодно одна из высших литературных премий — премия Акутагавы — присуждается молодому писателю.

Аркадий Стругацкий
РУМАТА ДЕЛАЕТ ВЫБОР[23]

Когда наша беседа уже подходила к концу, я попросил своего собеседника назвать лучших, по его мнению, писателей-фантастов, советских и зарубежных. Подумав минуту, он назвал полтора десятка имен. Его в этом списке не было. Это естественно. И я с удовольствием беру на себя приятную обязанность представить человека, с которым несколько часов беседовал в дубултском Доме творчества писателей.

Аркадий Натанович Стругацкий — старший (по возрасту) из «великолепной двойки» братьев Стругацких, авторов книг, которые давно и прочно стали неотъемлемой частью нашей культурной жизни. Смею предположить, с творчеством Стругацких знакомы не только любители научной фантастики.

Без малого пятнадцать лет работают они в литературе. В их активе около двадцати книг; сейчас они аккуратной стопкой лежат рядом с моей пишущей машинкой. Во время поездки в Дубулты я наудачу взял с собой одну из книг. Это был многократно читанный «Обитаемый остров». Спохватился я, что пора вылезать, лишь в Яундубулты…

— Аркадий Натанович, существует устная легенда о братьях Стругацких. Говорят, на одном из совещаний писателей-фантастов вам с

братом задали сакраментальный вопрос: как вы пишете вдвоем? Поскольку этот вопрос вам изрядно поднадоел, кто-то из вас якобы ответил: «Очень просто. Так как один живет в Москве, а другой в Ленинграде, мы съезжаемся в Бологом, сидим в станционном буфете, пьем чай и пишем».

— Очень интересная методика… К сожалению, мы ее ни разу не опробовали: это в самом деле легенда. Как же мы пишем вдвоем? Да вот так в полном смысле слова — вдвоем. Каждое слово. Правда, методика эта возникла не сразу. Сначала мы встречались, обговаривали идею, сюжет, композицию — на этот счет у нас не возникало никаких разногласий, хотя наши профессии диаметрально противоположны: я востоковед-японист, а мой брат астроном, — потом разъезжались и писали каждый свою часть по отдельности. Или оба работали над одним и тем же куском, а потом «сращивали» их. Лишнее отпадало. Но впоследствии убедились, что это не самый рациональный метод. Теперь работаем за одним письменным столом, пробуем друг на друге каждое слово, каждый поворот темы…

— А как вы начинали?

— Откровенно говоря, писать мы начали… на пари. В 1956 году, только демобилизовавшись из армии, в которой прослужил пятнадцать лет, я был у брата в Ленинграде. Помню, мы шли по Невскому и дружно ругали нашу фантастику. В тот год одновременно вышли четыре книги о полете на Венеру. И герои, и ситуации в них были настолько выспренны и однообразны, что казалось, будто все эти книги написаны одним автором. Жена моя шла между нами и только крутила головой, слушая то одного, то другого. Наконец ей это надоело, и она сказала, что мы оба болтуны, только и умеем, что критиканствовать. Состоялось это оскорбление около Аничкова моста. И тут же мы приняли решение: а что, в самом деле. Так мы начали работу, и в скором времени появилась «Страна багровых туч». И, хотя говорят, что женщины вдохновляют нас на великие дела, но никогда не дают их создать, к моей жене это не относится…

И эту, и несколько последующих книг мы писали по принципу «отталкивания» от пресловутой фантастики «ближнего прицела». Герои наши летят на Венеру не за неким абстрактным знанием, а за самой конкретной рудой: мы по мере возможности старательно избегали «фантастического антуража», наделяли и Быкова, и Крутикова, и Дауге самой заурядной, подчеркнуто земной внешностью; говорили они нашим языком, не стесняясь даже вульгаризмов, — правда, за это нас нередко поругивали. Словом, это были книги типичного «приключения тела». «Приключения духа» присутствовали здесь в минимальной степени.

— Можно понять вашу неприязнь к фантастике «ближнего прицела».

Ее авторы писали о разработках, уже ведущихся в лабораториях. Помню, например, рассказ о размыве горной породы струей гидромонитора. Но все же — начинали вы не на пустом месте?

— Без сомнения. В те годы вышла в свет «Туманность Андромеды» Ивана Антоновича Ефремова, которая произвела буквально ошеломляющее впечатление и оказала огромное влияние на всю последующую советскую фантастику. Это было первое произведение такого взлета фантазии, такого полета духа. И причем, обратите внимание, это необозримо далекое будущее отнюдь не было таким безобидным и розово-радостным. И в нем были потери и разочарования, и даже через тысячелетия перед человечеством будут стоять неразрешимые загадки, мучаясь над которыми, будут гибнуть лучшие люди, гибнуть или уходить в невозвратный космос. Да, это была большая книга, написанная настоящим художником и мыслителем. И много лет мы чувствовали помощь и поддержку Ивана Антоновича. Плечо старшего друга, который в трудную минуту неожиданно оказался рядом…

— А как совершился поворот к «приключениям духа», которому посвящены фактически все ваши последние книги?

— «Извне», «Страна багровых туч», «Шесть спичек», «Путь на Амальтею» были, в общем-то, лишь ученичеством. «По-новому» мы стали писать, начиная со «Стажеров». Затем появилось «Возвращение. Полдень, XXII век». Мы писали о стране «младших научных сотрудников». О людях, которые, как мы тогда считали, уже сегодня несут в себе черты потомков из коммунистического завтра. О людях, для которых главная ценность бытия — именно в «приключениях духа». Хотя, как вы можете заметить, мы не чураемся занимательности и даже некоторой авантюрности сюжетов. Но не это, конечно, главное…

— Оправдали ли эти «младшие научные сотрудники» надежды, которые вы на них возлагали?

— Откровенно говоря, пока еще не очень. Чем больше мы задумывались над морально-нравственными проблемами завтрашнего дня, тем яснее нам становилось, что путь становления качественно новой морали, качественно иного отношения к действительности гораздо более сложен, чем нам казалось, труден и непрост; он чреват ошибками и потерями.

— Очевидно, этим трудным поискам посвящена повесть «Попытка к бегству»?

— Да, именно так. Мы, было, задумали ее как веселую повестушку о приключениях молодых коммунаров, которые решили удрать и вволю

порезвиться на какой-нибудь планете. Написали пару глав и… остановились. Почувствовали, что зашли в тупик. Исписались. Герои стали такими розовыми, такими… недумающими… и тогда появился Саул Репнин, беглец из фашистского концлагеря… Появился фашизм и борьба с ним.

— Некоторые считают, что фашизм — это сугубо локальное явление, ограниченное 30-40-ми годами нашего века и имевшее место лишь в Германии и Италии. А ведь это гораздо более многоплановое понятие и, как раковую опухоль, его не удалось выкорчевать сразу…

— …и это очень волнует нас. Фашизм можно называть по-разному, придумывать разные термины, но наши последующие книги были посвящены именно этому: духовному ожирению и тупости, ведущим к жестокости. Об этом мы писали и во «Втором пришествии марсиан», и в «Хищных вещах века», и, в значительной степени, в «Трудно быть богом»…

Хочется думать, что эта книга получилась. Нам кажется, что удался образ главного героя: мы старались убрать «голубизну», старались показать, что человек, за которым — счастливая Земля, которого воспитали поколения сильных, красивых и счастливых людей — и такой человек может сомневаться, мучиться, совершать ошибки — ибо таково извечное свойство человека. Да, Арканар — это фашизм, Антон-Румата, как и его друзья, тщательно наблюдают его симптомы — чтобы найти путь борьбы. Антон мучительно решает сложнейшую проблему выбора. По сравнению с арканарцами он — бог. Он может практически все. Но совершить это «все» — значит, предать дело, ради которого ты сюда послан. А оставаться в бездействии не менее мучительно. Ведь ты человек, живой человек из плоти и крови, который страдает, любит и ненавидит. И Румата делает выбор — страшный, кровавый, но… неизбежный выбор. И хотя мы не говорим, что это было правильно, мы и не осуждаем его, а показываем путь, мучительный и трудный путь мысли…

— Изменился ли конечный замысел этого романа по сравнению с тем, как вы задумывали его?

— Практически нет. Правда, мы предполагали, что после смерти Киры Антон выйдет в последнюю схватку, вооруженный атомными бластерами. Но… это было бы слишком, как бы это выразиться поточнее, фантастически, и Антон взял привычные ему мечи.

— Что вас волнует в современном мире?

— Все. Проблема перенаселения. К 2000 году нас будет шесть миллиардов. Можно, конечно, ввести контроль над рождаемостью, но это

будет означать катастрофическое постарение населения Земли. Гибнущая природа. Что мы с ней делаем? Мы выпустили джинна из бутылки. Посмотрите на эту полосу пляжа за окнами. Я не могу себе представить, что это море останется без рыбы. У нас — да и во всем мире — сейчас ведется огромная работа по восстановлению живой природы, и теоретически мы все понимаем, но пока не умеем себя каждодневно, ежечасно контролировать…

А проблемы воспитания молодежи — разве могут они не волновать? Сегодняшние школьники и студенты, да и те же младшие научные сотрудники много знают, они становятся прекрасными специалистами, но мы мало, катастрофически мало работаем над развитием и укреплением морально-нравственных ценностей, — да не прозвучит это слишком высокопарно… И неслучайно наш герой из «Обитаемого острова» Максим Каммерер, человек XXII века, просто не понимает, что значат слова «детская преступность», «социальное вспомоществование» и так далее. Нам надо больше думать о «ценностях духа», взращенных человечеством на своем многотысячелетнем пути…

— Кстати, об «Обитаемом острове»… Как после «Улитки на склоне», произведения сложного и причудливого, появилась эта книга?

— «Улитка на склоне» — вещь действительно сложная. Это был для нас с братом своеобразный эксперимент, мы решили писать ее, подчиняясь лишь свободному ходу мысли, и что получилось — не нам судить, тем более, что многие наши друзья и критики, чьему мнению мы, безусловно, доверяем, не могли дать этой книге однозначного толкования.

А с «Обитаемым островом» получилось интересно. Это был типичный социальный заказ. Как-то на авторском активе издательства «Молодая гвардия» пошел разговор о том, что у нас пока нет книги о Павке Корчагине сегодняшнего дня, и надо постараться создать ее. «А о Корчагине завтрашнего дня?..» — спросили мы. И сели за приключения Максима Каммерера. Подлинного Павку Корчагина завтрашнего дня вряд ли удалось создать, но писали мы эту книгу с большой симпатией к своему герою.

— Вопрос о «технике» вашей работы. Как вы придумываете имена своих героев?

— А, это хитрая штука. Порой хорошее имя придумать труднее, чем написать книгу… Мы придумываем не имена, а скорее, создаем систему имен. В «Трудно быть богом» в ее основу легла измененная система японских: Румата, Рэба, Тамэо, Окана. В «Обитаемом острове» — венгерских имен: Гай Гаал, Рада, Кэтшеф, Одри…

— А Арканар?

— Это уже сугубо наше. Как у Кассиля была в детстве Швамбрания, так и мы с братом играли в Арканар.

— Какие ситуации и положения привлекают вас?

— Это не совсем точный вопрос. Ситуация и положения могут быть любыми. Например, как я уже говорил, мы с удовольствием «закручиваем» сюжет; детектив «Отель „У погибшего альпиниста“» мы писали просто с наслаждением. Но это не главное. Привлекают нас, если можно так выразиться, проблемы. Основная — морально-нравственное совершенствование. Мы никогда не учим злу — в любой его форме, — хотя вопрос о литературе как «учебнике» бытия достаточно сложен и не решается однозначно. Одна из самых острых проблем, на наш взгляд, — это вопрос о выборе. Об этом мы пытались размышлять в «Далекой Радуге», имея в виду, конечно, Землю. Но там ответ на вопрос, кого спасать: ученых или детей, был однозначен. Куда сложнее выбор между равнозначными проблемами. Есть долг перед обществом и долг перед самим собой — что впрямую связано с проблемами того же самого общества, — долг, скажем, перед своим талантом. Очень трудно сделать такой личный выбор, и именно его мучительно пытаются сделать герои нашей последней работы «За миллиард лет до конца света».

— Аркадий Натанович, назовите, пожалуйста, наиболее интересных писателей-фантастов у нас и за рубежом.

— Ну, во-первых, Кирилл Булычев — писатель со своим миром, тонкий и остроумный. У Виктора Колупаева наряду со слабыми, проходными вещами встречаются очень интересные рассказы. Жаль, что мы потеряли превосходного писателя и обаятельнейшего человека Илью Варшавского. Хорошо и уверенно начинала Ольга Ларионова, но, к сожалению, трудная редакторская судьба ее «Леопарда на вершине Килиманджаро» пока лишила ее уверенности в себе. Интересно работают Е. Войскунский и И. Лукодьянов, так же, как и В. Журавлева, смело разрабатывающая новые темы.

Огромный интерес — конечно, лично для нас — представляет Генрих Альтов, создавший, как нам кажется, новое течение: научно-философский рассказ — талантливое произведение, в художественных образах отражающее самые общие тенденции развития современной науки. Да и вообще, должен вам сказать, по-моему, советская фантастика сейчас, пожалуй, наиболее мощная в мире после американской.

На Западе среди наиболее интересных имен, безусловно, Р. Шекли, сказочник Брэдбери — приверженец даже не научной фантастики, а скорее фантастики «чистой», сказочной. Очень мощно, сильно и своеобразно

работают Курт Воннегут и хорошо нам знакомый С. Лем, вечной заслугой которого останутся такие проблемные произведения, как «Солярис», «Непобедимый». Интересные писатели М. Лейнстер, Г. Каттнер со своими Хогбенами, Д. Баллард, которого, к сожалению, мало знают у нас, лично мне очень нравится Абэ Кобо. Учтите, что список этот далеко не полон и продиктован личными пристрастиями…

Что ж, это понятно. Аркадий Натанович Стругацкий не претендует ни на энциклопедичность, ни на беспристрастность.

Тоже не обладая этими качествами, я, тем не менее, не колеблясь, беру на себя смелость дополнить этот краткий список именами братьев Стругацких — их книги дают им право числиться в первой когорте писателей-фантастов современности.

И, думается, это утверждение поддержат все, кому знакомы имена Аркадия и Бориса Стругацких…

Вел интервью Ил. Полоцк

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ОТ ЧЕГО НЕ СВОБОДНА ФАНТАСТИКА…[24]

Обширна и разнообразна почта братьев Стругацких. Лаконичные вопросы типа «а где достать такую-то Вашу книгу?» чередуются с довольно объемистыми письмами, рецензиями и размышлениями о природе и назначении фантастической литературы…

Специальный корреспондент «ЛО» Г. СИЛИНА, ознакомившись с письмами, адресованными Аркадию и Борису Стругацким, попросила писателей принять участие в очередном занятии нашего «факультета».

Корреспондент. В одном из писем читатель высказывает такую мысль. Поскольку, на его взгляд, фантастика свободна от тех «запретов и ограничений», которым подчиняется литература «нефантастическая», заключенная «в узкие рамки действительности», неплохо было бы любимым авторам написать «интересный роман на 2–3 тысячи страниц».

Здесь, может быть, в несколько наивной форме выражено желание иметь остросюжетное, захватывающее и почти нескончаемое произведение. По-видимому, читатель полагает, что фантастика тем и отличается от прочей литературы, что автор может, не сковывая себя ничем, пуститься в свободное космоплавание по разным галактикам, а поскольку фантазии, как и галактикам, нет предела, то и произведение может быть беспредельным. Это, конечно, не так. Другое дело, что фантастика

действительно отличается от «нефантастики».

В чем же состоит это отличие? Какие запреты и ограничения диктует сам жанр?

Стругацкие. Над этими вопросами уже пятнадцать, а то и двадцать лет бьются профессиональные литературоведы, профессиональные писатели-фантасты и целая армия поклонников фантастики — читатели всех уровней квалифицированности.

По сути, речь идет о создании такой теории, которая отыскала бы истоки фантастической литературы, разработала бы классификацию разновидностей фантастики (простым глазом видно, что фантастика не едина) и — практически! — дала бы возможность, коль скоро речь идет о некоем конкретном произведении, строго определить: а) фантастическое ли это произведение и б) хорошее это фантастическое произведение или плохое.

(Весьма велик соблазн заметить, хотя бы и в скобках, что массовый читатель, который, разумеется, по сути своей эмпирик, даже не располагая вышеупомянутой теорией, тем не менее ухитряется как-то с завидным постоянством отделять «плевелы от злаков». Анкетные опросы, проведенные в середине 60-х годов, показали, во-первых, что дисперсия вкуса у различных социальных групп читателей фантастики совсем не так велика, как этого можно было ожидать. И во-вторых, что эти вкусовые различия и вовсе исчезают, когда оцениваются «хорошие» фантастические произведения. Иначе говоря, произведение хорошее с точки зрения одной социальной группы является хорошим и с точки зрения всех прочих социальных групп. Интересно, что это простое правило не распространяется на «плохие» и «средние» произведения: то, что «плохо» для одной социальной группы, может быть «удовлетворительно» — но не «хорошо»! — с точки зрения другой. Перефразируя известную поговорку: «Хорошее всегда хорошо, но плохое не всегда плохо».) Наша точка зрения состоит в том, что фантастика не стоит особняком, а занимает место в общем потоке художественной литературы — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Все, что хорошо для реалистической литературы (полнокровие и достоверность образов, искренность, глубина мысли, эмоциональность, ясность и яркость языка), хорошо и для фантастики. Все, что противопоказано реалистической литературе (штампы, скудомыслие, пошлость, искажение правды человеческих отношений), противопоказано и фантастике. И даже основной принцип писателя-реалиста: «Пиши только о том, что знаешь хорошо», формулируется для писателя-фантаста в точности так же, но с маленьким добавлением: «…либо о том, чего никто

не знает».

Мы не признаем никаких «скидок на жанр», хотя жанровая специфика фантастики, безусловно, существует. В известном смысле она сродни специфике исторического романа. Исторический роман, как правило, рассказывает о том, что и как могло бы произойти, но в рамках определенных исторических и социальных представлений. Фантастический роман тоже рассказывает, что и как могло бы произойти, но в рамках определенной фантастической гипотезы или фантастического допущения. Для обоих жанров характерно возрастание меры и роли условности (по сравнению, скажем, с бытовым романом), что объясняется, во-первых, принципиальным недостатком информации у автора, и, во-вторых, необходимостью приблизить описываемые события к читателю-современнику, к его реальной жизни, его мировоззрению и мироощущению.

Может быть, литературоведам следовало бы обратить внимание на эту «параллельность» жанров и попытаться использовать в разработке теории фантастики результаты, полученные литературоведением для жанра исторического романа?

Аркадий Стругацкий
ПОСЛУШНАЯ СТРЕЛКА ЧАСОВ[25]

— Аркадий Натанович, представьте, на наших руках — волшебные часы. Время — шестнадцать часов ноль-ноль минут. Вам шестнадцать лет…

— Дайте мне вспомнить… Ленинград. Канун войны. У меня строгие родители. То есть нет: хорошие и строгие. Сильно увлечен астрономией, математикой. Обрабатываю наблюдения Солнца обсерватории Дома ученых за пять лет. Определяю так называемое число Вольфа по солнечным пятнам. Пожалуй, все. Хотя нет, не все. В шестнадцать лет я влюблен.

— Выходит, вы ничем не отличались от сегодняшних шестнадцатилетних?

— Нет, отличался. Сегодняшние мне нравятся гораздо больше, чем мы были в шестнадцать. Ребята более развиты, круг их интересов шире, они умнее и, самое главное, тоньше.

— Но вы, вероятно, были решительнее?

— Это определялось тогдашней ситуацией: ждали войны. Все это чувствовали. Нам приходилось больше преодолевать…

— Значит, взросление — это преодоление?

— Конечно. Детство — пора сложная. Не знаю, кто это выдумал, что детство — легкая пора. Ребята и сами не должны так считать. Иначе взрослеть будет еще труднее. Ежегодно, может быть, ежемесячно в человеке происходит ломка. Детство, как и вся жизнь, — время проблем, время решения проблем, в этом и состоит прелесть нашего существования. Представляете, если бы вы с пеленок существовали безмятежно? И разница от двух до пятнадцати была только в том, что сначала вам меняли пеленки, а потом вы бы научились менять себе пеленки сами. Преодоление происходит не только в поступках, но и в мыслях. Мечта — это тоже преодоление. Если человек не мечтает — он болен.

Над родителями иногда тяготеет старая идея: раз дети накормленные, вымытые, чистенькие — можно отвернуться от них и заняться настоящим делом — скажем, судьбой княжества Гоа.

— В шестнадцать вы были так же категоричны?

— Гораздо сильнее. Я все знал, все умел, лучше всех понимал существующее положение. Только удивлялся, почему не понимают другие.

— Были ли вы в шестнадцать личностью?

— «Неличностей» не бывает. Каждый человек — личность, иногда закрытая, страшно закомплексованная, особенно в шестнадцать лет. Только не все это понимают или понимают неправильно. Человек в 14–16 лет звучит для себя гордо, а ему звучать гордо подчас не дают. Или наоборот: его уже с пяти лет считают выдающейся личностью, и получается из него дурак невероятный.

— Мы и не заметили, как стрелки наших часов стали показывать время настоящее. Давайте передвинем их еще немного вперед. Школа будущего…

— Ну откуда я могу знать, как там будет. Я могу только представить. Не менее одной десятой, а то и одной седьмой всего человечества будут преподавателями. Каждый преподаватель будет работать с небольшой группой учеников, которую он поведет с самого начала до самого конца. Методы — телевизионный, гипнопедический — предсказывать не берусь. Но вот то, что педагог станет вторым родителем, утверждаю. Потому что будет авторитетнее нынешних учителей, ибо прожил большую и, главное, интересную, значительную жизнь, потому что будет добрее, умнее, необходимее.

— А у ребят возникнет неизменное желание учиться?

— Видите, в чем дело, дорогие товарищи, если сегодня школьник не хочет учиться, то это вина школы, а не его. Вы думаете, он сейчас не знает,

что учиться надо? Знает. Другое дело, он не понимает, зачем его учат именно ботанике, а не вождению автомашины.

— А сами ребята изменятся?

— Изменятся ли они… Да, конечно. Какие-то перемены произойдут. Потому что исчезнут одни проблемы — появятся новые.

— Какие исчезнут?

— Например, я точно уверен, не будет «проблемы» длины волос и юбок. Это я, как фантаст, могу вам гарантировать.

— Аркадий Натанович, что вы хотите пожелать ребятам на будущее?

— Что я могу сказать с высоты своих пятидесяти лет?.. Скромность. Выдержка. Терпеливость. Но это только советы…

— Простите, Аркадий Натанович, у нас кончается диктофонная пленка. А мы хотели бы задать вам еще один вопрос. Ведь в самом вашем сотрудничестве с братом есть что-то от будущего. Как можно обдумывать грядущие книги на расстоянии?

— Очень просто. Нужно только…

На этом запись нашего разговора обрывается.

По прошлому, настоящему и будущему вместе с А. Стругацким бродили Г. Жаворонков и Л. Загальский.

И еще шесть «жгучих» вопросов.

— Хорошо ли быть на кого-нибудь похожим?

— Хорошо. Но нужно привносить свое, неповторимое. В юности хотел быть похожим одновременно на капитана Немо и Дон-Кихота. Один был таинственным, другой — добрым. Но главное — оба стремились к справедливости.

— Во что надо верить?

— Нужно знать, а не верить. А если верить, то в то, что справедливость восторжествует.

— Какой должна быть жизнь в шестнадцать: «в себе» или «из себя»?

— Что можно отдать в шестнадцать лет? Наверно, только добро. А копить все.

— Опасна ли в шестнадцать лет «вещная» болезнь?

— Это смертельная опасность даже в шестьдесят. Наша цивилизация создает новые потребности, которые человеку не только не нужны, но и вредны. Например, барахло всякое.

— Можно ли вмешиваться в жизнь взрослых?

— Можно. Но вмешательство некомпетентно.

— Можно ли мечтать о собственном памятнике?

— А почему нет? Если помогает работать — можно. А если не помогает, то лучше не стоит.

Аркадий Стругацкий
НОВЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ТИПЫ[26]
(Выступление на «круглом столе» «Взаимодействие науки и искусства в условиях НТР»)

Как литератор-практик я более всего интересуюсь следующим аспектом НТР: привнесла ли она в наш пестрый и сложный мир какие-либо новые *объекты* отражения? Позволю себе обратить ваше внимание на некое весьма существенное следствие этого небывалого в истории человечества процесса — на появление новых типов массового человека.

Прежде всего это массовый научный работник. Напоминаю, что только в нашей стране численность работников, непосредственно занятых научной деятельностью, перевалила за миллион человек. Я помню те времена (термина НТР еще не существовало), когда многие с надеждой взирали на растущее племя «научников», племя умных, умелых, целеустремленных людей. Но, как часто бывает, увеличение количества привело к снижению качества. И ныне в миллионном научном работнике обнаружились все те же недостатки, которые по-человечески свойственны всем другим общественным прослойкам. В их среде, помимо передовых, беззаветно преданных делу первооткрывателей, оказались и лентяи, и халтурщики, и бюрократы, и в этом смысле литератор, который ставит перед собой такую частную цель, как отображение наиболее типических характеров и наиболее типических конфликтов именно в этой среде, ничего принципиально нового не откроет. Другое дело, конечно, что массовый научный работник, как и всякий иной массовый работник, развивается и прогрессирует вместе с обществом, но именно — как и всякий иной. Нам представляется, что отпечаток, накладываемый на его личность спецификой условий научной работы, прекрасно соизмерим формирующим влиянием, скажем, обстановки крупного промышленного предприятия на личность квалифицированного рабочего. Итак, появление массового «научника» — фактор большого социального значения, однако для наших целей этот фактор, по-видимому, значит не очень много.

Если представить массового научного работника как некий горизонтальный пласт общества, то ниже речь пойдет о пласте (или срезе, если угодно) по вертикали. Эпоха НТР породила новый тип массового

человека, уже не связанного принадлежностью к определенным профессиональным или социальным группировкам, а объединенного признаками совсем иного рода. Я имею в виду Массового Сытого Невоспитанного Человека — болезнь, которой страдают многие капиталистические страны и к микробам которой мы тоже не должны быть беспечны.

Да, на огромных территориях нашей планеты населению едва хватает материальных благ, чтобы не умереть с голода или прикрыть наготу, — в результате вековой ли отсталости или авантюристической политики неумных правителей. Но в наиболее развитых буржуазных странах определенные слои населения достигли невиданного ранее уровня материального благосостояния, который и вызвал к жизни Массового Сытого Невоспитанного Человека, явления столь же небывалого и, я бы сказал, неожиданного в истории, как и сама НТР. Явление это не только небывалое, оно еще и чревато многими опасностями.

Сравнительно недавно маститые моралисты были убеждены, что как только массовый человек будет полностью удовлетворен материально, он неизбежно и автоматически начнет отдавать все силы беспредельному духовному развитию. Но оказалось, что это не так. В схеме «работа — материальное насыщение — духовный рост» был упущен (или игнорирован) чрезвычайно существенный момент. Дело в том, что пределы материального насыщения есть функция не только и не столько физиологии, сколько психологии. Аппетит к материальным благам человек получает при рождении. Аппетит к благам духовным возникает только при правильном воспитании. Скачок в уровне материального обеспечения, вызванный НТР, не был подкреплен колоссальной и кропотливой воспитательной работой и застал население многих развитых стран врасплох. Так появился Массовый Сытый Невоспитанный Человек.

Для писателя этот человеческий тип представляет огромный интерес. Его появление вызвало к жизни все прелести «черного лица досуга», вплоть до фактов совершенно уже зоологического разложения. Вероятно, его можно даже поставить в один ряд со всеми прочими апокалиптическими угрозами, нависшими сейчас над человечеством: ядерная война, нарушение экологического баланса и т. д. Главное, однако, мне кажется, не в этом. Главное — в возникновении массовой психологии потребления ради потребления, массовой психологии потребления как цели существования. (Интересно сравнить этот психологический тип с психологическим типом, характерным для мещанина, но здесь, как говорится, не время и не место.) И все эксцессии, связанные с хиппизмом,

сексуальными аномалиями, увеличением числа немотивированных преступлений, бледнеют, на мой взгляд, в сравнении с потребительством как с духовной инфекцией, расползающейся сейчас по земному шару.

Вот этот новый и неожиданный результат НТР должен непременно оказаться в поле зрения современного литератора.

Аркадий Стругацкий
МОЙ ЖЮЛЬ ВЕРН[27]

Я всегда любил этого писателя. И всегда его знал. Во всяком случае, я не помню того времени, когда бы я не знал и не любил его. Одно из первых воспоминаний в моей жизни — это черно-зеленая обложка: усыпанная заклепками металлическая туша подводного корабля и оседлавшее ее гигантское головоногое.

Увлечение книгами великолепного француза продолжалось у меня долго, практически все школьные годы, с раннего детства и до самой войны. За это время в поле моего зрения входили один за другим и Александр Беляев, Герберт Уэллс, Григорий Адамов, Алексей Толстой; воображение мое последовательно покоряли то боевые машины марсиан, то человек-амфибия с человеком-невидимкой, то космические прыжки на Марс и на Венеру, то ископаемые чудовища в затерянных мирах и океанских пучинах, но произведения Жюля Верна оставались у меня на столе. Мало того, с течением времени то одно, то другое из них делалось для меня настольной книгой в самом точном значении этого слова.

Известно, что Менделеев, Циолковский, Обручев и многие другие великие люди с увлечением зачитывались произведениями отца мировой фантастики. Мало того, эти произведения в какой-то мере определили выбор их жизненного призвания. И даже в некоторых случаях навели их на конкретные и весьма продуктивные научные и технические идеи. Мне, разумеется, и в голову не приходит сравнивать себя с этими замечательными учеными, изобретателями, землепроходцами, но факт остается фактом: именно книги Жюля Верна определяли все мои увлечения (или, как теперь называют это, хобби) в возрасте от семи до шестнадцати лет.

А началось с того, что учась во втором и третьем классах, я усердно и с переменным успехом пытался начертить схему «Наутилуса». Сейчас я диву даюсь, как у меня хватило терпения фразу за фразой, слово за словом десятки раз прочесать текст романа, отбирая по крохам информацию о

взаимном расположении кают, салона, машинного отделения, рулевой рубки и прочих помещений таинственного подводного крейсера. Чертежи, которые мне в конце концов удалось сотворить в результате многомесячных усилий, не сохранились, а жаль — любопытно было бы сейчас посмотреть, как я умудрился совместить данные, полученные из текста, с подробностями, изображенными на превосходных иллюстрациях Риу, который был для меня в этом деле чуть ли не более авторитетным, чем сам Жюль Верн, хотя, как мне это сейчас ясно, с текстом почти не считался.

«Наутилус» «Наутилусом», а, вникая в роман, я всерьез заинтересовался жизнью Мирового океана. Быт и нравы обитателей мокрого соленого моря — всяких там медуз, актиний, морских звезд, голотурий, моллюсков — захватили мое любопытство до такой степени, что я принялся читать о жизни моря все подряд и даже собрал небольшую библиотечку по этим вопросам, что само по себе было деянием героическим в условиях тогдашнего жестокого книжного голода. Особенно занимали меня спруты: знаменитый эпизод в романе, где описывается нападение головоногих чудовищ на «Наутилус», я читал и перечитывал много десятков раз, заучил наизусть, даже иллюстрировал в меру своих слабых способностей. И должен сказать, что интерес к жизни моря сохранился у меня и поныне, а о спрутах я, наверное, знаю сейчас больше, чем любой неспециалист. Например, берусь поддержать беседу по поводу упомянутого эпизода, причем не премину небрежно отметить, что речь в нем идет скорее об исполинских кальмарах — мегатойтисах — и что сам этот эпизод весьма сомнителен как в рассуждении логичности действий капитана Немо, так и в смысле зоопсихологии поведения этих абиссальных[28] спрутов…

Кажется, в пятом или шестом классе я принялся с такой же тщательностью штудировать «Таинственный остров». Это замечательный роман, и я прочел его от корки до корки несколько раз еще задолго до этого, но тут меня вдруг заинтересовала деятельность Сайруса Смита в области прикладной химии. Сейчас я уже не помню подробностей, а книги под рукой у меня нет, и я могу ошибиться, однако главное прекрасно сохранилось в памяти и по сей день. Поставив себе целью взорвать скалу и тем самым дать сток воде, заполняющей залы Гранитного дворца, мистер Смит решает изготовить взрывчатку. У него в распоряжении есть серный колчедан. Из него он получает железный купорос, из железного купороса получает серную кислоту, из серной кислоты получает азотную, а при помощи азотной кислоты изготовляет нитроглицерин. Эта технологическая цепочка поразила меня. Нитроглицерин был мне не очень нужен, да и

быстро выяснилось, что описанным в романе способом получить из железного купороса серную кислоту невозможно, но так или иначе я без памяти увлекся химией.

Томики о жизни моря потеснились и дали место учебникам химии и всякого рода справочникам и руководствам, в комнатушке моей появилась химическая посуда и банки с реактивами, по квартире стали распространяться смрадные запахи, а одежда моя украсилась дырами с ломкими краями и пятнами потрясающих расцветок. Короче говоря, «Таинственный остров» подвигнул меня на увлекательную жизнь, побочным результатом которой оказалось то обстоятельство, что чуть ли не до окончания школы химия была для меня одним из самых легких предметов. Впрочем, впоследствии я совершенно охладел к этой науке, все перезабыл и вернулся к ней только через два десятка лет, когда совершил героическую, но — увы — практически бесплодную попытку самостоятельно разобраться в основах современной химии. Но «Таинственный остров» остался частью моей биографии, и с годами ни на йоту не померкло порожденное этим романом безмерное восхищение и преклонение перед знающими и умелыми людьми.

А потом, уже в восьмом классе, я прочел совсем не лучшую и мало популярную повесть Жюля Верна «Гектор Сервадак». Речь в нем идет о том, как некая комета сталкивается с земным шаром и, прихватив кусочек Северной Африки с толпой французов, русских и англичан и одним полоумным астрономом, вновь уносится в космические глубины, чтобы совершить облет основных планет нашей Солнечной системы.

И вот с этой нелепой и необычайно милой книги началось мое самое серьезное и последнее увлечение. Я заинтересовался астрономией. Один из героев повести, астроном, о котором я уже упоминал, приводит там последовательные данные о движении небесного тела, на которое его забросило столь противоестественным образом, и я попытался воссоздать траекторию этого движения. Задача, как вскоре выяснилось, не имела решения, но пока я ломал над нею голову, мне пришлось столкнуться с основами небесной механики, а тут как раз подвернулась прелестная, хотя и забытая ныне, популярная книга Джинса «Движение миров», и пошло, и пошло… Я занимался математикой, сферической астрономией, строил самодельные телескопы из очковых стекол, вел наблюдения переменных звезд, мечтал научиться определять орбиту по трем наблюдениям и вообще твердо решил стать астрономом. И я бы наверняка стал астрономом, если бы не война.

Да, у меня есть все основания утверждать, что произведения Жюля

Верна действительно могут определить выбор жизненного призвания; я убедился в этом на собственном опыте.

Со времени школьных увлечений прошло немало лет. Из меня не вышло ни биолога, ни химика, ни астронома. Я занимаюсь классической японской литературой и в меру сил и способностей работаю в области литературной фантастики с моим братом и соавтором. К слову сказать, в том, что мы с братом стали писателями-фантастами, Жюль Верн не повинен ни сном ни духом: мы пришли в фантастику совсем с другого хода… Жизнь моя складывается так, что книги Жюля Верна попадают теперь ко мне в руки не очень часто. Но мой Жюль Верн, создатель «Наутилуса» и коммунистической колонии на острове Линкольна, неутомимый пропагандист союза труда и знания, яростный ненавистник автократии и угнетения, творец капитана Немо и Паганеля, Сайруса Смита, Пенкрофта и Гидеона Спилета, капитана Гаттераса и Дика Сэнда, — мой Жюль Верн навсегда останется со мной.

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ…

Аркадий Стругацкий
О НАСТОЯЩЕМ — РАДИ БУДУЩЕГО[29]

…И, наконец, есть люди, которые живут будущим. В заметных количествах они появились недавно. От прошлого они совершенно справедливо не ждут ничего хорошего, а настоящее для них — это только материал для построения будущего… на островах будущего, которые возникли вокруг них в настоящем… Они умны… Они чертовски умны в отличие от большинства людей. Они все как на подбор талантливы… У них странные желания и полностью отсутствуют желания обыкновенные…

А. Стругацкий

Из разговора[30]

Братья Стругацкие. Больше двадцати лет мир читает их книги.

И это не оговорка — именно весь мир: во Франции и Чехословакии, Соединенных Штатах Америки, да, пожалуй, везде, где люди научились складывать буквы в слова. Чем вызван такой интерес к этим людям, чьи имена ставят сейчас рядом с именами Ефремова, Брэдбери, Саймака? Стругацкие — действительно писатели мирового масштаба, их волнуют проблемы глобальные как в нравственном, так и в социальном отношении, и поэтому, разговаривая с нашим корреспондентом, Аркадий Стругацкий вел беседу в самом широком плане, касаясь и проблем мировой литературы.

Мы сидим с Аркадием Натановичем Стругацким в его небольшом

скромном номере на четвертом этаже гостиницы «Свердловск». Для меня это довольно странно — сидеть вот так, рядом, с человеком, чьи книги, написанные им вместе с братом Борисом, стали для моего поколения своеобразным эпосом, на котором мы выросли. Были буквари — «Страна багровых туч», «Стажеры». Были сказки и первые учебники — «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом». И целая череда книг иного, высшего порядка — «Хищные вещи века» и «Второе нашествие марсиан», «Пикник на обочине» и «Улитка на склоне», «За миллиард лет до конца света» и, наконец, «Жук в муравейнике». Тот самый, за который журнал «Уральский следопыт» присудил братьям Стругацким приз «Аэлита», как за лучшее произведение советской фантастики 1980 года.

Итак, за окном — непогода, а в номере тихо и уютно, и один-единственный вопрос задаю я Аркадию Стругацкому в нашей беседе:

— Аркадий Натанович, в чем она, миссия писателя в современном мире?

— Только не в нравоучительстве. Это, конечно, заманчиво: сидеть в кресле в кабинете и чему-то учить. Какие бы идеи, какие бы нравственные и моральные ценности ни исповедовал писатель, он должен соизмерять их с действительным миром, с реальными, живыми проблемами. Но раз он писатель, так его дело — это еще и писать. Писать, обращаясь как можно к более широкому кругу читателей, писать увлекательно, занимая. Есть, конечно, снобы, которым милее всего наслаждаться прустовским «По направлению к Свану» или же французским романом «Искусство наслаждения», герой которого на протяжении где-то около пятисот страниц разговаривает с канарейкой. Но таких даже не стоит брать во внимание. Писатель — проводник идей. Они могут быть его собственными идеями, могут быть идеями, внушенными ему кем-то, но идеями, добрыми, злыми, ради хорошего или плохого, это уже иной аспект, но идеями. И вот их-то, эти идеи, писатель и должен донести. Нам в нашей работе, когда это касается наших собственных идей, проще делать в форме фантастики, хотя какая это фантастика, ведь речь всегда идет о делах земных, о наших с вами делах.

Мы просто берем ампулу мысли, покрываем ее шоколадом увлекательного сюжета, обертываем в золотую или серебряную фольгу вымысла и — кушайте на здоровье. Кто-то просто получит приятные эмоции, а кто-то вдруг возьмет да и поставит себя на место того же Руматы Эсторского или Рэдрика Шухарта, но вывод из ситуации должен будет делать сам, ведь ответов-то мы не даем. Это не наша прерогатива — давать

ответы. Писатель будоражит, подстрекает, иногда увлекает в ловушку, но остальное — дело читателя…

Нельзя сказать, что писатель в современном мире — это всегда его совесть или предсказатель будущего. Даже утописты это будущее не предсказывали. Они писали мир, в котором или хотели жить (Ефремов), или нет (Хаксли), но не больше. Писатель, в основном, предостерегает. Предостерегает и смотрит чуть дальше, чем многие его современники, ведь работает он иными инструментами, чем физики, скажем, или геологи. У меня много друзей-геологов. Они часто приезжают и рассказывают удивительные, действительно фантастические истории. Я слушаю и поражаюсь, но знаю, что во многом смотрю дальше их, хотя мой инструмент и менее точен, но этот инструмент прежде всего — интуиция. Ей надо верить, по крайней мере тогда, когда речь идет о предостережении. Поэтому, например, гениален Уэллс. Его «Человек-невидимка» — ведь это самая сильная антимещанская книга, когда-либо написанная человеком. Но она воспринимается так сейчас, а в свое время… Да что «Человек-невидимка», если и «Война миров» воспринималась когда-то как книга о завоевании индейцев Америки жестокими европейцами. Смешно? Да. Но и печально.

Но писатель должен и бороться, и отстаивать победу, верить в конечную победу разума над мраком. Моральные и нравственные понятия меняются, мир стал неизмеримо сложнее, взять те же категории добра и зла в современном понимании по сравнению с библейскими. Добро в понимании Адама и Евы, зло в их понимании, грех, ими совершенный, и — грехи, добро и зло современного мира. Главное зло для меня — это нелюбовь к прогрессу, нежелание правды, инертность мышления, хотя сам я в быту, к примеру, человек очень консервативный. Но ведь быт — это практически ничто. Наши потребности — они порождены цивилизацией. Мы покупаем множество абсолютно ненужных нам вещей, курим, пьем водку. И это — потребности? Потребность потребления — есть ли что более страшное, хотя у нас, к счастью, это не достигло того уровня, как на Западе, но опасность очень велика. Суетность убивает. Это не значит, что надо предаваться лишь абстрактным раздумьям о судьбах мира. Человек, прежде всего, должен быть одет, обут и сыт, но при этом он должен помнить, что он Человек, должен идти вперед, а не стоять на месте. Я верю в человека. За какие-то шестьдесят лет мы достигли феерически многого, а сколь многое нам мешало? Войны, те или иные перегибы… Да и сейчас, когда мы вступили в то, что называют веком НТР, — готовы ли мы к нему? На складах ржавеют импортные вычислительные машины, а люди брякают

костяшками счетов. Им так удобнее? Нет, привычнее, а привычка, порожденная цивилизацией, — это страшно… Дело писателя — говорить об этом. В любой форме, в том числе — и научной фантастики. Нас, к примеру, часто спрашивают, почему в наших книгах так много крови, много войны. Но ведь война — это единственное, что может помешать естественному, диалектическому развитию общества. И пишем мы об этом не только потому, что на себе знаем, что такое кровь, взрывы, голод и разруха. Пусть ощутит это новый, молодой читатель, ощутит без прикрас, и не войну прошлого, а ту, что возможна — с нависающими грибами и радиоактивными пустынями. А умение написать, передать — это уже ремесло, ведь писателем мало называться, надо уметь и писать, то есть владеть ремеслом, владеть ради убеждения, пусть и в рамках острого, фантастического сюжета.

Отсюда недалеко, как вы сами понимаете, и до одной из главных проблем, проблемы воспитания. Настоящего, коммунистического. Но мы не философы и не социологи, предлагать реформы — не наша задача. Что вы думаете: пришли к Стругацким, и они на все ответят? Если бы так. Мы бы сами хотели, чтобы кто-нибудь нам ответил, так что остается одно: думать и еще раз думать, ненавидя ложь, ханжество и фарисейство, борясь с мещанством и тупостью, веря в будущее человека. Каждый писатель живет в свою эпоху, но должен смотреть чуть вперед, работать не только на настоящее, он должен забрасывать мины сомнения и надежды в будущие поколения, ведь мы — лишь предыстория… И не надо бояться иронии, скепсиса, жестокой усмешки. В анналах русской культуры Гоголь и Щедрин, Достоевский с его «Бесами». Они не боялись взять что-то, никогда не подвергавшееся сомнению: а вдруг это «что-то» не так? И будущие поколения говорят им спасибо. Хотя засомневались из сотен тысяч несколько, как один из всех засомневался Эйнштейн в том, что же это действительно такое — пространство и время. Почки старых понятий лопаются, и писатель — один из тех, кто должен сдирать шелуху старого, пусть даже новое будет приятно далеко не всем…

…А потом Аркадий Натанович рассказывал о своем последнем переводе с японского — это роман неизвестного автора XIV века «Сказание о Ёсицунэ». Говорил о книгах, написанных братьями Стругацкими и не ими, но без которых они — как люди и как писатели — были бы гораздо беднее. И звучали имена Толстого и Булгакова, вновь Достоевского и Щедрина, Фолкнера, Акутагавы и многих, многих других. И кончилась непогода, появилось солнце, и, казалось, что вместе с его лучами в комнату вошли и герои книг, созданных братьями Стругацкими: Румата Эсторский и

Саша Привалов, Кандид и Перец, Маляев, Странник, неутомимый Горбовский, Бойцовый Кот Гаг, Малыш и тот самый странный прогрессор Лев Абалкин, жук в муравейнике, который по вине монетки (упади она орлом, а не решкой) мог оказаться хорьком в курятнике. А вслед за ними влетали иные тени — бесплотные, бестелесные, безымянные. Когда же у них появятся плоть и тело, когда они обретут имена, Аркадий Натанович?

Беседу записал А. Матвеев, редактор Средне-Уральского книжного издательства.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий «СОБРАТЬЯ ПО ПЕРУ, ИЗДАТЕЛИ, ЧИТАТЕЛИ…»[31] (Из материалов к несостоявшемуся выступлению в «Литературной газете» под рубрикой «Литература — жизнь моя»)

Нам частенько говорят:

— Знаете, мой сын без ума от ваших книг. Все как есть прочитал. Сам я эту фантастику не люблю, но вот сын!..

Считается, что это комплимент. И одновременно — героическое признание, вызов на откровенность. «Сам я эту фантастику не люблю…» — «Да, да, я тоже, знаете ли, больше люблю зазорные открытки смотреть и кошек мучить…» Впрочем, мы радуемся. Сын все-таки без ума. Или там дочь. Прогресс, ребята, движется куда-то понемногу.

Вообще, у нас впечатление, что если бы не эти сыновья и дочери, нас бы не издавали. Представляется такая картина. Сидит у себя дома за ужином издательский работник, превеликого ума человек, с хроническим гастритом от воздействий Госкомитета по печати. Пьет он чай и жалуется внимательной супруге:

— Нынче Стругацкие рукопись принесли. Экие наглецы! Давно ли я за порнографию выговор получил, так теперь только Стругацких мне и не хватало…

И тут подает голос сын — длинноногий, в очках и с сигаретой, — лениво листающий «Огонек» в углу на диване.

— Прости, старик, но ты — дубина. У нас в классе (а еще лучше — на курсе, а еще лучше — в цеху) все от Стругацких без ума. И если ты посмеешь их не издать, я тебе…

Следует сцена. Возможно, даже не без валидола. Но старику-дубине деваться некуда. Он соглашается держать мазу за Стругацких, выговорив

себе право отдать их рукопись на рецензию.

Забавно, что если в этой картине есть хоть намек на правду, тогда мы тут имеем единственный известный нам случай воздействия читателя на издателя.

«Литература — жизнь моя».

Любят-таки наши газетчики лихие названия. «На турнирной орбите». Почему на орбите? Вокруг чего (кого) орбита? В воображении возникает спецкор, который с жужжанием несется по эллипсу вокруг шахматного столика и творит чего-то профессионального. Или «Спортивные меридианы»… Конечно, космический век, эпоха НТР, и вообще, по одежке протягивай ножки… Со временем уровень образованности у газетчиков повысится, и будут у нас «Судебные эклиптики», «Параллаксы канализации» и даже какие-нибудь «Морально-нравственные арктангенсы».

Впрочем, «Литература — жизнь моя» — совсем иное дело. Название рубрики отдает веской, десятилетиями выверенной солидностью. Но от этого не легче. Что, собственно, имеется в виду? Что вся жизнь писателя сосредоточена в писательстве? Так это же неверно. У нас семьи, у нас дети и внуки, мы копим на кооперативную квартиру, мы коллекционируем марки. Не говоря уже о том, что мы с неизбывным и пристальным интересом следим за тем, что творится в нашей собственной стране и за ее пределами, да еще угроза атомной войны, да еще экологический кризис, да мало ли что еще! Нет, не можем мы сказать, что вся наша жизнь сосредоточена в писательстве. Не бывает таких писателей.

Следовательно, смысл названия рубрики в чем-то другом. Для простоты предположим, что речь должна идти о примате профессиональных литературных интересов в повседневной жизни литератора или, точнее, в его повседневном труде. Тогда от писателя, выступающего под этой рубрикой, ожидаются, как минимум, его впечатления, сложившиеся в ходе его многолетней работы, от собратьев по перу, от издателей и читателей.

(Конечно, название «Литература — жизнь моя» можно истолковать и иначе. Например, что больше всего на свете я люблю хорошую литературу. И пуститься в длинные рассуждения о том, как и почему хорошая литература важна в жизни народов. С соответствующими примерами из учебников для педвузов. Но с такими рассуждениями, как ни велика их ценность, может выступить и достаточно квалифицированный читатель, а мы все-таки писатели, от нас требуется взгляд «изнутри».)

Из интервью (по магнитофонной записи):

— Кого из писателей, русских и иностранных, вы считаете своими учителями?

— Учители писателя — это из речей на торжественных заседаниях. Переформулируйте вопрос.

— Сейчас… Так. Кто из писателей, русских и иностранных, более всего, по вашему мнению, оказал влияние на формирование ваших литератур— ных интересов, языка, стилистики и так далее?

— Влияние на формирование… Впрочем, понятно. Именно «по нашему мнению», это вы правильно вставили. Пишите: Алексей Толстой, Гоголь, Салтыков-Щедрин. Проза Пушкина. Затем, значительно позже, Достоевский. В определенной степени Леонид Леонов, его «Дорога на Океан». Головой в небеса упирается для нас Булгаков, он мог бы здорово повлиять на нас, но нам его дали слишком поздно. Из иностранцев — Диккенс, Уэллс, конечно, Чапек, Акутагава, Хемингуэй, Фейхтвангер. Немного и кратковременно Кафка. А на сюжетную смелость нас поощрил пример Ефремова и Станислава Лема.

Два неотвязных и отвратительных призрака бродят со стенаниями по тучным нивам фешенебельных издателей, критиков и педагогов. Наиболее фешенебельные, во всеоружии доскональных знаний литературы и массовой психологии девятнадцатого века, полагают даже, что имеет место один призрак о двух головах: это где про марсиан и про сыщиков. Наименее фешенебельные, по неграмотности и отвращению к читателю и ученику, слепо следуют этому убеждению — тем-де, которые со званиями и в столицах, гораздо более виднее.

Впрочем, действительно, деваться некуда. В детективах действуют сыщики, а фантастика описывает марсиан. Оставим пока в стороне фантастику: известно, что у Гоголя, Булгакова и Маркеса марсиан не случается, и вообще, фантастика — это не тема, а СПОСОБ ДУМАТЬ, как счастливо выразился кинокритик В. Кичин. Но почему — при прочих равных условиях — тяжкие усилия делового человека внедрить бригадный подряд или заставить бригаду отказаться от премии, или совершить еще что-то нужное (не говоря уже о вечной теме, может ли мальчик дружить с девочкой, и если может, то как родители отнесутся к внуку), — почему фешенебельные издатели, критики, педагоги признают такие темы достойными литературы, а интересный труд сыщика — нет?

Произведем эксперимент. Гражданин Икс известен как любитель детектива. Гражданин Игрек известен как любитель лирической поэзии. Гражданин Зет известен как любитель производственной темы. Кому из троих вы доверили бы свой кошелек? За кого согласились бы отдать свою

дочь? Кого выдвинули бы в депутаты местного Совета?

А мы любим детектив. Мы бросаемся на детективную книжку, где только ее видим. И мы знаем очень многих очень уважаемых людей, которые любят детектив и не стыдятся этого. Черт бы побрал всех фешенебельных скопцов и ханжей! Это из-за них у нас так мало хорошей детективной литературы. И даже плохой мало.

Есть еще один, более частный вопрос, на который мы, как ни старались, не смогли найти ответа. Кто впервые спарил детектив с фантастикой? Рабочая гипотеза. Должно быть, в незапамятные времена некий головастый социолог вдруг обнаружил, что фантастические похождения сыщика Ната Пинкертона пользуются наибольшим спросом у тех гимназистов, которые не смогли одолеть «Князя Серебряного». Обнаружил, сформулировал и опубликовал. Прошли годы, прогремели войны и революции. Давно уже числятся в классиках Уэллс, Чапек и А. Толстой, давно уже считается неприличным не знать Коллинза, Честертона и Конан Дойла, давно уже фантастику и детектив объединяет только огромный интерес к ним десятков миллионов читателей, а формула «фантастический сыщик» все еще прочно сидит в головах г. г. фешенебельных. В результате, между прочим, уродливый гибрид в системе нашего Союза писателей: Совет по приключенческой и научно-фантастической литературе.

Нам нравятся наши читатели. По крайней мере, большинство из них. Мы встречались с ними лицом к лицу в школах, институтах, библиотеках, в Политехническом музее, и это были далеко не самые тяжелые, хотя и далеко не самые легкие часы в нашей жизни. Почта наша не очень обширна, 10–15 писем в месяц, но иногда она приносит нам статьи и целые трактаты о современной фантастике, и мы с удовольствием отмечаем, что они на много голов серьезнее и глубже, чем те немногие работы профессионалов-литературоведов, которые иногда и вразнобой появляются на свет. Уже мало кого интересует наше мнение о летающей посуде и Бермудском треугольнике. Они делятся своими предположениями о природе социального прогресса, предлагают новые темы и сюжеты, просят совета, излагают грандиозные гипотезы относительно глубочайших тайн мироздания, а также ругают нас за то, как мы распорядились судьбой наших героев. В сложные для нас годы, когда в прессе шельмовали наше творчество, читатели писали нам, призывая держаться, а также слали нам копии (умницы!) своих негодующих писем в редакции.

Мы довольны нашими читателями. И мы гордимся, что нужны им. Насколько мы можем судить по письмам, это школьники, студенты,

научные работники, инженеры и квалифицированные рабочие, военнослужащие, сельская интеллигенция. Случаются (редко) партийные и комсомольские работники.

В. Орлов, автор известного романа «Альтист Данилов», сказал нам:

— Надеюсь, вы не причисляете меня к вашему клану?

Чтобы не врать зря, мы ответили уклончиво. Впрочем, мы понимаем его позицию: назови он свой роман фантастическим, «Новый мир» трижды подумал бы, прежде чем принять его к публикации. Всем нам, советским читателям, здорово повезло, что великий Булгаков не назвал «Мастера и Маргариту» фантастическим романом.

Наука утверждает, что на заре времен возник в человеческом психокосме такой механизм — ориентировочная потребность. Что именно этот механизм вопреки инстинктам самосохранения и даже продолжения рода толкает человека на поиски в неведомых областях, заведомо не сулящих ничего существенного в смысле выпить и закусить.

Для нас важно, в частности, что ориентировочная потребность тянет человека заглянуть за далекие горизонты, содрать завесу, отделяющую его от будущего, проникнуть хотя бы в воображении в непостижимые времена и невероятные пространства. У иных эта потребность развита сильнее, у других — слабее, одни ощущают ее с почти болезненной остротой, иные почти совсем не ощущают, но она наличествует у всех.

Практическое освоение неведомых горизонтов — дело долгое, оно растягивается иногда на сотни поколений, а ориентировочная потребность, как жажда, как голод, как страсть, требует немедленного удовлетворения, мучает человека и не дает ему покоя. И тогда, чтобы утешить и удовлетворить ее (поистине, сколько болезней создал Аллах, столько создал он и лекарств от этих болезней), в дело вступает величайшее порождение разума — человеческая фантазия. Это она и только она дает художнику возможность воплотить в зримые образы те самые непостижимые времена и невероятные пространства, к которым тянется человек, изнуренный свирепыми позывами ориентировочного демона. И если художник — мастер, тогда миллионы слушателей, зрителей, читателей легче и отраднее возвращаются к повседневному и вечному своему труду. А если демон остается голодным, тогда в обществе возникают скверные перекосы — в алкоголизм и наркоманию, в антисоциальное поведение, в рискованные бытовые эксперименты…

Так утверждает наука. Во всяком случае, так мы поняли утверждения науки относительно ориентировочной потребности. И если мы поняли правильно, то нашим издателям давно уже есть над чем задуматься. И

писателям тоже.

За четверть века нашей работы в литературе нам посчастливилось встретиться с порядочным числом редакторов и членов редакционных коллегий, о которых мы всегда будем вспоминать с глубоким уважением и благодарностью. Как правило, их отличало чувство высочайшей социальной ответственности. Именно социальной, а не административной. Что далеко ходить, внезапное возникновение и мощный расцвет современной советской фантастики были обусловлены не только первым запуском нашего искусственного спутника и появлением фундаментальной «Туманности Андромеды» И. Ефремова, но и беззаветной, порой жертвенной деятельностью С. Жемайтиса, Б. Клюевой, К. Андреева, О. Писаржевского, Р. Кима, И. Касселя. Давно это было…

Удивительное дело! Стоит молодому автору предложить, скажем, в журнал свой новый фантастический рассказ, и ему, как правило, говорят примерно так: «Это неплохо. Но ты знаешь, старик, ведь это можно печатать, а можно и не печатать. Ты нас понимаешь, старик?» Как правило, старик понимает и уходит, солнцем палимый. Творить шедевр, который нельзя не напечатать. Но стоит ему принести в ту же редакцию целую подборку своих рассказов, так сказать, на выбор, и тогда в том редчайшем случае, если редактор все-таки возьмется опубликовать один из них, выбор почему-то падет на самый вялый, самый традиционный, самый серый рассказ из подборки.

Мы полагали, что так происходит только с молодыми фантастами. Но из осторожных расспросов выяснилось, что с молодыми авторами из традиционных видов литературы происходит то же самое. О тайны редакторских вкусов!

Книги современных советских авторов, которые по очень разным причинам мы любим и достаточно регулярно перечитываем. Называем в очередности, как приходило на память в течение трех минут. Ограничение: авторы только ныне здравствующие (и пусть здравствуют еще многие годы).

«Дорога на Океан», «Вор» Л. Леонова.

«В августе сорок четвертого» В. Богомолова. (Какая книга!)

«И дольше века длится день» Ч. Айтматова.

«Пряслины» Ф. Абрамова.

«Дата Туташхиа» Ч. Амирэджиби.

«Привычное дело» В. Белова.

Почти все В. Быкова.

Почти все Б. Окуджавы.

Почти все Ф. Искандера.

Почти все И. Грековой.

Почти все В. Конецкого.

Маленькая повесть «Место для памятника» Д. Гранина. (Это один из немногих пока шедевров советской фантастики.)

Исаевская серия Ю. Семенова.

Почти все братьев Вайнеров.

«Тревожный месяц вересень» В. Смирнова.

Стоп. Три минуты истекли.

«Тихий Дон» М. Шолохова, зачитанный нами до дыр, минован, видимо, как само собой разумеющееся.

Художественная литература есть один из способов отражения действительности в художественных образах. Это так, и это общеизвестно.

Но не будем забывать, что:

— в художественном творчестве плоские зеркала процессу отображения противопоказаны;

— действительностью является не только мир вещный, но и мир сознания, индивидуального и общественного, мир идей и эмоций;

— художественный образ есть по преимуществу функция отношения автора к объекту отображения.

Не будем забывать об этом, товарищи писатели, издатели и читатели, и мы будем всегда понимать друг друга.

28 июля 1981 г.

В ПОДВАЛЕ У РОМАНА[32]

Коллективное интервью, взятое у Аркадия Натановича Стругацкого семинаром молодых писателей-фантастов 17 марта 1982 года в редакции журнала «Знание — сила», исподтишка записанное на магнитофон и впоследствии перенесенное на бумагу практически без изменений и искажений

Интервью брали:

Дмитрий Биленкин (руководитель семинара), Георгий Гуревич (еще руководитель), Евгений Войскунский (руководитель тож), Виталий Бабенко (староста семинара), Эдуард Геворкян, Иосиф Ласкавый, Владимир Гопман, Мария Мамонова, Аркадий Григорьев, Владимир Покровский, Вячеслав Задорожный, Борис Руденко, Михаил Ковальчук, Александр

Силецкий, а также:

Лев Минц (не член семинара), Илья Качин (растущий кадр), Андрей Гостев и Борис Петухов (два психолога, приведенные Аркадием Григорьевым на том основании, что ему многое дозволено, ибо он ходил еще на ТОТ семинар[33] в начале 60-х).

БИЛЕНКИН: Правда ли, что все герои ваших произведений взяты из жизни?

А. С.: С самого начала наша деятельность была реакцией на нереалистичность фантастической литературы, выдуманность героев. Перед нашими глазами — у меня, когда я был в армии, у Б. Н. в университете, потом в обсерватории — проходили люди, которые нам очень нравились. Прекрасные люди, попадавшие вместе с нами в различные ситуации. Даже в тяжелые ситуации. Помню, например, как меня забросили на остров Алаид — с четырьмя ящиками сливочного масла на десять дней. И без единого куска сахара и хлеба. Были ситуации и похуже, когда тесная компания из четырех-пяти человек вынуждена была жить длительное время в замкнутом пространстве. Вот тогда я впервые испытал на собственной шкуре все эти проблемы психологической совместимости. Достаточно было одного дрянного человека, чтобы испортить моральный климат маленького коллектива. Порой было совершенно невыносимо. Были и такие коллективы, когда мы заведомо знали, что имярек — плохой человек, но были к этому готовы и как-то его отстраняли. Я хочу сказать, что нам было с кого писать своих персонажей. И когда мы с братом начали работать, нам не приходилось изобретать героев с какими-то выдуманными чертами, они уже были готовы, они уже прошли в жизни на наших глазах, и мы просто помещали их в соответствующие ситуации. Скажем, гоняться за японской шхуной на пограничном катере — дело достаточно рискованное. А почему бы не представить этих людей на космическом корабле? Ведь готовые характеры уже есть. Мы, если угодно, облегчили себе жизнь. Конечно, по ходу дела нам приходилось кое-что и изобретать. Но это не столько изобретения, сколько обобщение некоторых характерных черт, взятых у реальных людей и соединенных в один образ. Это обобщение и соединение остается нашим принципом, мы будем продолжать так и впредь, потому что принцип довольно плодотворный.

ПОКРОВСКИЙ: Кто соединился в образе, скажем, Кандида в «Улитке на склоне»?

А. С.: Кандид и Перец — образы в какой-то степени

автобиографические. Вообще автобиографические образы — это у нас довольно частое явление. Как бы хорошо мы ни знали своих близких, лучше всего мы знаем все-таки самих себя. Уж себя-то мы видали в самых разных ситуациях.

БИЛЕНКИН: А Щекн в «Жуке в муравейнике»? Вряд ли его образ взят со знакомой собаки?

А. С.: Конечно, нет. Собака-то у меня была, пудель, но это был пудель-дурак.

РУДЕНКО: Бывают ли случаи, когда вы не знаете, чем окончится произведение? Например, «Жук в муравейнике» предполагает несколько концовок…

А. С.: Мы всегда знаем, чем должна кончаться наша работа, но никогда еще в истории нашей с братом деятельности произведение не кончалось так, как мы задумали. То есть, мы всегда знаем, о чем пишем и всегда… ошибаемся. Причем это выясняется не в конце, а где-то в середине вещи.

РУДЕНКО: В некоторых ваших произведениях ощущается намеренная недоговоренность. Например, в «Далекой Радуге».

А. С.: Я считаю, что недоговоренность должна быть основным инструментом литературы. Насчет «Радуги» — точно не помню. Работа над ней относится к тому периоду, когда мы имели силу и энергию придерживаться заранее составленного плана. Не исключено, что конец этой повести был запланирован. Может быть, имелся в виду и счастливый конец, хотя вряд ли… Счастливые концы мы отбрасываем, как заведомо маловероятные при любых ситуациях.

ГЕВОРКЯН: Не возникает ли трагическое противоречие между верой писателя в свой выдуманный мир и действительностью?

А. С.: Нет, не возникает. Вы подходите не с того конца. Конструирование вселенной для нас стоит на самом последнем месте. В процессе работы сначала возникает сюжет, возникает образ, затем мы развиваем сюжет и образ. Развиваем так, чтобы наиболее четко выразить свою идею, и в соответствии с этим *налепливаем* вокруг свою вселенную. Поэтому логического противоречия не возникает.

ГЕВОРКЯН: А эмоциональное противоречие?

А. С.: Мы не создаем вселенную на пустом месте. Если вселенная вступает с нами в конфликт, мы ее изменяем так, чтобы она не вступала. Модели вселенной, модели антуража, модели обстановки мы строим таким образом, чтобы они не мешали, а помогали нам работать. Если нам понадобятся, например, три или четыре луны… Да, представим себе какой-то дикий сюжет, где для наших наклонностей над селом Диканька было бы

четыре луны сразу. И что? Мы не колеблясь поставили бы в небе эти четыре луны.

ГЕВОРКЯН: Не влияют ли ваши прошлые произведения на будущие? Нет ли некоторой творческой инерции?

А. С.: Как они могут влиять? Новое произведение всегда означает новую проблему. Если мы, конечно, не топчемся на месте сюжета ради, как это случилось с «Обитаемым островом» и «Парнем из преисподней». Это все на одну тему написанные вещи. Новых проблем в «Парне…» никаких нет, нас там интересовала в основном атрибутика.

БИЛЕНКИН: А с чего начался «Пикник на обочине»? Со вселенной или с идеи?

А. С.: С «Пикником…» было несколько необычно, потому что нам сначала понравилась сама идея пикника. Мы однажды увидели место, где ночевали автотуристы. Это было страшно загаженное место, на лужайке царило запустение. И мы подумали: каково же должно быть там бедным лесным жителям? Нам понравился этот образ. Но мы не связывали его ни с какими ситуациями. Мы прошли мимо, поговорили, и — лужайка исчезла из нашей памяти. Мы занялись другими делами. А потом, когда возникла у нас идея о человечестве… — такая идея: свинья грязь найдет, — мы вернулись к лужайке. Не будет атомной бомбы — будет что-нибудь другое. Будет что-нибудь вроде бомбы — третье, четвертое. Человечество — на его нынешнем массово-психологическом уровне — обязательно найдет, чем себя уязвить. И вот когда сформулировалась эта идея — как раз подвернулась, вспомнилась нам эта загаженная лужайка.

ПОДОЛЬНЫЙ: А что вы можете сказать о герое «Миллиарда лет до конца света»?

А. С.: Вы его знаете уже. В какой-то степени он списан со всех нас. Помните, где речь идет о папке? Прочитав эту вещь, вы не задавали себе вопроса: «А что бы я сделал с этой папкой?» Мы дали ответ словами героя: если я отдам папку, я буду очень маленький, никуда не годный, а мой сын будет обо мне говорить: да, мой папа когда-то чуть не сделал большое открытие. И все подлости начнут делать и коньяк начнут пить. Если же я папку не отдам, меня могут прихлопнуть. Выбор…

ВОЙСКУНСКИЙ: Значит, для вас проблема выбора самая главная?

А. С.: Вот-вот-вот. Мы нечувствительно — мы, Стругацкие, — писали именно об этом, но долгое время не осознавали, что это именно так. Писали, повторяю, нечувствительно. Оказалось, что главная тема Стругацких — это выбор. И осознали мы это не сами, нам подсказала… Один знакомый подсказал…

СИЛЕЦКИЙ: Как вы интерпретируете образ Странника в «Жуке»?

А. С.: Как я понимаю Странника?.. Странник жертвует первым проявившим себя автоматом, чтобы сделать вывод, чтобы посмотреть, как тот будет действовать. Как тот будет вести себя до последней секунды. И уж потом — выяснив, автомат Абалкин или не автомат, — Странник будет делать другие выводы.

СИЛЕЦКИЙ: Так он знает, что он автомат?

А. С.: Мы в таком же положении, как и читатели, как и Максим, и Странник. Я вот что хочу сказать: вы не должны бояться альтернативных вариантов.

ЗАДОРОЖНЫЙ: Кто из фантастов вам нравится больше всего?

А. С.: Меньше всего нам нравятся Стругацкие. А больше всего нам нравится Булгаков.

РУДЕНКО: А из современных фантастов?

А. С.: Вопрос некорректный, гражданин начальник. Отказываюсь отвечать.

ЛАСКАВЫЙ: А из зарубежных?

А. С.: А? Что?

СИЛЕЦКИЙ: Из «не наших»?

А. С.: Из «не наших» больше всего люблю Урсулу Ле Гуин и Шекли, но не то, что у нас печатают. У Шекли есть замечательная вещь «Путешествие в послезавтра». Странная, гротескная повесть. Еще Воннегут. Ну, и так далее. Остальных сами можете насчитать там для себя…

БИЛЕНКИН: Почему в «Стажерах» Горбовский у вас красавец, а в «Малыше» у него утиный нос, да еще и царапина вдобавок?

А. С.: Это было сделано совершенно сознательно. Помню, когда я был еще очень молодым, школьником, то ужасно обиделся на Дюму… Есть у Дюмы место, где д'Артаньян описан как человек с редкими зубами и маленькими хитрыми глазками. Я думаю надо приучать читателя… хотя бы молодого читателя… к тому, что не лицом красен человек, а душой. Мало ли кто красивый или некрасивый!

ЗАДОРОЖНЫЙ: Когда вы начали писать фантастику?

А. С.: Фантастику мы с братом любили читать с детства. И потому неизбежно должны были начать работать в фантастике. Но в общем-то поначалу это была героическая литература, литература героев. О рыцарях без страха и упрека. И без проблем. Я думаю… А? «Страна багровых туч»? Ну, какая там проблема?.. Сели, полетели! Трудно сказать что-либо о начале нашей деятельности… о том, когда именно мы начали работать…

Первое наше произведение было реакцией на состояние фантастики в нашей стране… Уж очень плохо тогда было… с фантастикой…

СИЛЕЦКИЙ: А сейчас?

А. С.: Ну, сейчас… Вы, начинающие, начинаете на таком уровне, о котором нам и не снилось. Старт у вас хороший, но по независящим от вас обстоятельствам приходится трудновато.

БАБЕНКО: Когда читаешь «Сказку о Тройке», то кажется, что в произведении не реализованы сюжетные возможности. Считаете ли вы, что сказали в «Сказке…» все, что хотели сказать?

А. С.: Здесь случай очень особенный. Мы написали большую повесть. Десять листов. Никаких лифтов там не было. Дело происходило вовсе не в Тьмутаракани, а в Китежграде. Приехала туда компания за волшебными предметами, ну а выдает эти предметы та самая Тройка. Потом вдруг ребята, которые издавали журнал «Ангара», решили посвятить два последовательных номера фантастике. В частности, они попросили нас что-нибудь дать. А десять листов было для них очень много. Они попросили нас сократить до шести. Мы сократили даже до пяти листов и надстроили на лист этот самый лифт. Там, кстати, еще один член Тройки был у нас — четвертый.

БАБЕНКО: Есть ли надежда, что «Сказка…» выйдет в свет?..

А. С.: Бог его знает. Может быть, когда-нибудь удастся опубликовать целиком. Я хочу сказать только то, что это не цельная вещь.

СИЛЕЦКИЙ: Сколько лет проходит от рождения замысла до воплощения?

А. С.: Четыре-пять лет. Но параллельно мы работаем и над другими вещами.

ЗАДОРОЖНЫЙ: Но когда вы пишете, то над другими вещами, наверное, уже не думаете?

А. С.: Когда пишем? Я уже говорил, что на определенном уровне… когда напишешь уже определенную кучу авторских листов… когда овладеешь ремеслом… Что мы понимаем под ремеслом? Под писательским ремеслом мы понимаем способность автора без особых усилий — без заметных усилий — выражать любую, самую сложную, мысль чисто автоматически. Поэтому сам процесс писания не требует от нас больших усилий и оставляет нас «свеженькими» для раздумий над следующими произведениями. Кроме того, мы собираемся достаточно редко, и у нас много времени остается для размышлений, для мыслей о новой вещи… В общем, такая практика привела к тому, что у нас скопилось около двух десятков сюжетов, и все это нам уже не успеть написать…

СИЛЕЦКИЙ: У вас, как правило, выходят из-под пера только большие повести. Романов вы вроде бы не пишете? Или не хотите писать? Чем это объясняется?

А. С.: Скучно!

СИЛЕЦКИЙ: То есть становится скучно в процессе писания?

А. С.: Да, в процессе писания становится скучно писать.

РУДЕНКО: Может быть, просто появляются другие интересы?

А. С.: Нет, не в этом дело. Скучно… Не идет… Вернее, так: не идет, потому что скучно писать.

БИЛЕНКИН: Я понимаю так: сначала возникает ЧТО писать, а потом уже КАК, то есть воплощение замысла. И вы, видимо, поначалу работаете, не заботясь ни о связности, ни о знаках препинания…

А. С.: Нет. Сначала возникает фабула. Вот давайте попробуем разобраться на примере. Сначала рождается главная идея вещи. Скажем, такая: пришельцы, замаскированные под людей, — если это высококультурные, высокоразвитые… твари, — неизбежно попадут здесь, на Земле, в какую-нибудь неприятную ситуацию, ибо они плохо знакомы с нашими сложными социальными законами. Второе. Выбирая линию поведения, замаскированные пришельцы должны будут брать, так сказать, человека «en masse» — «массового человека», да? — и поэтому будут представлять собой фигуры чрезвычайно неприглядные, а то и отвратительные. Распутник Олаф там, и Мозес со своей пивной кружкой, и мадам, дура набитая… Вот такая идея… Если взять человечество — массовое человечество — в зеркале этих самых пришельцев, то оно будет выглядеть примерно таким. Дальше. Какую интереснее всего разработать фабулу? Фабулу лучше всего разработать в виде детектива. Детектив мы вообще очень любим. Фабула: пришельцы спасаются от гангстеров. Понятно, что занимаются они совсем не тем, чем нужно, что нарушили какие-то правила игры, которые были заданы им в том месте, откуда они прибыли. Попадают в какое-то замкнутое пространство, там происходят какие-то события… По каким-то причинам роботы отключаются… делаются в глазах посторонних трупами… и из этого получается веселая кутерьма. Вот фабула. Затем начинается разработка сюжета. Сюжет — это уже ряд действий. Расположение действий в том порядке, в каком они должны появиться в произведении. Объявляется ничего не знающий, ничего не подозревающий человек, и у него на глазах происходят загадочные вещи. Мы знаем, что это за происшествия, но он не знает. Вот так, примерно, мы работаем…

ГЕВОРКЯН: В сценарии «Машина желаний», опубликованном в

«НФ», есть определенные стилистические огрехи, места, вроде бы не вами написанные. Как возник этот вариант сценария?

А. С.: Понимаете, Бела Григорьевна Клюева, собирая этот номер «НФ», попросила у нас один из ранних образцов сценария. Литературного сценария. Литературный сценарий — это дело для киношников, которые вообще читать не умеют, и для режиссера Тарковского, который все равно будет менять реплики, в зависимости от того, какие актеры станут играть. А Бела Григорьевна взяла этот сценарий в сыром виде — в киношно-сыром виде — и поместила в «НФ». Это был первый попавшийся под руку вариант сценария — один из девяти подготовительных вариантов.

ГЕВОРКЯН: А нужно ли было вообще публиковать его?

А. С.: Я думаю, ничего страшного в этом нет. Думаю, не убудет нашей чести.

БАБЕНКО: У вас же было одиннадцать вариантов сценария. Откуда взялось такое количество? Как это получилось?

А. С.: Когда мы начали работать, Тарковский еще точно не знал, что ему нужно. Тарковскому нужно было показать поход людей за счастьем и разочарование в этом самом счастье, которое возникает во время похода. Вот мы и сделали четыре или пять — я уже не помню точно — вариантов… Фантастических вариантов сценария…

ЗАДОРОЖНЫЙ: Это вы добровольно сделали четыре-пять вариантов, или под нажимом Тарковского?

А. С.: Что значит — «нажим»? Я не понимаю, что такое нажим. Сценарист — раб режиссера. По нашему глубокому убеждению, фильм делает режиссер, а не сценарист. Режиссеру нужны сцены, режиссеру нужны узлы, режиссеру нужны реплики. Мы это и пишем. Он говорит: «Мне это не нравится». Мы переделываем. Сначала Тарковского очень увлекала фантастическая сторона, и мы изощрялись в различных выдумках. У нас был один вариант, где фигурирует замкнутое пространство-время… В общем, всякая чепуха там была… В конечном итоге пятый или шестой вариант Тарковскому… Нет, не то чтобы понравился… Не знаю, понравился или нет… Видимо, Тарковский просто отчаялся и начал снимать. И вот он снял две трети пленки, отпущенной на фильм. Снял этот самый пятый или шестой вариант. А тут подошла очередь на проявочную машину. У нас, оказывается, в Советском Союзе, единственная такая машина для «Кодака» — на «Мосфильме». Зарядили туда наш фильм, зарядили половину «Сибириады» и зарядили весь фильм Лотяну, по-моему, «Табор уходит в небо». Ну, и… все испортили. Все погибло. Денег больше не давали, пленки больше не давали, и Тарковский придумал выход:

сделать двухсерийный фильм. Тогда получилось бы, что у нас четыре трети пленки — по две трети на каждую серию. С потерей одной трети на серию еще можно было как-то мириться. И вот Тарковский меня спрашивает: что, говорит, тебе еще не надоело «Пикник на обочине» переписывать? Я говорю: надоело. Вот, говорит, поезжай в Ленинград. Вот тебе десять дней, и напиши двухсерийный сценарий, в котором сталкер был бы совсем другим, не тем, что он есть. А каким? А я, говорит, не знаю. Мне нужен другой… Ну, я поехал. Получил от Бориса большой втык за неопределенность. И Борису пришла в голову идея: дать в фильме нечто вроде нового мессии. Это был первый вариант по новому типу. Тарковский говорит: о! это то, что нужно. Потом были еще два или три варианта: мы занимались тем, что… выкорчевывали фантастику из сценария. Вот таким образом у нас появился фильм…

ВОЙСКУНСКИЙ: По-моему, фильм перенасыщен символикой, и она не всегда понятна.

А. С.: Ну, разгадывать каждый символ Тарковского — это дело безнадежное.

ВОЙСКУНСКИЙ: А «Гадкие лебеди» никаким образом не связаны со «Сталкером»? Например, символикой? Например, и там и там — образ воды…

А. С.: Да нет, вряд ли. Вряд ли… Тарковскому очень понравились «Гадкие лебеди». Может быть, в каком-то смысле… Ну, не знаю… Я боюсь говорить за Тарковского. Я даже думаю так: как Тарковский толкует фильм «Сталкер» и как толкуем его мы — это совершенно разные вещи. Что касается воды в фильме… Вода диктуется двумя вещами. Во-первых, место съемки… Очень это было водянистое место… Дождливое? Нет, дело не в том, что оно было дождливое. Там была разрушенная гидроэлектростанция… А во-вторых, у Тарковского в фильме обязательно должна быть какая-то стихия: либо огонь, либо вода, либо ветер…

БАБЕНКО: А как вы относитесь к фильму «Сталкер»?

А. С.: Я считаю… Поскольку я уже сказал, что мы не являемся авторами фильма, — я считаю, что «Сталкер» — один из лучших фильмов мира. Вот такое у меня ощущение. И я очень горжусь, что мы приложили к этому руки. Тарковский — воистину гениальный режиссер…

СИЛЕЦКИЙ: Бывает ли так, что герои выходят из-под вашего контроля, ведут себя так, как вы и не предполагали вначале?

А. С.: Как только герой, который нам уже понравился, начинает поступать вразрез с нашими намерениями… — нужно менять намерения.

РУДЕНКО: Значит, вы начинаете изменять сюжет?

А. С.: Перекроить, переменить сюжетную ситуацию куда легче, чем создать образ героя, который тебе нравится. Если образ героя получается такой, что он тебе нравится, — надо жертвовать ситуациями и менять ситуации.

БИЛЕНКИН: Например?

А. С.: Примерчик, примерчик, примерчик… Сейчас попытаюсь. «Улитка…»? Нет, в «Улитке…» развитие очень произвольное, там же сюжета нет. Точнее, там взаимозаменяемые сюжеты… «Обитаемый остров»? Пожалуй… Сначала — по нашему замыслу — вещь должна быть гораздо короче. Максим пообтерся там — на той планете, подрался там, понял, что дело нехорошо, что попал в неприятную компанию фашистского типа, и сразу начинает революцию. Начали писать, написали уже много — две части — и выяснили: не успеет Максим понять, что он находится в обществе фашистского типа. Мы начали писать еще одну часть, чтобы дать ему, Максиму, *дорасти*.

РУДЕНКО: А когда поняли, что герою тесно в задуманных рамках, — значит, стоп?

А. С.: Да, стоп. Весь последующий план мы выбрасываем и начинаем строить новый план. Так у нас получалось два или три раза.

ВОЙСКУНСКИЙ: Откуда вы берете фамилии своих героев? Например, Лев Абалкин…

А. С.: С Абалкиным прекрасно помню, как получилось. Лев? Почему Лев? По одной простой причине: у нас не было еще ни одного героя по имени Лев. А Абалкин… Помню, Боря сидел, облокотившись на газету, глянул на текст и прочитал: «Абалкин». Давай, говорит, назовем: Лев Абалкин. Так и сделали.

БИЛЕНКИН: А Мбога?

А. С.: Тоже помню. Понадобилось нам имя африканского пигмея. Я звоню человеку, у которого есть Большая Советская Энциклопедия, и прошу: «Посмотри Африку. Какие ее племена населяют?» Отвечает: «Например, мбога». Ага, говорим мы себе, Мбога…

Бородатый психолог ПЕТУХОВ: А Кандид?

А. С.: Кандид — естественно, не случайное имя. Кандид, конечно, связан с вольтеровским Кандидом. Но — на другом уровне и по другому поводу. Каммерер? Каммерер, товарищи, — это вообще хохма. Никакой он не Каммерер на самом деле, а Ростиславский. Вызывает меня главный редактор Детгиза и говорит: «Знаешь, есть вот тут претензии, сделай-ка ты своего героя немцем». — «А почему немцем?» — «Так лучше будет — немцем». Я Борису пишу: «Делай немца. Давай!» Откуда он вытащил эту

фамилию — Каммерер, — я совершенно не знаю.

РУДЕНКО: Кстати, много вам приходилось переделывать по требованию редакторов?

А. С.: Знаете, кажется, последнее позорище такого типа мы пережили с «Обитаемым островом». Потом мы ничего не меняли.

РУДЕНКО: Самоцензура у вас, конечно же, существует?

А. С.: Конечно. Она нам даже помогает. Заставляет искать более тонкие пути. Заставляет делать более тонкую работу.

РУДЕНКО: Интересно, вы садились хоть раз писать книгу, зная заведомо, что она не пойдет?

А. С.: Нет, так нельзя. Конечно, мы всегда можем сказать заранее, пойдет вещь или не пойдет. Но самоцензура проявляется — прорывается — даже не в этом. Совершенно раскованно писать, по-моему, невозможно.

РУДЕНКО: А вы пробовали писать реалистические вещи?

А. С.: Нет. А зачем? Нас не интересуют те вещи, ради которых стоит отказаться от фантастики. Товарищи, я вас не призываю поголовно зарываться в проблемы. Существует огромная область фантастики — героическая фантастика, приключенческая фантастика. Вот что мы разучились писать. И очень жалко, что разучились.

ПОКРОВСКИЙ: Время такое…

А. С.: Почему время такое? Создавайте героев, плодите героев…

ГЕВОРКЯН: Так ведь не напечатают…

А. С.: Тоже верно… Помните, когда приехал Кастро… прилетел к Никите Сергеевичу Хрущеву… какой-то холуй подскочил к нему: «Товарищ Кастро, скажите, как вы боретесь с абстракционизмом?» — «Я не борюсь с абстракционизмом, я борюсь с империализмом», — ответил Кастро. Словом, пишите «сайенс фикшн», пишите «фэнтези», все пишите…

БИЛЕНКИН: Пишете ли вы для театра?

А. С.: Ничего у нас не получается с театром. Представляете пьесу «Трудно быть богом»? Вот безобразие получилось бы…

Бородатый психолог ПЕТУХОВ: Как правило, ваши произведения неоднозначны. Они допускают много толкований, вызывают много мыслей — порой противоречивых. Взять хотя бы «Жука в муравейнике» — пока читаешь, предполагаешь разные варианты концовки, и все равно то, чем заканчиваете роман вы, обрушивается на читателя совершенно неожиданно. Вы сознательно стремитесь к поливалентности произведений или это получается у вас случайно?

А. С.: Это очень лестно, что вы выдвигаете такое предположение. Дело

в том, что мы сами считаем так: чем больше художественное произведение вызывает противоречивых мнений, чем больше допускает толкований, чем больше вызывает столкновение читателя *с самим собой*, — тем оно лучше. На наш взгляд, абсолютная ценность произведения в этом случае возрастает. Читая произведение, которое можно интерпретировать так, и так, и этак, и так, — человек порой меняет свое мировоззрение. Он начинает понимать, что окончательных ответов в мире не может быть. Вот что самое главное. Сегодня он пришел к такой-то интерпретации, а через год перечитывает вещь, — и у него получается другая интерпретация. Он накапливает опыт. Я не хочу сравнивать, но вот возьмем, например, «Войну и мир» Толстого…

ПОКРОВСКИЙ: Так ведь там все разжевано…

А. С.: Ничего там не разжевано. Я читаю «Войну и мир» регулярно каждый год, и каждый год я обнаруживаю что-то новое — что-то, что либо не заметил ранее, либо посчитал банальным, а потом оказывается, что это связано с какими-то другими вещами в «Войне и мире» и этой связи я раньше не уловил.

Бородатый психолог ПЕТУХОВ: Так ведь чтение любого произведения зависит еще и от психологического состояния, от настроения, даже от физиологии: сытый ты читаешь его или голодный…

А. С.: Что касается «Войны и мира», то этот роман можно читать и в голодном состоянии, и в сытом состоянии, и все равно: и голодный найдешь что-то новое, и сытым найдешь что-то такое…

Бородатый психолог ПЕТУХОВ: А как вы приходите к выводу, что сказали всё, что хотели сказать, если вещь поливалентна и не допускает однозначности суждений? Может быть, желание закончить произведение приходит бессознательно?

А. С.: Нет, в конце концов это получается сознательно. Сознательно вот в каком смысле. Когда мы упираемся в ситуацию, в которой возможно несколько альтернативных решений, — мы считаем, что на этом можно поставить точку.

СИЛЕЦКИЙ: Наверное, часто бывает так, что действительность — ежедневная действительность — заставляет вас менять планы? Я это к тому, что ваши произведения всегда очень созвучны времени. То есть я хочу спросить: случается так, что вы планируете одно, а что-то происходит, и вы *вдруг* переходите совсем к другим решениям?

А. С.: Именно! Ситуации общественного или даже мирового масштаба постоянно наталкивают нас на какие-то идеи, на какие-то догадки. Или на то, что мы считаем догадками. Я говорил здесь уже, что у нас есть сюжетов

двадцать — неиспользованных еще сюжетов. Десять из них — если мы вдруг напишем — читать сейчас будет уже неинтересно. «Проехали»…

СИЛЕЦКИЙ: А бывает так, что *вдруг* происходит нечто такое, отчего вы немедленно бросаете начатую вещь, перечеркиваете, сжигаете и спешно переходите к новой, следуя только что родившейся идее?

А. С.: Ну, для того, чтобы нас что-то ТАК взбудоражило… Это должно быть начало атомной войны. Обычно это вещи, которые накапливаются исподволь, незаметно, мы к ним привыкаем, и вдруг в каком-то разговоре тема поворачивается каким-то странным образом, и мы говорим: «Ба, а вот оно. Сейчас мы закончим начатую вещь, и хорошо было бы тогда заняться вот каким делом…» Например, я читал «Новые карты ада» — а читал я эту книгу раз пять или шесть — и не обращал внимания на одну очень интересную штуку: помните, там раздражали крысам центр удовольствия? Мне это просто забавным показалось, и — проскочило. А когда я перечитал книжку в пятый или шестой раз — это года два прошло с тех пор, как я читал ее в первый раз, — то вдруг подумал в ужасе: «Господи боже мой! А если с людьми так?..»

РУДЕНКО: Когда примерно это было? В каком году?

А. С.: Это было еще до «Хищных вещей века». «Хищные вещи века», кстати, отсюда и возникли.

БАБЕНКО: Интересно, почему вы так не любите пришельцев? То есть, почему — по-вашему — они непременно должны нести какую-то угрозу Земле? Например, Странники в «Жуке в муравейнике»? Почему вы пугаете читателя пришельцами, хотя — по идее — он должен пугаться тем, что происходит у нас на Земле? Ведь самая большая угроза человечеству — сам человек.

А. С.: Ошибка! Вот типичный методологический просчет, допущенный нашим другом. Где и когда я говорил, что даю хоть ломаный грош за инопланетный разум? Не нужен он мне. И никогда не был нужен. А когда мы «пугаем», как вы говорите, мы имеем в виду совершенно определенную цель: нечего надеяться на НИХ. Есть они или нет, а надеяться на НИХ нечего. Выбили религиозные костыли у людей — вот теперь и ходят-прыгают на одной ноге: «Дай нам, Господи!», «Барин к нам приедет — барин нас рассудит». Вот что нужно выбивать из читателей. Вот эту глупую надежду надо выбивать!

БАБЕНКО: Согласен! Но не считаете ли вы, что, сделав акцент на пришельцах, вы несколько снижаете воздействие того же «Жука…» на читателей? Читатель-то все же пугается, боится негуманоидных инопланетян, но поскольку они априорно несуществующие, то пугается

читатель понарошку? Может быть, нужно взять что-то страшное на Земле, что-то такое жуткое, что на Земле взаправду и произрастает? И вот этого пугаться? Тогда и снижения пафоса не произойдет. И пусть тогда тот же Сикорски направит усилия против этого страшного на Земле.

А. С.: А мы не пренебрегаем и этой темой.

БАБЕНКО: Как же не пренебрегаете? «Жук в муравейнике» — последняя ваша вещь — только на том и построена, что на неведомой угрозе со стороны Странников.

А. С.: По сути дела, в «Жуке в муравейнике» только один Странник (Экселенц) боится Странников.

БАБЕНКО: А почему и Сикорски — Странник, и инопланетяне — Странники? Может быть, это не случайное совпадение?

А. С.: Просто уже деваться некуда было. Мы назвали его — Сикорски — Странником в «Обитаемом острове» — что же теперь менять? Мы никогда не думали, что он встретится со Странниками.

РУДЕНКО: Бывали ли у вас случаи, что вы написали совсем «безнадежную» — в смысле проходимости — вещь и потом на нее даже рукой махнули: мол, не напечатают и бог с ними?

А. С.: По-моему, у нас такого не бывало… такого, чтобы полностью «безнадега», — нет… Не может быть… Рано или поздно напечатают.

БИЛЕНКИН: В «Отеле…» у вас есть определенные нюансы — в поступках героев, — которые заметны лишь при втором-третьем чтении. То есть внешне все логично, но тем не менее есть какой-то скрытый алогизм, заметив который, понимаешь: а ведь обычный человек так поступить не мог. Что-то побудило его. Или, может быть, авторы сами не заметили алогичности — поспешили, забыли о том, что было вначале?

А. С.: Это вот что. Это упражнение, по сути дела, на обрисовку психологии героя. Есть люди, которые ничего не заметят и пройдут мимо. А есть люди, которые задумаются, обратят внимание на мельчайшие несоответствия в поведении персонажей…

БИЛЕНКИН: То есть получается скрытый психологический детектив, что ли?

А. С.: В общем, в «Отеле…» это не имеет никакого значения, но мы никогда не упускаем случая поупражняться в этом. Находим всегда какие-то детали, чтобы дать новую окраску героя. В принципе, конечно, есть и «ляпы». «Ляпов» в наших вещах много, особенно в ранних. Есть вещи просто ненужные, которые лучше всего выбросить. Которые «не играют», и колорит не придают, и так далее… Но в общем я думаю так, что, когда вы работаете, когда пишете, не стесняйтесь вводить новые детали. Убрать

всегда можно… А потом — вдруг, когда вы будете перечитывать, вам придет в голову заменить ту или иную деталь, ввести что-то по делу, что-то действительно интересное? Голый сюжет — самое опасное. Голого сюжета бойтесь больше всего… Чтобы не ободранное дерево стояло, а чтобы с листвой оно было…

БИЛЕНКИН: В принципе, у вас всегда герои — все люди в произведениях — это наши современники…

А. С.: Обязательно. Совершенно бессмысленно изображать что-то иное.

БИЛЕНКИН: А если взять ефремовскую задачу — изобразить людей иного — будущего — времени? Вы ее, видимо, никогда не ставили?

А. С.: И никогда ставить не будем. Потому что, товарищи, существует совершенно справедливое высказывание Льва Николаевича Толстого: все что угодно выдумать можно — психологию нельзя выдумать. Кстати говоря, насколько я знаю, Иван Антонович и не пытался *показать* людей будущего. Он конструировал их, шел *нарочно* на нарушение определенной логики. Конечно же, он знал об этом высказывании Толстого и, конечно же, был с ним совершенно согласен, но ему нужно было создать образ человека, совершенно не похожего на нас. Мы же в своих вещах стараемся говорить, скорее, не об изменении психологии, а об изменении поведенческого модуля. ТАК — вернее говорить о людях.

БАБЕНКО: Есть ли надежда, что «Гадкие лебеди» увидят свет?

А. С.: Я думаю, что есть. Думаю, что есть… Я пока из-за какой-то апатии никак не могу взяться за поиски, кем же эта вещь запрещена. Там ведь ничего нет *такого*…

БИЛЕНКИН: Боюсь, что это «несчастный случай» на производстве… Не докопаетесь…

А. С.: Ну, в конце концов… Ну, «Гадкие лебеди»… Вообще, она неплохая вещь, конечно… Надо будет ею заняться… Посмотрим… Но вот что я вам скажу: все вещи — впереди. Все самое настоящее — впереди.

ВОЙСКУНСКИЙ: Какая, по-вашему, сейчас самая острая проблема?

А. С.: То, что называется мещанством. Ведь какой раньше мещанин был? В баночку копить, в кубышку, в чулок, под себя. А сейчас? Жрать, жрать, жрать… Хватать!

БАБЕНКО: Да ведь для этого и слова не нашли еще. Мещанин, обыватель — все это не то. Семантика не та…

А. С.: Очень смешно, между прочим, когда наши гневные филиппики против мещанства переводятся на английский язык. Мещанина как такового у них нет. Они переводят: «филистайн», «хипокрит», — но это

совсем не то. Скорей, такой… лицемер, ловкач… Словом, совсем не то, что мы понимаем под мещанином.

БИЛЕНКИН: А знаете ли вы слова Герцена насчет мещанства? Нет? «Все нации должны пройти через стадию мещанства».

А. С.: А что он имел в виду под мещанством?

БИЛЕНКИН: По-моему, то же самое, что имеем в виду мы.

ПОКРОВСКИЙ: Может быть, поставить проблему более общо: *цивилизация* должна пройти через стадию омещанивания?

А. С.: А что такое цивилизация? Дайте определение…

ГОЛОС с места: Сложно…

БИЛЕНКИН: Чем сложнее общество или явление, тем труднее дать ему дефиницию. Ведь надо охватить невообразимо широкий круг явлений…

А. С.: Мое определение… мое определение простое: цивилизация есть социальная система, которая наличествующими производительными силами непрерывно создает новые потребности и тут же создает способы их удовлетворения.

ГРИГОРЬЕВ: Что касается определения современной цивилизации, то так оно и есть.

А. С.: Любой. Возьмите ассирийскую цивилизацию — там то же самое. Главная функция любой цивилизации, товарищи, — это создание новых потребностей… Небывалых…

ВОЙСКУНСКИЙ: А как это распространить на первобытную общину?

А. С.: А первобытная община не была цивилизацией. На протяжении нескольких тысяч лет первобытный человек удовлетворялся, насколько я понимаю, хоботом мамонта или червячком. А по мере того, как первобытная община переходила в цивилизационную стадию, люди начинали понимать, что травка, например, бродит, и можно выпить кое-чего нового — «тяпнуть»…

БАБЕНКО: Я слышал, что на телевидении снимают фильм по «Понедельнику…».

А. С.: Да, двухсерийный фильм. С «Понедельником…» он не имеет ничего общего.

БАБЕНКО: То есть здесь вы так же не авторы фильма, как не были авторами «Сталкера»?

А. С.: Совершенно точно.

БАБЕНКО: А вы видели отснятый материал?

А. С.: Никакого отснятого материала еще нет. Впрочем, нет, одну часть Бромберг уже отснял. Бедняге не повезло со снегом. Действие происходит в

новогоднюю ночь, а снимать пришлось сейчас, в марте.

БАБЕНКО: Как и в случае со «Сталкером», вы тоже многократно переделывали сценарий?

А. С.: Многократно.

БАБЕНКО: И что получилось?

А. С.: Получилась довольно банальная история. Там нет, скажем, Выбегалло…

ГРИГОРЬЕВ: А что есть?

А. С.: Есть какая-то контора по производству чудес для народного потребления. Во главе стоит дама, колдунья. Она заколдовывает молодую сотрудницу. А ее любит один из Москвы, и встает вопрос о расколдовывании, и все непрерывно поют и пляшут.

ГОЛОС с места: Почему в ваших произведениях, как правило, только главный *герой*, а главных героинь практически нет? Почему нет женщин на главных ролях?

А. С.: Отвечаю. Женщины для меня как были, так и остаются самыми таинственными существами в мире. Они знают что-то такое, чего не знаем мы. Вот в Японии в начале нашего тысячелетия существовало два строя — матриархат и патриархат одновременно. Так женское начало взяло верх. Так и осталось в иерархии богов: верховный бог — женщина, подчиненный — мужчина. Повторяю — и за себя, и за своего брата: женщины для нас самые таинственные существа. И повторяю, что сказал Лев Николаевич Толстой: все можно выдумать, кроме психологии. А психологию женщин мы можем только выдумать, потому что мы ее не знаем.

ГОЛОС с места: Ваше отношение к «летающим тарелкам»?

А. С.: «Летающие тарелки» для нас абсолютно неинтересная вещь. Но для того, чтобы показать отношение людей к «летающим тарелкам», мы можем теоретически написать такое произведение, где были бы НЛО. И это не будет значить, что мы верим в «летающие тарелки».

Сверхзаумный вопрос бородатого психолога ПЕТУХОВА с приведением высказывания какого-то иностранного философа, которого никто не знает и от фамилии которого на пленке осталось только «брпрфпрр…»

А. С.: Ага… Гм… Аналогичный случай со мной уже был… Приехал я в Новосибирск получать премию за «Понедельник начинается в субботу». Вдруг подскакивает ко мне один молодой научник и спрашивает: «А что вы думаете о теории…». Вот я и забыл уже название… иностранное имя такое… Да… А мне не хотелось ударить лицом в грязь. Я и говорю: «Что ж… конечно… при известных условиях…» Он: «Правильно, я тоже так

думаю…» Говорит: «Некоторые аспекты…» Я говорю: «Простите, меня ждут…» А там уже коньяк разливают. А его — научника — туда не пустили…

Психолог ГОСТЕВ: Определенные ваши вещи, можно сказать, написаны с пессимизмом. Чем это можно объяснить? Вы на самом деле пессимистически смотрите на развитие человечества?

А. С.: При чем здесь развитие человечества? Пессимизм, если он и есть, происходит не от развития человечества, а от того, что мне уже пятьдесят семь лет. Будь мне сейчас лет двадцать, не было бы никакого пессимизма. Я-то ведь с двадцать пятого года, а Борис — с тридцать третьего…

РУДЕНКО: Когда вы начали писать?

А. С.: Господи, я думаю, что писать — точнее, рисовать, а не писать, рисовать комиксы — я начал, наверное, в восьмилетнем возрасте.

ГОЛОС с места: Фантастику?

А. С.: Фантастику.

ГОЛОС с места: В школе учились?

А. С.: Восемь лет было! Конечно, в школе учился.

РУДЕНКО: Когда вы родились как *братья* Стругацкие? Когда вы стали настоящими писателями?

А. С.: Ну, не знаю… «Лицом к лицу лица не увидать…» Могу лишь сказать с определенностью: когда вышел «Пепел Бикини», политический роман, политическая повесть, когда ее издали, нам стало ясно: не боги горшки обжигают, можно продолжать и дальше.

БИЛЕНКИН: А кто был соавтором?

А. С.: Некто Лева Петров. Мы с ним работали вместе в разведке на Дальнем Востоке, а потом, когда демобилизовались, он стал в АПН работать, женился на внучке Хрущева. И безвременно умер…

РУДЕНКО: Все-таки отличные у вас вещи. И как это получается такое? (Общий смех.)

А. С.: Спасибо, ребята, за такое мнение, но я думаю так: вы сами работайте побольше, и все у вас получится. Я думаю, что сюжет — это самое слабое место у вас. Острый сюжет… Ну что, все?

ВСЕ (задумчиво): Пока все…

Запись, оставленная А. Н. Стругацким после масс-интервью в гроссбухе семинара, носящем название «СЕДУКСЕН» (СЕминар ДУшеведов и КСЕНологов):

«17.03.82 Было очень интересно и профессионально. Начавший писать да пишет и не пугается. То, что все мы золуши (или золухи?) — не суть

важно. Важно работать и общаться».

Записал В. Бабенко

Борис Стругацкий
БОЛЬШЕ НЕВЕРОЯТНОГО В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ[34]

Братья Аркадий и Борис Стругацкие — авторы целой библиотеки: более чем за четверть века (их первая книга вышла в 1959 году) они напечатали десятки произведений, вызвавших самое разное отношение — от категорического отрицания до полного приятия и восторга. Их фантастические повести переведены на языки народов нашей страны, изданы в разных странах: почти все — в ГДР, ЧССР, США, многое — в Польше, ФРГ, Франции, Японии.

Стругацкие — коренные ленинградцы. Но старший из них, Аркадий Натанович, — по образованию переводчик с японского — давно обосновался в Москве. Борис Натанович живет в родном городе. Здесь он находился в первый страшный год блокады, отсюда был вывезен в августе 1942-го, вернулся, закончил университет, стал астрономом. Мы беседуем с ним в его ленинградской квартире.

— Как же вы пишете, живя в разных городах?

— Работаем мы всегда вместе, рядом, плечом к плечу. Слово за словом, абзац за абзацем, страница за страницей — и так до конца. Никогда и ничего серьезного не пишем порознь, только вместе. Договариваемся заранее, съезжаемся и, встретившись, работаем. Вдохновение — штука редкостная, рассчитывать на нее нельзя. Ежедневно пять-семь страниц черновика или десять-пятнадцать чистовика. Пять часов работы утром и еще час-два вечером. Десять дней подряд (раньше могли и больше), ни на что не отвлекаясь и без всяких выходных.

Поскольку обсуждается и по ходу дела шлифуется буквально каждая фраза текста, работа представляет собою почти непрерывный спор. Говорят, со стороны кажется, что мы все время ссоримся. В споре обычно рождается взаимоприемлемый вариант. Если компромисс невозможен, бросаем жребий — бывали и такие случаи.

— Вы написали 23 повести. Это ваш излюбленный жанр?

— Как правило, мы действительно укладываемся в десять авторских листов. Самая большая наша повесть, по-моему, пятнадцатилистная. Видимо, больший объем не вмещается в воображение. Ведь каждая повесть — это маленький мир. А каждый мир фантастического произведения — это

обязательно terra incognita, мир, который никто никогда не видел, мир, лежащий за пределами человеческого опыта. Мир, отличающийся присутствием небывалого или вовсе невозможного. Никто не знает, что это такое: мир, в который вторгся человек-невидимка; или мир далекого будущего; или мир, в котором приняли и расшифровали послание сверхцивилизации. А автор должен все детали этого мира, все его, так сказать, закоулки ясно представлять себе в любой момент работы. Иначе будет утрачена достоверность описываемых событий, а фантастическое произведение, лишенное достоверности, немногого стоит… Достоверность описываемого мира зиждется на деталях. Писатель-реалист эти детали берет из собственного опыта, он их просто вспоминает. Писатель-фантаст должен эти детали вообразить. Однако же воображение наше конечно, а значит воображаемый нами мир не может быть и большим, и достоверным одновременно.

— Вы идете от героя или от ситуации? Что, так сказать, первично?

— Бывало и так и этак. Но чаще все-таки мы идем от ситуации, от способа проникновения фантастического в реальность, от некоей модели мира. Удачно придуманная ситуация — это зачастую половина дела: сцена готова, декорации расставлены, пусть теперь герои входят и начинают здесь жить…

Я помню, как мы придумали ситуацию нашей повести «Пикник на обочине». Это было в Комарове под Ленинградом. Мы прогуливались по лесу и наткнулись на остатки автомобильного пикника: консервные банки, кострище, какие-то тряпки, использованный масляный фильтр, бутылки, батарейки от фонарика, сломанная вилка… И мы попытались представить себе, как все это должна воспринимать лесная живность. Что они думают об этом, если, конечно, способны думать? Так возникла ситуация «Пикника…» — человечество, пытающееся разобраться в том, что оставила после своей кратковременной стоянки на Земле могучая сверхцивилизация… Ситуация оказалась емкой, с многими возможностями, она позволила придумать мир, с которым было интересно работать.

— Из чего вы исходите, «рождая» главного героя произведения? И как придумываете имена?

— Герой есть в значительной степени функция замысла. В зависимости от того или другого замысла выбираются те или иные герои. Обычно у нас читатель знает то же и только то, что знает главный герой. И ищет выхода из разнообразных тупиков и ловушек вместе с главным героем. И должен сделать свой выбор вместе с ним…

Такой подход, разумеется, накладывает определенные ограничения.

Нельзя делать главного героя гением или суперменом. Дураком его делать можно, но, пожалуй, не очень интересно… Впрочем, и гения, и дурака изобразить, кроме того, еще и очень трудно. В мировой литературе таких примеров раз-два и обчелся…

Что же касается имен действующих лиц, то мы берем их обычно из газет или из телефонных справочников, а иногда даже «вычисляем» с помощью программируемого микрокалькулятора.

— Чем, на ваш взгляд, фантастика отличается от нефантастики?

— Это та же литература, только в ней происходит больше невероятного в единицу времени. Фантастика исследует современного человека и современные проблемы своими методами. Например, проблема контакта с другими цивилизациями. Ситуация контакта — это только пробный камень, который литература использует для испытания человека и человечества. Фантастика знает несколько таких пробных камней. Гибель цивилизации. Изобретение, преображающее мир. Путешествие в прошлое или в будущее. Но не может быть целью произведения, например, описание столкновения Земли с гигантским астероидом. Это не более чем средство, один из художественных приемов, способ рассказать о человеческих судьбах и судьбах нашего мира.

— Существуют два противоположных требования к фантастике. Одни считают, что она должна быть реалистична, другие полагают, что «фантастика должна быть фантастична…».

— Я — за реалистическую фантастику. Фантастический элемент должен прорастать в реалистическую ткань повествования и образовывать с нею некий единый сплав с совершенно новыми (как и полагается сплаву) свойствами.

Воланд (у себя дома) одет в ночную сорочку, грязную и заплатанную на плече. Марс «Аэлиты» — красноватая пустыня, поросшая огромными кактусами. Нам хорошо знакома эта пустыня, мы видели ее в «Клубе путешественников». Уэллсовские марсиане — задыхающиеся под собственной тяжестью, лоснящиеся спрутообразные мешки с мрачными глазами — настолько реальны, что умирают от инфекции, зараженные земными микроорганизмами.

Фантастическое облекается в земные одежды — в прямом и в переносном смысле. Фантастическое делается узнаваемым, удобопонятным, становится элементом реального, хорошо знакомого мира — только после этого оно может вызвать сопереживания, теперь его можно любить, ненавидеть, бояться, презирать, восхищаться им или осуждать его.

Девяносто процентов фантастики является второсортным чтивом

потому, что авторы не умеют создавать сплав фантастического с реальным, не умеют делать фантастику реалистической.

Или не хотят? Я не говорю о многочисленных халтурщиках и бездарях. Но ведь многие сильные писатели-реалисты, вдруг взявшись за фантастику, словно преображаются. Герои их перестают разговаривать — они произносят речи, перестают ходить — они выступают… Помню, как был огорчен и ошарашен, прочитав у Юрия Тынянова (писателя блистательного, неповторимого, я преклоняюсь перед его прозой) критический разбор «Аэлиты», где повесть объявлялась неудачной, в частности, именно потому, что Марс Алексея Толстого слишком похож на Землю. «Эта поразительная невозможность выдумать что-либо о Марсе…» — писал Тынянов.

Может быть, существуют две меры, два подхода, два литературных вкуса, когда речь идет о фантастике? Мне, видимо, трудно судить об этом сколько-нибудь объективно. Я пристрастен. И кроме того, мне кажется, что вся хорошая фантастика на моей стороне в этом споре. Гоголевский «Нос» пронизан реализмом при всей свой фантастичности. Свифт в «Путешествии Гулливера» предельно скрупулезен, когда описывает множество и множество сугубо реалистических деталей, и так же скрупулезен Лем, когда многие страницы текста отдает подробнейшему рассказу о формах мимоидов — все это необходимо только для того, чтобы читатель мог войти в фантастический мир романа так же естественно, как он входит в мир романа реалистического.

— Вы, надеюсь, не только пишете фантастику, но и прочитываете то, что выходит в этом жанре, следите за литературным процессом?

— Больше всего мне нравятся фантастические произведения тех писателей, которые сами себя фантастами не считают. Я очень люблю фантастику В. Шефнера, это мягкие трогательные, совершенно самобытные «сказки для умных». Классический рассказ Д. Гранина «Место для памятника» я, не задумываясь, включил бы в любой сборник «лучшей фантастики». Читаю и перечитываю «Альтиста Данилова» В. Орлова. И забавные повести А. Житинского. И вполне реалистические притчи Н. Катерли…

На протяжении многих лет мы участвовали в борьбе за увеличение тиражей фантастики, количества названий. Борьба, казалось бы, увенчалась успехом. Сейчас издательство «Молодая гвардия» выпускает фантастику регулярно. Но это книжки именно тех достоинств, за каковые маститые литературоведы относят фантастику к литературе второго сорта. Большинство книжек написано под девизом: «Фантастика должна быть

фантастична». Очень мило. Но где же то издательство, которое наладило бы конвейер «реалистической фантастики», происходящей от Свифта, Уэллса и Чапека? Нам очень не хватает такого издательства… А вам?

Беседу вела Г. Силина

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ЗНАКОМЫЕ ЧЕРТЫ БУДУЩЕГО[35]

Будущее испытало на себе всякое — и оптимизм, и безрассудную слепую надежду, и безысходное отчаяние. Ему угрожали и кликуши, и точные расчеты, его пытались отравить и попросту уничтожить, повернуть вспять, вернуть в пещеры. Оно выжило. Появилась возможность серьезного, вдумчивого изучения его. Сейчас, может быть как никогда еще в истории человечества, будущее зависит от настоящего и требует нового подхода к себе.

Даниил Гранин

Три года назад один из лучших «интеллектуальных» журналов наших «Наука и религия» обратился к нам с предложением высказаться по поводу того, каким мы представляем себе массового человека первых десятилетий грядущего XXI века.

Не без трепета мы приняли это предложение. И вот что у нас получилось.

Вот уже три десятка лет мы пишем фантастику и ни разу еще не выступали в роли предсказателей. Хотя половина наших повестей — повести о будущем, более или менее далеком, мы всегда описывали не те миры, что когда-нибудь реализуются, а лишь те, в которых нам самим хотелось бы — или, наоборот, очень не хотелось бы — жить.

Предсказать, каким станет наш с вами соотечественник в начале третьего тысячелетия — средний, или, как теперь говорят, массовый,

человек 2010–2015 годов — задача явно нам не под силу (да и кому она под силу?). Однако порассуждать небезынтересно.

Вообще говоря, человек был и всегда будет функцией среды обитания — если понимать термин в самом широком смысле, включая всю сумму социальных, экономических, «ноосферных» и природных обстоятельств. Человек изменяется только тогда, когда изменяется среда обитания, хотя не всякое изменение среды обитания меняет человека.

Мы знаем факторы, способные изменить среду обитания (а вместе с нею и человека) самым радикальным образом. Глобальная ядерная война. Глобальная экологическая катастрофа. Космическая катастрофа — недалекая вспышка сверхновой, например, или даже инопланетное вторжение.

Не будем здесь принимать во внимание такие напасти. Космические катастрофы неодолимы, но чрезвычайно маловероятны. Что же касается войны или экологического кризиса, то уже само осознание мировым сообществом этих страшных угроз дает нам определенную уверенность в том, что катастрофы удастся избежать. Да и вообще предсказывать, каким будет человек в мире, изуродованном катастрофой, слишком просто и слишком банально (хотя, конечно, и небесполезно).

Но известен другого рода глобальный фактор, не разрушительный, но достаточно эффективный и быстродействующий, чтобы существенно изменить нашу среду обитания в исторически короткие сроки. Это научно-технический прогресс (который, кстати, и породил все угрозы и кризисы XX века, включая и угрозу ядерной войны, и экологический кризис).

Научно-технический прогресс (НТП) привел к тому, что буквально на наших глазах, в течение жизни одного лишь поколения, среда обитания изменилась существеннейшим образом.

Мы прекрасно помним такую фигуру городского уличного движения, как извозчик-ломовик — явление ныне не менее редкое, чем кистеперая рыба. Летчик, обыкновенный военный летчик! — мы почитали его по крайней мере так же, как почитаем сегодня летчика-космонавта. А чудо из чудес, объект зависти и восхищения — ламповый радиоприемник в громадном, божественно пахнущем лакированном ящике, украшенном деревянными финтифлюшками и фигурными вырезами! С чем сравнить его сегодня? С персональным компьютером? Нет, жидковат персональный компьютер для такого сравнения!..

Но вот что интересно: если отойти назад не на 40–50, а лишь на 25 лет, то среда обитания покажется нам вполне привычной.

Автомобили? Да, их было поменьше, и они были другими, но уже

тогда они были привычным атрибутом городской улицы. Телевизор? Да, их было меньше, и они были хуже, но уже тогда они никого не удивляли, это был просто товар, на который надлежало копить деньги. Космические полеты? Человек только-только вышел в космос, но спутники считались уже дюжинами, а фотографии обратной стороны Луны вызывали не изумление пополам с восторгом, а лишь удовлетворение пополам с некоторым разочарованием.

Что же случилось? НТП замедлил течение свое или разучились мы с вами удивляться? Куда подевалось то восторженно-восхищенное отношение к чудесам науки и техники, столь характерное для конца XIX и первой половины XX века?

Создается впечатление, будто произошло за эти годы некое привыкание к НТП, к его чудесам, к его подаркам и даже к его издержкам. Словно бы НТП, изменяя среду обитания, произвел наконец некий сдвиг в массовой психологии и сделал массового человека практически невосприимчивым к дальнейшим изменениям. Сейчас трудно, а может быть, и невозможно представить себе такое научное открытие, изобретение или техническое новшество, которое было бы способно поразить воображение массового человека, стало бы предметом размышлений, восхищения или хотя бы сколько-нибудь массовых обсуждений.

НТП более не является источником чуда. Напротив, он убивает чудо, срывая с него яркие привлекательные одежды и ставя его в один ряд с прочими фактами, давно известными и организованными в ту систему, которую называют обыденной жизнью.

Но человек не может без чуда. Если отвлечься от отчаявшихся и потерявших надежду, жажда чуда является чисто духовной потребностью. Сенсорный голод, ориентировочный рефлекс (или как он там называется у психологов), этот поразительный механизм человеческой психики переносит ожидание чуда в те области, до которых НТП еще не дотянулся: НЛО, парапсихология, реликтовые чудовища, бермудские тайны…

От века чудо должно поражать воображение, то есть быть одновременно и наглядным, и необъяснимым. Современное чудо ценно само по себе, от него, как правило, не ждут практических выгод (разве что глобальных). И — что замечательно! — современное чудо вроде бы не имеет никакого отношения к мистике. Мистическое толкование чуда — сегодня дурной тон.

Между тем ИСТИННЫЕ чудеса XX века — это чудеса для сугубых профессионалов. Настоящие чудеса возникают в виде корявых формул, кое-как нацарапанных мелом на плохо протертой черной доске, чтобы потом

нырнуть в мрачные недра гигантских ускорителей или вычислительных чудовищ и вынырнуть на поверхность в виде символов и таблиц на синих полосах термобумаги, и лишь три головы во всей нашей среде обитания способны будут воспринять это именно как чудеса, да и то две головы усомнятся и потребуют начать все сначала.

Если когда-нибудь телепатия сделается фактором науки, она предстанет перед своими нынешними адептами опутанная проводами, облепленная датчиками, загнанная в шершавые кожухи дисплеев, ограниченная десятками неудобопонятных оговорок и условий, — и с огромным разочарованием отшатнутся от нее нынешние ее адепты.

Равнодушие или сугубый практицизм по отношению к истинным чудесам НТП, с одной стороны, а с другой — бескорыстный жадный интерес к банальным псевдочудесам, превратившимся в мифы нашего времени, — вот характернейшее свойство современного массового человека, порожденное самим же НТП.

Средний человек начала третьего тысячелетия — это сегодняшний школьник, для которого электронный калькулятор — довольно обычный предмет школьного обихода, видеоприставка к телевизору — довольно обычный предмет домашнего или, во всяком случае, клубного, а сверхзвуковой суперлайнер — нормальное транспортное средство. С младых ногтей этот школьник воспитывается в убеждении, что, с одной стороны, наука может все (это очевидно, скучно и всем давно надоело), а с другой стороны, что «есть многое на свете, друг Горацио…» и так далее. (Это всегда приятно щекочет воображение и обещает новое, интересное, неиспытанное.) К началу третьего тысячелетия НТП, возможно, подарит нам открытия необычайные. Может быть, будет-таки обнаружена жизнь на Марсе или на массивных спутниках больших планет. Может быть, запустят искусственный интеллект (что бы это ни значило!). Может быть, будет даже создана наконец единая теория поля.

Но можно с уверенностью сказать, что на нашего школьника (к тому времени уже активного участника, потребителя и поборника НТП) все эти замечательные открытия особого впечатления не произведут. В лучшем случае он добросовестно примет их к сведению, в худшем — просто не заметит, как не заметили многие наши знакомые ни великой теоремы Гёделя, ни расшифровки генетического кода, ни возникновения синергетики.

«Наука может все», с одной стороны, и «есть многое на свете, друг Горацио…» — с другой. Вот характернейшее свойство массовой психологии человека начала третьего тысячелетия. Хорошо это или плохо,

мы не знаем. Один из нас считает, что хорошо, а другой — что не очень.

Хорошо — для чего и для кого?

Плохо — в каком именно смысле?

Мы позволили себе порассуждать лишь об одной стороне человеческой психологии. Правда, эта грань представляется нам весьма важной. Способен ли ты удивляться, и если да, то что именно тебя удивляет? Отношение человека к чуду, отношение человека к прогрессу, который он движет своим разумом и своими руками, — это, что ни говорите, своего рода пробный камень его мировоззрения. И может быть, не только пробный, но и краеугольный.

Однако есть и другие грани, не менее важные. XX век дал наконец ответ на старый вопрос: что будет с массовым человеком, если он одет, обут и накормлен досыта? Станет ли он добрее, честнее, умнее, вообще — лучше? Оказалось — нет. Удовлетворение потребностей вызывает лишь появление новых потребностей. Каждый новый уровень «сытости» проявляет в массовом человеке новые минусы.

Человек разумный далеко не всегда является разумным человеком, слишком часто он — вместилище неуправляемых эмоций или попросту тупой болван. Нельзя ожидать сколько-нибудь серьезного изменения массового человека, пока господствуют формы воспитания и образования, выработанные еще троглодитами. Новый человек может быть сформирован только новой педагогикой, а прорывы в нее пока удручающе редки и неуверенны, и их без труда, почти автоматически душит непроворотная толща педагогики старой, насквозь пропитанной древними и древнейшими мифами и предрассудками…

Что ж, у человечества впереди еще, по крайней мере, миллиард лет.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
МНОГИЕ ИЗ ВАС СПРАШИВАЮТ…[36]

Как мы работаем? Наш модус операнди, так сказать. Ну, то, что обычно подразумевается под писательской работой — заполнение чистых страниц текстом, — получается у нас достаточно просто. Один сидит за машинкой, другой валяется на диване, и с обоюдного согласия слово за словом, фраза за фразой, абзац за абзацем ложатся на бумагу. Бывают разногласия, особенно в выборе слов, но мы уже давно спелись и, как правило, понимаем друг друга буквально с полуслова. Это не так уж сложно, это владение ремеслом. (Чтобы не было недоразумений: под

владением ремеслом понимается выработанная опытом способность любую, сколь угодно сложную мысль без больших затруднений воплотить в литературную форму.) Самое же сложное — до листа бумаги.

Идея. Проблема. Замысел. Как правило, идей и замыслов у нас всегда было сколько угодно. Как и у большинства писателей. Но вот, зачастую почти незаметно для нас самих, что-то одно начинает вытеснять все остальное, заслоняет весь видимый мир, все ярче высвечивая в нем некий участок. И наступает момент, когда мы, набрав в легкие побольше воздуха, ныряем в недра этого участка. Дальше со скрипом, с треском, с разрывами, с рывками и отступлениями идет самая сложная работа. Более или менее четкое формулирование проблемы. Выработка фабулы, оптимальной для постановки этой проблемы. Отбор действующих лиц, наиболее подходящих для этой фабулы. Создание сюжета, дающего максимальные возможности для действующих лиц. Первый набросок конкретного плана будущей повести: прикидка эпизодов, диалогов, рассуждений и прочего. И наконец, отдуваясь и отирая с чела пот, мы беремся за машинку.

Конечно, это только схема, в каждом конкретном случае получаются всякого рода отклонения. Например, если память нам не изменяет, мы только однажды написали повесть от начала до конца по намеченному плану. Но некое общее представление о нашем модусе операнди эта схема, мы надеемся, вам дала.

Для кого мы пишем? Вопрос странный, но задавали нам его и прежде. И не только читатели. Определенно мы можем сказать только одно: когда мы пишем, мы никогда об этом не думаем. По-видимому, питаем мы подспудное убеждение в том, что интересное нам обязательно будет интересно многим. Судя же по читательским письмам, в том числе и вашим, Стругацких приемлют и школьники, и пенсионеры, но большею частью любители фантастики, хотя встречаются и исключения. Кстати, здесь уместно будет упомянуть о любопытной гипотезе Александра Мирера, автора одной из лучших фантастических книг для подростков — «Главный полдень». А. Мирер утверждает, будто любовь к фантастике сродни музыкальному слуху: она у человека либо есть, либо ее нет, от социальных и прочих факторов она не зависит. Может быть, может быть.

Теперь несколько слов о Странниках, люденах и о прочих вертикальных прогрессах и гомеостазисах Вселенной.

Мы, конечно, испытываем определенную гордость за все эти наши выдумки, поскольку они вызвали большой интерес у многих читателей. И мы благодарны читателям за то, что выдумки эти их заинтересовали — иногда даже и до некоторой утраты ощущения реальности.

Но за всем тем не можем не заметить следующее.

Мы принадлежим к тем фантастам, для которых фантастика давно уже не является темой. То есть мы с интересом и удовольствием читаем талантливых авторов, у которых фантастический элемент сам по себе есть точка приложения творческих усилий, так, например, обстоит дело с утопическими и антиутопическими произведениями, но для нас-то это не так. Странники и все прочее для нас — не более чем антураж, не имеющий никакого самодовлеющего значения, этакие вешалки, на которых мы вывешиваем на всеобщее обозрение беспокоящие нас проблемы, а проблемы эти связаны у нас, как может без труда обнаружить достаточно внимательный и опытный читатель, большей частью с социологией и массовой психологией современного состояния рода людского. Если же внимательный и опытный читатель этого все же не обнаруживает, тем хуже для нас.

Во всяком случае, нет никакого смысла затевать дискуссии на тему о том, кто же такие эти людены (если только не имеется в виду упражнение для тренировки воображения). А вот сообщения о «процессах» Сикорски нас порадовали.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
«ЖИЗНЬ НЕ УВАЖАТЬ НЕЛЬЗЯ»[37]

Их авторитет безусловен даже для тех, кто терпеть не может фантастику.

Уровень философского мышления и безукоризненной художественности текста Стругацких приносит высокое интеллектуальное и эстетическое наслаждение, они давно — несомненные «мэтры» отечественной фантастики, за границей их издавали и переиздавали полтораста раз… Их имена окружает ореол очень большой читательской любви. Все это так… Но один писатель «братья Стругацкие» — два разных человека, столь несхожих и в то же время соединенных чем-то незримым, но настолько родным и узнаваемым, что их глубокую внутреннюю общность чувствуешь кожей, и традиционный вопрос о том, как же они пишут вдвоем, кажется ненужным и неважным… Такие независимые, яркие люди, но вот это их общее ощущается внезапно уязвимой болью внутренней чистоты, интеллигентности и порядочности.

Я уже несколько лет была знакома с бурным, ярко эмоциональным Аркадием Натановичем и только что познакомилась с очень внутренне

закрытым при внешней легкости и изяществе общения Борисом Натановичем, но при всей разности этих контактов испытываю сейчас чувство равной нежности и надежды на добрые ветры для них… Чувство это возникло и окрепло именно в общении с братьями Стругацкими.

…Ирония слегка защищает их усталость и стойкость. «Классики» — как зовут их молодые фантасты — обладают нечастым достоянием: четкими духовными ориентирами. «Нравственный стержень» — так говорили раньше.

Братья Стругацкие — у нас в гостях.

— Аркадий Натанович, мне хочется начать с вопроса о вашем читателе. Чувствуете ли вы своего читателя, постоянную взаимосвязь с ним, меняется ли он? В каком качестве ощущаете вы себя сейчас? Человека развлекающего? Учителя? Идеолога? Философа?.. Меняется ли ваш прежний любящий, преданный читатель, и если да, то как? В общем… все о взаимоотношениях с читателем.

— Вопрос сильный, должен тебе сказать… Знаешь, вот первые наши книги, которые мы сами очень не любим, — «Страна багровых туч», рассказы, первые, — вот они, пожалуй, и были рассчитаны на развлечение… то есть мы писательски относились к своей теме так же, как читательски когда-то относились к Жюлю Верну и Уэллсу, не подозревая, что у Уэллса есть такие философские глубины. Но открылись они нам значительно позже, когда мы сами стали уже зрелыми писателями… Здесь помогла, конечно, и родившаяся в нашей стране философская фантастика Ивана Антоновича Ефремова, и социально-эмоциональная фантастика Рэя Брэдбери… Это — о нашем восприятии своей, так сказать, развлекательности. Сейчас, конечно же, нет — иные, скажем, цели. И давно уже — нет. Хотя развлекательный элемент обязательно должен быть, чего слова-то пугаться… Понимаешь, мы никогда не забываем про троянского коня и позолоту на пилюле. Если ты хочешь сообщить мысли, кажущиеся тебе новыми и необычными, читателю неподготовленному, приходится строить острый сюжет. За ним-то он, свеженький читатель, побежит, а мы ему и вложим философский борщ с трагическими выводами в легкой и удобочитаемой форме. А потом противники фантастики всех мастей и расцветок еще будут говорить о легком чтиве…

— Хотя как раз именно вы и делаете ту самую просветительскую работу — молодого читателя, жадного до интриги и сюжета, окунаете в высокую литературу и философию. Здесь-то он прочтет! А вещь другого жанра, заведомо «высокого», может и в руки не взять… Но — это лишь одна часть ваших читателей, хотя традиционно, именно на нее оглядываясь,

и рисуют портрет читателей фантастики. Но он же совсем не таков! Сколько крупных ученых, мыслителей ищут и находят в ней отражение острых, глобальных и больных вопросов самого что ни на есть сегодняшнего дня… Георгий Михайлович Гречко, столь неординарно мыслящий человек, говорил мне, что без большой фантастической литературы своей духовной жизни просто не мыслит… И Маркес, Стругацкие и Булгаков в этом списке рядом…

— Ну спасибо ему. Нет, правда, спасибо, он наш верный читатель. Но меня не надо агитировать; я давно — «за»! Ты это тем скажи, кто без мордобоя и шишек жизнь братьев Стругацких видеть не желает.

— И скажу.

— Скажешь, скажешь… — верю. Но… Ох, это громобойный разговор, еще вернемся, а сейчас давай я про развлекательность договорю, а то понесло нас с тобой к привычным болячкам. Оно и понятно, впрочем… Да, так вот, слово «развлекательность» для нас не ругательство, как раз ее нашей литературе очень не хватает, я не только о фантастике говорю. Что же касается читателя, то он, безусловно, заметно изменился за эти тридцать лет, что мы работаем. Читатель стал образованнее, интереснее, раскованнее, по моему мнению, наши читатели очень выросли. То ли мы их за собой тянем, то ли они нас — не знаю, но получается так, что мы пока идем голова в голову… Вот я вчера выступал в одной школе по соседству… ребята там ставили в школьном театре такие сложные наши вещи, как «Жук в муравейнике» и «Хищные вещи века»… Меня поразило, как они точно уловили все самое важное в них! И зрители — такие же ребята — реагировали абсолютно адекватно.

— А вы нуждаетесь в этом ощущении обратной связи? Зависимы от нее или нет?

— Честно говоря… объективных признаков такой зависимости мы у себя не замечаем… А потом, что такое обратная связь? Слава богу, критика нас не трогает, в душу к нам не лезет, разве что лягнут изредка, ну так чем им еще и заниматься…

— Не только же такая критика есть…

— Верно, есть и другая. Но нам с этим не везло. Просвещенным и мудрым критикам было как-то не до нас, а вот те, что облают, — они всегда пожалуйста. Наши единомышленники-критики печатаются крайне редко, за всю нашу писательскую карьеру мы можем насчитать 5–6 выступлений, о которых стоило бы говорить.

— Вам мешало отсутствие критики или нет?

— Помогало! Как только они за нас взялись, нас перестали печатать,

вообще посыпались неприятности…

— То есть умных, глубоких критических выступлений практически не было вообще?

— Конечно. Эти пять-шесть, о которых я говорил… — ну, не поливали грязью… пытались «в чем-то разобраться», но — «помогали»? Нет!.. Есть, правда, один человек, который нас очень хорошо понимает и прекрасно пишет, но ему пока не удалось пробиться ни строчкой.

— Кто?

— Это Олег Шестопалов, очень сильный математик, доктор наук, лауреат Государственной премии… Ну, представь себе самых лучших и достойных наших главных редакторов, которые взяли бы у математика литературную рецензию?! Это ж профессионалы от злости удавятся…

— …Я совершенно не воспринимаю вас именно как фантастов, да-да… Для меня братья Стругацкие — большая литература, и все. По-моему, литературный процесс есть нечто неделимое, единое целое… К чему заниматься игрой в подведомственные жанры… есть просто литература — или ее нет. Остальное все от лукавого, придумано теми, кому не дано созидать собственную литературу…

— Абсолютно согласен.

— Так вот, насколько вы сами ощущаете себя частичкой мирового литературного процесса, либо… Иные ваши поклонники служат вам дурную службу… те, кто кричат, что вот им интересно фантастику — Стругацких — и еще детективы, а неинтересно Достоевского и Цветаеву… Итак, ваше восприятие того, что вы делаете, и ваше понимание фантастики.

— Начну с того, что я очень неприязненно отношусь к тем почитателям братьев Стругацких, которые не любят Достоевского. Это прежде всего. Но этот читатель — не главный наш читатель, нет… Мы уже давно для себя установили некое кредо… символ веры: писать можно либо о том, что ты знаешь лучше всех других, либо о том, чего никто, кроме тебя, не знает. Это во-первых. Фантастика и исторический роман в этом отношении очень сходны. Во-вторых, фантастика — это литература огромных социальных и этических обобщений. Нам не нужно задумываться о том, ходил ли в период, описываемый нами, троллейбус № 5 по кольцевой дороге или нет, нам это не важно; ситуация, антураж — это целиком дело нашей фантазии, и в этом я вижу наше преимущество перед писателями-реалистами, потому что мы можем всю нашу энергию… творческую вложить в самую суть, в то, что мы по-настоящему хотим сказать. Не отвлекаясь ни на что.

— Фантастические обстоятельства нужны вам, дабы свободно

наполнить форму психологической и философской начинкой… так?

— Конечно. Собственно, научная фантастика нас давно уже не волнует, только человек со всеми его «измами» — цель, а идти к ней, к разным его глубинам и допускам, для нас естественно путем фантастики. Вот и все.

— А ваши главные литературные пристрастия — в области фантастики?

— Конечно, нет. Я бы даже сказал, что фантастику мы не любим.

— Почему-то такого ответа я и ждала… А что вас питает, что вы ощущаете своими нравственными и эстетическими источниками? В литературе.

— Прежде всего это гигантские резервы русской литературной классики. Гоголь, Чехов, Достоевский, из этого источника можно пить всегда, перенасыщения не бывает.

— И часто вы обращаетесь к ним?

— Да непрерывно! Как только чувствуешь, что дальше работать нельзя, сразу хватаешься за них… а вот видишь, вон стоит Салтыков-Щедрин — полный! — великолепное издание — так его читаю бесконечно и когда работаю, и когда не могу работать… Лет пять-шесть назад у нас был период, когда мы просто читали его каждый день. А из «Войны и мира», по-моему, уже суп варить можно, пусть тебя не шокирует это мое словечко — это когда я вещь уже наизусть знаю… ну, о Булгакове уже и говорить нечего, это такое наше… Между прочим, это страшное преступление по отношению к Стругацким, что мы так поздно получили Булгакова! Мы были бы, наверное, гораздо более интересными писателями, прочитай Булгакова раньше… А еще родоначальники мировой юмористики Джером К. Джером и Джекобс — наше вечное чтение, тоже суп варить можно. Все собрание сочинений Фейхтвангера — тоже.

— У вас с Борисом Натановичем общие пристрастия?

— Нет. Символы писательской веры, конечно, общие, писатель-то один, хотя брата два… но есть и сугубо личные симпатии. Например, Борис очень любит Фолкнера, а я — Хемингуэя.

— А как взаимоотношения с поэзией?

— К сожалению, здесь дело плохо, здесь я туг на ухо, а вот Борис поэзию знает и любит… Но вот не знаю, куда отнести наших бардов, — а без них я обходиться не могу.

— К поэзии, конечно.

— Значит, мои любимые современные поэты — Окуджава, Высоцкий, Юлий Ким. Мне они нужны постоянно…

— Витамины души…

— Да! Но не только — это еще и напоминание: не заносись! Помни, в каком мире ты живешь! Ну а к классике поэтической я не так глух — и Пушкин, и Блок моей душе потребны. Да и в современности, пожалуй, к бардам добавь Давида Самойлова — этот мой, иные его стихи просто переворачивают…

— Я не буду задавать вам традиционный вопрос о том, как вы работаете вдвоем, кто из вас лежит на диване, а кто сидит за машинкой — в конце концов, если авторы считают нужным оставлять это в тайне, то это их дело, и лезть в чужую кухню неприлично, но все же спрошу вот о чем…

— Но это действительно так, очень точно ты сказала: один валяется на диване, а другой сидит за машинкой, ничего не поделаешь! В четыре руки на машинке не поработаешь…

— Наверное, чаще всего все-таки за машинкой сидите не вы?

— А вот и нет, как раз я! Да — к твоему сведению… По одной простой причине — Борис Натанович очень рассеян и делает много ошибок.

(Забегая вперед, скажу, что на аналогичный вопрос Борис Натанович иронически, чуть обиженно произнес: «Аркадий — аккуратист и педант невероятный, все ему кажется, что я не так внимателен, ну и на здоровье, пусть тогда сам и сидит…» — Е. М.)

— Да, Аркадий Натанович, но, возвращаясь к теме, я хотела вот о чем спросить Вас: как получается единый автор из союза двух столь разных людей? Причем очень разных… Как же это так органично, так естественно, так неделимо получается?

— Тайна сия велика есть… Ничего не поделаешь… Мы не знаем, как это происходит. И я думаю, что на кухню к Господу Богу лучше не лезть… есть некоторые вещи, причины которых нам знать не дано, данность — и все.

— Вы работаете регулярно или запоем?

— Только регулярно. Мы встречаемся на нейтральной полосе, потому что… сама видишь мою квартиру — две комнаты… Тут мы с женой, дочь, внук — здесь работать негде. У Бориса очень схожая ситуация. Поэтому мы почти ежемесячно встречаемся в каком-нибудь Доме творчества на десять дней и работаем. Думает каждый на своем родном диване: я — в Москве на проспекте Вернадского, Борис — в Ленинграде на улице Победы, но пишем только вместе.

— Я вам сейчас задам вопрос чуточку провокационный: вы наверняка очень хорошо осведомлены о том, что вас, братьев Стругацких, мягко говоря, противопоставляют всей прочей советской фантастике. Говорят:

есть советская фантастика и Стругацкие. Так же, впрочем, как и в Польше: Станислав Лем и все остальные. Вам это льстит… или раздражает… или все равно? И — ваш взгляд на состояние современной фантастики.

— Значит, так. Если говорить о крупных, больших писателях мирового класса — Брэдбери, Лем, Шекли… — то они сами по себе, мы сами по себе, при всем взаимном уважении. Каждый есть свой собственный мир и, к счастью, воистину есть. Что же касается советской фантастики, то гвоздь в том, что по чудовищным и по сей день действующим, сложившимся закономерностям нашей издательской политики у нас, по сути дела, фантастики нет. То есть почти все серьезное и талантливое, о чем можно было бы по-настоящему говорить, — все это не печатается. Нет — есть, конечно, лучики в темном царстве: удалось вырваться к читателю Крапивину, тонкому стилисту Гансовскому, хорошему мастеру Биленкину… Но это все капля в море на трехсотмиллионную страну! У нас «в загашнике» сидят два отличных творческих семинара молодых писателей-фантастов, так называемых, конечно, молодых, так как семинары образовались лет 10–15 назад и всем «семинаристам» сейчас под сорок. И они абсолютно не публикуются, а если вдруг что-нибудь пробивается, то самое неудачное, серое! А самые лучшие их вещи, которые я читаю за вот этим столом в рукописи… и готов, понимаешь, своими голыми деснами доски грызть от ненависти к этой подлой издательской политике! А им наплевать… и последовательно губится уже не одно поколение фантастов. Со стороны наших издательств, всех этих госкомиздатов это чудовищный саботаж советской фантастической литературы! Намеренный, целенаправленный.

— И ведь советская фантастика уже выходила на мировой уровень — была же замечательная редакция фантастики в издательстве «Молодая гвардия» в начале 60-х годов, возглавлявшаяся Сергеем Жемайтисом и Белой Клюевой и, собственно, создавшая тот всплеск фантастики… И ежегодник «Фантастика» начал выходить, а мечтам о фантастическом журнале уже лет тридцать, не меньше…

— Все было! Но разгромили ведь это все! Ничего не осталось — пришел Медведев, затем Щербаков. И все. Мафия. Честным писателям-фантастам в «Молодую гвардию» дороги больше нет.

Я хочу привести здесь высказывание братьев Стругацких, взятое из их горького блестящего монолога в журнале «Уральский следопыт» (N 4 за 1987 год): «Мы убеждены, что творческая эволюция писателя теснейшим образом связана с публикацией его произведений. Разумеется, известны исключения. Были и всегда будут писатели, обладающие столь мощным

творческим зарядом, что они способны самосовершенствоваться, всю жизнь работая „в стол“, и только после смерти перед изумленным миром появляются их произведения, и мир понимает, что это был талант, выраставший сам себя, в одиночку. Это — единицы из тысяч и десятков тысяч пишущих. Не будем говорить о таких. Правилом же является писатель, для развития которого жизненно необходим партнер-читатель, причем обязательно массовый. Мы не знаем, в чем заключается магия этой связи, но мы знаем, что, как правило, писатель, лишенный выхода к широкому читателю, рано или поздно останавливается в развитии, начинает топтаться на месте… Вот в такое положение и поставлены наши молодые писатели-фантасты в последние полтора десятка лет… Лишь изредка, словно бы украдкой, отдельные нетипичные руководители издательств и журналов с известным риском для своего положения осмеливались *публиковать* настоящее…»

Аркадий Натанович весь кипел, говоря о людских судьбах в любимом им жанре, бурлил и возмущался во всю меру щедро отпущенного ему темперамента. У братьев Стругацких хватает и своих собственных проблем, но сегодня они истинно озабочены и встревожены участью именно «молодых» писателей-фантастов, их несостоявшейся судьбой, их пробуксовывающей литературной жизнью, а значит, и вообще… — жизнью.

— Аркадий Натанович, а что произошло с 24-томным изданием мировой фантастики?

— Это издание наш дорогой Госкомиздат затеял втайне от всех. У них, значит, было два лозунга. Один: там должны быть опубликованы произведения давно известные, по сто раз издававшиеся, с «безупречной» репутацией. Другой: должна быть история мировой фантастики. Эти два положения друг другу противоречат — как можно сочетать, например, сочинения князя Одоевского с требованием «зарекомендованности»? Мы пытаемся бороться, мы хотим развернуть весь парад советской фантастики, учитывая такую малость площадей, но понимая — это именно то, что нужно читателям и у нас, и во всем мире, а не перепечатки сотый раз Беляева.

— Для стольких ответственных работников культура всегда была третьестепенным делом, а понимание, что никакой перестройки вне культуры не будет, приходит медленно. Вообще «светлое, доброе, вечное» идет так медленно… И таким путем…

— Верно говоришь. И все же: ну а киношники? Сумели же? Делают же другую жизнь всерьез…

— Там личности другие были…

— Вот! А у нас в Союзе писателей все те же и так же. Нет вообще другого союза, где бы все так застыло, как в Союзе писателей. Гайд-парк один, говорить можно, но воз все там же.

— Аркадий Натанович, в чем вы находите утешение от естественных человеческих страхов — болезни, смерти, беды, ядерной катастрофы, то есть всего того, от чего человеку страшно? Всего, от чего он может отгородиться дневной суетой, но ночью спрятаться некуда, он беззащитен… В одном очень неплохом фильме Ролан Быков, игравший крупного театрального режиссера, говорил: «Но наступает возраст, когда по ночам ты лежишь и думаешь о гражданской панихиде. О своей. О том, кто придет и что скажут. И что не скажут».

— Ну, давай начнем с глобального… Я готов с кем угодно спорить на ящик коньяка, что ядерной катастрофы не будет. И я не проиграю, потому что если проиграю, то мне отдавать будет некому… А всерьез… Дело в том, что жить в ожидании конца — преступление перед жизнью. На мой вполне серьезный взгляд, знать нам ничего о будущем не дано, но жить надо достойно, без страха… Со мной многие не согласны, но я думаю так. Это — о ядерном крахе… Что касается прочих человеческих страхов, знаешь, у меня их просто нет, мне не от чего защищаться.

— Даже так?

— Даже так. От смерти не защитишься все равно… В конце концов, что такое смерть? Смерть, дорогие товарищи, это самое интересное приключение, которое мы испытаем в жизни. Болезни? Ну, есть врачи, пилюли, в крайнем случае хирургический нож.

— Тоже не боитесь?

— Не-ет, от ножа я попытаюсь сачкануть… а все остальное, Господи Боже, я стараюсь не избегать радостей жизни — начиная от любви вкусно поесть до всей человеческой палитры: очень люблю общаться со своим внуком, книги — какая радость жизни! И наконец — работа, все та же вечная работа… У меня, наверное, природно здоровая психика, если выдержала и ленинградскую блокаду, и много разных… дивертисментов потом… и — ничего!.. Долго не печатали, поливали критики как могли, но держусь, держаться-то надо прилично, я ведь кроме всего старший!

— Сдвинутость психики, распад… каких-то краеугольных камней, на которые опирается душа человеческая, когда ей трудно и больно, — это повсеместное явление сейчас, к сожалению, уже почти норма, а ваш внутренний статус-кво — это прекрасно, но так редко у человека просвещенного и с открытыми глазами… Понимать и не страшиться…

Этого почти не бывает.

— Дергаться перед неизбежным мы не будем!

— Достоинство?..

— Конечно… Нужно честно и с честью… помнить, кто были отцы, и не терять лица перед внуком… Как же это так, что это я буду сопли распускать… да и перед собой как-то невместно.

— Вы с оптимизмом смотрите в наше социальное будущее? Верите в перемены?

— Я понимаю скептиков — очень много душевных мозолей накопилось у людей, очень много рушилось надежд. Но слова «верить» нет в нашем лексиконе. Делу перестройки надо активно помогать — вот это я знаю.

— Вы легко работаете?

— Нет, очень тяжело. Особенно последние вещи нам очень трудно даются, потому что сложная проблематика… она все усложняется, и все больше времени надо тратить на размышления… споры…

— Мне показалась «Хромая судьба» качественно иной вещью, она мне очень понравилась, пожалуй, мне ее было читать интереснее всего.

— Ты знаешь, она ведь неполная, там же начинки нет!

— Куда она делась? Вырвали?

— Как «куда она делась»? Вот куда, в журнал «Даугаву» она делась

— «Время дождя»! Это как раз та синяя папка, которую написал наш Феликс Сорокин из «Хромой судьбы».

— Она вся сюда и вошла! А почему это было разъединено?

— «Нева» испугалась тогда. Времена сейчас меняются быстро, «Хромая судьба» вышла на год раньше «Времени дождя», тогда еще был первый год перестройки… сейчас все меняется каждый месяц, так что спасибо моему коллеге Владимиру Михайлову за смелость… Я надеюсь, что в книге обе части «Хромой судьбы» воссоединятся.

…Спустя неделю после разговора с Аркадием Натановичем я поехала в Ленинград — к Стругацкому-младшему. Меня предупреждали, правда, что в отличие от старшего брата Борис Натанович очень замкнут, сдержан, откровенен бывает чрезвычайно редко и только с близкими друзьями, что, в общем, не надо питать иллюзий… ибо в данном случае контраст традиционен — московская раскованность одного и петербургская корректная сдержанность другого. К тому же знакомы мы не были. «Да-да, все именно так и есть!» — смеясь, периодически утверждал Борис Натанович в течение нашего… четырехчасового разговора. «Да-да, вот так и напишите, пожалуйста, что не повезло вам со мной ужасно, такой

эмоциональный скупердяй попался, только на интеллектуальный треп и способен». Это он поспешно вставлял в редкие паузы столь насыщенного всеми человеческими слагаемыми разговора: мудро-ироническими размышлениями и неподдельной болью, когда речь шла о наших всеобщих бедах; воспоминаниями детства; мыслями о литературе и вечной горькой надеждой подлинно мужественного человека… Так что, по-моему, мне как раз очень повезло, все было в этом прекрасном разговоре, и четырех кассет хватит не на одну запись беседы. Здесь же, сейчас — отрывки, кусочки, то, что показалось мне нужным и важным именно теперь.

— Борис Натанович, я сейчас буду говорить громкие слова, а именно: мне хотелось бы побеседовать с вами как… с художником… мыслителем… философом, но не как с человеком, имя которого абсолютно привязано к слову «фантастика»…

— Послушайте, а у меня к вам встречный вопрос: вот вы читали, конечно, наши книжки. У вас как у читателя были какие-нибудь вопросы к нам?

— Разумеется.

— Я вот почему спрашиваю: дело в том, что Аркадий и я — мы оба читаем всю жизнь и, надеюсь, будем читать до смерти, мы «профессиональные» читатели, но… Ну, есть у меня любимые писатели. Ну, я очень жалею, что не привелось мне познакомиться с Юрием Трифоновым, которого я считаю блистательным писателем… Но у меня нет к нему вопросов! Мне просто хотелось бы на него посмотреть, посидеть и послушать, если бы он захотел говорить… Но — вопросов нет, вот в чем штука.

— А к кому есть?

— Да ни к кому, наверное. Но это у меня от возраста берется — раньше разговор на общие темы был мне нужен… еще как… а с возрастом иногда останавливаешься от мысли о бессмысленности всего, что мы скажем, даже самого важного вроде… Разговор на общие темы доставляет интеллигентному человеку такое же удовольствие, как сытому человеку ломтик чего-нибудь вкусного после обеда.

— Не могу согласиться с вами. По-моему, даже в самые тяжкие моменты жизни талантливая беседа с достойным партнером подобна допингу, когда ты уже выдохся… Бывает время, когда она нужнее обеда.

— По-моему, это все-таки больше в молодости, хотя, наверное, все зависит от характера… вот Эйдельмана только тронь — и из него польется высококачественный текст… Дар.

— Борис Натанович, а спросить я вас хотела вот о чем: насколько в

том, что вы пишете, вы видите возможность объяснить себе ли самому или людям, ждущим этого от вас… объяснить и найти выход из тысячи современных тупиков… Видите ли вы какую-либо миссионерскую роль в том, что делаете? Или вы просто пишете, как разговариваете… как жизненное формовыражение?.. Считаете ли вы, что можете добавить свой кирпич к… зданию надежды?

— С одной стороны — да, считаю. С другой — я прекрасно понимаю, что кирпичик этот очень маленький, и все-таки, пожалуй, если честно, пишу я не для этого. Нет, конечно, я понимаю, что наши книги помогают людям жить… ведь помогают же мне любимые книги… почему же не предположить того же… Я считаю, что некая миссия нашими книгами выполняется, хотим мы этого или нет, так уж устроена наша российская жизнь — у нас литература играет совершенно необычную по масштабу роль, нигде в мире ничего подобного нет. Но пишем мы не для какой-либо, пусть самой благородной, цели — нет. Я не могу даже сразу ответить почему. Работать ведь всегда тяжко… мучительно…

— Работать всегда трудно… Наверное, только графоманы пишут легко.

— Но я вспоминаю времена, когда мы начинали работать… бывали, конечно, счастливые и светлые часы, когда все шло само собой, когда мы, заливаясь хохотом, писали строчку за строчкой… Но чем дальше, тем труднее. Наверное, это все-таки было в то время, когда мы еще считали литературу делом не очень серьезным, относились ко всему несколько легкомысленно… Было молодое желание утереть нос профессионалам… Вначале мы просто стремились показать, как, по нашему мнению, надо писать. Дело в том, что фантастику мы всегда любили и наше разочарование ее уровнем в пятидесятые годы было огромным. Понадобилось, наверное, пять книг, чтобы мы поняли, что занялись-то делом серьезнейшим… На самом деле, конечно, вот вопрос, который интересовал нас всегда — с шестидесятых годов и по сей день: куда мы идем? Асеевские стихи: «А интересно, черт возьми, что станет наконец с людьми…» В конце пятидесятых, после XX съезда партии, казалось, что за разоблачением культа вот-вот наступит светлое будущее. В начале шестидесятых уже стало ясно, что все не так просто. Было абсолютно непонятно, кто это светлое будущее создаст… где эти люди? Нет, они были вокруг, но их было очень мало — как раритеты, как редкие марки. Десятки из тысяч, десятков и сотен тысяч. Стало ясно, что тех, кто мешает, гораздо больше тех, кто помогает. Наступил естественный период разочарования. Мы потеряли ориентировку тогда…

— А сегодняшний день? Что вы думаете о будущем нашей долгожданной перестройки?

— Очень непросто все это. Перестройка — это просто слово, которое на самом деле означает только одно: жить дальше так, как мы жили до сих пор, НЕЛЬЗЯ.

— Есть теория, считающая, что все то, что мы зовем перестройкой, произошло только потому, что среда застоя победила окончательно… Она победила, и тогда стало ясно, что при победивших черных силах дышать уже дальше невозможно.

— Хорошая мысль, конечно, но думаю, что это не так. По этой теории перестройка должна была наступить лет тридцать назад.

— Она и наступала — та… Но, кроме того, тогда еще была некая инерция предыдущих слоев культуры. Как перегной держит заброшенный сад еще несколько лет. А сейчас он закончился, выработался.

— Идея перестройки возникла потому, что та самая среда застоя, победив и убедившись в бессмысленности своей победы, начала рождать людей, которые стали задаваться все тем же вопросом: а дальше что? Если все становится хуже и хуже, как сделать, чтобы стало лучше?.. Сейчас ухватились за главное кольцо: двадцать-тридцать лет назад нам в наших бесконечных кухонных спорах было ясно, что начинать надо с того, что сейчас называется гласностью, а тогда называлось свободой информации… Ну, ухватились за эту цепь… что-то такое стало прорезаться… Ну хорошо, но сама по себе гласность — только орудие…

— Просто мы к этому не привыкли и нам уже мало…

— Привыкнем! Через два года и охнуть не успеем, как будем равнодушно читать, что тот или иной «высокий человек» критикуется на чем свет стоит в одном издании и восхваляется в другом…

— Вы думаете, это будет? Как хотелось бы… А то ведь привычка к зависимости такова, что, даже когда говорят о свободе, так и слышится: «Ать-два, есть быть свободным!» Как трудно высвобождается сознание, и сколько темных страстей и низких сведений счетов выявила наступившая демократия. К свободе слова надо еще быть нравственно готовым, а в этом отношении — почти девственная целина.

— Михаил Сергеевич Горбачев говорит нам: у перестройки нет альтернативы. Другого выхода нет. Потому что еще десяток лет назад такое болото было вокруг…

— Мне это рассказывать не нужно, ибо на вашу жизнь пришлись разные времена, а взять мое поколение — нынешних тридцатилетних — вся его сознательная жизнь пришлась на период застоя… Я видела, как

мальчики в шестом классе уже начинали делать карьеру. Да-да, это называлось именно так, а детский цинизм — это совсем страшно.

— Да, конечно, первый глоток свободы вы уже не застали, маленькой были… Пять лет назад я ни на что не надеялся, а сейчас я надеюсь еще что-то увидеть. Пять лет назад я говорил своему сыну, безумному поклоннику рок-музыки: «Ничего ты не увидишь в своей жизни. Я не увижу точно… Ты, может быть, к концу жизни еще чего-то дождешься»… А ныне у меня появляется надежда, что и я, если повезет, еще что-нибудь новенькое застану. Хотя обольщаться не надо — все трудно и будет трудно. Исторических переломов легких не бывает. А мы сейчас на совершенно типичном переломе истории.

— Борис Натанович, а если вернуться к первому вопросу, к литературе, к выводу, к которому мы пришли: вы работаете с ощущением, что вот началась колея, вы уже вошли в нее и вам из нее не выйти…

— Безусловно, колея — вы очень точное нашли слово… Ты вперся в колею для того, чтобы что-то или кому-то доказать, а потом уже вылезти из нее ты не можешь — тащишь свой груз. Но при этом, естественно, будучи человеком порядочным, стараешься делать это как можно лучше.

— Конечно. А дальше уже работа диктует сама…

— Да.

— …и выводит к тем обретениям, к которым вы сами, без нее, никогда не пришли бы… Работа вас сама вывезет.

— Ты становишься не то чтобы рабом своей работы, но… у вас устанавливаются с ней специфические отношения… ты не только не можешь, ты не хочешь ее бросить, потому что прекрасно понимаешь, что если ты ее бросишь, то у тебя же ничего не останется. Это как… литературная жена… Пропал уже первый азарт, первые порывы, но уйти от нее ты не можешь, связан с ней навсегда. Твоя задача состоит только в том, чтобы сделать все как можно лучше в рамках возникшей ситуации.

— Борис Натанович, вы давно возглавляете ленинградский семинар молодых фантастов. Аркадий Натанович с несомненной радостью рассказывал мне о ваших педагогических талантах…

— Да мне просто нравится возиться с молодыми ребятами. Многие из них талантливы, и хотя я прекрасно понимаю, что научить писать никого нельзя, но помочь чем-то хочется, хотя бы избавить от повторения самых традиционных ошибок… Вообще удовлетворение этого желания — помочь — очень благотворно действует, какой-то такой витамин жизненный… Я вообще человек по натуре очень замкнутый, у меня есть либо друзья, с которыми я встречаюсь регулярно и близко, — их очень мало, либо

знакомые, с которыми общаюсь крайне редко.

— Вы нуждаетесь в общении, в дружбе?

— Я нуждаюсь не столько в общении, сколько в дружбе, я бы так сказал. Я привык к друзьям, у меня всю жизнь были близкие друзья со школы. Это были очень талантливые ребята, славные, умные, все они страшно интересовались окружающим миром, все они были дьявольски любознательными, массу всего читали… мы выпендривались друг перед другом и любили друг друга… мы все время спорили о частностях, будучи согласны друг с другом в чем-то главном, и споры эти были той благотворной микросредой, которая и дала первотолчок творческий! Это продолжалось восемь лет — до окончания нами своих институтов. Потом жизнь развела, конечно, но такая юность питает очень долго, если не всегда.

— В литературе вы таких людей не встретили?

— Нет. В литературе были писатели, чье творчество явилось сильнейшим допингом, но их личного участия в нашей судьбе практически не было.

— А чье именно творчество?

— Алексей Толстой… Тогда «не было» такого писателя — Булгакова, поэтому представление о том, что такое настоящий прозрачный русский язык, мы почерпнули от Алексея Николаевича Толстого… Герберт Уэллс научил нас очень важному: что фантастика есть лирика человеческих возможностей и что писать надо о самых обыкновенных людях в необыкновенных обстоятельствах… Грэм Грин нам «объяснил» замечательную вещь, которую мы понимали интуитивно, но именно у него это увидели воочию: он показал нам, что можно и должно в произведении сочетать все элементы — психологическую прозу, и острый детективный сюжет, и выдумку, и юмор, и трагедию — и все в одной вещи. Потом мы то же самое встретили у Ивлина Во… Вот я думаю, Лена, про ваш вопрос о людях, сыгравших важную роль для меня… Менялись они, группы этих людей, менялись. Своего рода конгломерат… Когда распалась одна группа друзей, возникла другая, с которой ныне я счастлив во взаимной любви… Это очень важно — это вот та самая референтная группа, о которой любят говорить социологи. Они под этим термином понимают группу людей, чье мнение для тебя ценно. Ну, для меня это более узко: я этих людей должен обязательно любить, не только уважать.

— А что вам помогает в минуты тяжкие?

— Мне лично по-настоящему тяжко бывает только тогда, когда что-нибудь не в порядке с моими близкими людьми… Тогда мне ничего не

помогает… Тогда мне может помочь только исправление ситуации.

— При этом наша жизнь очень богата на всяческие мерзости рангом поменьше… Вы достаточно хорошо закалены, да?

— Ну, нас столько били, колотили, молотили, у нас было столько чисто писательских неприятностей, что надо было либо пропадать, либо выработать некий внутренний барьер. Мы выработали, так как поняли, что все это ерунда текущих сиюминутных страстей, всегда было и будет, а нам наше дело делать надобно, вот и все.

— Я не успела расспросить Аркадия Натановича о вашем детстве, и этот вопрос остался вам…

— Ну, это замечательные страницы, как же… вот тогда закладывалось все… Вы спрашивали, какой человек сыграл главную роль в моей судьбе. Конечно, Аркадий Натанович. Он старше меня на восемь лет, я всегда смотрел на него восхищенными глазами. Кстати, он действительно был замечательным в своем роде мальчиком, любой родитель мечтал бы иметь такого сына, это я вам как отец ответственно говорю… Весь мир интересовал его — он тогда, до войны, занимался астрономией, химией, робототехникой, если можно так это назвать в то время… Черт побери, он делал роботов! Представляете?.. Он уже тогда писал — как сейчас помню… «бессмертная» повесть, кажется, называлась «Находка майора Ковалева»; и написана была аккуратнейшим почерком в двух толстых тетрадках, снабжена собственными иллюстрациями, сделанными в манере раннего Фитингофа — был такой прекрасный иллюстратор фантастики… И я, конечно, при сем присутствовал… как сопляка, меня, правда, редко допускали на это интеллектуальное пиршество. У Аркадия тоже были отличные друзья, они собирались все вместе, а я сидел где-нибудь в уголочке… все это слушал и восхищался. Но проклятая война… Если бы не война, я думаю, из Аркадия получился бы прекрасный астроном, превосходный! Он занимался уже довольно серьезной научной работой, когда началась война, делал телескопы, у него были десятки сделанных своими руками телескопов… на них он тратил все, что мама выдавала на завтраки, так как жили мы очень бедно… Перед самой войной он поступил в Дом занимательной науки, получил там громадную папку наблюдения Солнца и солнечных пятен… — тут грянула война, и все пошло к черту. Да и потом… Правда, нас разнесло время… — армия — много лет не виделись, но я всегда выпендривался всячески, писал ему письма, где бы он ни жил — в Петропавловске-Камчатском, еще где… всегда старался писать ему интересные письма с самыми новейшими сведениями из области науки, культуры… он там был оторван от всего — в военных

гарнизонах… Как сейчас помню, он мне писал оттуда, что старается заниматься философией и изучает теорию отражения Тодора Павлова… Так что вот, так и пишите: вот человек, который определил мое будущее.

— Да… это было очень хорошо… Вы прекрасно рассказали об Аркадии Натановиче, а… родители ваши? Вы так грустно молчите, что я почти боюсь спрашивать…

— Да невесело это все и грустно… Мама наша была совершенно исключительный человек… героический, все мои представления о женщине — от нее, и вытащила она меня в блокаду, когда я уже умирал… А отца я не помню совершенно.

— Он погиб в 37-м?

— Нет… в 37-м его исключили из партии. Его спасло то, что он поехал в Москву добиваться реабилитации, его, конечно, должны были посадить, как мы теперь понимаем… через два дня его бы посадили, но не оказалось на месте — и это спасло… Он пошел в ополчение в 1941 году… (в гражданскую войну был комиссаром, сохранились фотографии, где сам он в буденовке, все с маузерами)… Но порок сердца не давал ему возможности воевать по-настоящему, его комиссовали, он взял Аркашку и уехал догонять Публичную библиотеку — был ее сотрудником… но не доехал — умер по дороге, а Аркашка выжил — чудом в общем-то… Мы недавно сидели вчетвером — Аркадий, Ленка, его жена, Адочка моя и я — и прикидывали: как вообще могло случиться, что мы вот… сидим все вместе?! Пришли к выводу, что это совершенно невероятное, вообще говоря, стечение обстоятельств — конечно, мы все должны были погибнуть. Я должен был умереть в блокаду — это было ежу ясно, я умирал, мама мне об этом рассказывала… меня спасла соседка, у которой каким-то чудом оказался бактериофаг… Мне дали ложку этого лекарства, и я выжил, как видите.

…Аркадий тоже должен был погибнуть, конечно, — весь выпуск его минометной школы был отправлен на Курскую дугу, и никого не осталось в живых. Его буквально за две недели до этих событий откомандировали в Куйбышев на курсы военных переводчиков. В той теплушке, в которой ехали отец и Аркадий, — умерли все, кроме брата. Потому что это были эвакуированные из Ленинграда, которых сначала переправили по Дороге жизни, потом от пуза накормили…

— Разве так можно?

— Нельзя, конечно, но тогда этого никто не знал. Начался кровавый понос… что-то жуткое… многие сразу умирали. Потом живых посадили в ледяной вагон и — до Вологды без остановки, без врачебного внимания…

Вот так. Аркадий был, конечно, чрезвычайно крепким молодым парнем — он выжил тогда один среди всех.

…Ленка Аркашина, безусловно, должна была погибнуть — она была дочерью нашего посольского работника в Китае, попала в самый разгар японского наступления на Шанхай, их эвакуировали оттуда на каких-то немыслимых плавсредствах, сверху бомбила авиация, как они выбрались живыми, непонятно до сих пор.

…Ада, моя жена, попала под Ставрополем под немецкую бомбежку, был сброшен десант, все беженцы рассыпались по полю… а на них пошли немецкие танки! Они остались в оккупации, помирали там от голода, и всю ее семью должны были расстрелять как семью советского офицера. Все списки были уже представлены… их спасли только партизаны.

…Как мы все уцелели? И к тому же встретились вчетвером? Это чудо.

Так что жизнь для нас — чудо четырежды, и ко всем ее радостям, трудностям и даже неприятностям мы относимся с уважением, жизнь не уважать нельзя.

…Что для меня наше писание? Разговор. Диалог. Непрекращающееся дружеское общение… Спасибо всем, кто внимателен к нам.

С Аркадием и Борисом Стругацкими беседовала Елена Михайлова

ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ[38]
(Интервью с Б. Стругацким)

— Понедельник, как известно из вашей повести, начинается в субботу. И будущее начинается сегодня. Это — дети. Какими мы их вырастим, таково и грядущее… В книгах «Полдень, XXII век», «Далекая Радуга», «Стажеры» потомки, отдаленные от нас веками, избавлены от комплекса отрицательных качеств, который в каждом из нас еще есть. Каким видится вам путь к Человеку Будущего?

— Мне кажется сейчас, что единственный путь — это создание Теории Воспитания Человека. Должна быть выработана методика превращения человеческого младенца, несмышленыша в существо, разумное в самом высоком и широком смысле этого слова. Человечество должно научиться безошибочно (или хотя бы почти безошибочно) воспитывать в своих детях доброту, честность, благородство, душевную щедрость.

Мне очень хочется верить, что такая теория и такая методика будут рано или поздно открыты и сформулированы. Ведь существует же сейчас почти безотказная методика превращения человека в боевой механизм, в машину уничтожения себе подобных. Рейнджеры. «Дикие гуси». Пресловутые «береты» всех мастей… Значит, воспитывать в человеке жестокость и беспощадность земляне уже научились. И поставили свою планету на грань гибели. Не пора ли все свои силы бросить на отыскание алгоритма воспитания Доброты и Благородства, алгоритма, столь же безотказного и эффективного?

— Допустим, выработали искомую методику, в человеке воспитали доброту, и с детства он добр. Но вот наступает переходный возраст, когда подросток хочет самоутвердиться тем или иным образом…

— Это очень важный момент. Это фундаментальная проблема, стоящая перед Теорией Воспитания. Как найти в молодом человеке его талант, его умение делать что-то лучше других. Такой талант есть в каждом здоровом человеке, если иметь в виду все возможные сферы приложения рук, ума или души. Талант портняжить или слесарить, талант решать абстрактные задачи, просто талант к сопереживанию, равно необходимый и медработникам, и писателям.

Подросток мучается, шарахается из стороны в сторону, всячески изгаляется и выдрючивается прежде всего потому, что им владеет почти инстинктивное желание самоутвердиться, выделиться, стать

самостоятельной и совершенно особенной личностью, но свой главный талант он, как правило, обнаружить в себе сам, без посторонней помощи, не способен. Вот он и ломится в открытые двери, толпой валит по проторенным дорожкам, хватает то, что ближе всего лежит: поярче и помоднее вырядиться; погромче заорать — желательно с применением технических средств; похлеще выразиться… Не в силах обнаружить в себе талант, он стремится заменить его каким-нибудь блестящим, ярко раскрашенным «протезом».

Теория Воспитания должна уметь находить талант в подростке и взращивать этот талант наиболее эффективным и естественным способом. Заметьте: не штамповать из живых детей неких биороботов с заданными функциями, а всячески способствовать тому, чтобы человек нашел себя, свое главное умение, свое призвание.

И прежде всего надо будет научиться находить в человеке талант Учителя, самый важный из талантов, ибо по-настоящему широко Теория Воспитания начнет развиваться только после появления мощного социального слоя Учителей.

— Предположим, уже существует Теория Воспитания, уже появился слой Учителей, умеющих найти в каждом только ему присущий талант. Всякий ли труд при этом найдет своих поклонников?

— Иначе говоря: как быть с неприятными, традиционно малоаппетитными профессиями? Два обстоятельства внушают определенный оптимизм в этом вопросе. Во-первых, человеческие пристрастия и склонности воистину безграничны. А во-вторых, человек всегда делает хорошо ту работу, которая у него «идет», и чем лучше у него получается, тем с большим удовольствием и самоотдачей он трудится.

Я ничего не знаю о труде ассенизаторов, но знаю кое-что о труде патологоанатомов. Знаю, что существуют знаменитые мастера и великие энтузиасты этой страшноватой даже (с точки зрения подавляющего большинства) профессии.

Источник неприятных коллизий и даже трагедий мне видится, скорее, в другом. К сожалению, частенько бывает так, что человек с особой страстью стремится применить себя как раз в той области, где никаких способностей у него нет. Таковы «графоманы» всех видов — актеры, вообразившие себя писателями, инженеры, ударившиеся вдруг в самую абстрактную математику, географы, занявшиеся изобретательством, и так далее. Имя им легион, и судьба их воистину печальна.

Это — тоже работа для Теории Воспитания: направить устремления человека в русло доступного, помочь ему установить гармонию между

желаниями и возможностями, научить его трезво взвешивать свои обстоятельства и не превращать себя в мономана.

— Утверждаться всегда сложнее, чем самоутверждаться. Себя обманывать — это и проще, и приятней. Сначала, в подростковом возрасте, ярко раскрашенными «протезами», как вы сказали. В более зрелом возрасте — наличием денег, квартиры, машины. Слово «престижность» давно приобрело отнюдь не уничижительный оттенок. Не потому ли, что это проще всего, столь обширную массу людей охватил «вещизм», страсть к накопительству?

— По этому поводу у нас в «Понедельнике…» есть очень даже неплохие слова о том, что для развития духовных способностей нужен талант, а вот для развития материальных потребностей никакого таланта не нужно, они развиваются спонтанно. Получать побольше, работая поменьше, — это, к сожалению, заложено в нашей обезьяньей природе. Вот с чем надо бороться до тех пор, пока не произойдет перестройка в сознании, и мы станем уважать человека, исходя из того, сколько он отдал, а не сколько и чего потребил.

— Пока же произошла несколько иная перестройка в сознании — человек труда в некотором роде перестал быть «маяком», если можно так выразиться. Не потому ли, что понятие «труд» было в последние годы, десятилетия затаскано в многочисленных лозунгах, которые, по строгому счету, — ни уму, ни сердцу?

— Давайте не будем легкомысленны и поверхностны, когда говорим о труде. Труд — это серьезно. И труд — это, прежде всего, тяжело. «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Десятки веков миновали, но, по существу, нечего пока нам добавить к этой суровой формуле. Легкого труда вообще не бывает, если, разумеется, человек работает добросовестно. Труд может приносить и радость, и деньги. Труд может приносить только одни деньги. Но всегда он — в поте лица, всегда изматывает — либо физически, либо духовно, либо и то и другое вместе.

Разумеется, не одна лишь необходимость снискивать себе хлеб насущный является движителем нашей трудовой деятельности.

Скажем, энтузиазм. Прекрасный, благороднейший, достойный всяческого восхищения движитель! Но он годится лишь в экстремальных ситуациях, и энергия его быстро иссякает — так уж, видимо, устроен человек.

Творческое горение — идеальный движитель, и благородный, и мощный, и долгодействующий. Он замечателен еще и тем, что творческий труд служит сам по себе наградой творцу, ибо творчество дарует высокое

наслаждение, с которым не многие, так сказать, материальные наслаждения могут сравниться. Но, к сожалению, этот движитель встречается сравнительно редко. Мы не умеем обнаруживать в людях творческую жилку, она сплошь и рядом остается втуне, да и технологический уровень нашего общества таков, что творческий труд доступен лишь десяткам из тысяч.

Вот и оказывается, что наиболее распространенным движителем в наше время являются самые прозаические деньги, с помощью которых человек приобретает необходимые ему материальные и духовные блага. И для большинства людей труд сам по себе не есть источник ни радости, ни вдохновения, ни наслаждения — это просто средство для получения материальных и духовных благ.

Поэтому не будем витать в облаках. Будем исходить из того, что еще много десятилетий главным стимулом для хорошей работы будет хорошая зарплата. И если мы хотим, чтобы из человека вырос трудяга, а не разгильдяй и нахлебник, надо создать такую ситуацию, чтобы работать было во всех отношениях выгоднее, чем не работать, чтобы хороший работник зарабатывал бы в десять, двадцать, сто раз лучше, чем плохой (а не на двадцать процентов, как сейчас), и чтобы не на словах, а на деле реализовался бы прекрасный принцип: «Любой труд хорош и почетен, если он нужен обществу». Престижна должна быть не профессия, а квалификация. Престижно быть Мастером, а в какой профессии — это не так уж и важно.

— Собственно, изменения, происходящие сегодня в нашей экономике и в повседневной жизни, как раз и направлены на это. Не так ли? Но это сегодня. А в будущем!

— Нынешнее состояние нашей экономики наводит на мысль о человеке, который живет и движется, управляясь одними лишь прямыми командами своей центральной нервной системы. Чтобы взять со стола ложку, ему приходится действовать примерно так: «Внимание! Рука у меня опущена, значит, прежде всего ее надлежит согнуть в локтевом суставе. Для этого надлежит сократить плечевую мышцу, одновременно расслабляя трехглавую мышцу… Плечевую кость закрепить! Напрячь мышцы, идущие от лопатки к плечевой кости и от грудной клетки — к лопатке! Что-то плохо дело движется… А! Кровеносная система, а ну-ка — поддать свежей крови в плечевую мышцу! Так, хорошо… Стоп-стоп-стоп! Куда тебя понесло — выше головы! Назад!..» И так далее.

Разумеется, здоровый организм действует не так. Мозг отдает только приказы самого общего вида, а все частности берут на себя вегетативная

нервная система и подкорка, действующие автоматически, без участия нашего сознания.

Точно так же разумно устроенная экономика должна представлять собою самоорганизующуюся систему, сплетение прямых и обратных связей, гигантский автоматически работающий механизм, сам себя настраивающий и отлаживающий, нацеленный на производство оптимально необходимого количества материальных и духовных благ. Каждый элемент этого механизма (будь то отдельный производственник, или отдельный завод, или отрасль) должен управляться немногими ясными принципами. Например: «Хорошая работа — это работа, удовлетворяющая некую общественную потребность». Или: «Хорошая работа очень хорошо оплачивается, плохая работа наказывается, вплоть до увольнения». И т. д.

Надо ясно отдавать себе отчет в том, что при таком порядке вещей неизбежно появление слоя людей, которые не могут (алкоголики, наркоманы) или не желают (из лени, скажем, или в силу очень малых потребностей своих) работать с полной отдачей. Они будут составлять небольшую долю самодеятельного населения, но это будут сотни и сотни тысяч. На общем социальном фоне они будут выглядеть, мягко выражаясь, странно. Это будет проблема! Однако ясно, что социальная справедливость (в современном понимании этого слова) потребует самым решительным образом реализации классического принципа: «Не работающий да не ест!»

— В повести «Хищные вещи века», написанной братьями Стругацкими более двадцати лет назад, изображено некое западное общество, в котором, судя по обилию материальных благ, экономика «работает как часы». Тем не менее общество это, мягко говоря, весьма далеко от совершенства. Маловнятные группы различного толка, признающие закон кулака, алкоголизм, наркомания…

— С детства нам объясняли, что алкоголизм и наркомания — следствие нищеты, забитости и невежества людей. Вероятно, когда-то так и было. Двадцатый век среди прочих сюрпризов и парадоксов преподнес нам и этот: уровень жизни растет во всех своих параметрах, и одновременно с ним растут алкоголизм, наркомания, лавина преступности и самоубийств. Это — явление глобальное, и единого объяснения этому пока нет. Я лично думаю, что наркомания всех видов — это действительно следствие нищеты, но не материальной, а духовной. Нищие духом люди, которых не научили духовной жизни, люди, которым нестерпимо скучно, люди, которые ничего не умеют и ничего не хотят, — вот тот слой, в котором растет и размножается вирус наркомании. А рост материального благосостояния не уменьшает, а увеличивает этот слой, и, если мы хотим

разорвать порочный круг, мы снова возвращаемся к Теории Воспитания как некой социальной панацее.

Интервью взял А. Измайлов

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
КОЕ-ЧТО О НУЛЬ-ЛИТЕРАТУРЕ[39]

Редакция фантастики издательства «Молодая гвардия»…

Остановимся. Напомним читателям, что эта редакция издает основную массу книг научной фантастики. Вероятно, что-то около восьмидесяти процентов в нашей стране. И еще напомним, что это единственная в нашей стране редакция, которая *обязана* издавать фантастику. Кстати она, эта редакция, издает ныне не только фантастику. Но речь у нас будет лишь о ее фантастической продукции.

Итак, редакция фантастики издательства «Молодая гвардия» уже имеет свою историю. К сожалению, это история блистательного взлета и катастрофического падения. Это история того, как в начале 60-х годов редакция, руководимая блестящими знатоками и профессионалами, возвела стройное здание молодой тогда советской фантастики, как в начале 70-х это здание было обращено в руины человеком безграмотным и некомпетентным, а теперь, в 80-х, представляет собой трясину, оглашаемую лишь невнятными криками унылых реликтовых существ.

В соответствии с предложением журнала мы высказываем свое личное мнение и не намерены извиняться за резкость выражений. Слишком много значит эта редакция в нашей жизни, эта альма матер наша, и не только наша, а всего поколения 60-х, тот плацдарм, с которого советская фантастика начала завоевание мирового читателя, да так и свернулась на половине дороги, сраженная ударом в спину.

И мы не намерены лишить себя удовольствия назвать конкретные имена.

Людей, которые строили здание советской фантастики в 60-х годах, зовут Сергей Жемайтис и Бела Клюева. Ныне они, конечно, на пенсии.

Человека, который обратил это здание в руины, зовут Юрий Медведев. Ныне он значительное лицо в редакции журнала «Москва».

А человека, сами руины эти превратившего в болото, зовут Владимир Щербаков. Он и сейчас возглавляет злосчастную редакцию.

За последние пятнадцать лет редакция:

— выпустила собрание сочинений И. А. Ефремова;

— опубликовала дюжину книг апробированных авторов;

— открыла одно новое имя.

Всё.

За полтора десятка лет своей деятельности редакция не сделала больше ничего такого, что можно было бы поставить ей в плюс.

А ведь издательский конвейер налажен и работает исправно. Общая продукция редакции — это многие десятки книг. Романы. Повести. Персональные сборники. Сборники-ежегодники «Фантастика». Переиздания. Целая библиотека, целая картотека авторов.

Так вот все это изобилие известный критик, блестящий знаток советской фантастики, человек отменного литературного вкуса Всеволод Ревич чрезвычайно удачно назвал «нуль-литературой» (см. «Юность», N 9, 86). Это литература, которая вызывает неудержимое желание высказаться, не давая в то же время никакого материала для высказывания. Клокочущая пустота.

Нельзя сказать, что нуль-произведения не содержат мыслей. Но это мысли заимствованные, старые, жеваные-пережеваные, раздражающе банальные, либо до уныния нелепые.

Нельзя сказать, что нуль-произведение лишено героев. Но герои эти плакатные, неправдоподобные, это кое-как размалеванные марионетки, переходящие из сюжета в сюжет, их нельзя даже назвать банальными, ибо банальность все же предполагает какой-то более или менее приличный литературный прототип.

Нельзя сказать, что нуль-произведение написано плохим языком. Его язык вообще не имеет отношения к художественной литературе. Это язык посредственных школьных сочинений. Или дурной публицистики. Или вошедшего в раж, наслаждающегося графомана.

Нельзя сказать…

Ничего нельзя сказать. Мы снимаем шляпу перед В. Ревичем, который нашел в себе силы и энтузиазм подлинного профессионала, чтобы проштудировать всю эту гору макулатуры и хоть как-то проанализировать прочитанное.

Ознакомившись с нуль-произведением, испытываешь желание говорить и даже кричать.

О загубленных деревьях, которые превратили в бумагу, не подозревая о том, как именно эта бумага будет использована.

О типографских мощностях, которых так всегда не хватает, когда надо напечатать что-нибудь достойное.

О несчастных любителях фантастики, в особенности — любителях

неискушенных, для которых эта нуль-литература может стать нормативом и определит их литературный вкус в дальнейшем.

О десятках молодых, действительно талантливых писателей-фантастов, отвергнутых редакцией В. Щербакова для того, чтобы толпа нуль-литераторов подменила собой в глазах массового читателя и поколение 70-х, и поколение 80-х.

И, наконец, о том, какой страшный удар по престижу нашей фантастики нанес этот поток псевдолитературы в глазах каждого мало-мальски квалифицированного читателя — в первую очередь того, кто к фантастике либо равнодушен, либо относится скептически. Разве не клокочущую пустоту нуль-литературы имела в виду та московская учительница, которая объявила своему классу: «Фантастику пишут жулики, а читают идиоты»?

Не избежать нам риторических вопросов: как это могло случиться? куда смотрело начальство? где была литературно-критическая общественность? каким дурным волшебством на глазах у всех — у читателей, у писателей, у начальства — третьестепенный литератор В. Щербаков ухитрился наладить издательский конвейер таким образом, чтобы сходили с этого конвейера только произведения третьестепенные или лежащие вообще за пределами оценок. Ведь вся нуль-литература существует в строгих и жестких рамках одного третьестепенного литературного вкуса, если, конечно, можно так назвать эту вопиющую, воинствующую безвкусицу.

Теперь уже поздно оправдываться и говорить, что литературно-критическая общественность вовсе не молчала, что писались и ядовитые рецензии, и письма в самые высокие инстанции, и гневные речи произносились с трибун (не слишком, правда, высоких, на высокие нас не пускали)… Поздно. Спишем все неудачи этих выступлений, торжество нуль-фантастики за счет ныне окончательно уже осужденных застойных явлений недавнего нашего прошлого.

Сейчас все и всюду перестраиваются. Самое время перестраиваться и издательской политике в области фантастики. Это лишь малый участок огромной арены общественной и государственной жизни. Но нам этот участок дорог, и мы, как и раньше, чувствуем определенную ответственность за положение дел в этом маленьком вопросе. Как-никак, а из поколения 60-х мы едва ли не самые старшие.

Оптимально работающая редакция фантастики издательства «Молодая гвардия» видится нам примерно такой.

Во главе редакции стоит человек с апробированным литературным

вкусом, знающий, понимающий и принимающий фантастику во всех ее ипостасях — от Брэдбери до Ж. Верна, от Булгакова до Ефремова, от Чапека до Лема.

Сотрудники редакции обладают хотя бы минимумом интеллигентности и литературной грамотности. Желательно, чтобы они были специализированы по основным направлениям современной фантастики (фэнтези, социально-философская фантастика, собственно научная фантастика и т. д.).

Чрезвычайно важно, чтобы редакционная коллегия была составлена из самых видных, опытных, широко мыслящих писателей и критиков, профессионально и успешно работающих в области фантастики. Они должны быть истинным штабом редакции, первыми помощниками заведующего, его ангелами-хранителями, способными предостеречь его от опрометчивых действий. Авторитет членов редколлегии должен быть высок и в глазах заведующего редакцией, и в глазах любого автора, какого бы высокого мнения он о себе не был. И никаких «почетных» членов! Редколлегия должна состоять из людей, готовых по первой просьбе редакции читать рукописи и высказывать свое квалифицированное мнение о них — желательно в письменном виде. Она же должна принимать самое активное участие в составлении тематических планов и стоять на страже интересов редакции и фантастики в случае конфликта с руководством издательства.

Чрезвычайно важным звеном работы редакции является корпус рецензентов. Никаких случайных людей! Никаких «дать человеку подзаработать»! Рецензент должен быть опытным литератором-профессионалом, не обязательно в области фантастики, но относящимся к фантастике как минимум лояльно. Он должен обладать достаточным авторитетом в глазах как редколлегии, так и рецензируемого автора. Редколлегия обязана беспощадно вычеркивать из списка рецензентов людей, хоть раз скомпрометировавших себя халтурой или сговором с рецензируемым.

(Мы испытываем чувство определенной неловкости, ибо все, предлагаемое нами, — это азы, тот минимум миниморум необходимых условий, без которых нормальное течение редакционной деятельности просто невозможно. Что делать! Реальность такова, что теперь приходится начинать с азов.) Редакция фантастики должна быть организмом открытым. Никакой келейности. Никакой кулуарности. Никаких интриг и редакционных тайн. Редакция, помимо административной подчиненности руководству издательства, обязана отчитываться и перед Советом по

фантастике Союза писателей СССР, объединяющим в себе наиболее достойных и авторитетных писателей и критиков со всех концов страны. Ежегодное обсуждение редакционных планов на Совете должно быть нормой и традицией. Мнение членов бюро Совета по частным вопросам должно учитываться как заведующим редакцией, так и редколлегией.

Наконец, о редакционном портфеле.

Традиционными поставщиками литературной продукции по-прежнему оста— ются апробированные авторы и в какой-то, достаточно малой степени, самотек. Однако редакция должна на пятьдесят процентов ориентироваться на появившиеся сравнительно недавно новые, богатые, мощные источники рукописей. Мы имеем в виду постоянно действующие семинары молодых литераторов-фантастов Ленинграда и Москвы, а также ежегодные всесоюзные семинары молодых фантастов в Малеевке и в Дубултах. Редакция (и редколлегия, разумеется) обязана внимательно следить также и за региональными публикациями, «вылавливая» наиболее талантливых авторов периферии. Регулярно черпая из этих источников, редакция, во-первых, одарит читателя самыми свежими новинками в области фантастики, то есть будет идти в ногу со временем, а во-вторых, не на словах, а на деле поможет подняться и расцвести новой поросли отечественных авторов.

Еще раз повторяем. Все вышеизложенное — азы. Однако же, как известно, все новое есть только основательно забытое старое. Давайте вспоминать и восстанавливать. Только искоренение некомпетентности и келейности, привлечение к издательскому делу самого широкого круга широко (и по-разному) мыслящих профессионалов-литераторов, самая щедрая гласность хотя бы в пределах писательской общественности, — вот гарантия того, что вкусовщина и групповщина будут ликвидированы и на месте нынешнего болота в «Молодой гвардии» вновь выстроится сверкающее здание советской фантастики.

Репино

Аркадий Стругацкий
КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ[40]

Судьба Андрея Тарковского сложилась непросто, но был ли в истории хоть один истинный талант с простой и спокойной судьбой?

Тот, кто знал его мало-мальски близко, кому посчастливилось работать с ним плечом к плечу, тот имел возможность своими глазами наблюдать не

только творческие его метания и муки, но и гнев, отчаяние, бешенство, когда в стремительном разбеге своего дела он вдруг наталкивался на непонимание, злобное подсиживание, мелочные препоны со стороны людей, призванных по положению своему стараться понять, помогать, поддерживать.

Впрочем, по-человечески можно было понять и их. Он был неистов, искусство было для него превыше всего, он не щадил ничьих самолюбий и не таил своих антипатий. И часто срывался. Иногда срывался по-крупному. Этого ему не прощали. Э!.. Никому этого не прощали и не прощают, будь ты хоть семи пядей во лбу. Этого он не понимал и понимать не желал, потому что знал себе цену и слишком хорошо знал цену тем, с кем схватывался.

Телефонный звонок: Андрей Тарковский умер. Жаль Андрея Тарковского.

Что ж жалеть? Он теперь там, где нет ни терзаний, ни потерь. Где уже не настигнет его «судорога творца», как он когда-то выразился.

А вот нас жаль. Нас, оставшихся в этом мире без него. В мире, который без него стал беднее.

…Это случилось в июле семьдесят восьмого, по-моему, года. Андрей Тарковский снимал под Таллинном фильм «Сталкер», и я как один из сценаристов был при нем. Андрей возвращался со съемочной площадки измотанный и осунувшийся, и мы садились за сценарий. Вычеркивались оказавшиеся ненужными эпизоды и замышлялись нужные. Выбрасывались ставшие несущественными диалоги и планировались необходимые. Порой мы просиживали в спорах и попытках столковаться до поздней ночи, а когда я поутру вставал, Андрей уже работал на съемочной площадке.

Обратите внимание: до того трагического июля ни одного отснятого кадра Андрей еще не видел. Ждал своей очереди на проявочную машину на «Мосфильме». Помню, я поражался и даже пугался: мне казалось, что работа у него идет вслепую и что это непременно обернется какими-то неприятностями. Так оно и вышло, но только беда грянула с совершенно неожиданной стороны.

При обработке отснятой пленки проявочная машина дала сбой, и пленка сильно пострадала. Кажется, пострадали тогда и отснятые материалы «Сибириады» Михалкова-Кончаловского. Ну, разумеется, скандал. Ну, заместитель генерального по технической части впал в дипломатический инфаркт (или инсульт, или ишиас). Ну, надавали по ушам разнообразным стрелочникам.

Михалков-Кончаловский отделался потерями чисто моральными. То

ли повреждения у него оказались незначительными, то ли ему быстренько компенсировали материальные потери: пленку, бюджет и прочее, вплоть до сроков. Не помню точно. Да и не до того мне было.

В скверном и практически безвыходном положении оказался Андрей. Как писатель, я отлично понимал его состояние, это ведь все равно (если не страшнее) что утрата писателем единственной рукописи его нового произведения, да так, что и черновиков бы не осталось. Но обстоятельства сложились много хуже. У Андрея погибла половина отпущенной ему пленки и безвозвратно сгинули две трети отпущенных на фильм денег. В Госкино вежливо, но категорически отказались компенсировать ему эти потери. Ему вкрадчиво предложили посчитать загубленную пленку за нормально проявленную и продолжать съемку, а когда он наотрез отказался, дали понять, что готовы все потери щедрой рукой списать по параграфу о творческой неудаче, если, конечно, он плюнет на фильм и займется чем-нибудь другим.

Это были поистине тяжелые дни. Андрей ходил мрачный, как туча. Съемочная группа оцепенела от ужаса. (Кстати, никто в группе и не подумал дезертировать, никто, кроме любимого человека Андрея, оператора Георгия Рерберга, который немедленно сел в машину и навсегда удалился в неизвестном направлении.) Нечего и говорить, я тоже был в отчаянии, поскольку самонадеянно приписывал беду всегдашней невезучести братьев Стругацких. В один из тех дней я прямо сказал Андрею об этом, он яростно и нетерпеливо от меня отмахнулся.

И вдруг… С Андреем Тарковским многое получалось «вдруг».

Недели через полторы этого тягостного состояния Андрей явился мне просветленным. Он шел как по облаку. Он сиял. Честное слово, я даже испугался, когда увидел его. А он вошел в комнату, приклеился к стене ногами, спиной и затылком — это только он умел, я как-то попробовал, но ничего у меня не получилось, — вперил взор в потолок и осведомился вкрадчивым голосом:

— Скажи, Аркадий, а тебе не надоело переписывать свой «Пикник» в десятый раз?

— Вообще-то надоело, — осторожно не соврал я.

— Ага, — сказал он и благосклонно покивал. — Ну, а что ты скажешь, если мы сделаем «Сталкер» не односерийным, а двухсерийным?

Я не сразу сообразил, в чем дело. А дело было яснее ясного. Под вторую серию дадут и сроки, и деньги, и пленку. Приплюсовав этот комплект к тому, что сохранилось от первоначального варианта, можно было и выкрутиться. И еще одно немаловажное обстоятельство: к тому

времени я уже интуитивно ощущал то, что Андрею как опытному профессионалу было очевидно, — в рамках одной серии замыслам его, изменившимся и выросшим в процессе работы, стало очень и очень тесно.

— А разрешат? — чуть ли не шепотом спросил я.

Андрей только глянул на меня и отвернулся. Позже я узнал: еще несколько дней назад послал он в инстанции по этому поводу запрос (или требование?), и там, поеживаясь и скрипя зубами, дали согласие.

— Значит, так, — произнес он уже деловито. — Поезжай в Ленинград к своему Борису, и чтобы через десять дней у меня был новый сценарий. На две серии. Антураж не расписывайте. Только диалоги и краткие репризы. И самое главное: Сталкер должен быть совершенно другим.

— Каким же? — опешил я.

— Откуда мне знать. Но чтобы этого вашего бандита в сценарии и духу не было.

Я вздохнул, помнится. А что было делать? Не знаю, как он работал с другими своими сценаристами, а у нас сложилось так. Приношу новый эпизод. Вчера только его обговаривали. «Не годится. Переделай». — «Да ты скажи, что переделать, что убавить, что прибавить!» — «Не знаю. Ты сценарист, а не я. Вот и переделывай». Переделываю. Пытаюсь впасть в тон, в замысел, как я его понимаю… «Так еще хуже. Переделай». Вздыхаю, плетусь к машинке. «Ага. Это уже что-то. Но еще не то. Кажется, вот в этой фразе у тебя прорвалось. Попробуй развить». Я тупо всматриваюсь в «эту фразу». Фраза как фраза. По-моему, совершенно случайная. Мог ее и не написать. Но… Переделываю. Долго читает и перечитывает, топорщит усы. Затем говорит нерешительно: «Н-ну… Ладно, пока сойдет. Есть от чего оттолкнуться, по крайней мере… А теперь перепиши этот диалог. Он у меня как кость в горле. Приведи в соответствие с эпизодом до и эпизодом после». — «Да разве он не в соответствии?» — «Нет». — «И что тебе в нем не нравится?» — «Не знаю. Переделай, чтобы завтра к вечеру было готово». Вот так мы и работали над сценарием, давно уже принятым и утвержденным во всех инстанциях.

— Так каким же должен быть в новом сценарии Сталкер?

— Не знаю. Сценарист ты, а не я.

Понятно. То есть, конечно, ничего не было понятно, а просто уже привычно. И вообще еще до начала работы нам с братом было ясно: если Андрей Тарковский даже ошибается, то и ошибки его гениальны и стоят дюжины правильных решений обычных режиссеров.

По какому-то наитию я спросил:

— Слушай, Андрюша, а зачем тебе в фильме фантастика? Может,

повыбросить ее к черту?

Он ухмыльнулся — ну чистый кот, слопавший хозяйского попугая.

— Вот! Это ты сам предлагаешь! Не я! Я этого давно хочу, только боялся вам предложить, как бы не обиделись…

Короче говоря, на следующее утро я вылетел в Ленинград. Как там у нас с Борисом было, я писать здесь не стану, потому что пишу не о нас, а об Андрее Тарковском. Мы написали не фантастический сценарий, а сценарий-притчу (если под притчей понимать некий анекдот, действующие лица которого являются для данной эпохи типичными носителями типичных идей и поведения). В Зону за исполнением заветных своих желаний идут модный Писатель и значительный Ученый, а ведет их Апостол нового вероучения, своего рода идеолог.

Я вернулся в Таллинн ровно через десять дней. Андрей встретил меня на аэродроме. Мы обнялись. Он спросил: «Привез?» Я кивнул, стараясь не трястись. Дома он взял у меня рукопись, молча удалился в другую комнату и плотно закрыл за собой дверь. Жены принялись потчевать меня, выставили коньяк (был как раз день моего рождения). Нечего и говорить, ни у кого кусок в горло не лез.

Прошло какое-то время. Наверное, около часа.

Дверь отворилась, вышел Андрей. Лицо его ничего не выражало, только усы топорщились, как всегда, когда он был погружен в свои мысли.

Он рассеянно оглядел нас, подошел к столу, подцепил вилкой кусочек какой-то снеди, сунул в рот и пожевал. Затем сказал, глядя поверх наших голов:

— Первый раз в жизни у меня есть *мой* сценарий.

Вечером 3 января восьмидесятого года мы с Андреем Тарковским выступали перед представителями кинопроката. В огромном зале собрались люди, которым доверено было определить, как отнесутся к «Сталкеру» зрители и соответственно сколько экземпляров пленки выпустить в свет.

Я пришел к обсуждению. Фильм уже посмотрели. Выступил Андрей, объяснил фильм, рассказал о своей над ним работе, ответил на вопросы. Вопросы показались мне странными. Вдруг в зале прозвучал сочный бас: «Да кто эту белиберду смотреть будет?» Раздался одобрительный смех. Андрей побелел, пальцы его сжались в кулаки. Стараясь не смотреть на него, я попросил слова. Но они уже уходили. Черт знает, куда они уходили, эти гении кинопроката. В пивную? В писсуар? В никуда? Я говорил и видел, как они медленно поворачиваются затылками и медленно, громко переговариваясь и пересмеиваясь, удаляются проходами между кресел.

Разумеется, затылки были разные, но мне они казались одинаково жирными и необъятными, и на каждом светилось знаменитое сытое «Не нада!». Такого я еще никогда не переживал.

Помнится, мы сошли с эстрады на лестничную площадку. Андрей скрипел зубами. У меня тряслись руки, и я с трудом поднес спичку к сигарете.

Несколько мужчин и женщин остановились возле нас. Беспокойно оглядываясь, они бормотали вполголоса:

— Вы не думайте… Мы не все такие… Мы понимаем…

На четверть миллиарда только советских зрителей кинопрокат выпустил 196 экземпляров фильма.

На всю Москву выделили три копии.

За первые же месяцы в Москве «Сталкер» посмотрели два миллиона зрителей.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ТРИ КИТА[41]

Что внушает оптимизм? Вопрос для целой книги. Скажем только, что все решится в ближайшие год-два. Если перестройка не изменит своему поступательному движению, то хорошо будет не только в недалеком будущем, но и в следующем веке. Фантазии вообще больше присущи молодым. Нас же порой «вынуждает» на то профессия. Хотя мы всегда считали, что прогнозирование не есть задача фантастики и если фантастам что-то удавалось угадать, то это, как правило, случайность. О будущем, особенно в наше время, нужно не фантазировать — его надо рассчитывать. Угадать его просто невозможно. Реальность окажется все равно невероятнее.

Разум и нравственность отвоевывают позицию за позицией: недавние события — подписание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — мощное тому подтверждение.

Мы все успешно учимся говорить и слышать правду, хорошо бы на основе этого энергичнее переходить к делу, действию, поступкам. В искусстве пока еще положение весьма типичное. Есть творцы, а есть потребители. Творцы, соответственно, творят, но вот потребители не всегда получают их произведения. Сложности существуют с передаточным механизмом. У литераторов — это издатели, а в кино — кинофикаторы. Надо, наверное, поменять механизм.

Мы верим в фантастические возможности человека. К тому же мы оба большие оптимисты. А поскольку пессимисты в наше время не доживают до старости, то из нас самый большой оптимист — Аркадий, как старший брат.

Хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, что всегда необходимо. А еще радостной и счастливой личной жизни, которая покоится на «трех китах» — дружбе, любви и работе.

Что внушает пессимизм? Иногда ряды противников перестройки, вольных или, что еще хуже, невольных, кажутся несокрушимыми. Ужасаешься при мысли о том, какую же работу надо сделать, чтобы перестройка давала свои плоды. Огромные массы людей еще остаются на своих позициях, как будто ждут команду: «Все назад». Вот это пусть останется в области их фантазий.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ[42]
(Беседа корреспондента «ЛО» Евг. Канчукова с Аркадием и Борисом Стругацкими)

— Опять беседа, — насмешливо произнес Борис.

— Если вы настаиваете… — пожал плечами Аркадий.

Понять их можно. За три десятилетия ни одного по-настоящему серьезного разговора о прозе братьев Стругацких, кажется, так и не было. Не без причины, конечно. Корни их прозы прочно сидят в социально-политической атмосфере пятидесятых-шестидесятых, а о ней еще и сегодня до конца честного разговора не состоялось…

Стругацкие равнодушно рассматривали меня. Мне же, признаться, очень хотелось воспользоваться даже формальным разрешением на беседу. Договорились, что она будет в этот раз не совсем обычная. Беседа — движение сквозь жизнь братьев Стругацких. Беседа-воспоминание, беседа-размышление. Может быть, даже беседа-итог. Все-таки три десятилетия в литературе — это, согласимся, *дата*. Она требует осмысления.

КОРР. Осознается ли сделанное вами за три десятилетия как творческий путь?

А. С. Это очень трудный вопрос, и, кажется, ответа по существу он не имеет. Предположим, что я спрошу вас: вы прожили жизнь, сначала вы были младенцем, потом стали юношей, потом у вас выросла борода, вы народили детей, внуков — закономерно это или нет?.. Просто течение.

Б. С. В последние годы мы частенько вспоминаем, как это было, с чего

начинали, но вот так громко сказать: «Осмыслять пройденный путь»?.. Пожалуй, я тоже не решусь на это. Хотя, если мы все же думаем на похожую тему, размышления наши носят характер огорчительный. Обычно мы думаем примерно так: вот тридцать лет мы пытаемся доказать, что фантастика является равноправным видом литературы… Это ведь была идея, с которой мы начали. Совсем еще зеленые юнцы. Тридцать лет мы пытаемся доказать это своей работой, а в последнее время еще и помогая другим — молодым, талантливым, вставляя их имена в собственные статьи, подписывая всевозможные письма в инстанции. Что изменилось? Когда мы начинали, практически не было издательских работников, которые бы разделяли нашу позицию. Для них фантастика была разновидностью научно-популярной детской литературы. Сейчас положение несколько иное. Наверное, четверть издательских работников уже так не думает… Но три четверти — продолжают думать так же. Все, что сделало в этом смысле поколение шестидесятых, свелось к тому, что мы насторожили издательские круги. То есть они теперь уже относятся к фантастике с интересом, но настороженно. Читать — читают, но публиковать не очень стремятся. Многие из них даже признают, что положение такое — ненормально, однако легче от этого не стало.

А. С. Существует знаменитое высказывание человека, ныне покойного… Он когда-то очень точно, по-своему, сказал, дав лозунг целой группе издателей и работников кино. Фантастика, сказал он, — это либо антисоветчина, либо дерьмо! Касалось это главным образом кино, поскольку сам он был киношником, но фразу охотно подхватили и издательские работники. И как-то, действительно, насторожились.

КОРР. Да, но попутно, выводя фантастику из резервации, вы ведь решали вопросы самостановления, самоосознания. Насколько зрячим в этом смысле было движение Стругацких?

Б. С. Если вообще говорить на эту тему, то я вам могу сказать только одно: мы старались, чтобы каждая новая наша повесть была непохожа на предыдущие…

КОРР. Внешне или внутренне?

Б. С. Чем более непохожа, тем лучше. Между собой мы могли рассуждать на самые разнообразные темы, мы могли смотреть на мир с самых разных точек зрения, в голову нам могли приходить самые непохожие друг на друга фантастические ситуации, но когда мы наконец останавливались на чем-то и садились писать, главным критерием — главным! — была непохожесть того, что пишется сейчас, на все предыдущее. И чем больше была эта непохожесть, тем с большей охотой

мы садились работать.

А. С. Понимаете, очень страшно написать скучную книгу. Наш любимый Уэллс в конце своего жизненного пути, в последнее двадцатилетие своей писательской деятельности, стал писать страшно скучные книги, хотя и гораздо более глубокие, чем те, что принесли ему известность… У него есть роман, показывающий английского политикана-мещанина, «Бэлпингтон Блэпский». Роман скучнейший. И время от времени, когда у нас что-нибудь не ладится, мы с братом, показывая друг другу палец, говорим: долой бэлпингтонизм-блэпскизм! И начинаем сначала. Читатель должен глотать!..

Б. С. И чтоб нам самим-то при этом интересно было писать!

А. С. Ведь это, может быть, самое тяжелое дело: написать интересно. У нас так долго корили писателей за «дешевую развлекательность», что, кажется, почти совсем отучили их писать интересно.

КОРР. Но если взять книги, ставшие ключевыми в вашем собственном творчестве, — такие ведь есть, правда?..

А. С. Как кажется, да…

КОРР. Это книги, над которым вам было интереснее всего работать?

А. С. Прежде всего это книги, которые возникали неожиданно для нас самих. «Улитка на склоне», «Гадкие лебеди», «Второе нашествие марсиан»… Пожалуй, еще «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер», возникшие, кстати, совершенно независимо от «Обитаемого острова», с которым они образуют трилогию и который когда-то навлек на нас много бед… Наконец, это та книга, которую мы сейчас заканчиваем…

Б. С. Я бы со своей стороны назвал переломными книгами те, которые писались особенно трудно, с которыми было связано ощущение кризиса — тупикового, безысходного. В нашей жизни было несколько таких книг. Я сейчас попытаюсь их вспомнить, как бы забыв сказанное Аркадием Натановичем…

Первое, что мне приходит в голову, — это «Попытка к бегству». Мы писали ее уже будучи серьезными, во всяком случае, профессиональными авторами. За спиной уже было несколько больших повестей. И когда мы задумали очередную — «Попытка к бегству», нам казалось, что мы шутя справимся с поставленной задачей. И вот тут мы впервые испытали муки творческого кризиса. Мы вдруг поняли, что задуманное писать нам неинтересно. Это был очень тяжелый момент. Мы тогда помучились, однако в результате родилось произведение, в известном смысле новое не только для нас лично. В нем мы впервые почувствовали творческую свободу, впервые поняли, что, как мы считаем нужным, так и надо писать.

Нет и не должно быть никаких авторитетов, никаких стандартов, в которые нужно вписаться, нет никаких ссылок и отсылок — МЫ хозяева в рукописи. Кроме того, как вы помните, в «Попытке к бегству» мы применили прием, который до тех пор, по крайней мере в советской фантастике, не применялся. Мы безо всяких объяснений взяли и перебросили человека из прошлого в будущее. Без всяких объяснений! Человек нового времени, наверное, не поймет, какой это был революционный шаг. Сейчас кажется нормальным, дескать, понадобилось авторам, они и перебросили, а тогда такая постановка вопроса выглядела дикой — что значит понадобилось авторам?! А что все-таки произошло?! Как оказался этот человек в будущем? Мы, конечно, понимаем, что это фантастика, но хоть какое-то объяснение должно же быть… Хоть какой-нибудь тоннельный переход или еще что-нибудь. Ну, придумайте что-нибудь!..

А. С. Кроме того, я бы добавил, что «Попытка к бегству», пожалуй, еще и первая наша книга, которая с годами не только не утратила интерес для нас самих, но даже прибавила его в чем-то. Дело в том, что в общем это книга о столкновениях прошлого с настоящим, настоящего с будущим… Столкновениях мировоззрений! Причем не полярных (фашизм — коммунизм и т. д.), а характерных положительных мировоззрений, только видоизмененных в зависимости от условий их формирования и развития. Страшно интересная вещь!

Б. С. Да, а второй тупик у нас случился через несколько лет с «Улиткой на склоне». Была задумана и даже написана одна повесть, но она нас не совсем устраивала. Мы долго ломали голову и наконец придумали повесть, которая тоже в значительной степени была повестью нового типа. Причем не только формально — я имею в виду вкладывание одной части в другую — но и по сути, через стыковку двух совершенно разных миров. Ведь мир Управления и мир Леса — это диаметрально противоположные миры… Различны даже методики их воплощения. Если мир Леса мог быть написан ранними Стругацкими, то мир Управления уже ранними Стругацкими написан быть не мог, потому что это мир полубредовый… Нас тогда все время обвиняли в том, что мы подражаем Кафке. Наверное, это имело место, но главным источником здесь был, конечно, бюрократический мир, описанный Салтыковым-Щедриным. Оттуда все и идет. Когда Салтыков-Щедрин пишет о бюрократии, у него появляется такая сумасшедшинка… Каждый человек, который любит и знает Салтыкова-Щедрина, на это внимание обращал. То есть вроде бы все совершенно реально… Ходят действительные статские советники, ходят помпадуры и помпадурши, и

вдруг возникает спектр горохового пальто, возникает, выкрикивает что-то… и исчезает… Вот так мы нащупали новый и неожиданный для себя путь. Наконец, и я здесь вполне солидарен с Аркадием Натановичем, третьим переломным моментом в нашей биографии была повесть «Жук в муравейнике». Она произвела даже своеобразный бум среди любителей фантастики. Проходили целые конференции, посвященные разбору того, что произошло, что описано в этой повести, кто прав, кто виноват там… Правильно ли поступил Сикорски, застрелив Льва Абалкина? Был ли, в свою очередь, Лев Абалкин роботом Странников? Кто они такие — Странники? Наконец, выступают ли в данном случае Стругацкие как глухие реакционеры, призывающие стрелять во все неожиданное, непривычное, или же, наоборот, занимают высокогуманистическую позицию? Мы были просто потрясены, получив несколько отчетов, протоколов подобных конференций. Причем вот что любопытно: очень большой процент читателей воспринимает эту повесть как детектив. И совершенно законно говорят, что это плохой детектив. Там ничего не объяснено. Кто убийца? Где труп? Как это так можно такие детективы писать?!

Но дело в том, что «Жук» не детектив. Это повесть о выборе. И выбор этот читатель должен делать вполне серьезно и вместе с героем. Мы построили повесть таким образом, чтобы в каждый момент времени читатель знал ровно столько же, сколько знает герой. И вот на таком основании изволь делать выбор. Поэтому многое в повести так и осталось нераскрытым, — Максим, герой ее, просто не узнал этого по ходу дела.

А. С. Мы когда-то подсчитали, что внимательный читатель по ходу повести наберет к нам одиннадцать вопросов. Ответов на них в повести нет. Их не может знать ни читатель, ни Максим. Нам хотелось заставить читателя таким образом сделать нравственный выбор.

Б. С. Все дело в том, что жизнь каждого реального человека представляет собой непрерывный выбор в условиях нехватки информации. Книги, как правило, дают нам несколько облегченную ситуацию. Если в книге читателя ставят перед проблемой выбора, то в этот момент читатель знает больше, чем герой. Он имеет информацию достаточную для верного выбора. Так устроена литература. Читатель как бы проверяет героя… Возьмите любое классическое произведение… Да хоть бы судьбу Раскольникова. Мы знаем о нем больше, чем кто бы то ни было из героев. Мы знаем мысли Раскольникова, мы знаем все обстоятельства убийства, поэтому и все моральные и нравственные проблемы, связанные с Раскольниковым, мы имеем возможность решать на основании полной

информации. В то время, как если б мы встали на точку зрения, скажем, Порфирия Петровича, мы сразу бы обрубили для себя огромный кусок информации. И здесь именно Порфирий Петрович, делающий свой выбор относительно Раскольникова, находится в реалистической ситуации. Он знает только часть из того, что произошло. О чем-то еще догадывается, а о чем-то и догадываться не может.

«Жук» — книжка, оказавшаяся совершенно новой для нас как раз в смысле установления равноправия между читателем и героем. Впрочем, это только наше мнение, не знаю, разделят ли его читатели. Для нас же, повторюсь, это одна из самых главных, поворотных вещей.

КОРР. Были ли у вас книги, от которых сейчас вы хотели бы отказаться?

А. С. Нет, отказываться не от чего. Наша биография сложилась в этом смысле очень счастливо. Вилять не пришлось. Устояли. И даже «Страна багровых туч» — вещь, с нашей точки зрения, очень беспомощная… но даже в ней *отказываться* не от чего.

Б. С. Я тоже по-настоящему не люблю одну нашу книгу, самую первую, «Страну багровых туч». Для своего времени — это было явление, наверное, даже прогрессивное. Но сейчас она мне кажется безнадежно устаревшей. Тогда, молодые-нескромные, мы уже ставили перед собой задачу создать новую фантастику. Мы твердо понимали, что прежняя — барахло. Все нужно делать иначе.

Мало кому известно, что «Страна» появилась в результате пари, которое мы заключили с Еленой Ильиничной — женой Аркадия Натановича. Она возмутилась однажды: что вы все долбите: новая фантастика, новая фантастика! Сядьте и напишите! Мы сели и написали. Это была попытка написать новую фантастику старыми средствами. Фантастике не хватало достоверности. Даже блистательная «Туманность Андромеды» — она ведь недостоверна по сути. Она придумана. Достоверность по тем временам представлялась нам прежде всего отображением беспощадности, жестокости прогресса.

Многие наши представления с той поры действительно переменились, но новое выросло из старого, и отказываться от старого было бы неблагодарно.

КОРР. Во что верят братья Стругацкие?

Б. С. Это очень непростой вопрос… Братья Стругацкие, наверное, во что-то верят… потому что человек устроен так, что он без веры существовать не может. Если человек думает, значит, он уже верит, хотя бы потому, что думать, размышлять можно только на основании неких аксиом,

а аксиома это всегда вера — утверждение, принимаемое без доказательств.

Но вот во что именно верят братья Стругацкие, сказать очень трудно…

Мы неоднократно беседовали о том, что человеку, который верит в Бога и в соответствующие догматы, скажем, христианской религии, в рай, в ангелов, в дьявола, в ад, — такому человеку жить легче, чем тому, который базируется на строго материалистических представлениях о мире. Потому что, раз мы верим в Бога, значит, мы верим а чью-то защиту, значит, мы предоставлены не самим себе и можем на кого-то надеяться. Если мы верим в рай — это значит, мы верим в вечность, это значит, мы не боимся смерти или, скажем, боимся меньше, чем остальные люди.

Рассуждая о таких вещах, мы неоднократно сетовали друг другу на то, что мы лишены всего этого. Как бы хотелось верить в личное бессмертие. Как бы хотелось верить в переселение душ. Насколько проще и легче, наверное, стало бы жить. Но этой веры нет. Увы. Мы вынуждены жить, прекрасно понимая, что мир, Вселенная, окружающая нас, — нечто равнодушное к человеку. Надеяться не на кого. Кроме себе подобных, никто не поможет. А себе подобные? Может быть, некоторые из них более могущественны, чем мы, но не намного. Так что нас окружает холодный и неприветливый мир. От этого никуда не уйдешь. И в будущем — соответственно: старость, смерть — это все очень неприятные вещи.

Но как-то с этим надо жить. Как-то к этому надо приспосабливаться, потому что веры нет…

КОРР. И все-таки вы живете, вы мыслите…

Б. С. Я понимаю, что напрашивается вопрос, а во что же конкретно вы верите? Хочется ответить каким-то набором банальностей, которые на самом деле совсем не банальности. Вера в дружбу, например, вера в любовь, в возможности человечества как вида. Это ведь все где-то присутствует, хотя, когда произносишь, звучит затерто.

КОРР. Стругацкие ранних книг и книг последних лет, мне кажется, верят в разные вещи. Во многом они просто антиподы друг другу. Герой их ранних книг — коллективист, герой книг последних лет — индивидуалист, одиночка. Стилистика их ранних книг, способ изложения материала — крайне эмоциональны, а в книгах последних лет они подчеркнуто суховаты, последовательны, логичны. Не случайно, скажем, в последнее время появился и был воплощен ими замысел романа, состоящего из одних документов.

Б. С. Я понял, что вы хотите сказать и почему этому вопросу предшествовал вопрос о вере Стругацких… О Стругацких ранних произведений можно было сказать, что это люди, которые свято и

безусловно верят в близкое коммунистическое будущее…

КОРР. Настолько, что как бы даже живут уже в нем…

Б. С. Стругацкие более поздние, получается, как бы отступились от этой веры и так же, как их герой, уже больше думают о себе… Это ведь и так и не так. Мы всегда исходили из того, что человек — это животное, но разумное. Если оно разумное, значит, оно должно разбираться в том, что хорошо, а что плохо. И именно в связи с разумностью такого рода в мире появляется все больше доброго и хорошего…

КОРР. Простите, но «разумный» в нашем разговоре — это человек гармонии эмоционального и рационального, или просто тот, у кого хорошо устроены мозги?

Б. С. Я вкладываю в этот термин самый простой, примитивный смысл: разумный — значит способный разобраться в мире, который его окружает. Короче говоря, разумный — это значит ученый.

КОРР. А чисто человеческие качества (сердце, душа) куда подевались на этом фоне?

Б. С. Сердце, душа были для нас функциями разума. Подразумевалось, что если человек разумен, значит, у него и с остальным все в порядке. Потому что если человек разумен, то ему ясно, что хорошо себя вести — правильно, а плохо себя вести — неправильно. Причинять вред людям — плохо, нести добро людям — хорошо. Это *разумно*, понимаете? Именно такова была наша начальная установка. И далее. Человек с течением времени принципиально не меняется. Пифагор и Ньютон, разделенные тысячелетиями, одинаково разумны. И человек, который появится еще через тысячу лет, в этом смысле будет, видимо, на том же уровне. Происходит ли тогда вообще что-нибудь с людьми? Мы выдвигаем гипотезу, что все человеческие качества (доброта, чувствительность и т. д.) распределяются по гауссиане — это такая колоколообразная кривая. То есть в каждый отдельный момент времени злобных людей мало. И очень добрых людей — мало. Основная масса держится где-то в середине. Предположим, что все качества людей со временем — в силу общего улучшения условий существования — становятся все лучше. Наука развивается все сильнее, материальный уровень растет, люди становятся добрее, образованнее, умнее и т. д. Гауссиана сдвигается по горизонтали, и человек, который вчера по доброте своей был чем-то совершенно исключительным, через сто лет уже будет рядовым явлением. А исключительная доброта, соответственно, будет чем-то таким, чего мы себе сегодня и представить не можем. Отсюда получается, что через сто, двести лет действительно наступит время, когда — от каждого по способностям,

каждому по потребностям, когда — изобилие материальных благ, нет необходимости вцепляться друг другу в глотки, когда — разработана теория воспитания, и с детства человека выращивают добрым и хорошим, а значит мир постепенно населяют только добрые и хорошие люди, когда, наконец, будут реализованы вещи, казавшиеся разумными еще тысячелетия назад. Приблизительно так, на уровне схемы, мы представляли себе движение человечества в будущее. И именно эти представления отразились в наших ранних вещах. Все зло, вся мерзость, все негодяи, подлецы, трусы — считали мы — со временем отомрут за ненадобностью. Не надо будет делить кусок хлеба, не надо будет делить посты, жилплощадь с окнами на юг… И чем дальше, тем больше добрых и хороших людей будет в мире, а потом добрых и хороших людей станет подавляющее большинство, и наступит коммунизм — светлое будущее всего человечества…

КОРР. Но он все не наступал и не наступал…

Б. С. Да… Очень скоро мы поняли, что вся эта картина не так проста, как нам кажется. Ниоткуда, скажем, не следует, что гауссианы сдвигаются, ниоткуда не следует, что с течением времени человек обязательно будет становиться добрее, ниоткуда не следует, наконец, главное — что увеличение количества материальных благ на душу населения приводит к улучшению человека. Мы сплошь и рядом наблюдали картину обратную. И в нашей стране, и в других странах. Количество материальных благ на душу населения растет, а души лучше не становятся. И чем дальше, тем больше нам приходилось задумываться о том, что, если даже всего будет навалом, найдутся люди, которым вечно будет чего-то не хватать. Поэтому, в частности, выпуская второе издание «Полдня» (1967 г.), мы сделали к нему специальное предисловие, в котором оговаривали, что общество, изображенное нами в этой повести, совсем не обязательно будет именно таким для всего человечества. Это просто общество, в котором нам хотелось бы жить.

Все оказалось сложнее и страшнее. Человек оказался гораздо более сложным устройством, чем «животное разумное». Соотношение между разумом и чувствами — вы правильно подчеркнули это — очень сложно в каждом отдельном человеке. Материальное состояние ни в коем случае не является гарантом нравственного развития, нравственного совершенства. Оказывалось совсем непонятно, как из окружающего мира вырастет мир Полудня. Куда денутся миллионы и миллионы окружающих нас людей, совершенно негодных для жизни в мире Полудня? А потом мы спросили себя: господи, куда же девать тогда тех людей, которые в общем-то хорошие, но не без червоточинки? И не смогли себе ответить. Так что,

действительно, в этом смысле сегодняшние Стругацкие, наверное, гораздо большие скептики, чем Стругацкие пятидесятых.

А. С. Я бы только хотел заметить еще по поводу героя. Да, герой наших последних повестей — это герой-одиночка, как заметили вы, или представитель меньшинства, как назвал бы его я. В таком изменении нет ничего странного. Мы ведь тоже стали более одиноки. Не забудьте, что люди, с которыми мы начинали… Это прежде всего Иван Антонович Ефремов, заслуги которого перед советской и мировой фантастикой совершенно неизмеримы, это и Север Гансовский, и Днепров, и Дима Биленкин, и Женя Войскунский — все они тоже либо уже ушли из жизни, либо физически стали более труднодоступны. Мы постарели, а удел старости — одиночество. И, признаться, мне оно даже нравится. Я не чувствую себя обделенным, когда остаюсь один. Я люблю быть один.

Б. С. Именно поэтому герои поздних Стругацких не могут быть ни изнанкой, ни антиподом их ранних героев. Я бы сказал, что герои наших последних повестей — это просто повзрослевшие и хлебнувшие лиха герои ранних повестей. Это те же самые люди, только им уже не 20–30, а 50–60. Они всякого повидали и многое поняли в жизни. В частности то, о чем в молодости и не подозревали. Оказалось, что труд, даже любимый, совсем не всегда приносит радость. Это открытие очень серьезное. Если вы помните, один из наших ранних героев, Дауге, говорит, что человеку дано три радости в жизни: работа, дружба и любовь. С любовью у нас все благополучно. Поскольку о ней мы почти не пишем, то и открытий или существенных изменений здесь нет. Что же касается дружбы, то и старые наши герои, и новые одинаково высоко ценят ее.

КОРР. Ну, для поздних героев этот вопрос несуществен, поскольку они одиночки… Взять, скажем, Сорокина из «Хромой судьбы».

Б. С. Вы не правы, у него есть друг: его, если помните, Шибзд. Только это другая дружба. Это дружба шестидесятилетнего человека. «Хромая судьба» — это повесть о старости, не забывайте… не пропустите эпиграф: «Осень рвется в дом»!

КОРР. Я могу только поверить вам на слово. Но даже в этом случае мне хотелось бы возразить против определения ваших поздних героев как «постаревших» ранних. Я не ощущаю у них за плечами той дружбы двадцатилетних, которую вы писали в своих ранних повестях и которой я верил.

Б. С. Может быть, они и подзабыли уже друзей своей юности…

КОРР. Скорее, здесь просто более сложный тип движения.

А. С. А что же более сложное вы знаете? Что более сложное, чем

жизнь?

Б. С. Дело здесь, наверное, еще и в том, что в той истории будущего, которую мы пишем последние тридцать лет, нет сквозного героя. Поэтому эволюцию проследить очень трудно. Но, с нашей точки зрения, герои ранних Стругацких — люди очень общительные, очень добрые, очень легкие на знакомства, очень контактные… Герои поздних Стругацких — люди более замкнутые. Это чисто возрастное. Чем старше человек, тем он индивидуалистичней. Так уж он устроен, и это, по-видимому, нормально. Старик всегда существо много раз битое. Это, как правило, человек, который не раз уже раскрывал объятия, а его взамен хлестали по морде. Поэтому старик не очень любит раскрывать их.

КОРР. Насколько автобиографичны ваши герои?

А. С. Чтобы далеко не уходить от жизни, мы стараемся придерживаться собственных биографий. Во всяком случае, стремимся не выдумывать героев, а брать их готовенькими из нашего окружения, *вытаскивать* их из наших друзей, знакомых.

КОРР. Кем бы вы не смогли стать? Из принципиальных соображений?

А. С. Палачом, тюремщиком.

Б. С. А я, если всерьез, никогда бы не мог стать политическим руководителем. Я никогда бы не мог стать администратором. Наконец, я никогда бы не мог стать военным любого ранга. Кстати, Аркадий Натанович был у нас некоторое время военным переводчиком в разведке. Но долго он там не выдержал — запросился наружу, и его, слава богу, отпустили. Это ведь все очень связано с особенностями характера. Любой администратор должен испытывать удовольствие от того, что его приказы исполняются. Иначе он ни к черту не годный руководитель. Мне это не нравится. Я не люблю командовать. Мне это неприятно. Я вынужден иногда командовать, естественно, но, в общем, это не доставляет мне никакого удовольствия. С другой стороны, я не люблю и подчиняться. А как известно, каждый военный прежде всего должен научиться выполнять приказ. Беспрекословно. В этом альфа и омега военной профессии. А я терпеть не могу исполнять приказы. Я их исполняю иногда, но это происходит либо потому, что я убедился в разумности приказа, либо потому, что просто ничего не могу противопоставить этому приказу.

КОРР. Отсюда естественно было бы возвратиться к третьему киту ваших героев — к работе.

Б. С. Да, наши герои меняются в этом смысле очень сильно. Для героев ранних Стругацких работа — это высшее наслаждение, высшее счастье. Ничего более интересного они просто не знают. Они везде тащат с

собой на развернутых знаменах лозунг: «РАБОТАТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ РАЗВЛЕКАТЬСЯ!» Потом, со временем, они начинают медленно понимать, что работа прекрасна и интересна только тогда, когда она получается. Иначе из наслаждения она превращается в муку. Здесь есть некоторая аналогия с любовью: любовь прекрасна, когда тебе отвечают взаимностью, но любовь — это неописуемая мука, когда она не разделена.

Герои наших последних повестей зачастую уже относятся к работе как к тяжелому и неприятному труду. Человеку, оказывается, бывает мучительно трудно работать. Вспомните как пишет тот же Сорокин в «Хромой судьбе». У него ничего не выходит, он себя разогревает, садится — вот сейчас напишу! — опять не выходит. И от этого ему еще горше становится, еще больнее. То есть работа перестала быть абсолютным счастьем, убежищем. Именно это ощущение характерно для героев поздних Стругацких. Так что если вернуться к нашим определениям героев Стругацких, то наиболее емким все-таки будет: *постарели*.

КОРР. Получилось, что все три опоры, на которых держались ваши герои, под нажимом времени как бы съежились, стали занимать гораздо меньше места. Но тогда должна была образоваться некая пустота?

Б. С. Да… это та самая пустота, которая так характерна для старости.

КОРР. Она ничем не заполняется?

Б. С. Она заполняется чем-то… Она заполняется, во-первых, вспышками, назовем их вдохновением, хотя я терпеть не могу этого слова. Человек продолжает работать. Работа перестает быть для него источником постоянного наслаждения. Это уже некий рутинный процесс, который иногда вдруг дает вспышку удовольствия. Вот ради этих вспышек имеет смысл месяц за месяцем, год за годом писать формулы, рвать бумагу, писать тексты, рвать тексты, рвать на себе волосы, кричать: «Я уже ни на что не способен! Все кончено!» Но продолжать писать. И вот, через год, через два — *вспышка*! И ты снова на коне. Нечто аналогичное — в любви. Нечто аналогичное — и в дружбе. Правда, в дружбе с возрастом начинаешь больше всего ценить вспышки нежности, которые возникают к другу. Они прекрасны, и они бывают до глубокой старости — я уверен теперь в этом. Только с годами друга ты ценишь уже скорее за постоянство, за то, что он как бы твое alter ego… как будто на Земле есть еще один экземпляр тебя самого. А наслаждение, которое получаешь от понимания с полуслова? Это великое наслаждение! В молодости мы не способны оценить, как это прекрасно!

И любовь, конечно, с годами меняет свою окраску, все больше превращаясь во что-то подобное дружбе. И ценятся в ней с годами не

столько радости соития плоти, сколько — соития духа. Когда для тебя женщина становится прежде всего другом, а уже потом существом противоположного пола… Это просто другое отношение к жизни. Но это тоже *естественное* отношение к жизни, и нам интересно писать о нем. Если же говорить об оппозиции нынешних героев Стругацких к ранним героям, то степень та же, что и во взаимоотношениях старости и молодости. Это ведь тоже своеобразная оппозиция, хотя и здесь все далеко не так просто, как черное и белое.

КОРР. Давайте теперь вспомним еще раз вашу молодость. Все-таки между вами с братом была значительная временная дистанция. Насколько равноправны были ваши соавторские отношения?

А. С. Дело в том, что мы непрерывно занимались писательством. С детства. Сначала мы делали комиксы. Рисовал главным образом я, но и Борис Натанович тоже… как мог. А потом, когда я вернулся из армии, мы стали оба жить в Ленинграде и просто ради удовольствия писать. К честолюбию это никакого отношения не имело. Мы никогда не верили всерьез, что будем писателями. Чтобы вы могли представить себе тогдашнюю дистанцию от нас до писателей, скажу, что она была примерно такой же, как от нас теперешних, ну, скажем… я не знаю… до членов правительства. Мечты были совсем другие, господи! Борис Натанович, я совершенно уверен, рассчитывал стать крупным ученым в своей области. Я рассчитывал тоже стать заметной фигурой в исследовании средневековой японской литературы. Вот куда было направлено наше честолюбие!..

Б. С. В пятьдесят седьмом, когда мы начинали, для меня Аркадий был огромным авторитетом. Самым авторитетным человеком на Земле. Я уже, может быть, к тому времени перестал обожествлять его, как это было, скажем, до войны и сразу после войны, но он для меня оставался великим человеком! Поэтому во всех наших начинаниях главенствующую роль играл, безусловно, он. Я прекрасно запомнил на всю жизнь, как писалась «Страна багровых туч». Аркадий был в то время гораздо более собранный… Опыта работы вдвоем у нас не было, и мы договорились так: каждый пишет свою часть, потом сводим все вместе и выбираем лучшее. Так вот, Аркадий написал уже первую часть, состоящую, скажем, из… пяти глав, — у меня еще ничего нет. Аркадий написал вторую часть, а у меня еще только первая глава первой части. И тогда Аркадий — я прекрасно помню — приехал и сказал, что он будет лежать на диване и читать «Войну и мир». А я буду сидеть рядом за машинкой и писать третью часть нашей повести… Так что, когда мы начинали, главенство было целиком на его стороне, но со временем все, конечно, выровнялось. В такой работе ведь

никакого главенства быть не может.

Некоторые литературоведы, критики пытаются нас разделить, выделить прозу А. Стругацкого и прозу Б. Стругацкого из того, что они пишут. Но это невозможно. Наши произведения — все без исключения — представляют собою такой сплав, который мы сами разделить не в состоянии. Максимум, что можно сделать, это вспомнить, что какую-то конкретную хохму Аркашка придумал, а какой-то период я предложил — это максимум! Причем закономерности в том, что придумал Аркадий и что придумал я, вы не найдете. Когда мы садимся за стол, при всей нашей огромной разнице в повседневной жизни, мы становимся очень похожи друг на друга.

КОРР. Раз уж вы сами затронули этот вопрос, я тоже не удержусь. На мой взгляд, интерес к нему имеет корни более глубокие, чем праздное любопытство. КАК взаимодействуют в это время ваши писательские воображения? Насколько «реально» вы видите то, о чем пишете?

Б. С. Я не уверен, что это можно назвать словом «видеть». Вы, наверное, имеете в виду что-нибудь наподобие булгаковской «коробочки» из «Театрального романа»?.. Черт его знает! Это очень трудно. Я просто не помню, что там у меня происходит. Это связано с вопросами самоконтроля, а я, когда работаю, отключаюсь от окружающей жизни, нахожусь внутри фразы, внутри описываемого мира, как во сне, и, наверное, в тот момент я все это себе очень здорово представляю. Хотя вот сейчас, когда пытаюсь вспомнить, у меня такое впечатление, что я не столько вижу все это (скажем, героя или комнату, в которой находится герой), сколько вижу некие строчки, которые я как бы считываю… Хотя, может быть, и какие-то чисто зрительские образы тоже блуждают при этом. Так что, увы, больше, чем праздное любопытство, нам здесь не удовлетворить.

КОРР. Ну, что же, тогда последний вопрос. Если бы волею фантастических обстоятельств, вам, Борис Натанович Стругацкий, и вам, Аркадий Натанович Стругацкий, случилось бы сейчас повстречаться соответственно с Боренькой и Аркашей Стругацкими, что бы вы им хотели сказать?

Б. С. О-о! Боюсь, я бы ему ничего не сказал… Потому что, пожалуй, все бы ему пошло во вред. Боренька Стругацкий рос и развивался в соответствии с собственной судьбой, то есть в полном соответствии и единении с тем обществом, в котором он жил. И всякая попытка предварить его ошибки обязательно выбила бы его из этой колеи, сделала бы его несчастным… Так мне сейчас кажется. Ведь уберечь мальчика от чего бы то ни было словами — нельзя, а вот сбить с панталыку очень даже

можно. Действительно, что бы я ему мог сказать? Что Сталин, перед которым он преклоняется, — кровавый палач, загубивший для многих саму идею коммунизма? Ну и что? В лучшем случае Боренька просто не понял бы этого, в худшем — понял бы и побежал доносить на себя самого. Вот и все.

КОРР. А вы, Аркадий Натанович?

А. С. Я бы от Аркаши бежал без задних ног.

Борис Стругацкий
ЧТО ТАКОЕ ФАНТАСТИКА?[43]

Вот уже четверть века (а может быть, и больше) этот вопрос на все лады повторяется в статьях и рецензиях, в монографиях, интервью и предисловиях, в выступлениях по радио и в беседах за круглым столом. По этому поводу имеют совершенно ясное, однозначное и непререкаемое мнение десятки писателей и литературоведов, тысячи знатоков-дилетантов, миллионы вполне (и не вполне) квалифицированных читателей.

Нет никаких сомнений в том, что все вместе они конечно же совершенно точно знают ответ на этот вопрос, — просто они никак не могут договориться между собой. Поэтому единого определения до сих пор нет, хотя разнообразных определений существует, наверное, штук сто. Фанатические поклонники фантастики, так называемые «фэны», не ограничивая себя более классифицированием сюжетов, идей, тем и прочих атрибутов этого вида литературы, занимаются теперь уже классификацией определений фантастики.

Что же такое фантастика? На мой взгляд, существует два основных, я бы сказал фундаментальных, класса определений: определения узкие и определения, сами понимаете, широкие.

Узкое определение формулируется как бы с единственной целью — тщательно и надежно отгородить фантастику от всей прочей литературы. Обычно оно представляет собою ясный, почти математический, алгоритм, с помощью коего любой желающий безошибочно отделяет злаки от плевел (а заодно — деревья от леса и младенца от ванночки). Например: «Фантастика — литература крылатой мечты». Значит, действуем следующим образом: берем литературное произведение и ищем в нем мечту; обнаружив таковую, устанавливаем наличие у нее крыльев; стоп, конец алгоритма, вывод — перед нами произведение фантастическое. Очень удобно и даже элегантно, но, к сожалению, не обходится и без просчетов: вне фантастики остаются и «Война миров», и «Солярис», и многие другие произведения, хотя и замечательные, но вовсе не подпадающие под избранную дефиницию.

Определения широкие имеют свои минусы. Скажем: «Фантастика есть вид литературы, использующей специфический художественный прием, — в произведение вводится элемент необычайного, почти невероятного или невозможного вовсе». И здесь алгоритм разделения почти однозначен. Но

могут найтись (и конечно же немедленно находятся) желающие спросить: «Что же это у вас — сказка про Курочку-рябу тоже, получается, фантастика?» И приходится отвечать: «Да. Тоже». Вообще-то непонятно, почему плохой роман про изобретение самонадевающейся ушанки разрешается включать в фантастику, а хорошую сказку про Оловянного Солдатика — не разрешается. И все-таки ощущение некоторой избыточности и чрезмерной уже широты разбираемого определения остается.

Говоря серьезно, гораздо более существенным недостатком обоих приведенных (и большинства всех до сих пор предложенных) определений является то обстоятельство, что они годятся *только* для сортировки произведений и ни для чего более. Они ничего не говорят о сути фантастики, о ее генезисе, о родовых и видовых связях ее с прочей литературой, о причинах возникновения ее и о причинах неописуемого ее успеха у самых разных читателей.

И может быть, методологически правильнее было бы определять фантастику, так сказать, описательно — примерно тем же способом, каким пользуются, обучая ЭВМ опознаванию образов.

Вы до сих пор не знаете, что такое фантастика? Вы хотите это узнать? Превосходно! Возьмите следующие произведения литературы:

1. Д. Свифт, «Путешествия Лемюэля Гулливера».
2. Н. Гоголь, «Нос».
3. Э. А. По, «Приключения Артура Гордона Пима».
4. Ж. Верн, «Восемьдесят тысяч километров под водой».
5. Г. Уэллс, «Война миров».
6. Д. Лондон, «Алая чума».
7. Ф. Кафка, «Превращение».
8. А. Толстой, «Гиперболоид инженера Гарина».
9. К. Чапек, «Война с саламандрами».
10. А. Конан Дойл, «Затерянный мир».
11. А. Беляев, «Человек-амфибия».
12. М. Булгаков, «Мастер и Маргарита».

Прочтите их. Прочли? Так вот это и есть фантастика.

Разумеется, список при желании можно несколько изменить и значительно расширить.

Задача любого писателя — действенное отражение реальности. Причем реальность надо понимать широко — это не просто окружающий нас быт с его коллизиями, конфликтами и проблемами, это также и мир социальных, научных, утопических, моральных представлений

человечества. И отражать эту широко понимаемую реальность надлежит *действенно*, то есть ставить жизненные проблемы так, чтобы они сделались достоянием читателя, вызвали его активное сопереживание, дошли бы до ума и до сердца, стали бы частью его личной жизни.

Эта, общая для всех литераторов, задача зачастую решается особенно эффективно именно благодаря использованию упомянутого выше специфического приема — введения в произведение элемента необычайного, — того самого приема, который и делает фантастику фантастикой.

Такой прием, во-первых, позволяет автору ставить проблемы, совершенно неподъемные для чисто реалистической литературы, — например, связанные с многовариантностью будущего, с космической экспансией человечества, вообще с перспективами и последствиями НТР для Земли. А во-вторых, этот прием обладает чудесным свойством обострять любую созданную писателем ситуацию, он служит своеобразным катализатором, усиливающим во много раз таинственную реакцию «читатель — книга», — этот прием действует как своего рода острая приправа, способная облагородить любое сколь угодно пресное блюдо.

Именно поэтому Уэллс, посвятивший многие свои чисто реалистические книги критическому анализу английского обывателя, нигде не достигает такой обличительной силы и точности, как в своих ФАНТАСТИЧЕСКИХ произведениях — в романе «Человек-невидимка», в рассказах «Яблоко» или «Человек, который мог творить чудеса».

Именно поэтому самые яркие и острые политические памфлеты (традиция Свифта) обязательно содержат элементы фантастики и Салтыков-Щедрин не может обойтись в своей сатире без таких элементов.

Именно поэтому, наверное, судя по социологическим исследованиям, фантастику «читают с удовольствием» более семидесяти процентов опрошенных.

Современная фантастика, как бы мы ее ни определяли, развивается в двух магистральных направлениях. Одно из них трактует проблемы, связанные с обширной темой «Человек и Природа», «Человек и Вселенная». Это и есть то, что обычно называют научной фантастикой. Другое направление тесно связано с еще более обширной темой — «Человек и Общество». Это то, что обычно называют фантастикой социальной и что нам с А. Н. Стругацким нравится называть фантастикой реалистической, как ни парадоксально это звучит.

Наиболее характерными (и в то же время — замечательными)

образцами научной фантастики я бы назвал «Непобедимый» С. Лема и «Штамм АНДРОМЕДА» М. Крайтона. Фантастику реалистическую блистательно представляют, скажем, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и «Колыбель для кошки» К. Воннегута. Впрочем, непереходимой границы между основными направлениями, конечно, нет, и трудно найти сколько-нибудь крупного писателя-фантаста, который работал бы в рамках лишь одного из них.

Каждому непредубежденному человеку, знакомому с творчеством Свифта, Гоголя, По, Уэллса, Чапека, Булгакова, Лема, Воннегута, Брэдбери, Ефремова, ясно, что фантастика, как бы мы ее ни определяли, есть нечто весьма широкое, емкое, красочное, сложное, органически слитое с литературой и в то же время особенное от нее, — мощный приток большой реки, снежная вершина горного хребта, славный отпрыск знатного рода…

Фантастика — это волшебный сплав чуда, тайны и достоверности.

Фантастика — это судьбы людей и идей в мире, который изменен, искажен, преобразован небывалым, невиданным, невозможным.

Фантастика — это призма, зеркало, светофильтр, электронно-оптический преобразователь, позволяющий в нагромождениях обыденного, привычного, затхлого увидеть зернышки необычайного, нового, поражающего воображение.

Фантастика, как никакой другой вид литературы, находится в совершенно особенных отношениях с воображением — и писательским, и читательским. Она одновременно и аккумулятор, и стимулятор, и усилитель воображения.

Фантастика, как никакой другой вид литературы, находится в совершенно особенных отношениях с будущим. Она подобна прожектору, озаряющему лабиринты будущего, которое никогда не состоится, но которое могло бы реализовать себя, если бы его вовремя не высветила фантастика…

И так далее.

Этот маленький панегирик тоже можно рассматривать как описательное определение фантастики. Правда, только хорошей фантастики. Плохая фантастика определяется как-то иначе. Фантастика без тайны — скучна. Фантастика без достоверности — фальшива, напыщенна и назойливо дидактична. А фантастика без чуда — и не фантастика вовсе.

Семинар фантастов при Ленинградской писательской организации возник в начале семидесятых годов. Осенью, зимой и весною дважды в месяц по понедельникам собирается в какой-нибудь гостиной Дома писателя имени Маяковского компания из пятнадцати-двадцати человек,

очень разных и по возрасту, и по профессии, и по жизненному опыту. Общее у них одно — они пишут фантастику или, по крайней мере, пытаются ее писать.

Здесь можно увидеть розовощекого студента, который, начитавшись Булгакова вперемежку с Кафкой, вообразил, что теперь настал и его черед потрясти читающее человечество. А бок о бок с ним — седобородого и вполне лысого инженера, автора тридцати пяти рационализаторских предложений, искренне и всерьез полагающего, что литературу надлежит изобретать. Жеманная дева, специализирующаяся на назидательных сказках о цветочках, пчелках и говорящем ясном солнышке, тоже может здесь оказаться во всей своей красе… Это — кандидаты в действительные члены семинара. Они обычно не задерживаются. Чтобы задержаться в семинаре, хотя бы и в качестве кандидата, надо все-таки знать азы и разбираться в элементарных понятиях литературы.

Кандидат может стать действительным членом семинара, когда и если ему удалось написать вещь (рассказ, повесть, роман — несущественно), достойную того, чтобы весь семинар обсудил ее на своем специальном заседании. Это честь — получить право и возможность обсудить свое новое произведение на семинаре. Даже действительный член семинара не всегда удостаивается такой чести. Но если произведение того достойно, то задолго до заседания оно пускается по рукам и руководитель семинара назначает официального обвинителя, а сам обсуждаемый выбирает себе официального защитника, и, когда настанет наконец день, обвинитель тщательно проанализирует обсуждаемое произведение (главным образом, с точки зрения его недостатков), а защитник сделает то же (но уже, главным образом, в плане достоинств), а все прочие участники заседания выскажутся, когда придет их черед, самым решительным образом, — так что автор узнает о своем произведении очень много интересного, полезного, хотя и не всегда приятного.

Главное назначение семинара — создать среду обитания для молодого автора. Среда обитания (или — что то же — психологический микроклимат, атмосфера творческого общения, область контактов с референтной группой) есть одно из двух необходимых, хотя и недостаточных, условий роста молодого писателя. Вторым необходимым условием является регулярная публикация лучшего из того, что он написал.

Так уж устроен молодой автор, что внутреннее ощущение творческого роста возникает у него лишь тогда, когда он осознает, что очередной опубликованный им рассказ лучше предыдущего. Заметьте, — именно *опубликованный*, а не просто написанный. Все рукописи, лежащие у него в

столе, кажутся ему, в общем, на одно лицо, все они загадка, и никогда молодой автор не способен с определенностью сказать, удались они ему или нет. Опубликованная вещь — совсем иное дело. Она, конечно, своя, но уже как бы и чужая. На нее можно смотреть как на нечто постороннее — судить строго и нелицеприятно, критиковать, хвалить, обдумывать. Она отделилась от автора и начала жить своей особенной жизнью, она существует самостоятельно как некий промежуточный итог и в то же время как некое новое начало отсчета.

Если публикации возникают случайно и только время от времени, по капле в год, молодой автор теряет ориентировку. Он совсем уже перестает понимать, что из сделанного им хорошо, а что никуда не годится. Он топчется в кругу одних и тех же идей и образов; не в силах избавиться от них, он многократно переписывает одно и то же в тщетной попытке приспособиться к требованиям издателя. Он перестает расти, творческое начало в нем затормаживается. Вещи его постепенно теряют смелость, свежесть и самобытность, они неумолимо сползают к состоянию «ни у кого не украдено, но и не свое».

Разумеется, обсуждение новой рукописи коллегами не может полностью заменить публикацию — это эрзац, суррогат публикации и не более того. Но все же рукопись, которую прочли твои собратья по перу — и не просто прочли, а проанализировали, разобрали по косточкам, раздраконили, переворошили, изничтожили или подняли на щит, — такая рукопись обретает, без сомнения, определенную самостоятельность и отдельность от авторского сознания. Обсуждение — не публикация, это верно, но обсуждение — это как-никак ОПУБЛИКОВАНИЕ: рукопись становится достоянием публики, и при этом публики особенной, отборной, близкой по духу и авторитетной.

Поэтому обсуждение новых рукописей на семинаре — главная форма работы, главное содержание общения. На обсуждение выдвигаются, конечно, только наиболее интересные из новых работ, однако обмен рукописями между членами семинара происходит постоянно, и постоянно — уже в кулуарах семинара — происходит и обсуждение всего того, что написано. Среда обитания реагирует на каждую новую рукопись — иногда вяло, а иногда весьма бурно, и тогда страсти кипят, и если в спорах и не рождается истина (кто знает, что такое истина в литературе?), то уж новые идеи и замыслы рождаются обязательно. Молодое воображение обладает любопытными свойствами: вполне разумная критика вдруг порождает неразумный, дикий, но зато совершенно оригинальный замысел, а самое дурацкое и нелепое замечание наводит на блестящую мысль — все идет в

дело, все на пользу, если есть талант и желание работать.

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ПРОГНОЗ[44]

«Один ленинградский кинодеятель времен застоя дал такую блистательную формулировку: фантастика — это либо дерьмо, либо антисоветчина», — сказал мне Борис Натанович Стругацкий. Я с этим согласилась. Сейчас критики дружно пишут, например, что «Улитка на склоне» — лучшее произведение писателей.

А в «те годы» лучшие произведения Стругацких были признаны именно «антисоветчиной». Лучшие были, как правило, антиутопиями. Антиутопия же, как известно, — это такое описание будущего, где в гротескной форме изображены пороки настоящего, логически доведенные до пугающего абсурда. Наша знаменитая «антисоветчина» всегда была именно антиутопией. Ибо отрицала не Советскую власть, как принято считать, а тот способ жизни, тот строй, который Советскую власть нам заменил. Фантасты Стругацкие, как и все авторы антиутопий, писали и пишут, конечно, о настоящем. Но, не соглашаясь со своей принадлежностью к футурологам, все-таки они фантасты. И привыкли, как говорят сами, думать о будущем. По словам Бориса Стругацкого: «Для меня это — модус вивенди, образ жизни, образ действий, привычная обязанность. Каждое событие, происходящее на моих глазах, я рассматриваю с точки зрения: во что это выльется? Если человек тридцать лет размышляет о будущем, он становится в этом смысле немного перекошенным…»

— Вы рисуете такие страшные картины мира, как в «Граде обреченном», например. А ведь некогда изображали «светлое коммунистическое» будущее?..

Аркадий Стругацкий: — Раньше мы описывали общество, в котором нам хотелось бы жить. А сейчас — общество, которого мы боимся.

— Которого боитесь или которое провидите?

А. С. — Ничего провидеть нельзя.

— Ну, просчитываете.

А. С. — И тем более не просчитываем. Попробую объяснить. В застойное время на сознание, на воображение действовали мириады мелких информационных факторов: микрослучаев, анекдотов, слухов… Большая часть копилась в подсознании, и вдруг, словно масса их достигла

критической, разом, взрывом это всплывало в активную память уже законченной и довольно жутковатой картиной. И вот она уж поддавалась социологическому анализу как утрированная модель реального социума. И давала возможность наметить приоритеты в выборе выхода из дрянной ситуации. Мне, например, представляется, что в основе этой ситуации лежит невероятно низкий уровень культуры общества, упавший едва ли не до уровня массового озверения. Вопрос окультуривания — первейший. Даже не экономики. Вопреки известным утверждениям диалектического материализма о том, что первично и что вторично, — в нашей «отдельно взятой стране» наметилась прямая зависимость процветания от культурного уровня.

— Значит, вы связываете, например, проблемы падения культуры и падения деревни?

А. С. — Несомненно. Впрочем, всеобщего *падения* культуры у нас все-таки нет. Та русская культура, которая расцвела в прошлом веке, имеет прочную связь с нынешней. Увы, тончайший слой интеллигенции — еще не нация. И надо сказать, этому звездному слою всегда доставалось, процветал он или впадал в ничтожество. Конечно, керосиновые факелы не бросали в Ясную Поляну. Но сколько, к примеру, библиотек сгорело во время крестьянских бунтов! Герцен предупреждал дворянство: лучше сами отдайте, поделите власть и добро с бедными. Но я думаю, это глас вопиющего в пустыне. Дележка не остановила бы крестьян. А с другой стороны, наша замечательная Екатерина, подруга Вольтера, задержала свободно изливаемую культурную мысль России лет на 15–20. Никакая Европа не помешала ей сослать Радищева, расправиться с Новиковым… Потоптались на русской культуре основательно. Не нужно идеализировать ее развитие в прошлых веках…

Борис Стругацкий: — Наверное, выскажу мысль еретическую. Но я совсем не уверен, что культура преобразует общество. Общество преобразу — ют производительные силы. Здесь я выступаю как самый заскорузлый марксист. Другой движущей силы я в обществе не вижу. Культура — ну что ж… Это один из элементов общественной жизни. Важный элемент. Может быть, самый ценный. Но не преобразующий, а, скорее, преобразующийся вместе с обществом. «Здравый смысл» достижим и без культуры. Можно накормить народ, одеть народ, образовать народ, все это уже осуществлено во многих странах.

— Сытое общество не есть цивилизованное общество…

Б. С. — Нет, оно цивилизованное, но не обязательно культурное. Цивилизация и культура — это разные вещи. Низкая культура в условиях

дефицита не способна изменить расстановку социальных ценностей. Потому что, живя в этих условиях, мы обязательно будем ставить на первое место материальные ценности. Ведь какая у нас социальная программа? В первую очередь обеспечение инвалидов, больных, бедных, стариков. Проблема, которая в цивилизованном мире давно решена. На «второе» — обеспечение жильем. Да разве это проблема для цивилизованного общества!

— Рабочие вопросы…

Б. С. — Ну да. Если провести аналогию с частной жизнью человека… Мне ближе — писателя: это если бы писатель считал первоочередным купить хорошую пишущую машинку, второе по важности — раздобыть бумагу, и только на третьем месте — вопрос, как построить сюжет. Вот в таком положении находимся сейчас мы в силу неестественного состояния экономики и политики в стране. На протяжении многих десятилетий мы представляем собой гигантскую аномалию. Все человеческие цели и ценности перевернуты у нас с ног на голову.

— Но вы сами описали общество, в котором все сыты, производительные силы в полном порядке, а культура все равно не развивается. Интеллигентов ненавидят. И ваш «Град» — он все-таки «обреченный». Не потому ли, что все силы брошены на «продовольствие»?

Б. С. — Надо говорить не «обречённый», а «обречЕнный». «Град обреченный». Знаете, откуда это название?

— У Рериха, кажется…

Б. С. — Да, у Рериха есть картина. Огромный холм, на холме стоит мертвый город — белые стены, крепостные башни… А вокруг холма и вокруг города обвился гигантский спящий змей. Град обреченный… Так вот, культура не развивается в этом городе, потому что сам город является неестественным.

— Только поэтому? Только потому, что сам Град — искусственное порождение «Эксперимента»?

Б. С. — Конечно. Герои не понимают, что происходит. Фюрер Гейгер думает, что если собрался миллион народу, то можно жить по тем же законам, по которым живет Земля. Неверно. Они как были в состоянии экспериментальных существ, так и остались.

— Не является ли для вас творчество вынужденным эзоповым языком? Не для того ли вы прибегаете к форме фантастики, чтобы дать выход своим «крамольным» идеям?

Б. С. — Нет. Когда мы начинали писать фантастику, то клялись друг другу никогда не затрагивать политических проблем.

— Очень успешно выполнили эту клятву…

Б. С. — В ту пору нас интересовала не политика, а глобальный мотив: отношения человека и природы, борьба человека за место в мире… Вот об этом мы собирались писать всю жизнь.

— «Страна багровых туч» — это 55-й? Вам двадцать два года, Аркадию Натановичу тридцать…

Б. С. — Да, и постепенно… даже довольно быстро мы съехали с этой позиции. Она перестала нам казаться интересной — это во-первых. А во-вторых — началась первая оттепель, 56-й год, XX съезд, венгерские события… Переломом для нас стала повесть «Трудно быть богом». Она задумана давно, в спокойные для нас времена, как повесть о том, как высокоразвитое общество пытается вмешаться в историю низкоразвитого. Мы хотели решить для себя *этический* вопрос: можно это, нельзя? Вредно или полезно для изменяемого общества и так далее. Но в 1963 году, как вы помните, произошла историческая встреча Никиты Сергеевича с художниками в Манеже. И это событие потрясло нас. Шок. Достаточно было прочитать газеты, чтобы понять — а мы были лояльными ребятами, — что во главе нашего государства стоят люди, называющие себя коммунистами, и на виду у всего мира топчут искусство, культуру, интеллигенцию и лгут беззастенчивым образом. Этот шок перевернул наши представления о коммунизме, как к нему идти и почему он так далек. Мы не там искали врагов! Начиная с «Трудно быть богом» мы всеми силами, где только можем, боремся против лжи пропаганды. И защищаем интеллигенцию. Мы объявили ее для себя привилегированным классом, единственным спасителем нации, единственным гарантом будущего — идеализировали, конечно. И «Трудно быть богом» возникла как повесть, воспевающая интеллигенцию.

— Критик Ирина Васюченко высказалась в «Знамени»: «А неподражаемый Румата? Фанфарон, вечно переоценивающий свои силы, ставящий под удар не только себя… Посланец победоносного разума не сумел остаться человеком… Он активно действует, за ним — сила, а мир Стругацких устроен так, что только сила делает героя значительным».

Б. С. — Черт побери, неужели не видно, что Румата — несчастный человек, который всю жизнь действовал против своих естественных желаний! Это была первая, если можно так выразиться, диссидентская наша повесть. Наиболее отвратительным в мире, открывшемся перед нашими глазами, была ложь. Все можно понять: перегибы, несправедливости, даже казни; то, что у власти стоят люди недостойные и ведут они нас черт знает куда, — все можно понять и *исправить* можно, но

при одном условии: скажите людям правду, хватит врать. В США, даже в наихудшие моменты их истории, газеты не стеснялись писать: «Гангстеры, подкупленные таким-то банкиром, поймали такого-то профсоюзного деятеля и сожгли его заживо». А у нас сжигали цвет нации под песню «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей!». Специфика советской истории в том и заключается, что возникла ситуация, когда (а) при ликвидации свободы печати (б) была создана мощная, разветвленная тайная полиция. Этих двух условий достаточно, чтобы можно было делать с любой страной все, что угодно. Поэтому судьба нашей страны оказалась такой ужасной. В 63-м году мы начали это понимать, а в 68-м году, после Чехословакии, уже все было ясно: есть определенные *силы*, силы, а не *люди*, и эти силы двигают страну в каком-то страшном направлении. Это было крайне болезненное прозрение. Многие из наших друзей пришли в партию с абсолютно чистыми душами, в конце 50-х, на волне антисталинской кампании — в партию, в партию…

— А вы?

Б. С. — Когда я был наивным, «верующим», я считал, что в партию мне вступать просто не пристало. Кто я такой? Сопляк. Когда же я стал разбираться в ситуации, то понял, что для партии не гожусь. Не умею выполнять приказы.

— Это принцип?

Б. С. — Да, это принцип.

— Как вы сейчас, с вершины возраста, опыта и полусотни книг, написанных о разных модификациях коммунистического общества, представляете себе коммунизм?

Аркадий Стругацкий: — Прежде всего, конечно, не в одной отдельно взятой стране. Коммунизм — это объединение всех стран, без границ и различия нации. Объединение на основе равного и очень высокого экономического потенциала, на основе высочайшей культуры, на основе великолепно разработанной системы воспитания.

— А культурные различия, разница в нравственных представлениях — как при этом возможно слияние, которое вы прогнозируете?

А. С. — Оно не только возможно, но и происходит уже сейчас. Европейская культура оказалась столь мощной, что воздействовала и на Китай, и на Японию. А доброкачественные воспитательные традиции Японии кое в чем перенимают Европа и Америка. Идет постоянное взаимопроникновение.

— А наша многострадальная страна? Она сможет влиться в этот мировой коммунизм?

А. С. — До сих пор ни одна страна в изоляции не выживала. Хотя нынче мы от коммунизма дальше, чем кто-либо. Потому что коммунизм — это квинтэссенция *нормального* бытия. Проповедь национальной розни, которую ведут сейчас, к ужасу моему, некоторые деятели культуры, тем опаснее, чем авторитетнее, масштабнее фигуры этих писателей, художников; чем ценнее и существеннее их вклад в искусство и культуру. Реакционные идеи лучших национальных художников страшнее, чем давление власти. Власть можно сменить.

— Романова на Соловьева? Не будет же во главе, скажем, Ленинграда стоять, скажем, Дмитрий Лихачев.

А. С. — А может, будет. Тенденция такова, что к власти приходит интеллигенция.

— Тенденции нет, есть попытки, которые подавляются. В частности, и на Съезде народных депутатов.

А. С. — Я говорю о тенденции, а не о фактах. Если нет такой уверенности, то и говорить не о чем. Должна быть уверенность, что тенденция разовьется в систему фактов.

— Чем питается ваш оптимизм?

Борис Стругацкий: — Тем, что если человечество обнаруживает угрозу, оно, как правило, с ней справляется. Человечество справилось даже с голодом в Индии, где, по подсчетам, должны были умереть десятки миллионов. Но произошла «зеленая революция», вывели новые сорта злаков — и выжили.

— Почему ж Россия никак не может справиться?

Б. С. — Как не может? Мы же и об этом писали в «Трудно быть богом»: жизнь коротка, а история движется так медленно! Так хочется скорее изменить положение вещей на отрезке своей жизни! Но на протяжении человеческой жизни мало что меняется. В этом трагедия нашего Руматы — именно в этом. Человек понимает, что ему отпущено 70–80 лет. И эти восемьдесят лет он будет трудиться, мучиться, страдать, кровь проливать чужую и собственную, совесть свою будет топтать ногами — и умрет, так и не увидев плодов своей работы. И ваш вопрос тоже трагичен: почему же Россия… Да все меняется, только очень медленно! Мы не успеваем на отрезке своей жизни увидеть существенные изменения. Хотя вот лишь десяток лет назад мы не позволяли себе говорить, правда, позволяли уже думать. А ведь тридцать-сорок лет назад и думать было нельзя! Времена глухого рабства — и тоже казалось, что навсегда. Единственный исторический закон, который действует, — это закон о непрерывном развитии производительных сил. Согласно этому закону,

развитие непрерывно. Не было случая, чтобы движение в области производительных сил шло назад — оно всегда идет вперед.

— Да, но мы-то ставим на пути этого прогресса искусственные преграды. Никто не ставит, а мы-то почему ставим, да еще так изобретательно? Может быть, так трагична судьба культуры и вообще прогресса в нашем государстве, что оно тоже — искусственное порождение?

Б. С. — Наше государство — не искусственное порождение. Это общество, находящееся в аномальном состоянии. Вот мое мнение: Россия, или, вернее, СССР, как правильнее говорить, свернула *сторной* дороги цивилизации…

— …И пошла своим путем.

Б. С. — Да, поперли буераками… Но я вас уверяю, что мы непременно опять выйдем на ту самую торную дорогу — потому что она ОДНА. Это *единственная* дорога. Это дорога, на которой осуществляется принцип: человек, который работает на общество хорошо, получает от этого общества большой кусок. Человек, который работает на общество плохо, — не получает от общества ничего. Этот основополагающий принцип был нарушен в конце двадцатых годов. И производительные силы сразу тормознули. Сейчас мы вроде со скрипом выходим на эту дорогу. И выйдем, никуда не денемся. При этом может произойти что угодно. Военный переворот — «импичмент по-советски». Или нам объявят, что во всем виноваты кооператоры — разрушили экономику. А идеологию разрушил журнал «Огонек». И мы скушаем. Снять десяток редакторов, закрыть кооперативы, объявить, что перестройка закончена, — и привет, мы отброшены на десятилетия назад. На несколько лет наступит привычный покой…

— Но ведь тогда не на несколько лет он наступит, а уже на века!

Б. С. — Нет! Одно-два поколения, лет сорок, не больше. Вся прелесть перестройки заключается в том, что альтернативы нет! Другого пути, чем тот, через который прошли десятки стран мира, нет. Начнутся бунты, восстания, забастовки. Исчезнут уже не мыло и соль. Исчезнет хлеб. Административно-командная система не может этого не понимать. У нее в запасе, правда, есть один козырь: широкая продажа спиртных напитков. Хороший козырь…

— …Но надежней армия, которая теперь повсюду.

Б. С. — Армия? А вы знаете, что в Ленинграде милиция уже отказалась подавлять стихийные выступления? Митинги-то уже сами милиционеры устраивают. Транспарант вывесили: «Не хотим быть

бульдозерами исполкома!» В Новочеркасске когда-то раздавили восстание в два дня. А сколько уже длятся события в Фергане? У Ключевского замечательно сказано: обычный прием плохих правительств — пресекая следствие зла, отягощать причину его. И для нас это всегда было нормой: не разбираясь в причинах народного гнева, давить танками последствия. Причем смотрите: как только кровь прольется — власти сразу оказываются способны принять решения — как бы их назвать? Европейские, что ли? В смысле не феодальные, антифеодальные. Похоже, что тбилисская трагедия многому научила. В этом смысле трагедия может быть оптимистической. Оптимизм — это когда старое отмирает. Очень болезненный процесс, что бы ни отмирало. Кровь, грязь, мерзость, бесчестие… Страшные события, трагические. Но они несут в себе зерно оптимизма: все это — признаки изменения общества.

Аркадий Стругацкий: — Природа моего оптимизма в том, что жить с мыслями о ядерной войне нельзя. Тот, кто исключает в своих жизненных намерениях возможность гибели, — оптимист.

— Это уже оптимизм?!

А. С. — Не уже, а именно это и есть оптимизм.

— Человек, который не боится заразиться СПИДом, — оптимист?

А. С. — СПИД, конечно, большая неприятность…

— Неприятность, вполне, по-моему, соизмеримая с ядерной войной.

А. С. — Если говорить о соизмеримости, то для меня сравнимая опасность и в том, что перестройка «накроется».

— Это опасность для нашей страны. А СПИД — для человечества.

А. С. — В 1914 году такой опасностью был грипп. Выкосил в Европе двадцать миллионов.

— Вы уповаете на вакцину?

А. С. — То есть что значит уповаю? А на кой черт еще нужна медицина и вообще наука? Не Бог же наслал на нас СПИД. Сами воспитали его в своей среде. А раз не Бог, значит, в наших силах. Вот в чем оптимизм.

— А точно не Бог? Вот в ваших произведениях действуют всякие Наставники, Странники, Демиург… Значит, у вас есть все-таки некие представления о высших силах?

А. С. — Это не у *нас*. Это у *вас*.

— Почему вы обратились к образу Христа? И вообще столь неожиданные библейские реминисценции в «Отягощенных злом», или «ОЗ», последней вашей повести, что вызвала такую ярость критики, — откуда этот новый интерес?

Борис Стругацкий: — Это не новый интерес. Нас вот обвиняют в

пропаганде культа силы или, как вариант, культа разума, в якобы преимуществах хомо сапиенс перед всем остальным мирозданием. Я, к сожалению, не знаю латыни — вот как сказать «человек совестливый»? Мы прежде всего на стороне человека совестливого. В этом смысле Христос для меня — трогательнейшая историческая фигура. Искупивший своей жизнью грехи человечества — такая фигура поражает воображение. Кстати, мало кто понял, что «ОЗ» — это история о трех Христах.

— Равви, лицейский наставник Г. А. Носов, а третий?

Б. С. — Демиург! Творец материи, отягощенной злом. Демиург — это Христос через две тысячи лет. Второе пришествие. Он вернулся на нашу Землю, изуродованный, страшный, постаревший, растерявший милосердие свое, потому что за эти двадцать веков побывал на десятках миров, где пытался уничтожить зло. Вот его трагедия: что Бог ни делает, как ни выкамаривает — все, что он творит, отягощено злом. Две тысячи лет назад, Иисусом Христом, — он хотел помочь людям проповедями о милосердии. Кончилось все это печально. И вот он снова ищет путь исправить содеянное. Он ищет людей, которые бы помогли ему в этом, а к нему идут все какие-то ублюдки с предложениями Страшного Суда, национально-патриотической революции, око за око… И он смотрит на них с тоской и говорит: это все хирурги, а нужен терапевт…

— И в ваших представлениях действительно присутствует идея такого Демиурга? Вы не придумали его специально для книги?

Б. С. — Не знаю, правда ли, что когда Лапласа спросил Наполеон, где же в его модели Вселенной Бог, — ученый якобы ответил: в этой гипотезе я не испытывал потребности. Вот и я не испытываю потребности в этой гипотезе. Я буду готов признать его существование только тогда, когда не найду других способов объяснить некую совокупность идей и явлений. Логика владеет мной.

— Поэтому вы и создали новые апокрифы, переписав кульминационные эпизоды Евангелия?

Б. С. — Вы знаете, лет двадцать назад я с огромным интересом читал Новый завет и, сравнивая Евангелия, обнаруживал интереснейшие вещи. Ведь не так уж много эпизодов, которые повторяют и Лука, и Матфей, и Иоанн, и Марк. А вот фрагмент с отрубленным ухом раба первосвященника при аресте Христа есть во всех четырех Евангелиях. Чем же он так замечателен, этот эпизод, что все четыре евангелиста его отметили? Это очень загадочно и интересно. К «Отягощенным злом» мы взяли эпиграфом строчку из Евангелия от Иоанна: «Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было

Малх». В повести она играет роль важную, эта строчка. Дело в том, что среди многих идей и тем «ОЗ» есть такая, выраженная в анекдоте о Сталине. Вождь смотрит «Незабываемый 1919-й» — апологетический фильм, где всячески прославляется он сам и принижается Ленин. И вот Сталин все мрачнеет, мрачнеет и, досмотрев до конца, встает и произносит с нажимом: «Нэ так всо это было, совсэм нэ так». Так вот, эта идея — «не так все это было, совсем не так» — применительно к истории вообще, — чрезвычайно увлекает нас и очень активно нами используется. Мы *переписываем* историю, чтобы взорвать привычные стереотипы, вывернуть их наизнанку и заставить задуматься над происходящим… Один критик из молодогвардейской когорты не понял этого (или не захотел понять) и в «Литературке» обвинил нас в невежестве: мы-де не знаем Евангелия, ведь ухо у нас отрубают не рабу Малху, а апостолу Иоанну… Не заметив эпиграфа, который мы специально поставили, чтобы не было сомнений на тот счет, что мы ничего не путаем и источники знаем. Но чудится нам, что «не так все это было»…

— Эпизод с Иудой меня вообще поразил, потому что я нашла в нем подтверждение тем педагогическим идеям, с которыми ношусь давно: о том, что высокий Учитель, настоящий мудрец, делает всегда так, что ученик прав. Вину берет на себя. Он сам создает ситуацию, от которой ученик уйти не может.

Б. С. — Это мысль тоже стоящая. Но у нас проще: Иуда, вообще говоря, выдумка. Не было никакого Иуды. Не было предательства. Все было горше и трагичней. Нам нравится гипотеза, что Христос сам руководит логикой событий. Ему нужно пробиться со своей истиной к народу. Его не слушали, не до него было. Единственная трибуна, с которой он надеялся говорить со *всеми,* был крест. И он посылает Иуду… Но и как вы — тоже трактовать можно и даже интересно.

Я решусь совсем немного развить свою трактовку.

Иуда нарисован несчастным, слабоумным изгоем, «дрисливым гусенком», прыщавым, вечно голодным гнуснецом, битым и гонимым с раннего детства. «Равви», Учитель, был первым, кто заговорил с ним ласково, хотя скудный мозг отрока Иуды не улавливал смысла слов Равви. Прочие ученики, а числом их было, как мы помним, двенадцать, травили, и били младшего, и глумились над ним по-прежнему. Но Учитель был неизменно ласков, он был защита, и любовь подростка Иуды, все его существо были отданы Равви без остатка. И однажды Учитель призвал Иуду и велел пойти и сделать нечто. Учитель сказал, что ему дадут денег, а он за это приведет стражников. Слабоумный Иуда много раз повторил урок

и запомнил. И Учитель похвалил его. А когда Иуда привел стражников — Равви *поцеловал* верного ученика своего, слабоумного Иуду.

Христос положился на самого ничтожного из учеников. На самого ничтожного и потому самого благодарного. Только *такой* мог выполнить *такую* волю Учителя.

Причиной многих бед было и будет аутсайдерство.

Причиной худших бед была, есть и будет *система* аутсайдерства, разработанная во всяком тоталитарном государстве. «Дедовщина» в армии — лишь частный аспект «дедовщины» в стране, «дедовщины», основанной на моральности силы.

Такова трагедия «флоры». Зеленый плевок общества, дети-«отказчики» в буквальном смысле уходят в природу: иные ценности, иные наслаждения, иная цивилизация. Настала эпоха, когда, по прогнозу моих собеседников, завершилась перестройка (два поколения, «сорок лет спустя»), настало благоденствие. Каким же предлагают нам *человека* эпохи благоденствия? Что делает общество с новой цивилизацией аутсайдеров? Общество, вооруженное своей правотой, моралью своей силы, идет на «флору» крестовым походом. Значит, что же? Никакая экономика, никакие производительные силы не изменят природы человека, его неистребимой ксенофобии, и вражда к чуждому, вражда к иному будет вечным проклятием тяготеть над нами даже тогда, когда исчезнут границы и потекут молочные реки? Неужто вовеки веков предстоит нам бояться и истреблять ЖУКА в МУРАВЕЙНИКЕ?

Борис Стругацкий: — Распространено мнение, что все неприятности, которые мы имеем, — это следствие того, что мы недостаточно хороши. Когда мы все будем нравственными и наше общество построим разумно, нравственно, справедливо, то все будет хорошо. Увы! До тех пор, пока некоторые вещи не выкорчеваны с корнем… Как бы ни было замечательно устроено общество, какие бы прекрасные и воспитанные люди его ни населяли, если в этом обществе возникает тайная полиция — не избежать смерти ни в чем не повинных людей.

— Но тайная полиция будет существовать до тех пор, пока в обществе будут тайны…

Б. С. — Вы правы! И поэтому тайная полиция будет существовать всегда. Я не могу представить себе общество без тайн. Но сама мысль о том, что можно построить такое общество, когда от всего нашего мрачного бытия останется *только* тайная полиция, — эта мысль оптимистична.

— Но ведь эта «малость» привела в вашем романе «Жук в муравейнике» к тому, что уничтожен зачаток иной природы. Новой жизни,

которая могла дать иное направление цивилизации.

Б. С. — У вас получается, что если Сикорски застрелил вестника иной цивилизации, — это трагедия. А если бы просто человека?

— Так это еще дурнее!

Б. С. — Почему же вы делаете акцент на могучем потенциале нашего обреченного персонажа, а не собственно на смерти человека? Вы ведете себя прямо как генерал-полковник Родионов. Слышали его выступление? Вместо того чтобы сказать: я военный человек, я получил приказ, и я его выполнил, и очень сожалею о том, что произошла такая беда… — вместо этого он начал с того, что в Тбилиси разгорелся антисоветский политический шабаш. И из этого как бы следует: тот факт, что людей убивали, оправдан. Шабаш — значит, нужно давить. Если гуляние — вот тогда нехорошо. И во всем эта замечательная логика: кричат на трибуне «Долой КПСС» — стрелять с-сукиного сына; а кричат «Да здравствует озеленение!» — не стрелять. И в голову ведь не приходит, что стрелять нельзя вообще!

— И вы все равно настаиваете на оптимизме? Несчастный Румата, который ничего не смог в этой жизни сделать, покинул поприще; и тайная полиция при коммунизме; и тянутся перед людьми «глухие окольные тропы», так с тех пор и тянутся, потому что не могут люди преодолеть ни себя, ни обстоятельств, а прозревшие погибают… И — никакой перспективы? И это оптимизм?

Б. С. — Оптимист не тот, кто считает, что завтра будет лучше, чем сегодня. В «Улитке на склоне» есть одна идея, которая для нас очень дорога. До того мы много писали о будущем. Пытались изобразить будущее страшное, в котором жить невозможно, от которого мы бежали; и будущее желанное, светлое, «коммунистическое», в котором нам хотелось бы жить. И вот только в 65-м году нам пришла в голову мысль, с которой сейчас мы уже сжились. Будущее не бывает ни хорошим, ни плохим. Оно никогда не бывает таким, каким мы его ждем. И будущее всегда чуждо. Если бы Пушкин попал в наш мир, он мог бы ему понравиться или не понравиться, но главным свойством этого мира он счел бы его чуждость. Абсолютную далекость. Огромное количество точек несоприкосновения. Понятия, которые в его жизни были чем-то ценным и важным, превратились в ничто. И наоборот. Вот что самое главное. «Лес» — это будущее. А «Управление» — настоящее. Такова расстановка символов. Кандид, человек настоящего, не способен сколько-нибудь разумно определять, что хорошо и что плохо. Нет никакого критерия для разумного определения нравственных норм. Всем сердцем своим он на стороне прогресса, как каждый интеллигентный

человек. Но в том мире прогресс выступает в такой форме, когда ничего, кроме отвращения, вызвать не может. Мы говорим: человечество отягощено огромным количеством пороков и язв, зла. Но оно просуществовало сто тысяч лет и доказало, что оно жизнеспособно. Через мор, глад, гибель культуры — через все проходило человечество. И я не говорю, что будет хорошо. Я говорю — БУДЕТ. БУДУЩЕЕ СУЩЕСТВУЕТ. Вот это и есть оптимизм конца XX века.

— Вы считаете себя последовательными? Не отказываетесь от своих прошлых идей?

Аркадий Стругацкий: — Нет. Частично они сыграли свою роль и угасли за ненадобностью. Но уже в «Стажерах» мы поставили вопросы, которые и впоследствии нас интересовали, и до сих пор интересуют. Мещанство. Мещанство и социализм. Мещанство и коммунизм. Мещанство и человечество. Роль мещанства. Можно ли ужиться с ним…

— Ну и как? Можно ужиться с мещанством или нет? Ваше мнение как писателя и как «бытового» человека? Может ли нормально развиваться общество, не изжив мещанства?

А. С. — Уберите пулеметы — и можно. Никакой страшной опасности оно не представляет. Эту идею высказал наш малолетний герой в «Гадких лебедях»: мы не собираемся разрушать старый мир, пусть он существует, сам по себе. С мещанством, с хиппи, со всем. А мы будем строить свой, параллельно, ничего не разваливая. Но и себе мешать не позволим.

— Значит, вы допускаете такой вариант благоденствия, когда часть общества будет только потреблять, и при этом без ущерба для общества в целом, для справедливости?

А. С. — Во-первых, потребительство — это не только мещанство, а мещанство — не только потребительство… А во-вторых, опасность потребительства существует в обществе слаборазвитом, голодном. В цивилизованном мире такой опасности нет уже сейчас. При условии параллельного развития экономики и культуры — а только такое развитие можно считать нормальным, — при условии лицейской, надежно обеспеченной государством системы воспитания я не вижу почвы для конфликта, условно говоря, мещанства и творческой части человечества. «Флора» — это тоже потребители. И лично мне, как и Борису, она отвратительна. Отвратительны хиппи, металлисты, панки. Но это физическое отвращение. Брезгливость. И это — наше личное отношение. Довольно исключительное дело. А стало быть, наша, а не их проблема. Родись мы не в такой семье, не пройди страшную войну, не ползай по трупам в блокаду, не примерзай мы мокрой спиной к стенке прокаленного

морозом вагона в эвакуацию… Может, и относились бы по-другому. Важно понимать: ситуация меняется. Лозунги, что труд облагораживает, а кто не работает, тот не ест, в экономически наполненном обществе теряют смысл. А если вы хотите созерцать, думать? А если вы хотите сидеть дома и воспитывать детей? Понятие работы меняется. Как меняются все понятия…

Борис Стругацкий: — А почему вы не спрашиваете ничего про Съезд народных депутатов,[45] про перестройку? Я ведь слушал все заседания, не пропуская ни одного, и во время нашего разговора записывал трансляцию на видео… Мне очень обидно, что со мной всегда говорят о будущем, о пришельцах, о множественности миров, всякая такая чепуха, как будто Стругацкие существуют совершенно отдельно от сегодняшнего дня. На одной писательской встрече мне даже хотелось крикнуть в зал: «Ну, спросите, спросите и меня о политике!»

— Хорошо. О Съезде. Что ваш оптимизм? Не пошатнулся?

Б. С. — Нисколько. Наоборот: неожиданным явилось то, что гласность живет. А до тех пор, пока гласность живет, даже вот такая урезанная, с выключенными микрофонами, с шиканьем и топаньем, пока она живет, мой оптимизм растет с каждым днем.

— А как же ваш тезис о тайной полиции? Гласность, благоденствие, все очень счастливы, а некий невинный человек будет получать пулю в лоб. Стало быть, и при гласности не будет справедливости?

Б. С. — Справедливость не так проста. В каком смысле вы употребили это слово, хотел бы я знать?

— В смысле — «каждому по делам его».

Б. С. — Тогда этого нет и никогда не будет. Возможна только такая ситуация, когда это правило выполняется для значительной части населения. Но никогда — для всех и каждого. А почему мы об этом заговорили? Мы ведь говорили о Съезде.

— Видимо, именно поэтому. Съезд и социальная справедливость.

Б. С. — Ну, сейчас мы от социальной справедливости далеки, как от Луны. И Съезд это продемонстрировал блестяще. Но как вы не понимаете: пока человек может на весь мир сказать все, что он думает, остальное второстепенно!

— Хорошо, гласность. Вот будут все говорить, что хотят. И дальше. И послезавтра. А потом? Сначала, конечно, было слово. Но не ограничилось же этим!

Б. С. — Развитие производительных сил накладывает отпечаток на деятельность всех правительств. Будут вырубать министерства и ведомства,

убирать разорительный шкив между производителем и едоком, будут! Назад дороги нет. В болота Брежнева вернуться нельзя. В концлагеря Сталина нельзя вернуться тем более. Потому что это — *экономические* тупики. Значит, остается одно — хочешь не хочешь — при вперед. Съезд в нашей реальности пока ничего изменить не мог. Но он продемонстрировал новый уровень гласности. Сахаров на весь мир сказал, что он думал. Это не-бы-ва-лое. И это самое главное.

— На него уже зашикали.

Б. С. — А вы обратили внимание на один замечательный эпизод? Когда после Сахарова выступил некто с антисахаровской речью и когда все это агрессивное большинство начало радостно хлопать и все встали, Михаил Сергеевич сказал Лукьянову — на весь мир: «Что и требовалось доказать». Сказал с грустью. С *горечью*. Десять лет назад мне и в голову не приходило, что я могу до такого дожить. Так что у нас есть все основания для пессимизма. Это верно. Но это не ново. А ново то, что и для оптимизма основания тоже есть.

Беседу вела А. Боссарт

Аркадий Стругацкий
«ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО…»[46]

…Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители детей, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? («Улитка на склоне».)

За что мы любим книги, в том числе и книги братьев Стругацких? Мы влюбляемся, если подумать, не столько в конкретные произведения и даже не в конкретных героев — сколько в самый мир автора, в его духовную вселенную. Главным героем в творчестве любимого писателя становится его мировоззрение. Тезис бесспорный и прочный, на все времена. Бери и руководствуйся!

Но сегодня времена особые. Кругом тысячи вопросов на единицы попыток найти ответы, стоит грохот, под ногами хрустят обломки вчерашних догм, в газетах гвалт мнений…

В такие дни особенно мечтается поговорить по душам с кем-нибудь из

умудренных жизнью, добрых и близких. Нет, не с проповедником, это осточертело, — просто со старшим другом, которого давно знаешь. Обстоятельно, честно, глаза в глаза. И может быть, побольше — послушать, поменьше — поспорить, а главное — понять. Увидеть наш общий мир его глазами, подумать, посомневаться… В конце концов, в спорах не рождается истина. В спорах рождается позиция.

Такой желанный старший друг, собеседник у каждого свой. У нас — писатель-фантаст Аркадий Стругацкий.

— Аркадий Натанович, как вы относитесь к гласности?

— Наверное, как все. Привыкаю, учусь. Нравится учиться, интересный предмет. Сегодня мы — и большинство граждан, и общество в целом — наконец-то двинулись расти до понимания и принятия глубоко диалектичного и конструктивного (да-да, и нигилизмом здесь не пахнет!) любимого Марксом девиза: «Подвергай все сомнению». Мог ли кто представить себе еще год назад, что отменят экзамены по истории в десятом классе! Учебники не годятся. Идет переоценка истории. И нечего здесь зря опасаться: чистое и ценное богатство прошлого не потускнеет, а шлак и накипь отстанут.

— Какие могут быть, по-вашему, гарантии необратимости перестройки?

— Я таких гарантий не знаю. Ни-ка-ких гарантий не знаю. Потому что эволюция, точнее — деградация хрущевского прообраза «перестройки» сделала лично меня пессимистом. Произошло все очень просто и, увы, неуклонно: бюрократизация именно тех самых верхов, которые и были поначалу заинтересованы по тем или иным причинам в возрождении экономи— ческом, культурном, начала набирать обороты уже тогда… Причем в культурном, литературном деле процессы разложения происходили быстрее, чем в экономике, потому что это легче.

Ну, а потом что получилось? Руководителями тогда были люди доброжелательные. О самом Никите Сергеевиче можно много доброго сказать: развенчание культа личности, жилищное строительство — ведь впервые с двадцатых годов люди вылезли из подвалов и бараков и начали, пусть и в «хрущобах», но все-таки жить как люди…

А затем у Хрущева появились всевозможные услужливые советчики, и началось все по-старому. Возомнил, полез на пьедестал, решил, что его мнение (а на самом деле часто мнение его советчиков) — единственно правильное… И начал лупить всех по очереди. Сначала уязвил творческую интеллигенцию, и опять вылезли попрятавшиеся было «лозунгисты». Затем умудрился запутать партийный аппарат, разделив на сельский и

промышленный. Не додумался Никита Сергеевич, что обкомы не должны заниматься конкретным руководством народным хозяйством, что они должны осуществлять общеполитическое, а не обще-общее руководство — получилось двоевластие и разнобой. Затем умудрился обидеть военных, отменив высшему и среднему комсоставу высокие пенсии… Все это накапливалось одно к другому и в итоге сослужило ему же самому соответствующую службу. Никиту Сергеевича сняли, и своевременно сняли. Но сняли как? Кулуарно, втихую. Переворот произошел внутри партэлиты, как будто и не народова ума это дело… Так и дальше пошло: народ — тут, верхи — там, связь через резолюции, указы да парадные съезды. Это уже не история — скорее, дворцовая хроника. Поставили «нашего дорогого» Леонида Ильича; Брежнев того «подкормил», тому дал Героя, то-се, пятое-десятое — глядишь, и армия за него, и КГБ в надежных руках. Словом, построил вокруг себя крепостную стену, лег и задремал… А от его имени отдавались приказы, один разрушительнее другого, возобновилось разложение в культуре, в педагогике, пошел ускоряться распад экономики. Ну, дальше вы помните.

— …И вот настал день сегодняшний.

— И перестройка началась, надо сказать, сразу глубже, на новом витке. Главным образом, мне кажется, потому, что сегодня шире социальная опора — и реформ, и реформаторов. Хотя дело идет, конечно, очень трудно. Это же борьба, а значит будут и победные реляции, и отступления, и грязь, и жертвы.

Первая атака перестройки удалась: это когда авангард нашел проходы и прорвал кольцо инерционного, сидевшего в глухой обороне политического мышления масс. Я, например, Апрельского пленума не понял поначалу, — не понял всего его значения и всего масштаба того, что произошло на XXVII партсъезде. Настолько мы привыкли в газетах вату жевать, что этот крик души Горбачева просто не дошел до меня. Я ведь читал его сначала по-брежневски, так сказать. Наши вожди в свое время повадились писать чудовищным размером, да и язык-то был — помните: «Наряду с имеющимися недостатками имеются…» Та-ак, про кого здесь? А, про рабочего… ага… это все еще про рабочего… А вот: «В педагогике мы имеем не совсем отрадную картину…» Ну, это я и без тебя знаю… И только потом, когда вчитался — да ведь сквозь старые слова пробивается такое новое, честное, откровенное, горькое содержание!.. — понял, что пахнет боем.

…Много фронтов вокруг перестройки. Кольцо фронтов. Всем нам надо под ружье — только так… И тут самый главный фронт — скрытый:

политическая пассивность, социальная пассивность. Страх прежде всего за себя. На этом страхе воспитаны и рабочий, и бюрократ.

— Неуловимые «враги перестройки»?.. На ваш взгляд, Аркадий Натанович, что это такое или кто это такие? С кем можно отождествить этот, уже не термин, а скорее зловещий ярлык?..

— Не надо только ярлыков, тем более зловещих. А противники — разные. Одни по долгу службы. Как солдат — враг супротивника, потому что имеет каску и автомат, принял присягу. Другие по долгу доверия, по долгу принадлежности к какому-то клану… Конечно, хорошо бы представить, как сын завзятого бюрократа говорит отцу: «Папа, ты не прав, я буду выступать против тебя!» Но это вообще-то малоправдоподобный случай. Главным тормозом перестройки являются, конечно, равнодушные. И это, представьте, две трети нашего народа.[47] Вот вам самое жуткое наследие Сталина, Хрущева, Брежнева… Все вместе они родили человека, который из гражданина советского стал «гражданин-сам-по-себе»: «Вы там как хотите, а я буду жить для себя!»

Как и во всякой революции, у нас идет не просто столкновение, как нас всегда учили, двух антагонистических классов. Спартак проиграл римской аристократии не потому, что оказался слабее патрициев, а потому, что огромное количество римского плебса, поколебавшись между Спартаком и аристократией, примкнуло к последней. И революция наша, семнадцатого года, победила не только и не столько потому, что большевики схватились с царизмом и крупной буржуазией, а потому, что сторону большевиков взяла отчаявшаяся от войны огромная масса людей. Вот и сейчас, в этой революции, кто победит: либо бюрократия, либо сторонники перестройки, — победит тот, к кому примкнут эти самые две трети народа.

Не следует сбрасывать со счетов уровень политического сознания этих двух третей. За 70 лет Советской власти политически воспитать полностью народ нам не удалось. Во-первых, попытки политического воспитания делались часто совершенно глупыми формами и способами (и «спасибо» здесь нашим забубенным пропагандистам…); а с другой стороны — даже самый умелый пропагандист не может семьдесят лет уверять, что вот ты сейчас еще потерпи, а завтра тебе будет-таки и сахар, и кофе, и все-все. С третьей стороны, этот же самый человек, наблюдая вокруг себя, что происходит — целые классы продуктов исчезают из продажи, куда-то подевались стройматериалы, нигде не добьешься запчастей к пылесосам, никто ни за что не желает отвечать, — этот человек логично становится аполитичным. Так ко всем прочим политическим, массово-

психологическим недостаткам и ущербности прибавляется еще полное равнодушие. Массам хорошо то, что им хорошо в эту секунду, а если вы нам это обещаете опять «завтра» — идите-ка вы туда-то!

— Аркадий Натанович, как, на ваш взгляд, появилось ли новое поколение — «перестроечное»?

— Вы рассуждаете как-то странно, как тот школьник о палеонтологии: «Да, вот жили позавчера динозавры, да померли вчера… А как человек появился? Сидела шимпанзе в клетке в зоосаду, пришел срок — елки-палки, у шимпанзе уже вся шерсть вылезла, обезьяна газету подобрала и читает…»

Слушайте, три с половиной года прошло всего, и каких три года! Да плюс влияния разные: семья — раз, школа, чаще всего, отвратительная — два, улица со своими подростковыми законами зла и справедливости по отношению друг к другу… И вы хотите, чтобы та борьба, которая идет между бюрократами и истинными коммунистами, которая идет над головами взрослых людей, — чтобы она успела проникнуть в сознание молодежи?! Инерция, социальная инерция будет продолжаться еще десятки лет, не надейтесь на скорые результаты. Единственное отличие молодежи — в ее среде нет бюрократии. Но структура похожа: есть ребята с чистыми, светлыми идеями, пусть порой наивными; есть всякие «паханы» и поклоняющиеся им, скрепленные улично-уголовной романтикой; и есть огромная масса равнодушных, которым вообще на все наплевать. И задача в том, чтобы перетянуть эти «две трети», образно говоря, к Крапивину. Как это сделать? Мировая педагогика две тысячи лет думает и не додумалась, а вы хотите, чтобы в три с половиной года все было додумано!..

— Много лет следим за вашим творчеством, за выступлениями в прессе, и, знаете, Аркадий Натанович, есть «белые пятна»… Можно вопрос?

— Ну, смелее.

— Как ваша семья, ваш отец — коренной ленинградец, оказались в тридцатые годы в Сибири?

— Очень простым способом. Натан Зиновьевич принадлежал к группе «десятитысячников», тех самых, которых партия в 1933 году послала на укрепление колхозов. Мой отец — старый партийный функционер, в партии с 1916 года, комиссар гражданской войны… И при всей его любви к искусству, которому он собирался посвятить свою жизнь: «Вот победим в гражданской войне — тогда и займусь», и он уже работал в Эрмитаже, был довольно известный искусствовед… Но вот партия сказала: «Надо». Натан Зиновьевич ответил: «Есть!» — и поехал в Прокофьевск.

— Как ему, старому большевику, ленинградцу, удалось не попасть под сталинские репрессии? Счастливый случай? Хотя о счастье тут говорить кощунственно…

— Репрессии часто имели облавный характер: брали списками, по целым предприятиям, сферам деятельности, райкомам; и если кто-то успевал уйти из данной сферы, в соответствующем списке на расстреляние его вычеркивали и вносили кого-то другого. В облаве часто важны были не фамилии, а количество. Известная нам всем старуха работала тогда не косой, а косилкой… Вскоре мы вернулись в Ленинград, отец поступил в Публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина и проработал до самой войны. Погиб в блокаду.

Мой дядя Арон Стругацкий был командиром кавалерийской бригады в гражданскую войну, погиб в боях с белогвардейцами, в Ростове. Самый младший дядя, организатор комсомола на Херсонщине Александр Стругацкий, в тридцать седьмом был взят, забит насмерть в НКВД. Так что и для нашей семьи это «белое пятно» — черного цвета…

— Аркадий Натанович, теперь все-таки немного о фантастике. Согласитесь, что если кто и двинул перестройку мощно вперед — так это публицистика. Хотя можно сказать и наоборот: перестройка двинула вперед публицистику. Во всяком случае, во многом способствовало делу и активное включение писателей-мастеров. Если посмотреть по именам: Бакланов, Распутин, Астафьев, Залыгин и другие — это все писатели-реалисты. Выступлений писателей-фантастов мало, да и они как-то все больше — о проблемах узкоцеховых. Показательны, на наш взгляд, и дискуссии читателей и писателей на свердловской «Аэлите»-88: все те же круги своя — тиражи, противные дяди-редакторы, «мои творческие планы» и т. д. Мы же всегда гордились: фантастика — самая впередсмотрящая литература. А наступили те самые «завтрашние пределы» — где фантасты?.. Почему фантастика сегодня робче реалистики?

— Гм… Внешне дело обстоит именно так, но давайте посмотрим на причины.

Да, Бакланов, Лакшин, Залыгин, Карякин, Астафьев, Битов и другие замечательно выступают, что и говорить… А вам никогда не приходило в голову, что они выступают потому, что им есть где выступать? А фантастике выступать *негде*. К фантастам *никто* не обращается. Из всех статей, заметок, прочих эпистолярных обращений в газеты и журналы, авторами которых являются писатели-фантасты, на страницы просачиваются лишь единицы. И только по поводу собственно жанра, что вы и заметили.

Прежде всего это обусловлено, во-первых, тем обстоятельством, что упомянутые корифеи располагают информацией. Я не знаю, каким образом это достигается. Я, скажем, не знаю, каким образом Залыгин смог ворваться в тылы злосчастных министерств — Минэнерго, Минводхоза и иже с ними. Другие авторы очень хорошо знакомы с истинным положением дел в агросекторе, третьи остро чувствуют или не прерывают связь с простыми людьми. Фантасты же «эн масс» являются по происхождению интеллигенцией из научно-исследовательских институтов, лабораторий и т. д., где они имели возможность видеть, в лучшем случае, что собой представляет советская наука.

Далее. Бюрократия вообще умеет хранить свои тайны. И нужно счастливое стечение обстоятельств, с одной стороны, и с другой стороны — очень большая пробивная сила, большой творческий авторитет, чтобы пробить ее каменные заборы. И тут вторая закавыка, которая имеет масштабы и последствия для нашего жанра трагические. Как бы ни были остры противоречия, которые раздирают сегодня традиционную литературу (а в ней, как всегда во времена революций, имеются крайне левое крыло, крайне правое и все остальное, то есть масса, которая заботится только о том, чтобы издаться), все-таки для власть имущих, в том числе и для тех, кто олицетворяет для нас перестройку, даже для прогрессивных партийных и хозяйственных руководителей фантастика как жанр по-прежнему ничто, фантастика — забава, писатель-фантаст «ничего умного» сказать не может. «Фантаст» — и сразу начинается хихиканье: «Да-а, он тут нафантазировал у нас…» Писателю Залыгину так не скажут.

И не в обиду лидерам перестройки это будет сказано, но к нашей общей досаде. Потому что отношение к фантастике у нас в стране традиционно еще со сталинских времен, и оно совершенно не изменилось. Фантастика просто не имела возможности полноценно проявить себя. А вот так называемые писатели-«деревенщики» начали проявлять себя еще в самые глубокие годы застоя. Они уже тогда выходили, могли пробиться, потому что тайно или явно, но находили себе поддержку доброжелателей, «спонсоров» даже в среде той бюрократии, которая влияла на средства массовой информации и, обладая каким-то минимумом гражданской совести, не могла не видеть и стыдилась за то, что вокруг происходит; порой рискуя и своим положением (самое главное для номенклатуры), все-таки давала возможность для таких выступлений.

А что такое «застойные явления» для фантастики? Для фантастики это, прежде всего, полное подавление всякого движения, начатого Иваном Антоновичем Ефремовым. Одно время это движение называли

«социальной фантастикой». Мы уже не будем говорить о том, что одно из самых мощных произведений Ефремова «Час Быка» было буквально раздавлено. И до сих пор, при всех восхвалениях и лицемерных воплях, которые издают определенные издательские круги по отношению к Ефремову, нашему единственному абсолютному классику в фантастике, они все равно стараются замолчать «Час Быка»!

Надо сказать еще об одном обстоятельстве. Дело в том, что, по моему глубокому убеждению, фантасты, как писатели, так и любители, — это читательская и писательская элита (не вся, конечно, но в большой массе своей). И их способ мышления, методология и мировоззрение в значительной мере определяются поисками, характерными для Достоевского и других больших русских классиков: в чем смысл жизни, каково соотношение между обстоятельствами и совестью, как я должен относиться к человеку, который меня бьет… Вот эта самая «интеллигентская элитарность» (ох, как часто у нас путают и подменяют *элитарность и адресность*, адресованность определенному читательскому кругу), при всей привлека— тельности для меня лично, — сослужила нам очень неприятную службу. Вот мы сейчас непримиримо деремся с застойными явлениями в издательской политике в области фантастики, и дело наше правое. Деремся и при этом интеллигентно мучаемся: ну, куда эти «застойщики» пойдут, если нам удастся согнать их с теплого места? А вот они — «более покрепче», чем мы. Им сомневаться нечего, потому что есть что терять.

Что, собственно, нужно любителю фантастики от жизни? Чтобы появля— лись книги, которые он мог бы читать с интересом, — не обязательно фантастические, но во всяком случае — Литературу. Для него в этом смысле, обратите внимание, перестройка уже произошла. То есть у него на работе безобразия могут, конечно, продолжаться, у него могут быть тысячи осложнений с жильем, с продуктами — но духовное питание он уже имеет! Видите, как непросто… «Элитчик» по определению обязательно должен встать на борьбу. Но борьба в духовной сфере для него сегодня более результативна, чем в иных. Потому что сегодня он читает Бека, завтра — Айтматова, послезавтра — Залыгина… Такие духовные, интеллектуальные, гражданские залежи выходят на свет божий!

И я так же наслаждаюсь, как и любой подготовленный, элитный читатель тем, что появляется в прессе и изданиях. И это здорово снижает накал протеста — не уничтожает его, но снижает. Потому что, как бы там ни было, для «элитчика» один из господствующих принципов его мировоззрения — «За державу обидно!» Но вот как раз буфером между «За

державу обидно!» как посылом к действию и самим действием, борьбой является рефлексия: «Ладно, обидно-то обидно, но, черт подери, смотри, какие книги выходят, какую правду пишут — думал ли я дожить до такого дня?!»

— Ну, это естественная «кислородная эйфория», но ведь она должна пройти, и тогда наступит адаптация?..

— Вот-вот, именно… Как долго это будет продолжаться, я не знаю. Как скоро количество новой, небывалой, оглушающей информации перейдет в качество и станет из буфера толчком, импульсом, «импетусом» к активным действиям — сказать трудно, и предсказывать не берусь.

Но можно быть твердо убежденным, что наша читательская элита — любители фантастики, эти несколько миллионов человек да плюс несколько десятков писателей — это, можно сказать, гвардейский резерв перестройки.

— Аркадий Натанович, нужно констатировать: как жить сегодня — знают пока немногие, как жить завтра — еще более немногие. Главным для фантастики до недавних пор был «анализ отрицания», то есть попытка понять, «что не нравится», понять и разложить по…

— Наоборот! Выразить! Не понять, а выразить — свое недовольство и попытаться его проанализировать! А не сначала — он понял, почему он недоволен, а потом начинает писать об этом… Большая ошибка многих читателей в том, что они думают так: писатель ходит, подсматривает — а! о! — реки собираются повернуть? Дай-ка я вот напишу, как они собираются повернуть Атлантический океан или Гольфстрим… Нет, наоборот все. Мне стало холодно, например, или комары заели… Или у меня ребенок заболел бруцеллезом. Или жена заболела бронхиальной астмой, а рядом завод дымит. И начинает писатель рефлексировать (да я и сам подписывал непрерывные петиции). Ведь яснее ясного для каждого человека: раз эта громадина воняет, отравляет людей — значит это не советское дело. Кто же здесь хозяин, в чем дело, почему? И вот от этого он начинает писать. Не дожидаясь, когда он все поймет.

А уже в процессе писания к нему начинают приходить разные мысли, порой очень крамольные… Здесь накручена масса разных проблем.

— Вот вы, Аркадий Натанович, в своих книгах чрезвычайно часто обращаетесь к теме выбора, а затем борьбы в одиночку. Вы говорите, что ваш оптимизм основывается на вере, что один человек может выстоять против машины принуждения, против системы, если он достаточно твердо убежден, а не говорит: «Что, мне больше всех надо?» Но ведь, по вашему же раскладу, этот «один» — случай малоправдоподобный…

— Всякая революция — это не только преобразование экономической системы. Революция — это война за души! Перевес войны за экономику над войной за души дал нам Сталина и все, что было после. Ежели наше руководство, прогрессивное коммунистическое руководство, не возьмется за это *революционно*, то даже если мы будем лет через десять… м-м… объедаться сахаром, запивая шампанским, — все равно толку не будет, к коммунизму мы не приблизимся. Коммунизм — это результат борьбы за души! И поэтому, образно говоря, я отдам с десяток прежних партийных секретарей за одного талантливого коммуниста-педагога.

Вот к вопросу о программе духовной перестройки общества. По-моему, этой программы сейчас быть пока не может. Программа эта должна явиться результатом огромного перелома и огромного прогресса в педагогике, которой у нас сейчас нет. Когда мы овладеем ею — совершенно невозможно сказать. Видите ли, в чем дело. У нас порядка полутора миллионов людей, так или иначе связанных с народным просвещением. А кто из них годится в педагоги? Вы что, своих учителей не помните? Как сменить эту гигантскую армию, кто их будет готовить — новых педагогов?!

— Значит, по-вашему, даже первый, подготовительный этап духовной перестройки откладывается или, точнее, растянется на десятилетия? Но ведь борьба во всякой революции скоротечна?

— Революция… Революция, как видите, только еще разгорается по-настоящему. Вот уже 70 лет она идет. Были времена: Колчак наступал — красные отступали, красные наступали — Колчак отступал. Но разгромом Колчака, как ни был он труден, сколько жертв ни взял, революция завершила только одну, крохотную фазу. Это же самое скоротечное — взять власть, самое легкое. Затем начинается борьба за удержание власти. После борьба экономическая: здесь тоже наступают, отступают, но этот процесс занимает десятилетия. И вот сейчас, после XIX партконференции, начнутся процессы, уже рассчитанные на полстолетия. Лично я от конференции особенно хотел одного — я называю это правильным решением.

— В чем оно?

— В обеспечении максимума благоприятствования всем экспериментаторам, прежде всего в педагогике. Сегодня эти смелые люди появляются не *потому что*, а вопреки. Значит, существуют в массах какие-то неведомые нам социально-психологические процессы, порождающие вдруг алмазы…

— Алмазы всегда рождаются в условиях сильного давления, высокой температуры…

— Вот мы и должны стремиться к такому положению, чтобы алмазы

появлялись у нас при комнатных температурах. Безо всяких давлений. Вот тогда такое будет достигнуто!.. Да только не будет ни вас, ни нас, — будут наши внуки. Может быть, тогда можно будет сказать, что коммунизм удался.

— Аркадий Натанович, что бы вы могли назвать «первой ласточкой перестройки» в вашей жизни? Конкретно.

— А-а-а… Первая живая ласточка! Это когда у нас сразу из двух журналов одновременно потребовали *любую вещь* — «какую дадите, такую и издадим». Ну-с, ладно, думаем… На тебе «Сказку о Тройке»! Никогда в жизни, понимаете ли, не поверил бы! Через месяц звонят: «Будем печатать в следующем году». «Что-о?!» — говорю… Ну, и пошло… А сейчас ощущение такое, что так и надо, так и должно быть. А может, это и правильно, может, так и должно быть! Наступила блаженная пора здоровой конкуренции между журналами…

На пресс-конференции в дни проведения «Аэлиты»-88 Аркадия Натановича спрашивали о необычной манере, форме произведений. Он тогда ответил: «Мы теперь не даем развернутой развязки произведения, мы обрубаем развязку. Начинаются подозрения в адрес редакции… Нет, товарищи, таков замысел: он может нравиться читателям, может не нравиться, но он нравится нам, и так мы, с вашего разрешения, будем продолжать работать».

Вот и мы, с позволения читателей, «обрубаем развязку», опускаем какие-то логические цепочки нашей беседы, предоставляя право что-то додумать и достроить самому читателю.

С писателем беседовали Н. Белозеров, С. Молодцов

Борис Стругацкий
«Я ХОЧУ ГОВОРИТЬ ТО, ЧТО Я ДУМАЮ…»[48]

В одной из повестей братьев Стругацких рассказывалось о том, как человеку не давали читать, и он умер… от голода. Это, разумеется, емкий символ: долгие годы в нашей стране писателям успешно «перекрывали кислород», а читателей сознательно держали на голодном пайке. Сейчас, когда положение в обществе изменилось (хочется надеяться, бесповоротно), нелишне будет перелистать некоторые страницы близкого прошлого. Тем более, что многое из того, что уже сегодня кажется ирреальным, безумным, химерическим, вчера еще было привычным, нормальным…

— Борис Натанович, в американской, кажется, энциклопедии фантастики о вас с братом говорилось: «С такого-то времени братья Стругацкие — „внутренние эмигранты“…» Ощущали ли вы себя действительно в таком состоянии?

— Да, безусловно. Я даже могу назвать достаточно точно момент: это осень 1963 года. После того, как произошла знаменитая встреча Никиты Сергеевича Хрущева с представителями творческой интеллигенции в Манеже, я впервые понял, сформулировал для себя в ясных словах, что во главе государства стоят враги культуры. До тех пор какие-то общие соображения на этот счет плавали у меня в голове, но никогда еще они не оформлялись настолько четко. Я понял, что эти люди — хорошие ли они, плохие, искренне заблуждающиеся или, наоборот, сознательные карьеристы, хапуги, делающие из своей власти кормушку, — кто бы они ни были — объективно они мои враги, враги того, что мне дороже всего, враги того, чему я служу. И, начиная с этого года, естественно, мы в своих произведениях не могли открыто говорить то, что думали.

— А вам самому никогда не хотелось сказать: «Все, дальше так жить нельзя, невозможно»…

— Никогда. Было несколько случаев в моей жизни, когда мои не то чтобы друзья, но хорошие знакомые говорили мне: «Борис! Хватит ваньку валять, что ты здесь торчишь? Такой-то уехал, такой-то уехал, а ты чего — ждешь, что тебя посадят?» Я ни в коем случае не хочу изобразить себя героем. Если бы я серьезно мог предположить, хоть на секунду, что меня действительно посадят, может быть, я и думал бы по-другому. Может быть.

Но поскольку так вопрос не стоял, об эмиграции я просто никогда не думал, неинтересно было рассуждать на эту тему. Понимаете, в этом было даже этакое молодое фанфаронство. Я произносил слова типа: «Почему Я должен уезжать? Пусть они уезжают. Моя страна, они ее оккупировали, насилуют, а я должен из нее уезжать? Нет, не будет этого, 'я это кино досмотрю до конца'» (такая фраза была у меня в ходу, я очень любил ее повторять, повторю и сейчас). И сегодня очень часто многие люди, можно сказать, совета у меня спрашивают: ну, как же все-таки? Сейчас реально можно уехать. Может, все-таки?.. Пока не поздно, пока еще дорога открыта?.. Я отвечаю им примерно так: я не уеду никуда, а вы решайте сами. У меня уже больше не хватает мужества отговаривать. Дело в том, что в 73-м, по-моему, году это со мной сыграло злую шутку. Один мой приятель пришел ко мне, показал вызов из Израиля и сказал: что ты мне посоветуешь? И я имел неосторожность изложить ему свою теорию. Я не знаю, сыграла ли моя речь какую-то роль, но во всяком случае он никуда не

поехал, а в 1974 году его посадили. Он отсидел, по-моему, четыре года в лагере, год в ссылке и, вернувшись, немедленно эмигрировал. С тех пор я советов «не надо ехать» не даю.

— Вы говорите, что прямой угрозы вы не ощущали. Но вас ведь, наверное, вызывали в КГБ, и неоднократно?..

— Какое там «неоднократно»! С КГБ я имел дело всего два раза. Один раз, когда посадили того самого моего приятеля, Мишу Хейфеца, о котором я вам сейчас рассказывал. Ленинградское КГБ тогда пыталось создать мощный процесс, с явным антисемитским уклоном, конечно. «Во главе» этого процесса должен был идти Ефим Григорьевич Эткинд, профессор Герценского института, вместе с ним — писатель Марамзин, а «на подхвате» должен был быть Миша Хейфец. Он не был членом Союза писателей, но он хороший литератор, автор нескольких любопытных книжек, прекрасный историк. Он имел неосторожность написать статью о Бродском. Написал, имея целью переправить ее за границу, и там она должна была стать предисловием к десятитомнику Бродского. Будучи человеком чрезвычайно легкомысленным, он дал почитать эту статью десяти или двенадцати знакомым, кончилось все это арестом. Это была чистая 70-я: «клеветнический текст», «изготовление, хранение и распространение». Клеветнического там было вот что: доказывалось, что дело Бродского состряпал ленинградский обком, и несколько раз употреблялась фраза «оккупация Чехословакии в 1968 году». Этого вполне хватило. Меня по этому делу вызывали дважды, причем первый раз держали восемь часов, по-моему. Сначала я говорил, что ничего не знаю, ничего не читал (как было, естественно, и договорено). Мне предъявляли собственноручно написанные Хейфецом показания, а я говорил: откуда, мол, я знаю, его это рука или нет. Потом я стал требовать очной ставки, два или три часа мне очную ставку почему-то не давали, мы со следователем беседовали о литературе. Он оказался большим знатоком литературы, он занимался литературой. Потом нам дали очную ставку, пришел веселый Миша, сильно похудевший, сказал, что свои показания подтверждает, что все так и было. Я сказал: раз Хейфец говорит, что было, то и я говорю, что было. Это была, разумеется, ошибка. Чудовищная наша зеленая неопытность сыграла здесь свою роль. Ни в коем случае нельзя было признаваться. Признаваясь таким образом, я подводил Хейфеца, этого я тогда не понимал, и Миша этого не понимал, до чего же зеленые были — это просто поразительно! КГБ только и надо было — набрать как можно больше людей, которые это читали. Чем больше людей, тем крепче дело об антисоветской клевете и о распространении… Потом Хейфеца увели,

начали составлять новый протокол. Мне намекнули, что я теперь у них на крючке, потому что дал ложные показания, а за ложные показания полагается срок… После чего меня отпустили, причем перед тем, как выпустить, следователь попросил сделать автограф на книжке «Понедельник начинается в субботу».

— А второй случай?

— А второй раз, спустя год или два, меня вызвали в прокуратуру Куйбышевского района, но когда я увидел человека, который меня вызвал, я сразу понял, что это человек из КГБ, — моментально. Он задавал мне вопросы про одного человека, спрашивал, давал ли тот мне читать какие-нибудь тексты? Я говорил: нет, ничего не давал. И, что самое замечательное, я действительно забыл, что этот человек давал-таки мне тексты. И уже потом, когда вышел, когда отъехал пять остановок на метро, облился холодным потом — какое счастье, что я только сейчас вспомнил, врать ведь противно, да и трудно — органы это обстоятельство всегда использовали умело и энергично. Так что всего два контакта было у меня с КГБ, и, как видите, вовсе не по поводу нашей работы. Волновало меня в этих историях другое — что-нибудь ненароком не ляпнуть, не подвести людей, а остальное…

Ну, что КГБ мне мог сделать? Максимум — написать на работу, написать в издательства. Это они могли и, может быть, даже делали. Было время — это была как раз середина 70-х — когда издательства перестали с нами заключать договоры вообще. Было время, когда на сберкнижке у меня осталось сто рублей — я очень хорошо это помню — и ни одного договора, и абсолютно никаких перспектив. Но это не означало, что мы с голоду помирали. Да, был такой очень тяжелый момент, я был вынужден продать коллекцию марок, которую собирал двадцать лет. Эти деньги помогли мне продержаться два или три года — до того момента, когда пресс (не знаю уж, по какой причине) ослаб, начали появляться какие-то повестушки, в журналах нас стали печатать, потом дали возможность работать в кино. В общем, тяжелые два-три года миновали. У Аркадия Натановича коллекции марок не было, и он просто поступил на работу, два или три года проработал редактором в Госиздате и таким образом продержался.

— Кажется, именно в эти годы вы работали над повестью «За миллиард лет до конца света»?

— «Миллиард…» был, конечно, прямым следствием всех этих событий. Как вы помните, в повести создана такая обстановка, что человек поставлен перед условием: либо ты бросишь заниматься любимым делом, либо из тебя сделают дерьмо… Нам, конечно, пришлось замаскировать всю

эту ситуацию под Гомеостатическую Вселенную…

— В этой повести «под давлением» оказалось несколько человек, ученых. С кем из них вы себя более всего отождествляли?

— Ну, естественно, с главным героем, с Маляновым.

— А позиции, поступки остальных?

— Это позиции, так сказать, теоретически мыслимые. У каждого из этих людей есть прототипы, но у прототипов взяты черты, не имеющие отношения к проблеме… ну там объем, вес, рост, манера говорить, образ жизни. Но это вовсе не означает, что прототипы когда-нибудь оказывались в такой ситуации выбора.

— Почти все эти ваши герои, кроме одного, в конце концов уступают «давлению», сворачивают работу. Как вы к этим финальным поступкам относитесь?

— Я не могу сказать, что мы испытываем антипатию хотя бы к одному из героев: каждый поступает в меру своих возможностей. Нельзя же человека осуждать за то, что он, скажем, не способен прыгать в высоту на два метра…

— Однако один из ваших героев, Вечеровский, находит в себе силы сопротивляться «давлению».

— Ну, так это Вечеровский — одинокий, свободный Вечеровский, человек особого класса, для которого главное — соблюдение внутреннего достоинства. Недаром нам говорили: это вы изобразили Сахарова! Нет, это нельзя, лучше перенесите действие в Соединенные Штаты, тогда можно будет печатать (как, помнится, сказали нам тогда в «Авроре»).

— То есть политические аллюзии редакторами были поняты однозначно?

— Конечно. Что же редакторы у нас дураки, что ли? Все всё прекрасно понимали, имейте это в виду. То есть были, конечно, какие-то зоологические идиоты, но я о них не говорю. А все редакторы, с которыми мы регулярно имели дело, понимали всё и всегда. Они могли с нами не говорить на эту тему, могли делать вид, что ничего не поняли. Точно так же, как и начальство, читавшее после них. Это был некий безмолвный уговор: мы не будем называть вещи своими именами, и если данную повесть Стругацких можно защитить перед начальником — значит, ее можно печатать. Однако стоило хоть кому-нибудь произнести вслух то, о чем все молчали, — беда!

— Говорят, что и «Хищные вещи века» первоначально были созданы не на «зарубежном», а на отечественном материале…

— Нет, это было только задумано на отечественном материале. В ту

пору Аркадий Натанович Стругацкий с женой съездили на один экзотический островок в Рижском заливе, и когда была придумана идея повести — о некоем супергаллюцинаторе, который заменяет полностью реальный мир, — то первый импульс был: вот, на этом острове все и произойдет. Первый сюжет мы начали пристраивать туда, но потом поняли, что экзотический остров — это прекрасно, но все-таки лучше город. Большой, яркий, сладкий город. Нам очень важным показалось, что наш «слег» пришел не просто куда-нибудь, а именно в сытое общество — а наше общество никогда не было сытым. Но надо сказать, мы все время имели в виду, когда писали, наше общество через два или три десятилетия: нам тогда казалось, что через два-три десятка лет мы достигнем благосостояния, и эти вопросы встанут во весь рост (так нам казалось, по наивности нашей). Надо отдать должное орлам из издательства «Молодая гвардия», — они нас быстро раскусили…

— И потребовали переделок книги?

— «Завернул» эту вещь по «идеологическим» мотивам Главлит. Слова были произнесены вслух, и я приехал в Москву и был вызван на редсовет издательства «Молодая гвардия», во главе которого стоял нынешний министр культуры РСФСР Мелентьев.

Я помню, что они все там говорили. Некий Гусев (по-моему, тот самый, который сейчас стал литературоведом) со священным ужасом говорил: «Вы подумайте, что вы написали!» И цитировал. А первоначальный вариант текста был такой: «Дурака у нас лелеют, дурака у нас любят». «Вы понимаете, что может подумать человек, прочитав? — говорил он мне. — Я-то понимаю, что вы хотите сказать. Но читатель может подумать, что это про нас!» Я (стараясь не краснеть): «Да нет, да почему же, естественно, это про них». Он: «Ну, вы так и напишите — „у них“». Я (с фальшивым азартом): «Хорошо, конечно, так и напишу: „Не у нас, а у них“». Часа два шла такая дребедень, и я думаю, что книжку нам запороли бы обязательно, если бы не одно счастливое обстоятельство. Мелентьев уходил в этот момент на повышение, его как бы уже не существовало в этом издательстве. Ему было наплевать. Авторы согласны на какие-то изменения? Ну и хорошо, пусть внесут, и выпускайте… Мы внесли изменения, и книжка вышла.

— Сейчас, кажется, нет ни одной вашей вещи, которая бы не издавалась и переиздавалась. Произведения, написанные в 60-е, оказались ко двору сейчас, во времена «второй оттепели», нового всплеска политической активности. Кстати, не предлагали ли вам баллотироваться в народные депутаты?

— Меня приглашали баллотироваться и от Мурманска, и от Ленинграда, однако, трезво все взвесив, я принял совершенно разумное, как я теперь понимаю, решение: отказаться.

Для того, чтобы заниматься политикой, надо все же быть человеком определенного склада. Надо очень любить всех людей вообще, а я этого не умею. Кажется, у Эйзенштейна есть прекрасная фраза. Он сказал: «Я не друг человечества, я враг его врагов». Я эту позицию вполне разделяю. А для того, чтобы быть настоящим, честным народным избранником, надо сильно любить человечество, всего себя отдавать этому делу, это значит: надо очень часто говорить не то, что думаешь.

Что, вообще говоря, представляет собой член Верховного Совета СССР? Это человек, главное назначение которого создавать законы. Но каждый из них является народным депутатом, значит, должен немалую часть своего времени отдавать разбору совершенно частных жалоб (у меня не чинят канализацию, у меня провалилась крыша…), и он должен все это пропускать через себя. И если я еще могу для себя представить участие в законотворческой деятельности — я человек теоретического склада, хотя я не разбираюсь во многих вещах, но, черт побери, разобрался бы, вот у меня лежат книги по экономике… То есть с этой задачей я бы справился, но с задачей каждодневной депутатской деятельности… это не для меня.

Вместо того, чтобы сказать человеку: слушай, голубчик, ты на себя посмотри, ты ведь сам ни хрена не делаешь, только на всех жалуешься вокруг… я должен был бы говорить: да-да, конечно, это очень важное дело, я должен разобраться.

Вместо того, чтобы прямо сказать: так называемый «социализм», который мы построили, ни к черту не годен, он не принесет ни счастья, ни справедливости, что если уж вам угодно выбирать только из двух слов, то, конечно, надо выбирать «капитализм», потому что он доказал свою жизнеспособность, доказал, что дает большее количество справедливости… вместо этого я, будучи народным депутатом, политиком, коему должно заботиться о своем рейтинге у избирателей, должен был бы говорить: да, конечно, с одной стороны, то-то, но в то же время, с другой стороны, се-то… Нет, я не хочу этого. Этот путь не для меня. Я хочу, наконец, говорить только то, что я думаю. Хочу говорить то, что я хочу говорить, и не стану говорить того, чего говорить не хочется.

Беседу вели Роман Арбитман, Вадим Казаков, Юрий Флейшман

ДЕВЯНОСТЫЕ…

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ, ИЛИ «КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?..»[49]

1. Кажется, Марк Твен сказал: «Девятнадцатый век отличается от двадцатого, главным образом, тем, что в девятнадцатом слова ОПТИМИСТ и ДУРАК не были синонимами. Двадцатый век приучил нас к тому, что сбываются только мрачные пророчества, а ошибки в прогнозах происходят лишь в дурную сторону».

Впрочем, может быть, так было всегда? Не случайно же возник «основной парадокс футурогностики»: все хотят знать будущее, но никто не хочет знать правды о будущем.

Лет пятнадцать назад мы впервые задумались над вопросом: возможно ли стабильное общество, в котором высокий уровень благосостояния сочетается с полным отсутствием свободы слова и мнений. Нам представлялось тогда, что наше общество движется именно в этом направлении — во всяком случае, с инакомыслием у нас было уже покончено, а достижение благосостояния казалось делом техники (как в переносном, так и в прямом смысле этого выражения).

Безусловно, такое состояние общества выглядело бы идеальным с точки зрения любой Административно-Командной Системы (АКС).

Самые широкие народные массы материально полностью ублаготворены; научно-технический прогресс денно и нощно поддерживает достигнутый материальный уровень и, более того, всячески норовит его повысить; хорошо оплачиваемые деятели литературы, кино, театра и прочей культуры воспевают существующий порядок и развлекают почтеннейшую публику высоконравственными притчами, поучительными историями и точно выверенными по глубине экскурсами в прозрачные рощи души Нового Человека… Господи, да это же Эдем — в натуральную величину и притом рукотворный, созданный по мановению и благодаря АКС! Всякий инакомыслящий, всякий противник существующего порядка вещей, всякий критик АКС выглядит в этой системе попросту чучелом гороховым, он, собственно, даже не опасен, он смешон.

Мы до сих пор толком не понимаем, почему, но такой мир, видимо,

невозможен. Во всяком случае, ни одной АКС в истории человечества создать такой мир не удалось ни в античные времена, ни в эпоху НТР.

Любопытно знать, как отнесся бы к такому устройству мира Томас Мор? Или Фрэнсис Бэкон? Сочли бы они такое устройство общества утопическим? С точки зрения Герберта Уэллса, это — типичная антиутопия. С точки зрения Карела Чапека или Евгения Замятина — тоже. А с точки зрения Кампанеллы?

Представления о том, каким мир должен быть, а каким не должен, в каком мире хочется жить, а в каком — страшно подумать, к чему человечеству надобно стремиться, а от чего бежать, — представления эти меняются от эпохи к эпохе разительно, диаметрально, так что кажется иногда, что добро и зло в представлении человека способны меняться местами.

Хотелось бы нам жить в Городе Солнца? Упаси бог! Всю жизнь свою провести в казарме?.. Ни за что.

А в мире «Туманности Андромеды»? Трудно сказать… Холодно. Стерильно чисто и холодно… А вам, читатель?

Кстати, а сами авторы утопий захотели бы оказаться в мирах, ими созданных?

Утопия и антиутопия — это не антонимы. Утопия — это мир, в котором торжествует разум. Антиутопия — мир, в котором торжествует зло.

Создатель утопии всегда руководствуется рассудком, создатель антиутопии — чувством.

Автор утопии рисует мир, каким он ДОЛЖЕН быть с точки зрения разумного человека, автор антиутопии изображает мир, в котором СТРАШНО ЖИТЬ.

Поэтому, на наш взгляд, правильнее все же говорить не об антиутопии, а о романе-предостережении. Этот термин более отвечает содержанию соответствующих литературных произведений да и сути авторских намерений.

Пусть поправят нас специалисты, но нам кажется, что утопия родилась очень давно, а умерла в XX веке. Что же касается романа-предостережения, то родился он на грани XIX и XX веков и умрет не скоро, ибо литература вкусила от сладкой горечи и познала болезненное наслаждение мрачных пророчеств.

Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья, Бессмертья, может быть, залог!

Или, может быть, с помощью романов-предостережений мы

ЗАКЛИНАЕМ наше будущее, чтобы оно минуло нас, заклинаем катаклизмы, чтобы они не состоялись, — дикари двадцать первого века! — НАЗЫВАЕМ зло, чтобы отпугнуть его?..

Во всяком случае, практическая прогностическая польза от романов-редостережений ничтожна. Разве удалось крупнейшим литераторам начала века предостеречь нас хоть от чего-нибудь? Разве сумели они предугадать и «вычислить» тот рукотворный ад, в который погрузилось человечество двадцатого века?

Ведь и Уэллс, и Хаксли, и Замятин в конечном счете оказались не столько глубокими мыслителями, сколько великими поэтами, не столько футурологами, сколько прорицателями в самом что ни на есть античном смысле этого слова. Они почуяли страшную угрозу, почуяли трупный запах из будущего, но кто будет гореть на кострах, кто будет корчиться на дыбе, какой Сатана станет править бал и почему это все произойдет, они не поняли и не угадали.

Они видели, какую апокалиптическую угрозу таит в себе победное вторжение научно-технического прогресса в косный мир, едва-едва начавший освобождать себя от морали и догм перезревшего феодализма. Они догадывались, что это такое: вчерашний раб, сегодняшний холоп за штурвалом боевого летательного аппарата или — хуже того — за пультом машины государственного управления. Именно в научно-техническом прогрессе видели они главную опасность, ибо им казалось, что наука всемогуща, а всемогущество в лапах дикаря — это гибель цивилизации. И самое страшное, что виделось им за горизонтом, — это превращение человека в робота, исчезновение индивидуальности, номера вместо людей, рационализация чувств и надежд, программируемый механизм вместо общества — по сути дела им виделся все тот же Город Солнца, но выстроенный самыми современными физиками, химиками, биологами, математиками под управлением самых современных (извечно безжалостных) политиков…

Однако мы знаем теперь, что реальность оказалась гораздо страшнее, чем эти их сумрачные прорицания. Опыт гнусных тоталитарных режимов XX века обнаружил, что с человеком может происходить кое-что похуже, чем превращение в робота. Он остается человеком, но он делается ПЛОХИМ человеком. И чем жестче и беспощаднее режим, тем хуже и опаснее делается массовый человек. Он становится злобным, невежественным, трусливым, подлым, циничным и жестоким. Он становится рабом. (Похоже, мыслители конца девятнадцатого подзабыли, что такое раб, — двадцатый век напомнил им об этом.)

2. Любой тоталитарный режим стоит — как на железобетонном фундаменте — на идее беспрекословного подчинения.

Беспрекословное подчинение установленной идеологии.

Беспрекословное подчинение установленному порядку.

Беспрекословное подчинение установленному свыше начальнику.

Человек свободен в рамках беспрекословного подчинения. Человек хорош, если он не выходит за рамки беспрекословного подчинения. Человек может быть назван умным, добрым, честным, порядочным, благородным, ТОЛЬКО лишь пока он не вышел за рамки беспрекословного подчинения…

Шла дрессировка. На гигантских пространствах Земли и на протяжении многих лет шла титаническая дрессировка миллионов. Слово «роботы» не было тогда еще в ходу. Слово «программирование» было неизвестно либо известно только самым узким специалистам. Так что это следовало бы называть ДРЕССИРОВКОЙ ЧЕЛОВЕКОВ, но называлось это ВОСПИТАНИЕМ МАСС.

Человек, как и всякое живое существо, включая свинью и крокодила, поддается дрессировке. В известных пределах. Его довольно легко можно научить называть черное белым, а белое — красным. Он, как правило, без особого сопротивления соглашается признать гнусное — благородным, благородное — подлым, а подлое — единственно верным. Если его лишить информации и отдать — безраздельно! — во власть тайной полиции, то процесс дрессировки можно вполне успешно завершить в течение одной-двух пятилеток. Если установить достаточно жесткое наказание за выход (сознательный — невольный, от большого ума — от явной глупости, с целью подрыва или без — все это несущественно) из рамок беспрекословного подчинения, то человека можно даже приучить думать, что он живет хорошо (в полуразвалившейся избе, с лопухами вместо яблонь и с пенсией одиннадцать рублей ноль четыре копейки). Только не надо церемониться! Если враг не сдается, его уничтожают. Если друг — тоже.

Джордж Оруэлл ничего не предсказал. Он только фантазировал на хорошо уже разработанную тему — разработанную до него и не им, а специалистами-дрессировщиками по крайней мере четырех стран. Но он правильно НАЗВАЛ то, что происходило с дрессируемым человеком. Он ввел понятие «двоемыслие» (double think).

В тоталитарном мире можно выжить только в том случае, если ты научишься лгать. Ложь должна сделаться основою всех слов твоих и всех

поступков. Если ты сумеешь ВОЗЛЮБИТЬ ложь, у тебя появится дополнительный шанс на продвижение вверх (вкуснее жрать, пьянее пить, слаще спать), но как минимум ты должен НАУЧИТЬСЯ лгать. Это не даст тебе абсолютной гарантии выживания (в тоталитарном мире абсолютной гарантии нет вообще ни у кого), но это увеличит вероятность благоприятного исхода, как сказал бы специалист по теории вероятности.

Воображение рисует целые поколения людей «со скошенными от постоянного вранья глазами». Действительность проще и скучней. (Действительность всегда скучнее воображения, поэтому мы зачастую не понимаем прорицаний даже тогда, когда они по сути своей верны.) Действительность демонстрирует нам хорошо выдрессированного человека, у которого способность и умение лгать перешли уже на уровень инстинкта. Он всегда и совершенно точно знает, что можно говорить и что нельзя; когда надо разразиться аплодисментами, а когда надо сурово промолчать; когда СИГНАЛИЗИРОВАТЬ в инстанции надлежит немедленно, а когда можно рискнуть и воздержаться; когда задавать вопросы совершенно необходимо, а когда нельзя их задавать ни в коем случае. Без всякой специальной подготовки он годен работать цензором. И даже главным редактором. И вообще — идеологом. Он до такой степени пропитан идеологией, что в душе его не остается более места ни для чего другого. Понятия чести, гуманности, личного достоинства становятся экзотическими. Они существуют только с идеологическими добавками: честь — РАБОЧАЯ, гуманность — ПРОЛЕТАРСКАЯ, достоинство — ПОДЛИННОГО АРИЙЦА.

Поскольку ложь объявлена (и внутренне признана!) правдой, правда должна стать ложью… ей просто ничего более не остается, как сделаться ложью… у нее вроде бы попросту нет другого выхода…

Однако дрессированный человек, раб XX века, находит выход. У него арестован и расстрелян — «десять лет без права переписки» — любимый дядя, убежденный большевик с дореволюционным стажем, который, разумеется, ни в чем не виноват, он просто НЕ МОЖЕТ быть в чем-либо виноват!.. Но в то же время ОРГАНЫ НЕ ОШИБАЮТСЯ, они просто НЕ МОГУТ ошибаться… И остается только одно: хранить в сознании обе эти ПРАВДЫ, но таким образом, чтобы они никогда друг с другом не встречались. Вот это искусство не позволять двум правдам встречаться в сознании и называется двоемыслием.

Двоемыслие помогает выжить. Двоемыслие спасает от безумия и от смертельно опасных поступков. Двоемыслие помогает сознанию рационализировать совершенно иррациональный мир. Двоемыслие

поддерживает в глупом человеке спасительный уровень глупости, а в ловком человеке — необходимый уровень нравственной увертливости. Двоемыслие — полезнейшее благо — приобретенное свойство дрессированного человека. Оно продляет жизнь в условиях тоталитарной системы. И оно продлевает жизнь самой тоталитарной системы. Ибо, окажись человек неспособен к двоемыслию, тоталитарные системы вместе со своими подданными убивали бы сами себя, как убивают себя штаммы наиболее беспощадных вирусов, вызывающих пандемии.

Почему никто из великих прорицателей начала века не предсказал этой пандемии двоемыслия?

Может быть, они были излишне высокого мнения о человеческих существах? Нет, этого не скажешь ни об Уэллсе, ни о Хаксли, ни о Замятине.

Может быть, такое явление было слишком трудно себе представить? Может быть, находилось оно за пределами воображения? Отнюдь нет! Все это уже было в истории человечества — в эпоху тираний, рабовладения, да и недавно совсем — во времена средневековья, инквизиции, религиозных войн…

Видимо, в этом все и дело. Это было недавно. Память еще жива. Пример и назидание. Прошлое не повторяется. Прошлое миновало навсегда. Прошлое понято, все дурное в нем сурово осуждено — раз и навсегда. Грядет новое время, новый страшный мир — все новое в этом мире будет страшно и все страшное — НОВО!

Оказалось — нет. Страшное оказалось НЕОПИСУЕМО страшным, а вот новое оказалось не таким уж и новым. Просто, как и в добрые старые времена варварства и невежества, все население опять разделилось на дураков и подлецов.

3. Дураки, как и встарь, не понимали, что с ними происходит, и дружно кричали, когда требовалось: УРА! ХАЙЛЬ! БАНЗАЙ! ОГНЯ! ЕЩЕ ОГНЯ! Со всех сторон их убеждали, что они самые лучшие, самые честные, самые прогрессивные, самые умные, — и они верили в это и были счастливы тем особенным счастьем, которое способны испытывать именно и только дураки, когда им кажется, что они наконец попали на правую сторону.

Подлецы… На самом деле в большинстве своем они были вовсе и не подлецы никакие, а просто люди поумнее прочих или те, кому не повезло, и они поняли, в каком мире довелось им очнуться. Мы называем их этим поганым словом потому только, что самые честные из них и беспощадные к себе называли себя именно так. Разве же это не подлость (говорили

они) все знать, все понимать, видеть пропасть, в которую катится страна, мир, и — молчать в общем хоре, а иногда даже не молчать — безголосо раскрывать рот, дабы не уличили тебя во внутреннем эмигрантстве?..

Были, разумеется, и святые («Разве мы не люди?»). Из подлецов не было дороги в дураки, нет такой дороги у человека. Была дорога в палачи и была дорога в святые. Святых было меньше. Несравненно меньше.

«Разве мы не люди?» Это — Герберт Джордж Уэллс. Самый замечательный писатель среди фантастов, самый блистательный фантаст среди писателей.

«Не ходить на четвереньках — это Закон. Разве мы не люди?

Не лакать воду языком — это Закон. Разве мы не люди?

Не охотиться за другими людьми — это Закон. Разве мы не люди?..

А тот, кто нарушает Закон, возвращается в Дом Страдания!..»

Страшный седой доктор Моро тщился с помощью окровавленного скальпеля превратить животное в человека, погрузив в горнило невыносимых страданий. Какая странная идея! И какая знакомая!

«Остров доктора Моро» был опубликован в 1896 году, а в двадцатом веке в нескольких странах разом была предпринята грандиозная попытка превратить в навоз целые народы и вырастить на этом навозе Нового Человека, пропустив его предварительно через горнило страданий.

И горели над целыми странами разнокалиберные заклинания:

Труд есть дело чести, дело доблести и геройства! (Разве мы не люди?) Arbeit macht frei! (Разве мы не люди?) Хакко-итиу! Восемь углов Вселенной — одна крыша!

Наша цель — коммунизм!

Wir ein Volk retten will kann nur heroisch denken!

Из-под скальпеля Моро выходили: гиено-свинья, леопардо-человек, человеко-пес… Дрессировщики двадцатого века создавали монстров духа, целые поколения нравственных хамелеонов, души которых представляли собой противоестественный сплав Десяти заповедей, четырех Главных указаний и самой передовой в мире Идеологии… Они мучили и увечили людей, как подопытных животных, тщась сделать их счастливыми…

Новый человек не спешил появляться. С плакатов и ярких лакированных картин он смотрел на это стадо химер — голубоглазый, белокурый, могучий, уверенный в себе и в ослепительном будущем, где людей не будет вовсе — будут Новые Человеки, и время наконец «прекратит течение свое».

Вряд ли Уэллс хотел что-то предсказать своим ранним романом. Скорее, он хотел выразить свой страх перед реальностью и ужасные

предчувствия свои. А получилось Прорицание — самого высокого уровня достоверности, самого глубокого проникновения в суть вещей и событий.

Авторы антиутопий начала XX века ошибались прежде всего потому, что боялись главным образом потери свободы — свободы мысли, свободы выбора, свободы духа. Им казалось, что это самое страшное — потерять свободу мысли и свободу распоряжаться собою.

Выяснилось, однако, что никого, кроме них, это не пугает.

Выяснилось, что массовый человек не боится потерять свободу — он боится ее обрести.

Выяснилось, что «век пара и электричества, век просвещения и свободы» не уничтожил феодализма, он даже не ослабил и не обескровил его. Феодализм выстоял и в двадцатом веке дал последний арьергардный бой — тем более жестокий, что на вооружение оказались взяты и пар, и электричество, и все прочие плоды Века Просвещения.

Нас учили, что фашизм был реакцией монополистического капитала на Октябрьскую революцию. Ничего подобного. Все известные нам тоталитарные режимы, включая немецкий фашизм и казарменный социализм, были последней отчаянной попыткой феодализма отстоять свои позиции, отбросить надвинувшийся капитализм, уничтожить его там, где он не успел еще окрепнуть, вернуть старые добрые времена патернализма, когда над каждым холопом стоит свой барин-отец, а над всеми — батюшка-царь.

Не случайно же наиболее жестокие тоталитарные режимы возникли именно в тех странах, где свежи еще были воспоминания о монархии и где ненависть к капитализму — с его беспощадной рациональностью, с его равнодушием ко всему, кроме прибыли, с его ужасающими кризисами — была особенно сильна.

Ведь феодальные отношения складывались веками. На протяжении многих десятков поколений были холопы, и у каждого холопа был барин, и каждый барин, в свою очередь, тоже был чьим-то холопом (в том или ином смысле), и была не только пирамида последовательного ограбления, но и пирамида покровительства и ответственности выше стоящего за стоящего ниже…

Человеческое сообщество нашло — как всегда, методом проб и ошибок, жестоких проб и кровавых ошибок — некое устойчивое состояние, соответствующее и уровню производительных сил, и массовой психологии миллионов, и это состояние оказалось в высшей степени устойчивым! Каждый отдавал — добровольно! — огромный кусок своей свободы в обмен на небольшой, но верный кусок хлеба и некоторую

уверенность в завтрашнем дне. (Такова была еще совсем недавно цена того, что сейчас мы называем социальной защищенностью.) Правда, когда кусок хлеба становился слишком уж мал или исчезала уверенность в завтрашнем дне (кровавый кретинизм суверенов, чрезмерно затянувшиеся войны, проигранные войны, чума), равновесие нарушалось, и чудовищные по жестокости бунты сотрясали целые страны, но это лишь кровавые *минуты* истории, а на протяжении многих и многих *часов* пирамида общественного устройства стояла неколебимо, ибо в сущности много ли человеку надо? Ежедневный ломоть хлеба да какая-нибудь уверенность в завтрашнем дне.

Ранний капитализм эту устоявшуюся систему отношений разрушал без всякой пощады и вышвыривал вчерашнего раба на улицу, давая ему полную свободу действий и лишая его при этом каких-либо гарантий. Это было страшно. Это было непостижимо. Это невозможно было вынести!

И вчерашний раб восстал.

Назад! Назад, в крепостное рабство, в теплый вонючий закуток — прижаться к барскому сапогу, барин суров, но милостив, он выпорет на конюшне, он отберет все, что ты заработал, но если ты не заработал ничего, он же и не даст тебе сдохнуть с голоду в этом жестоком равнодушном мире, где правят теперь потерявшие человеческий облик и самоё веру в Бога жестокие и равнодушные дельцы.

Барский сапог не замедлил объявиться. В разных странах явление его сопровождалось процессами не всегда сходными, и речи обладателя сапога звучали не одинаково в Германии, скажем, или в России. Однако потерявшие человеческий облик и веру в Бога дельцы были взяты к ногтю повсюду и все — будь они разжиревшие на народных страданиях помещики и капиталисты или продавшие родину еврействующие плутократы. Социальная защищенность была обещана и обеспечена, патернализм восстановлен… Но какою ценой!..

(Замечательно, что в странах победившего капитализма вопрос о социальной защищенности тоже стоял и тоже решался отнюдь не бескровно, однако там обошлось все-таки без барского сапога и без тотального насилия над целыми народами.) Двадцатый век оказался отнюдь не веком социалистических революций.

Он оказался веком последних арьергардных боев феодализма, тщетно пытающегося сочетать несочетаемое: массовую технологию завтрашнего дня и массовую психологию дня вчерашнего.

4. Чтобы предугадать будущее, надлежит прежде всего основательно разобраться в прошлом. Святые слова! И такие бесполезные…

Ведь нельзя сказать, что девятнадцатый век не умел разобраться в своем прошлом. И ведь нельзя же сказать, что девятнадцатый век так уж совсем был не готов к инфернальным перипетиям двадцатого, что не было людей, основательно разобравшихся и в прошлом человечества, и в его настоящем. О том, что нас ожидает, предупреждали: Прудон, Спенсер, Ле Бон, де Лавелей, Молинари… Достоевский писал своих «Бесов». В ранних (именно ранних, еще до «Коммунистического манифеста») произведениях Маркс и Энгельс предсказали все кошмары «переходного периода» вплоть (чуть ли не) до концлагерей…

Все оказалось втуне.

Воистину: умный знает историю, глупый — ее творит. Это так грустно! Но, наверное, именно поэтому нельзя предсказать будущее, — его можно разве что предчувствовать.

У нас нет дурных предчувствий. Мы пишем эти заметки осенью 1990 года. На дворе истекает сентябрь, все тускло, сумрачно, беспросветно. Ленсовет никак не может договориться с Собчаком, Ельцин — с Горбачевым, пришла зима — очень, может быть, голодная и холодная…

И все-таки нет у нас предчувствия ни гражданской войны, ни подлинного хаоса, ни семи казней египетских.

Это само по себе удивительно, если трезво представить хоть на минуту: какая страна досталась нам в наследство после семидесятилетнего свирепого хозяйничанья перезрелого феодализма, оснастившего себя коммунистической идеологией; какие монстры — без чести, без ума, без совести — продолжают удерживаться у власти на огромных просторах Шестой Части Суши; насколько народ — весь, от последнего полупьяного бомжа до лощеного преуспевающего профессора ИМЛ, — развращен идеей *служения* вместо работы («Не тот у нас трудится хорошо, кто приносит пользу людям, а тот, кем довольно начальство!»).

И тем не менее… И тем не менее, почти неуправляемый оптимизм буйствует в воображении и — совершенно неоправданно — берет верх. Может быть, тому причиной — радостное изумление от того, что так немало оказалось замечательных людей у нас, не раздавленных, не проигравших, не давших себя ни купить, ни запугать, ни оболванить вконец… не давших себя *превратить*!..

А может быть, истоки нашего необъяснимого оптимизма в том, что невозможно представить себе сейчас действительно решительный поворот вспять? Военная диктатура… заткнуть всем крикунам глотки… взять к ногтю, загнать в колонны, поставить по стойке «смирно»… Можно! Все это сделать можно, можно даже восстановить ГУЛАГ во всей его красе, но

толку-то что? Магазинные полки останутся пусты, технологии останутся на пещерном уровне, процесс превращения в третьеразрядную державу нисколько не замедлится… Как заставить работать холопа XX века?! Руку рубить за невыполнение плана? Несколько возрастет число одноруких инвалидов, чудовищно, неописуемо возрастет количество вранья в статистических отчетах, и… и — все. Пройдет два-три года, ну — пять лет, и все надо будет начинать сначала: перестройка… гласность… демократия… «У перестройки нет альтернативы». «У рынка нет альтернативы». Нет альтернативы…

Будущее наше зависит сейчас в первую очередь от того, в какой степени удалось нам победить феодализм в нашем сознании, проклятый наш страх свободы, рабскую нашу приверженность холопству, служению вместо работы.

Новые общественные формации прорастают внутри старых, разрывая их и взламывая, как слабые зеленые росточки разрывают и взламывают напластования глины и асфальта. Процесс этот не знает ни жалости, ни пощады, ни милосердия. Человечество, творя историю свою, бредет по дороге, заваленной трупами, по колено в крови и дряни. Так неужели же мы пролили еще недостаточно крови и недостаточно удобрили телами нашими почву для нового?.. Ведь это новое не так уж и ново — полмира уже проросло корабельным лесом новой формации.

Нет. Дороги вспять история не знает, что бы ни говорили профессиональные пессимисты.

«…Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет. Куда ж нам плыть?..»

5. Тридцать лет назад всем и все было ясно… (Мы говорим здесь о поколении «детей Октября». Годы рождения 1920–1940. Разумеется, только о тех, кому повезло пережить войну и кто получил соответствующую идейную закалку в школе, в комсомоле, в институте. Мы не говорим о тех, кто *понимал*. Их было не так уж и мало, но они составляли подавляющее, безнадежно раздавленное меньшинство.) Тридцать лет назад всем и все было ясно. Впереди (причем сравнительно недалеко) нас ждал коммунизм. Каждый понимал его в меру своих возможностей и способностей (один наш знакомый маркер говаривал: «При коммунизме лузы будут — во!» — и показывал двумя руками, какие замечательно огромные будут при коммунизме лузы). Однако всем и каждому было совершенно ясно, что коммунизм неизбежен — это было светлое будущее всего человечества, мы должны были прибыть туда (как на поезде — из пункта А в пункт В)

первыми, а за нами уже и весь прочий (полусгнивший) западный мир. Как сказал бы герой Фейхтвангера, — бог был в Москве.

Пятнадцать лет назад каждому (мыслящему) индивидууму сделалось очевидно, что никакого светлого будущего — по крайней мере в сколько-нибудь обозримые сроки — не предвидится. Весь мир сидит в гниющей зловонной яме. Ничего человечеству не светит — ни у них, ни у нас. Единственная существующая теория перехода к Обществу Справедливости оказалась никуда не годной, а никакой другой теории на социологических горизонтах не усматривается. Бог в Москве умер, а там, «у них», его никогда и не было…

И вот сегодня мы, испытывая некоторую даже оторопь, обнаруживаем, что живем в глухой провинции. Оказывается, бог таки есть, но не в Москве, а, скажем, в Стокгольме или, скажем, в Лос-Анджелесе — румяный, крепкий, спортивный, энергичный, несколько простоватый на наш вкус, несколько «моветон», но без всякого сомнения динамичный, без каких-либо следов декаданса и, тем более, загнивания, вполне перспективный бог… А мы, оказывается, — провинция, бедные родственники, и будущее, оказывается, есть как раз «у них», не совсем понятно, какое, загадочное, туманное, даже неопределенное, но именно у них, а у нас — в лучшем случае — в будущем только они — румяные, спортивные, несколько простоватые, но вполне динамичные и перспективные…

Семьдесят лет мы беззаветно вели сражение за будущее и — проиграли его. Поэт сказал по этому поводу:

Мы в очереди первые стояли, А те, кто после нас, — уже едят…

Идея коммунизма не только претерпевает кризис, она попросту рухнула в общественном сознании. Само слово сделалось бранным — не только за рубежом, там это произошло уже давно, но и внутри страны, оно уходит из научных трудов, оно исчезает из политических программ, оно переселилось в анекдоты.

Однако же коммунизм — это ведь общественный строй, при котором свобода каждого есть непременное условие свободы всех, когда каждый волен заниматься любимым делом, существовать безбедно, занимаясь любимым и любым делом при единственном ограничении — не причинять своей деятельностью вреда кому бы то ни было рядом… Да способен ли демократически мыслящий, нравственный и порядочный человек представить себе мир более справедливый и желанный, чем этот? Можно ли представить себе цель более благородную, достойную, благодарную? Нет. Во всяком случае, мы — не можем.

В этом мире каждый найдет себе достойное место.

В этом мире каждый найдет себе достойное дело.

В этом мире не будет ничего важнее, чем создать условия, при которых каждый может найти себе достойное место и достойное дело. Это будет МИР СПРАВЕДЛИВОСТИ: каждому — любимое дело, и каждому — по делам его.

Об этом мире люди мечтают с незапамятных времен. И Маркс с Энгельсом мечтали о нем же. Они только ошиблись в средствах: они вообразили, что построить этот мир можно, только лишь уничтожив частную собственность. Ошибка, надо признаться, вполне простительная по тем временам, если вспомнить, сколько яростных филиппик в адрес частной собственности произнесено было на протяжении веков. И если вспомнить, каким ореолом святости на протяжении веков окружена была идея раздать свое имущество бедным и уйти к Богу…

Маркс с Энгельсом, стремясь к замечательной цели, ошиблись в средствах. Эта ошибка носила чисто теоретический характер, но те практики, которые устремились ко все той же цели вслед за классиками, продемонстрировали такие методы, что теперь и сама цель смотрится не привлекательнее городской бойни. А новой цели пока никто еще не предложил…

Куда ж нам плыть?

Неужели все чудеса будущего отныне свелись для нас к витрине колбасного универмага? Колбаса — это прекрасно, но есть что-то бесконечно убогое в том, чтобы считать ее стратегической целью общества. Даже такого запущенного и убогого, как наше. Ведь из самых общих соображений ясно, что колбасное изобилие не может быть венцом исторического процесса. Венцом должно быть нечто другое. Вообще — венцом истории не может считаться то, что уже существует сегодня… Надо полагать все-таки, что впереди нас ждет что-то еще, кроме колбасного изобилия. Так что же?

Кто знает, что ждет нас?
Кто знает, что будет?
И сильный будет,
И подлый будет.
И смерть придет
И на смерть осудит.
Не надо
В грядущее взор погружать…

Гийом Аполлинер. Больной, желчный, несчастный, он не ждал от будущего ничего хорошего и был, безусловно, прав. Он умирал, а толпа патриотов под его окнами ревела: «Guillaume — a'bas!», и в смертельном бреду ему казалось, что они требуют: «Долой Гийома!», хотя ревели они: «Долой Вильгельма!» — разворачивалась Первая Мировая — первая из феодальных войн XX века…

«Не надо в грядущее взор погружать» — там нет ничего, кроме всесильной подлости, подлого всесилия и — смерти, которая ставит точку всему и всем…

Это, положим, так, но

…любопытно, черт возьми, Что будет после нас с людьми?

Что станется потом?..

И всегда было любопытно. И всегда будет.

Потому что Будущее — это Страна Несбывающихся Снов.

Потому что Будущее — это Страна Заговоренных Демонов.

Страна, в которой слабые становятся честными, злые — веселыми, а умные — молодыми…

Три вопроса занимают и мучают нас последнее время, и с ними мы пристаем ко всем встречным и поперечным.

Почему началась Перестройка? Как случилось, что в ситуации абсолютного равновесия, когда верхи могли бы изменить ход истории, но совершенно не нуждались в этом, а низы — нуждались, но не могли, как случилось, что в этой ситуации верхи решились сдвинуть камень, положивший начало лавине?

Почему все-таки невозможно общество, лишенное свободы слова с одной стороны, но вполне материально изобильное — с другой? Почему все-таки «свобода и демократия рано или поздно превращаются в колбасу», а тоталитаризм — в нищету и материальное убожество?

И наконец — куда ж нам плыть?..

Все три эти вопроса теснейшим образом переплетены и представляются нам актуальнейшими. Ответов мы не знаем. Во всяком случае, мы не знаем таких ответов, которые удовлетворили бы нас вполне…

Две трети жизни мы думаем о будущем — сначала восторженно описывали то, что стояло перед мысленным взором, потом пытались его вычислять, теперь уповаем на предчувствие…

Опыт великих предшественников то приводит в отчаяние, то обнадеживает самым решительным образом.

«Если бы нам указывали из Вашингтона, когда сеять и когда жать, мы

бы вскоре остались без хлеба». Томас Джефферсон (1743–1826). Президент США в период с 1801 по 1809 год.

Один из нас *вычитал* это в сборнике «Афоризмы», который издательство «Прогресс» выпустило в 1966 году.

Такие дела.

10.10.90

Аркадий Стругацкий
К ЧИТАТЕЛЯМ АЛЬМАНАХА «ЗАВТРА»[50]

Завтра.

Завтра — это почти наверняка завтра. Но не исключена возможность, что завтра перевернется во вчера.

Всю свою сознательную жизнь я мечтал о журнале НФ. Кажется, сейчас что-то проклевывается. Не журнал, но все-таки альманах, независимый от невежественных, смердящих, злокозненных влияний. Хорошо, мы стали независимыми. Что дальше?

«Завтра».

Честно говоря, я был против этого названия. Я бы предпочел название «Если». Но мои молодые коллеги (молодые! мне 65 лет, а этим молодым уже под пятьдесят…) настаивали на «Завтра». Что ж. Хоть горошком назови…

Вероятно, десятимиллионную (или больше?) армию любителей фантастики интересуют три главные проблемы:

1. Отражение в литературе страхов и отчаяния человечества в наше страшное и отчаянное время.

2. Попытки воссоздать в литературных образах те общественно-политические идеалы, к которым нам надлежит устремляться.

3. Простое, незамысловатое удовольствие.

О третьей проблеме говорить здесь не место. На мой взгляд, она включается в первые две. Не будем ее забывать как непременное условие при разрешении двух первых проблем.

Итак.

Если первая проблема так или иначе получила, получает и будет получать разрешение в бесконечном разнообразии форм «мрачного воображения», то решать вторую проблему фантастам оказалось не так легко.

Возможно, сыграла тут роль вековая традиция художественной

литературы: сюжет должен быть трагичен. Значительное в этом смысле исключение — евангельское «смертию смерть поправ», однако в обозримом пространстве литературы достойного продолжения этой великой идеи нет. Даже булгаковский Мастер заслужил не Свет, а Покой.

В применении же этой идеи к мировой фантастике можно сказать только, что отчетливых граней между утопией и антиутопией, а также романом-предупреждением нет. «Черный» роман либо оставляет надежду, либо нет, а сильная утопия активно критикует методы достижения желаемого результата.

Тогда — что же? Великая школа великой литературы. Девица бросается в озеро, дама бросается под поезд, кто-то идет на каторгу, кто-то сходит с ума… Се ля ви. Чапаев уходит под волны Урал-реки, сраженный вражескими пулями, Тухачевский в подвале ЧКГБ обдает своими мозгами грязные кирпичи… Зритель, переключи свою программу на «Изауру». Или на «Королька». Твоя рука — владыка. Но «Завтра» не об этом. Насколько это от меня зависит.

Но учиться все-таки надо?

Во второй половине второго тысячелетия до нашей эры некто Моисей принес отчаявшемуся народу своему знаменитые десять заповедей.

Первые четыре в настоящем контексте (но только в настоящем!) интереса не представляют, а вот остальные… помните?

…Почитай отца твоего и мать твою.

…Не убивай.

…Не прелюбодействуй.

…Не кради.

…Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

…Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего… ничего, что у ближнего твоего.

Так вот. Примерно в то же самое время, три-четыре тысячи лет назад, на другом краю Ойкумены некто И в своих наказах определил моральные нормы для древних китайцев.

Я — не специалист по древнекитайской культуре. Возможно, И не есть имя автора, а название свода упомянутых моральных норм. Следует принять во внимание еще одно обстоятельство: формулировка древних евреев гораздо ближе и понятней нам, нежели странные, в каком-то смысле даже смешные древние воззвания с берегов Янцзы (тем более что и Янцзы называлась тогда как-то по-иному, и перевод с древнекитайского допускает неоднозначные толкования). Что же запрещалось кодексом И?

1. Весело отплясывать с утра и до утра во дворцах.

2. Распевать сладкие песни в чужих спальных покоях.
3. Злоупотреблять колдовством в достижении развратных целей.
4. Целью жизни своей ставить наложение рук на чужое богатство и на женскую красоту.
5. Проводить жизнь свою в похабстве и охоте.
6. Развращать нравы в смаковании разврата во время бесед.
7. Оскорблять в болтовне речения великих мудрецов.
8. Лгать во время бесед и выступлений.
9. Устранять себя и присных от пути добродетели.
10. Вести себя, взявши за пример разгульную молодежь.

И под всем этим категорично:

1. Если заповеди эти нарушает муж, гибнет семья.
2. Если заповеди эти нарушает государство, гибнет страна.

Давно истлели и обратились в глину кости Моисея и неведомого И.

Но сравните. И восчувствуйте.

Я не сомневаюсь, найдется немало граждан, кои объявят, что древние китайцы и (тем более) евреи им не указ, но я адресую эти строки читателям «Завтра».

Не может же быть, что мы все — сплошные идиоты!

Не убивайте.

Почитайте отца и мать, чтобы продлились дни ваши на земле.

Не пляшите с утра и до утра.

Возымейте иную цель жизни, нежели накладывать руку на чужое богатство и на женскую красоту.

Тысячелетия глядят на нас с надеждой, что мы не озвереем, не станем сволочью, рабами паханов и фюреров.

Морально поддержать вас хоть в какой-то степени на уровне человечности — главная задача альманаха «Завтра», как я ее понимаю.

Ваш А. Стругацкий

Борис Стругацкий
ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ[51]
(Предисловие к сборнику «Фантастика: четвертое поколение»)

Предлагаемый сборник состоит полностью и исключительно из произведений тех авторов, что принадлежат к Четвертому поколению советских фантастов, к поколению 70-х.

Даже самый поверхностный взгляд на историю русской отечественной фантастики обнаруживает знаменательный факт: судьбы фантастики, оказывается, самым тесным образом связаны с судьбою всей советской культуры вообще и с судьбой «большой литературы» в частности. Судите сами.

Этап первый: двадцатые годы — начало тридцатых. Бурное развитие, «штурм унд дранг», «золотой век» — десятки и десятки новых имен в любой области культуры, будь то поэзия, архитектура, кинематография, драматургия или живопись. Новый язык искусства. Новые и новые темы. Смелые поиски и необыкновенные находки. Подлинная революция в культуре — продолжение и утверждение великой и кровавой социальной революции.

И, заметим, в фантастике происходит то же самое. Какие книги! Какие имена! Булгаков, Алексей Толстой, Шагинян, Маяковский, Эренбург, Катаев, Платонов — кажется, все без исключения основоположники новой литературы отдают в те времена дань фантастике — и какую блистательную дань! И тогда же среди множества звезд рангом поменьше восходит на литературный небосклон звезда первой величины — Александр Беляев, основоположник и патриарх всей будущей советской научной фантастики…

Второй этап: середина тридцатых — середина пятидесятых. Откат революции, сталинщина, черная туча над страной, черная туча над культурой, а потом — война, послевоенная разруха и еще более страшные для культуры времена. Эпоха ханжества, лжи, бездумного фанатизма, двоемыслия, исступленного славословия, когда честное прямое слово — величайшая смелость и величайшая редкость, когда исследование художником реального мира запрещено под страхом тюрьмы и подменено прославлением мира вымышленного, когда бал правит лицемерие подлецов и фанатизм одураченных…

И, заметьте, то же самое происходит и в фантастике! Под лозунгом «Ближе к реальной жизни! Фантазирование не нужно народу!» совершается парадоксальный отрыв фантастики от реальной действительности. Исследование насущных проблем настоящего и будущего заменяется бессмысленными погонями за выдуманными диверсантами и скрупулезными описаниями никому не нужных самоходных тракторов. Пресловутая «теория ближнего прицела» торжествует. Из фантастики методически вытравливается все, что делает ее литературой — чудо, тайна, достоверность. Сон разума рождает чудовищ наподобие «Однорогой жирафы» Сапарина или «Семи цветов радуги»

Немцова.

Правда, даже во времена полной беспросветности могучая культура способна порождать замечательные творения. Так, вопреки всему, появились в реалистической литературе «Тихий Дон» или, скажем, «В окопах Сталинграда». Так в фантастике в самые глухие и страшные годы возник Иван Ефремов — его повесть «Звездные корабли», его сборник «Пять румбов» подобно жемчугам сияли в навозной куче тогдашней фантастической макула— туры. Воистину, великую культуру нельзя убить, — ее можно только обескровить…

Этап третий: конец пятидесятых — конец шестидесятых. Первая Оттепель. Новая весна нашей культуры. Пробуждение после десятилетий мрака и холода. И тотчас же, заметьте, событие в мире фантастики — появляется «Туманность Андромеды», первая коммунистическая утопия новейшего времени, роман, ознаменовавший собою новую эру в нашей фантастике.

Буквально в течение двух-трех лет на обломках «теории ближнего прицела» поднимается здание современной советской фантастики. Все поколение 60-х заявило тогда о себе: Альтов, Варшавский, Войскунский и Лукодьянов, Гансовский, Громова, Днепров, Емцев и Парнов, Полещук, Савченко, Стругацкие, а чуть позже — Биленкин, Кир Булычев, Ларионова, Снегов…

Наступило чудесное время, — когда в издательстве «Молодая гвардия» фантастикой занимались Сергей Жемайтис и Бела Клюева, истинные мастера своего дела, когда научно-популярные журналы печатали молодых фантастов наперебой, когда даже «толстые» литературные журналы заинтересовались фантастикой, когда вновь обратили к фантастике свой взор маститые — Гранин, Шефнер, Тендряков, Леонов…

Впрочем, эйфория эта длилась недолго. К концу шестидесятых застой уже начал брать свое. Прошлое возвращалось. Надвигалась глухая пора безвременья, о которой Александр Галич пел тогда:

Что ни день — фанфарное безмолвие
Славит многодумное безмыслие…

На фантастику обрушились громы неправедной критики, принялись стремительно сокращаться печатные площади, сменено было руководство в НФ-редакции «Молодой гвардии», и там начался неудержимый процесс разрушения того, что было выстроено в первой половине 60-х.

Фантастика была объявлена литературой «non grata». По редакциям пошла гулять ядовитая формулировочка: «всякая фантастика — это либо полное дерьмо, либо антисоветчина». Сделалось душно и сумрачно. Новая редакция «Молодой гвардии» взяла курс на «фантастическую» фантастику, далекую от реальных проблем настоящего и будущего, далекую от задач человековедения вообще. Выпуск фантастики в стране, и без того не слишком-то обильный, резко упал. Лишь два-три «тонких» журнала продолжали теперь публиковать фантастику более или менее регулярно. Читатель вопиял о книгах, но книг выходило все меньше, и негде стало преклонить голову свою молодому талантливому писателю-фантасту. Фантастика не перестала привлекать к себе новые силы, — отнюдь нет! — просто катастрофически сузилась издательская база, и неизмеримо возросла редакторская настороженность ко всему, что выходит за рамки привычно-серого, утвержденного свыше и многократно апробированного…

Об этих сумеречных днях нашей культуры вообще и фантастики в частности будет, я полагаю, написано еще не раз. Сейчас же мне важно подчеркнуть два обстоятельства. Во-первых, этот маленький экскурс в историю имеет целью лишний раз обосновать существование теснейшей связи между фантастикой и всей прочей культурой: фантастика не есть нечто изолированное и отдельное, фантастика — плоть от плоти культуры вообще. А во-вторых, мне хотелось особо отметить, что поколение 70-х вступило в свою творческую жизнь в крайне неблагоприятных условиях…

О, эти молодые и талантливые! Несмотря ни на что, они продолжали появляться повсеместно, то там, то здесь по всей обширной территории нашей страны, и не было на них никакой управы…

В Таллине — Михаил Веллер. В Перми — Владимир Пирожников. В Одессе — Борис Штерн. В Новосибирске — Геннадий Прашкевич. В Волгограде — супруги Лукины… В Москве возникла целая школа — Бабенко, Геворкян, Покровский, Руденко… И целая школа возникла в Ленинграде — Рыбаков, Логинов, Тибилова, Зинчук, Столяров, Измайлов, Никитайская…

Я горжусь этими ребятами. Они писали несмотря ни на что, писали, стиснув зубы, писали в стол, писали без всякой надежды на публикацию, писали просто потому, что не могли не писать, писали, отстаивая свое право видеть мир по-своему, — по-своему думать и рассказывать о нем.

Им было трудно. Издатель не желал иметь с ними никакого дела, а Читатель ничего о них не знал и знать не мог. Им было беспросветно трудно, — так трудно бывает человеку, который лишен возможности отдать людям плоды своего выстраданного, изнурительного, любимого труда.

Честь и хвала вам, поколение 70-х! Вы не сдались, выстояли, не польстились на легкий хлеб, не дали себя купить, не превратились в халтурщиков, не сделались угодниками, не разменяли себя по мелочам, не пошли на поклон к власть имущим, не приняли причастия Буйвола… Поколение 70-х, я горжусь вами!

Вы взяли на вооружение все без исключения художественные приемы и методы ваших отцов и старших братьев по фантастике. Вы можете и умеете все — и социальную фантастику, и философскую, и фэнтези, и фантастику юмористическую, и сатирическую, и историческую, вы овладели даже остраненной прозой, которая была редкостью в шестидесятых. Вот только собственно НАУЧНУЮ фантастику вы почти не пишете. Видимо, время ее вышло, и она перестала быть интересна и вам, и читателю…

Надо признаться, вам и сейчас приходится нелегко. Конечно, возможностей печататься поприбавилось, и кое-кто из вас уже выпустил отдельный сборник, а кое-кто даже сделался членом Союза писателей. Но до нормального или, как говорят наши космонавты, ШТАТНОГО состояния издательских дел нам еще далеко. Нет пока ни своего издательства, ни своего журнала, и остается только мечтать о том золотом для любого честного писателя времени, когда писать трудно, как и раньше, а печататься легко, как никогда…

Борис Стругацкий
«ЖИТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ ПИСАТЬ»[52]

Аркадий и Борис Стругацкие опубликовали в журнале «Нева» пьесу под странным названием «Жиды города Питера, или Невеселые беседы при свечах». Прочитавшие смогли воспринять ее как своего рода картинку возможного варианта нашей будущей жизни…

— Борис Натанович, ваша с братом новая пьеса воспринимается как предвидение грядущих в стране событий — вы именно так видите наше ближайшее будущее?

— Пьеса наша вовсе не о будущем, она о грустном сегодняшнем дне, о нашем странном поколении, входящем сейчас в старость, о тех, кому уже за пятьдесят и за шестьдесят. О людях, которые хватили первый глоток свободы, застали первую — хрущевскую — оттепель, но воспитание свое — и нравственное, и политическое — получили в эпоху культа и выросли самыми верными, самыми преданными рабами товарища Сталина. О, это

весьма специфическое поколение! Ему сломали становой хребет по крайней мере дважды. Первый раз — сразу после рождения, нечувствительно, без боли, постепенно, когда пропускали его через начальную, среднюю и высшую школу преклонения перед Вождем и Его Идеями. Выросло замечательное поколение рабов, не осознающих своего рабства, гордящихся цепями «осознанной необходимости», готовых на все, нравственно изуродованных, сгорбленных, скрюченных до того, что сами себе они казались высокими и стройными, а весь мир вокруг представлялся им изуродованным, сгорбленным и скрюченным, а следовательно — нуждавшимся в решительном исправлении…

И вот в конце пятидесятых это поколение, глотнув свободы, сделало попытку распрямиться. Скрипя своим изуродованным позвоночником, мучительно и со стыдом осознавая свое прошлое рабство. Так сладко дышалось в обновленной стране! Такие рисовались ослепительные перспективы! И тут на них навалили политические процессы 60-х, Чехословакию и весь этот так называемый период застоя… Их сломали вторично…

— И они продолжали идти путем, проторенным отцами и дедами?

— Мы отличались от поколения отцов разве что тем, что полагали для себя возможным мрачно молчать в ситуациях, когда отцы наши вынуждены (или рады?) были исступленно возглашать СЛАВУ и УРА. И точно так же сидел в нас страх, тем более стыдный, что боялись мы теперь потерять уже не жизнь даже, а всего лишь достигнутый нами — жалкий! — уровень жизни. Этот страх сидит в нас и сейчас, видимо, мы не способны совсем избавиться от него, и он готов согнуть, скрючить, сломать нас и в третий раз.

— На этот раз придавить глыбой постперестроечного периода… Кстати, он видится вам в форме перехода к диктатуре?

— Меня спрашивают: «Будет ли для вас неожиданным поворот к диктатуре?» Боже мой, да конечно же нет! Наше поколение ждет этого поворота с лета 1985-го, ждет с самого начала и спорит только, как это будет выглядеть. Невозможно же представить себе, чтобы такой великолепно отлаженный за семьдесят лет, точно отъюстированный и замечательно саморегулирующийся механизм удержания и усиления власти, боевая машина Великой Империи — Партия плюс Тайная полиция плюс Военно-промышленный комплекс, — чтобы этот Голем XX века сдал свои позиции за просто так, только потому, что время его истекло, империи сделались анахронизмами, а войны перестали приносить дивиденды. Нет, все будет непросто, как всегда все непросто в истории. Будет еще

множество попятных движений. То, что мы наблюдаем сейчас, — только одно из них.

— Эпиграфом к пьесе служит строка Акутагавы: «Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно назвать раба рабом». И относится он, по всей видимости, к вашему поколению, ставшему в настоящий момент «отцами». Конечно, не случайны и говорящие фамилии героев пьесы: Базарин, Кирсанов. Но в «Жидах города Питера…» действуют и «дети»…

— Эпиграф не относится к героям пьесы, он обращен к читателю. Слишком часто забываем мы, что имеем тех правителей, коих и достойны. Что будь мы другими, то и мир вокруг нас был бы другим. Что вся наша история — лишь очередное доказательство очень древней теоремы: нельзя изменить мир, не изменивши самого себя, — его можно только изуродовать… Что же касается детей… Нам кажется, нам хочется думать, что поколение, идущее следом, не приемлет диктатуры. И не потому, конечно, что оно умнее, честнее, вообще лучше нас — просто его не успели или не сумели скрючить. Наступает время деидеологизированного населения. Ему неведомы наши страхи, наши надежды и наши восторги. Диктатура, общественный идеал, высокие политические цели, замечательные слова и громкие лозунги — все это им попросту неинтересно. Их вселенная — в другом измерении, их цели — совсем в другой социальной плоскости. Они любят и мучаются любовью, но любовь у них не такая, как у нас, — она кажется нам столь же развязной, грубой, бездуховной, как и они сами. Они дружат и высоко ценят дружбу, но — господи ты боже мой! — каких друзей они себе выбирают! Они работают, они готовы работать, и многие из них умеют это делать, но как редко любят они свою работу и как часто бывают неразборчивы! Мне многое неприятно в них, не хочу лукавить. Но одного достоинства у них не отнимешь: они начисто лишены способности испытывать энтузиазм. Мне кажется, их уже больше невозможно построить в ревущие от восторга колонны, дабы они под развевающимися знаменами ринулись на указанного свыше врага. С этим поколением такой номер уже не пройдет — придется готовить новое, а на это понадобится два десятка лет, да и воспитатели уже не те…

— И все же «Жиды города Питера…» читаются как антиутопия. Возможно, потому, что предыдущие ваши романы и повести написаны в ином жанре. Кстати, а почему «жиды», а не, скажем, «словоблуды» или «распутники»?

— «В сем христианнейшем из миров поэты — жиды!», — так, кажется, у Цветаевой. Жид — какое печальное слово! Оно уже давно

превратилось в термин, обозначающий изгоя, выродка, инакомыслящего. Жид — это уже не национальность, это — диагноз. В нашей пьесе все — жиды, всякий, кого Власть берет за глотку, тут же превращается в жида…

Имеет место ужасающая терминологическая путаница, когда речь захо — дит об утопиях и антиутопиях. Прежде всего, ни то ни другое ни в коем случае не следует считать предсказаниями будущего. На самом деле, утопия — это попытка описать мир, устроенный *разумно*. Представления о разумно устроенном мире меняются от цивилизации к цивилизации разительно, и поэтому мир Ефремова так отличается от мира Кампанеллы. Антиутопия же, или роман-предостережение, описывает мир, устроенный *страшно*. Автор утопии всегда апеллирует к разуму, автор антиутопии — к чувству. И — никаких предсказаний! В классической антиутопии Оруэлла «1984» придуманы разве что детали, суть же, основные черты описываемого мира взяты из совершенно реальной действительности тогдашней Германии и России. Оруэлл ничего не предсказал, он описал то, что придумано было не им и до него специалистами по «воспитанию масс», и он нашел *слово* — «двоемыслие», — определяющее суть любого тоталитарного государства, как десятилетием раньше Хемингуэй сформулировал суть всякого фашизма, сказавши: «Фашизм есть ложь, изрекаемая бандитами».

— А как вы вообще относитесь к предсказаниям в науке, литературе?

— Где-то в старых дневниках своих я нашел недавно список ученых, философов, социологов XIX века, предсказавших с высокой точностью, что именно ожидает человечество, если оно встанет на путь социализма. В этом списке Спенсер, Тьер, Ле Бон, Молинари… Маркс и Энгельс там тоже есть — ранние Маркс и Энгельс. Они были дьявольски проницательны и беспощадны, когда не стремились подогнать мир будущего под представления «Коммунистического Манифеста», они предвидели и охлократию, и разруху, и концлагеря, и многое другое, что предстояло нам пережить в ту эпоху, которую они называли переходным периодом к социализму… Я уже не говорю о Достоевском, ибо Достоевский был гений, и я не говорю об Уэллсе и Замятине, ибо они успели увидеть своими глазами, как все это началось. Таким образом, следует сделать вывод, что содержательный прогноз истории возможен.

Правда, это, как правило, мрачный прогноз. Оптимистические предсказания почему-то не сбываются. «Завидую внукам и правнукам нашим, коим доведется видеть Россию в 1940 году — стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке, и искусству…» и т. д. Бедный восторженный Виссарион Григорьевич! Мы хихикали над этой цитатой

еще в школе (грязноватые, голодноватые, оборванные, чудом пережившие войну вообще и блокаду в частности). Правда, пессимистические прогнозы, к счастью, тоже сплошь и рядом проваливаются. Так случилось, например, с трагическими предсказаниями Мальтуса, основанными, кстати, на вполне разумных, логически безупречных расчетах. Так случилось с Марксовой теоремой о неизбежности мировой пролетарской революции. Было бы несерьезно и несправедливо обвинять Плеханова и Ленина в легковерии и легкомыслии за их фанатическое увлечение марксизмом: Маркс писал чрезвычайно убедительно, он опирался на огромный социологический материал и был безукоризненно логичен. Беда его (и наша) заключалась в том, что разработку теории своей он закончил как раз к тому времени, когда она перестала соответствовать реальности — разразилась промышленная революция и начался совершенно новый виток истории, корабль человечества лег на новый курс — в постиндустриальное общество.

Так что, с другой стороны, не следует относиться к прогнозам и пророчествам слишком уж серьезно и рассуждать о них «с придыханием». Что же касается собственно литературы (а не науки), то я давно уже не ищу в книгах соответствующего толка прогностических идей. По-моему, главное назначение таких книг — помогать читателю делать выводы порядка, скорее, нравственного, не столько предупреждать человечество «о жестоких чудесах грядущего», сколько ориентировать его в мире нравственных понятий, помогать распознавать сладкие яды цивилизации, демонстрировать опасность долгоживущих мифов, вызывать неприязнь и отвращение к тому, что того достойно…

— И все-таки не могу не спросить у вас как у писателя-фантаста о том, что нас ждет.

— Если говорить в исторической перспективе, возврата к прошлому быть не может, времена подконвойной экономики миновали навсегда, такая экономика оказалась неконкурентноспособной и окончательно превратила СССР в третьеразрядное (хотя и огромное) государство с второразрядной (хотя и огромной) армией. Такое положение вещей является нетерпимым с точки зрения *любого* социального слоя, а значит, это положение вещей будет изменено. Изменение экономических отношений неизбежно приведет к изменению отношений политических. На месте вчерашней империи («военно-мужицкой державы») возникнет совокупность суверенных государств, объединенных системой экономических и политических соглашений, ибо времена империй, скрепленных огнем и мечом, навсегда миновали. Мы — последние. Человечество вступило уже в новую фазу

межгосударственных отношений, когда ценность политики определяется ценностью полученных экономических результатов, и в этом смысле война перестает быть «продолжением политики иными средствами», ибо экономические результаты войны в наше время ничтожны и не идут ни в какое сравнение с результатами умелого, скажем, варьирования торговыми пошлинами. Любопытно, что Империя, как особая форма существования государства, не имеет сейчас под собою никакой материальной опоры — она держится исключительно на фундаменте идеальном: имперское сознание, исторически сложившееся, чрезвычайно все еще популярное представление о том, что превыше всего — держава, а все остальное уж как получится, государство выше человека, государство выше истины!.. Империя существует лишь постольку, поскольку идея ее существует в массовом сознании — это не может продолжаться долго. Сколько же можно твердить, что «нам нужна Великая Россия», в то время, как совершенно ясно, что «нам нужна» Россия прежде всего Счастливая, Богатая, Цивилизованная — именно этим и прежде всего в этом великая…

— Вы так уверенно предрекаете «конец империи»! Но ведь есть, как говорится, и другое мнение. Все чаще в прессе приводят пример США как обновленной империи, где штаты почему-то не претендуют на те права, которые отстаивают наши национальные республики. И «войны законов» там вроде бы не наблюдается.

— По-моему, США — неудачный пример. Я не вижу здесь ничего общего между нашими странами. Штат Аризона практически не отличается по национальному составу своего населения от штата Вайоминг или округа Колумбия. И государственная история у них одна, и совпадающая историческая традиция. Штаты — это же не национально-территориальные, а попросту административные образования. Аналогами для них служат не республики наши, а, скажем, области или, может быть, края. Большинство же наших республик существует на пепелищах величайших государств древности, историческая память народов там уходит в глубины тысячелетий, я не говорю уже об особой цементирующей роли религии — например, ислама в Средней Азии. Все наши республики обладают полным набором признаков самостоятельного государства, по тем или иным причинам утратившего самостоятельность. Так что нет ничего удивительного в нынешнем параде суверенитетов: история стремится вернуться на круги своя. Ничего подоб— ного в США представить себе нельзя. Разве что центральное правительство там примется проводить какую-нибудь особенно нелепую экономическую политику наподобие нашей, — тогда, наверное, и штаты могли бы

броситься в разные стороны, подальше от центра.

— Вы сами говорили в начале нашей беседы о великолепно отлаженной машине Великой Империи и ее нежелании сдаваться «за просто так». Так где же выход?

— Представьте себе, я оптимист. Еще каких-нибудь пять лет назад я был совершенно уверен, что сложившуюся у нас в стране государственную систему власти расшатать невозможно. Во всяком случае — изнутри. А теперь вижу: есть такие силы. Не могу назвать их, не вижу их, но зато вижу результат их действия. Вижу, как машина начинает сбоить, как она дребезжит, разбалтывается, норовит заклинить. Судите сами: если бы в начале 80-х вам сказали, что Литва возмутилась и армия в три дня не сумела навести там порядок, — могли бы вы в это поверить? После Венгрии. После Чехословакии. После Новочеркасска, наконец, когда армия в полном служебном соответствии, исполняя приказ, не дрогнув, прошла по трупам своих соотечественников. И вот в Литве выясняется, что машина дает сбои. Что машина по-прежнему способна на многое, но уже не на все. Путч в Литве мог (и должен был) закончиться полной победой, но число застреленных и раздавленных следовало для этого довести до сотен и сотен. На такое преступление руководители путча оказались уже не способны. Новое время, новые люди. Новая психология, иная система ценностей, хотя, казалось бы, с чего это вдруг? И вождя у нас более нет такого, который был бы способен приказать двинуть танки на толпу мирных людей. Нашего президента много и справедливо критикуют, но трудно избавиться от впечатления, что он все-таки не из тех, кому все равно — валяются детские трупы на улицах или нет. Как и всякий настоящий политический лидер, он ценит власть и готов сражаться за нее, но в то же время для него существуют все-таки вещи, на которые он пойти, видимо, не готов даже ради власти. Такой лидер — тоже человек нового поколения, носитель нового мышления, новой политической морали. А значит, семьдесят лет прошли не зря: время, история, господь бог сделали свое дело — машина уже не та, стерлись шестерни, расшатались рычаги, высохла смазка. Голем еще могуч, но уже не всемогущ, он все еще внушает ужас, но теперь уже и сам испытывает его, ибо осознает свою конечность. Это вселяет надежду.

— Обратимся к силам, действующим на литературных «фронтах». Что, по вашему мнению, происходит с Союзом писателей? И еще: возможно ли, по-вашему, говорить о некоем «литературном вакууме», возникшем в последние годы?

— Что касается вашего первого вопроса, то ответ здесь лежит на

поверхности. Все наши творческие союзы возникли одинаковым образом — были насильственно созданы мановением властной руки, причем с одною и той же целью: поставить под контроль творческую интеллигенцию. Сейчас, когда властная хватка подослабла, заработали центробежные силы. Происходит все в точности то же, что и в большой политике. Писательская империя готова развалиться. В таком виде она мало кого устраивает. Новый СП должен быть прежде всего организацией профессионалов, имеющей целью защищать права и улучшать условия жизни и работы профессионалов. Дотации, стипендии молодым, жилье, финансовая помощь старикам и больным, поиск меценатов, борьба за новые законы в советах всех уровней, организация издательского дела…

И никакой представительской деятельности секретариатов и правлений, никаких высоких делегаций, зарубежных командировок по обмену опытом, парадных съездов-пленумов и — в особенности — политических заявлений от имени всех советских писателей. Во главе СП должны стоять хорошо оплачиваемые чиновники, профсоюзные боссы, которые способны эффективно заниматься финансами, юриспруденцией (применительно к проблемам авторского права), коммерческой деятельностью. Творческие вопросы надобно оставить самим писателям, пусть они их решают за пишмашинкой — все равно другого способа их решить не существует. Если такой СП возникнет и если он сумеет решить важнейшую сейчас, хотя и вполне частную, задачу — добьется, чтобы государство отдавало писательской организации хотя бы пять процентов (а не 0,3 процента, как сейчас) доходов от издания книг членов этой организации, — тогда и такой СП имеет шанс уцелеть. В противном случае его не сохранить даже применением силы.

Если же говорить о «литературном вакууме», то он, видимо, действительно имеет место, хотя бы в том смысле, что вот свободы наступили, а потока шедевров нет и нет. Я читал и слышал множество объяснений этому явлению и со всеми согласен. Все они сводятся к тому, что «читать интереснее, чем жить», а жить интереснее, чем писать. Вполне возможно. Я, откровенно говоря, последнее время очень мало читаю (беллетристику) и почти совсем не перечитываю. Я обнаружил, что беллетристика стала мне неинтересна и мне на нее не хватает времени. Я читаю статьи и книги по экономике, социологии, политике, я прочитываю ежедневно груду газет и ежемесячно — груду журналов (без или почти без беллетристики). Всю жизнь я писал только о том, что мне лично интересно. Сегодня мне интересны экономика, социология, политика, но писать об этом сколько-нибудь профессионально я не в состоянии! Ужасное

положение. Я был бы, наверное, в отчаянии, если бы жизнь не была такой захватывающе интересной. Жить интереснее, чем писать, пяток лет назад такая сентенция поразила бы меня своей нелепостью, а сегодня я готов ее принять и даже нахожу в ней определенное глубокомыслие. Впрочем, брат мой и соавтор придерживается несколько иных взглядов. И слава богу! «Спорим, следовательно, существуем».

С Борисом Стругацким беседовала Татьяна Путренко

Борис Стругацкий
МЫ БЫЛИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАК И СГИНЕМ В МИРЕ НЕСВОБОДЫ[53]

— Работает? — спросил Борис Натанович.

— Конечно!

— Вы уверены?.. Проверьте!

«Раз, раз, раз…» — мой «Панасоник» проходил испытания в самых экстремальных условиях, какие только можно себе представить, — в кабинете Б. Н. Стругацкого.

— В моем присутствии обычно не работает, — сказал Борис Натанович.

— А также в присутствии Аркадия Натановича.

— Чем вы это объясняете?

— А ничем! Просто есть такой факт. Приходит корреспондент центральной газеты. Приносит магнитофон. Вчера работал. Сегодня утром работал. А сейчас не работает. Несколько интервью таким образом пропало.

— Из этого можно сделать определенный вывод…

— При желании — безусловно. Можно построить целую теорию. Столь же увлекательную, сколь и бессмысленную…

— Борис Натанович, разрешите напомнить вам небольшой фрагмент вашей повести «Гадкие лебеди» (1966 г.): «В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет. И большая нехватка в людях, которые не понимают… Передо мной разворачивают перспективы — а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, — а я говорю: нет, ничего не понимаю. Вот поэтому я нужен».

Это размышления героя повести — писателя Виктора Банева. Интересно, что бы сказал ваш герой, оказавшись в сегодняшней политической ситуации?

— Банев относит себя к тем людям, которые живут во имя будущего, работают для будущего, очень любят и уважают будущее, но ужасно не хотят попасть в это будущее. Как вы помните, повесть кончается тем, что он в это будущее попадает. И мы оставляем его на пороге нового мира. Но не потому, что мы не знаем, как сложится его дальнейшая судьба, а потому, что это был бы совсем другой роман, совсем о других событиях, с другими

идеями…

Вы помните, Банев говорит, что очень хорошо жить для будущего, но очень страшно в нем оказаться. В какой-то степени с нашим поколением, поколением Банева, произошло что-то в этом роде. Нельзя сказать, конечно, что мы попали в будущее. Но, во всяком случае, мы попали в тот мир, возможность которого представлялась нам исключительно маловероятной. Большинство из нас было уверено, что мы так и сгнием в мире несвободы, не увидев ничего другого. На самом деле, при всех крупных и мелких неприятностях, схлопотанных нами в новом мире, все-таки, на мой взгляд (и на взгляд Банева, я думаю), этот мир гораздо лучше того, в котором мы жили 10 лет тому назад. На порядок лучше!

Я говорю с точки зрения людей, для которых возможность не только думать, но и свободно говорить то, что ты думаешь, является первоопределяющей в жизни. Если такой возможности нет, то жизнь может быть сытой, спокойной, не лишенной приятностей, но это обязательно будет неполноценная, увечно-инвалидная жизнь. В то время как возможность говорить то, что ты думаешь, способна скрасить уйму самых разнообразных неприятностей.

Так что, с одной стороны, Виктор Банев, оказавшись в этом мире, испытал бы, безусловно, прилив счастья, смог бы расправить плечи, глубоко вздохнуть. Но с другой стороны, ощутив полную свободу, он оказался бы в положении того героя Владимира Высоцкого, который сказал: «Мне вчера дали свободу. Что я с ней делать буду?» У Высоцкого, правда, речь идет, судя по контексту, не о творческой личности, а, скорее, о приблатненной. Но сам по себе вопрос поставлен вполне точно и очень ясно. Над этим вопросом сейчас бьются многие представители нашей творческой интеллигенции. И я думаю, что Виктор Банев тоже бился бы над этим вопросом. Я думаю, что Виктор Банев тоже бы сейчас замолчал. Может быть, спел бы несколько сатирических песен, а потом понял бы, что хотя эти веселые песенки и развлекают почтеннейшую публику, но они не определяют сути происходящего и не дают понимания будущего.

Ведь что с нами произошло? Мы потеряли будущее. Оно у нас было: серое, суконное, очень скучное, шершавое и неприятное, но совершенно определенное будущее. Мы ясно себе представляли, что ждет нас и через 10 лет, и через 20 лет, и вообще на протяжении всей оставшейся жизни. И вот это представление исчезло. Оно оказалось, к счастью, неправильным. Открылся целый веер возможностей — от кровавой и бессмысленной диктатуры до перспективы шведского социализма со всеми его плюсами и минусами.

Мы растерялись. Мы перестали понимать, что нас ждет через 10, 20 лет. В этом смысле будущее потеряно.

Я все время стараюсь возвратиться к той цитате, с которой мы начали. При всей своей приземленности, при всех атавистических привычках своих и обычаях, Банев — человек, устремленный в будущее. Будущее — это предмет его размышлений, его эмоций, большой кусок его душевной жизни. Безусловно, Банев, оказавшись в нашей сегодняшней ситуации, тоже ощутил бы потерю определенности. Ему стало бы очень странно и в каком-то смысле неуютно…

— На страницах повести ваш герой высказывает две точки зрения по одному, как мне кажется, очень актуальному сейчас вопросу:

«Разрушить старый мир, на его костях построить новый — это очень старая идея. И ни разу пока она не привела к желаемым результатам».

«Старые миры приходилось разрушать потому, что они мешали строить новые, не любили новое, давили его».

Какой точки зрения вы придерживаетесь сегодня?

— Я придерживаюсь, конечно, первой точки зрения. И всегда придерживался. Хотя в словах Банева достаточно резона — безусловно, старый мир будет мешать, будет стараться сразить и задавить новый мир. Но, как правило, у старого мира уже не хватает на это сил. Это подтверждает весь ход истории. Будущее всегда одерживает победу над прошлым — всегда и во всех смыслах.

Когда Банев изрекает свою сентенцию о том, что старый мир будет мешать, он просто хочет сказать: «Ребятки, если вы воображаете, что вам удастся построить новый мир без разрушений и без крови, то вы ошибаетесь. А ошибаетесь вы потому, что вы-то сами славные люди, но те, с кем вы будете иметь дело, люди беспощадные, жесткие и не боящиеся крови».

Заметьте, какой взрыв полемики сопровождает все перестроечные явления последних лет. Газеты раскалены, буквально дымятся. Правые наскакивают с остервенением на левых, левые — на правых, центр тоже, не теряя времени, размахивает словесными кулаками и наносит удары направо-налево. Подавляющее большинство сентенций направлено не на то, чтобы провозгласить свои идеи, а на то, чтобы принизить идеи своего политического идейного соперника, на то, чтобы этого соперника как-нибудь «ущучить», уязвить, сделать ему больно, неприятно…

Очень характерная ситуация для переломных моментов истории. Это свидетельствует о каких-то весьма глубинных свойствах человеческой психики и психологии. А на самом деле это абсолютно бесполезное

занятие. Сейчас самое правильное не столько стремиться разоблачить своего противника, сколько последовательно, терпеливо втолковывать свои собственные идеи.

Бессмысленно клеймить разными дурными словами, скажем, Невзорова. При всех его недостатках, это человек, выражающий определенную идеологию, имеющий определенную точку зрения на мир, — человек с имперским мышлением, фанатик Империи, неустанно воспевающий «необходимость самовластья и прелести кнута». Налетать на него кочетом, хлопать крыльями, клевать в макушку, стараться его унизить — занятие бессмысленное, приятное, не спорю, но совершенно бесполезное. Вместо того, чтобы расклевывать имперскую идеологию, нужно последовательно и доходчиво развивать собственную — идеологию демократии, идеологию демократических преобразований. Ибо, как известно, демократия — это очень плохая форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало.

Самое главное сейчас — конструктивность позиции. Герои нашей повести — ребятишки («ученики» будущего) — правы в том, что они не хотят заниматься разрушением старых структур, они хотят рядом с ними и вопреки им построить новые, свои. А старые структуры просто уйдут в прошлое, они сгниют, развалятся сами — без крови, без насилия, не выдержав конкуренции.

Это, видимо, и есть тот путь, которым сегодня должна следовать любая разумная политика: создание новых структур, параллельно со старыми и вопреки им.

При этом мы должны понимать, что старые структуры, сознавая свою обреченность, будут всячески стараться вставлять палки в колеса, будут стремиться разрушать новые структуры, не стесняясь при этом в средствах. Классическое доказательство — Прибалтика, Вильнюс. Старая структура, оказавшись загнанной в угол, понимая, что с каждым часом истекает ее время, готова на путч, готова пролить кровь.

— По-видимому, в этом же русле можно рассматривать конфликт между Арменией и Азербайджаном…

— Боюсь, что это не одно и то же. Дело в том, что события в Прибалтике на самом деле не были межнациональным конфликтом. Это был конфликт идеолого-политический.

А вот то, что происходит между Арменией и Азербайджаном, видимо, все-таки процесс межнациональный. Прорвались застарелые гнойники, которые нарывали на протяжении многих и многих десятилетий.

— Сейчас пытаются объяснить этот конфликт тем, что Армения, в

отличие от Азербайджана, встала на демократический путь…

— Этим можно объяснить только тот факт, что центральное правительство явно придерживается стороны Азербайджана. Но если бы даже центр вообще не вмешивался в эти события, просто вывел бы оттуда какие бы то ни было воинские подразделения, конфликт все равно бы протекал в тех или иных формах, ну, может быть, только без применения тяжелого оружия. Там ситуация, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем в Прибалтике. Если все прибалтийские проблемы, совершенно очевидно, можно решить путем неторопливых, обстоятельных, обоюдовыгодных переговоров, то решения армяно-азербайджанской проблемы я в ближайшее время просто не вижу. Как это ни прискорбно…

— От людей старшего поколения часто приходится слышать, что даже в самые страшные сталинские времена им психологически было все-таки легче, чем в наше смутное, непонятное время. Может быть, вообще процесс раскрепощения человека проходит более болезненно, чем процесс его порабощения?

— Это, безусловно, так. Особенно, если процесс закрепощения происходит медленно, а процесс раскрепощения — быстро. В этом случае всегда находятся обширные массы людей, которые недовольны настоящим и с тоской вспоминают о прошлом.

Дело в том, что ведь наше 70-летнее порабощение — это был довольно медленный процесс. Вообще, чтобы поработить человека, надо выполнить всего-навсего два условия: во-первых, лишить его притока разнообразной информации и, во-вторых, целиком и полностью отдать под власть тайной полиции. Все! Готово! Человек в течение двух или трех пятилеток психологически превращается в раба. И это рабство для большинства людей может быть достаточно уютным состоянием души. Нет проблем социальных, нет проблем идеологических, нет проблем мировоззренческих. Главное, что ты должен знать о мире, тебе напишут в газетах, покажут по телевизору, объяснят по радио. Регулярно происходят политинформации, на которых тебе втолковывают, как ты должен понимать политические события. И ты сидишь в вонючем своем, уютном закутке, и тебе кажется, что ты дышишь воздухом свободы…

И вдруг такого человека бросают в чистое поле, где одни кричат одно, другие — другое, а что на самом деле является правдой, понять совершенно невозможно. Вчерашние кумиры оказываются кровавыми идолами. Кто такие новые кумиры — не говорят. «Ну кто у нас теперь главный, скажите?» — кричит несчастный обыватель, которому плевать на политику, который, вообще-то говоря, и должен плевать на политику.

Нормальный человек в нормальной стране не должен интересоваться политикой, был период в нашей стране в начале 50-х годов, когда все обязаны были интересоваться проблемами языкознания. Это была стадия бреда — бред тоталитарной системы. Так и сейчас нас упорно заставляют заниматься политикой. Политика лезет к нам во все щели. Мы закрываем дверь, она входит в окно. Обыкновенный человек, которому на самом деле надо думать о домашнем хозяйстве, о том, где заработать деньги, как купить обувь детям, оказывается в весьма некомфортном состоянии. И возникает та самая ситуация, о которой вы меня спрашиваете.

— «Плохо, если на рудники… Это действительно плохо… Но это же редко, времена не те… Смягчение нравов… Сто раз я об этом думал и сто раз обнаруживал, что бояться в общем-то нечего, а все равно боюсь. Потому что тупая сила… это страшная штука, когда против тебя тупая, свиная со щетиной сила, неуязвимая ни для логики, неуязвимая ни для эмоций…» (Из повести «Гадкие лебеди».) Борис Натанович, знакомо ли вам чувство страха?

— В вашем вопросе речь идет фактически о взаимоотношениях художника и репрессивных органов. Да, эта проблема всегда была… Но не для всех, конечно. Когда я начинал работать в литературе, я был абсолютно наивным, слепым щенком, одним из тех, про кого герой Солженицына говорил: «Едут по жизни семафоры зеленые…». Это было время, когда раскрывались все и всяческие шлюзы, поднимались железные занавесы, обрушивалось огромное количество информации — только слушай, читай. И выяснялось, что, оказывается, куча твоих знакомых (тебе и в голову это не приходило) отсидели — кто 10 лет, кто 15 лет. И они стали рассказывать о том, что видели…

А потом наступил период, когда стали закручивать гайки. Это по-настоящему началось после процесса Синявского — Даниэля. Творческая интеллигенция начала понимать, что это не просто где-то что-то кто-то учудил, что это не просто рецидив сталинской эпохи — это первый звонок.

Я в то время еще был полон оптимизма. Мне казалось — другого пути, чем тот, который выбрал Хрущев, нет. Мне казалось, что оттепель заморозить снова — не то что невозможно… — бессмысленно, это никому не нужно.

Поэтому я как раз воспринимал это просто как грозящий пальчик, мол, смотрите, в случае чего, мы можем и вами заняться! И не более того… Но умные и опытные люди уже тогда понимали, что это начало поворота.

В 67-м году (в юбилейный год) пропагандистская машина уже вовсю заработала на старом горючем. Ну а в 68-м, после Чехословакии, все стало

абсолютно ясным. Ни у кого не было уже никаких сомнений: пошел откат.

Вторая половина 60-х — это было то самое время, когда наше поколение поняло, что оно в любой момент может столкнуться с репрессивной машиной. И если захотят снова провести кампанию репрессий, то начнут именно с нас, именно с тех людей, которые позволяли себе писать не так, как требует начальство, выступать перед читателями не так, как нравится начальству, просто говорить между собою достаточно громко и в том числе при посторонних или малознакомых людях.

Вот тогда возникло это ощущение тупой силы, этих страшных красных глазок зверя, который внимательно за тобою следит… И все время идет обстрел. И снаряды падают уже не где-то там за спиной и не где-то там впереди, а в твоих окопах. То один вызван для профилактической беседы в Большой дом, то другой предупрежден, то к тебе приходит какой-нибудь читатель и говорит: «Борис Натанович, извините, но я должен вам сказать, что меня вызывали в КГБ, расспрашивали про вас. И предлагали с ними сотрудничать, чтобы я о вас докладывал».

Это вот ощущение, что ты на прицеле… Оно было все время… Атмосфера сгущалась, и это накладывало, конечно, определенный отпечаток, прежде всего на манеру работать.

Писать надо было таким образом, чтобы, с одной стороны, это было достаточно смело, но, с другой стороны, так, чтобы тебя нельзя было за эту рукопись «замести». То есть рукопись должна была вызывать у главного редактора страх и даже ужас, но никак не желание отнести ее в органы. Такая вот творческая задача художника эпохи зрелого социализма.

«Гадкие лебеди» мы начали писать еще до процесса Синявского и Даниэля. Писали совершенно открыто, для редакции фантастической литературы издательства «Молодая гвардия». Это был последний свободный крик свободной души. Когда мы принесли рукопись в «Молодую гвардию», ее отклонили.

В 74-м году мы закончили роман «Град обреченный». Но тут уж мы понимали, что эту рукопись даже в издательство нести нельзя. Судьба гроссмановского романа была нам хорошо известна. Все, что мы могли себе позволить, это размножить рукопись в нескольких экземплярах и раздать нашим друзьям — людям, которым мы доверяли на сто процентов, но которые со стороны нашими, очень уж близкими друзьями не выглядели, то есть к ним вряд ли могли прийти с обыском. Эта рукопись хранилась у них много лет. Даже наши родные об этом ничего не знали. Такова была ситуация.

В 74-м году в Ленинграде готовился процесс Эткинда — Марамзина.

Процесс с явным антисемитским душком. Я в него оказался вовлечен как близкий знакомый Михаила Хейфеца. Это был очень хороший литератор, автор нескольких замечательных статей… Его «сцапали» — он должен был быть фигурантом в этом деле. Ну а меня таскали в качестве свидетеля. Так я столкнулся с этой машиной уже лицом к лицу.

На настроениях того времени впоследствии была написана повесть «За миллиард лет до конца света». Это была попытка выразить ощущение при столкновении человека с силой — неназываемой, неопределенной, неосязаемой, которая тем не менее готова сломать все, что ей не подчиняется.

Характерно: о том, что меня таскали в Большой дом, я рассказал только своим самым близким друзьям. Среди писателей, по-моему, я об этом совсем не рассказывал. Никому.

— А почему? Вы опасались, что кто-то может вас заподозрить в сотрудничестве с «компетентной организацией»?

— Нет… Нет! Это какие-то гораздо более сложные соображения. Какая-то наивность, во-первых. Мне казалось, что если я об этом не буду говорить — об этом никто не будет знать. А чем меньше людей об этом будет знать, тем меньше последствий проистечет из этого события.

Логика примерно такая. Вот я расскажу обо всем Иванову. Иванов часто бывает в журнале «Аврора». Он придет туда, растреплется… Если допустить, что никакие бумаги из КГБ в журнал «Аврора» не пошли (а это вполне можно было бы допустить), то любая трепотня о том, что Стругацкого «таскали», может сыграть роковую роль. Я приду в следующий раз в «Аврору», и там, отводя глаза в сторону, мне скажут, что последняя наша рукопись далеко не лучшая, портфель редакции переполнен и т. д. Бывали «прен-цен-ден-ты»…

Но кроме этих вполне рациональных соображений было и еще что-то — что-то кафкианское, болезненное, брезгливость какая-то. Будто ты вдруг стал носителем дурной болезни — меченым, парией, не таким, как все остальные… А ведь меня зацепило только по касательной, и вел я себя вполне прилично!..

— В одной из ваших книг есть такая фраза: «Всю жизнь я страдаю от того, что думаю о людях хорошо». Есть ли у вас основания повторить эту фразу применительно к себе?

— Это у нас какой-то полукомический герой говорит… Это не из «Второго нашествия марсиан»? По-моему, оттуда.

Нет, конечно, я про себя не могу этого сказать. Я, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, если и был предаваем, то очень редко. Один-

два случая, о которых я знаю. Может быть, были какие-то случаи, которые остались тайной для меня. Но… Мне всегда везло на друзей и даже просто на знакомых.

— А вы впоследствии простили тех людей, которые вас предали? Может быть, они раскаялись?

— Вообще говоря, я, вероятно, этих людей простил. Я сейчас вспоминаю только одну историю такого рода. Очевидно, остальные я забыл, хотя было несколько таких случаев в моей жизни. Раз забыл — значит, простил.

Человек, которого я вспоминаю, предал меня дважды. Причем в первый раз я его простил, но через год он предал меня снова. С тех пор я уже больше его не прощаю… Впрочем, какие это предательства! Так — мелкие, но гадкие пакости.

— Из повести «Гадкие лебеди»:

«— Скажи, а ты как, — сначала напишешь, а потом уже вставляешь национальное самосознание?

— Нет, — сказал Виктор. — Сначала я проникаюсь национальным самосознанием до глубины души: читаю речи господина президента, зубрю наизусть богатырские саги, посещаю патриотические собрания. Потом, когда меня начинает рвать, — не тошнить, а уже рвать, — я принимаюсь за дело…»

Борис Натанович, сейчас, по-видимому, не самое лучшее время для создания художественных произведений?

— Я могу писать только о том, что мне интересно.

У нас есть хорошо продуманный план одной фантастической повести из жизни Максима Каммерера. Мы совершенно точно знаем, какие там будут приключения. Мы знаем, чем это должно кончиться. Мы отдаем себе отчет в том, что это задумано достаточно любопытно, что это может быть не рядовая повесть.

Но это меня сейчас не интересует.

Меня интересует политика, меня интересует экономика, меня интересует социология. Я почти не читаю сейчас художественной литературы и совершенно ничего не перечитываю, что для меня попросту ненормально. Мне интереснее читать… я не знаю… большую статью Лациса, например. Или Егора Гайдара. Причем я читаю ее с наслаждением. Я не читаю — я ее изучаю, я ее впитываю, я обсуждаю ее с женой, с сыном, с друзьями. Мне это все страшно интересно. Поэтому, строго говоря, если что-то писать, то писать мне сейчас надо именно такую социально-политическую публицистику. Но здесь я никакой не профессионал, я

дилетант самого низкого пошиба.

Вот такое имеет место противоречие. Как мы выберемся из него, я не знаю. Надежда на то, что Аркадий Натанович (он относится к политике гораздо более холодно и еще не потерял интереса к художественной литературе) как-то будет меня тянуть. Но пока я плохо себе представляю, что будет дальше.

— Андрей Тарковский: «Я никогда не понимал, что художник может быть счастлив в процессе своего творчества».

Аркадий и Борис Стругацкие (из повести «Гадкие лебеди»): «Какой из меня, к черту, писатель, если я не терплю писать, если писать — это мучение, стыдное, неприятное занятие…».

Лион Фейхтвангер (из романа «Братья Лаутензак»): «Те, в ком нет творческого начала, даже понятия не имеют о том, что такое счастье».

— Противоречия между словами Фейхтвангера и словами Банева (в «Гадких лебедях») или Тарковского на самом деле нет, хотя вы хотели, видимо, продемонстрировать именно противоречие. Дело в том, что процесс творчества — это, как правило, действительно чрезвычайно мучительное, болезненное и неприятное занятие. Сам процесс. Но зато какое счастье, когда что-то у тебя получилось! То состояние, в котором Пушкин восклицал: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» А ведь писать-то ему трудно было, наверняка. Ведь об этом Александр Сергеевич слова не сказал — как он вымучивал все это, как рвал бумагу и швырял в угол перья.

Но когда мучения кончились, когда роды произошли, когда эта боль, нечистота, отчаяние — все это позади, а на руках у тебя младенец — крепкий, здоровенький, красавец… Это счастье… Это счастье, которое — совершенно прав Фейхтвангер — ни с чем сравнить нельзя. Ни с чем нельзя сравнить это счастье! Когда ты понимаешь, что ты сделал что-то стоящее, что-то новое… В этом смысле, конечно, ничто не приносит такой радости, как творчество. Я больше ни с чем это сравнить не могу…

P.S. «Раз, раз, раз…». А магнитофон, оказывается, работал! (Спасибо вам за это, товарищи!)

К. Селиверстов

Борис Стругацкий
УЛИТКА НА СКЛОНЕ СТОЛЕТИЯ[54]

Братья Стругацкие — уникальное явление в мировой фантастике. Авторы почти безошибочных прогнозов и точных обобщений. Их проза —

то социологическое исследование, облеченное в форму романа, то оригинальное переосмысление истории. Неважно, что грядущее скорее всего будет выглядеть гораздо хуже, чем в раннем цикле Стругацких. Важно, что жить в Граде Обреченном из их позднего романа уже невозможно без учета их опыта. «Понять — значит простить», — решило человечество достаточно давно. «Понять — значит упростить», — уточнили Стругацкие. Наш разговор не претендует ни на какую окончательность мнений. Он намеренно полемичен. Во всяком случае, к голосу популярнейших фантастов последних лет необходимо прислушиваться не только их читателям.

— Борис Натанович, как выглядит в вашем представлении главный итог, к которому пришел XX век?

— Боюсь, что итоги XX века вправе подводить только люди века XXI. Мы же можем констатировать лишь то обстоятельство, что мощь человечества возросла неимоверно, а нравственный потенциал остался столь же низким, как и в прошлом. А это значит, что цивилизация, как и прежде, остается беззащитной перед Повелителями Дураков.

Есть, впрочем, и поводы для оптимизма.

Человечество, кажется, осознало наконец, что война перестала быть экономически выгодна. Она более не может рассматриваться как «продолжение политики иными средствами». Первая мировая подорвала феодальное представление о войне как о чем-то героическом и сумрачно-прекрасном. Вторая мировая похоронила древнюю идею мирового господства. Научно-техническая революция породила представление о войне как о сложном и дорогостоящем способе самоубийства.

Земля слишком мала, чтобы быть полем современного боя. Воевать должны не люди, а кредитные ставки, технологии и таможенные тарифы.

Разумеется, я далек от прекраснодушной мысли, что все эти соображения уже сделались достоянием широких масс. Увы, это не так. И сегодня полным-полно дураков, которые, фанатично размахивая развернутыми знаменами всех цветов, исступленно требуют крови и огня. И сегодня до отвращения много генералов и политиков, с идиотским наслаждением планирующих: «Ди эрсте колонне марширт… Ди цвайте колонне марширт…» Но если в прошлом веке вышеизложенные соображения были достоянием только немногих философов и писателей, то в наше время они знакомы любому власть имущему, а это уже существенно.

— Что вы назвали бы Идеей Века? Его главным соблазном, если хотите?

— Две такие идеи кажутся мне наиболее значительными.

Первая. Идея построения Справедливого Общества через отказ от частной собственности — она же марксистская, она же ленинская, она же социалистическая. «Упразднить раз и навсегда частную собственность на средства производства; передать эти средства производства в собственность производителям — все остальные проблемы социологии и экономики решатся тогда автоматически» — так можно сформулировать суть этой идеи.

Вторая. Идея построения Справедливого Общества посредством безграничного развития науки, совершенствования техники и создания Второй Природы. «Научно-технический прогресс автоматически порождает прогресс социальный» — эта технократическая идея зародилась в недрах XIX века, века пара и электричества, у нее нет определенного автора, она порождена успехами первой НТР и головокружительными победами второй.

Обе эти идеи достаточно просты и доступны любому человеку в очень широком социальном диапазоне, что делает их в высшей степени соблазнительными. Нам удалось дожить до того момента, когда социалистическая идея дискредитировала себя полностью — выяснилось, что при попытке ее практического воплощения она заводит своих фанатиков, а с ними и все остальное человечество в кровавый тупик.

Уже сейчас ясно, что и технократическая идея, взятая в чистом виде, ущербна и опасна — она с неизбежностью породит экологическую катастрофу и заведет человечество в неприветливые джунгли Второй Природы, в мир, где все будет искусственное, даже, может быть, и сами люди. Впрочем, этого мира мы с вами скорее всего не успеем увидеть. И слава богу.

XX век, уходя, оставляет руины великих идей и прекрасных иллюзий. Новых идей и новых иллюзий он, кажется, не породил. Зато породил много новых страхов. XIX век предостерегал, и XX век не послушался предостережений. По-моему, никогда в истории не было так много предостережений, таких основательных и серьезных, как во второй половине нашего столетия. Пора все-таки дуть на воду, может быть, это и станет основной идеей XXI века? Не знаю. Но я знаю лозунг, под которым нашему веку надлежало бы войти в следующий. Замечательный лозунг: «Митьки никого не хотят победить!»

— XX век прошел под знаком мечты о контакте со сверхцивилизацией. Что такое для вас идея инопланетных Странников, допускаете ли вы их существование и участие в земных событиях? Может, в XX веке они уже

хозяйничают здесь?

— Странники всегда были для нас символом далекого будущего, более высокой эволюционной ступени. Странники — это символ сверхцивилизации. Само понятие сверхцивилизации, по сути, гипотетично при всей своей определенности — сверхцивилизация есть цивилизация, оперирующая энергиями порядка звездных. Я сильно подозреваю, что наши пути просто не могут пересечься: мы ходим по разным дорогам — у странников асфальтобетонные супермагистрали, у нас — муравьиные тропы в траве. Если же и случится так, что дороги эти случайно пересекутся, то с нашей точки зрения это будет выглядеть, скорее всего, как стихийное явление, не имеющее никакого отношения к разумной (с человеческой точки зрения) деятельности. Наиболее вероятная, на наш взгляд, модель контакта со сверхцивилизацией описана нами в повести «Пикник на обочине».

Все, что нам надо для того, чтобы зажить по-человечески, у нас есть. Все, что нам может помешать, я уже перечислил. Зачем же нам Странники? Ведь Странники — это не более чем Бог. А Бог — в человеке. Или же его нет нигде.

— Как по-вашему, завершилась ли на нас эволюция? Или нам еще предстоит развиться в монстров, титанов, всемогущих «гомо супер»?

— И в ближайшем, и в самом отдаленном будущем возможен только один тип эволюции человека — искусственная эволюция, вторжение в генные структуры. Это путь чрезвычайно опасный и, я бы сказал, безнравственный, но человечество может оказаться вынужденным на это пойти, если экологическая катастрофа все-таки разразится и нам придется жить в мире, где нет ни чистой воды, ни зеленой травы, ни атмосферного воздуха.

— Не сбывается ли на наших глазах самый пессимистический прогноз относительно судьбы России? И не стали ли мы уже страной, где неизбежно сбывается худший прогноз?

— Страну нашу я не только не считаю обреченной, но, наоборот, вижу на пороге величайшего экономического, социального и культурного подъема. Мы получили уникальный шанс начать все сначала и сделать наконец у себя все, как у людей. Позор нам будет, если слабость, глупость, леность наша и повадливость на демагогические лозунги помешают нам использовать этот шанс.

— Но эпоха всеобщего распада, краха системы должна неизбежно повести к распаду и деградации отдельной личности… Неужели жизнь поколения, прежде уходившая на борьбу или сосуществование с режимом,

сегодня снова уйдет на ожидание лучших времен, на преодоление хаоса?

— Этот вопрос столь же некорректен, как если бы вы, например, спросили, почему у ангелов позолоченные ногти. Никто не видел ангела — я не вижу распада. Беда как раз в том, что он должен и не хочет происходить. Мы опаздываем минимум на век, и нам неизбежно придется догонять мир. Преобладающая психология у нас — типично феодальная. Один делает вид, что работает. Другой делает вид, что платит. Вы можете работать на военном заводе и производить устаревшие перископы к танкам. Это никому не нужно, но вам платят, и, более того, вы считаете такое положение нормальным. Это психология феодального холопа, на преодоление которой у Запада ушел весь XIX век. Эта система должна распасться. И не думаю, что ситуация глубокого застоя предпочтительнее. Поскольку это осознается все большим количеством активных людей — а именно они составляют главную силу общества, — мы неизбежно вернемся на нормальный путь развития, ибо национальные и исторические особенности менталитета могут только задержать, но не остановить этот процесс.

— Но ведь все дело в усредненных потребностях большинства, в том, что нужно от жизни основной массе людей, в конкретном понимании достатка, счастья…

— Вообще, по-моему, есть только два пути к счастью, ибо задача человека состоит в получении от жизни максимального наслаждения. Первый путь — религия. Это, как мне представляется, выход для слабых. Религия — это духовный наркотик, далеко не единственный. Есть определенная литература, играющая роль наркотика. Есть искусство. Есть уход в себя. Все это — путь в нирвану как путь максимального отказа от жизненных благ и сокращения жизненных потребностей, уход от мира в нечто, недоступное средним умам. Второй путь — работать, продавать свой товар, наполнять жизнь деятельностью, получать за это деньги. Я вижу, как много у нас, оказывается, приверженцев второго пути, и меня это радует.

— XX век не породил у вас уверенности, что литература не способна воспитать человека и предотвратить катастрофу, что ей следует отказаться от учительской роли?

— Я никогда не приписывал литературе учительской роли, разве что в детстве и ранней юности. Мы привыкли к убеждению, что литература формирует мировоззрение. У нее не было и нет такой задачи. Мировоззрение формируют семья, школа, завод, стадион, жизнь во всем многообразии своих проявлений. А литература может то или иное мировоззрение поддерживать — вот и вся ее функция.

— Как это ни печально, материальный прогресс чаще всего жесток. Будущее не щадит настоящего и не слишком заботится о нравственности и свободе. Имеет ли смысл противостоять ходу истории невзирая на всю безнадежность таких попыток?

— Прогресс — понятие обширное и многозначное. Обычно под прогрессом понимают усложнение системы социальных связей, усложнение технологии, развитие производительных сил вообще. В рамках технократической идеи такой прогресс автоматически означает прогресс культуры и нравственности. Но это совсем не так. В таком понимании прогресс безличен и находится за пределами морали.

Если же мы определим его именно как прогресс совершенствования и распространения нравственности, останется совершенно неясным, что же именно, какие общественные силы порождают этот прогресс? Религия? Воздействие ее весьма выборочно и весьма ограничено. Система воспитания? Ее не существует — наше общество умеет только дрессировать людей, но никак не воспитывать их. Некая таинственная внутренняя самоэволюция? Ничего не знаю о ней, и никто ничего не знает…

Что же остается отдельному человеку, который не в силах ни остановиться, ни затормозить, ни отвергнуть в сторону громаду мира, прущего своей дорогой?

Аркадий Белинков сказал четверть века назад: «Если ничего нельзя сделать, то нужно все видеть, все понимать, не дать обмануть себя и ни с чем не соглашаться». Он таким образом предельно кратко и емко сформулировал основные правила поведения инакомыслящего в любой тоталитарной системе.

Прогресс совершается с неумолимостью и равнодушием самой жесткой тоталитарной системы, и, значит, Кандидам и Саулам остается и надлежит: видеть, понимать, отвергать ложь и «выращивать свой сад». Ибо прогресс — это (как у Л. Н. Толстого) равнодействующая миллионов воль. Нельзя ускорить рост дерева, таща его вверх за ветви. Нельзя ускорить ход истории, ибо «божьи мельницы мелют медленно».

Беседовал Дмитрий Быков

Борис Стругацкий
БОЛЬНОЙ ВОПРОС[55]
Бесполезные заметки

1

Герой Ильфа и Петрова заявляет с законной гордостью: «Да, представьте себе, евреи у нас есть, а вопроса нету!..» Прошло полстолетия с небольшим, и мы вдруг с некоторой даже оторопью обнаруживаем, что евреев у нас, можно сказать, почти уже и нет, а Вопрос — вот он, пожалуйста, сколько угодно, и с любыми оттенками…

Вот уже несколько лет мне хочется написать об этом, хотя, клянусь, я вполне сознаю полную бесполезность текстов подобного рода, даже если распространятся они многомиллионными тиражами и подписаны будут именами, на порядок значительнее и весомее моего.

Для меня национальность — это язык плюс культура (включая традиции, обычаи, историческую память). Разумеется, так называемая «кровь», то есть национальный генотип, тоже играет известную роль, определяя какие-то чисто внешние физические признаки (рост, вес, цвет волос, форму носа) и отчасти даже темперамент. Но это все «вторичные» признаки. И если вы возьмете младенца-бушмена из тропического леса Экваториальной Африки и отдадите его в семью русского колхозника, проживающего в деревне Большое Лядино, то вырастет у вас там коротконогий и короткошеий, кучерявый, кособрюхий мужичонка, дикого и даже страшноватого вида — черный какой-то, глаза буравчики, лицевой угол, как у неандертальца, но во всех остальных отношениях — нормальный мужик: пьющий, как все, как все матерящийся, как все — семейный, как все неприхотливый и терпеливый. Ну, может быть, чрезмерно вспыльчивый, сварливый и драчливый — да с кем не бывает? Ну, характер у человека такой, чего вы к нему привязались!..

А если возьмете вы младенца из семьи этакого русоголового ария, сызмальства презирающего жидовню и в анкетах пишущего — в пятом пункте — *великоросс*, возьмете вы его младенца-сыночка и поместите его в еврейское местечко прошлого века, где-нибудь под Житомиром, то и вырастет там — horribile dictu! — этакий аид, белокурый, конечно, и голубоглазый, но с омерзительно-комическим этим акцентом, с жестикуляци— ей этой анекдотической, с пейсами (с русыми пейсами!), с характернейшими повадками мелкого торговца, с цепкой неотвязностью репейника и совершенно невыносимым высокомерием местечкового мудреца… Ужас! Представить же себе страшно!

Поэтому все эти разговоры о Крови, о Роде, о Духе — высокопарны и бессмысленны. Они были бы смешны, если бы не стояла за ними угрюмая

программа по превращению общества в этакий племенной завод, где каждая вязка-случка тщательно запланирована, а результаты незапланированных контактов выбраковываются твердой и безжалостной рукой.

Для истинного националиста важнее всего — детали, формальности, признаки, форма уха вашего прадедушки, архивная запись… Он обожает говорить о беззаветной любви к своему народу, но это какая-то странная и страшноватая любовь, плавно и нечувствительно переходящая в ненависть к народу чужому. И если «патриотизм — это последнее прибежище негодяя», то национализм — его первое и излюбленное прибежище.

Почему-то мне кажется, что я имею право считать себя беспристрастным судьей во всех этих вопросах и высказываться без риска быть обвиненным в юдофильстве-жидоедстве, русофобстве-русолюбстве. Во-первых, я никогда не замечал себя в грехе национализма. А во-вторых…

Отец мой, Стругацкий Натан Залманович, — стопроцентный еврей, сын Херсонского еврея-адвоката и еврейки, домашней хозяйки. Мать, Литвинчева Александра Ивановна, — дочь стопроцентного русского мужика, выбившегося в прасолы, и русской женщины — домашней, разумеется, хозяйки.

Согласно «Директивам по обращению с евреями на территории рейхскомиссариата Остланд» (опирающимся на так называемые Нюренбергские законы): «Евреем считается тот, кто происходит, по меньшей мере, от трех дедушек или бабушек, которые в расовом отношении являются чистокровными евреями. Евреем считается также тот, кто происходит от одного или двух дедушек или бабушек, чистокровных евреев…»

Директивы составлены не вполне ясно: зачем нужна первая из приведенных формул, если имеет место вторая? Впрочем, в тех же Директивах абзацем ниже сказано более чем определенно: «В случае сомнения гебитскомиссар или штадскомиссар решает, кто является евреем, по своему усмотрению, опираясь на эти директивы».

Поскольку среди четырех моих дедушек-бабушек двое являются «в расовом отношении чистокровными евреями», я по законам Третьего Райха являюсь евреем (со всеми вытекающими отсюда последствиями).

Однако, не могу не заметить, что по законам еврейского государства Израиль, евреем может считаться только тот человек, мать которого является еврейкой. Так что, с точки зрения законопослушного израильтянина, я — типичный *гой*, то есть кто угодно, но не еврей.

Разумеется, возникшее противоречие является противоречием

искусственным, надуманным, чисто интеллигентским — любой наш советский штадскомиссар, не говоря уже о гебитскомиссаре, разрешит его в мгновение ока (и уже разрешал, надо думать, неоднократно, о чем речь еще впереди). Нет, я привел все эти национал-юридические изыскания отнюдь не для того, чтобы посеять сомнения, а только лишь, чтобы обосновать свою позицию человека, способного, вроде бы, на объективный (взвешенный) подход к делу.

Впервые я, мальчик домашний и в значительной степени мамочкин сынок, встретился с еврейским вопросом, оказавшись учеником первого класса ленинградской школы.

Совершенно не помню, от кого именно, но от кого-то из моих новых знакомых я впервые услышал тогда слово «жид». Надо сказать, что школа научила меня многим новым словам (например, «б…», «е…», «п…»), и слово «жид» не особенно выделялось среди них: все это были слова гадкие, тайные и обозначающие нечто дурное. Если бы тогда кто-нибудь спросил меня, кто это такой — жид, я без запинки ответил бы, что это такой очень нехороший человек.

Крайняя наивность и плохая осведомленность моя сыграли со мною однажды дурную, помнится, шутку. Как-то вечером (было это, скорее всего, зимой 1940/41 года) я, будучи мальчиком семи лет и по обыкновению изнемогая от скуки, просился в комнату моего старшего брата, девятиклассника, где всегда и все было необыкновенно и интересно. То ли старший брат мой, девятиклассник, был занят, то ли настроение у него было несоответствующее, но он меня к себе не впускал, и я уныло торчал в темной кухне, время от времени тихонько царапая заветную дверь и поднывая: «Аркашенька, можно?..» Одни лишь свирепые междометия были мне ответом.

И вот, когда от тоски и безнадежности иссякли во мне последние запасы надежды и почтительности, я вдруг, неожиданно для себя, выкрикнул в пространство: «У-у, жид!..»

Что собственно, хотел я этим сказать? Какую идею выразить? Какие обуревавшие меня чувства? Не знаю.

За дверью воцарилась *страшная, мертвенная* тишина. Я обмер. Я понимал, что сказал нечто ужасное, и все чувства во мне оцепенели. Дверь распахнулась. На пороге стоял Старший Брат…

Обуявший меня ужас отшиб у меня память. Я запомнил лишь одну фразу: «…только фашисты могут говорить это слово!!!» — но, как видите, я запомнил эту фразу на всю жизнь.

(Наверное, именно после этого инцидента произошло запомнившееся

мне внутрисемейное обсуждение вопроса: откуда произошло слово «жид» и как оно стало быть. В обсуждении принимала участие вся семья, но запомнилось мне почему-то лишь мнение бабушки, папиной мамы, которая сказала: «Это потому, что евреи *ожидают* пришествие мессии…» Вот странная гипотеза! — сказал бы я сейчас. Но почему я запомнил именно и только ее? Наверное, потому, что она показалась мне самой понятной.)

И это все о еврейском вопросе, что запомнил довоенный школьник первого класса! Полагаю, названный вопрос не стоял тогда сколько-нибудь остро — по крайней мере в тех кругах социума, где главной проблемой было скрыть от мамы «плохо» за контрольную по чистописанию. Подобно бессмертному Оське из «Кондуита и Швамбрании», мальчик-первоклассник еще не знал, что он, оказывается, еврей.

Он узнал об этом всего лишь год спустя.

Время действия — сентябрь 1942. Место действия — средняя школа районного центра Ташла Чкаловской области. Из-за войны и блокады мальчик пропустил второй класс и, оказавшись в эвакуации, был отдан сразу в третий. Он впервые пришел в эту школу и, как и всякий новичок, встречен был радостным воем и клекотом свирепо-веселой толпы новых своих однокашников.

Ташла — гигантское село, несколько сотен мазанок, распространившихся вдоль речки Ташолки, по правому ее берегу. Половина населения — ссыльно-переселенцы из кулаков, другая половина — татары. Нравы — патриархальные. Любовь к советской власти такова, что в начале Сталинградской битвы, когда чашки весов застыли в томительной неопределенности, в дверях райсовета, по слухам, установлен был, в качестве предостережения, пулемет «максим» — рылом на площадь.

Впрочем, все это не суть важно. По-моему, во всех школах СССР в те годы существовал единый ритуал встречи новичка, хотя, разумеется, в каждой школе — со своими нюансами. Мне кажется иногда, что школьники младших классов тогдашнего Союза прилежно изучали «Очерки бурсы» Помяловского и с удовольствием брали оттуда на вооружение те или иные приемы.

В Ташлинской школе нюанс был такой: «А ну скажи „На горе Арарат растет красный виноград“!» — требовали у меня беспощадные личности, окружившие и стиснувшие меня. «А ну скажи „кукуруза“!!!» — вопили они, нехорошо ухмыляясь, подталкивая друг друга локтями и аж подпрыгивая в ожидании развлечения…

Я ничего не понимал. Было ясно, что тут какой-то подвох, но я не понимал, какой именно. Я просто не знал еще тогда, что ни один еврей не

способен правильно произнести букву «р», он обязательно отвратительно скартавит и скажет «кукугуза». Я же воображал, помнится, что едва я, дурак, скажу «кукуруза», как мне тут же с торжеством завопят что-нибудь вроде: «А вот тебе в пузо!!!» — и радостно врежут в поддых. «А ну скажи!!! — наседали на меня. — Ага, боится!.. А ну говори!..»

Я сказал им про Арарат. Наступила относительная тишина. На лицах истязателей моих явственно проступило недоумение. «А ну скажи „кукуруза“…» Я собрался с духом и сказал. «Кукугуза…» — неуверенно скартавил кто-то, но прозвучало это неубедительно: было уже ясно, что удовольствие я людям каким-то образом испортил. Мне дали пару раз под зад, оторвали пуговицу на курточке и разочарованно отпустили жить дальше. Я по-прежнему ничего не понимал.

После уроков небольшая группа любителей подстерегла меня на крутом берегу Ташолки и устроила стандартную выволочку — уже не как еврею, а просто как новенькому да еще вдобавок городскому. Я разбил в кровь нос Борьке Трунову (совсем того не желая), это вновь нарушило отлаженную программу, так что меня вчетвером отвалтузили без всякого энтузиазма, и я, маменькин сынок, гогочка, рыдая от людской несправедливости, отправился домой. Еврейский вопрос ни на данной стадии знакомства, ни в дальнейшем более не поднимался.

Впоследствии все мы, естественно, подружились. Борька Трунов стал вообще моим главным дружком — у него я учился небрежно ругаться матом, элегантно плевать сквозь зубы и выливать сусликов. Я был принят в русские и с презрением, хотя и без настоящей неприязни, глядел на единственного подлинного еврея в классе, — тоже Борю, тоже эвакуированного, тоже городского, но совсем уже жалкого заморыша, сморщенного какого-то, перекошенного и не способного правильно сказать «кукуруза». Я глядел на него с презрением, но иногда какой-то холодок вдруг пробирал меня до костей, какое-то странное чувство — то ли вины, то ли стыда — возникало, и непонятно было, что делать с этим холодком и с этим стыдом, и хотелось, чтобы этого жалкого Бори не было бы в поле зрения вообще, — мир без него был гораздо проще, яснее, беззаботнее, а значит — лучше.

Не помню, встречался ли я в Ташле с антисемитизмом взрослых. Видимо, нет. Но с меня вполне хватило и школьного антисемитизма. Это, правда, был какой-то путаный антисемитизм. Во-первых, мальчишки совершенно искренне считали, что все евреи живут в городе, из чего делали восхищающий своей логичностью вывод: все, кто из города, — евреи. Во-вторых, они совершенно не могли связно объяснить мне, почему еврей —

это плохо. Они и сами этого толком не знали. Самое убедительное, что я услышал от них, было: евреи Христа распяли. Ну и что? А ничего. Гады они, и все. К сожалению, я не помню в деталях этих наших этнологических бесед (на сеновале, в пристройке высоченного Труновского дома, и на базу у них же, на соломе, под ласковым весенним солнышком). Помню только, что я ни в коем случае не оспаривал основного тезиса — все евреи гады, — я только страстно хотел понять, почему это так?

В четвертом классе (1943/44) я учился в Москве. Об этом времени у меня почему-то не осталось никаких воспоминаний. Кроме одного. … Какие-то жуткие задворки. Над головой грохочут поезда метро — там проходит надземный участок. Мы с приятелем роемся в гигантской горе металлических колпачков от пивных и лимонадных бутылок — почему-то здесь их скопилось неописуемо много, и мы чувствуем себя сказочными богачами (совершенно не помню, как тогда использовались в нашей компании эти колпачки). И вот мой приятель вдруг объявляет мне (с нехорошей усмешкой), что я — еврей. Я потрясен. Это — неспровоцированное, совершенно неожиданное и необъяснимое нападение из-за угла. «Почему?» — спрашиваю я тупо. Колпачки более не интересуют меня — я в нокдауне. «Потому что Стругацкий! — объявляет мне мой приятель. — Раз кончается на „ский“, — значит еврей». Я молчу, потеряв дар речи. Такого удара я не ожидал. Оказывается, сама фамилия моя несет в себе отраву. Потом меня осеняет: «А как же Маяковский?» — спрашиваю я в отчаянии. «Еврей!» — отвечает дружок решительно, но я вижу, что эта решительность — показная. «А Островский? — наседаю я, приободрившись. (Я начитанный мальчик.) — А другой Островский? Который пьесы писал?..»

Не помню, чем закончился этот замечательный диалог. Вполне допускаю, что мне удалось пошатнуть твердокаменные убеждения моего оппонента. Но мне не удалось убедить самого себя: отныне я знал, что скрыть свое окаянство мне не удастся уже никогда — я был на «ский».

Уже в Ленинграде в пятом или шестом классе я обнаружил вдруг, что у меня есть отчество. Вдруг пошла по классу мода — писать на тетрадке: «… по литературе ученика 6-а класса Батурина Сергея Андреевича». Но я-то был не Андреевич. И не Петрович. Я был Натанович. Раньше мне и в голову не вступало, что я Натанович. И вот пришло, видно, время об этом задуматься.

В нашей школе антисемитизм никогда не поднимался до сколько-нибудь опасного градуса. Это был обычный, умеренный, вялотекущий антисемитизм. Однако же, быть евреем не рекомендовалось. Это был грех.

Он ни в какое сравнение, разумеется, не шел с грехом ябедничества или, скажем, чистоплюйства любого рода. Но и ничего хорошего в еврействе не было и быть не могло. По своей отвратительности еврей уступал, конечно, гогочке, который осмелился явиться в класс в новой куртке, но заметно превосходил, скажем, нормального битого отличника. Новую куртку нетрудно было превратить в старую — этим с азартом занимался весь класс, клеймо же еврея было несмываемо. Это клеймо делало человека парией. Навсегда. И я стал Николаевичем.

«…по арифметике… ученика 6-а класса Стругацкого Бориса Николаевича…» Мне кажется, я испытывал стыд, выводя это на тетрадке. Но страх был сильнее стыда. Не страх быть побитым или оскорбленным, нет, — страх оказаться изгоем, человеком второго сорта.

Потом мама моя обнаружила мое предательство. Бедная моя мама! Страшно и представить себе, что должна она была почувствовать тогда — какой ужас, какое отвращение, какую беспомощность! Особенно, если вспомнить, что она любила моего отца всю свою жизнь, и всю жизнь оставалась верна его памяти. Что она вышла замуж за Натана Стругацкого вопреки воле своего отца, человека крутого и по-старинному твердокаменного — он не колеблясь проклял свою любимую младшенькую Сашеньку самым страшным проклятьем, узнав, что убежала она из дома без родительского благословения, да еще с большевиком, да еще, самое страшное, — с евреем!..

Я плохо помню, что говорила мне тогда мама. Кажется, она рассказывала, каким замечательным человеком был мой отец; как хорошо, что он был именно евреем — евреи замечательные люди, умные, добрые, честные; какое это красивое имя — Натан! — какое оно необычное, редкое, не то что Николай, который встречается на каждом шагу… Бедная моя мама.

Иногда мне кажется, что именно в этот вечер — сорок пять лет назад — я получил спасительно болезненную и неописуемо горькую прививку от предательства. На всю жизнь.

И кажется мне, что именно тогда дал я себе клятву (хотя, конечно, не давал я ее себе ни тогда, ни позже), которая звучала (могла бы звучать) примерно так: «Я — русский, я всю свою жизнь прожил в России, и умру в России, и я не знаю никакого языка, кроме русского, и никакая культура не близка мне так, как русская, но. Но! Если кто-то назовет меня евреем, имея намерение оскорбить, унизить, запугать, я приму это имя и буду носить его с честью, пока это будет в человеческих силах».

Боюсь, последняя фраза прозвучала у меня излишне красиво. Если у

читателя возникнет то же ощущение, я готов принести ему свои извинения, но фразу, впрочем, ни вычеркивать, ни редактировать я при этом не намерен. Ибо она выражает некую суть, некую непреложную норму отношения порядочного человека к непорядочности. К сожалению, образ жизни нашей на протяжении многих десятилетий был таков, что поступки элементарно порядочные выглядели вызывающе красиво: слишком часто поступить порядочно означало — совершить маленький (а иногда и не маленький) подвиг. И когда моя невестка Елена Ильинична Стругацкая (урожденная Ошанина) в лицо разбушевавшемуся антисемиту, поддерживаемому глухим одобрительным ропотом подмосковной электрички, объявляет себя еврейкой (потомственная дворянка с родословной, уходящей в глубь истории, в доромановские времена) — это маленький подвиг, нисколько не меньший, чем легендарная прогулка датского короля с желтой звездой на рукаве (под неприязненными взглядами гебитс- и штадскомиссаров оккупационных войск).

Когда сейчас, спустя полвека, я пытаюсь вспомнить и проанализировать свое тогдашнее, детское, отношение к еврейскому вопросу, я нахожу его, это свое отношение, вполне рептильным. Мне не нравилось считаться евреем. Я не хотел быть евреем. Я ничего не имел против евреев, — точно так же, как ничего я не имел против армян, русских, татар и белорусов, — но я не чувствовал себя евреем, я не находил в себе ничего еврейского, и мне казалось несправедливым расплачиваться за грех, в коем я не был повинен. Все вокруг были русские, и я хотел быть как все.

Кто придумал эту блистательную формулировку: «Чувствуете ли вы себя евреем?» Впервые я услышал о ней от своего старшего брата, когда он с отвращением и ненавистью рассказывал мне, как в конце 40-х на одном из комсомольских офицерских собраний ихний главный политрук допытывался у него прилюдно: «Но вы, все-таки, чувствуете себя евреем, лейтенант, или нет?»

Дилемма тут была такая: либо ты говоришь, что чувствуешь себя евреем, и тогда моментально оказываешься весь в дерьме, ибо в анкетах повсюду стоит у тебя «русский», а также и потому, что самолично, при всех, расписываешься в своей второсортности; либо ты говоришь правду — «нет, не чувствую» — и опять же оказываешься в том же самом дерьме, ибо ты Натанович, и ты на «ский», и ты выходишь натуральным отступником и предателем…

Я, между прочим, и до сих пор не знаю, что это, все-таки, значит — «чувствовать себя евреем». У меня сложилось определенное впечатление (в

том числе и из разговоров со многими евреями), что «чувствовать себя евреем» — значит: жить в ожидании, что тебя в любой момент могут оскорбить и унизить без всякой на то причины или повода.

Я не знаю также, и что значит «чувствовать себя русским». Иногда мне кажется, это означает просто радоваться при мысли, что ты не еврей.

2

Маленькие дети — детские неприятности, взрослые люди — взрослые неприятности.

В 1950 году, окончив школу с серебряной медалью, я нацелился поступить на физический факультет Ленинградского ордена Ленина Государственного Университета имени Андрея Александровича Жданова. Я мечтал заниматься атомной физикой и не скрывал этого. Меня не приняли. Коллоквиум прошло в общей сложности три-четыре десятка медалистов, отказано было всего лишь двоим — мне и еще какой-то девушке, фамилия которой ассоциируется у меня сегодня с фамилией «Эйнштейн».

В 1955 году, когда я заканчивал матмех того же Университета (краснодипломник, комсомолец, спортсмен и в каком-то смысле даже красавец), весенним ясным утром отозвал меня в сторонку мой приятель. «Ты в аспирантуру собираешься? — спросил он. — При кафедре?» — «Да, — сказал я, уже предчувствуя недоброе. — Сказали, что возьмут». — «Не возьмут, — отрезал он. — И не надейся». — «А ты откуда знаешь?» — «Случайно подслушал. В деканате». — «Но почему?!!» — возопил я (краснодипломник, комсомолец и почетнодосочник). «Потому что — еврей», — это прозвучало, как приговор. Это и было приговором.

В 1962 году мы, братья Стругацкие, уже опытные литераторы, уже достаточно известные — по крайней мере среди любителей жанра, авторы четырех книг, подали заявление в Союз Писателей СССР. За нас хлопотали авторитетные по тем временам люди: Кирилл Андреев, Ариадна Громова, Николай Томан, но в Союз нас не приняли ни по первому, ни по второму заходу. Членам приемной комиссии не нравилось: что мы фантасты; что мы пишем в соавторстве; что мы живем в разных городах… Но не это, как узнали мы пару лет спустя, было главным. Члены приемной комиссии не полюбили нас за то, что мы, Натановичи, пишемся в анкетах русскими. Члены ПК евреи видели в этом недостойное отступничество, члены ПК русские рассматривали это как стремление пролезть и устроиться,

«характерное для данной нации»…

В середине 70-х один из диссидентов-правозащитников, вырвавшихся за рубеж, давая в Нью-Йоркском аэропорту первое интервью, на вопрос «Существует ли в СССР дискриминация евреев?» ответил: «Да. Но изощренная». Он имел в виду, что государственный антисемитизм в СССР всегда был и остается государственной тайной. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Почему меня не взяли на физфак в 1950 году? Тогда мама моя до такой степени была убеждена в том, что причиной этому — исключение моего отца из партии летом 1937 года и расстрел дяди весною того же года, что даже не пошла на физфак выяснять, в чем дело и почему.

Разумеется, такую причину исключать тоже нельзя. Но если вспомнить, что это — 1950-й, борьба с космополитизмом в разгаре, а все выпускники физфака идут в закрытые институты и лаборатории делать водородную бомбу…

А с другой стороны, — на математико-механический факультет меня же приняли — через две-три недели, вместе с другой толпой медалистов, без каких-либо хлопот и проблем… Но — на отделение астрономии. Совершенно ясно, что некие инструкции работали, но какие именно?

В университетскую аспирантуру, на кафедру звездной астрономии, меня, действительно, так и не взяли. Но зато взяли в аспирантуру Пулковской обсерватории, причем, как я понял, это было совсем не просто: пришлось изыскивать какие-то скрытые возможности, преодолевать бюрократические рогатки… В чем же дело? Инструкция? Или частная неприязнь какого-нибудь университетского кадровика?

И в Союз Писателей нас в конце концов (промытарив два года) приняли. Сохранилась легенда, как это произошло. Кто-то из наших лоббистов пожаловался на ситуацию тогдашнему председателю Ленинградской писательской организации, Александру Андреевичу Прокофьеву — знаменитому «Прокопу», поэту и начальнику, очень, по-своему, недурному мужику, поразительно похожему и манерами, и даже внешностью на Никиту Хрущева. Прокоп выслушал и спросил: «Ребята-то неплохие? А? Ну, так давай их ко мне, сюда, у меня и примем». И мы были приняты. В Ленинграде, но не в Москве.

Я привел здесь эти маленькие неприятности из личной жизни именно потому, что они были маленькие, кончились благополучно и не допускают однозначного истолкования. Мне (да и любому гражданину СССР) приходилось слышать десятки историй, гораздо более страшных, унизительных, горьких и безнадежных. Ломались судьбы, обращались в

прах идеалы, сами жизни людские шли под откос… Однако у моих историй есть два важных преимущества: они совершенно достоверны, во-первых, и они восхитительно неопределенны, неоднозначны и туманны, во-вторых. Они, на мой взгляд, великолепно иллюстрируют собою тот туман, ту неопределенность, ту примечательную неоднозначность, которыми всегда характеризовался пресловутый еврейский вопрос в нашей стране.

Инструкция или некие персональные пристрастия? Досадные случайности или жесткая система, холодная, тайная и беспощадная? А может быть, вообще ничего этого нет и никогда не было, а были одни только обывательские слухи, наложившиеся на бытовые совпадения?

Если верить знающим людям, государственный антисемитизм в СССР имеет свою (достаточно сложную) историю. Первые 20 лет после революции его, вроде бы, не было вовсе. Это было время, когда даже проявления бытового, коммунального, антисемитизма карались по закону — жестоко и беспощадно, как и все, что каралось по закону в те времена. Признаки казенного юдофобства обнаружились в 1937-39, когда возникли и стали крепнуть связи с нацистской Германией, — это было естественно: в новых условиях кадровая политика требовала определенной корректировки. Этот первый всплеск естественно сошел на нет с началом войны, но после перелома к победе в 43-м вновь появились признаки казенной неприязни к «этой нации», — признаки, на мой взгляд, уже не поддающиеся простому рациональному объяснению.

С этого момента государственный антисемитизм уже только крепчал. Он вырвался наружу в конце 40-х (безусловно как результат проамериканской позиции нового государства Израиль) в виде бескомпромиссной борьбы с «безродными космополитами», в дальнейшем он все набирал силу — круче, беспощаднее, истеричнее — и должен был, видимо, достигнуть апогея в 1953-м («дело врачей-вредителей», подготовка поголовного «добровольного» переселения евреев за Полярный круг), но тут главный творец внешней и внутренней политики умер, и апогей не состоялся — наверху началась борьба за власть, и начальству стало не до евреев.

Наступило длительное затишье, совпавшее по времени с Первой Оттепелью и в значительной степени, разумеется, порожденное ею. Потом — конец Оттепели, провал косыгинской реформы, новое обострение идеологической борьбы и — Шестидневная война. Не знаю, как развивались бы события, если бы эта война не произошла; думаю, очередной пароксизм был все равно неизбежен, ибо настало время закручивания гаек. Но Шестидневная война и почти радостный разрыв

отношений с Израилем оказались событиями, открывшими новую, динамичную, эру в еврейском вопросе.

Слово было найдено — *сионизм*, и найдена была мера пресечения — бескомпромиссная идеологическая борьба, переходящая в борьбу с замусоренностью кадров. Возник и начал быть государственный антисемитизм периода Застоя.

Леонид Ильич подписал закрытое распоряжение начальству среднего звена: избегать назначать на руководящие посты лиц некоренной национальности, а также лиц, национальность коих является коренной в странах, с которыми СССР не поддерживает дипломатических отношений. (Да, острили мы тогда, плохие настали у нас времена для парагвайцев, тайванцев и южно-корейцев!..) Родилась и пошла гулять по стране целая серия отличных анекдотов, в которых, как в ненаписанном эпохальном романе, отразилась вся суть тогдашней идеологии и методологии власти.

…Райком партии, идет инструктаж начальников отделов кадров. «Вам, товарищи, надлежит активнее бороться с замусоренностью кадров и всячески следить за происками сионизма. Но при этом нельзя забывать, что сионист это сионист, а еврей, товарищи, это еврей, — мы интернационалисты…» Вопрос из зала: «А практически, как? Вот стоит передо мной человек — еврей он или сионист?» — «А очень просто: если он у тебя уже работает, значит еврей, а если пришел на работу наниматься, — сионист, гони его в шею!»

…Отдел кадров. «Вы знаете, по паспорту я Рабинович, но на самом деле это ошибка. Я — русский. Дело в том, что паспортистка…» — «Голубчик, с такой фамилией я уж лучше возьму еврея».

…И снова отдел кадров. «Здравствуйте. Я — дизайнер…» — «Да уж вижу, вижу, что не Иванов…»

…И опять же — отдел кадров. Распахивается дверь, на пороге мрачный, лохматый и горбоносый: «У вас с *фамилией* берут?»

Мне клялись, что последний анекдот — и не анекдот вовсе, а совершенно реальный случай из жизни. Очень может быть. Я охотно допускаю даже, что и все прочие анекдоты есть случаи из жизни, только отшлифованные тысячами пересказов до их нынешнего блеска.

Застой потому и называется застоем, что реальная жизнь уходит вглубь и кипит (или кишит) там, невидимая и неслышимая, а на поверхности — зеркальная гладь, да кочки, да тихий туман.

Все *делают вид*.

Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что на вас работаем.

Вы (допрашивая нас) делаете вид, что верите в нашу подрывную деятельность, а мы (выдираясь из объятий 70-й статьи) делаем вид, что обожаем Советскую Власть (Софью нашу Власьевну).

Вы делаете вид, что евреи тоже люди, а мы (евреи) делаем вид, что рвемся в Израиль исключительно и только к тяжело больной тете Песе и вообще — на историческую родину.

Создается и шумно функционирует Антисионистский Комитет («Генерал Драгунский и его труппа дрессированных евреев»). Пишутся и стотысячными тиражами распространяются замечательные сочинения типа: «Классовая сущность сионизма», «Осторожно: сионизм!», «Фашизм под голубой звездой» и т. п. А время от времени (редко) большие начальники выступают на весь мир с заявлениями a la Ильф-и-Петров: евреи у нас, да, есть, а вот вопроса нету, вопрос — это выдумки сионистов, с которыми мы ведем последовательную борьбу…

В глубинах тихого болота что-то такое-этакое бурлит, урчит и клокочет — некие канализационные струи и стоки, загнанные идеологическим террором в одни и те же ржавые трубы вместе с самыми чистыми идеями и помыслами. Иногда вдруг прорываются какие-то имена, тексты, слухи… Разогнали журнал: там, оказывается, зловеще клубились славянофилы… Статья в таком-то сборнике: евреи названы евреями… Общество «Память»… «Меморандум Скурлатова»… А некий гебист, проводя профилактическую беседу с диссидентствующим, говорит ему, расчувствовавшись: «Да как же вы не понимаете! Если бы нас не было, вас бы всех давно уже разорвали в клочки. Мы — единственная преграда между вами и дикой толпой!..»

И вот болото — взорвалось. Туман рассеялся. Лопнули все трубы, и все перегородки пали. Тайное стало явным. Мы давно уже догадывались, что разница между сионистом и евреем примерно та же самая, что между евреем и жидом, — так оно и оказалось! Бурный поток нацистских нечистот хлынул на улицы, площади и заборы, и — ничего не произошло! Никакой Короленко не возвысил своего голоса против новой Черной Сотни, но, правда, — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, — и Черная Сотня оказалась вполне совковой: чудище огромно, стозевно, лаяй, но — пока — не более того.

И теперь, на склоне лет своих, прилежный читатель Ильфа и Петрова получает наконец возможность рассмотреть доселе скрытое-завуалированное, приукрашенное-запропагандированное, прилизанное, причесанное, закамуфлированное.

3

Что такое антисемитизм сегодня? Здесь и сегодня — в России, на переломе веков?

Кого считать антисемитом?

И как со всем этим рядом — жить?

Это не такие простые вопросы, как может кое-кому показаться.

…Перекошенная от застоявшейся ненависти рожа, корявый рот (с зубами через один), распахнутый в нутряном натужном реве: «Сионисты — в Израиль!.. В Из-ра-иль! В Из-ра-иль!..»

…Вежливый интеллигентный человек при галстуке, тихий, застенчивый голос, почти извиняющийся тон: «Разумеется, экстремизм в этом вопросе отвратителен, однако нельзя же не согласится: эта их напористость, эта их, простите, пронырливость, это умение приспособиться самому и пристроить соплеменника… Я все понимаю! Особые исторические обстоятельства вынуждают их к этому… И все-таки… Согласитесь, это не может не производить определенного впечатления…»

…Обыкновеннейшая домашняя хозяйка у себя на коммунальной кухне ворочает на сковородке макароны, чтобы не подгорели: «А я вам говорю, он — еврей. Другого кого за такую растрату загнали бы знаете куда? А этот выкрутился. У них везде свои есть…»

…А самый обыкновенный, абсолютно порядочный человек, который на слове «еврей» почему-то понижает голос, словно произносит нечто запретное, секретное или малоприличное? Замечали такое?

…А замечательный наш советский милиционер на Дворцовой, урезонивающий истерического «патриота» с антисемитским лозунгом: «Ну успокойтесь же, гражданин! Ну что вы, ей-богу! Да вы же хуже любого еврея!..»

А заметили ли вы, что в современном русском языке существует только одно наименование национальности, которое само по себе может быть использовано как оскорбление или ругательство? Украинца можно оскорбить, назвав его хохлом, русского — кацапом, любого среднеазиата — чуркой, армянина — армяшкой, грузина — грызуном, еврея — жидом… И любого жителя России можно оскорбить, сказав ему: «У-у, евр-р-рей!..» Такого не было и при царе-батюшке!

И наконец, классическое: «Да что вы все — „евреи, евреи“… Неужели не надоело? Хватит уже, ей-богу!..»

По моим наблюдениям, антисемитизм вполне поддается классификации. Я бы выделил три основных класса (типа, вида, жанра):

Бытовой — он же *коммунальный*, он же *эмоциональный* — вездесущий, вечный, всепогодный, беспринципный, ненавязчивый, эфемерный, непреходящий, неуязвимый, полиморфный — все с него начинают, все с ним знакомы, все подвержены ему и все ему подвластны.

Бытовой антисемитизм висит над нашей страной как смог. Сама атмосфера быта пронизана им — точно так же, как матерной бранью, которую все мы слышим с младых ногтей и которая сопровождает нас до гробовой доски. (Если бы мы могли понимать эти вечные слова, мы услышали бы их еще в роддоме от добрых наших нянюшек, матерящихся так естественно и легко над нашими розовыми ушками, когда несут они, нянюшки, нас к нашим мамочкам на первое кормление. И точно так же провожает нас в последний путь рыкающий мат гробовщиков наших и могильщиков, который мы уже, впрочем, рады бы, да не способны услышать.) И точно так же, как нет практически никого в нашей стране, кто не знал бы матерных выражений и совсем никогда не употреблял бы их — будь ты мужчина или (увы!) женщина, старик или детсадовский пацан, — точно так же нет человека и гражданина, который не вдохнул бы хоть раз в жизни смрадных миазмов бытового антисемитизма. А раз вдохнув его, ты уже заражен — слово произнесено, ты *знаешь* его и будешь теперь знать до самого своего конца. Раз поселившись в нас, он сопровождает нас всю жизнь, словно какой-нибудь лимонно-желтый стафилококк, и может тихо до поры до времени сосуществовать с нами и в нас, пока — при определенных условиях — вдруг не прорвется наружу этаким вулканическим прыщом, омерзительным и опасным.

Рациональный, он же *профессиональный* — это уже более высокая ступень юдофобии, достояние людей, как правило, образованных, испытывающих определенную потребность *обосновать* свои реликтовые ощущения и обладающих способностями это сделать. В подавляющем большинстве случаев *профессиональный* антисемитизм поражает людей, столкнувшихся с лицом еврейской национальности как с конкурентом. Он широко распространен среди математиков, физиков, музыкантов, шахматистов — в этих кругах вас познакомят с убедительными и завидно-стройными теориями, объясняющими пронырливость, удачливость, непотопляемость «этой нации» — при полном отсутствии у нее настоящей глубины, основательности и подлинных талантов.

Впрочем, к носителям рационального антисемитизма следовало бы, наверное, относить всякого, кто стремится обосновать антисемитизм

теоретически. «Евреи Христа распяли», «Евреи Россию споили», «Евреи революцию устроили» — бытовой антисемит охотно использует эти замечательные утверждения во время приступов и пароксизмов своего недуга, но на самом деле не он их первый сформулировал, обосновать их как следует он не в силах, да и не нуждается он ни в каких обоснованиях (как не нуждается гражданин, изрыгнувший устойчивое словообразование «… твою мать!», в доказательстве того, что именно ЭТО он проделал недавно с родной матерью своего собеседника). Для юдофоба же рационалиста каждая из приведенных выше (и многих аналогичных) теорем полна глубокого смысла и опирается на стройную систему доказательств, на целую литературу, даже на особую культуру, если угодно!

Замечательно, что и бытовой антисемит, и юдофоб-рационалист в глубине души своей (а зачастую — и на самой ее поверхности) знают, что антисемитизм — это дурно. Точно так же, как любой, самый заядлый, матершинник отлично знает, что материться — грешно и неприлично. (Видели ли вы хоть раз человека, позволяющего себе выражаться по-черному в присутствии строгого начальства?) Однако же существует целый класс юдофобов, искренне полагающих антисемитизм делом чести, доблести и геройства.

Зоологический, он же *нутряной*, — единственная разновидность антисемитизма, носители которой гордятся собою. Признаюсь, генезис и этиология этого вида юдофобии всегда были и остаются загадкой для меня. Подозреваю, — это какая-то социопсихологическая патология, что-то, аналогичное *арахнофобии* — широко распространенного и совершенно безосновательного страха и омерзения перед пауками.

Коммунальный антисемит только лишь в подпитии или в состоянии бытового раздражения потребует у вас: «А ну скажи „кукуруза“!» Зоологический — сделает это при первой же возможности и с наслаждением (если будет, разумеется, убежден в своей безнаказанности). Профессиональный же, скорее всего, не станет этого делать вовсе — он выше этого; а кроме того, его время наступит, когда будет решаться *кадровый вопрос*.

Час настал — и мы увидели их всех. Ядовитый букет расцвел всеми красками. Теперь мы встречаемся с ними не только в местах общего пользования (в трамваях, автобусах, метро, магазинах, очередях и подземных переходах), — мы видим их в телевизоре, слышим по радио, мы даже можем читать их в соответствующих журналах и газетах…

И при всем том жизнь идет своим чередом и благополучно продолжается. В 1987 году (идеологические канализационные трубы —

лопнули) на асфальте тротуара, недалеко от моего дома, появилась белой масляной краской старательно выведенная надпись: «Россия для русских». Сегодня ее уже стерли многочисленные (и вполне равнодушные) подошвы, но зато на Дворцовой площади можно увидеть толпу под вдохновляющим лозунгом: «Место евреев — Освенцим».

…Огромно, стозевно и лаяй. А караван — идет.

(Кстати, при всем, так сказать, идейном однообразии заборных лозунгов и граффити, некоторые — поражают прихотливостью и неожиданными поворотами воображения. Например: «Гитлер — еврей». Собственными глазами видел! Уму непостижимо, какая каша варится в голове автора этого обращения urbi et orbi…)

4

Антисемитизм — это мировоззрение, или, точнее сказать, мироощущение. Мироощущение не нуждается в оправданиях — оно само есть оправдание себе. Мироощущение не нуждается в доказательствах и обоснованиях! Оно само есть доказательство и обоснование.

Попробуйте доказать вору в законе, что трудиться — хорошо, а воровать, наоборот, плохо. Он же с младых ногтей *знает*, что работать — скучно, тяжело и вообще западло, а воровать — интересно, весело, кайфово и фартово.

Попробуйте доказать шарообразность Земли человеку, который с младенчества твердо *знает*, что Земля — плоская…

С ворами мне, слава богу, дискутировать не доводилось, а вот насчет шарообразности Земли я, помнится, целый вечер проговорил с младыми сынами гор — на наблюдательной площадке нашей экспедиционной группы, расположившейся на вершине горы Харбаз, в тридцати километрах от Эльбруса, под великолепным южным небом, на котором все было для лекции по космографии: и звездные бездны, и Юпитер, и Луна, и даже Сатурн с чрезвычайно удобным разворотом своих колец… и под рукою, тут же, имел место превосходный ТЭМ-140, экспедиционный «максутик» с великолепным качеством изображения и тридцатикратным увеличением.

Сыны гор — молодые, жилистые, горбоносые, уважительно-вежливые — внимательно и с безусловной доброжелательностью слушали мою лекцию, заглядывали в окуляр, обменивались гортанными замечаниями, а потом вдруг спросили: почему, когда смотришь в трубу, не видно Чабана, Который Сидит На Луне? Какого чабана? А ты посмотри: видишь, на луне Чабан сидит — вот его нога, вот голова, вот баран рядом с ним… А в трубу ничего этого не видно. Почему, а?..

И вот именно по ходу последовавшей за этим дискуссии и было мне объявлено, что Земля, конечно же, плоская… Как это — шар? Почему шар? Плоская! Посмотри, это же и так видно, даже без твоей трубки — плоская, как лепешка…

О, это был поучительный разговор!

Два вопроса, помнится, мучили меня тогда на протяжении всей дискуссии и мучают до сих пор.

Вопрос первый: как сумели эти славные советские молодые ребята, окончившие десятилетку… отслужившие действительную…

(«комсомольцы… спортсмены… красавцы, наконец!») — как ухитрились они сохранить в неприкосновенности эти свои вполне средневековые представления об устройстве Мира?

И вопрос второй: как объяснить человеку, убежденному, что Земля плоская, как растолковать ему, что форма земной тени на поверхности Луны (во время лунных затмений) есть самое убедительное доказательство шарообразности нашей родной планеты? (Действие происходило в 1960 году, и на авторитет Гагарина я сослаться тогда еще не мог.) А раз не способен я найти внятного ответа на эти вопросы, то никак не умею и заставить себя поверить в то, что с антисемитизмом можно бороться средствами агитации и пропаганды. Литературой и искусством. Лекциями и брошюрами. Вообще — словами.

Если человек с детства *знает*, что «евреи Христа распяли», как можно объясниться с ним? Как можно с ним дискутировать? Какие доводы можно найти, адекватные ЭТОМУ уровню дискуссии?

«Итальянцы Галилея замордовали». Или: «Русские декабристов повесили!» Или, совсем уже за пределами: «Французы Пушкина убили… А русские — Лермонтова».

Мнение, что антисемитизм *сегодня и здесь* порождается определенными качествами, или обычаями, или действиями «лиц еврейской национальности», — это мнение столь же распространено, сколь и неверно.

Антисемитизм возник столетия назад, и в те времена — да, весьма вероятно и даже скорее всего, — он был вызван совершенно конкретными качествами, обычаями и действиями тогдашних евреев. Их религиозное высокомерие… Их повышенная деловая конкурентоспособность… Их демонстративное нежелание раствориться в коренной нации и стать как все. Сами сферы их предприимчивости (ростовщичество, торговля)… Еще какие-то причины, которых я не знаю, но которые, полагаю, хорошо известны историкам и этнографам… Все это наверняка было, и все это не имеет никакого отношения к сегодняшнему антисемитизму.

Ибо сегодняшний (и вчерашний) советский еврей отличается от советского же русского (белоруса, украинца, латыша) разве что акцентом да внешностью — и то далеко не всегда. Его занятия, его менталитет, его образ жизни, его цели и принципы — общесоветские (общесовковые). В них нет ничего специфически национального, как в нынешних евреях ничего не осталось от тех пейсатых, лапсердачных, глубоко религиозных торговцев, корчмарей, талмудистов и процентщиков, которые послужили когда-то ми— шенью и причиной яростной ксенофобии.

Поэтому искать корни *нынешнего* антисемитизма в средних веках так же нелепо, как искать причины нынешней религиозности людей в тоскливых страхах пещерного человека. Можно было бы искать эти корни в событиях полувековой давности, но кого по-настоящему, глубоко, так, чтобы до печенок, волнуют эти события? А нынешние евреи так мало выделяются среди прочих совков, настолько слились с ними, что никакого повода для специальной ненависти, в сущности, дать не могут.

Все прежние причины давно умерли, новые — не появились. Выжили и продолжают жить одни лишь стереотипы. Нынешний антисемитизм не есть ненависть к евреям. Это — ненависть ко вполне определенным стереотипам. Иногда древним — «евреи Христа распяли». Иногда — не очень («евреи революцию устроили»). Иногда — совсем свежим, искусственно сконструированным — «евреи народ споили».

И вот благодаря этим стереотипам советский человек способен всю свою жизнь прожить антисемитом, не встретившись ни разу ни с одним евреем!

Удивительная штука — национальный стереотип. Французы — развратники. Немцы — педанты. Англичане — гордецы и молчуны. Русские — пьяницы и рубаха-парни… Как, почему и когда возникли эти формулы? Кто их автор? Какое отношение они имеют к реальности?

Или, может быть, имели когда-то? Почему никто не принимает их всерьез, но все повторяют?

Мой *личный* опыт общения с конкретными людьми опровергает ВСЕ известные мне национальные стереотипы. Все без исключения. Пусть среди моих знакомых маловато англичан и немцев, но — русские, но — евреи… Их-то у меня среди знакомых — сотни! Может быть, сотен недостаточно для статистики? Может быть. Но почему, все-таки, самый пьющий из моих знакомых — еврей, а самый, так сказать, непьющий — чистокровный русак? Рубаха-парни встречаются и среди русских, и среди евреев, но почему все они, при ближайшем рассмотрении, оказываются отнюдь не рубаха-парнями, а людьми расчетливыми, политичными и себе на уме?..

«Евреи умные, а русские — дураки». Я слышал это множество раз, причем, как правило, — от русских. (Что характерно.) Самый умный человек, которого я знаю лично, — русский. С дураками сложнее. Но, пожалуй, все-таки самым замечательным кретином был один, случайно оказавшийся у нас на пути, еврей — какой-то, видимо, дальний родственник по фамилии, увы, Стругацкий. Я подозреваю, что это был так называемый Девятый Еврей. (Народная, — надо думать, еврейская, —

мудрость гласит: «Евреи вообще-то неглупые люди. Возьми восемь первых попавшихся, и все они будут, как на подбор — таланты да умники и, может быть, даже гении. Но девятый будет — дурак. И уж это будет такой дурак, такой феноменальный осел и идиот, каких белый свет еще не видывал!») Нет, я решительно не верю в стереотипы. И никто, по-моему, в них на самом деле не верит. Это что-то вроде привидений: никто их не видел, но все о них охотно говорят.

Я не верю в опасность нынешнего антисемитизма. Он отвратителен, но не опасен. Я не верю даже, что антисемитские лозунги способны сегодня сколотить хоть кому-нибудь, хоть сколько-нибудь серьезный политический капитал. Слишком мало евреев осталось среди нас. Слишком мало они отличаются от всех прочих. Слишком мала доля *зоологических* антисемитов в социально-значимых группах населения.

Государственный антисемитизм, да, — смертельно опасен. От бытового же — просто тошнит. Стыдно, что он есть. Вдвойне стыдно, когда оказывается, что им заражен человек интеллигентный. Умереть от стыда и отвращения можно, когда видишь среди антисемитов человека заслуженно известного и даже знаменитого.

(Помню, на заре Перестройки я смотрел по телевизору выступление одного писателя — очень известного, очень хорошего, одного из лучших в России. Слухи о том, что он, увы, «бациллоноситель», доходили и до меня. Я не желал верить этим слухам, но, в то же время, и не особенно удивился, что выступает он перед вполне специфической аудиторией — то ли «Друзья журнала „Наш Современник“» сидели в зале, то ли что-то в этом же роде. Встреча проходила поначалу довольно мирно — все-таки времена на дворе стояли еще достаточно строгие, и языки лишь начинали помаленьку распускаться, — и вдруг я слышу, как писатель (под аплодисменты) заявляет: «До сих пор я знал только одну нацию, которая ненавидит русский народ…» Ничего более конкретного сказано не было, но контекст был до такой степени однозначен, что я испытал нечто вроде приступа тошноты. Физической тошноты. Словно из-под воротника ослепительной сорочки знаменитого инженера человеческих душ выбрался вдруг и не спеша пополз по его шее жирный красный клоп… Бог ему судья, этому писателю, но с тех пор я не смог прочесть из него более ни строчки. И никогда теперь уж, видимо, не смогу.) Но что же нам делать со всем этим?

Можно (и, наверное, должно) оспаривать доводы Шафаревича или Углова. Можно (и бывает даже интересно) дискутировать по поводу «этой нации» с каким-нибудь рядовым носителем и адептом рациональной

юдофобии. Ничего не стоит (и в каком-то смысле даже полезно) устыдить и урезонить разгорячившегося коммунального антисемита…

Но!

Но остывший и урезоненный бытовой антисемит сразу же, прямо на глазах, перестает быть антисемитом. («Извиняюсь», — говорит он. «Погорячился», — признается он со всею искренностью. «У меня у самого полно друзей-евреев, — сообщает он с некоторой даже гордостью. — Я против евреев вообще ничего не имею… Другое дело — жиды!..») Но!

Но совсем было побежденный в споре «рационалист», как через неделю выясняется, вовсе и не переубежден. Он повторяет вновь все свои примеры из личной жизни со свежими добавлениями, взятыми из газеты «Народная правда», и с авторитетными ссылками на академика Шафаревича.

Что же касается названного академика, то здесь мы имеем дело уже с *теорией*. Во имя теории идут, между прочим, и на костер. От теорий не отказываются. Ни от каких, даже от ложных. В особенности — от ложных. Ложная теория жива, пока жив ее создатель, и умирает она только вместе с ним. (Чтобы признать свою теорию ложной — выношенную, рожденную в муках, выпестованную, взлелеянную, любимую и единственно верную, — надо быть гением, а гениев так мало, да и не всякий даже гений способен на такой подвиг.) И в какой-то момент ты понимаешь, что это — безнадежно. Никто не рождается антисемитом, антисемитом становятся, но, ставши, пребывают в этом состоянии уже до самого конца. Это — как алкоголизм. И начинается так же — в дурной компании. И так же неизлечим. (Процент окончательно излеченных — в пределах пяти.) И так же отвратителен человек в приступе юдофобии, как отвратителен пьяный чурбан, и так же он может оказаться и добрым, и умным, и симпатичным, когда приступ благополучно минует (соответственно — хмель выветрится).

Мы терпим пьяниц — ненавидим их, презираем, готовы побить иногда, а временами и бьем. Но терпим. Боюсь, мы вынуждены так же точно относиться и к юдофобам. Увы. С одной лишь только разницей: пьяных мы частенько жалеем, но я не слышал никогда, чтобы хоть кто-нибудь пожалел антисемита.

Мы живем с ними рядом всю жизнь. Они везде. Они среди нас. Они — мы. Разница только в градусе ненависти. Разница только в умении или неспособности сдержать в себе негодяя. В степени нашей опоганенности. В умении понять, где кончается еврейский анекдот и начинается нечто совсем иное — уже не смешное, а поганое. Или стыдное. Или страшное. (Хорошо помогает от приступов нутряного нацизма — обыкновенный стыд. Стыд не

способен совсем задушить в тебе негодяя, но он способен заткнуть ему пасть. Я испытал это на себе, когда однажды вдруг с ужасом обнаружил, что не могу вполне спокойно слышать немецкую речь. Речи же их профессиональных ораторов вызывали у меня в душе примерно то же ощущение, что и царапанье вилки по стеклу. А в особенности — их марши и хоровые песни. Разумеется, это — эхо войны. Это мертвящая безнадежность блокады, грязь и унижение эвакуации, страх, и опять же — страх, и снова и снова — страх… И плюс, конечно, сосредоточенная антинемецкая пропаганда — все эти бесчисленные поделки а-ля «Секретарь райкома» и «Иван Никулин — русский матрос». А мне и моим сверстникам — восемь-двенадцать лет: возраст максимальной восприимчивости при совершеннейшей невозможности разобраться, где там на экране кончается фашист и начинается немец… Я не один такой, ущербный с времен войны. И эта наша болезнь из тех, от которых не умирают, но и не излечиваются.) К чести нашего народа, в подавляющем большинстве случаев у людей хватает и понимания, и такта, и трезвости ума, и доброты, и чувства собственного достоинства, чтобы остановиться на границе и даже не приближаться к ней.

Но ложка дегтя способна испортить бочку меда.

Но грязь особенно бросается в глаза — на чистом.

Но клоп, выползающий из-под воротничка, — это клоп, вонючий и мерзкий, пусть даже воротничок ослепительно-белый, а владелец воротничка — человек уважаемый: трудно, даже невозможно забыть, что он же — и хозяин клопа.

Я пишу обо всем этом не потому, что надеюсь что-нибудь исправить, кого-нибудь переубедить или хотя бы заставить задуматься. Я попросту подвожу итог многолетним наблюдениям и спорам. Я давно хотел написать об этом, но сначала писать об этом было не разрешено, потом — недосуг, и только сегодня я получил возможность свое давнее желание осуществить.

Меня очень беспокоит, что я не вижу лица того читателя, которому будет полезно или хотя бы интересно все это прочесть. Я давно уже заметил, что еврейский вопрос — это нечто такое, в чем все разбираются. Как в политике. У каждого есть свое мнение, и опровергнуть его никому не дано. Стоит ли пытаться?

Я давно заметил также, что русские — даже самые чистые, самые безукоризненно точные и тактичные в национальном вопросе — неспособны сколько-нибудь долго обсуждать еврейскую проблему. Они быстро утомляются, чем разительно отличаются от большинства евреев, готовых говорить на эту тему часами. Это, пожалуй, единственное, чем

нынешний советский еврей, как правило, отличается от русского. За одним, впрочем, исключением: я имею в виду рациональных антисемитов любой национальности. Эти тоже готовы обсуждать «больной вопрос» круглосуточно. Видимо, и у них наболело…

Прекрасно понимаю, что все вышеизложенное открыто для ударов. И справа и слева. И спереди и сзади. И сверху и снизу.

Легко и заманчиво — с позиций борца с нацизмом — надавать мне по мозгам за примиренчество, за скрытый призыв к терпимости, за беззубость и социальный пессимизм. Антинацисты-евреи влепят мне за скольжение по поверхности в еврейском вопросе и за всеядность. Прочие антинацисты — за то, что сосредоточился именно на вопросе еврейском, который ныне уже — вчерашний день проблемы, а на повестке стоят вопросы поострее.

Антисемиты-рационалисты обвинят меня (и совершенно справедливо) в неуместном легкомыслии и нежелании вести принципиальный спор по существу. «Так споили, все-таки, евреи русский народ или нет? — будут спрашивать они меня с невероятным напором. — Да или нет?.. И кто, все-таки, устроил революцию в России?..»

Бытовые антисемиты ничего этого, слава богу, читать не станут, а потому и нападать на меня не будут, но зато с каким ожесточением обрушат на меня свой праведный гнев люди, полагающие себя кристально чистыми интернационалистами! «То есть как это „они — это мы“? Да отдает ли себе автор отчет в том, что…» и т. д.

И обязательно хоть один нутряной-зоологический да пришлет мне свое послание-стон: «И когда же наконец вы все отсюда уедете? — кровью и желчью, корявыми буквами, но от всей души будет написано в этом послании. — Когда же наконец духа вашего поганого не останется на Святой Руси?..»

Кто-то сказал: антисемитизм умрет только вместе с евреями. Уже сегодня ясно, что это ошибка: антисемитизм умрет гораздо раньше. Два-три поколения в условиях достатка, свободы и процветания — и на Руси забудут про еврейский вопрос. Правда, вполне возможно, ему на смену придет что-нибудь другое, столь же омерзительное, — как сегодня, сейчас, прямо у нас на глазах возникает проблема «лиц кавказской национальности», а в благополучнейшей Германии или демократичнейшей Франции нацизм возрождается вместе с ненавистью к эмигрантам и гастарбайтерам.

Но ничего этого я не боюсь. Все это, повторяю, отвратительно, но не опасно.

Самое страшное, что может случиться с нами, — это возрождение

государственного нацизма (любого прицела, оттенка, акцента). Возрождение это *зоологические* встретят восторженным ревом, *рациональные* — обоснуют теоретически в сотнях статей и речей, а *бытовые* — молчаливо примут к сведению, готовые исполнять любые распоряжения начальства… Но все это сделается возможным только лишь с возвратом тоталитаризма, который провозгласит Империю и приоритет государства над личностью, уничтожит свободу слова, совести, информации и вновь пойдет громоздить тысячи тонн чугуна, стали, проката на душу населения. И вот тогда наступит *ночь*…

Однако, это уже совсем другая тема для совсем других заметок.

17.12.1992 С.-Петербург

Борис Стругацкий «БУДУЩЕЕ, В КОТОРОМ НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЖИТЬ, НЕВОЗМОЖНО. НО СТРЕМИТЬСЯ К НЕМУ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН»[56]

Эта беседа состоялась около месяца назад в дачном поселке Репино под Санкт-Петербургом. Народу было много, и поэтому персонифицировать задававших вопросы не имеет смысла. А отвечал на них знаменитый писатель-фантаст Борис Стругацкий.

— Несколько лет назад, Борис Натанович, бытовала фраза: «Сейчас читать интересней, чем жить». А как теперь?

— Тогда не было либерализации цен и экономического кризиса. А теперь приходится ежедневно решать проблему распределения зарплаты в магазинах с гиперценами и жить интереснее. Ведь что такое жизнь? Решение последовательной цепи задач. Но я-то боюсь, что читать перестанут вообще. Писать не перестанут, а вот читать… Но такая картина уже наблюдалась и в послереволюционной России, и в послевоенной Германии: сначала угнетение культуры, потом взрыв ее в условиях гиперинфляции, разрухи, когда предложение культуры выше спроса на нее. Это состояние будет продолжаться ровно столько, сколько будет падать рубль. Стабилизируется экономика — стабилизируется и спрос на культурные ценности.

— А если человек все же предпочтет всему требования желудка?

— Такие опасения были высказаны братьями Стругацкими еще в середине 60-х в повести «Хищные вещи века». Будучи детьми своего времени, мы плохо представляем себе, что такое мир изобилия. А теперь

многие страны в течение многих лет живут на чрезвычайно высоком уровне изобилия, однако культура там не умирает.

— Но они так живут давно. А вот выдержим ли мы такой «желудочный удар»?

— Если таковой удар и будет (в чем я сильно сомневаюсь), то последствия любого переедания у человека длятся всего несколько дней. Нам следует бояться другого (если вообще следует). В России, как известно, писатель больше, чем писатель, и поэт больше, чем поэт. Сказано точно, но только для определенной эпохи: по окончании экономического кризиса, при политической стабилизации литераторы утратят эту роль. Нужно выбирать: или великие потрясения и великая литература, или великая стабильная Россия, где поэтам и писателям придется удовольствоваться гораздо более скромным положением. Как во всем мире.

— А что значит «стабильная Россия»?

— Это мощная армия, твердая власть, хорошая экономика…

— …отсутствие свободы печати…

— Нет, тут вы неправы. Не всякая стабильность благополучна. Сталинская Россия была весьма стабильной. Но мы-то имеем в виду государство благополучное, а таковой Россия никогда не была. Была стабильность — стабильность кладбища или хорошо управляемой тюрьмы.

— Теперь появилась возможность широко общаться с иностранцами, и они в один голос говорят о кризисе благополучия. Появились нищие, которые не хотят работать. Вместо экономического кризиса — духовный. Поможет ли литература его разрешить?

— Мы затрагивали эту проблему в романе «Отягощенные злом». Да, может быть и так, что человек сытый, одетый, имеющий хорошую работу, дом, автомобили для всех членов семьи, уверенность в завтрашнем дне, потеряет душевное равновесие при мысли о том, что кто-то рядом живет совершенно другой жизнью. Причем, в отличие от ситуации XIX века, этот обитающий под мостом человек живет именно так не потому, что у государства не хватает средств поселить его в доме, а потому, что ему хочется жить под мостом и не хочется вкушать от даров постиндустриального общества. Он не так устроен. Могу ли я чувствовать себя духовно стабильным, когда рядом обитают люди, не желающие понимать, что можно жить в этом мире чисто, красиво, вкусно, сытно, с умом, с какой-то целью…

— Ну, допустим, общество благополучно. Но для интеллигенции становится очевидно, что человек рождается не для благополучия, не для торговли автомобилями. У человека есть некое предназначение…

— Мне не нравится слово «предназначение». Оно имеет смысл только в том случае, если человек кем-то создан. Оно может быть заложено только тем, кто создал человека. Что же касается разделения социальных функций на высокие и низкие, то я думал об этом полжизни и понял: нет этого. Не бывает! Существует человеческая деятельность, которая нужна обществу и которая не нужна, которая адекватна ему и которая неадекватна. Сочетания этих пар и создают человека счастливого либо несчастного, человека не на своем месте, мучимого комплексами. Так появляются люмпены, шизофреники, самоубийцы… и революционеры.

— Гитлер и Сталин…

— Нет, тот и другой как раз заняли свою социальную нишу. И были счастливы. Это разрушители. Их функция человечеству не нужна, но доставляет наслаждение ее носителям. Гитлер мог стать плохим художником и всю жизнь мучился бы, поскольку самый высокий его талант состоял в умении покорять души людей. Он пережил свои звездные часы и был счастлив — на нашем горе. С Троцким то же самое. Родители прочили ему коммерческую карьеру, и он никогда не испытал бы счастья стоять в длинной шинели на длинном «паккарде» перед ревущей краснознаменной толпой и кричать «Смерть мировым бандитам!».

Поэтому и важно для человека найти в себе то, в чем он наиболее силен. Это задача высокой педагогики, а не литературы. Литература никого не воспитывает, она только помогает поддерживать мировоззрение. Неправда, что «Майн кампф» заражает читателей. «Майн кампф» не может заразить демократически воспитанного человека, даже подростка, который растет в приличной семье и окружен приличными друзьями. Воспитывают человека не книги, а родители, друзья и школа.

— А что такое «хороший человек»?

— Я считаю хорошим человека, который хорошо делает свое дело на своем месте. Сама жизнь не дает проявляться в нем дурным качествам, даже если они заложены в генах.

— И все-таки хочется прогноза. Допустим, настало время, когда один человек своим трудом кормит десять, пятьдесят, сотню. Чем займутся остальные? Что будет с культурой?

— В самом деле — чем заняться человеку? В «Улитке на склоне» один персонаж говорит: «Я буду выпиливать по дереву». А другой ему отвечает: «Не будешь ты выпиливать по дереву, а будешь ты шляться от алмазной распивочной до хрустальной закусочной». В этой действительно страшной ситуации, когда «на ответы нет вопросов», возможно окончательное превращение культуры в разновидность наркотика, отвлекающего от

реальности. Но это не будет культурой в нашем понимании.

— Но возможен ли благоприятный вариант?

— Не знаю, как человечество решит эту проблему. Как-то решит. Справляется же оно пока с ядерной угрозой. Правда, ценой развала одной из конфликтующих сторон. Вся надежда на то, что процесс будет протекать медленно. Пройдет несколько поколений. Здесь я надеюсь на теорию воспитания. Не дрессировки, как сейчас, а создания «человека на своем месте».

Поймите, господа фантасты: будущее, в котором нам хотелось бы жить, невозможно. Оно противоречит устройству человека, его генотипу. Так же, как противоречат ему Десять заповедей. Должно быть, они написаны для какого-то другого мыслящего существа. Хотя какое-то приближение к идеалу возможно. Мир, в котором высшим наслаждением для людей является их деятельность, в принципе возможен.

— Вы полагаете, что потребность в труде изначальна?

— Нет, изначальна потребность в наслаждении. Это первая аксиома. А вторая — человек испытывает высочайшее наслаждение, реализуя себя в труде.

— А не в творчестве?

— Это разновидность труда, я знаю на собственном опыте. Например, закончил я аспирантуру и по ряду причин не смог защитить диссертацию. И был «брошен на низовку»: назначили инженером по счетно-аналитическим машинам. Вы и не знаете, что это такое: гигантские электрические арифмометры, которые могут только складывать и вычитать. Для меня, астронома-теоретика, специалиста по звездной динамике, это был страшный удар. Пришлось начинать с азов, листать какие-то промасленные инструкции. Как чистить контакты, что куда втыкать… Жуткое ощущение. Но прошел первый, очень трудный месяц. Я понял, как работают эти машины. И к своему величайшему изумлению понял, что работать с ними интересно! Можно заставить их умножать, делить, извлекать, черт побери, корни квадратные! И понял, что неинтересной работы не бывает. Если залезешь вглубь, обязательно найдешь поле для творчества.

— Да, но большинство-то никуда не лезет!

— А этого мы не знаем. Может, у них нет такой потребности.

— А в будущем, значит, она появится…

— Эта потребность будет культивироваться — школой, детским садом. Если последовательно проповедовать идею, что неинтересной работы не бывает, найти какие-то идеологические приемы…

— Почему же братья Стругацкие не написали «роман воспитания»?

— Это будет уже не воспитание, а дрессировка. Дрессировать же и без Стругацких хорошо умеют. Возьмем ВДВ. Там воспитывают великолепно. Эффективно. Но это дрессировка: не обращая внимания на личные таланты человека, отбрасывают все лишнее, и остается Бойцовый Кот. Стрельба, прыжки, полоса препятствий…

— Но ведь десантник счастлив?

— Да, пока он молод, быстро бегает, кости не болят, пока он трех книжек не прочитал, пока на дембель не вышел. Это недолгое счастье. У него появится жена, дети, встретится он с реальной жизнью — скучной и размеренной — и все это счастье — фью!

— Что-то сомневаюсь я в этой теории воспитания…

— Да я сам в ней сомневаюсь! Я просто надеюсь, что есть в каждом человеке главный талант. Но тут предвижу возражения социологов и психологов: да вы что, охренели? Вы людей не знаете? Сколько ходит дебилов с одним-единственным талантом: поглощать декалитрами пиво. Что с ними-то делать?

— Но ведь человек меняется по мере развития науки…

— Ага, если хомо сапиенс такое существо, что не может вместить Десяти заповедей, то, может быть, стоит вывести новое? Но мы с Аркадием Натановичем сразу отставили эту мысль. Во-первых, к человеку это существо будет иметь такое же отношение, как пекинес к дикому койоту, даже внешне. А нечеловеческими проблемами заниматься неохота. Во-вторых, евгенику легко обратить во зло. Не дай бог найдут евгенические способы изменения человека — тут начнется кромешный ад, описанный в десятках и сотнях романов.

— Давайте-ка напоследок вернемся к литературе. Каково состояние отечественной фантастики?

— Как говорят врачи, прогноз благоприятный. Больной уже сидит в постельке и кушает манную кашу. Года через два начнет ходить. «Четвертое поколение» фантастов начинает давать серьезную отдачу. Уже в этом году пришлось нелегко, определяя лауреата приза «Бронзовая улитка», а дальше будет еще труднее.

— И, наконец, творческие планы?

— Мы их и раньше не разглашали. Пытаюсь писать — очень медленно, очень трудно. Если этот роман и выйдет, то под псевдонимом. Потому что он совершенно не «стругацкий».

— Что ж, Борис Натанович, остается пожелать вам в день 60-летия достаточно времени и здоровья, чтобы не раз испытать наслаждение от

хорошо исполненной работы.

Интервью брали Андрей Лазарчук, Михаил Успенский

Борис Стругацкий
«ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА» ФАНТАСТИКИ[57]

Любой квалифицированный читатель рано или поздно, но приходит к пониманию, что книга есть мир, обладающий всеми свойствами личности. Читая, ты вступаешь в отношения, словно общаешься с человеческим существом. Возникают чувства: радости, или, скажем, спокойного удовлетворения, или — вдруг — неприязни и раздражения. Обнаруживается, что возникла и функционирует устойчивая связь доброжелательства и даже благодарности. Или — радостное намерение встречаться вновь и опять. Или, наоборот, раздраженное сожаление о зря потерянном времени, брезгливое негодование и категорическое нежелание какого-либо общения в дальнейшем.

Поэтому ранжировать книги так же трудно и в каком-то смысле невозможно, как и самых своих хороших знакомых. И как среди друзей обязательно обнаружится добрейшей души человек, но горький пьяница и буйный во хмелю, так и среди книг всегда найдется любимый, до дыр с детства зачитанный том, невысоких, однако (теперь-то это ясно), художественных достоинств; или мощный роман, вызывающий самое что ни на есть почтительное к себе отношение, но совершенно не возбуждающий желания перечитать; или некое сочинение, всеми расхваленное, и вроде бы не зря, но странным образом оставляющее к себе совершенно равнодушным… И если ты попытаешься ранжировать все эти тексты по принципу «самые любимые», то неизбежно оставишь за бортом наиболее значительные. Те, что произвели наисильнейшее впечатление, лишь отчасти пересекутся с чаще всего перечитываемыми, а вечные вовсе окажутся отдельно от популярнейших… Я не говорю уж о том, что «золотая десятка», составленная (по какому угодно принципу) тридцатилетним читателем, будет обязательно и существенно отличаться от десятки, составленной по тому же принципу и тем же человеком, но двадцать лет спустя.

1. Н. Гоголь «Нос».
2. М. Твен «Янки при дворе короля Артура».
3. Г. Уэллс «Машина времени».
4. Г. Уэллс «Война миров».

5. К. Чапек «Война с саламандрами».
6. М. Булгаков «Мастер и Маргарита».
7. Д. Оруэлл «1984».
8. Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту».
9. И. Ефремов «Туманность Андромеды».
10. С. Лем «Солярис».

Вот десять произведений, оказавших, на мой взгляд, сильнейшее — прямое либо косвенное — влияние на мировую фантастику XX века вообще и на отечественную фантастику в особенности. Полагаю, что каждый из фантастов-профессионалов нового времени, во всяком случае, русских, испытал на себе мощное воздействие всех (или почти всех) этих шедевров, и что-то в нем после прочтения (и вследствие прочтения) переменилось, какие-то ценности оказались пересмотрены или, наоборот, утвердились еще более основательно, нежели раньше. И то же самое, мне кажется, можно сказать и о любом из «профессиональных» читателей — никто из них не пропустил этих произведений мимо своего внимания, никто не остался к ним равнодушен, никто не забыл их и не забудет до самой глубокой старости. Эти произведения сформировали фантастику XX века в том виде, в каком существует она и поныне. Эти произведения либо послужили словно бы истоком новых тематических, эстетических или идейных направлений, либо являются высочайшими достижениями на этих направлениях. Так что не будет большой ошибкой утверждать, что эти произведения и есть САМА ФАНТАСТИКА XX века, и, если кто-нибудь (в очередной раз) спросит: «А что, собственно, такое — фантастика?», — можно просто продиктовать ему этот список и сказать: «Вот это она и есть».

Разумеется, ДЕСЯТКА — это все-таки маловато. Тесно. Негде развернуться. Будь это ДЮЖИНА, я с удовольствием добавил бы к списку своего любимого Воннегута («Колыбель для кошки» в переводе Райт-Ковалевой) и «Превращение» Франца Кафки. А в ЧЕРТОВУ ДЮЖИНУ я обязательно включил бы Свифта с его «Гулливером» — может быть, первого в мире фантаста в современном понимании этого слова. И все равно — список по-прежнему остался бы неполным. Таково свойство любого списка — его все время хочется дополнить, его всегда можно дополнить. Вероятно, поэтому все эти списки не имеют никакого содержательного смысла.

Борис Стругацкий

ФАШИЗМ — ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО[58]

Эпидемиологическая памятка

Чума в нашем доме. Лечить ее мы не умеем. Более того, мы сплошь да рядом не умеем даже поставить правильный диагноз. И тот, кто уже заразился, зачастую не замечает, что он болен и заразен.

Ему-то кажется, что он знает о фашизме все. Ведь всем же известно, что фашизм — это: черные эсэсовские мундиры; лающая речь; вздернутые в римском приветствии руки; свастика; черно-красные знамена; марширующие колонны; люди-скелеты за колючей проволокой; жирный дым из труб крематориев; бесноватый фюрер с челочкой; толстый Геринг; поблескивающий стеклышками пенсне Гиммлер, — и еще полдюжины более или менее достоверных фигур из «Семнадцати мгновений весны», из «Подвига разведчика», из «Падения Берлина»…

О, мы прекрасно знаем, что такое фашизм — *немецкий фашизм*, он же — гитлеризм. Нам и в голову не приходит, что существует и другой фашизм, такой же поганый, такой же страшный, но свой, доморощенный. И, наверное, именно поэтому мы не видим его в упор, когда он на глазах у нас разрастается в теле страны, словно тихая злокачественная опухоль. Мы, правда, различаем свастику, закамуфлированную под рунические знаки. До нас доносятся хриплые вопли, призывающие к расправе над инородцами. Мы замечаем порой поганые лозунги и картинки на стенах наших домов. Но мы никак не можем признаться себе, что это *тоже* фашизм. Нам все кажется, что фашизм — это: черные эсэсовские мундиры, лающая иноземная речь, жирный дым из труб крематориев, война…

Сейчас Академия Наук, выполняя указ Президента, лихорадочно формулирует научное определение фашизма. Надо полагать, это будет точное, всеобъемлющее, на все случаи жизни определение. И, разумеется, дьявольски сложное.

А, между тем, фашизм — это просто. Более того, фашизм — это очень просто! Фашизм есть диктатура националистов. Соответственно, фашист — это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над другими и при этом — активный поборник «железной руки», «дисциплины-порядка», «ежовых рукавиц» и прочих прелестей тоталитаризма.

И все. Больше ничего в основе фашизма нет. Диктатура плюс национализм. Тоталитарное правление одной нации. А все остальное — тайная полиция, лагеря, костры из книг, война — прорастает из этого

ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки.

Возможна железная диктатура со всеми ее гробовыми прелестями — скажем, диктатура Стресснера в Парагвае или диктатура Сталина в СССР, — но поскольку тотальной идеей этой диктатуры не является идея национальная (расовая) — это уже не фашизм. Возможно государство, опирающееся на национальную идею, — скажем, Израиль, — но если отсутствует диктатура («железная рука», подавление демократических свобод, всевластье тайной полиции) — это уже не фашизм.

Совершенно бессмысленны и безграмотны выражения типа «демофашист» или «фашиствующий демократ». Это такая же нелепость как «ледяной кипяток» или «ароматное зловоние». Демократ, да, может быть в какой-то степени националистом, но он, по определению, враг всякой и всяческой диктатуры, а поэтому фашистом быть просто не умеет. Так же, как не умеет никакой фашист быть демократом, сторонником свободы слова, свободы печати, свободы митингов и демонстраций, он всегда за одну свободу — свободу Железной Руки.

Могу легко представить себе человека, который, ознакомившись со всеми этими моими дефинициями, скажет (с сомнением): «Этак у тебя получается, что лет пятьсот-шестьсот назад все на свете были фашистами — и князья, и цари, и сеньоры, и вассалы…» В каком-то смысле такое замечание бьет в цель, ибо оно верно «с точностью до наоборот»: фашизм — это задержавшийся в развитии феодализм, переживший и век пара, и век электричества, и век атома, и готовый пережить век космических полетов и искусственного интеллекта. Феодальные отношения, казалось бы, исчезли, но феодальный менталитет оказался живуч и могуч, он оказался сильнее и пара, и электричества, сильнее всеобщей грамотности и всеобщей компьютеризации. Живучесть его, безусловно, имеет причиной то обстоятельство, что корнями своими феодализм уходит в дофеодальные, еще пещерные времена, в ментальность блохастого стада бесхвостых обезьян: все чужаки, живущие в соседнем лесу, — отвратительны и опасны, а вожак наш великолепно жесток, мудр и побеждает врагов. Эта первобытная ментальность, видимо, не скоро покинет род человеческий. И поэтому фашизм — это феодализм сегодня. И завтра.

Только, ради Бога, не путайте национализм с патриотизмом! Патриотизм — это *любовь* к своему народу, а национализм — *неприязнь* к чужому. Патриот прекрасно знает, что не бывает плохих и хороших народов — бывают лишь плохие и хорошие люди. Националист же всегда мыслит категориями «свои-чужие», «наши-ненаши», «воры-фраера», он целые народы с легкостью необыкновенной записывает в негодяи, или в дураки,

или в бандиты.

Это важнейший признак фашистской идеологии — деление людей на «наших и ненаших». Сталинский тоталитаризм основан на подобной идеологии, поэтому-то они так похожи, эти режимы — режимы-убийцы, режимы — разрушители культуры, режимы-милитаристы. Только фашисты людей делят на расы, а сталинисты — на классы.

Очень важный признак фашизма — ложь. Конечно, не всякий, кто лжет, фашист, но всякий фашист — обязательно лжец. Он просто вынужден лгать. Потому что диктатуру иногда еще как-то можно, худо-бедно, но все-таки разумно, обосновать, национализм же обосновать можно только через посредство лжи — какими-нибудь фальшивыми «Протоколами» или разглагольствованиями, что-де «евреи русский народ споили», «все кавказцы — прирожденные бандиты» и тому подобное. Поэтому фашисты — лгут. И всегда лгали. И никто точнее Эрнеста Хемингуэя не сказал о них: «Фашизм есть ложь, изрекаемая бандитами».

Так что если вы вдруг «осознали», что только лишь ваш народ достоин всех благ, а все прочие народы вокруг — второй сорт, поздравляю: вы сделали свой первый шаг в фашизм. Потом вас осеняет, что высоких целей ваш народ добьется, только когда железный порядок будет установлен и заткнут пасть всем этим крикунам и бумагомаракам, разглагольствующим о свободах; когда поставят к стенке (без суда и следствия) всех, кто идет поперек, а инородцев беспощадно возьмут к ногтю… И как только вы приняли все это, — процесс завершился: вы уже фашист. На вас нет черного мундира со свастикой. Вы не имеете привычки орать «хайль!». Вы всю жизнь гордились победой нашей страны над фашизмом и, может быть, даже сами, лично, приближали эту победу. Но вы позволили себе встать в ряды борцов за диктатуру националистов — и вы уже фашист. Как просто! Как *страшно* просто.

И не говорите теперь, что вы — совсем не злой человек, что вы против страданий людей невинных (к стенке поставлены должны быть только враги порядка, и только враги порядка должны оказаться за колючей проволокой), что у вас у самого дети-внуки, что вы против войны… Все это уже не имеет значения, коль скоро приняли вы Причастие Буйвола. Дорога истории давно уже накатана, логика истории беспощадна, и, как только придут к власти ваши фюреры, заработает отлаженный конвейер: устранение инакомыслящих — подавление неизбежного протеста — концлагеря, виселицы — упадок мирной экономики — милитаризация — война… А если вы, опомнившись, захотите в какой-то момент остановить этот страшный конвейер, вы будете беспощадно уничтожены, словно

самый распоследний демократ-интернационалист. Знамена у вас будут не красно-коричневые, а — например — черно-оранжевые. Вы будете на своих собраниях кричать не «хайль», а, скажем, «слава!». Не будет у вас штурмбаннфюреров, а будут какие-нибудь есаул-бригадиры, но сущность фашизма — диктатура нацистов — останется, а значит, останется ложь, кровь, война — теперь, возможно, ядерная.

Мы живем в опасное время. Чума в нашем доме. В первую очередь она поражает оскорбленных и униженных, а их так много сейчас.

Можно ли повернуть историю вспять? Наверное, можно — если этого захотят миллионы. Так давайте же этого не хотеть. Ведь многое зависит от нас самих. Не все, конечно, но многое.

Борис Стругацкий
«ЭТО БЫЛА ПОТЕРЯ ПОЛОВИНЫ МИРА»[59]

— В глазах подавляющего большинства поклонников творчества братьев Стругацких вы с Аркадием Натановичем абсолютно неотделимы друг от друга. Но все же какие-то существенные отличия у вас были?

— Что неотделимы — это, что называется, «медицинский факт»: не существует двух авторов, Аркадия и Бориса Стругацких, которые писали вдвоем, есть один автор — братья Стругацкие. Но при всем при том мы, конечно, были очень разными людьми. Хотя в разное время у нас были разные отличия — в последние годы, например, мы стали похожи друг на друга так, как становятся похожи долго прожившие вместе супруги. Аркадий Натанович был более общительным и более веселым человеком, чем я, он был оптимистом, всегда верил в лучший исход — а я всегда исходил из худшего. Он был педантичен и аккуратен — а я ленив и небрежен. Он был эмоционален и склонен к экспромтам, я — более логичен и расчетлив. Он был отчаянный гедонист и всю жизнь пользовался невероятным успехом у женщин — я никогда не отличался этими качествами…

— О вашем методе совместного написания книг сложено великое множество легенд. Начиная с того, что вы с братом, живущие соответственно в Ленинграде и Москве, встречаетесь в буфете станции Бологое, напиваетесь чаю и садитесь писать, и заканчивая тем, что Аркадий Натанович представлял собой столь брызжущий идеями фонтан, что только вы могли его остановить и заявить: «Стоп! Это мы записываем», — и начиналась Книга…

— Враки это все, Боря! Легенду о буфете в Бологом я и комментировать не буду — тем более что есть значительно более сочная: Стругацкие съезжаются на подмосковной правительственной даче, накачиваются наркотиками до одури — и за машинку… А что касается нашего творческого метода, то, во-первых, Аркадий Натанович вовсе не был никаким «фонтаном», нуждающимся в затыкании. Конечно, он был прекрасным рассказчиком, всегда верховодил на любом застолье, когда он был в ударе, рассказы складывались у него как бы сами собою, и все они были блестящими и готовыми к немедленной публикации. Правда, в последние годы он сделался гораздо менее разговорчив и куда более сдержан… А работали мы всегда именно так, как всем честно рассказывали, хотя в это никто почему-то не верит: слово за словом, фраза за фразой, страница за страницей. Один сидит за машинкой, другой рядом. Каждая предлагаемая фраза обсуждается, критикуется, шлифуется и либо отбрасывается совсем, либо заносится на бумагу. Другого разумного способа нет! А этот, между прочим, вовсе не так сложен, как некоторым кажется.

— И все-таки: какое-то «разделение труда» у вас было?

— В основном последние лет двадцать пять оно было таким: Аркадий Натанович сидел за пишущей машинкой, а я рядом, сидел или лежал на диване. Иногда ходил. Аркадий Натанович утверждал, что я печатаю плохо и неаккуратно. Ну, и я с удовольствием соглашался с такой оценкой моих способностей. Рукописи у меня и вправду всегда получаются довольно неряшливыми, с кучей поправок, опечаток и ляпов. Аркадий Натанович, который много лет проработал редактором, всего этого разгильдяйства совершенно не терпел и стремился к тому, чтобы рукопись представлялась в издательство в идеальном виде — отсюда его желание сидеть за машинкой лично. У нас было правило: окончательный вариант перепечатывался начисто в двух, а то и в трех экземплярах, первый — в издательство, остальные — в архив.

— Много лет в предисловиях к вашим книгам указывалось, что Аркадий Натанович — переводчик с японского, а вы — астроном. Как вы считаете, «отпечаталась» ли такая нестандартная профессия на его личности и на вашем творчестве?

— В первую очередь она повлияла на тот багаж знаний, который у него был. Аркадий Натанович очень много знал и очень много читал, у него была прекрасная библиотека на японском. Ему очень нравилось переводить, по мнению многих, он был одним из лучших переводчиков с японского. Но когда говорят, что все «японское», что есть в наших

произведениях, — это от Аркадия Натановича, а все астрономическое — от меня, то здесь все с точностью до наоборот! Если взять японскую поэзию, которая частенько присутствует в нашем творчестве, то в ней как раз, так сказать, специалистом был именно я. Аркадий Натанович был равнодушен к стихам, а моей жене когда-то подарили томик японской поэзии, и из него я постоянно извлекал подходящие к случаю строчки и эпиграфы. В свою очередь, Аркадий Натанович превосходно разбирался в астрономии и прочитывал все, что выходило в этой области. Он вообще любил астрономию с детства — ведь именно он приучил меня к ней, он, школьником, делал самодельные телескопы, наблюдал солнечные пятна и учил меня этим наблюдениям. Так что 90 процентов астрономических сведений в наших книгах (за исключением самых специальных) — именно от него… Между прочим, нежную любовь к хорошей оптике он сохранил до конца дней своих. Вы не могли сделать ему лучшего подарка, нежели мощный бинокль или какая-нибудь особенная подзорная труба.

— Есть еще известная легенда, что Аркадий Натанович был настолько добрым человеком, что всем начинающим писателям давал замечательные рецензии, и очень многие пользовались этой его добротой…

— Это как раз не легенда, а святая правда: он действительно с таким сочувствием относился к начинающим писателям, что привлечь его на свою сторону было крайне легко. Я — другое дело, я более жесткий человек, хотя тоже иногда иду на поводу у молодого таланта. А когда я начинал ругать Аркадия Натановича за излишнюю мягкость, он отвечал: ведь от этого никто не пострадает, а человеку приятно, человек-то славный, надо же ему помочь. Впрочем, многое у него зависело от настроения в данный момент. Не дай бог вам было попасть ему под горячую руку — он мог быть и резок, и свиреп.

— У кого из вас в большей степени присутствовал интерес к прекрасному полу?

— У Аркадия Натановича, конечно. Он был женолюб и любимец женщин, он ведь был красавец, кавалергард! Конечно, с годами он несколько успокоился, охладел, а в молодости был большим ценителем женского пола и хорошо разбирался в этом вопросе…

— Как вы думаете: как бы мог отнестись Аркадий Натанович ко всему, что произошло после 1991 года: так же, как и вы?

— Это совершенно однозначно: в общих чертах — так же, как и я. Конечно, могли быть какие-то разночтения в оценках отдельных лидеров и поступков, но в общем — мы были бы едины. Он безусловно резко отрицательно отнесся бы, например, к войне в Чечне — я в этом не

сомневаюсь ни на секунду. Он одобрил бы реформы Гайдара — и в этом я уверен абсолютно. А сегодня, как и все мы, резко, как он это умел, выступал бы против красно-коричневых.

— Что Аркадий Натанович больше всего любил и чего не терпел?

— На этот вопрос трудно ответить однозначно: Аркадий Натанович 60-х годов и Аркадий Натанович 80-х годов — это два разных человека. Если говорить о последнем десятилетии, то он больше всего ценил покой, стабильность, устойчивость. То, чего ему всю жизнь больше всего недоставало. И соответственно не любил он всевозможные передряги, встряски, сюрпризы и катастрофы.

— Последнее десятилетие жизни Аркадия Натановича, кажется, не отличалось особыми катаклизмами и теперь именуется застоем… Полная стабильность — чего же еще?

— Аркадий Натанович ценил стабильность, но не любил гниения! Мы иногда с ностальгией вспоминаем о застое, когда все было так спокойно и устойчиво, но забываем, что это было спокойствие гниющего болота. Конечно, если бы вопрос встал так: такое вот гниение — или мировая война, в результате которой погибнет половина человечества, Аркадий Натанович выбрал бы гниение. Но между гниением и эволюционными, бескровными изменениями он, конечно, выбрал бы последнее, хотя прекрасно понимал, что это такое: жить в эпоху перемен.

— Его нелюбовь к передрягам связана с тем, что пришлось испытать в жизни, особенно в военные годы?

— Да, судьба трепала его без всякой пощады, особенно в первой половине жизни — блокада, эвакуация, армия, бездомная жизнь, армейские будни, всевозможные «приключения тела»… Но нелюбовь его к передрягам — это все-таки, скорее, свойство возраста. В молодые-то годы мы оба с ним были р-р-радикалами и р-р-революционерами с тремя «р». Любителями быстрого движения истории, резких скачков и переломов. С годами приходит стремление к покою, начинаешь ценить его и понимать всю неуютность исторических передряг. Без перемен — никуда, перемены нужны и неизбежны — но их следует воспринимать как неизбежное зло, как горькую расплату за прогресс. Но это мы осознали позднее, а в молодости любые перемены казались нам прекрасными уже потому, что обещали новое. «Тот, кто в молодости не был радикалом, — не имеет сердца, кто не стал в старости консерватором, — не имеет ума».

— Если это можно как-то сформулировать: чем был для вас Аркадии Натанович?

— Когда я был школьником, Аркадий был для меня почти отцом. Он

был покровителем, он был учителем, он был главным советчиком. Он был для меня человеко-богом, мнение которого было непререкаемо. Со времен моих студенческих лет Аркадий становится самым близким другом — наверное, самым близким из всех моих друзей. А с конца 50-х годов он — соавтор и сотрудник. И в дальнейшем на протяжении многих лет он был и соавтором, и другом, и братом, конечно, хотя мы оба были довольно равнодушны к проблеме «родной крови»: для нас всегда дальний родственник значил несравненно меньше, чем близкий друг. И я не ощущал как-то особенно, что Аркадий является именно моим братом, это был мой друг, человек, без которого я не мог жить, без которого жизнь теряла для меня три четверти своей привлекательности. И так длилось до самого конца… Даже в последние годы, когда Аркадий Натанович был уже болен, когда нам стало очень трудно работать и мы встречались буквально на 5–6 дней, из которых работали лишь два-три, он оставался для меня фигурой, заполняющей значительную часть моего мира. И, потеряв его, я ощутил себя так, как, наверное, чувствует себя здоровый человек, у которого оторвало руку или ногу. Я почувствовал себя инвалидом.

— Это ощущение сохраняется у вас и сейчас?

— Конечно, есть раны, которые не заживают вообще никогда, но сейчас ощущение собственной неполноценности как-то изменилось. Ко всему привыкаешь. Ощущение рухнувшего мира исчезло, я как-то приспособился — как, наверное, приспосабливается инвалид. Ведь и безногий человек тоже приноравливается к реалиям нового бытия… Но все равно это была потеря половины мира, в котором я жил. И я не раз говорил, отвечая на вопрос, продолжится ли творчество Стругацких уже в моем лице: всю свою жизнь я пилил бревно двуручной пилой и мне уже поздно да и незачем переучиваться… Надо жить дальше.

Беседовал Борис Вишневский

РУКА СУДЬБЫ В ПОЛЕ СЛУЧАЙНОСТЕЙ[60]
(Интервью А. Черткова с С. Витицким)

Это интервью было взято 17 июля 1995 года, вскоре после того, как издательство «Текст» выпустило в свет первое издание романа «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики». В то время немногие еще знали, кто именно скрывается под этим псевдонимом. И это обстоятельство не могло не наложить отпечаток на нашу беседу, опубликованную впоследствии в журнале «Если» (N 11–12 за 1995 год) —

правда, в несколько сокращенном и «уредактированном» виде. С другой стороны, это, насколько мне известно, единственное интервью с Борисом Стругацким именно как с С. Витицким, «молодым писателем», у которого только-только вышла дебютная книга. Наверное, потому, что подобный «секрет Полишинеля» просто не смог просуществовать сколько-нибудь продолжительное время. Так что теперь данное интервью может восприниматься как своего рода уникальный исторический документ.

— Господин Витицкий, я не хочу касаться некоторых сложных моментов, связанных с истинным именем автора, хотя это, конечно, сильно ограничивает мои возможности как интервьюера и глубину разговора о книге, поскольку за кадром вынужденно остается некая предыстория. Хотя, разумеется, книжка выпущена соответствующим образом, и во всех магазинах, где я ее видел, на обложку поверх псевдонима прицеплена картонка с настоящим именем автора… И все же попробуем. В двух словах — не могли бы вы рассказать историю этого романа: как возник его замысел и как он создавался?

— Я попробую, хотя, по-моему, ничего особенно интересного в истории создания этой книги нет. Много лет тому назад мне пришла в голову мысль о том, что люди нашего поколения, так называемые «шестидесятники», и те, кто немного постарше, люди, прошедшие, по сути дела, войну, оказались живы по сей день по чистой случайности. Настолько часто и настолько разнообразно встречалась на нашем пути смерть, что поневоле задумаешься: нет ли здесь какой-то Руки Судьбы, которая протащила нас через все эти — совсем несложные, очень грубые, очень примитивные — испытания и оставила в живых? Блокада, бомбежки, голод, эвакуация, повальная дизентерия, кровавый понос, чудовищные антисанитарные условия и очень голодная жизнь в той же самой эвакуации, послевоенные годы — голодные, полные болезней, блатняки на улицах, режут… Те, кто воображает, что сейчас какой-то особенный разгул преступности, очевидно, просто не помнят больших городов сорок пятого — сорок седьмого годов. Ну и в дальнейшем судьба тоже не жаловала и было множество случаев отправиться к праотцам задолго до, так скажем, среднестатистического срока. Ну, как-то в разговорах, беседах появилась у меня эта мысль, что, наверное, любопытно было бы поискать какую-то закономерность в этом хаосе и представить себе ситуацию, когда человек вдруг осознает, что слишком много счастливых случайностей было на его пути, слишком часто он выигрывал в жизненной лотерее. Что-то тут не так, какие-то фальшивые кости выпадают. На пользу человеку, конечно, но фальшивые кости. Постепенно из рассуждений такого рода и возникла — я

даже не знаю — сюжет ли, фабула ли, — но, во всяком случае, скажем так: подоплека, идея этого романа. В дальнейшем, когда дело дошло до дела, конечно, фабула эта была усложнена, замысел был усложнен, добавились соображения совсем другого порядка, это естественно. Кроме того, очень большую роль сыграло желание написать о тех событиях из жизни автора и жизни его друзей и близких, которые представляют, как мне кажется, общественный интерес. Из такого рода соображений и возникла эта книга.

— А как она писалась — трудно или легко?

— Она писалась очень трудно. Я, начиная эту книгу, ставил на кон, если угодно, свою судьбу. Мне казалось, что если я ее не напишу, то смысл дальнейшей жизни в достаточной степени будет утрачен — если вообще можно говорить о таком понятии, как «смысл жизни». И каждый раз, когда работаешь в таких вот экстремальных установочных условиях, то не упрощаешь свою жизнь, а, естественно, усложняешь. И одно дело, когда пишешь, потому что получаешь удовольствие от работы, а другое дело — когда пишешь, пытаясь что-то доказать самому себе. Второй вариант, он не слишком способствует легкой работе; поэтому работалось очень трудно. Но, надо сказать, довольно быстро я понял, что я эту книгу сделаю. Первоначально она состояла из трех частей, а не из четырех. Когда я написал первую часть — историю блокадного мальчика, то я понял, что эту книгу закончу.

— Когда роман публиковался в журнале «Звезда», он имел подзаголовок «фантастический роман». Выйдя книгой в издательстве «Текст», он этот подзаголовок утратил. Какое, на ваш взгляд, определение жанра этого романа правильнее?

— На мой взгляд, это безусловно фантастический роман. Но никакой необходимости ставить такое вот жанровое определение на титульной странице, вообще говоря, нет. И я вынес его в журнальном варианте исключительно из рекламных соображений. Чтобы привлечь как-то читателей журнала. А для книжки, по-моему, это совсем не обязательно. Знающие люди и так поймут, с чем они имеют дело. А незнающему человеку все равно, что написано на титульной странице.

— В общем-то, да. Кстати, любопытный момент — если доверять спискам бестселлеров «Книжного обозрения», которым доверять, на мой взгляд, не слишком-то стоит, — однако из всей отечественной фантастики последнего времени, наряду с русскими детективами, любовными романами и некоторыми западными фантастическими книгами, эта книга этот список однажды посетила. Была в этом списке — пожалуй, единственная из всей русской фантастики. Но это так, к слову.

— Я думаю, что здесь прежде всего сыграли роль обстоятельства, связанные с истинным именем автора. Если бы я счел необходимым наглухо закрыть эту тему, то я думаю, что книжка продавалась бы гораздо хуже.

— Наверное, ее и издать в нынешней ситуации было бы гораздо труднее?

— Да, конечно.

— Так что ситуация с именем автора — это, в некотором смысле, игра в силу сложившихся старых условностей, которая добавляет этой книге даже некоторый дополнительный аромат?

— Ну, видите ли, когда я пошел на псевдоним, я, собственно, не имел в виду никаких ароматов — я имел в виду некие старые договоренности, нарушать которые я не вижу никакого абсолютно смысла. Что же касается того, что вы называете ароматом, то, откровенно говоря, мне было интересно, что получится, если выйдет книжка совершенно неизвестного автора. Как это будет?

— И как это будет не для узкого круга людей, которые очень быстро все узнают, — а для широкого читателя? Ну, скажем так, книгопродавцы раскусили все очень быстро.

— Да. Собственно, это обстоятельство никогда особенно и не скрывалось. Я не учел того обстоятельства, что последовательно проводя политику псевдонимизации, я ставлю под удар прежде всего издательство. Когда я понял, что издатель-то за что должен страдать, почему издатель должен мучиться из-за моих экспериментов? — я дал «добро» на то, чтобы подпольным образом распространялась информация об истинном имени автора.

— И чтобы книжка вышла в соответствующем оформлении, которое очень прозрачно намекает на известные обстоятельства?

— Да, для знающего человека это самоочевидная вещь.

— Хорошо. Значит, если мы не будем плотно придерживаться тайны авторского имени, то не скажете ли вы, как эта книга связана с некоторыми другими, более ранними вещами в нашей тогда еще советской фантастике? Есть ли какая-то перекличка с вещами 70-х и 80-х годов, в которых поднимались сходные темы?

— Ну, во всяком случае, «Людены» немедленно обратили мое внимание на какое-то глубинное сходство этой вещи со старой повестью братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света»… Что-то еще называли… Да, «Дьявол среди людей» С. Ярославцева. Да, по-видимому, эта книжка уходит глубоко корнями в старые добрые времена, и в этом нет

ничего удивительного: если автор до сих пор живет в атмосфере тех лет, ему очень трудно избавиться от этой атмосферы, он ее не забыл.

— Если еще раз вернуться к жанровому определению, то это произведение в жанре так называемой «литературной фантастики». То есть, во многом реалистическое произведение, где использован фантастический прием, или — даже — просто усилена мера условности. Иными словами, к жанру научной фантастики этот роман явно не относится — так, может быть, стоит определить его жанр, как «магический реализм»?

— В этом вопросе я присоединяюсь к точке зрения братьев Стругацких, которые в свое время ввели такое понятие, как «реалистическая фантастика». На мой взгляд, это реалистическая фантастика.

— Однако я к чему хочу подойти? К тому, что является основным фантастическим сюжетообразующим элементом. Понимаете, есть вещи, которые имеют определенное рациональное, естественное объяснение, а есть вещи, которые основаны на некой иррациональной посылке. И этот роман явно второго типа.

— Нет, это вам показалось.

— Но вот, скажем, в «За миллиард лет до конца света» было все-таки использовано обоснование естественного типа…

— Различие между «Миллиардом лет» и этой книжкой заключается только в том, что в «Миллиарде лет» *пришлось* давать рациональное объяснение — не потому, что авторы хотели дать это объяснение, а просто обстановка была такова, что эта чистая притча должна была быть замаскирована под научно-фантастический роман. Что и было сделано. А в данном случае автор не нуждался в маскировании притчи, поэтому никаких объяснений сделано не было — хотя при желании достаточно двух-трех абзацев для того, чтобы превратить эту опять-таки притчу в научно-фантастический роман. Для этого достаточно провести аналогию между действием Руки Судьбы, которая фигурирует в романе, и… Превратить Руку Судьбы — ну, скажем, в процесс эволюции. Ведь эволюция тоже совершает очень странные, совершенно непредсказуемые, абсолютно непонятные действия с жизненным материалом. И если подумать, то для того, чтобы мы с вами вот сейчас могли сидеть на мягкой мебели и говорить в странное микроскопическое устройство, называемое диктофоном, которое аккуратно записывает все издаваемые нами звуки… ну, если подумать, то природе для этого пришлось пройти путь от первичной молекулы через чудовищных динозавров, уничтожить этих динозавров, заметьте, потому что если бы природа динозавров не

уничтожила, вряд ли бы мы сидели сейчас на этих мягких диванах, жизнь пошла бы по совсем другому пути — должны были произойти тысячи совершенно неуправляемых, казалось бы, совершенно неучитываемых случайностей для того, чтобы возникла сегодняшняя ситуация. Это полная аналогия с нашим героем. Наш герой живет в поле случайностей, определяемых не им, определяемых — чем? — роком? эволюцией?..

— Или сверхцивилизацией?

— Сверхцивилизацией — в конце концов, можно припутать и ее, почему бы и нет. Понимаете? Так что это все чистая условность. Почему? Что именно происходит с героем? (В чем сходство, кстати, с «Миллиардом лет».) Что именно происходит — на самом деле не суть важно. Важно то, как он относится к происходящему. Важна его человеческая реакция на происходящее. Важно, как он сам строит свою судьбу в рамках данного поля случайностей. Вот ведь что важно. Мне кажется чрезвычайно важным вывод, который я боюсь сформулировать ясно, но который… для того, чтобы его сформулировать, надо написать роман. Ведь, по сути дела, это роман о том, что человек не должен возноситься в гордыне, что человек должен сохранять скромность. Четко понимать скромное положение свое при любом раскладе событий. И даже когда тебе кажется, что тебя судьба вознесла на неописуемую высоту, что ты король, что ты владеешь необычайными способностями — на самом деле ты не только Бог, но ты еще и червь. Ты не только царь, но ты же еще и раб. И любая из этих граней твоего существа может в любой момент проявиться. Вот это вот в каком-то смысле итоговое ощущение от прожитой жизни, вот оно нашло отражение, видимо, в этом романе. И вот эта вот атмосфера, вот это вот ощущение — оно мне очень важно.

— Что, кстати, подчеркивается финалом, который, с одной стороны, больше ушел в сторону научной фантастики, потому что описывается близкое будущее, с другой стороны — стал каким-то даже нарочито сюрреалистичным. По сравнению с предыдущими частями, которые очень сильно сделаны по-бытовому, реалистично…

— Ну, это понятно, потому что все-таки первые две части романа основаны на абсолютно реальных событиях, и описаны совершенно реальные человеческие характеры. Там произведено только очень маленькое смещение, необходимое для организации сюжета, но фактически все, что там описано, на самом деле было. Третья часть — дневник кэгэбэшника — по сути дела, она написана тоже о совершенно реальном человеке, который занимается, может быть, немного фантастическим — но на самом деле не таким уж фантастическим, если подумать, делом. А вот,

конечно, четвертая часть — она должна была резко отличаться и от третьей и, в особенности, от первых двух просто потому, что там действие происходит в будущем. Четвертая часть условна по своему определению, понимаете, в чем дело? Должен уверить вас — если бы мне захотелось перенести действие не в завтрашний день, а в сегодняшний, она получилась бы гораздо менее сюрреалистичной. Пришлось бы, конечно, пожертвовать какими-то элементами, но тем не менее… ведь те же самые события могли происходить и сегодня.

— Вы не находите, что все-таки этот роман… конечно, у него очень глубокая идея и интересный подход… но что роман немножко переусложнен? Во всех этих своих событийных и идейных слоях? Мы тут, помню, беседовали об этом романе с Вячеславом Рыбаковым довольно долго, и выяснилось, что я, когда я его прочитал, дошел максимум до второго слоя, а он дошел до третьего.

— Вы, наверное, правы. Потому что я разговаривал с самыми разнообразными читателями… и, в общем, очень немногие из них — скажем так: один из десяти — сумели этот роман понять на том уровне, на котором понимает его автор. Для большинства людей, конечно, энное количество нюансов — и смысловых, и эмоциональных, каких угодно — ускользает. Тут уж ничего не поделаешь. Но, видите ли, я не мог писать иначе — я хотел писать именно так. Понимаете, этого можно было бы избежать, разжевывая, объясняя, растолковывая, умножая количество слов и эпизодов, но мне не хотелось ничего этого делать. Я знаю, что там происходит. Мне кажется, что этого достаточно. В этом смысле вспоминается повесть братьев Стругацких «Жук в муравейнике», которая написана, по сути дела, по этому же принципу, который братьям Стругацким очень нравился: читатель знает ровно столько же, сколько герой. И этот роман написан по этому же принципу. То, чего не знают читатели, — герои не знают. То, чего не знают герои, — не знают читатели. Другое дело, что читательское восприятие устроено таким образом, что мы зачастую воспринимаем все, что написано в романе, за чистую монету. Кто-то из героев врет, а мы воспринимаем это как правду — нам и в голову не приходит, что герои врут. Понимаете? А на самом деле это так. И когда ты начинаешь разбираться, вдруг сталкиваешься с какими-то непонятными для тебя вещами — как это бывает и в жизни, к сожалению. Так что я согласен с вами: это, по-видимому, сложное чтение, рассчитанное, по крайней мере, на двухкратный подход к книге. Я думаю, что люди, которые прочтут эту книжку один раз, — они получат, конечно, какое-то впечатление от нее, и я вполне допускаю, что им будет интересно читать, потому что все

необходимые элементы хорошей фантастики: чудо, тайна, достоверность, — все это там есть. Другое дело, что они снимут только верхний слой и не поймут сути этой вещи. Ну что ж, просто так устроена книга.

— Хорошо. И последний вопрос: есть еще какие-то новые планы, условно говоря, у писателя Витицкого на какие-то новые книги?

— Конечно, есть. У писателя Витицкого всегда полно всяких планов, другое дело — как их удастся реализовать? Это другой вопрос. От того, что написана одна книжка… Всем хорошо известно: первая книга еще ничего не значит. Мы знаем огромное количество авторов, которые написали одну книгу и больше не сумели написать ничего. Риск такой ситуации остается и у писателя Витицкого. Но будем надеяться на лучшее. Конечно, будем стараться еще что-нибудь сделать.

— Спасибо за беседу.

Борис Стругацкий
ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА, КОСТЯНАЯ НОГА И ПРОЧИЕ ПРЕЛЕСТИ ПОРЯДКА[61]

«Кое-что из опыта Германии 30-40-х годов в экономике можно и позаимствовать» — читаю в интервью одной из петербургских газет члена Совета Федерации, человека, как до сих пор считала, демократических убеждений. Другой — ученый, интеллигент, в прошлые годы имевший много неприятностей от коммунистического режима, — теперь убеждает, что нашему обществу позарез не хватает идей. Единственно возможная, по его словам, национал-патриотическая. Другие не пройдут. И вообще, не надо навешивать ярлыки, называя националиста (нет ничего дурного в этом слове — это человек, любящий свою родину) чуть ли не фашистом. Да и сам фашизм, если отбросить некоторые его «прелести» — не так уж плох. Да, проявления его в веке двадцатом принесли человечеству неизмеримые бедствия. Зато при всех фашистских и коммунистических диктатурах был Порядок, которого так не хватает России сейчас. И если быть осторожными, не увлекаться… Если, как предлагают многие, допустить на короткий срок к власти людей, способных навести в стране Порядок той самой пресловутой «железной рукой», так нелюбимой демократами, а потом они, эти гении Порядка, сделав свое дело, уйдут, уступив расчищенное место тем же демократам? Не в этом ли выход из тупика для России?

Со своими сомнениями и вопросами я обратилась к писателю-фантасту с мировым именем Борису Стругацкому.

— Ну, придут к власти сердитые и серьезные молодые люди — уничтожат преступность, поднимут экономику, наведут порядок, воссоздадут мощную и великую державу… и так далее — смотри историю возвышения третьего рейха. Ну, прижмут они евреев, кавказцев, всяких там татар-башкир — так ведь во имя же святой цели прижмут и на пользу подавляющего русского большинства! Ну, покончат они с этой демократией, с этими свободами, кому они нужны, всем уже надоели, но зато весь мир будет нас бояться, как прежде бывало… Чего же тут плохого?

Когда рассуждения такого рода слышишь от людей вроде бы вполне трезвомыслящих и даже — страшно сказать — интеллигентных; когда узнаешь из результатов социологических обследований, что из пары «обеспеченная жизнь — демократические свободы» более половины

опрошенных ОПРЕДЕЛЕННО выбирают обеспеченную жизнь; когда видишь, что без малого четверть взрослого населения голосует за политического лидера, проповедующего национальный радикализм; когда на каждом митинге — будь он под красными или под черно-оранжевыми флагами — слышишь: ПОРЯДОК нам дайте, ПОРЯДОК! — тогда воистину начинаешь понимать, что страна наша стоит сейчас перед серьезнейшим выбором, и хочется что-нибудь срочно предпринять, чтобы выбор этот люди делали по крайней мере с открытыми глазами.

Прежде всего хочется спросить этих поклонников железной руки, костяной ноги и прочих прелестей ПОРЯДКА: вы согласны заплатить за все это добро войной, причем страшной, современной, и — несомненно — обреченной на поражение? Заплатить своею кровью и кровью своих детей, развалинами своего дома, неописуемыми бедствиями, необратимыми потерями, черным будущим?

Я прекрасно помню времена, когда сама мысль о параллели между (немецким) фашизмом и (советским) коммунизмом показалась бы мне кощунственной. Однако, когда на экраны страны вышел поразительный по своей разоблачительной силе фильм Ромма «Обыкновенный фашизм», и я, и большинство моих друзей уже как должное восприняли скрытый замысел режиссера — продемонстрировать страшное, безусловное, инфернально глубокое сходство между двумя режимами. Разумеется, фильм недолго продержался на экране, хотя, насколько мне известно, запрещен никогда не был.

Теперь-то всякому разумному человеку ясно, что коммунизм и фашизм — «близнецы-братья», ибо растут оба эти режима из единого корня, носящего название «тоталитарное государство».

Государственная машина, подчиняющая себе все — тела граждан, дела граждан, мысли граждан, надежды граждан, настоящее и будущее их. Все подчинено единой цели, единой идее, единому катехизису. Единый для всех смысл жизни; единая для всех эстетика, единое представление о прекрасном и безобразном; единый вождь и, разумеется, единый враг — сверху, вождем заданное, деление на «наших» и «чужих». У фашистов это деление происходит по расовому, национальному признаку (арийцы, белые, немцы — с одной стороны; недочеловеки, черные, евреи — с другой). У коммунистов — по классовому признаку (бедные, угнетенные, трудящиеся — с одной стороны; богачи, кулаки, помещики, буржуи — с другой). Борьба наших с ненашими предполагается исключительно и только беспощадная, до последней капли вражеской крови, до полного уничтожения, для чего необходима мощная армия и всепроникающая

тайная полиция. И там и там — милитаризация общества; и там и там — расцвет стукачества; и там и там — концлагеря, а в концлагерях социально близкие — уголовники, и социально чуждые — политические (у нас их звали «фашистами», у немцев — «красными»)… Одинаковое (презрительно-настороженное) отношение к интеллигенции как к продажной прослойке, готовой служить любому хозяину и в то же время регулярно порождающей заклятых врагов режима. Одинаковые вожди — прирожденные администраторы с параноидальными наклонностями, абсолютно безжалостные, бесчувственные распорядители убийств (таких сегодня называют «отморозками»)…

Сегодня вновь заговорили о привлекательности экономических преобразований времен третьего рейха. Ведь Гитлер уничтожил безработицу, установил Новый Порядок и повысил уровень жизни немцев прежде всего и главным образом за счет полной милитаризации страны. Он запустил на всю мощь военную промышленность Германии, он воссоздал вермахт, развалившийся после поражения в первой мировой, он объявил программу реванша — он изначально поставил на войну! Если три четверти промышленности страны работает на вооружение, пустив на конвейер пушки, танки, самолеты, вся эта продукция рано или поздно начнет стрелять.

Фашизм — это диктатура националистов.

Признаюсь, мне трудно представить психологию последовательного националиста. Чудится мне в таком человеке определенная ущербность, застарелый комплекс неполноценности, неосознанное даже, может быть, стремление скомпенсировать неважное о себе собственное мнение грандиозной всепрощающей идеей принадлежности своей к чему-то великому и безукоризненному. Зато я очень легко представляю себе националиста-профессионала, избравшего именно национализм в качестве карьерного пути своего как способ накопления политического капитала. Национализм безусловно сидит у всех у нас в генах, мы получили его по наследству от стада бесхвостых обезьян, инстинктивно уверенных в том, что «мое» стадо не в пример лучше, сильнее и красивее, чем «чужое» (проживающее по ту сторону реки). Это деление на «наших» и «ненаших» превосходно прослеживается в массовой психологии наиболее примитивных сообществ, будь то племя каннибалов или подростковая банда с «нашего» двора. В этом смысле национализм есть инстинкт, переживший все эпохи и поднявшийся до уровня идеологии. Использовать его в качестве объединяющей самых разных людей приманки — как говорится, сам бог велел, и, разумеется, совершенно не случайны толпы,

стаи, рои политической мошкары, толкающейся и вьющейся вокруг столь сладостно и дурно пахнущего лакомства.

А ведь им следовало бы понимать, что в многонациональной стране национализм — это идеологическая ядерная взрывчатка, заложенная под самый фундамент мира и процветания. Страшно даже представить себе, что может начаться в России (где живут бок о бок то ли сто, то ли двести народов), если к власти придут радикально настроенные националисты. Объявлять сегодня русский народ народом-богоносцем, народом-образцом, народом-хозяином — это прямой путь к гражданской войне, по сравнению с которой чеченская бойня покажется лишь легкой разминкой.

Нет в национализме ничего хорошего. Ядерная взрывчатка — она и есть взрывчатка: годится только во время войны, да и то не всякой, а лишь тотальной, на уничтожение, да и то пользоваться ею надо с осторожностью, чтобы не подорвать себя самого, не отравить все вокруг ядовитыми эманациями, и пуще всего следить, чтобы не превратиться самому в профессионального подрывника, только и умеющего, что подрывать…

Диктатура националистов — это война.

ВЫ СОГЛАСНЫ ЗАПЛАТИТЬ ЗА ПОРЯДОК ВОЙНОЙ И ВОЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ?

Я не говорю уж о разных мелочах, вроде уничтожения демократических свобод, о новом ГУЛАГе, репрессиях против целых народов — все это будет неизбежным следствием национальной диктатуры, но это, как я замечаю, пугает далеко не всех. Многие и многие по-прежнему исповедуют старый добрый принцип: «А меня-то за что? Я-то здесь при чем?» История ничему их не научила — ни мировая, ни собственная, и они хоть сейчас готовы начать все сначала.

«…Зато преступность уничтожат», — заявляют они с торжеством. Но фашизм способен уничтожить только организованную преступность, потому что фашизм сам по себе есть мафия, занимающаяся рэкетом (то есть сбором налогов), берущая взятки, держащая всех и вся в страхе и подчинении. Никакую другую мафию рядом с собою он терпеть не намерен и норовит уничтожить. Что же касается обыкновенной, уличной преступности (той самой, от которой мы, обыватели, страдаем в первую очередь), то национальная диктатура такими пустяками не занимается, и уголовников было полным-полно во всех тоталитарных государствах (равно как и в демократических).

И на подавление коррупции рассчитывать не приходится. Уровень коррупции совершенно не зависит от государственной идеологии, он зависит только от степени бюрократизации: больше чиновников — больше

коррупция, меньше чиновников, меньше у них власти — коррупция меньше. Всемогущее государство немыслимо без армии чиновников, так что во всех тоталитарных странах коррупция благополучно процветала, процветает и будет процветать, несмотря на систематические по этому поводу громы и молнии официальной пропаганды…

Пару лет назад прошумел уголовный процесс предприимчивых молодых людей, которые искали (и находили) безнадежно опустившихся, спившихся или просто слабоумных стариков, обманом, за гроши покупали у них квартиры, а их самих убивали. На перепродаже квартир (уже по полной стоимости) делался неплохой бизнес. Омерзительная история. Но самым омерзительным в ней было то, что молодые предприимчивые даже не считали себя преступниками: «Мы санитары города! — объявляли они во всеуслышание. — Мы очищаем город от скверны!»

Мне кажется почему-то, что среди сторонников и поборников нацио— нальной диктатуры обязательно найдутся человекообразные существа, которые до поводу этой истории скажут: «Что ж… В этом что-то есть. В конце-то концов, и в самом деле поразвелось этих стариков — проку от них никакого, а жилплощадь занимают»… И вот таких человекообразных мне не убедить. Их никому не убедить. Они готовы воевать. Они готовы убивать. Некоторые из них (с горящими глазами, но таких явное меньшинство) даже готовы сами быть убиты во имя Великой Идеи, во имя Нового Национального Порядка, во имя Всеобщего Национального Блага. Они с удовольствием сделаются санитарами. Они очистят наш город от скверны — от нацменьшинств, от хроников, вообще от стариков. Сколько пропадает сбережений, квартир, мебели, даже, черт побери, автомашин! Маленький, совершенно безболезненный укольчик — и все это добро передается Народу. А какое облегчение для государственного бюджета! И, вообще, черт побери, высокая цель (Благо Народа) разве не оправдывает уже любые средства?

Впрочем, все это было многократно описано в романах и обыграно в знаменитых триллерах. И никого ни в чем не убедило.

«В то ветреное утро 30 января 1933 года трагедия Веймарской республики, длившаяся четырнадцать тягостных лет и состоявшая из неуклюжих попыток немцев заставить демократию действовать, приближалась к концу». Престарелый президент Гинденбург привел к присяге нового канцлера Германии — Адольфа Гитлера. Это была самая последняя и самая «неуклюжая» попытка. Вместо того чтобы (нарушив конституцию) объявить чрезвычайное положение… Вместо того чтобы (нарушив демократию) засадить Гитлера в тюрьму или, по крайней мере,

выслать его в Австрию. Вместо того чтобы силой оружия (растоптав конституцию, естественно) разогнать коричневые отряды СА, а заодно и штурмовые отряды тельмановцев, запретить НСДАП, а заодно и КПГ… Это было бы злостное, вызывающее, беспардонное нарушение конституции и демократии, но! От какого моря крови спасло бы оно мир! От каких бед, катастроф и жертв. Не было бы ни Треблинки, ни Освенцима, ни блокады Ленинграда, ни разрушения Берлина, сто миллионов человек прожили бы свою жизнь как люди, а не как замученные животные… Да, легко рассуждать задним числом, слишком легко. Но, может быть, все же небесполезно?

Замечательно, что немецкий народ, замордованный кризисом, обалдевший от реваншистской пропаганды, запуганный штурмовиками всех цветов, расколотый между красными, коричневыми, черными и розовыми, все-таки НИКОГДА не поддерживал Гитлера своим абсолютным большинством. Даже на последних демократических выборах в рейхстаг, когда Гитлер был уже канцлером, Геринг — прусским полицейпрезидентом, а на улицах немецких городов безнаказанно буйствовали штурмовики СА, даже в этих благоприятнейших для себя условиях нацисты собрали всего 44 процента голосов — больше всех других партий, это верно, но БОЛЬШИНСТВО немецкого народа все-таки высказалось против них.

На этом судороги германской демократии прекратились еще на полтора десятка лет. «Отвратительный, но самый лучший» образ правления сменился не самым лучшим, но зато обожаемым людьми определенного сорта. Наступил ПОРЯДОК.

Я ни минуты не сомневаюсь, что процент жестоких, глупых от природы и одураченных националистами избирателей в России никак не больше, чем в Веймарской республике начала тридцатых. Однако, к сожалению, их достаточно много, чтобы внушать самые серьезные опасения. Сходство социальных состояний наводит на мысли о неизбежной похожести конечного исторического результата. А сходство — велико.

Веймарская республика — порождение военного поражения Германии и жесточайшего всеобщего кризиса. Современная Россия — результат поражения СССР в многолетней тотальной войне за мировое господство с «миром капитала» — войне идеологической, экономической, политической, в войне, которую мы (правильнее сказать — наше начальство) проиграли по всем статьям. И тот всеобщий кризис, который мы переживаем сейчас, точно так же, как в Веймарской республике, породил и у нас дракона о трех головах — реваншизм, национализм, державность. Это расплата за

унижение людей, с младых ногтей привыкших отождествлять себя с государством, с государственным строем — с начальством. (Мы же все — дети самодержавно-феодального строя, мы постоянно склонны, по меткому выражению Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, путать понятия Отечества и Вашего Превосходительства. Именно поэтому так много из нас предпочитают Порядок, даже прекрасно представляя себе, хотя бы по недавнему своему прошлому, что Порядок — это когда начальство в хоромах, а холопы в очередях.) Народ Веймарской Германии, как и народы нынешней России, не привык к свободе, никогда не знал демократии, но всегда, веками, жил под бронзовой пятой начальства. И когда выяснилось, что демократия отнюдь не есть немедленный ломоть пирога плюс чарка водки, когда выяснилось, что матблага если и последуют, то лишь через поколение, когда выяснилось, что надобно активничать, вертеться, брать на себя ответственность, — вот тут-то и задумался вчерашний холоп, а не лучше ли ему было у барского сапога, а не вернее ли это — миска баланды да спокойное житье, нежели журавль в небе?

Рассуждение о сходстве двух исторических ситуаций можно продолжать сколь угодно долго. Ослабевшая, разложившаяся, брюзжащая армия — и там и здесь. Всплеск преступности, разрушение установившихся норм морали, резкое падение уровня жизни, безработица — и там и здесь. Общий расклад политических сил — фашисты, коммунисты, социал-демократы — и там и здесь…

Конечно, никакое историческое сходство не бывает абсолютным. Есть и отличия, в том числе одно, существеннейшее, может быть, даже определяющее: мы, в отличие от них, уже точно знаем, каково оно бывает. И если бы история способна была учить, мы никогда бы не стали наступать дважды на одни и те же грабли, мы бы твердо знали: фашизм — это самоистребительный террор и самоубийственная война, а коммунизм — это самоистребительный террор, деградация экономики и в конечном итоге опять же война, и опять же — проигранная.

Но ведь история учит лишь умных, а что делать дуракам? Можно (хотя и несправедливо) осуждать их за глупость. Можно (хотя и бессмысленно) сочувствовать им. Можно — не обращать внимания: в конце концов, все пройдет, История все расставит по местам, а История явно за демократию и против фашизма всех мастей. Но ведь История — это всегда нескоро, божьи мельницы мелют так медленно, а нам всем жить сегодня, и завтра, да и послезавтра тоже. Как жить?

И кому решать, как мы будем жить завтра и послезавтра? Как это ни странно, как это нам ни непривычно, но решать — нам. Всем нам — и

умным, и глупым, и битым, и не битым еще, способным предвидеть и дикарям. Ибо в нашей стране пока еще правит бал демократия — великая демократия, омерзительная демократия, любимая демократия, ненавистная демократия — та самая «отвратительная форма правления, лучше которой, однако, человечество пока ничего не придумало».

Фашизм — это было бы хуже всего, но это, к счастью, маловероятно. Возможно, да, но все-таки по всем прикидкам и расчетам — маловероятно, и это несколько утешает. Но, боже мой, сколько на политических горизонтах туч, немногим менее мрачных и опасных! Эти странные новые коммунисты, стесняющиеся самого слова «коммунизм» как дурной болезни… Державники-националисты, даже не пытающиеся хотя бы приличия ради откреститься от политики и практики Вождя Всех Народов… Все это сонмище поборников и приверженцев всемогущего, всезнающего, всевидящего Государства, в железных потрохах которого мы, обыватели-избиратели, — покорные винтики, гаечки, шурупчики. Чем они, по большому счету, лучше фашистов? Евреев обещают не вешать? Так ведь если Государство потребует, то и повесят, никуда не денутся — и евреев повесят, и русских, и всех, кого понадобится впредь… Державу обещают восстанавливать исключительно мирным путем? Да кто же им поверит? Любимец их, Иосиф Виссарионович, между прочим, в свое время Прибалтику присоединил исключительно мирным путем, по решению парламентов соответствующих стран и без никакой войны… Экономику обещают восстановить, но КАК? По-новому ведь они не хотят, а по-старому мы уже пробовали…

Не ближайшие выборы (парламентские), так следующие (президентские) способны определить путь России на десяток лет вперед и ту меру страданий, которые нам придется еще испытать в уплату за то, что восемь десятков лет назад отцы наши и деды свернули с торной дороги цивилизации и понеслись по кочкам. Не ближайшие выборы, так следующие могут оказаться последними демократическими выборами России на десяток лет вперед, а может быть, и на целое поколение вперед. Мы, избиратели 1995–1996 гг. должны очень ясно представить себе:

— если в России победят националисты-державники, фашисты, коммунисты, любые проповедники железного Порядка и железной Руки, они прекратят демократические свободы и слезут с нашей шеи уже только ценою нового суперкризиса, в который загонят Россию в годы своего правления;

— ибо наша экономика больна, больна чудовищной сверхмилитаризованностью, избалована государственной опекой, почти

полностью потеряла конкурентоспособность, ее надо лечить — осторожно, с большим знанием дела, профессионально, переводя на рельсы частного предпринимательства, на путь конкуренции и саморазвития, а они снова вернут все на круги своя, и пойдут наши заводы, как и прежде, ковать никому не нужное железо, танки, пушки, дредноуты — все больше, больше и больше на душу населения;

— никакая экономика этого не выдержит, она либо рухнет под собственной тяжестью, либо придется новым отцам нации развязывать войну, чтобы оправдать бессмыслицу государственного всевластия… А война — это поражение, неизбежное поражение, никакой тоталитарный монстр не выстоит против современного демократического мира, демократия снова докажет, что при всей своей омерзительности она все же наилучшая из известных сегодня форм правления. И вот тогда наступит кризис, по сравнению с которым сегодня у нас детские игры в казаки-разбойники…

Будем надеяться, что ничего, наверное, этого не произойдет.

Времена мировых войн миновали (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). И миновали времена, когда тоталитаристы могли прийти к власти благодаря демократии и посредством демократической процедуры. Не будет у нас резких движений, все обойдется, все будет спущено на тормозах. Промучаемся еще пару лет, а потом экономика начнет помаленьку очухиваться, и жизнь войдет в спокойную колею. Все будет путем.

Но почему же все-таки неспокойно на душе?

Беседу вела Т. Путренко

Борис Стругацкий
НАМ ВСЕГДА ХВАТАЛО СЛАВЫ[62]

Вчера после пятилетнего перерыва в Центре современной литературы и книги Санкт-Петербурга возобновил работу семинар фантастов, которому мы обязаны появлением почти всех крупных имен в этом жанре. С бессменным руководителем семинара писателем Борисом Стругацким беседует Ольга Хрусталева.

— В ваших романах всегда есть патриархальная система взаимоотношений между старшим и опекаемым младшим. Этот уклад был воспринят от отца, от семьи?

— Я отца не помню совсем. Знаю его по фотографиям: человек во

френче, бывший военный, бывший политкомиссар, впоследствии исключенный из партии, сотрудник Публичной библиотеки. Интеллигентный человек, очень начитанный. Два шкафа книг, что по тем временам было большой редкостью.

Патриархальности в наших книгах я, честно говоря, не замечал, но, наверное, это есть. Я тоже склонен к патриархальному укладу. Младший должен знать свое место, а старший — свои обязанности.

— Аркадий был старше вас на восемь лет…

— Был царь, бог, командир, полководец, орел, великий и могучий утес — Аркадий. И был маленький, преданный, готовый и согласный на все ради старшего, покорный, никогда не бунтующий младший брат Борис. Младший брат звал старшего «Аркашенька», старший брат звал младшего «Барбос». У Аркадия были прекрасные друзья. Часто они собирались в маленькой Аркашиной комнате, вели там таинственные разговоры. А младший в это время скребся тихонько одним пальцем в дверь и говорил тоненьким голоском: «Аркашенька, можно?» Иногда его туда допускали.

— Почему вы все-таки разошлись в профессиях?

— Наоборот, я следовал по стопам старшего брата. Аркадий мечтал стать астрономом и физиком. Но он был призван в 43-м году и отправлен в Актюбинское минометное училище. Он должен был летом выйти из этого училища и вместе с сотней других молодых парней отправиться на Курскую дугу. Там они все и полегли. Но буквально за неделю до отпуска приехала комиссия из Москвы, которая отбирала более или менее интеллигентных грамотных ребят для открывающегося института военных переводчиков. Всю сотню посадили, заставили писать диктант или изложение. Тех, кто написал лучше всех, — Аркадия и еще одного парня — отправили в Москву. Так он спасся от смерти, но определил свое будущее — закончил институт по специальности «переводчик с японского и английского». Потом был отправлен дивизионным переводчиком на Камчатку. Потом начал бомбардировать министра обороны просьбами об увольнении из армии. И в конце концов в 1955 году ему разрешили из армии уволиться. Тогда он вернулся. Правда, не в Ленинград, а в Москву к своей семье.

— А вы в это время воплощали его мечту?

— Да, поскольку жизнь у меня была гораздо более спокойная. Я закончил школу с серебряной медалью и стал поступать в соответствии со старинным желанием на физический факультет Ленинградского университета. Был благополучно завален на коллоквиуме по причинам, которые до сих пор для меня остаются загадкой. Но, к счастью, поступил в

университет на астрономическое отделение. Астрономия была моей второй любовью. Вот так наши пути разошлись.

— А как они сошлись обратно?

— Аркадий с детства пописывал. Еще до войны выпускал рукописный журнал, написал роман «Находка майора Ковалева», снабженный собственными иллюстрациями тушью. Блестящее было сочинение. К сожалению, пропало: я дал кому-то из своих дружков почитать, и они замотали.

Я сначала относился ко всему этому с естественным интересом. Но уже и сам пописывал по его примеру. Самое раннее мое произведение относится к восьмому классу. Нам было дано сочинение на вольную тему, и я решил написать фантастический рассказ со странным названием «Виско».

— Кому из вас пришла в голову идея писать вдвоем?

— Очень просто пришла. Мы часто разглагольствовали в присутствии родных и близких о том, как отвратительна наша фантастика, как все бездарно пишут. И в один прекрасный день жена Аркадия Лена сказала: «Ну что вы все болтаете? Если вы такие умелые, если вы знаете как, сядьте и напишите». И мы тогда сгоряча заключили пари о том, что напишем роман.

— Психологи считают, что детские модели поведения можно пронести через всю жизнь. Вам не мешало положение преданного младшего брата?

— Наша модель довольно быстро исчерпала себя. Еще в «Стране багровых туч» преимущество Аркадия было подавляющим. Он был гораздо опытнее, написал две части, я — одну. Эту третью часть он заставил меня писать в одиночку. Я сидел, барабанил на машинке, а он валялся рядом на диване, читал «Порт-Артур» и говорил, что он — в отпуске. Но уже году в 59-60-м возникло полное равенство и вопрос о приоритетах уже не поднимался. Мы были равнозначными и равновеликими элементами некоего процесса.

— Что такое художественная реальность или творчество, поделенное на двоих?

— Это две творческие реальности, соединенные в одну. Каждому из нас Бог дал хорошую фантазию. Бог дал дар слова. Литературный вкус, хотя, наверное, это уже не Бог. Мы с детства были квалифицированными читателями с четким пониманием, что в литературе хорошо и что плохо. Не из тех людей, которым все равно, что читать — Хемингуэя, кавалера Золотой Звезды Бабаевского или еще какую-нибудь бодягу. Так что вопрос был чисто технический: как это сделать, как реализовать?

Мы испробовали очень много методов работы вдвоем. Сначала нам

казалось, что самое правильное, когда один пишет свой вариант, другой — свой. Потом мы меняемся, исправляем, а потом уже пытаемся их соединить. Этот метод не хуже других, но он очень медленный. Рассказики часто писал кто-то один, посылал соавтору. Тот правил, возвращал обратно. Тоже медленный метод. И в какой-то момент, года через три-четыре после начала совместной работы мы случайно попробовали писать просто на голом месте. Есть только идея, план. Один сидит за машинкой, другой — с листом бумаги, чтобы заносить варианты. Произносится какая-то фраза, она записывается, обсуждается. Этот метод оказался самым эффективным. Он сберегает кучу времени, энергии и бумаги, между прочим.

— Мировоззрение братьев Стругацких довольно сильно менялось. Как получалось, что вы оба менялись одновременно? Вы жили в разных городах, разной жизнью и сходились только, когда писали очередную вещь.

— Мы жили в разных городах, но жили абсолютно одной и той же жизнью. Во всяком случае, очень похожей. Конечно, у нас были разные друзья. Аркадий работал редактором, я — астрономом. Но у нас была общая история, страна, общие события, съезды КПСС, полемики и литературные скандалы. Общие разговоры, споры, которыми занималась вообще вся интеллигенция этого времени. Все говорили об одном и том же: появляются «Люди. Годы. Жизнь», все говорят об Эренбурге, появляется «Один день Ивана Денисовича», все говорят о Солженицыне. Появляется письмо ЦК по поводу культа личности, все говорят о нем. А если учесть, что из двенадцати месяцев в году мы, наверное, три месяца проводили вместе, то ничего удивительного в едином мировоззрении нет.

— А как сходились ваши темпераменты во время работы? Говорят, Аркадий Стругацкий был этакий «гусар», а вы, напротив, всегда были очень сдержанны.

— Правильнее было бы сказать, что Аркадий был человеком эмоциональным, а я рациональным. Аркадий очень часто поддавался эмоциям, когда нужно и когда не нужно. А я почти никогда, держал себя в узде. Каждый из нас считал за благо свою норму поведения. И мы же непрерывно спорили. Работа вдвоем — постоянный спор.

— А что такое слава, поделенная на двоих?

— Я не знаю, что такое слава. Яркая заплата на ветхом рубище певца. Эту фразу мы очень часто друг другу повторяли, когда речь шла об очередной задержке гонорара. Хрен с ней, со славой, но яркую заплату вы нам все-таки дайте. Конечно, очень приятно прочитать про себя хорошую статью и неприятно — плохую. К тому же отрицательная рецензия на месяц, на два, на три останавливала какую-нибудь рукопись. Издательство

начинало принюхиватъся, бегать по начальству и выяснять, как понимать эту отрицательную рецензию. Нам всегда хватало славы, которая была. Мало славы — хорошо, побольше — тоже хорошо.

— Вы как-то сказали, что ваши лучшие вещи — «Улитка на склоне», «Пикник на обочине» — были написаны в тот момент, когда вы попали в тупик. Как вы оба попадали туда одновременно, как вы синхронизировались?

— Мы не могли порознь попадать в тупик. Если в тупик попадал один, то другой на себе тащил этот воз до тех пор, пока первый из тупика не выходил. Трудность была тогда, когда попадали оба. Первый тупик у нас, который нас страшно напугал, случился, когда мы писали «Попытку к бегству» в 1962 году. Был разработанный план, готовый сюжет, готовые герои. Мы собрались, сели, написали один посторонний рассказик, потом весело принялись за повесть, над которой думали уже год. Все на мази, садись и пиши! Мы написали десять-двадцать страниц и вдруг поняли, что нам писать неинтересно. Ну неинтересно нам писать о том, что мы придумали. Это был очень тяжелый, страшный момент, который длился, наверное, часов десять. Пока одному из нас — уж не помню кому — не пришла в голову гениальная идея сделать одного из героев пришельцем из прошлого. И сразу вся вещь заиграла.

А второй тупик действительно был с «Улиткой». Тоже была готовая, хорошо разработанная повесть. Мы приехали в Гагры, впервые в жизни в Дом творчества писателей. Ну, сейчас сядем и напишем замечательный роман. А роман не идет. Три дня промучились. И в результате написали совсем другой роман. Вообще опыт показывает, что литературные кризисы очень неприятны, мучительны и похожи на тяжелую, неаппетитную болезнь. Но когда этот кризис лопается, как нарыв, получаются хорошие вещи.

— Как складывались ваши отношения с кинематографом? Вы работали и с Тарковским, и с Сокуровым…

— Скорее плохо. Если оценивать эти контакты за много лет, они тянут на тройку с минусом… Я тут как раз перечитывал старые письма Аркадия, где он криком кричит: «Клянусь! Никогда! Больше! Не иметь дела с кино!»

Нам приходилось иметь дело с кино прежде всего потому, что в кино хорошо платили. Это было немаловажно, если учесть, что с 1970 по 1980 год у нас не вышло ни одной новой книжки.

— На что же вы жили в это десятилетие?

— Были два журнала, которые нас поддерживали несмотря ни на что. В Москве — «Знание — сила», в Ленинграде — «Аврора». Они нас

спасали от голодной смерти и полной безвестности. Я загнал свою коллекцию марок и на эти деньги жил несколько лет. Аркадий был вынужден снова поступить на редакторскую работу. Да, главным источником дохода были, конечно, зарубежные издания. Мы получали сертификаты — такая замена денег. Если мы получали гонорар в тысячу долларов, то нам выдавалось шестьсот рублей сертификатов — по цене шестьдесят копеек за доллар. Но это были серьезные, настоящие деньги. На них, конечно, нельзя было покупать продукты, потому что покупать картошку за доллары казалось диким, но так мы покупали всю одежду. Благодаря наличию сертификатов я время от времени менял старый автомобиль на новый. «Заграница нам поможет», — говорили мы друг другу, и так оно и было.

Ну и, конечно, кино давало деньги. Было много попыток, много сценариев, которые писались, за них был получен аванс, но на этом дело кончалось.

Было две удачи, два действительно сильных фильма: «Сталкер» Тарковского и «Дни затмения» Сокурова. Мощные картины, каждая из которых, наверное, является кинематографическим уроком. Но они весьма далеки от того, что делали Стругацкие. Это картины не по Стругацким, а по отдаленным мотивам произведений. Хотя наше участие в работе было самым непосредственным. Для Тарковского мы написали девять вариантов сценария, заранее договорившись, что будем терпеливо делать то, что попросит мастер. И мы писали вариант за вариантом, пока не получился последний. С Сокуровым — примерно то же самое. Там было написано два или три варианта, но в конечном итоге мы так и не нашли дороги к его сердцу. Он использовал вариант своего постоянного сценариста Юрия Арабова.

— В съемках вы принимали непосредственное участие?

— Только на уровне сценария. Правда, Аркадий ездил на съемки «Сталкера», а меня пытались затащить на съемки фильма «Отель „У погибшего альпиниста“», но я-то лично всегда считал, что это бессмысленно.

— Вашей страстью были почтовые марки?

— Почему были? И есть. Я страстный филателист и начал этим серьезно заниматься с 1948 года. Хотя собрать нормальную коллекцию человеку со средним достатком совершенно невозможно. Потом коллекцию я, как уже говорил, загнал. Несколько лет не собирал марок вообще. Но рассказывать про марки бессмысленно — все равно что описывать вкус вина.

— У Аркадия Натановича тоже была своя страсть?

— Не знаю, страсть ли, но его любимым занятием было собрать друзей, уставить стол спиртным, сидеть, выпивать, рассказывать анекдоты, случаи из жизни, выдумывать, спорить. Потом он, правда, стал более нелюдимым. Его страстью можно назвать чтение. Он читал непрерывно, не мог без книжки прожить трех часов.

— Братья Стругацкие — это ведь было нечто другое, чем собственно вы и собственно Аркадий.

— Конечно, как соединение кислорода и водорода дает нечто третье — то, что называется водой.

— Как вы теперь чувствуете себя без соавтора?

— Представьте себе, что вы с напарником пилите гигантское бревно, много лет пилите. Потом напарник уходит. Бревно осталось, пила осталась. Двуручная. Вы когда-нибудь пробовали пилить дрова в одиночку двуручной пилой?

Борис Стругацкий
«СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО: МИР, В КОТОРОМ КАЖДОМУ — СВОЕ»[63]

Астрофизик Шкловский сначала убежденно и убедительно доказывал: «Мы, человечество, не одиноки во Вселенной. Существует множество обитаемых миров, где разум имеет место быть».

Спустя годы и годы астрофизик Шкловский убежденно и убедительно доказывал: «Мы, человечество, практически одиноки во Вселенной. Не существует множества обитаемых миров, где разум имеет место быть».

Как же так, задали ему вопрос с подходцем, вы — членкор АН СССР, подлинный ученый… и вдруг позволяете себе переменить точку зрения на противоположную?! «Подлинный ученый, — наставительно заявил подлинный ученый, — всегда должен уметь изменить свою точку зрения на противоположную».

Речь, понятно, не о конформизме. Речь о переосмыслении — под влиянием поступающей информации, количество которой переходит в новое качество.

А рассказал эту почти притчу об астрофизике Иосифе Самуиловиче Шкловском другой астроном — Борис Натанович Стругацкий. Помнится, лет пятнадцать назад в ленинградском Доме писателя, на семинаре фантастов, помимо прочего дискутировался тот самый животрепещущий

вопрос: одиноки? Не одиноки?

Ну да бог с ним, с ним, с инопланетным разумом (не существует)! Со своим бы разобраться — с человечьим, с отечественным…

Вот Аркадий и Борис Стругацкие! От солнечного коммунарского «Полдня, XXII век» к социально разъяренной «Сказке о Тройке» и далее к безысходным (так! по ощущению) «Отягощенным злом». М-метаморфозы, м-мда…

Как и почему происходил мировоззренческий перелом у Братьев? Вопрос, казалось бы, риторический.

Борис Натанович Стругацкий не счел его таковым.

— Мировоззренческих переломов было несколько…

Буду говорить только про себя. Итак, 1949 год. С трудом, последний в классе вступаю в комсомол — не брали меня: неколлективный антиобщественник! Из пионеров исключили: не желал оформлять местную газету (сам-то я отказывался, совершенно честно полагая, что рисовать не умею, но пионервожатая считала, что это не важно — важно выполнять общественное поручение).

Споры с друзьями-студентами. Компания ребят — очень умненьких, очень начитанных, очень интеллигентных… Полные идиоты! (Поскольку речь идет о политике.) «Если вдруг заболеет товарищ Сталин, — говорили мы друг другу, покачиваясь со стаканом хереса в руке, — что важнее? Здоровье товарища Сталина или моя жизнь?» И это — на полном серьезе! Если бы кому-нибудь пришла в голову мысль шутить на такую тему, могли бы просто побить. Один только среди нас был умный человек — потому, наверное, что его родители были неизвестно где. Он-то все понимал и не уставал повторять: «Ну что ты вопишь, как больной слон? Тише! Что вы орете на весь Ломанский! Тиш-ш-ше!..» (Я был уверен: он просто боится, чтобы мы своим ором не беспокоили сварливых соседей за стеной.) Впрочем, когда в 1953-м умер вождь, я не плакал. Был потрясен, ошарашен, испуган. Видимо, уже повзрослел. А спустя три месяца откровенно хихикал по поводу «английского шпиона» Берия. («Растет в Сухуми алыча не для Лаврентий Палыча, а для Климент Ефремыча и Вячеслав Михалыча!..». Многие ли двадцатилетние сегодня способны понять, о ком идет речь в этой песенке?) Потом — 1955 год. Два года, как умер вождь. Ощущение от Сталина как от бога уже исчезло, но ощущение от коммунистической идеологии как от религии никуда не делось — она пропитала все поры души и существовала теперь в качестве как бы второй реальности.

Сохранилась замечательная запись в дневнике от 28.10.1961 (идет

XXII съезд КПСС): «Дождались светлого праздничка! Хрущев сказал, что не имеет права марксист-ленинец восхвалять и выдвигать одну личность. Неужели же появился, наконец, честный человек! И не начало ли это нового утонченнейшего культа?..»

Однако время идет. Появляется (на моем горизонте) первый самиздат. Новые друзья появляются, на порядок опытнее меня в политической жизни, в истории, в том числе — нюхнувшие лагерей и уже побывавшие в Большом Доме, причем в самые новейшие времена…

Очередной перелом — 1963 год. Историческая встреча Хрущева и прочих искусствоведов в штатском с художниками в Московском Манеже и последующие несколько совещаний по идеологии. И четкая формулировка, которая впервые возникает в наших насквозь коммунистических мозгах: «Коммунизм — это прекрасно. Это будущее мира! Но сегодня нами управляют жлобы и враги культуры, и как эта ситуация может перемениться — совершенно неизвестно».

И — конец всех иллюзий: 1968 год, вторжение в Чехословакию. Когда стало окончательно, до ледяного холода в душе, ясно: моя страна — просто полуфашистское тоталитарное государство, у которого ничего общего с коммунизмом как с истинной идеологией нет и быть не может. Член КПСС имеет к коммунизму не большее отношение, чем очковая змея — к интеллигенции. Коммунизм — это красивое, изящное, умозрительное… почти писательское изобретение!

— У России, известно, свой особый путь. Правда, никто не может сказать куда… По слухам, когда у Хрущева спрашивали, сохранится ли при коммунизме номенклатура, он отвечал: «Конечно же! Как же без нее?..» Но в принципе мир «Полдня…», «Стажеров», «Далекой Радуги» возможен? (Просто очень хочется.) Где-нибудь, когда-нибудь, у кого-нибудь, на другой планете?..

— Думаю, нет. Для Михаила Суслова, главного идеолога КПСС, коммунизм был обществом, все члены которого с энтузиазмом и радостно готовы были исполнить любое распоряжение партии и правительства. Коммунизм для меня — это общество, населенное людьми, для которых любимым и главным занятием является творческий труд. Уровень жизни при этом может быть повыше или пониже — несущественно. Человек ест, чтобы работать, а не работает, чтобы есть.

Это вот состояние человеческого общества, описанное уже в ранних «коммунарских» повестях братьев Стругацких, похоже, невозможно — просто потому, что вид гомо сапиенс не приспособлен для такого существования. Дай бог, чтобы десять, максимум двадцать процентов

половозрелого человечества способны оказались заинтересоваться хотя бы в большей или меньшей степени своим трудом. Над остальными же вечным заклятьем висит библейское: «В поте лица своего будешь есть хлеб свой», со всеми вытекающими из этого угрюмого лозунга последствиями — категорическое нежелание работать плюс неудержимое стремление к халяве. Светлая мечта — сидеть на одном стуле, положив ноги на соседний, с бутылочкой пивка в расслабленной руке, а для разнообразия поигрывать на компьютере в Doom, но можно и не поигрывать.

Избавившись от иллюзий, братья Стругацкие пришли к другой идее — так называемого Справедливого общества. В середине 60-х мы написали роман «Хищные вещи века», в котором, как нам тогда казалось, заклеймили бездуховное общество потребителей-мещан. И только спустя добрый десяток лет мы вдруг поняли: у нас получился мир скорее хороший, чем дурной. Мир, в котором каждому — свое. Каждому по его воспитанию, по его понятиям чести и совести, по его представлениям о свободе личности. Единственное ограничение: «Твоя свобода кончается там, где начинается свобода соседа».

— В «Хищных вещах века», в Справедливом обществе некие интели сбрасывают на отдыхающую публику слезоточивые бомбы и вообще всячески агрессируют, лишь бы «расшевелить это болото». И насколько авторы по менталитету совпадают с интелями?

— Авторы со своим менталитетом тут абсолютно ни при чем. Их задача — ясно представить, чем может заниматься совестливый человек в таком мире. Авторы не ставят оценок и не говорят, что это плохо или что это хорошо. Авторы говорят, что это скорее всего так будет (должно быть) в этом мире.

— И симпатизируют интелям…

— Это ни из чего не следует. Вы никогда этого не докажете.

— М-мда? Как вы, Борис Натанович, относитесь, скажем, к интелю Новодворской?

— Честно говоря, мне она просто нравится. Это достойный, я бы даже сказал — благородный человек.

— Почему тогда не Жириновский? Да, он не интель, он хам. Но — два сапога пара. Пусть по разные стороны баррикад, но… В одинаковой мере провокаторы, сходный темперамент, словарный запас (уничтожить, осиновый кол, сволочи…). У Довлатова в записных книжках: «После коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов». Чем новодворская редька слаще жириновского хрена?

— Господин Жириновский мне абсолютно и категорически неприятен.

Госпожа Новодворская мне, безусловно, симпатична, но — до тех пор, пока она не у власти.

— Полагаете, даже не придя к власти, но вдруг очутившись в Справедливом обществе, подобный организм будет свято блюсти принцип «твоя свобода не должна мешать свободе соседа»? Или, по примеру интелей, станет «шевелить это болото» бомбами со слезогонкой?

— Я вам отвечу так: к сожалению. Справедливое общество нам тоже пока недоступно. И будет недоступно до тех пор, пока мы не научимся еще в детстве искоренять в человеке склонность к лени и в особенности агрессивность. Причем, заметьте, не путем «бетризации», придуманной паном Станиславом Лемом в «Возвращении со звезд»! Агрессивность — замечательная штука, если направлена на доброе дело — на научный поиск, например, или на изничтожение неизбежных последствий экологических катастроф.

Личность надо научиться ЛЕПИТЬ — посредством Великой Теории Воспитания, которая должна уметь находить талант в подростке и взращивать этот талант наиболее эффективным и естественным образом. Не штамповать биороботов с заданными функциями, а всячески способствовать тому, чтобы человек нашел себя, свое главное умение. И прежде всего надо будет научиться находить талант Учителя, самый важный из талантов. Ибо по-настоящему широко Великая Теория Воспитания начнет развиваться только с появлением мощного социального слоя Учителей.

Всякий ли труд найдет своих поклонников? Иначе говоря, как быть с традиционно малоаппетитными профессиями? Два обстоятельства внушают мне определенный оптимизм. Во-первых, человеческие пристрастия и склонности воистину безграничны. А во-вторых, человек всегда делает хорошо ту работу, которая у него «идет». И чем лучше у него получается, тем с большим удовольствием и самоотдачей он трудится.

(Лукавое примечание: курсив о Великой Теории Воспитания из беседы с Б. С. — черт побери! фантастика она и есть фантастика! — опубликованной в 1987 году в «Блокноте агитатора», органе пропаганды и агитации Ленинградского обкома КПСС. Не доглядели-с…) А когда человек реализует свой талант, ему просто незачем будет «агрессировать», покушаясь на свободу соседа. У него своей собственной свободы будет под завязку — он будет делом занят, СВОИМ, любимым, которое у него прекрасно получается, которое обещает и дает больше, чем деньги, власть, иллюзорное бытие наркомана и прочая дребедень нищих духом.

Пока же Великая Теория Воспитания не создана и не реализована —

никакого Справедливого общества… Все будет продолжаться тысячу лет после в точности так же, как было до…

Записал Андрей Измайлов

Борис Стругацкий
ЕЩЕ РАЗ О XXI ВЕКЕ[64]
(Выступление на IV конгрессе фантастов России «Странник»)

Общественное мнение навязало писателям-фантастам образ этаких пророков, якобы знающих будущее. С одной стороны, это меня всегда раздражало, ибо такой подход сужает реальные возможности фантастики, искажает ее суть и вдобавок как бы обязывает ее заниматься тем, на что она вовсе не способна. Но, с другой стороны, такое мнение о фантастах не лишено известных оснований, потому что вряд ли в мире есть еще люди, которые с таким удовольствием, так систематически и, главное, почти профессионально размышляют о будущем.

Я, разумеется, не знаю, какое — конкретно — будущее нас ожидает в XXI веке. По-моему, этого нельзя знать вообще. Опыт великих предшественников свидетельствует, что все попытки как-то детализировать облик грядущего выглядят aposteriori смехотворными, если не жалкими. Но в то же время возможны и действительно случаются поистине гениальные прорицания (трудно назвать их иначе), когда речь идет не о конкретных деталях, не о мелочах быта, не о фантастических технологиях, а о самом духе времени.

Когда Жюль Верн сконструировал свой «Наутилус», это воистину был подвиг блистательного воображения. Мы, люди XX века, знаем, что, по сути, он, сам того не подозревая, сконструировал атомный подводный крейсер. Но когда мы доходим до описания роскошных салонов с пятиметровыми потолками, античных ваз и мраморных статуй, ковров и картин, развешенных по стенам в утробе этой атомной подлодки, мы начинаем непроизвольно хихикать или даже раздражаться. И точно так же мы хихикаем, читая описания «страшных и ужасных» летающих крепостей Уэллса, этих дурацких полудирижаблей, вооруженных пулеметом (единственным пулеметом!), забывая в раздражении, что гениальный писатель угадал главное: страшную и почти решающую роль авиации в грядущих войнах.

Детали — насущный хлеб литературы и смертельный капкан для

любого прорицания. Любому ПРЕДВЫЧИСЛЕННОМУ, рассчитанному, детализированному будущему — грош цена. Но ведь есть еще будущее ПРЕДУГАДАННОЕ, схваченное интуитивно. Вот это уже — серьезно. Это — настоящее прорицание. Я, например, не знаю прорицания более убедительного и трагического, чем гениально уловленная тем же Уэллсом идея XX века, как времени, когда новое человечество попытаются создать, пропустив его через горнило страданий. Какая неожиданная, страшная и точная догадка! Беда только в том, что вычисленное будущее выглядит (в глазах современников) всегда основательнее, чем интуитивное. Может быть, нас сбивают с толку те самые детали, которые смотрятся сегодня так убедительно и достоверно (и над которыми полвека спустя будут хихикать наши потомки).

Где-то я прочитал любопытные соображения по поводу прогнозирования погоды. Оказывается, простейшее предсказание: «завтра будет такая же погода, как сегодня», — дает правильный результат в двух третях случаев. А так называемый «точный», «научно обоснованный», тщательно просчитанный прогноз оказывается правильным в семидесяти семи (кажется) процентах случаев. Это впечатляет: гигантская всемирная сеть метеостанций, мощнейшие ЭВМ, миллиарды и миллиарды долларов — и все это для того, чтобы увеличить достоверность прогноза на семь-восемь процентов! По-моему, нечто подобное имеет место и в социальной прогностике. Можно привлечь к вычислению будущего миллиарды долларов и все ресурсы Рэнд Корпорейшн, а можно просто тихонько предположить: в следующем веке будет то же, что и в предыдущем — те же люди, те же проблемы, те же взлеты и падения, те же рекорды высокой морали и жестокой безнравственности, — только технологический фон, конечно, изменится и амплитуды возрастут.

На самом деле мы не способны как следует разглядеть будущее прежде всего потому, что очень посредственно знаем свое прошлое и ни черта, по сути, не знаем о настоящем. Все знание наше о прошлом базируется на двух-трех десятках прочитанных книжек. А настоящее мы наблюдаем, главным образом, через дырку телеэкрана да еще, пожалуй, в трамвае в час пик. А между тем грядущий век наверняка будет очень похож на век минувший. Потому что так было, и так будет.

Имейте наблюдение. Вот основные уроки XX века:

— покушение на мировое господство есть преступление и самоубийство;

— война не является больше разумным продолжением политики другими средствами, гораздо выгоднее воевать торговыми тарифами, чем

бомбами;

— национализм и не думает умирать, он, оказывается, даже более живуч, чем религия…

Вопрос на засыпку: хоть один из этих уроков будет принят во внимание XXI веком? Хоть один?! Ответ очевиден. Основная теорема Клио работает безотказно: «единственный непреложный урок истории состоит в том, что она никогда, никого и ничему не учит».

А значит опять: будут войны, жестокие и бессмысленные, как и всякое государством организованное смертоубийство; будут пароксизмы отвратительнейшего национализма и совершенно иррациональной религиозной нетерпимости; будут, я думаю, даже попытки покорить мир en grand, особенно смертоносные и нелепые в эпоху ядерного оружия.

И, разумеется, никуда не денутся глобальные угрозы, возникшие в XX веке.

— Угроза тотальной ядерной войны, — в которую я, откровенно говоря, не верю, ибо угроза эта уже овладела умами всех политиков земного шара, и это обнадеживает.

— Угроза тотальной экологической катастрофы, — маловероятная по тем же, приблизительно, причинам.

— Угроза всемирной катастрофы эсхатологического плана: падение гигантского метеорита, возникновение пандемии супер-СПИДа, нашествие из Космоса и пр. — все это настолько маловероятно, что годится лишь для фантастического романа.

Наши потомки получат все это в наследство от нас и будут жить с этим дальше так же, как жили мы. Но вот проблема энергетического голода, который может поразить нашу цивилизацию уже к середине века, если мы не задействуем наконец термояд, это — ново и очень серьезно. Гибелью это нам не грозит, но «прервать связь времен» может вполне — отбросить постиндустриальное общество на два-три века назад со всеми сопутствующими прелестями: отказ от демократии, растоптанная Декларация прав человека, возврат к тоталитаризму, причем в самых крайних его формах.

В остальном же, если отвлечься от названных экстремальностей, благополучно сохранится старый добрый принцип: «так было, так будет». И нет, увы, никаких оснований думать, что будет лучше.

Правда, это вовсе не означает, что будет ПЛОХО. Во всяком случае, плохо будет не всем и не всегда. Многим и зачастую будет даже хорошо — во всяком случае, дьявольски интересно. Ведь господин научно-технический прогресс останется таким же существеннейшим фактором

бытия, как и в XX, и XIX веке.

Будут космические перелеты, человек высадится на Марсе и, скорее всего, начнет основательно осваивать Луну.

Геномика совершит революцию в медицине, в геронтологии, и, разумеется, в животноводстве.

Будет создан искусственный интеллект — во всяком случае, нечто, от такового неотличимое.

Может быть, будет обнаружена внеземная жизнь, а может быть, даже будет разрешен основной парадокс ксенологии.

Может быть, будут сделаны первые шаги в области Высокой Теории Воспитания и появятся первые Учителя с большой буквы, умеющие выращивать из человеческого детеныша Человека Воспитанного.

И уж наверняка будут написаны блистательные романы, о которых мы сегодня совершенно ничего не можем сказать — мы даже не в состоянии их себе представить…

Жить будет упоительно интересно и замечательно, как упоительно и прекрасно было, между прочим, жить и в XX веке — каждому, кто мало-мальски сыт, здоров и, разумеется, вообще уцелел. И им, уцелевшим, здоровым и особенно молодым гражданам XXI века, я от души завидую.

…Ничего не сказал о гранулах натуральных ягод. Ладно. Сапиенти сат.

Борис Стругацкий
ТРУДНО ЛИ БЫТЬ БОГОМ?[65]

«Улитка на склоне», «Жук в муравейнике», «Град обреченный» — уже несколько поколений советских людей выросло и сформировалось под влиянием этих и других книг «Братьев Стругацких». Книг, которые содержат больше вопросов, чем ответов, но о многом заставляют задуматься. И у читателей, в свою очередь, возникают вопросы к авторам. К сожалению, сегодня мы можем адресовать свои вопросы уже только одному из них.

— Уважаемый Борис Натанович, вы чувствуете себя за нас в ответе? Ведь именно ваши книги в свое время придавали идеям коммунизма реальность и привлекательность, в гораздо большей степени, чем очередное постановление ЦК КПСС. То есть на каком-то этапе они играли роль «опиума для народа». (И какой же сладкий это был опиум!)

— Мы в ответе за тех, кого приручили. Это верно. Но ведь, с другой стороны, человек сам творец своей судьбы, не так ли? И в этом смысле мы

уже как бы и не в ответе… Я перестал рефлексировать на эти темы, когда прочитал в какой-то газете интервью с мальчишкой-наемником (воевавшим в Приднестровье, Абхазии и Югославии). У него любимые книги были: «Обитаемый остров» и «Трудно быть богом». В этот момент я окончательно осознал (хотя понимал это, разумеется, и раньше), что воистину не дано нам знать, как наше слово отзовется… да и вообще, совсем не слово (и даже — не Слово) определяет судьбы человеков.

— Насколько Мир Полудня соответствует вашим представлениям о будущем? Или это только рабочая среда для иллюстрации тех или иных идей? Вместе с Аркадием Натановичем вы создали целый мир, который уже много лет притягивает внимание читателей и писателей. У вас не возникает иногда ощущения, что придуманный вами мир заслоняет для вас реальность?

— Мы неоднократно писали и говорили, что созданный нами Мир Полудня ни в коей мере не претендует на высокое звание Реального мира. Это всего лишь Мир-в-котором-нам-хотелось-бы-жить. Мир-мечта, если угодно (хотя сами мы терпеть не могли так его называть: слишком уж опошлено было само понятие «мечта» по отношению к будущему, да и к настоящему тоже). Разумеется, как антураж, декорация, «рабочая среда для иллюстрации идей» этот мир тоже нами использовался, — особенно в более поздних романах, когда мир был уже полностью придуман, сцена готова, и на ней удобно было разыгрывать любые интересующие нас события, не отвлекаясь на пояснения и дефиниции. И, уж конечно, никогда этот мир не заслонял от нас реальности. Не та вокруг процветала реальность, которая дала бы себя заслонить какому угодно выдуманному миру!

— Вы как-то сказали, что религия — это прибежище слабых и что у нас она уходит в прошлое. А по-моему, в наше время называть себя атеистом или — как вы говорите — агностиком стало почти стыдно.

— Россия перестала быть религиозной страной. Это представляется мне очевидным фактом. Сможет ли она снова стать религиозной? Не знаю. Во всяком случае, для этого потребуются многолетние и многотрудные усилия тысяч и миллионов людей. И чем легче будет нам жить в нашей стране, тем труднее будет восстанавливать религиозный потенциал. И — наоборот. Как и всякий нормальный человек, я ничего не имею против религии и религиозности, но предпочел бы все-таки «жизнь без боли», чтобы не было необходимости в социальном опиуме и пантопоне.

— Но религиозный антураж пронизывает сегодня всю общественную жизнь. Соблюдать обряды стало модно, иконки вешают в такси и в детских

кроватках, освящают строительство стадионов и открытие бань.

— Разумеется, я все это знаю. Это и есть отчаянная попытка начальства восстановить религиозность в стране, где ее так старательно выпалывали семьдесят с лишним лет. Удастся ли это сделать, вот вопрос. Мой ответ: для этого понадобится несколько поколений и систематические усилия миллионов. Желательно также сохранить низкий уровень жизни — тогда процесс пойдет быстрее.

— Как вы относитесь к обилию чудес, окруживших нас в последнее время? (Экстрасенсы, единое информационное поле и пр.)

— Это никакие не чудеса. Это — имитаторы чудес для нищих духом. Настоящие чудеса доступны только специалистам: расшифровка гена, теорема Гёделя о неполноте арифметики, создание микрочипов… Чудо, понятное всем, это не чудо, это — всегда — либо ловкость рук, либо ошибка эксперимента.

— Ваш критерий истинности чуда выглядит довольно странно: ведь, например, любой космический полет — это чудо, понятное всем. Да и микрочипы тоже — «понятны всем».

— Космический полет, на самом деле, это чудо, понятное только профессионалам. Прочие же обыватели просто привыкли к нему (как к электричеству) и чудом его давным-давно не считают. Чудо (в обычном значении этого слова) есть явление, необычайность которого очевидна и доступна всем, а научное объяснение отсутствует. Космический полет мог быть отнесен к категории чуда, если бы произошел в середине XIX века, например. Метеориты (камни с неба) считались чудом в XVIII (если не ошибаюсь) веке, когда Парижская Академия наук объявила их несуществующими. Всякое загадочное явление перестает быть чудом (в народном смысле) в тот самый момент, когда получает свое научное объяснение (превращение свинца в золото) или теряет свою загадочность и становится частью привычной жизни (такова была бы неизбежная судьба Лох-Несского чудовища, если оно действительно было бы обнаружено). Микрочипы «понятны всем», потому что они понятны профессионалам. А если какое-то явление НЕпонятно профессионалам, то оно имеет хорошие шансы получить высокое звание чуда — вся знахарская медицина стоит на этом факте.

— Недавно вы говорили, что на выборах будете голосовать за Явлинского. Вы считаете, что у Явлинского есть те специфические качества, которые необходимы для руководства такой огромной страной со всеми ее проблемами?

— В современной России президентом (реально) может стать только:

либо бывший партдеятель, либо «крепкий хозяйственник», либо «силовик». Четвертого — не дано. Поэтому шансов у Явлинского (Кириенко, Немцова, Чубайса) нет никаких. Такие шансы (может быть) появятся лет через тридцать, после смены поколения, вряд ли раньше. И дело здесь не в том, что названные политики не обладают какими-то там «специфическими качествами, которые необходимы для руководства огромной страной». Дело в том, что они не обладают специфическим имиджем. Что же касается «специфических качеств», то я лично совершенно уверен, что Чубайс, например, обладает ими не в меньшей, а в большей степени, нежели Лужков, Примаков, Черномырдин и даже Путин.

— То есть, говоря о Явлинском, вы выражаете ему свою симпатию, но сделали бы вы его призидентом России, если бы это было в вашей власти?

— Уж если фантазировать, то я предпочел бы Чубайса. Убеждения Явлинского мне близки чрезвычайно, но у меня нет уверенности, что он умеет держать удар. А президентство в России — это что-то вроде четырехлетнего поединка с Майком Тайсоном, когда в тебя не только непрерывно лупят как в бубен, но в любой момент могут и ухо откусить.

— Я читала рассуждения одного американца о том, что «у русских чрезвычайно выразительные глаза», потому что наших младенцев крепко пеленают, в результате чего глаза долго служат им единственным средством познания мира. Не произошло ли нечто подобное с советской литературой, ушедшей под давлением цензуры в жанр притч и иносказаний?

— Я не совсем понимаю вашу аналогию, но вместе с вами готов признать, что под давлением идеологии вообще и цензуры в частности с советской литературой происходили весьма специфические метаморфозы, которые привели к созданию литературы особенной и замечательной в своем роде. Она была многослойной и многозначной и породила совершенно специфического читателя, — точно знающего, что именно хотел сказать автор и почему (именно) он этого не сказал напрямую. Впрочем, к сожалению (или к счастью?) есть в литературе вещи, которые, видимо, не поддаются превращению в «кочан капусты», и «1984», как и «451 градус по Фаренгейту», оказались написаны «там», хотя должны были бы быть написаны «здесь».

— Готовясь к интервью с вами, я прочла множество ваших ответов на разные вопросы и в большинстве случаев почувствовала себя вашей единомышленницей. Но ваше стремление передать воспитание детей из рук родителей в руки специалистов мне глубоко чуждо. И аргумент, что все остальные важные дела мы поручаем профессионалам, меня совершенно не убеждает. Тогда, может быть, и любовью надо заниматься с

профессионалами?

— Смотря какая цель при этом преследуется. Могу себе представить и такую ситуацию, когда профессионализм окажется предпочтительнее и в этом деликатном деле. Ваша позиция (по поводу воспитания детей, я имею в виду) мне знакома и в какой-то мере понятна, но, к сожалению, 75 % (и это в лучшем случае!) родителей не умеют или не хотят (или и то и другое вместе) воспитывать своих детей. В результате происходит угрюмое самоповторение поколений: род людской (качественно) не меняется веками. Со всеми «радостями», присущими этому обстоятельству, — войны, преступность, алкоголизм, наркомания, психопатии. Изменить эту ситуацию можно, только «прервав цепь времен», то есть изменив массового человека. А изменить массового человека можно, только создав Теорию Воспитания, реализуемую профессионалами.

— Мне кажется, что идеальный детдом еще менее достижим, чем идеальный родитель. И потом — пусть многие родители не хотят и не умеют воспитывать. Но большинство из них любит своих детей. Может быть для формирования нормального человека это важнее?

— Я ведь ни на чем, собственно, не настаиваю. Может быть, вы и правы. (Хотя, разумеется, я совершенно уверен, что вы не правы.) Но, как минимум, я знаю только, что до тех пор, пока воспитанием детей будут заниматься любители (в лучшем случае) или монстры (в худшем), мы будем получать в каждом новом поколении детей более или менее точную реплику поколения родителей. В конце концов, ничего ужасного в этом нет: жили как отцы-деды и еще тысячу лет так же проживем, но уж тогда — не извольте разглагольствовать о нравственном прогрессе, о победе лучшего над хорошим, о светлом будущем и прочих прекрасных, но совершенно фантастических вещах. Либо мы научимся воспитывать наших детей более нравственными, чем мы, — путь, который мне понятен и кажется вполне естественным. Либо мы научимся вторгаться в геном и совершенствовать следующее поколение с помощью генной инженерии — путь, который кажется мне отвратительным и опасным, ибо он означает конец человека как вида. Либо мы ничего делать не будем, и тогда ничего не будет происходить до тех пор, пока человечество не столкнется с чем-то непредвиденным и катастрофически опасным — тогда эволюция сделает с нами и за нас то, чего мы делать не захотели. А как сказал Фридрих Хайек: «Эволюция никогда не бывает справедливой».

— Казалось бы, опыт предыдущих попыток «оптом» менять людей перевел такие надежды из разряда утопий в антиутопии… Да и где мы возьмем столько профессионалов? — М. Б.-З.

— А можно ли «всерьез» говорить о будущем вообще? Разговор об изменении массового человека — это разговор о будущем, причем, разумеется и обязательно, о весьма отдаленном будущем. Настолько отдаленном, что мы о нем знаем фактически только одно: оно будет нам абсолютно чуждо — не прекрасно, не ужасно, но абсолютно, невообразимо чуждо, еще более недоступно и непостижимо, чем наш сегодняшний «европейский» мир с точки зрения племени, затерянного в джунглях Амазонки. Какая там, у отдаленных будетлян, возникнет система воспитания, бог весть. Ясно только, что она будет совсем непохожа на нашу. И возникнет она, эта новая система воспитания, только тогда, когда нас основательно припечет — окончательно невмоготу станет тащить из предыдущего века в последующий весь этот сонм пороков, дурных привычек, неуправляемой агрессивности, лености тела, лености духа. Вот когда все это начнет человечеству мешать ПО-НАСТОЯЩЕМУ, тогда и теория воспитания появится, и практика, и необходимое количество профессионалов. (Мог ли кто-нибудь в пушкинской России представить себе нынешнюю многомиллионную армию обыкновенных школьных учителей? «Да помилуйте, сударь мой! Откуда вы возьмете столько les ouchitel, чтобы обучить грамоте эти несметные толпы мужиков?») Другое дело, что, может быть, землянам вовсе и не понадобится никогда Человек Воспитанный как массовое явление.

— Прошу прощения за вопрос-провокацию, но (по мотивам ваших предыдущих ответов), будь у вас волшебная палочка, какие бы меры по «улучшению» человечества вы приняли незамедлительно, а что бы задали ему — человечеству — в качестве «домашнего задания» для самостоятельной проработки? — М. Б.-З.

— Волшебной палочкой ничего путного сделать нельзя. Волшебной палочкой можно только отобрать у человечества его реальную историю и заменить ее другой, такой, которая ВАМ нравится. Я не уверен, что кто-либо (даже сами боги) имеют нравственное право на такие эксперименты.

— Каким видится вам будущее человечества в результате стирания границ и совершенствования средств коммуникации: максимально выраженная индивидуальность или коллективный разум?

— Я лично предпочел бы первый вариант, но чем черт не шутит?.. Впрочем, природа человека не терпит крайностей. В реальности нас безусловно ожидает некий компромисс.

— Роботы, бактериологическое оружие, клонирование, эксперименты с иммунитетом — не вырвется ли одна из таких ветвей из-под контроля и нужно ли этого боятся?

— Биологическое оружие — да, очень страшно. Эксперименты с иммунитетом и генная инженерия вообще — да и еще раз да! Но вот роботы, клонирование — это все в высшей степени сомнительно. Это все — псевдолитература в ярких глянцевитых обложках.

— А в чем принципиальная разница (с точки зрения потенциальной опасности для человечества) между генной инженерией и клонированием?

— Клонирование — это только один из множества приемов генной инженерии. По-моему, совершенно безопасный. Сколько я ни фантазировал (сам с собой) на эту тему, мне не удалось придумать ни одного сколько-нибудь серьезного опасного применения клонирования. Если не считать, разумеется, случаев очевидного злоупотребления, которые сами по себе ни о чем не свидетельствуют, ибо злоупотребления возможны, даже когда вы сеете исключительно разумное, доброе, вечное.

— Нет ли опасности в том, что генные смогут подавлять инстинкты (первые успехи уже есть) — самосохранения, размножения и т. д.

— Есть такая опасность. Генная инженерия способна превратить homo sapiens в homo super. Это — конец человечеству. Я не то, чтобы боялся этого, — я этого не хочу.

— Чего вы вообще боитесь (в масштабах человечества)?

— Боюсь энергетического голода — он обязательно наступит уже в середине XXI века, если не запустят термояд. Боюсь экологической катастрофы. Боюсь повальной наркомании. А больше всего боюсь того, чего сегодня мы совсем не умеем ни предвидеть, ни даже просто вообразить. (Представьте себе, например, разновидность СПИДа с вирулентностью гриппа.)

— Наверное, если бы повальная наркомания для человеческого вида была возможна, она бы давно охватила мир. Может быть, не каждый человек способен стать наркоманом?

— Совершенно с вами согласен. Я и сам думаю, что существует, как видно, некий тормоз в самом человечестве, в устройстве человеческого организма. И точно так же, как многие люди совершенно невосприимчивы, скажем, к проказе, так же большинство (к счастью!) людей не способны стать наркозависимы. Это обнадеживает, но ведь это только гипотеза, ничем и никак серьезно не обоснованная.

— Есть ли ускорение НТР к концу века и началу следующего и за счет чего?

— По-моему, экспоненциальные темпы развития науки и техники не изменились за последние пятьдесят лет, а вот за счет чего? Это вопрос! Видимо, человечество несет в себе потенциал развития чудовищной силы,

и потенциал этот все еще далек от исчерпания. По тридцати триллионов нейронов в шести миллиардах черепов — это не шутка! (Даже, если 5,99 миллиарда тратят свои нейроны черт-те на что.)

— Насколько и как влияет уровень жизни на научный прогресс?

— Это влияние несущественно — в очень широких пределах колебания уровня жизни. Настоящий творец всегда неприхотлив.

— Но ведь говорят, что в высокоразвитой Америке наукой занимаются прежде всего эмигранты. Не свидетельствует ли это о затухании интереса к науке с ростом жизненного уровня?

— Я предполагаю, что повышение жизненного уровня НИКАК не сказывается на научном прогрессе. Одно от другого либо зависит слабо, либо вовсе не зависит. Явление, о котором вы пишете, носит название «утечка мозгов» и, по-моему, не свидетельствует ни о чем, кроме того, что «рыба ищет где глубже, а человек — где лучше».

— Об этом же свидетельствует и тот факт, что адвокат в США (и не только в США) — профессия более престижная, нежели научник. Вообще говоря, я не вижу ничего невозможного в том, что с течением времени общественный интерес к науке ослабнет значительно, но, во-первых, пока этого отнюдь (и нигде) не наблюдается, а, во-вторых, если это и случится, то совсем не потому, что возрастет жизненный уровень, а по совсем другим причинам.

— Говорят, что наступающая эпоха когда-нибудь «потом» получит название «цифровой» — в противопоставление своей предшественнице, эпохе аналоговой. Для вас эти понятия: «цифровые» экономика и политика, культура, наконец, наполнены каким-то специфичным содержанием? — М. Б.-З.

— Никогда не задумывался над этим. Не уверен, что деление прогресса на эпохи такого рода вообще имеет смысл. По-моему, это все очередная вспышка «кибернетических» восторгов и не более того.

— Когда-то непосредственное общение людей было ограничено территорией их проживания, т. к. «информация» за редким исключением была физически привязана к человеку. Потом появились телеграф и телефон, и «информация», оторвавшись от человека, отправилась в самостоятельное плавание, ограниченное, тем не менее, привязкой к какому-то носителю — проводам, эфиру или, скажем, виниловому диску или винчестеру. А сегодня она теряет и эту связь, прежде всего, из-за технологической простоты копирования, и именно с этим связывают трудности по «защите» авторских прав. Что вы об этом думаете, сталкивались ли с «пиратством», направленным против вас, и, если да, то

как с этим боролись? — М. Б.-З.

— Да, такие случаи были, и неоднократно. У меня накопился обширный список пиратских изданий АБС, выпущенных, главным образом, в США и Израиле. Сделать с этим, по-моему, ничего пока нельзя, а значит, относиться к этому следует без истерики, успокаивая себя мыслью, что пиратские тиражи погоды все равно не сделают.

— Какие направления исследовательской деятельности (и уже сделанные открытия) вы считаете самыми важными для человечества?

— Геномика. Интеллектроника. Экология. Энергетика.

— Какова цель эволюции человека? В чем заключается его успех как биологического вида?

— У эволюции человека нет и не может быть цели. По определению. Но может быть направление. Эволюция человека есть процесс непрерывного увеличения его возможностей. Именно благодаря достижениям в этом направлении человечество достигло решающего успеха как биологический вид: выпало из процесса так называемой «естественной» эволюции.

— Как изменяется система человеческих ценностей с развитием цивилизации? Если бы человек жил вечно, то в чем был бы смысл этого существования?

— Система ценностей меняется вместе с нравственностью, то есть очень медленно. А человек, живущий вечно, не есть уже человек, и нельзя мерить его человеческими мерками. Да и вообще «смысл существования» есть, на мой взгляд, понятие сугубо индивидуальное и определяется в первую очередь самим индивидуумом. (Я, разумеется, имею в виду человека неверующего — религиозность задает смысл существования извне, и он, этот смысл, определяется тогда религиозными догматами.)

— Что важнее с точки зрения реализации вечной жизни: совершенствование телесной оболочки или перегон индивидуального разума в электронное хранилище?

— Сегодня — безусловно, совершенствование телесной оболочки. «Электронное» существование не есть жизнь. По крайней мере, в рамках современных представлений. Вполне можно себе представить и соответствующую инверсию представлений тоже, но это уже не будет жизнь homo sapiens, это будет бессмертие какого-то другого существа.

Беседу вели Н. Шахова и М. Брауде-Золотарев

Подготовка текста при участии В. Борисова

Борис Стругацкий
О СЕБЕ…[66]

Я много и часто даю интервью в газетах и журналах — самых разных, фактически во всех, которые ко мне обращаются. Два-три раза в год обязательно выступаю по радио. Что же касается выступлений на ТВ, то тут у меня срабатывает старинный принцип: никогда и ни при каких обстоятельствах не выступать по телеку… И статьи писать практически перестал: вес Слова за последние годы сделался непривычно мал. Слов (с большой буквы) стало слишком много; мнений и суждений (по любому поводу) высказывается столько, что средний человек теряет возможность и даже желание определить свою собственную точку зрения. Особенно когда речь идет о вещах сложных, вроде экономики, финансов, социологии и пр. Текст, который вы сейчас читаете, возник по настоятельной просьбе редакции журнала рассказать о себе, о времени и о моих «знакомых» компьютерах, а потому неизбежно перекликается с моими ответами в различных интервью, прежде всего, в off-line-интервью на сайте «Русская фантастика».

…Сейчас я — пожилой Homo sapiens, склонный к сидячему образу жизни, а следовательно, и к излишней полноте. В свое время работал инженером-эксплуатационником по счетно-аналитическим машинам. Боюсь, сейчас мало кто даже слышал этот термин и совсем уж не способен представить себе эти гигантские (2500x1500x1500) гробы, с грохотом и лязгом исполняющие роль электрических арифмометров, причем один специально для сложения-вычитания — табулятор, а другой — только для умножения — мультипляйер. Это было высокое наслаждение: учить арифмометр умножать и делить! Электронная же знакомая машина была у меня тогда только одна — «Минск-22», оперативная память что-то вроде 96 байт (именно БАЙТ, и никаких вам килобайтов), внешняя память — на магнитной ленте и т. д., не помню уже ничего. Помню только, что самое ужасное на ней было — это компиляция программы и сборка, из-за непрерывных сбоев магнитной ленты. ЕС-1020 — тоже знакомая мне дама, но с ней я дела практически не имел — уволился вчистую.

Персоналкой я обзавелся давно, даже не помню когда. Во всяком случае, АН еще был жив-здоров, когда у меня появился 286-й. Я все пытался уговорить его (АНа) тоже обзавестись PC — мы поставили бы модемы и могли бы обмениваться текстами в любой момент. Но он был всегда очень консервативен, когда речь шла о технике… Значит, это

произошло не позже 1990-го, а может быть, и в 1989-м. Сейчас у меня Пентиум-2…

Иногда говорят, что развитие вычислительной техники и, в частности, информационных сетей фантасты прозевали. Я не думаю, что это так. Другое дело, что описания новых информационных технологий в фантастике отличаются от реальных воплощений. У нас, к примеру, была идея Большого Всепланетного Информатория. У нас была идея Линии Доставки. У нас была идея Нуль-Связи. Все это вместе заменяло нам, причем с избытком, нынешнюю идею Сети. Может быть, именно поэтому я не способен рассматривать Сеть как очередную «победу науки над фантастикой». Для меня это совершенно естественное продолжение не вчера начавшейся телефонизации пополам с компьютеризацией. Интернет — это прежде всего новое измерение нашей жизни. Новые возможности. Новый мир. Новая среда обитания. Как и все новое, он таит в себе и великие возможности, и великие опасности. В этом смысле он ничем не отличается от ядерной физики, электродинамики или генной инженерии. Ничего особенного страшного я в Интернете не вижу. Разумеется, как и всякое массовое явление, он обязательно породит злоупотребления. Но не станем же мы отказываться от автомобилей лишь из-за того, что некоторое (кстати, довольно значительное) количество хомо сапиенс ежегодно становятся жертвами ДТП. Не верю я и в какие-то фундаментальные «прогрессоопределяющие» свойства Интернета. Уже появился (а со временем будет все утолщаться) слой «интерменов» — фанатов Сети, для которых Сеть станет вторым (а возможно, и первым, главным) домом; которым она заменит привычные формы общения и старые источники эмоциональной и рациональной информации о мире. Но таких людей никогда не будет слишком много, как никогда в мире не было слишком много фанатиков литературы или телефонного общения.

У меня нет единой, четко сформулированной и отлитой в бронзу творческой концепции. Есть набор правил и аксиом, к которым я прибегаю по мере надобности. Вот некоторые из них:

— Литература должна рассказывать о людях и человеческих судьбах.

— Главное назначение книги — создать у читателя потребность в сопереживании героям и их судьбе.

— Фантастика есть часть литературы, это художественный прием, служащий для придания повествованию остроты, усиливающий акт сопереживания, позволяющий рассматривать проблемы, недоступные для «бытовой» литературы (скажем, проблему Разума во Вселенной, или социологию Будущего).

— Фантастика стоит на трех слонах — ЧУДО-ТАЙНА-ДОСТОВЕРНОСТЬ. ЧУДО — это собственно фантастический элемент, вводимый в повествование. ТАЙНА — способ подачи информации, та морковка, которая ведет читателя от страницы к странице и никак не позволяет ему отложить книгу. ДОСТОВЕРНОСТЬ — главный из слонов, это сцепление текста с реальностью, реальная жизнь внутри книги, то, без чего роман превращается в развлекательную байку или эскапистскую болтовню…

Ну и так далее. Наверняка все это как-то соотносится с моим жизненным кредо. Как именно, не знаю. Собственно, все мое жизненное кредо сводится к фразе из «Стажеров»: жизнь дает человеку три счастья — друга, любовь и работу. Все прочее — от лукавого.

Что меня сейчас интересует? Да, в общем-то, то же, что и раньше. Завтрашний день. Послезавтрашний день. Почему они так похожи иногда на вчерашний и позавчерашний? «Куда ж нам плыть?» И так далее. Просто сейчас, когда исчезла цензура, когда можно писать ВСЕ, мысли, естественно, крутятся исключительно в пределах реального мира, а образы более не норовят уйти в пучины подтекста. Зачем писать о выдуманной Океанской империи, когда перед глазами — дымящиеся и опасные руины империи совершенно реальной? Этот реальный мир, который грузно и страшно ворочается сегодня вокруг, как потревоженное чудовище, гораздо интереснее. И никто не знает, что может произойти завтра — при том, что в общем-то понятно, что будет через 30–40 лет. Какая «парадоксальная планета Морохаси» может сравниться по загадочности своей и непредсказуемости с невероятной планетой Земля?

Политика занимает мой ум (и мои чувства) процентов на 50. Я типичный «пикейный жилет» (см. Ильфа — Петрова), политик-дилетант. Возможность наблюдать политический процесс почти воочию — величайшее достижение перестройки, на мой взгляд. Я регулярно смотрю новости, как правило — все (РТР, НТВ и даже иногда Доренко, которого не люблю). Регулярно смотрю боевики, изредка — серьезное кино. Выписываю и регулярно читаю «Известия», «Невское время», «Московские новости», «Общую газету». Радио не слушаю совсем — в доме нет ни радиоточки, ни радиоприемника.

Я все более убеждаюсь, что в России нет НИЧЕГО исключительного. Просто мы отстали от передовых стран мира на несколько десятков лет — страна задержавшегося феодализма. Феодализм является, по-видимому, самой стабильной (и соответствующей человеческой натуре) формацией. Поэтому переход к капитализму хоть и неизбежен, но сопровождается

воистину всенародными мучениями. Закон непрерывного развития производительных сил работает днем и ночью — это хорошо. Мучения же вечного холопа, жаждущего служить, а не работать, — ужасны, и это плохо, ибо кусочек сознания этого холопа сидит в каждом из нас.

И мне всегда смешно, когда читатели восхищаются: «Как это вам удалось в „Обитаемом острове“ предсказать то, что мы имеем сегодня, — разруху, „идеологическую ломку“ и даже инфляцию…» Но ведь все перечисленное — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ каждой проигранной войны, а мы как раз и есть страна, воевавшая со всем миром 70 лет и войну эту проигравшая — экономическую, идеологическую, политическую. Вот мы и имеем то, что должны иметь. Здесь нет пророчества, здесь — только логика.

Самые широкие народные массы, разлетевшиеся сгоряча — «даешь свободу!», снова вернулись к исходному своему состоянию и миропредставлению. Свободой сыт не будешь. Синица в руках лучше, чем журавль в небе. Лучше стоять за продуктами в очереди, чем вкалывать, зарабатывая «самашедшие» деньжищи. Тем более что работа не волк, в лес не уйдет, а всех денег все равно не заработаешь.

Каждая страна обладает, разумеется, своей спецификой, однако существуют законы истории и экономики, которые одинаково работают что в России, что в Англии, что в Иране. Поэтому ни в какой «третий путь» России я не верю. Те трудности и муки, которые наша страна переживает сегодня, не есть что-то особое, небывалое и только ей присущее. Россия задержалась в феодализме и сейчас медленно, мучительно выползает из него, как питон Каа из старой кожи. То, что мы переживаем сегодня, США переживали в конце XIX — начале XX века, а Япония — после поражения в войне.

Я отношусь к тем людям, которые считают, что путь России есть путь культурного, экономического и — в конечном итоге — политического объединения с Европой. К сожалению, эта позиция (так же, впрочем, как и противоположная, так же, как и любая иная) не поддается сколько-нибудь доказательному анализу. Это — просто интуиция, базирующаяся вдобавок на сознательном (или подсознательном) желании, «чтобы было так, а не иначе». Через 30–40 лет Россия станет вполне благополучным и могучим государством. При одном условии: к власти не придут экстремисты-националисты и не возникнет у нас снова тирания с нечеловеческим лицом. В этом последнем случае процесс растянется дополнительно еще лет на 20–30. Но в том, что Россия непременно выберется на торную дорогу цивилизационного развития, я глубоко убежден. Если уж мы пережили

семидесятилетие тоталитарного гнета и духовного рабства, то уж период «дикого капитализма» преодолеем без особого труда. Причины для такого оптимизма: огромный потенциал (не только и не столько сырьевой, сколько духовный), весьма значительный уровень урбанизации, высокий уровень индустриализации, очень высокий образовательный уровень. Ни Мексика, ни Колумбия, ни даже Бразилия с нами во всех этих областях сравниться все же не могут. Собственно, у нас есть ВСЁ, что необходимо для «постиндустриального» развития. Всё, кроме менталитета. Менталитет у нас, да, средневековый, феодальный, и в этом наша главная беда. Придется сменить два-три поколения, прежде чем дело пойдет на лад. Впрочем, все это — рассуждения дилетанта, который стоит на своем до тех пор, пока профессионалы не убедили его в обратном.

Мир через 20–40 лет не будет существенно отличаться от нынешнего. Мир через 120–140 лет будет настолько не похож на наш, что представить его себе мы просто не способны. Потрясения вполне возможны, в том числе и локальные ядерные конфликты. Пандемии. Свирепые бунты. Особенно — вспышки терроризма в глобальном масштабе. Экологические катастрофы. Все это — реально, но не обязательно. Думаю, что экологическая угроза — самая страшная из тех, что XXI век получает в наследство от XX. На мой-то век точно хватит, а вот на ваш — не знаю, не знаю… Во второй половине XXI века может наступить энергетический голод — если не запустят термояд. Это серьезно. Это может привести к изменению базовых представлений о том, что (для человечества) хорошо, а что — плохо… Впрочем, все это пустяки по сравнению с угрозами, которых мы сейчас не видим, а может быть, и не способны увидеть в принципе. Как если бы — представляете? — СПИД оказался бы на самом деле таким же заразным, как грипп. Одно утешение: чем катастрофа глобальнее, тем она, видимо, невероятнее. Иначе нас бы давно не было на Земле.

О космической экспансии человечества я предпочитаю не говорить. Я придерживаюсь сугубо консервативной точки зрения. До тех пор, пока на Земле три четверти населения пребывают в бедности, невежестве и болезнях, тратить деньги на что-либо, кроме борьбы с бедностью-невежеством-болезнями, попросту безнравственно. Существует, впрочем, и другая точка зрения, «прогрессивная»: научно-технологический прогресс тормозить нельзя, он в конечном итоге обязательно обернется большими выгодами для гуманитарного прогресса, а потому резон в интенсивном (в частности) освоении Космоса есть, несмотря ни на что. Поскольку главное, что интересует «государственников», это благопроцветание не людей, а

государства, и поскольку среди самих людей пышным цветом цветет и процветает знаменитое «зато» («зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей…»), — постольку реально преобладать будет всегда (при прочих равных условиях) позиция прогрессистов. С чем я всех нас и поздравляю.

Хотя вообще-то я отношусь ко всяческим предсказаниям-пророчествам весьма скептически. Доступный мне опыт позволяет предположить, что сколько-нибудь серьезные и конкретные подробности будущего предсказать можно только чисто случайно — как сами АБС «предсказали» какой-нибудь «метод Каспаро-Карпова», например. Конкретности — непредсказуемы. Явления же социального масштаба удается предсказать, просто исходя из здравого смысла. Интуиция здесь тоже играет определенную роль — так Уэллс, ошибившись практически во всех частностях, гениально предсказал сам дух XX века — кровавого, бесчеловечного, чрезвычайно далекого от прекраснодушных мечтаний тех, кто видел в XX продолжение XIX — «века цивилизации, прогресса и процветания».

Б. Стругацкий

КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ

Согласиться опубликовать неопубликованное вынудила меня только последовательная настойчивость Издателя, задавшегося целью выпустить как можно более полное собрание произведений АБС. Откровенно говоря, я и сейчас толком не понимаю, в чем смысл выставлять на всеобщее обозрение тексты, которые сами авторы, по той или иной причине, не считали достойными публикации. Согласитесь, принцип ПОЛНОТЫ собрания уместен, скорее, в коллекционировании (в филателии, скажем, или в нумизматике), нежели в книгоиздательском деле. Наверное – и даже наверняка – этот принцип работает плодотворно, когда речь идет об издании Великих, каждая строчка которых может оказаться исполнена для потомков глубокого смысла. Но в данном случае...

Впрочем, Издателю виднее. Ему всегда было виднее, виднее сейчас и будет виднее в дальнейшем. В конце концов, он рискует своими деньгами, – в отличие от автора, который практически ничем не рискует, публикуя свои старинные, «детские» упражнения или черновики несостоявшихся произведений. Тем более, если всего этого у него сравнительно немного.

Специфика работы АБС, когда любой мало-мальски серьезный текст создается обязательно вдвоем, единовременно, слово за словом, абзац за абзацем, страница за страницей; когда любая фраза черновика имеет своими предшественниками две-три-четыре фразы, предложенные в качестве вариантов, произнесенные некогда вслух, но нигде не записанные; когда окончательный текст есть сплав двух – иногда очень разных – представлений о нем, и даже не сплав, а некое химическое соединение на молекулярном уровне, – специфика эта порождает, помимо всего прочего, еще и два следствия, носящих чисто количественный характер.

Во-первых, количество бумаги в архивах уменьшается до минимума. Каждый роман существует в архиве всего в виде одного, максимум – двух черновиков, каждый из которых на самом деле есть занесенный на бумагу, отредактированный и спрессованный текст двух-трех-четырех УСТНЫХ черновиков, в свое время п р о г о в о р е н н ы х авторами и отшлифованных в процессе более или менее свирепой дискуссии.

Во-вторых, такой метод работы требует жесточайшей экономии. Слишком много нервной энергии и душевных сил требует любой серьезный текст, чтобы авторы могли позволить себе роскошь оставить его

пылиться в архиве. Такой текст должен быть доработан (при необходимости), либо заново переработан, но так или иначе пристроен к делу, – даже если бы для этого пришлось соорудить вокруг него совершенно новый текст (как это произошло, в частности, с несостоявшейся повестью «Операция ЩЕКН», которую авторы во благовременье нашли удобным погрузить в роман «Жук в муравейнике»).

Неудивительно поэтому, что среди неопубликованного у АБС остались только рассказы, сочиненные в свое время каждым из соавторов в одиночку и признанные впоследствии негодными для дальнейшей совместной работы. (Исключение составляют лишь «Песчаная горячка» – рассказ-эксперимент да пляжная хохмочка «Адарвинизм», никогда ни на что и не претендовавшая.)

«КАК ПОГИБ КАНГ»

Насколько я знаю, это самое раннее из сохранившихся произведений АН – самодельная тетрадочка в четырнадцать листков, текст аккуратно написан черной тушью и снабжен очень недурными (на мой взгляд) иллюстрациями автора. Рассказ датирован: «Казань 29.5.46». Это было время, когда курсант Военного института иностранных языков Аркадий Стругацкий был откомандирован в распоряжение МВД Татарии, в качестве переводчика с японского. В Казани он участвовал в допросах японских военных преступников: шла подготовка Токийского процесса – восточного аналога Нюрнбергского процесса над гитлеровцами. АН не любил распространяться об этом периоде своей жизни, а то немногое, что мне об этом стало от него все-таки известно, рисует в воображении картинки, исключительно мрачные: угрюмая беспросветная казарма; отвратительные сцены допросов; наводящее ужас и омерзение эмвэдэшное начальство... Неудивительно, что начинающий и очень молодой (всего двадцать полных лет!) автор бежит от этого мира в морские глубины – там он, по крайней мере, свободен, там он продолжает жить в мире любимых книг своего детства – «Следы на камне» Максвэлл-Рида и «Тайны морских глубин» Бийба, изобретателя батисферы.

«ЧЕТВЕРТОЕ ЦАРСТВО»

Этот большой рассказ (или маленькую повесть?) АН написал, сидя в Петропавловске-Камчатском, весной или летом 1952 года. Судя по

сохранившемуся письму, рассказ этот первоначально назывался «Амадзи» («в переводе – смерть с неба») и темой его была «неорганическая жизнь, жизнь, энергия которой идет за счет энергии распада радиоактивных веществ». На мой, нынешний, взгляд публикация этого текста представляет интерес прежде всего исторический: так в те времена понимали, задумывали и писали фантастику. Так и только так! Тут, сами понимаете, «не убавишь, не прибавишь – так это было на земле...». Впрочем, «красная пленка» «Страны багровых туч» – родом именно отсюда. Идея жизни, существующей за счет радиоактивного распада, казалась нам в те поры чрезвычайно оригинальной, свежей и, более того, – значительной.

«ПЕСЧАНАЯ ГОРЯЧКА»

Этот рассказик – первая законченная попытка АБС написать что-нибудь вдвоем. Попытка, впрочем, совершенно экспериментальная, на авось, вдруг получится что-нибудь интересненькое. Не было ни предварительного обсуждения, ни плана, ни даже сюжета – сел один из соавторов (по-моему – БН) за машинку и отстучал первые две странички; за ним другой – прочитал написанное, поковырял в ухе и отстучал еще две; потом – снова первый, и так – до самого конца. К огромному изумлению авторов в результате получилось нечто вполне осмысленное, этакая багрово-черная картинка, кусочек чужой, совершенно неведомой жизни – нечто, напомнившее обоим любимый ими рассказ Джека Лондона «Тропой ложных солнц» (тем, кто не помнит, советую перечитать). Замечательно, что рассказик наш получился вполне литературно грамотным, его даже редактировать не пришлось – только некоторое время спустя вычеркнуто было «...по законам Черной Республики» и вставлено – «...по законам Страны Багровых туч» – верный признак того, что именно в те времена работа над первым нашим романом шла уже вовсю. (На обороте последней странички рассказа сохранился расчет явно для «Страны»: «...Груз 1). Три маяка 180х3 = 540 кг. 2). Радиоэлем. 300 кг...» и т. д.)

«ЗАТЕРЯННЫЙ В ТОЛПЕ»

Рассказ этот написан БН и датирован августом 1955. На мой нынешний взгляд, интереса не представляет вовсе и помещен здесь исключительно из соображений полноты картины.

«ЗВЕЗДОЛЕТ «АСТРА-12»

Так (или примерно так), по мнению БН, должна была выглядеть самая первая глава повести «Страна багровых туч». Однако, пока он мусолил эти тринадцать неполных страниц, АН успел закончить целиком первую часть и в значительной степени часть вторую. Вариант БН угодил в архив, где ему предстояло (и следовало бы) находиться и дальше, если бы не напористость Издателя. Впрочем, не обладая никакими литературными достоинствами, предлагаемый текст тем не менее представляет известный интерес как некий образец тогдашних (сорокалетней давности)

представлений авторов о характере и специальных обстоятельствах так называемой «космической экспансии человечества».

«КТО СКАЖЕТ НАМ, ЭВИДАТТЭ?..»

Рассказ написан БН примерно в 57 – 58 гг. и представляет собою попытку переписать «Затерянный в толпе», но на этот раз с точки зрения «затерянного». Сочинение это было совершенно справедливо раздолбано вдребезги АН, но оказалось не совсем бесполезным – кое-что из него было впоследствии использовано в рассказе «Шесть спичек».

«СТРАШНАЯ БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА»

Эта маленькая повесть (или, правильнее, рассказ?) была предтечей повести «Путь на Амальтею», попыткой АН взять в одиночку, штурмом, сюжет о звездолете, провалившемся в Юпитер. Написано где-то в 57 – 58 гг. Признано негодным для совместной переработки, но в значительной мере использовано позже, когда мы писали (уже вместе) «С грузом прибыл».

«ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Попытка БН написать «что-нибудь этакое», «непривычно-необычное», с уклоном в мистику и в «литературу ужасов» (хотя такого понятия у нас в то время еще не существовало). Совершенно не помню, когда это писалось. Судя по шрифту машинки, – где-то в интервале 1956 – 58. Никакого интереса у АН не вызвало и было беспощадно отправлено в архив.

«НАРЦИСС»

Этот рассказик – попытка теперь уже АН написать «что-нибудь этакое», мистическое, «изысканное и светское», «с налетом аристократического вырождения». Относится эта попытка к новым временам, – скорее всего, к самому началу 60-х. Написано, в общем, недурно, но после совместного обсуждения было признано непригодным для дальнейшего использования. (И, однако, пригодилось-таки! Смотри соответствующие странички из «Хромой судьбы».)

«ВЕНЕРА. АРХАИЗМЫ»

Это – несостоявшаяся глава из «Стажеров». АН написал ее, как я понимаю, главным образом для того, чтобы перебросить эмоциональный и информационный мостик из «Страны багровых туч» в новый наш роман. Но к этому моменту сюжет «Стажеров» был уже выстроен окончательно, и места для новой главы не нашлось, а основные идеи ее (если это можно назвать идеями) вошли в главу «Бамберга. Нищие духом».

«ГОД ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ»

Единственный нефантастический рассказ, написанный АБС, – вероятнее всего, в интервале 1961 – 65 гг. Черновик написал БН. Этот черновик долго лежал без движения, потом АН затребовал его себе и попытался довести до ума, но фактически ничего в нем не изменил, только перепечатал начисто. Публиковать этот рассказ мы никогда по-настоящему не собирались – просто потому, что считали саму эту тему не своей. Что мы, в конце концов, могли сказать о Тридцать Седьмом такого, чего не сказали еще А. Солженицын, В. Шаламов, Ю. Домбровский? Я бы и сейчас не стал этот рассказ публиковать, но раз уж сказано «возможно более полное», то пусть так оно и будет.

«ДНИ КРАКЕНА»

С самых ранних детских лет АБС, оба, интересовались крупными головоногими, будь то спруты, осьминоги или гигантские таинственные кракены-мегатойтисы. Трудно сказать, откуда пошел этот повышенный интерес и как именно стал он быть. То ли осьминогоподобные (во всяком случае – на иллюстрациях) марсиане Уэллса тому первопричиной, то ли блистательный рассказ того же Уэллса «Пираты морских глубин», а может быть, новелла ныне совсем забытого писателя по имени, кажется, Чарльз – про подводного фотографа, схваченного и пожранного чудовищным осьминогом, – не знаю, не помню и не берусь ответить с полной определенностью. Однако же, по той или иной причине, но образ гигантского спрута, что называется, красной нитью проходит через многие и многие сочинения АБС, а было время (несколько лет из середины 60-х), когда мы напряженно и сосредоточенно обдумывали фантастическую повесть, главным героем которой должен был стать гигантский спрут-

кракен, отловленный на Дальнем Востоке и привезенный в Москву на предмет научных исследований. Сохранились планы, наметки, вопросы, которые надлежало нам в повести поставить, и даже варианты эпиграфов («Раз в году можно безумствовать» – из Скиапарелли, и: «Перед нами была огромная мясистая масса футов по семьсот в ширину и длину... и от центра ее во все стороны отходило бесчисленное множество длинных рук, крутящихся и извивающихся, как целый клубок анаконд...» – из «Моби Дика» Германа Мелвилла). Повесть у нас, впрочем, не получилась. Нельзя, правда, сказать, что труды наши пропали совсем уж втуне. Многое и многое из придуманного попало в романы и рассказы разных лет: в «Сказку о Тройке», например, или в рассказ «О странствующих и путешествующих», или в «Волны гасят ветер». Приведенный в настоящем издании неоконченный и никогда раньше не публиковавшийся вариант повести под названием «Дни Кракена» писался АН в одиночку в начале 1963-го года, был примерно в те же времена рассмотрен обоими соавторами, принят как первый черновик и отложен на неопределенный срок. Работа не пошла. Насколько я помню, нас остановили два соображения. Во-первых, общая и очевидная «непроходимость» – то, что мы собирались писать в повести дальше, не годилось ни для «Молодой Гвардии», ни тем более для Детгиза, а писать в стол мы тогда не умели, – во всяком случае, не были еще готовы. А во-вторых, вещь показалась нам слишком уж «бытовой», мы побоялись впасть в так называемый «бэлпингтонизм-блепскизм» (специально придуманный АБС термин, происходящий от названия романа Уэллса «Бэлпингтон Блепский» и означающий безнадежную утрату автором сюжетной энергии и живой фантазии при торжестве суконного бытоописательства и унылого реализма). Позже мы не раз возвращались к этой повести, но, видимо, время ее прошло окончательно, мы так и не взялись за нее и только беспощадно растаскивали ее по кускам, следуя жестокому принципу литературной целесообразности: «Все, годное к утилизации, должно быть своевременно утилизировано». В те времена, помнится, заниматься утилизацией было ничуть не жалко, а сегодня вот вспоминать об этом жалко, но поздно.

«МЫСЛИТ ЛИ ЧЕЛОВЕК?»

Эту пародию на нежно любимого и почитаемого Деда – Илью Иосифовича Варшавского – БН набросал на одном из скучнейших

писательских заседаний году этак в 1963 или 64-м. Забавно: сегодня этот текст воспринимается как набор заскорузлых банальностей, надерганных из Роберта Шекли и Станислава Лема, а тогда по сути он представлял собою очень вкусную солянку из отборнейших, хотя и пародизированных, но свежайших идей, живо обсуждавшихся между фантастами-профессионалами, главным образом, во время застолий и возлияний. (Впрочем, нельзя не признать, что вопрос «Мыслит ли человек?» и по сей день, согласитесь, далек от своего разрешения.)

«АДАРВИНИЗМ»

Это несколько листочков из блокнота, исписанных от руки и соединенных металлической скрепкой. Написано на веранде дома в местечке Рыбколхоз, в Крыму, где АБС со своими друзьями диким образом отдыхали в сентябре 1963 года. Запись, насколько я помню, почти стенографическая, хотя для «художественности» несколько стилизованная. Шутки шутками, а ведь это ЕДИНСТВЕННАЯ запись, иллюстрирующая – и довольно точно – манеру работы АБС вдвоем! Была когда-то магнитофонная запись обсуждения, как сейчас помню, сюжета рассказа «Загадка Задней Ноги», – так и ее в один прекрасный день по ошибке стерли. А больше ничего не осталось «для истории» – мы терпеть не могли работать под магнитофон и совершенно не переносили присутствия кого-либо рядом во время нашей работы – ни друзей, ни жен, ни даже мамы.

ПУБЛИЦИСТИКА

По-настоящему (то есть, профессионально) АБС никогда не интересовались теорией литературы вообще и теорией фантастики в частности. Однако уже в начале 60-х нам стало ясно, что совсем без теории обойтись невозможно. Сама литературная жизнь того времени вынуждала этим заниматься, хотя, строго говоря, никакая это была, конечно, не теория, а всего лишь отчаянные попытки объяснить всем заинтересованным лицам – литературным критикам, рецензентам, братьям-писателям и, в особенности, работникам издательств – вещи, которые всегда казались нам совершенно очевидными.

– Что фантастика не есть «литература крылатой мечты» для любознательных подростков, увлекающихся авиамоделизмом. Она шире этого определения.

– Что фантастика не есть «литература о замечательных достижениях науки и техники». Она значительно глубже этого определения.

– Что фантастика и научно-художественная литература – это не одно и то же. Эти литературы лишь пересекаются, но отнюдь не совпадают.

– Что фантастика это прежде всего ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА, то есть собрание книг о человеческих судьбах, о приключениях человека среди людей, и что ничего на свете интереснее и важнее этого нет и быть не может.

Фантастика, как бы мы ее ни определяли, есть нечто весьма широкое, емкое, красочное, сложное, органически слитое с «большой» литературой и в то же время особенное от нее – мощный приток огромной реки, снежная вершина горного хребта, славный отпрыск знатного рода...

...Это волшебный сплав чуда, тайны и достоверности.

...Это судьбы людей и идей в мире, который изменен, искажен, преобразован Небывалым, Невиданным, Невозможным.

...Это призма, зеркало, светофильтр, электронно-оптический преобразователь, позволяющий в нагромождениях обыденного, привычного, затхлого различить зернышки необычайного, нового, поражающего воображение.

...Как никакой другой вид литературы, она находится в совершенно особенных отношениях с воображением – и писательским, и читательским. Она одновременно есть и аккумулятор, и стимулятор, и усилитель воображения.

...Как никакой другой вид литературы, она находится в совершенно особенных отношениях с будущим. Она подобна прожектору, озаряющему страшные лабиринты будущего, которое никогда не состоится, но которое могло бы реализовать себя, если бы его вовремя не высветила фантастика...

(Если угодно, этот маленький панегирик можно рассматривать как некое описательное определение фантастики. Но – только хорошей фантастики. Плохая фантастика определяется как-то иначе. Фантастика без тайны – уныла и скучна. Фантастика без достоверности – фальшива, напыщенна и назойливо дидактична. А фантастика без чуда – и не фантастика вовсе.)

Сейчас уже можно сказать с определенностью, что тридцать лет своей жизни АБС положили на то, чтобы доказать все эти вышеизложенные и вполне элементарные истины (давным-давно доказанные уже самим фактом существования таких писателей, как Свифт, По, Уэллс, Чапек, Брэдбери, Булгаков, Лем, Воннегут). Главным образом, разумеется, мы, по мере сил и возможностей, стремились обосновать эти утверждения, так сказать, собственным примером, то есть рассказами своими, повестями, романами и сценариями. Однако, отнюдь не гнушались мы и статьями, интервью, а также разнообразными эссе. Некоторые образцы подобного рода деятельности представлены здесь, и все они в совокупности вполне иллюстрируют историю развития представлений АБС по поводу фантастики, а главным образом – историю их персональной борьбы за воспитание цивилизованного редактора и издателя, – борьбы изнурительной, неравной и в значительной степени безнадежной.

НАША БИОГРАФИЯ

Есть еще одно, никогда в России широко не публиковавшееся сочинение АБС, которое я считаю себя обязанным включить в настоящее собрание. Называется оно «Наша биография» и нуждается, на мой взгляд, в некоторой преамбуле.

Признаюсь, я всегда был (и по сей день остаюсь) сознательным и упорным противником всевозможных биографий, анкет, исповедей, письменных признаний и прочих саморазоблачений – как вынужденных, так и добровольных. Я всегда полагал (и полагаю сейчас), что жизнь писателя – это его книги, его статьи, в крайнем случае, – его публичные выступления; все же прочее: семейные дела, приключения-путешествия, лирические эскапады – все это от лукавого и никого не должно касаться,

как никого, кроме близких, не касается жизнь любого, наугад взятого, частного лица. АН безусловно придерживался того же мнения, и поэтому предлагаемый вниманию читателя текст представляет собою документ в творчестве АБС редкий и даже экзотический.

Откуда этот текст взялся, я помню смутно. Кажется, готовился какой-то перевод какого-то нашего романа – то ли в АПН, то ли в издательстве «Прогресс», – кажется, на испанский. А переводчиком был некий весьма настырный знакомец АН. И этот знакомец загорелся почему-то идеей нашей автобиографии и с АНа буквально не слезал в течение нескольких месяцев. Дело кончилось тем, что осенью 86-го в Репине АН предложил моему вниманию этот вот самый текст.

Писали мы тогда, помнится, сценарий «Туча», работа шла туго, мы были раздражены, и я «Нашу биографию», помнится, раскритиковал вдрызг – за неточности, за «лояльности», за неправильности и вообще за то, что она появилась на свет. В ответ АН – вполне резонно – предложил мне самому «пройтись рукой мастера». Я с ужасом отказался, и вопрос на этом был закрыт.

Больше мы об этом никогда не говорили, и вторично я увидел «Нашу биографию» только несколько лет спустя, когда разбирал архивы АН. А в 1993 Владимир Борисов сообщил мне, что, оказывается, этот текст был передан ВААПом в одно из польских книжных издательств, где его и отыскал польский исследователь творчества АБС – Войцех Кайтох. Сообщение это меня удивило, но не слишком – видимо, знакомец-переводчик доел-таки в свое время АНа и получил от него желаемое.

В основном и главном «Наша биография» вполне достоверна. Перефразируя известную формулу: она содержит правду, вполне достаточно правды, но не всю правду и не одну только правду. По мере сил и возможностей я дополнил этот текст своими собственными соображениями, некоторыми известными мне фактами, а равно и комментариями, – в тех случаях, когда мои представления о «правде» не вполне стыковались с представлениями АНа. В самом тексте АНа я не изменил ни слова. Хотел бы это подчеркнуть особо: ведь АН писал свой текст в те времена, когда перестройка еще лишь едва тлела, разгораясь, времена в общем и целом оставались «старыми, советскими» со всеми их онерами, и некоторые фразы в соответствии с духом времени носят у АН ритуальный характер идеологических заклинаний, от чего мы, нынешние, уже, слава богу, успели отвыкнуть.

С учетом всех этих оговорок предлагаемый текст и надлежит читателю принимать. Или – не принимать.

«НАША БИОГРАФИЯ»

АН. Аркадий родился 28 августа 1925 года в грузинском городе Батуми на берегу Черного моря. Борис родился 15 апреля 1933 года в русском городе Ленинграде на берегу Финского залива.

БН. Много лет назад мы развлекались, вычисляя «день рождения братьев Стругацких», то есть дату, равноудаленную от 28.08.1925 и 15.04.1933. Для людей, знакомых с (чисто астрономическим) понятием юлианского дня, задача эта не представляет никаких трудностей. День рождения АБС есть, оказывается, 21 июня 1929 года – день летнего солнцестояния. Желающие могут принять это обстоятельство к сведению и делать из него сколь угодно далеко идущие астрологические выводы.

АН. Семья наша была несколько необычной даже по меркам тогдашнего необычного времени – первого десятилетия после победы Великой Революции. Наш отец, Натан Стругацкий, сын провинциального адвоката, вступил в Партию большевиков в 1916 году, участвовал в Гражданской войне комиссаром кавалерийской бригады и затем политработником у замечательного советского полководца Фрунзе, после демобилизации работал партийным функционером на Украине, причем по специальности он был искусствоведом, человеком глубоко и широко образованным. Мать же, Александра Литвинчева, была дочкой мелкого прасола (торгового посредника между крестьянами и купцами), простой, не очень грамотной девушкой. В родном городке на северо-востоке Украины она встретилась с Натаном Стругацким, вышла за него замуж против воли родителей и, как водится, была проклята за мужа-еврея. В дальнейшем судьба их сложилась интересно и поучительно, при всех ее поворотах они верно и крепко любили друг друга, но мы пишем свою, а не их биографию и здесь заметим только, что в январе 1942 года отец, сотрудник знаменитой Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде и командир роты народного ополчения, погиб при попытке выбраться из блокированного немцами города, а мать всего несколько лет назад тихо скончалась пенсионером, в звании заслуженной учительницы Российской Федерации и кавалера ордена «Знак Почета».

Вскоре после рождения Аркадия отец был направлен на партийную работу в Ленинград, там Аркадий вырос и прожил до ужасного января 1942 года. За это время родился его младший брат и будущий соавтор Борис Стругацкий.

БН. Я почти не помню отца. Все, что я знаю о нем, известно мне от

мамы, в частности – из оставленных ею воспоминаний. Он был честнейшим и скромнейшим человеком. Он был верным большевиком-ленинцем, безукоризненно выполнявшим любую работу, на которую бросала его партия. Никаких особо высоких постов никогда не занимал, но во время и сразу после Гражданской, по утверждению мамы, «носил на френче два ромба. По тому времени это чин генерала». Потом в Батуми, после демобилизации, был редактором газеты «Трудовой Аджаристан». Потом в Ленинграде – сотрудником Главлита. Потом в 1933 (в день моего рождения!) брошен был на сельское хозяйство – начальником политотдела Прокопьевского зерносовхоза в Западной Сибири. А в 1936 году назначен был «начальником культуры и искусств города Сталинграда». (Видимо, заведующим отдела культуры то ли горкома партии, то ли горисполкома). Здесь в 1937 году его исключили из партии – формально за антипартийные и антисоветские высказывания («заявлял, что Н. Островский – щенок по сравнению с Пушкиным, и утверждал, что советским художникам надо учиться у иконописца Рублева»), а фактически за то, видимо, что стоял у тамошнего начальства поперек горла: «запретил бесплатные ложи и первые кресла для начальства, ввел для начальства платный вход в театр и кино, отменил всяческие начальственные льготы, изучил бухгалтерию, обнаружил незаконные перерасходы, ложные накладные» и пр. Как я теперь понимаю, – чудом избежал ареста и уничтожения, ибо сразу же уехал в Москву хлопотать о восстановлении и хлопотал об этом всю оставшуюся жизнь. В июне 1941-го пришел в военкомат, но в действующую армию его не взяли – 49 лет и порок сердца. А в ополчение – взяли, уже в конце сентября, когда блокада стала свершившимся фактом, и он успел еще повоевать на Пулковских высотах, но в январе 1942-го был комиссован вчистую – опухший от голода, полумертвый, с останавливающимся сердцем.

АН. Началась война, город осадили немцы и финны. Аркадий участвовал в строительстве оборонительных сооружений, затем, осенью и в начале зимы 41-го года, работал в мастерских, где производились ручные гранаты. Между тем положение в осажденном городе ухудшалось. К авиационным налетам и бомбардировкам из сверхтяжелых мортир прибавилось самое худшее испытание: лютый голод. Мать и Борис кое-как еще держались, а отец и Аркадий к середине января 42-го были на грани смерти от дистрофии. В отчаянии мать, работавшая тогда в районном исполкоме, всунула мужа и старшего сына в один из первых эшелонов на только что открытую «Дорогу Жизни» через лед Ладожского озера.

БН. Это было не совсем так. Тогдашняя мамина работа в Выборгском

райжилотделе здесь совсем ни при чем. Просто открылась возможность уехать вместе с последней партией сотрудников Публичной библиотеки, которые не успели эвакуироваться вместе с библиотекой еще осенью в город Мелекесс. В семье считалось, что малолетний Борис эвакуации не выдержит, и потому заранее решено было разделиться. Все произошло внезапно. «...Паровоз был уже под парами, – пишет мама. – Когда я вернулась с работы, их уже не было. Один Боренька сидел в темноте в страхе и в голоде...» Мне кажется, я запомнил минуту расставания: большой отец, в гимнастерке и с черной бородой, за спиной его, смутной тенью, Аркадий, и последние слова: «Передай маме, что ждать мы не могли...» Или что-то в этом роде.

АН. Мать и Борис остались в Ленинграде, и как ни мучительны были последующие месяцы блокады, это все же спасло их. На «Дороге Жизни» грузовик, на котором ехали отец и Аркадий, провалился под лед в воронку от бомбы. Отец погиб, а Аркадий выжил. Его с грехом пополам довезли до Вологды, слегка подкормили и отправили в Чкаловскую область (ныне Оренбургская). Там он оправился окончательно и в 43-м был призван в армию.

БН. Они уехали 28 января 1942 года, оставив нам свои продовольственные карточки на февраль (400 граммов хлеба, 150 «граммов жиров» да 200 «граммов сахара и кондитерских изделий»). Эти граммы, без всякого сомнения, спасли нам с мамой жизнь, потому что февраль 1942-го был самым страшным, самым смертоносным месяцем блокады. Они уехали и исчезли, как нам казалось тогда, – навсегда. В ответ на отчаянные письма и запросы, которые мама слала в Мелекесс, в апреле 42-го пришла одна-единственная телеграмма, беспощадная как война: «НАТАН СТРУГАЦКИЙ МЕЛЕКЕСС НЕ ПРИБЫЛ». Это означало смерть. (Я помню маму у окна с этой телеграммой в руке – сухие глаза ее, страшные и словно слепые.) Но 1 августа 42-го в квартиру напротив, где до войны жил школьный дружок АН, пришло вдруг письмо из райцентра Ташла, Чкаловской области. Само это письмо не сохранилось, но сохранился список с него, который мама сделала в тот же день.

> «Здравствуй, дорогой друг мой! Как видишь, я жив, хотя прошел, или, вернее, прополз через такой ад, о котором не имел ни малейшего представления в дни жесточайшего голода и холода. <...> Мы выехали морозным утром 28 января. Нам предстояло проехать от Ленинграда до Борисовой Гривы – последней станции на западном берегу Ладожского озера. Путь

этот в мирное время проходился в два часа, мы же, голодные и замерзшие до невозможности, приехали туда только через полтора суток[67]. Когда поезд остановился и надо было вылезать, я почувствовал, что совершенно окоченел. Однако мы выгрузились. Была ночь. Кое-как погрузились в грузовик, который должен был отвезти нас на другую сторону озера (причем шофер ужасно матерился и угрожал ссадить нас). Машина тронулась. Шофер, очевидно, был новичок, и не прошло и часа, как он сбился с дороги и машина провалилась в полынью. Мы от испуга выскочили из кузова и очутились по пояс в воде (а мороз был градусов 30). Чтобы облегчить машину, шофер велел выбрасывать вещи, что пассажиры выполнили с плачем и ругательствами (у нас с отцом были только заплечные мешки). Наконец машина снова тронулась, и мы, в хрустящих от льда одеждах, снова влезли в кузов. Часа через полтора нас доставили на ст. Жихарево – первая заозерная станция. Почти без сил мы вылезли и поместились в бараке. Здесь, вероятно, в течение всей эвакуации начальник эвакопункта совершал огромное преступление – выдавал каждому эвакуированному по буханке хлеба и по котелку каши. Все накинулись на еду, и когда в тот же день отправлялся эшелон на Вологду, никто не смог подняться. Началась дизентерия. Снег вокруг бараков и нужников за одну ночь стал красным. Уже тогда отец мог едва передвигаться. Однако мы погрузились. В нашей теплушке или, вернее, холодушке было человек 30. Хотя печка была, но не было дров. <...> Поезд шел до Вологды 8 дней. Эти дни, как кошмар. Мы с отцом примерзли спинами к стенке. Еды не выдавали по 3 – 4 дня. Через три дня обнаружилось, что из населения в вагоне осталось в живых человек пятнадцать. Кое-как, собрав последние силы, мы сдвинули всех мертвецов в один угол, как дрова. До Вологды в нашем вагоне доехало только одиннадцать человек. Приехали в Вологду часа в 4 утра. Не то 7-го, не то 8-го февраля. Наш эшелон завезли куда-то в тупик, откуда до вокзала было около километра по путям, загроможденным длиннейшими составами. Страшный мороз, голод и ни одного человека кругом. Только чернеют непрерывные ряды составов. Мы с отцом решили добраться до вокзала самостоятельно. Спотыкаясь и падая, добрались до середины дороги и остановились перед новым составом, обойти который не было возможности. Тут отец упал и

> сказал, что дальше не сделает ни шагу. Я умолял, плакал – напрасно. Тогда я озверел. Я выругал его последними матерными словами и пригрозил, что тут же задушу его. Это подействовало. Он поднялся, и, поддерживая друг друга, мы добрались до вокзала. <...> Больше я ничего не помню. Очнулся в госпитале, когда меня раздевали. Как-то смутно и без боли видел, как с меня стащили носки, а вместе с носками кожу и ногти на ногах. Затем заснул. На другой день мне сообщили о смерти отца. Весть эту я принял глубоко равнодушно и только через неделю впервые заплакал, кусая подушку <...>».

Ему, шестнадцатилетнему дистрофику, еще предстояло тащиться через всю страну, до города Чкалова – двадцать дней в измученной, потерявшей облик человеческий, битой-перебитой толпе эвакуированных («выковыренных», как их тогда звали по России). Об этом куске своей жизни он мне никогда и ничего не рассказывал. Потом, правда, стало полегче. В Ташле его, как человека грамотного (десять классов), поставили начальником «маслопрома» – пункта приема молока у населения. Он отъелся, кое-как приспособился, оклемался, стал писать в Ленинград, послал десятки писем – дошло всего три, но хватило бы и одного: мама тотчас собралась и при первой же возможности, схватив меня в охапку, кинулась ему на помощь. Мы еще успели немножко пожить все вместе, маленькой ампутированной семьей, но в августе Аркадию исполнилось семнадцать, а 9 февраля 43-го он уже ушел в армию. Судьба его была – окончив Актюбинское минометное училище, уйти летом 43-го на Курскую дугу и сгинуть там вместе со всем своим курсом. Но...

АН. Судьба распорядилась так, что он стал слушателем японского отделения Восточного факультета Военного института иностранных языков. За время его службы в этом качестве ему довелось быть свидетелем и участником многих событий, но для настоящей биографии имеет смысл отметить только два: самое счастливое – Победа над немецким фашизмом и японской военщиной в 1945 году; и самое интересное – в 46-м его, слушателя третьего курса, откомандировали на несколько месяцев работать с японскими военнопленными для подготовки Токийского и Хабаровского процессов над японскими военными преступниками. Было еще и событие глупое: перед выпуском в 49-м году Аркадий скоропалительно женился, и не прошло и двух лет, как молодая жена объявила, что вышла ошибка, и они разошлись. Слава богу, детей у них не случилось.

После окончания института и до демобилизации в 55-м году Аркадий

служил на Дальнем Востоке, и это был, вероятно, самый живописный период в его жизни. Ему довелось испытать мощное землетрясение. Он был свидетелем страшного удара цунами в начале ноября 52-го года. Он принимал участие в действиях против браконьеров (это было очень похоже на то, что в свое время описал Джек Лондон в своих «Приключениях рыбачьего патруля»)... И еще возникло тогда некое обстоятельство, которое в значительной степени определило его (и Бориса) дальнейшую судьбу. Судьбу писателей.

В марте, кажется, 1954-го года американцы взорвали на одном из островков Бикини свою первую водородную бомбу. Островок рассыпался в радиоактивную пыль, и под мощный выпад этой «горячей пыли», «пепла Бикини» попала японская рыболовная шхуна «Счастливый Дракон № 5». По возвращении к родным берегам весь экипаж ее слег от лучевой болезни в самой тяжелой форме. Теперь это уже история – и порядком даже подзабытая, – а в те дни и месяцы мировая пресса очень и очень занималась всеми ее перипетиями.

И именно в те дни и месяцы Аркадий по роду своих обязанностей на службе ежедневно имел дело с периодикой стран Дальневосточного «театра» – США, Австралии, Японии и т. д. Вместе со своим сослуживцем Львом Петровым изо дня в день Аркадий следил за событиями, связанными со злосчастным «Драконом». И вот, когда умер Кубояма, радист шхуны, первая жертва «пепла Бикини», Лев Петров объявил, что надлежит написать об этом повесть. Он был очень активным и неожиданным человеком, Лева Петров, и идеи у него тоже всегда были неожиданные. Но писать Аркадию давно хотелось, только раньше он об этом не подозревал. И они вдвоем с Львом Петровым написали повесть «Пепел Бикини». (Впоследствии Лев Петров стал большим чином в советском Агентстве печати «Новости», Аркадий не раз встречался с ним в Москве, хотя пути их разошлись. Он безвременно умер в середине 60-х.)

БН. «...писать Аркадию давно хотелось, только раньше он об этом не подозревал...» Еще как подозревал! Уже написаны к тому времени были и «Как погиб Канг», и рассказик «Первые», и вовсю шла подготовка к будущей «Стране багровых туч»... Я не говорю уж о зубодробительном фантастическом романе «Находка майора Ковалева», написанном (от руки, черной тушью, в двух школьных тетрадках) перед самой войной и безвозвратно утраченном во время блокады.

АН. К огромному изумлению Аркадия «Пепел Бикини» был напечатан. Сначала в журнале «Дальний Восток» (во Владивостоке), затем в журнале «Юность» и отдельной книжкой в издательстве Детгиз (в Москве). Но это

было уже после демобилизации Аркадия.

А демобилизовался он в июне 55-го и сначала поселился у мамы в Ленинграде. К тому времени он был уже второй раз женат, и у него было двое детей – дочка трех лет и дочка двух месяцев. И в Ленинграде он крепко и навсегда сдружился с братом своим, Борисом. До того братья встречались от случая к случаю, не чаще раза в год, когда Аркадий приезжал в отпуск – сначала из Москвы, затем с Камчатки и из Приморья. И вдруг Аркадий обнаружил не юнца, заглядывающего старшему брату в рот, а зрелого парня с собственными суждениями обо всем на свете, современного молодого ученого, эрудита и спортсмена. Он закончил механико-математический[68] факультет Ленинградского университета по специальности «звездный астроном», был приглашен аспирантом в Пулковскую обсерваторию и работал там над проблемой происхождения двойных и кратных звезд.

Выяснилось, что у нас сходные взгляды на науку и литературу, выяснилось также, что и Бориса давно уже тянет писать, а к шансам на опубликование «Пепла Бикини» он отнесся скептически, и не потому, что повесть так уж плоха, а просто не верит он, что в писатели выходят так легко. Много, много было у нас бесед, споров и совещаний за те месяцы, последние месяцы 55-го года.

В начале 56-го года Аркадий переехал в Москву и для начала поступил работать в Институт научной информации, а затем перешел в Восточную редакцию крупнейшего в стране издательства художественной литературы, именовавшегося тогда Гослитиздат.

Как уже упоминалось, за это время трижды была опубликована повесть Л. Петрова и А. Стругацкого «Пепел Бикини», и Борис Стругацкий поверил, наконец, что не боги горшки обжигают, и мы написали первое свое научно-фантастическое произведение «Страна багровых туч» и отдали его в издательство Детгиз, и уже рукопись этого произведения удостоилась премии на конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации, а в 59-м повесть эта вышла первым изданием, и еще ее переиздавали в 60-м и 69-м годах.

И мы принялись работать.

1960 – «Путь на Амальтею», «Шесть спичек».

1961 – «Возвращение (Полдень, XXII век)».

1962 – «Стажеры», «Попытка к бегству».

1963 – «Далекая Радуга».

1964 – «Понедельник начинается в субботу».

Одновременно Аркадий активно занимался переводами японской

классики.

Одновременно Борис ходил в археологические экспедиции и участвовал в поисках места для сооружения телескопа-гиганта, а также обучался на инженера-программиста.

БН. Уточнение. Борис никогда не обучался на инженера-программиста. Диссертацию ему защитить не удалось, ибо в последний момент (вот это был удар!) выяснилось, что построенная им, не лишенная изящества, теория уже была построена и даже опубликована в малоизвестном научном журнале еще в 1943 году. Автором этой теории был, правда, великий Чандрасекар, но от этого было не легче. Диссертация рухнула. Борис пошел работать на Пулковскую счетную станцию в должности «инженера-эксплуатационника по счетно-аналитическим машинам». Профессионального ученого из него не вышло, хотя еще много-много лет он с огромным удовольствием занимался разнообразными теоретическими изысканиями в области звездной астрономии. Но только как любитель. И, как любитель, самопально осваивал программирование на ЭВМ, сделавшись со временем не самым безнадежным из юзеров-чайников.

АН. Собственно, можно утверждать, что событийная часть нашей биографии закончилась в 56-м году. Далее пошли книги. (Кто-то не без тонкости заметил: биография писателя – это его книги.) Но никогда не бывает вредно определить причинно-следственные связи времени и событий.

Почему мы посвятили себя фантастике? Это, вероятно, дело сугубо личное, корнями своими уходящее в такие факторы, как детские и юношеские литературные пристрастия, условия воспитания и обучения, темперамент, наконец. Хотя и тогда еще, когда писали мы фантастику приключенческую и традиционно-научную, смутно виделось нам в фантастическом литературном методе что-то мощное, очень глубокое и важное, исполненное грандиозных возможностей. Оно определилось для нас достаточно явственно несколько позже, когда мы поднабрались опыта и овладели ремеслом: фантастическому методу имманентно присуще социально-философское начало, то самое, без которого немыслима высокая литература. Но это, повторяем мы, сугубо личное. Это – в сторону.

Гораздо уместнее ответить здесь на другой вопрос: какие ВНЕШНИЕ обстоятельства определили наш успех с первых же наших шагов в литературе? Этих обстоятельств по крайней мере три.

Первое. Всемирно-историческое: запуск первого спутника в 57-м.

Второе. Литературное: выход в свет в том же 57-м великолепной

коммунистической утопии Ивана Ефремова «Туманность Андромеды».

Третье. Издательское: наличие в те времена в издательстве «Молодая Гвардия» и в издательстве Детгиз превосходных редакторов, душевно заинтересованных в возрождении и выходе на мировой уровень советской фантастики.

Совпадение во времени этих обстоятельств и нашего выхода на литературную арену и определило, как нам кажется, наш успех в 60-х годах.

БН. И снова уточнение. По поводу составляющих успеха.

Наши добрые друзья и замечательные редакторы: Сергей Георгиевич Жемайтис, Бела Григорьевна Клюева и Нина Матвеевна Беркова – да, несомненно! Без них нам было бы втрое тяжелее, они защищали нас перед тупым и трусливым начальством, отстаивали наши тексты в цензуре, «пробивали» нас в издательские планы – в те времена, когда Издатель был – ВСЕ, а Писатель, в особенности начинающий, – НИЧТО.

«Туманность Андромеды» – да, пожалуй. Ефремов продемонстрировал нам, молодым тогда еще щенкам, какой может быть советская фантастика – даже во времена немцовых, сапариных и охотниковых – вопреки им и им в поношение.

Но вот при чем здесь искусственный спутник?

Другое дело, что нам повезло начинать литературную работу свою в период Первой Оттепели; когда одна за другой стали раскрываться страшные тайны мира, в котором нам довелось родиться и существовать; когда весь советский народ, вся наша несчастная Страна Дураков начала стремительно умнеть и понимать – и нам довелось и повезло умнеть и понимать вместе со всеми, совсем ненамного обгоняя большинство и, слава богу, отнюдь от него не отставая. Открытия, которые мы делали для себя, становились одновременно открытиями и для самых квалифицированных из наших читателей – и именно их любовь и признание обеспечили наш тогдашний успех.

АН. Ну, а дальше все покатилось практически само собой. В 1964-м году нас приняли в Союз Писателей, и творчество наше было окончательно узаконено.

Итак, биография по сегодняшний день закончена. А что такое мы сегодня?

Аркадию Стругацкому 61 год. У него ишемическая болезнь, ни единого зуба во рту (проклятая блокада!), и он испытывает сильную усталость.

Борису Стругацкому 53 года. Он пережил инфаркт, и у него вырезали

желчный пузырь (тоже блокада).

БН. «Ну-ну-ну! – укоризненно приговаривал, помнится, Борис, прочитав это место «Биографии». – Это ты, брат, хватанул! При чем здесь блокада?..» По крайней мере, желчный пузырь его, без всякого сомнения, был жертвой отнюдь не блокады, а, наоборот, – самого простительного из смертных грехов, чревоугодия. Единственное последствие блокады, которое он в себе, действительно, наблюдает, – это почти болезненная бережливость, когда рука не поднимается выбросить зачерствелую, забытую в хлебнице, горбушку. Но это уж, видимо, навсегда.

АН. В семейной жизни мы вполне счастливы. У Аркадия жене 60, две дочери, внучка и внук. У Бориса жене 54, сын и внук.

Наши друзья нас любят, враги же ненавидят и справедливо опасаются нас. Кстати, о друзьях и врагах. Друзья наши – люди значительные, среди них – крупные ученые, космонавты, труженики-врачи, деятели кино. А враги, как на подбор, все мелкие, бездарные, взаимозаменяемые, но зато некоторые занимают административные посты...

Аркадий – никудышный общественник. На международные конференции его не посылают. Он даже не числится в Совете по фантастической литературе. Справедливо, наверное. А Борис уже много лет ведет один из самых мощных семинаров молодых писателей-фантастов в стране, член правления Ленинградской писательской организации, член местной приемной комиссии.

БН. Аркадий скромничает. Не такой уж он никудышный общественник. Неоднократно и на протяжении многих лет избирался он членом различных редколлегий, был членом обоих Советов по фантастике (РСФСР и СССР) и даже, кажется, председателем одного из них. Другое дело, что мы никогда не придавали значения общественной деятельности такого рода (если не считать только работы Бориса в Семинаре молодых фантастов – работы, которую он любит и которой гордится).

АН. Аркадий наделал в жизни своей много глупостей и потерял много драгоценного времени. Борис может отчитаться за каждый поступок в своей жизни.

БН. Ума не приложу, что здесь имеется в виду. Скорее всего, то обстоятельство, что семейная жизнь старшего не всегда была безоблачной – в отличие от семейной жизни младшего.

АН. Мы написали 25 повестей (не считая рассказов, предисловий, статей). Насколько нам известно, 22 наших повести переведены и опубликованы за рубежом в 24-х странах 150-ю изданиями и переизданиями.

Аркадий продолжает работать над переводами японской классической прозы (главным образом, средневековой). Борис может по 12 – 14 часов в сутки не отходить от своего домашнего компьютера.

Мы являемся лауреатами одной отечественной и нескольких зарубежных литературных премий. По нашим сценариям снято четыре фильма: один очень скверный, два сносных и один на мировом уровне.

Нас не покидает, а наоборот, все усиливается у нас ощущение, что самая наша лучшая, самая нужная книга еще не написана, между тем как писать становится все трудней – и не от усталости, а от стремительно нарастающей сложности проблематики, интересующей нас.

Аминь.

Москва, 20 августа 1986 года.

Санкт-Петербург 22 апреля 1998 года.

12 октября 1991 года Аркадий Натанович Стругацкий скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Писатель «А. и Б. Стругацкие» перестал существовать.

И вот еще один документ. Последний.

> «Настоящим удостоверяется, что 06 декабря 1991 года прах АРКАДИЯ НАТАНОВИЧА СТРУГАЦКОГО, писателя, был принят на борт вертолета МИ-2, бортовой номер 23572 и в 14 часов 14 минут развеян над ЗЕМЛЕЙ в точке пространства, ограниченной 55 градусов 33 минуты С. широты, 38 градусов 02 минуты 40 секунд В. долготы. Воля покойного была исполнена в нашем присутствии.
>
> *Черняков Ю. И. Соминский Ю. З. Мирер А. И. Ткачев М. Н. Гуревич М. А. Пепников Г. И.*
>
> Составлено в количестве ВОСЬМИ пронумерованных экземпляров».

Всего братья Стругацкие написали и опубликовали 27 повестей (включая одну пьесу и без учета рассказов, статей, сценариев и предисловий). К началу 1998 года повести эти вышли в России общим тиражом более 40 миллионов экземпляров. В 27 странах мира выпущено 365 изданий и переизданий этих повестей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И в заключение – некоторые итоги. Некие окончательные суждения о самой процедуре литературной работы, некие практикой доказанные теоремы, имеющие чисто прикладной характер. Если угодно – основные принципы и заповеди литературного труда, к которым АБС постепенно пришли и которым следовали по возможности неукоснительно. Кое-кто сочтет их, может быть, самоочевидными или даже тривиальными, но, тем не менее, мне захотелось здесь и сейчас их заново и для всех сформулировать – по возможности кратко и ясно.

Первое. НАДО БЫТЬ ЩЕДРЫМ. Надо помнить, что щедрость – писательская щедрость, щедрость воображения – всегда окупается. Не надо бояться отставить идею, которая кажется дьявольски соблазнительной, но по какой-то причине сопротивляется своей реализации. Надо уметь отбросить ее без колебаний, пусть полежит в архиве в ожидании своего часа. Каждая такая идея уже сделала свое дело – самим фактом своего появления на свет. Она уже осветила для вас какой-то уголок бытия, и в этом уголке теперь всегда будет светло. Дурацкую идею отбросить не жалко, она никому, кроме вас, не нужна. А идея достойная обязательно к вам вернется со временем и в самый нужный момент. Как вернулась к АБС идея «нашего человека на Тагоре», через два года после своего возникновения, или идея «человека играющего» – спустя без малого двадцать лет.

Второе. НИКОГДА НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ! Следует привыкнуть к мысли, что кризис, так мучительно переживаемый и кажущийся мертвенным тупиком, – это, на самом деле, прекрасно! Надлежит помнить: если не получается, не идет, заколодило – значит начались настоящие роды! Ведь роды, – и это скажет вам любая мать – это всегда мучительно, трудно и больно. Конечно, приятно и радостно писать, когда текст словно бы сам собою выливается из-под пера. И далеко не всегда – это известно из опыта – легко и весело рожденная повесть легковесна или плоха. Это верно. Но всякая повесть, родившаяся в муках и в отчаянии – она всегда какая-то особенная. Она всегда не такая, как всё то, что было до нее, и не такая, как то, что будет после. Она – любимая, и навсегда.

И наконец, «тройное правило», о котором все знают и которое всегда – в бесплодных поисках Mensura Zoili – забывают.

НАДО БЫТЬ ОПТИМИСТОМ. Как бы ПЛОХО ни написали вы свою

повесть, у нее обязательно найдутся читатели – многие тысячи читателей, которые сочтут эту повесть без малого шедевром.

В то же время НАДО БЫТЬ СКЕПТИКОМ. Как бы ХОРОШО вы ни написали свою повесть, обязательно найдутся читатели, многие тысячи читателей, которые будут искренне полагать, что у вас получилось сущее барахло.

И, наконец, НАДО БЫТЬ ПРОСТО РЕАЛИСТОМ. Как бы ХОРОШО, как бы ПЛОХО ни написали вы вашу повесть, всегда обнаружатся *миллионы* людей, которые останутся к ней совершенно равнодушны, им будет попросту безразлично – написали вы ее или даже не начинали вовсе.

Dixi et animam levavi[69].

Леонид Филиппов
От звёзд — к терновому венку

ЧУТЬЕ НА НЕИСПРАВНОСТИ. Введение

Союз Советских Социалистических республик. Год 1956-й. Двадцатый съезд. Первые глотки грядущей оттепели… 1957-й. Всемирный молодежный фестиваль в Москве. Живем! 1958-й, 59-й… 60-й! Через двадцать лет будем жить при коммунизме. Шестидесятые — годы, давшие имя не просто поколению — эпохе.

Конец пятидесятых — начало шестидесятых: время появления на свет «Страны багровых туч» и «Пути на Амальтею». Уже написаны «Полдень, XXII век» и «Стажеры». Родилось новое имя и — новое явление в русской литературе.

Коммунизм… В ментальности многих из нынешнего юного поколения — едва ли не синоним фашизма. Споров и эмоций вокруг этой темы — предостаточно. Но кто может сказать толком: что это такое — коммунизм? Отвлеченная идея теоретиков, опошленная и дискредитированная нашими «практиками» — да, банально. А если бы все было чисто, если бы не опошляли — реально хоть что-то за этим термином стоит? Кроме вот этого вот, заболтанного до потери всякого смысла: «От каждого по… — каждому по…»? Где бы на этот самый коммунизм глянуть хоть одним глазком? Может, в кино или в какой-нибудь книге?.. Но — чтобы был живой, а не схема и не антиутопия — то со снами Веры Павловны, то с тайной полицией за каждым углом…

Что ж, ОДНО такое место есть — где коммунизм получился живым. Именно книга. Точнее — книга и ее «ответвления». Тот самый мир, который мы уже традиционно называем словом «Полдень». Мир, вполне достоверный психологически, без деклараций типа «каждому, от каждого». Да, да, конечно же, авторам пришлось пойти на некоторое смещение ракурса. Но — не на ложь! Где-то там, за кадром Полудня, остались мещане, сперва отмеченные одним штрихом, представленные лишь Марией Сергеевной Юрковской. Позже будут и «Хищные вещи века», и «Гадкие лебеди», и другие — уже инопланетные — антиполуденные миры. А пока — лишь мир счастливо работающих людей, бесспорно лучший и правильнейший из миров. Мир, в котором МЫ хотели бы жить всегда. Мир Полудня. Мир Понедельника.

И вот надо было быть такими людьми, как АБС, обладать таким — воистину вселенским — запасом светлого оптимизма и веры в Человека, чтобы, живя ЭТОЙ жизнью и в ЭТОЙ стране, суметь (пусть недолго, но все

же суметь) писать на такую тему убежденно и, главное, в самом деле правдиво. Создать не ходульный, не прозрачный, но живой и осязаемый коммунистический мир в те самые времена, когда одно упоминание о «коммунистическом обществе» у подавляющего большинства ЗДЕСЬ могло вызывать какие угодно чувства и ассоциации — но только не радость и не желание в нем жить… Мир Полудня был не идеальным — со своими задворками, где победила инстинктивная деятельность, со своими выбегаллами и камноедовыми, с мариями юрковскими… Но ведь то — в виде исключения! Общая же картина упорно оставалась позитивной. «Зло» противостояло Полудню отдельными резервациями, будь то феодально-фашистская планета Саула, курортный «город дураков» или едва заметные на общем светлом фоне вкрапления нищих духом — в *международном* городе-космопорте Мирза-Чарле или на астероиде Бамберга.

Светлый, «чисто полуденный» период в творчестве Стругацких недолог. Чуть позже они начинают строить свои миры иначе: помещать в резервации, за колючую проволоку само светлое *будущее*, ограждая его от мира *настоящего*. И тогда прием переворачивается с головы на ноги. Фантастичным становится лишь механизм локализации «щупалец будущего», а это требует на порядок меньших допущений. И именно этот период становится переходным от «фантастики как таковой», в которой мир все же сконструирован (будь то экстраполяция обычной партийно-социалистической штурмовщины на межпланетный уровень или проекция веселой шарашки энтузиастов-трудоголиков на целую планету), — к *фантастическому реализму*, где мир вполне обычен, за исключением малой, строго локализованной группы явлений — фантастического допущения. Эффект достигается несравненно больший, нежели при конструировании мира как целого, ибо мы, читатели, получаем возможность наблюдать пограничные эффекты при соприкосновении фантастического артефакта с привычной нам реальностью. Такая граница может быть обозначена колючей проволокой лепрозория, таможней на въезде в город дураков или кордоном, отделяющим Лес от Управления… В любом случае достигнута главная цель: настоящее входит в контакт с неизведанным. В одних книгах привычное помещается как бы на Землю, а новое локализуется где-то вне мира большинства («Понедельник начинается в субботу», «Улитка на склоне», «Второе нашествие марсиан»), в других — в точности наоборот («Попытка к бегству», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров»).

Таким образом, видим три «типа» *фантастических* произведений АБС:

Тип первый. Чисто «полуденные». «Возвращение», «Далекая Радуга», «Малыш» — там нет пограничья, нет соприкосновения нового со старым (за исключением, конечно, внутреннего конфликта, в одном человеке).

Тип второй. Такие, где в знакомый нам, вчерашне-сегодняшний мир Земли (если в чем-то гротескно измененный, то не настолько, чтобы перестать быть узнаваемым) вторгается нечто извне или из будущего. «Хищные вещи века», «Второе нашествие марсиан», «Пикник на обочине», «За миллиард лет до конца света», «Гадкие лебеди».

Тип третий. Все в точности наоборот. «Попытка к бегству», «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Парень из преисподней».

Практика показала, что для массового читателя Стругацких (с той долей условности, с какой этот читатель вообще может быть назван массовым) самый увлекательный — вариант номер три. Более того, если судить по динамизму «экшн», эти книги сильнее затягивали и самих авторов. Повести «третьего типа» (то есть такие, в которых «хорошие» земляне будущего, дети Полудня лицом к лицу сталкиваются с воплощенным злом — собственным темным прошлым, помещаемым на другие планеты) оказались к тому же наиболее близкими к реализму. Используемый в них прием допускает плавный, незаметный переход к «нефантастической» литературе, к книгам вовсе без «чудесного» допущения. В самом деле, если основная структура описываемого мира вполне подобна структуре мира нашего («Трудно быть богом», «Обитаемый остров»), отличаясь лишь прорисованными артефактами и антуражем, а «вмешательство извне» не сопровождается никакими особыми техногенными допущениями, то легко представить это самое вмешательство маргинальной производной серого мира. Не столь уж многого — чисто технически — надо лишить благородного дона Румату, чтобы он стал «всего лишь» нормальным человеком с коммунарским мышлением, попавшим по какой-то ошибке природы в серое окружение. Более того, не так много надо изменить и в его душе, чтобы он коммунаром быть перестал — и принялся «играть по правилам» окружающего мира. Что, собственно, и происходит в «Трудно быть богом».

За феодально-фашистским Арканаром следует империалистически-фашистская страна Неизвестных Отцов на Саракше. За Руматой — Мак Сим. Его ситуация еще менее фантастична, ибо за ним, до его встречи с Сикорски, и вовсе не стоит никакая сила. Он — один на один со своим обитаемым островом, и все его физические и моральные преимущества — это лишь преимущества постоянного, «сквозного» героя Стругацких над мещанским окружением. Качества эти вовсе не обязательно появляются в

результате воспитания за тридевять миров от Саракша. Для авторов главное — столкнуть Человека (желательно — совсем молодого) с массой серых, или черных, или «голых пятнистых обезьян»… Ведь встретил же Мак себе подобных в стране Отцов. Как, впрочем, и Румата — в Арканаре, и Корней — в Алае… Встретили они кое-кого и умнее себя. Концовка же «Парня из преисподней» и вовсе содержит прямое указание: всюду есть Люди, дело не в коммуне. А от этого уже один шаг до главного: братья Стругацкие пишут не столько о контактах человечества с иным разумом, сколько о контакте Человека с человечеством. Точнее — с массой. При таком взгляде на творчество Стругацких классификация выстраивается уже не по внешним признакам, а по сути. И получается она несколько иной.

Этап первый. «Страна багровых туч», «Чрезвычайное происшествие», «Спонтанный рефлекс»… Чистая НФ плюс немного соцреализма. Люди в экстремальных обстоятельствах. С высоты опыта квалифицированного читателя Стругацких уже очевидно, что никакая фантастика, скажем, в «Стране багровых туч», была попросту не нужна. Точнее, нужна лишь для привлечения внимания. Как первые две строчки в частушке. Сам же человеческий конфликт нового ничего не содержит и легко может быть перенесен, скажем, в условия Заполярья. Сухой остаток — польза от фантастики как приема: можно с ее помощью завлечь читателя размышлять над ЛЮБОЙ темой. Важно лишь тщательно взвесить соотношение антуража и «человеческого фактора». В будущем Стругацкие назовут такое соединение привлекающей оболочки и более глубокой внутренней структуры «облаткой», или «философским борщом»…

Этап второй. «Путь на Амальтею», «Стажеры», «Полдень»… Отчетливо и резко выступает на первый план человек. Выясняется, что штурм других планет НИЧЕГО не меняет в самом землянине. Правда, «плохие» качества этого самого землянина упорно прячутся авторами в зоне «за железным занавесом». Но это — всего лишь требование времени и строя. Да издержки инерции. А сапиенти, как известно, сат.

Перелом — как в сознании писателя по имени АБС, так и в создаваемых им книгах, — приходится на тот момент, когда ЛУЧШИЕ решают вернуться из Космоса на Землю. Первый из них — Иван Жилин. Пользуясь метафорой Толкиена, можно сказать: они, лучшие, прошли весь путь *туда и обратно*, убедились, что ума, воли и решимости бороться им не занимать, и тогда обратили внимание, что в их уютной земной обители вопрос о том, куда сесть и что съесть, успешно решен, — однако проблем чисто человеческого плана от этого меньше не стало. Скорее наоборот. Вот они, лучшие, и возвращаются: выбирают не Космос, а Человека. Ведь

именно они — Иван Жилин, Геннадий Комов, Леонид Горбовский, Тойво Глумов — обладатели изумительного чутья на неисправности. Как, впрочем, и их создатели.

Однако Ивану Жилину (да и самим Стругацким) нужно было время, чтобы пройти путь от возвращения на Землю до ухода из зоны борьбы — в зону Учительства. И не только время. Нужна была еще и некая драматургическая подготовленность такого ухода. Подобная той, какая присутствовала в возвращении из Космоса (то есть из «фантастики») — на Землю, к главному. Драматургически уход Жилина начался с отторжения им (а, стало быть, и самими Стругацкими) псевдоромантики подвига, воплощением которой был Владимир Юрковский. «…В наше время история жестко объявила Юрковским: баста! Никакие открытия не стоят одной-единственной человеческой жизни». Сказано — и читателю, и самим себе — практически напрямую: Юрковский как герой себя исчерпал. И остается ему теперь всего один выход на сцену. Выход красивый, героический. Но — последний… И далее, в полном соответствии с законами драматургии, Жилин также сходит со сцены — после смерти старших. Обязательства перед Космосом — и Жилина, и Стругацких — исчерпаны. Теперь Ивану — до нового его появления на подмостках, в «Хищных вещах века», — предстоит, как мы знаем, воевать на Земле. Расходуя остатки набранной в Космосе инерции роли человека-повелителя, БОРЦА со злом. Примерно так же ведут себя и создатели героя («Попытка к бегству», «Трудно быть богом»). Молодой энергии АБС пока достаточно для активной борьбы. Так что и Жилин на своих войнах, и Стругацкие на своих — учатся. Учатся тому, что в БОРЬБЕ им счастья уже не найти. И уверенно идут к новому этапу. Уже в «Возвращении»: «Пойду в учителя. Детские души я буду познавать для всех. А вот для кого ты будешь познавать звезды?»

«Хищные вещи века». Здесь впервые отчетливо и недвусмысленно формулируется кредо Стругацких: *гуманизм*. Буквально. С этого момента и навсегда они отходят от любого из общепринятых путей «фантастики». В самих «Хищных вещах» «космические» допущения не нужны вовсе. Да их там, собственно, и нет — если отбросить мелочи. Увлекательный сюжет, чистый триллер (по внешним признакам), вполне законченно выстроенный и не нарушающий законы жанра (в отличие, скажем, от «Отеля „У Погибшего Альпиниста“»). Здесь уже можно увидеть найденное за период между «Стажерами» и «Хищными вещами» золотое сечение: идеальное педагогическое соотношение между дозой «экшн» и дозой «морали». Каковое соотношение и позволило Стругацким разработать золотую жилу

«учебно-приключенческой» литературы. Книги этого жанра и стали базой неповторимой, уникальной популярности Стругацких среди интеллигенции — от учеников физматшкол до академиков включительно. Ибо именно таким книгам — книгам, которые воспитывают смену, — всегда достается диплом. Эти повести не ушли в небытие вместе с наивными восторгами шестидесятых — как это случилось со «Страной багровых туч». Они живы, и их читают. Не только те, кто на них вырос, но и те из нового поколения, кто читает Литературу.

Однако книги эти еще не были элитарными. Они обладали всеми качествами добротно изготовленной пилюли — включая не только «сладкую оболочку», но порой и сладкие слова, которыми авторы прельщают противника. Чем и отличались от произведений совсем нового жанра, еще не знакомого читателям Стругацких, — жанра, никак официально не именуемого. Датой рождения его — как и рождения качественно новых, *третьих* Стругацких — был год 1965-й, год появления рукописи «Улитки на склоне». Именно в этой книге Стругацкие впервые отбрасывают сладкую оболочку пилюли, и мы, читатели, получаем содержимое во всей его неприкрытой горечи.

Итак, этап третий. И — новые Стругацкие. Уже не «просто фантасты», авторы прогрессивно-просветительской НФ (вроде «Чрезвычайного происшествия»), и не «фантасты-реалисты», создатели интеллектуально-гуманистических приключенческих повестей, владеющие филигранной техникой завлечения думающего читателя. Стругацкие третьего периода — это не «сюжет ради сюжета» и не «сюжет плюс идея». Что же тогда?.. Велик соблазн продолжить простенькую логику и надписать третий ярлычок: «только идеи, без сюжета» — все стало бы таким простым и логически замкнутым… Только была бы это неправда. Ибо на третьем этапе из красивой и интересной гусеницы, а вслед за ней — еще более интересной куколки, родилось нечто качественно иное, простым продолжением первых двух элементов не являющееся. Книги двух первых этапов были лишь разминкой, лишь набором сил и пробой пера. В этих словах нет пренебрежения. Разминка чемпиона уже сама по себе — зрелище увлекательное и поучительное. Куда увлекательней, нежели финальные старты районного масштаба. Повторюсь: созданное АБС в период «идеальной пилюли» (а период этот вовсе не закончился с появлением «Улитки») и сегодня остается золотым фондом мировой «учебной Литературы». И, смею утверждать, останется таковым навсегда. Не знаю, что ждет Литературу в будущем, но одно можно утверждать смело: в ЭТОЙ экологической нише на уровне АБС нет никого. И пока что

не предвидится. «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Пикник на обочине», «Жук в муравейнике» — вершины жанра. Тоже, кстати, жанра без устоявшегося названия. Ибо это — не «фантастика»: не «НФ», не «фэнтези», не «хоррор»… А попросту то, что писали АБС и только АБС.

И все же в определенном смысле это была именно разминка. Конечно, авторы тогда, в годы ученичества, а позже — и учительства, и не предполагали даже, к чему в конце концов придут. Они во многом еще действовали от ума, преодолевая инерцию самых первых лет — когда Аркадий Натанович в письмах требовал от младшего брата очередной порции научных данных по заданной «космической» теме… В те, самые первые годы, когда такого писателя — АБС — еще попросту не существовало, была СХЕМА работы: формулирование идеи, очень конкретной, порой попросту научной, ее отливка в сюжетообразующую форму — и рассказ готов. Два талантливых, умных, высокообразованных (к тому же — в совершенно разных областях) брата, более того — два друга и единомышленника, нашедшие некий успешно работающий алгоритм… Неудивительно, что они загнали себя в колею. Удивительно (и радостно) другое: они очень быстро, почти мгновенно колею эту почувствовали и оперативно из нее выбрались. А ведь многие на их месте так и писали бы — годами и десятилетиями. Вариации на тему — и поныне вполне почитаемый в массах жанр. Всё, как прежде: учителей все время не хватает, а космолетчиками хоть пруд пруди.

Но, даже преодолев первую, самую опасную инерцию — инерцию схемы, алгоритма, — Стругацкие и на втором этапе рисковали застрять навсегда. Там не было такой простой, заметной невооруженным глазом колеи, как на дороге времен «Спонтанного рефлекса», зато были свои направляющие, пожалуй, стократ более опасные. Да, написанное в годы «второго этапа» и талантливо, и умно, и интересно. Прежде всего — интересно думающему читателю. Более того, книги, далеко не однотипные, принесли авторам и широкий читательский успех, и признание интеллектуалов. Редкое сочетание! Остаться в ТАКОЙ колее — более широкой и практически незаметной — даже и не грех. И кто бы рискнул сказать о ТАКИХ книгах что-то подобное — про колею?!

Однако Стругацкие сами оказались достаточно юными и непоседливыми и на сей раз. Ибо истинный фантаст — это прежде всего человек, больной ксенофилией. Плюс — как всякий художник вообще — наделенный исключительным чутьем на неисправности. Ведь ниша («норка» — по Толкиену) была уже обжита Стругацкими. Многоэтажная, благоустроенная с немалым простором для фантазии… И в ней прижились

многочисленные «ученики» и «последователи», искренне воображающие, будто они вовсе не осели на готовом, а продолжают идти вперед и «искать». А хозяева… Рыба ищет, где глубже, а человек — где хуже. Нет, хозяева дом не покинули: и вывеска с их именем по-прежнему оставалась на месте, и сами они в доме этом бывали. Наездами. С годами — реже и реже. Обеспечивая соблюдение светских приличий. Но — и не более того.

Лишь немногие из учеников — самые чуткие и непоседливые — это заметили и покинули дом вслед за хозяевами. Точнее, не так: не «вслед», а — каждый по своей дороге. Потому что юношеское «на жизнь надо смотреть проще» у них, как и предсказал Жилин, прошло. Единицы же из них, самые-самые настоящие, ушли даже раньше самих мэтров. Оттуда, где все хорошо, где тревоги учебные, аварии понарошку, — туда, где гораздо хуже. Ушли, не ожидая, пока поведут… Сперва совершали небольшие разведывательные вылазки. А потом — и вовсе… Впрочем, и они тоже — не настолько «вовсе», чтобы не заглядывать на огонек. Порой — втайне от самих себя.

Мэтры же упорно прокладывали новую трассу. И очень скоро привело это к тому, к чему приводит такое занятие всегда: рядом с ними никого из бывших попутчиков не осталось. Немногие ищущие разбрелись кто куда, а большинство так навсегда и осталось в большом обжитом уютном доме «Лучшей советской фантастики» — времен Мака Сима и Руматы Эсторского. Флигелей понастроили, повесили на них красочные вывески со своими именами — к лесу лицом, а к Лесу — задом…

Новых же попутчиков в эти честные, холодные, постучительские времена уже не было. Так же, как у Горбовского. Да оно и понятно: в выпускаемой Мастерами «продукции», не снабженной теперь сладкой оболочкой, стало многовато горечи — для новичков. «Ужасно, — сказал Леонид Андреевич. — Вы знаете, я чувствую, что с каждым днем становлюсь все скучнее и скучнее. Раньше около меня всегда толпились люди, все смеялись, потому что я был забавный. А теперь вот вы только… и то не смеетесь».

Если же появлялся некто, способный работать вот так — вовсе «без прикрытия», — то это был уже воин, достаточно закаленный для Пути, одиночка, знающий все радости и горести этой дороги. Он не ждал от судьбы ни тиражей, ни понимания «читательских масс», ни, тем более, успеха. Соответственно, не нуждался он и в любых видах тусовки, будь то фэнзины, съезды и коны, или ДАЖЕ семинар БНС. Впрочем — о чем это я тут?! Можно подумать, будто такие воины-одиночки часто рождаются… И сами-то Стругацкие прошли многолетнюю закалку, прежде чем достигли

умения не к народу говорить, но к спутникам. Более того — к спутникам виртуальным, может быть, даже — еще и не родившимся. Проще говоря, умения писать не «для чего», а «почему».

Совсем не факт, что подобное умение должно быть вообще доступно людям, начинавшим свой путь едва ли не с просветительской деятельности. И то, что из-под пера авторов «Шести спичек» появились с годами такие вещи, как «Улитка на склоне», «Град обреченный» или «Отягощенные Злом», — поистине чудесно. Ибо путь этот вряд ли исповедим. Вот многие молодые сегодня — в том числе и «из фантастов» — искренне верят, что удалось им отряхнуть с ног прах сюжетности, стать русскими борхесами. Да только не видно что-то на горизонте книг масштаба «Улитки»… Есть и такие, кто с самого начала не только от фантастики любого рода, но и вообще от «экшн» стоял настолько далеко, что и за литературу все это не держал. Причисляющие себя к куда более высоким сферам. Но… но кто укажет в их творчестве нечто воистину новое… («Так, — сказал Кондратьев. — Значит, писатели не стали лучше?») Однако как все же быть с «третьим этапом» творчества Стругацких? Уж коли начали мы это неблагодарное занятие — с навешиванием ярлыков… Куда относить хотя бы тот же «Град обреченный»? А вот именно туда и относить — к не слишком строго определенной зоне литературного творчества, именуемой порой «магическим реализмом». При этом АБС, пожалуй, ближе всех стоят ко второй части определения: в книгах «третьего периода», как и ранее, сохранилась одна доминанта — гуманистическая. Или, говоря нормальным языком, во всех ситуациях — от падения в Юпитер в фотонном межпланетнике с поврежденным главным зеркалом и до разговора за столом при свечах нескольких испуганных интеллигентов города Питера — всегда по-настоящему интересно одно: реакция человека на внешние условия, будь эти условия «научно-фантастическими», «магическими» или предельно обыденными. Фантастика как таковая постепенно перешла в истончающуюся оболочку, потеряв остатки свойств самоцели. Так что, когда идея пилюли потеряла актуальность, сама собой отпала и надобность в сколько-нибудь заметном фантастическом приеме. Произошло это не в одночасье, симптомы жилинской мучительной раздвоенности заметны были уже и на первом этапе: фантастичность построений в книгах АБС упорно уходила на второй план, стоило героям космоса заговорить о чем-то чисто человеческом.

Все эти годы «подготовительной» работы, переходные «от фантастики», дали авторам время на поиск и шлифовку собственного стиля. И когда красивая оболочка истончилась и опала, плод, который под

ней вызревал, открылся нашему взору вполне готовым к употреблению. Да, как и было сказано, плод этот оказался горьким. А при поверхностном рассмотрении — совершенно несъедобным и даже червивым. Как, впрочем, и положено всякому яблоку Познания Добра. Зато был он, этот плод, и оригинальным, и питательным, и ни на какой другой непохожим.

И все же, возвращаясь к теме ярлыков, рискнем вспомнить старое определение: *русский гуманистический реализм*. Не использовать ли это готовое словосочетание для «ярлыка номер три»? Отсутствие здесь слова «фантастический» (или «магический»), по зрелом размышлении, смущать не должно. Смутить в подобном ярлыке может другое — подозрительная расплывчатость. Вспомним русскую литературу: под эдакое-то определение подходят едва ли не три четверти всей настоящей прозы последних двух столетий. Само по себе это ни о чем не говорит: прав Виктор Пелевин, утверждая, что в русской литературе куда ни плюнь — обязательно что-нибудь да продолжишь. Это — во-первых. А во-вторых, как говорится, разница все-таки есть. Не надо только бедное заболтанное слово «гуманизм» прочитывать в привычно-расширительном ключе, по-школьному подводя под него едва ли не обязательную ангажированность нашей литературы — от залитого кровью «Тараса Бульбы» и до вдохновенно-прозрачной, но не менее от этого кровавой «Молодой гвардии». Нет, давайте вернем слову его чистое исходное значение — буквальное, от слова «человек». Ибо в книгах Стругацких именно он, *человек* — как раз то самое, что в точности отвечает словам Ивана Жилина: «Во всякой жизни, как и во всяком деле, главное — это определить главное».

РАЙ ДЛЯ БЛАГОРОДНЫХ. «Полдень, XXII век»

Симпатий к Хемингуэю Стругацкие не скрывали никогда. Как и того факта, что в молодости многое взяли от его литературного метода. В «Возвращении» АБС неоднократно ссылаются на него едва ли не напрямую, в особенности же — названием последней части (и, одновременно, последней новеллы). Однако и в этой ссылке, и в самой новелле содержится очевидное противопоставление, и это — не случайность.

АБС в своем творчестве с самого начала выбрали путь наибольшего сопротивления — в отличие от Хемингуэя. Как бы парадоксально это ни звучало. Хэм совершенно сознательно шел дорогой *спортсмена* — и в жизни, и в творчестве. Именно в том понимании слова «спортсмен», которое принято в Высшей школе космогации. («Сережа чувствовал, что еще немного — и он наговорит грубостей и начнет доказывать, что он не спортсмен».) Писатель шел по этому пути сам и вел по нему своего героя, создавая для него сначала трудные, а позже, с годами — и попросту нечеловеческие условия — на выживание. Но — создавая их *искусственно*. Хемингуэй, как и каждый из братьев Стругацких, был сыном войны — войны, которая сделала его поколение потерянным. И он остался таким до конца, так и не сумев создать не то что счастливого, но и попросту самодостаточного героя. Тех жизнеутверждающих сил, какие кипели в *двужильных* АБС, вернувшиеся с бойни «потерянные» в себе не нашли. Они, как и их герои, рвались назад, к войне, укрепляя миф о невозможности или, как минимум, неинтересности счастливого человека. В истории русской литературы «подтверждением» этого мифа служил провал Чернышевского, с его новыми людьми и светлым будущим — на фоне Достоевского и Гоголя. И даже на фоне куда более оптимистичных Толстого с Тургеневым…

Стругацкие очень хорошо знали литературу. Более того. Литературу они очень любили. Хорошую литературу. И русскую, и мировую. Тем большая смелость потребовалась от них, чтобы рискнуть встать на путь «описателей счастья» — как казалось тогда всем (и как кажется ныне многим), никуда не ведущий. Направление взгляда художника во времени и задает ключевое противопоставление. У Хэма — «не будете», у АБС — «будете».

Ни в малейшей степени не была свойственна начинающим писателям

Стругацким глупая юношеская наивность, порождаемая исключительно невежеством. Всё они отлично знали, и тем не менее верили — получится. Попытаемся представить себе это сегодня: повидавшие самые что ни на есть реальные ужасы войны, не такие уж и юные люди, филолог и астроном, еще только нащупывающие свое писательство, принимаются строить целый мир (точнее — даже миры) счастливых людей, людей реального земного коммунизма! На подобное, если можно так выразиться, поведение могло толкнуть одно из двух: или полное безрассудство, или, напротив, такая вселенская уверенность в своих силах, такая гордыня, что Мор и Кампанелла покажутся на подобном фоне застенчивыми новичками-неудачниками. Каковыми, впрочем, они и являются: творцы утопий и солнечных городов не слишком-то преуспели в создании живых картин общества будущего: с одной стороны, в их идеальные миры никак не получается поверить, а с другой — очень уж знакомые черты просматриваются в описаниях рая на земле. («Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов».) Напротив, АБС с самого начала отказываются именно и прежде всего от «непохожих» построений, от утопических миров, населенных сконструированными от ума «новыми людьми», которые ничего, кроме вдохновенной прозрачности, своему апологету не сулят. Каким бы ни был описываемый Стругацкими мир, всегда работает ключевое правило: герои — живые люди. Да, отборные. Благородные. Но — живые! И каждый из них, пусть даже лучший из лучших — совершенно обыкновенный человек, должен вам сказать… Разве что глаза особенные — как у детского врача. Ну и улыбка еще — милая и какая-то детская… Что же до человека *по-настоящему* нового, то описывать его всерьез — дело опасное и неблагодарное. Ведь это будет уже совсем другой человек. Какой? А этого мы и сами еще как следует не понимаем. Ведь это мечта…

*** * ***

Не только по степени юношеской веры в Человека, но и по чисто литературным признакам «Возвращение» следует относить к раннему периоду в творчестве Стругацких. Слишком заметны в книге следы недавнего «научно-фантастического» прошлого. Лучший пример — пятистраничное описание Института Физики Пространства и его

«научной» деятельности. Весь кусок столь явственно выпадает из ткани повествования, что сразу ощущаешь: это — НЕ ТЕ АБС. Все тут от ума, вымученно, неинтересно. Какие-то гигантские взрывы, золотой(!) памятник, шахта к центру Земли… Позже ничто подобное в книгах АБС уже не встречается. Атавизм. Литературной нагрузки подобные периоды не несут — потому и отмерли. А потом, в «Понедельнике» все это осмеяно; и, смеясь, Стругацкие с этим прошлым расстались легко и навсегда. Как Пушкин — с псевдоромантизмом, осмеяв его в самопародийных стихах Ленского. Ибо — темно и вяло. До полной прозрачности.

За исключением «НФ-атавизмов», прочее в «Возвращении» уже, что называется, в порядке. И прежде всего — великолепный язык: в лучших традициях русской литературы и в то же время — ни на какой другой не похожий. «— Нет, — сказал Лин. — Останься со мной. Разве твой Лин когда-нибудь обманывал тебя? И Поль подчинился. Он ласково потрепал Лина по необъятной спине, встал и подошел к балюстраде. Солнце зашло, на ферму опустились теплые прозрачные сумерки. Где-то близко играли на пианино и очень красиво пели на два голоса. Эхе-хе! — подумал Поль. Он перегнулся через балюстраду и тихонько испустил вопль гигантского ракопаука, потерявшего след».

Однако попытки языкового анализа «Возвращения» рождают и грустные размышления: о том, каких чисто литературных высот могли бы достичь ТАКИЕ мастера, живи они, выражаясь языком китайской мудрости, в менее странные времена. Ведь фантаст — это не просто человек с богатым воображением, не только нестандартный *мыслитель*. Но прежде всего — художник. Способный, в частности, и к нестандартному *чувствованию*. Порой — на грани сюрреализма. «Славин присел на камень и загляделся. Океан блестящей стеной поднимался за бухтой. Над горизонтом неподвижно висели синие вершины соседнего острова. Все было синее, блестящее и неподвижное, только над камнями в бухте без крика плавали большие черно-белые птицы». Сегодня мы можем только гадать, во что вылилось бы подобное «инопланетное» видение мира, окажись его носители в обстановке, не столь жестко навязывающей истинному художнику роль Учителя… Но история литературы, как и всякая история, не признает сослагательного наклонения.

С ТИХОЙ РАДОСТЬЮ. «Стажеры»

«Здесь тоже все очень забавно перемешалось. Рядом с традиционными шишкинскими медведями красовалось большое полотно, покрытое флюоресцирующими красками и ничего особенного не изображавшее. Некоторое время Юра с тихой радостью сравнивал эти картины. Это было очень забавно».

Вот именно это умение «забавно перемешать» знакомое с фантастическим, настоящее с Будущим — уникально. Так не умел никто. А теперь уже и никогда не сумеет. Да и некому. Полдень в этом смысле неповторим — и в творчестве АБС, и в литературе вообще. А в литературе русской — стократ. Коммунизм — это, знаете ли, как угодно, но никак не «забавно».

В «Стажерах» можно найти начала многих излюбленных тем Стругацких-Учителей. Прежде всего, это тема Теории Воспитания. Здесь все пока что просто, с легкостью раскладывается по полочкам. Подробно расписанной мучительной раздвоенности будущего Учителя — Ивана Жилина — противопоставляются позиции нескольких «типичных представителей». Вот практик-трудоголик Дауге, символ уходящего поколения. Он не считает воспитание не только возможным, но даже и нужным: «А чему их учить?.. Смелости его учить? Или здоровью? А больше ведь, по сути дела, ничего и не нужно». Далее, еще две реплики — оптимиста и пессимиста. Оба, так сказать, из-за кордона. Пессимист: «Человек же по натуре — скотинка. Дайте ему полную кормушку, не хуже, чем у соседа, дайте ему набить брюшко и дайте ему раз в день посмеяться над каким-нибудь нехитрым представлением. Вы мне сейчас скажете: мы можем предложить ему большее. А зачем ему большее? Он вам ответит: не лезьте не в свое дело. Маленькая равнодушная скотинка». А вот оптимист (позиция его, правда, примитивна и позднее Стругацкими будет отвергнута — как в варианте «гипноизлучателей на полюсах», так и в варианте «использования башен для других целей», так что оптимист он, скорее, в кавычках): «А человек ведь не скотина, Сэм. *Внушите* ему с пеленок, что самое важное в жизни — это дружба и знание, что, кроме его колыбельки, есть огромный мир, который ему и его друзьям предстоит завоевать, — вот тогда вы *получите* настоящего человека». И, наконец, мнение *адресата* — Юры Бородина. В теории, на словах Юра выступает исключительно за конкретное дело, и притом — дело в Космосе. Рассуждения Жилина о

Воспитании Человека кажутся ему хотя и правильными, но чуждыми. «Безнадежным казалось это дело. Или скучным». Однако это — на словах. На деле же и он, в точности как его учитель, Жилин, как сами АБС в этот период, не чужд некоторой раздвоенности: «Жаль, не успел я его, подумал Юра. На минуту ему даже расхотелось лететь на Рею. Захотелось надеть красную повязку и присоединиться к этим крепким, уверенным молодым ребятам».

Как видим, Стругацкие уже с первых книг оставляли на своем пути немало нерешенных вопросов. Точнее — решенных весьма неоднозначно. Делали заначки — на Будущее. Искренне жалея при этом, что мир слишком велик и нельзя рассказать сейчас же обо всем, что известно и что неизвестно…

Впрочем, эпилог в «Стажерах» прочитывается сегодня вполне однозначно: как эпилог к творческому и жизненному этапу. Честное прощание с наивными идеями периода ученичества; с неумными чудаками — высокими, широкоплечими, с раскатистым беззаботным смехом и уверенными движениями; со всеми, для кого их красивые слова и картинные жесты («Осторожные сидят на Земле, Август Иоганн. Специфика работы, Август Иоганн! — и щелкнул крепкими пальцами») стали все-таки твердокаменными заблуждениями…

Всё.

Главное — на Земле.

БОГ БЕРЕТСЯ ЧИСТИТЬ НУЖНИК. «Бедные злые люди»

Этот рассказ — *отдельное* произведение. В нем — напротив, пролог к новому этапу, прорыв в зону Учительства. К сожалению, форма рассказа оказалась слишком краткой для этой зоны. Рассказчик «не успевает» объяснить, выписать историческую канву, декорации. Да и вообще — не место в ШКОЛЕ лаконизму.

Однако идея будущей повести «Трудно быть богом» (а именно таково первоначальное название рассказа) — уже налицо: «Когда я думаю, что, не будь его, Аллан и Дерек остались бы живы, мне хочется сделать что-то такое, чего я никогда не хотел делать».

Одна из новых дорог обозначена. А с короткой формой с этого момента покончено навсегда.

РАЗ ВЫ ХОТИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО… «Попытка к бегству»

В «Попытке» Стругацкие делают важный шаг в освоении новой изобразительной техники. Они решительно отказываются от ефремовского способа подробного описания всей структуры общества будущего, НА ФОНЕ которого даны портреты хороших людей. Здесь впервые — все как раз наоборот: декорации почти не прорисованы, зато есть люди. Их мало, но они точно в фокусе. И этого вполне достаточно: имея их пред глазами, мы можем достроить недостающее в картине окружающего мира. Именно в таком контрасте — не на фоне фантастических достижений техники или социологии, но НА ФОНЕ ЛЮДЕЙ — и дан Саул: как явственно чужой, внешний для этого мира. Хотя, возможно, именно он и есть наиболее живой и органичный герой повести. Не потому, что он из нашего мира. Но — по цельности характера.

Итак, «Попытка» — безоговорочно вещь второго этапа. Ни слова о технике будущего как таковой. Любая конкретика — только к слову, только как аксессуар. (А ведь именно в этой книге впервые появляется квазиживой космолет. И — *вообще отсутствует* его описание, даже описание внешнего вида. Не говоря уже о таких «давно умерших» приемах, как изложение принципа действия. «Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-либо изучен досконально, потому что никому не нужен».) В итоге решаются сразу две задачи: повышение реалистичности — ведь *для них там* все это привычно, так что и внимание заострять особо не на чем: ну, космолет, ну, живой, делов-то! — и огромная экономия авторских сил и читательского времени. К тому же, попытка описать то, что описать невозможно в принципе, непременно выставила бы авторов в глупом свете: кому интересно оказаться в положении шимпанзе, пытающейся писать роман о людях… Куда лучше, если ирония исходит от самих авторов: «— Димка! — крикнул Антон. — Закрой-ка люк! Сквозняк».

«Экономия на декорациях» — не единственный знаковый признак повести нового этапа. Начиная с «Попытки к бегству» заметным становится освобождение той доли творческой энергии, которая ранее, в более ангажированных вещах, уходила на неуклонный подъем интеллектуально-идейной планки. И, соответственно, перенос этой энергии на долю чисто творческого начала. Возможно, в этом — одна из причин

того, что «Попытка» воспринимается как «экшн» более отчетливо и цельно, чем предшествующие (и некоторые последующие, более нагруженные «учительством») книги. Простой проверочный тест выглядел бы так: экранизировать «без потерь» такую, *казалось бы*, приключенческую повесть, как «Трудно быть богом» — воистину нереально, не стоит и браться. Получится профанация, как бы ни был силен режиссер. При экранизации даже на высшем мировом уровне — будь то высший уровень экшн (Голливуд) или высший уровень интеллекта (Тарковский) — непременно получится нечто интересное и даже, возможно, талантливое. Но! Исчезнет «пилюля». Сохранить в кино одновременно и оболочку, и содержимое нельзя никак. А вот «Попытку к бегству» экранизировать можно — и именно без потерь. Ибо все ингредиенты пилюли здесь заключены в действии как таковом. Ну, иногда, в виде редких исключений — в репликах героев. Не в монологах, а именно в репликах, самая развернутая из которых не заняла бы и полминуты…

*** * ***

Савел Репнин. Чужак в мире Полудня, который оказался хитрее его обитателей. Не потому, что так уж специально хитрил, а просто они ушли в своем развитии куда-то далеко и теперь не готовы к его жесткости. (А КОМКОНа-2 пока нет.) Именно поэтому Савелу легко удалось заполучить страшное оружие, которого на всей планете — не больше сотни экземпляров: никому и в голову не приходит прятать скорчеры. Зачем и, главное, от кого? Вот тут психологическая достоверность картины Полудня заметно снижена, вплоть до прозрачности. В дальнейшем, в «Жуке в муравейнике», Стругацкие изрядно подправят полотно — не только и не столько введением структуры внутренней контрразведки, но — более реалистичным изображением самих землян. В соответствии с правилом «Я же все-таки человек, и все животное мне не чуждо».

А пока земляне выглядят — особенно в сравнении с Саулом — слегка ненастоящими. Глядя на них, не знаешь — плакать или радоваться. И дело вовсе не в избытке Вадимова жеребячьего оптимизма. Глубже. «Как странно, всего день прошел, а я уже привык. Точно всю жизнь ходил среди голых мертвецов в снегу. Легко привыкает человек. Психическая аккомодация. Странно. Может быть, дело в том, что они все-таки чужие. Может быть, на Земле я сошел бы от всего этого с ума. Нет, просто я отупел…»

Антон не отупел. В нем просто проснулся нормальный человек. Спрятанный до поры в глубине бессознательного: не было толчка, чтобы пробудить архетипы. В подобной ситуации окажется чуть позже Максим Каммерер — на Саракше. Только у него не будет возможности быстренько вернуться к мальчишескому состоянию, спрятавшись в Полдень, и придется стать *взрослым* всерьез и навсегда. Это, впрочем, другая история и совсем отдельный разговор… А пока: «У Вадима круги пошли перед глазами от боли — так крепко он закусил губу. Я бы им устроил праздничек, подумал он с ненавистью. Это было странное чувство — ненависть. От него холодело внутри и напрягались все мускулы. Он никогда раньше не испытывал ненависти к людям». И все же, все же — стать взрослым он так и не решился. Даже лучших из структуральных лингвистов косность тянет назад, к обжитым планетам Полудня. Не говоря о том, что взрослеть — попросту страшно. Да и Антон — кое-что повидавший в жизни — отталкивается от правды: «…впереди нет абсолютно ничего, кроме смерти один на один с безучастной толпой. Не может быть, подумал он. Просто очень большая беда». Вадим — тем более к правде не готов: «— А может быть, не надо? — робко предложил Вадим. Он еще не понимал, чего хочет Саул. Ну, что с них взять, думал он. Тупые, невежественные люди. Разве на них можно сердиться по-серьезному?»

Впрочем, анализируя психологию героев, не следует забывать о влиянии личности и характера самих АБС, их уникального умения понять и простить человека. ТАКАЯ способность в людях, повидавших войну во всех ее человеческих проявлениях, — мягко говоря, редкость. Кроме всего прочего, эта способность свидетельствует о громадных запасах терпимости и силы духа. Тех, что формируются не почвой, но кровью.

В связи с этой темой и слегка забегая вперед — несколько слов об идеологии в книгах АБС. Умение терпеть и прощать привело к отчетливой динамике взглядов: от штурма унд дранга «Страны багровых туч», через терпимость в масштабах личности («Трудно быть богом»), через мрачную антиутопию тупой нетерпимости ксенофобов («Улитка на склоне») — к проповеди *истинной* терпимости. Общечеловеческой. Масштаб времени в «пятьсот пятьдесят пять лет», обозначенный не терпящим ничего вечного Саулом, будет всерьез реализован лишь в идее Эксперимента (а привычных «внешних» Прогрессоров заменят Наставники). Аналогично обстоит дело и с многовековыми поисками терапии, которые ведет Демиург в «Отягощенных злом». Однако там, в поздних вещах, Стругацким будет в каком-то смысле гораздо проще: к тому времени они *окончательно* вернутся домой, на Землю. В том числе — и во времени. Это будет как бы

второе возращение, в новом качестве. Те, с кем «работают» Наставники и Демиург, — безоговорочно и только «наши». Никаких детей Полудня. А «наших» легко исследовать — был бы только полигон для Эксперимента. То есть — для Чуда. Достоверность же — априори налицо. Отсюда, от умения терпеть и прощать — и решение, давшееся так непросто и небыстро, — решение «вести воспитательную работу» со ВЗРОСЛЫМИ. Ведь даже мокрецы не были на такое способны… Впрочем, до «Града обреченного» Стругацким еще предстоит преодолеть немало ступеней.

*** * ***

Есть одно качество у АБС времен учительства, которое впервые отчетливо проявилось в «Попытке к бегству». Речь идет о драматургической завершенности. Или, если угодно, сквозной психологической достоверности повествования. Действие повести разворачивается не ДЛЯ читателя — как часто случается с «чисто учебными» произведениями, — нет, это то, что происходит с героями. В данном случае — с главным героем, Саулом. Линия повести проста и однозначна, и суть ее вполне отчетливо заявлена в названии. Ничего лишнего, притянутого за уши. Никаких вдохновенных монологов, произносимых героями в краткие минуты отдыха, на фоне напряженной борьбы, или, тем более, монологов внутренних — с просветительскими, так сказать, целями. Если же и присутствует некая дидактика, то лишь в самой ткани повествования. Ну, иногда — в многозначных афоризмах… Хочешь — поймешь. Нет и другого литературного мусора. Вне главной линии повести лежит (а значит, и не нуждается в объяснении) то, *как именно* Саул попал в это время, как вернулся обратно… Короче говоря, в книге нет ничего такого, что не работало бы непосредственно на замысел.

Что помогло Саулу найти в себе силы и отказаться от попытки бежать от реальности в фантастику? Не разговоры. И уж тем более — не монологи. И даже не действия землян. Не Земля вообще. Все земное «не работает». А потому земное в книге почти отсутствует. Зато вполне отчетливо присутствует другая планета. Ибо не только Савел Репнин реальнее детей Полудня, но и планета Саула получилась живее, осязаемее, чем Земля Будущего. Иначе и быть не могло: ведь и сам Саул, и Стругацкие, и мы, читатели — все мы родом скорее с Саулы, чем из Полудня. Грустно, но факт. Так что именно планета Саула дала своему тезке силы для верного решения. И в этом тоже — новые АБС. Научившиеся работать действием,

без ремарок.

* * *

Молодые Стругацкие этапы своей литературной судьбы ассоциировали с *проблемами*, которые поднимались в каждой книге. Проблема освоения Системы, проблема контакта с «отсталыми» или с негуманоидами, проблема прогрессорства… Отсюда и тогдашнее отношение к «Попытке» как к вещи неглавной, в чем-то даже вторичной. Такой взгляд — наследие воспитания в рамках НФ, где важны не столько творческие достижения, сколько некие конкретные технические (или, в лучшем случае, интеллектуально-философские) идеи. Думается, некто Шекспир, с его любовью к вариациям, вряд ли назвал бы такой подход творческим.

Сама по себе идеологизированная оценка писателем своих книг не плоха и не хороша, ибо — как показало, в частности, творчество АБС — не способна сколько-нибудь серьезно повлиять на литературный процесс. Руку истинного мастера ведет сила куда более серьезная, чем любые привходящие соображения. Каковые соображения мастер волен, как называют это физики, «приговорить» к уже созданному тексту. Впрочем, зрелые АБС были уже в курсе и — устами Зурзмансора — объясняли это Виктору Баневу весьма и весьма доходчиво.

* * *

И все же в «Попытке» есть и отчетливая метафоричность. «— Только не так. Настоящий человек уехать не захочет. А ненастоящий… — Он снова поднял глаза и посмотрел прямо в лицо Антону. — А ненастоящему на Земле делать нечего». Итак, любая попытка бегства — будь то бегство в рай Полудня или, скажем, бегство художника от неразрешимых земных проблем к звездам — отбрасывается Стругацкими, ибо это путь трусости и дезертирства. Для них — и как для писателей, и как для людей — эта дорога закрыта. И во временно́м, и в пространственно-географическом смысле. Настоящий человек уехать не захочет. А ненастоящему — ему ни на какой Земле делать нечего…

СМЫСЛ ЖИЗНИ НА ОСТАВШИЕСЯ ЧАСЫ. «Далекая Радуга»

Леонид Андреевич Горбовский. Живое человеческое воплощение Полудня. Самый добрый, самый нравственный герой Стругацких. И он же — совершенно живой, настоящий. А ведь это вовсе не само собой разумеется! Он — тот самый счастливый самодостаточный Человек Будущего, избежавший опасности превращения в красивую, вдохновенно-прозрачную схему. Ни жеребячьего оптимизма, ни одноплановости. Такое «идеальное тело» можно смело перебрасывать в материальный мир. Если присмотреться, познакомиться поближе — Леонид Андреевич предстанет человеком отнюдь не простым. А вполне даже противоречивым. Как и положено живому. Добрый «дедушка Горбовский», «душка Леонид Андреевич» умеет быть и жестким, и жестоким — стоит ему почувствовать живую ответственность. А его знаменитое «На лужайку бы. В травку. Полежать. И чтобы речка» — таинственным образом органично сочетается с музыкальными пристрастиями хулиганствующего рокера, в результате чего эту самую буколическую травку-лужайку оглашают издаваемые проигрывателем Горбовского звуки тамтама — «Африки», или, проще говоря, черного рока. И смотрится это абсолютно естественно. Никак не входя в противоречие со способностью в любых ситуациях находить *самое доброе* решение.

Что и делает его на Радуге богом. Выбирает, решает судьбу, дарует жизнь или смерть — он, Горбовский. И все, все до единого, опять же самым естественным образом, такое право за ним признают.

Здесь, на Радуге, перед самым концом света встречаются два бога: «настоящий», внеморальный бог Ветхого Завета, не способный сочувствовать, мыслящий лишь в категориях целесообразности, бессмертный гений Камилл. («— Оскорбляет? — сказал он. — А почему бы и нет?») — и человеческий бог, «простой смертный» Леонид Андреевич Горбовский («…тебя все любят. — Не так, — сказал Горбовский. — Это я всех люблю».) Каждый из них по-своему одинок. Но какие разные эти два одиночества! Одиночества с противоположным знаком…

Горбовский — единственный из героев АБС, который, попав в предложенную ему авторами тестовую ситуацию с неподъемной ответственностью, не просто не пугается ее, как испугался инспектор Глебски, как испугались даже такие бойцы, как Сикорски и Каммерер, —

но идет ей навстречу и спокойно, уверенно на себя берет. Он ведь бог — вот и ЗНАЕТ, что — добро, а что — нет. И даже — в порядке исключения, перед лицом смерти — берется немножко проповедовать. Хотя никогда в жизни, как он сам сказал всего за несколько часов до своей короткой проповеди, не произносил публичных речей. Такова судьба бога на земле. Мало кто поймет, но надо хотя бы попытаться объяснить. Милосердие. А значит — и право решать.

Хочет того сам Леонид Андреевич или нет, но новозаветному богу отведена еще одна роль — роль Учителя. Рабби. Горбовский — возможно, лучший из целого ряда столь любимых Стругацкими персонажей, Учителей Полудня (хотя де-юре таковым и не является). Убежденность его столь органична («— Жесты?.. Я не умею»), а отношение к собеседнику — ученику! — такое непритворно уважительное, что не прислушиваться к его словам не может никто. Будь то пестрая толпа, из последних сил сдерживающая ужас предстоящего физического исчезновения (сам-то Горбовский, как и его антипод Камилл, смерти не боится вовсе — быть может, единственный из людей на Радуге), или мальчишка, вообразивший, что ЗНАЕТ решение.

*** * ***

«Роберт ужасно обрадовался. Молодец, подумал он. Умница! Смельчак! Неужели Маляев? А почему бы нет? Ведь он тоже человек, и все человеческое ему не чуждо…»

Роберт Скляров. Персонаж уникальный, ни на кого у АБС не похожий. Истинный сын Полудня — разносторонне развитый, сильный, красивый. Отлично чувствует где «хорошо», где «плохо». И — умница. (При этом, как ни странно, и дурачок одновременно. Все ведь относительно. Патрик, на фоне которого Роберт кажется себе жалким интеллектуальным уродцем, сам на фоне Камилла смотрится не лучше.) Но главное: Роберт, будучи едва ли не идеальным, тоже ЖИВОЙ! «…Огромный, очень красивый молодой человек с тоскливыми просящими глазами, безобразно не соответствующими всему его облику». Он совершает такие поступки, которые сам же квалифицирует как подлость и предательство. Это он-то, полуденный мальчик, «Юность мира»! Любовь толкает молодого полубога на подлость… И мы в это верим! А ведь порой, чтобы стать живым и осязаемым, стать *взрослым*, сыну Полудня приходится озвереть — подобно Маку Симу на Саракше. Именно поэтому Вадиму из «Попытки к бегству»

взросление не далось вовсе. Роберту же, чтобы стать человеком из плоти и крови, ничто животное не понадобилось. Он, Роберт Скляров, не дитя под личиной взрослого (как Вадим), он — подросток, почти юноша… Это несомненная удача авторов. Одно дело — создать психологически достоверный мир счастья, заселенный исключительно теми, кто прошел суровый «отбор на Полдень», но взят все же из века двадцатого. И совсем другое — показать человека «не нашего», вовсе незнакомого — и в то же время не схему. Говоря словами Витьки Корнеева, создать образ, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.

Люди Полудня. Они совершенствуются, совершенствуются, становятся лучше, умнее, добрее. И гармония души и тела налицо. А неразрешимые проблемы остаются. Как внешние, так и внутренние. Полдень постепенно расцвечивается полутонами. И это — прогресс.

*** * ***

В «Радуге» Стругацкие изобретают новый прием — поставить человека в ситуацию *неразрешимого* выбора. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос. В первый, но далеко не в последний раз в своем творчестве АБС обходятся с героем столь жестоко. Ответственность. Можно ли убить, предать, совершить подлость — «во имя»? А если да — то во имя чего?.. Тот самый выбор, который нуль-физик Маляев называет позорным. Позже перед подобными, никогда и никем не решенными вопросами встанут дон Румата, Мак Сим, Экселенц… А пока их предложено решать Роберту Склярову и Леониду Горбовскому. Решать так, чтобы оставшиеся три часа жизни чувствовать себя человеком, не корчиться от непереносимого стыда. Скляров мучительно делает свой выбор, убеждается, что реализовать его не в состоянии, и в конце концов сам объявляет, что экзамена не сдал. Горбовский же, напротив, ответственность берет на себя просто и естественно. Впрочем, ему-то что, он бог.

Здесь — впервые и уже навсегда — АБС демонстрируют новое понимание *сильного* человека. Не мышцы. Не самоотверженный героизм неумного чудака, «героя-удальца». И даже — не *добрая сила* Савела Репнина. Но — *сильная доброта* Леонида Андреевича Горбовского.

Если же смотреть шире, то слова и дела Горбовского — воплощение позиции Стругацких вообще. Едва ли можно найти более емкий и более

точный девиз их жизни и творчества, чем эта простая фраза: «Мне очень удобно лежать, но если хотите, я помогу вам».

ВСЕ ЛЮДИ СТАРШЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ. «Трудно быть богом»

Говорить об этой книге можно бесконечно, а стало быть — говорить не стоит. Она говорит сама. И как собрание афоризмов, и как высшее литературное воплощение идеи ШКОЛЫ. У не читавшего в юности «Трудно быть богом» — прореха в образовании, более того — в воспитании. Притом невосполнимая.

И еще. Тот, кто прочел эту книгу один раз и «все понял», столь же наивен, как пресловутые слепцы, на ощупь составлявшие представление о слоне…

* * *

И все же — один фрагмент. Уж его-то не упомянуть никак невозможно.

«— Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными… или, еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой.

— Сердце мое полно жалости, — медленно сказал Румата. — Я не могу этого сделать.

И тут он увидел глаза Киры. Кира глядела на него с ужасом и надеждой».

С ужасом и надеждой. В этих словах — определение взгляда на мир думающего, *видящего* и *слышащего*, но и не теряющего последней веры интеллигента. Будь то Мастер, с ужасом и надеждой приоткрывающий окно в Будущее, или его читатель, вглядывающийся из-за плеча автора в неведомые миры, порой — апокалиптически мрачные, порой — утопически прекрасные, но всякий раз — завораживающие непонятностью и новизной. (Все это, разумеется, при условии, что Мастер — настоящий.) Каждый, кто хоть раз в жизни обращал свой взор чуть выше обыденности, знает, сколько горького пессимизма и вместе с тем возвышающей дух веры в светлое будущее таится в этом словосочетании — с *ужасом и надеждой*.

В окончании диалога Руматы с Будахом заключена и иная аллегория. Перед нами — художник, Мастер, сердце которого полно жалости, и потому он не в силах оставить паству и дать ей идти своей дорогой, ибо

есть те немногие — из *слышащих*, — кто верит, и чьи глаза, полные ужаса и надежды, не позволяют ему умыть руки, отказаться от такой трудной миссии — быть для них богом.

РАЗУМНЫЕ МИНЕРАЛЫ, А ТАКЖЕ КОММУНИСТЫ. «Понедельник начинается в субботу»

Современный читатель воспринимает «Понедельник» неоднозначно. Это неудивительно. С одной стороны, сам Борис Стругацкий настаивает на том, что вещь эта — предельно легкомысленная, писалась исключительно как капустник и никакой особой эзоповой нагрузки не несла, разве что местами и едва ли не случайно. С другой же — не заметить эзопова письма, причем едва ли не сплошного, внимательный читатель попросту не может.

Каждому предоставляется решать этот вопрос самостоятельно. Я же, со своей стороны, настоятельно рекомендую блестящее эссе Ал. Ал. Щербакова «Тридцать лет сплошного понедельника»[70] — на предмет промывания мозгов. То есть для повышения КПД работы того самого эзопова юмора, которым буквально пропитана книга.

Ибо ценность данного произведения заключается отнюдь не в «обшивке». Как, впрочем, и ценность любого произведения АБС.

* * *

Однако — совсем немного о трактовке текста.

Первое знакомство. «Как он в общежитие-то пройдет?» — «Д-да, черт, — сказал горбоносый. — Действительно, день не поработаешь — забываешь про все эти штуки». Само собой, у героя — а вместе с ним и у читателя — с самого начала складывается представление о закрытом предприятии: «Понятно. Что-нибудь с космосом?» А чуть позже, после знакомства с местным *так называемым* замдиректора по АХЧ («С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный»), а также с местными политическими ссыльными («…славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную…») — после этого впечатление о закрытом НИИ утверждается окончательно. Говоря же языком, принятым в те времена, действие происходит в обычной научной

шарашке. Нет, настоящих ЗК там быть не может — уже не те времена. Но… Но шарашка — она шарашка и есть. А такие детали, как имя, мягко говоря, «товарища завкадрами» (боюсь, не так просто объяснить нынешнему молодому читателю, что такое «первый отдел» вообще и как выглядело сие явление природы в закрытом НИИ или КБ в частности), лишь закрепляют сложившееся впечатление.

Правда, некоторые современные читатели полагают, будто в те времена сотрудник «обычного» закрытого учреждения (расположенного *почему-то* в глубинке) жил в обычной общаге, на обычную зарплату «эмэнэса». И что всё это — примета времени… Что сказать? Были, конечно, и эмэнэсы, были и общаги — всё так… Но были ведь и космические КБ, а в них трудились они — вольняшки из шарашек. Тоже ведь примета времени… Как и вот это, смешное и горько-правдивое одновременно: «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь»…

Что же касается уникальной параллели, проведенной Стругацкими между силами сказочными и административными, то, забегая вперед, напомню: Модест Матвеевич — не последний «типичный представитель» непобедимой партии антимагов в книгах АБС. «Весьма глубокое соотношение между законами административными и законами магическими», которое авторы «Понедельника» так удачно подметили, глубоко и всерьез раскрыто в совсем-совсем *другой* истории — повести «Сказка о Тройке». Однако всему свое время.

ПРАВДА, НО НЕ ДЛЯ ДУРАКОВ. «Хищные вещи века»

Главное про эту книгу уже сказано. Осталось лишь одно важное замечание. На тему «юношеский оптимизм и зрелая информированность».

В «Возвращении» Леонид Андреевич говорит о «зябликах» — людях, которые «в науке разбираются плохо от лености или там плохого воспитания». Зябликов этих хотя и хватает, по словам Горбовского, однако вполне очевидно: в мире Полудня их малое меньшинство.

Здесь же, в «Хищных вещах» все обстоит куда как реалистичнее и, соответственно, пессимистичнее. На сцене появляется выразитель чаяний НАРОДА — доктор философии Опир, воспринимающий науку исключительно в качестве источника удобств и наслаждений. Вот уж кто воистину оптимист…

Иван Жилин (ТОТ, молодой Жилин, из «Стажеров») верил, что в счастливом будущем все будут творцами. Во всяком случае, это тот идеал, к которому он хотел бы стремиться. Опир же верит в нечто прямо противоположное. Он сам — воплощение Страны Дураков, подобно тому, как Горбовский — воплощение Полудня.

И все бы ничего, да вот только и философия доктора Опира, и его предсказания, выглядят куда меньшей фантастикой, чем идеалы Жилина и Горбовского. Если смотреть холодно и честно.

Собственно, тот факт, что Страна Дураков — всего лишь заповедник инстинктивной деятельности, совсем небольшой больной участок на здоровом теле Человечества, — это и есть последний форпост фантастики в творчестве АБС. Фантастики в самом дурном смысле этого слова. Потому что это — явная и к тому же плохо прикрытая ложь. Именно она-то и вызвала такое раздражение у Ивана Антоновича Ефремова. Мир, описанный в «Хищных вещах», ярок и страшен, и он действительно не оставляет никакой надежды. Потому что книга эта — *про всю Землю*.

Ведь не на курорте же, в конце концов, Опиру присвоили звание доктора. Не один же он такой! И не про один же этот курортный городок сказано: «Тоска, тоска… Какое-то проклятие на человечестве, какая-то жуткая преемственность… предаются снам, как пьянству… И снова дураков убеждают, что все хорошо…» И вовсе не в Стране Дураков гремел тот самый «хор восторженных воплей научных комментаторов», на фоне которого раздражающим диссонансом прозвучала брошюрка Криницкого и

Миловановича. Та самая, в которой педагог Криницкий и инженер Милованович писали: «современный человек в массе остается психологически человеком пещерным, Человеком Невоспитанным…» Писали про человечество вообще. И, между прочим, писали не в XX веке…

Апофеоз Опирова «нео-оптимизма» — отношение НАРОДА к интелям, к тем немногим, кто хоть как-то, хотя бы варварскими средствами пытается взорвать надвигающееся на человечество сытое болото. И кого он, НАРОД, вполне грамотно идентифицирует с интеллектуалами вообще: «Их надо было в землю вбить, с пометом ихним вместе, а мы прозевали…»

Впрочем, как легко видеть, в надвигающемся царстве неокретинизма никого вбивать в землю попросту не понадобится. Как не понадобится — прав был Ефремов — и никакой слег. Болото все сделает само. За народ. Дабы нормальная здоровая инстинктивная деятельность тех, кто вполне сойдет за людей, не искажалась и, тем паче, не подавлялась системой педагогики.

*** * ***

При внимательном чтении в каждой книге Стругацких можно найти ключевые слова, авторский девиз. Явный, если книга «учебная», или скрытый — в «просто книгах».

В «Хищных вещах» это грустное продолжение той самой фразы Горбовского, из «Далекой радуги», про помощь.

«Когда-нибудь я устану от этого, подумал я. Когда-нибудь у меня не хватит больше сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы! Только я хочу помогать вам, а вы не хотите помогать мне…»

МОЛИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК. «Улитка на склоне», «Беспокойство»

В «Беспокойстве» проблема ответственности доведена Стругацкими до своего предела. То есть — до уровня, когда задача решения не имеет. Горбовский здесь — Кассандра. Уста богов. И так же, как Кассандру в Трое, так же, как Камилла на Радуге, его никто не слышит… Казалось бы, положение Леонида Андреевича здесь, на Пандоре, подобно его положению на Радуге. Снова — неподъемная ответственность *знающего* и отвечающего за всех. Но на Радуге Горбовский эту ответственность берет на себя без проблем. Там — просто: этика-то человеческая. Жизнь и смерть. Задача имеет *доброе* решение. Здесь же (как и потом, в случае с Сикорски и Абалкиным) — иначе: нет критерия выбора. Любое решение — недоброе. Ибо ни иной разум, ни Будущее этические критерии не приемлют по определению.

Задача решения не имеет, а делать с ней что-то все-таки надо… Но писатель — всего лишь обладатель чутья на неисправности, а не ремонтник. Не терапевт, а, в лучшем случае, диагност. Так что готового решения не будет…

Есть в «Беспокойстве» и еще одно пророчество. Тоже произнесенное устами Горбовского, к тому же неоднократно. Только относится оно не к судьбам виртуального Человечества Полудня, но к судьбе книг Стругацких в реальном мире. НОВЫХ Стругацких. Авторов «Улитки на склоне», а позже — и других подобных книг. Стругацких, которые думают о смысле жизни сразу за всех людей.

А люди ведь этого не любят.

Роль и судьба Кассандры…

«Поль вдруг ощутил усталость. И какое-то недоверие к Горбовскому. Ему показалось, что Горбовский смеется над ним».

«— Ужасно, — сказал Леонид Андреевич. — …Вы понимаете, я стал тяжелым человеком. Уважаемым — да. Авторитетным — тоже да. Но без всякой приятности. А я к этому не привык, мне это больно».

* * *

Каждая книга Стругацких может быть адекватно воспринята

квалифицированным читателем сама по себе, вне какого бы то ни было «внешнего» контекста. Это, собственно, абсолютное требование к любому явлению литературы. Верно, однако, и то, что многие их книги всерьез раскрываются лишь при чтении «в ряду товарищей», и, желательно, чтении неоднократном: читательская квалификация сама собой не возникает. Есть, наконец, и «абсолютный вариант» чтения — такая точка обзора, с которой можно видеть ВЕСЬ пройденный писателями путь. То есть — Собрание Сочинений. Увиденные в перспективе, книги приобретают новые свойства — позволяют по-настоящему разглядеть Авторов.

В частности, при ретроспективном взгляде можно оценить глубину пропасти, отделяющей братьев Стругацких времен «Пути на Амальтею» — и тех, кто написал «Улитку на склоне». А ведь не прошло и десяти лет…

«Я и пришел к тебе, издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле».

Даже если бы «Улитка» каким-то чудом появилась из-под пера другого автора и не содержала ни малейших отсылок к мирам Полудня — и тогда она читалась бы как эпитафия. Эпитафия многому в мироощущении и чаяниях шестидесятников вообще и молодых АБС в частности. В устах же самих авторов «Возвращения» такая эпитафия звучит еще и приговором.

На фоне «Улитки» даже «Солярис» Лема выглядит едва ли не светлой утопией. В самом деле: подумаешь, ну, не удалось найти позитивного контакта с иным разумом, ну, рухнуло несколько человеческих судеб… А этот вот застрелился… Наткнулось Человечество на своем великом пути на тупичок, с кем не бывает. Отступило оно на полшага — и пошло себе широкой ясной дорогой дальше, в будущее… А каково идти «дальше» после такой пощечины, какую человечество получило в повести «Улитка на склоне»?.. Нет, не так. Не «получило», а «получило бы» — если бы сие человечество хоть на долю процента состояло из таких, как Перец (и как те, кто Переца создал), — чтобы было кому эту пощечину заметить…

«Речь» Директора, услышанная Перецем в «чужой» телефонной трубке… Если вы не читали «Беспокойство» или читали, но «слегка», то в этой речи не увидите ничего, кроме абракадабры, — как и сам Перец. И не странно. Вы взяли не свою трубку. А может быть, вы и вообще не видели этого волшебного сна — по имени «Полдень»?.. Ведь беседы Горбовского с Полем Гнедых и Тойво Турненом — о смысле жизни и поступков, о путях человечества и его возможностях, о вопросах научных и вопросах моральных, — они именно и только ОТТУДА. И абсолютно несовместимы с миром, где действует Управление. Как, впрочем, и сам Леонид Андреевич… ЗДЕСЬ, в этом простом реальном мире, мире отнюдь не из

сна, говорят совсем-совсем о другом, а бессмертные творения вызывают нечто вроде хихиканья. И напрасно мир этот кажется вам таким уж бессмысленным. Как Перецу — речь Директора. Да, искажен, до потери смысла покалечен исходный текст. Оригинал. ПОЛДЕНЬ. Даже на пародию не осталось. Абракадабра. Такая же, как принимаемая каждое утро деревенским слухачом «передача». Но ведь оригинал — *существует*… И только мы, люди, превратили его на этой планете в абракадабру…

А тому, кто все же надеется по-настоящему понять «Улитку» вне контекста, да еще и «с первого подхода» — не прочитав ни «Беспокойства», ни других «полуденных» книг АБС, — напомню слова Кима: «Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется».

Невозможность увидеть более чем одно звено в цепи, *тоска по пониманию* — именно это довело Переца в конце концов до того, что он сам включился в общую истерику и поверил, будто стоит «немножко послушать» — и что-то станет ясно. Но слушать «немножко» — нельзя!

Это, впрочем, вполне в духе всех перецев — сидеть над обрывом и надеяться на чудо — то ли от Леса, то ли от Директора…

Ну, а для *читавшего* «Беспокойство», речь Директора — одна из самых черных страниц в творчестве Стругацких. Едва ли не час отчаяния… Во всяком случае — момент осознания того, во ЧТО коммунарскую идею Полудня может превратить НАРОД. То есть — Домарощинер, говоря уж до конца честно. Даже самец Тузик, выламываясь из живого, цельного образа, вдруг, на прояснении ума, выносит авторский приговор всему этому столь же бредовому, сколь и знакомому Управлению: «Ты превратишь. Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности».

Не слишком-то хорошими выглядят шансы на реальный контакт с Лесом (читай — с Будущим), когда смотришь на нынешнее, с позволения сказать, Человечество взглядом реалиста. Вид́ение невольно оказывается злым и даже гротескным, стоит лишь сменить привычно-бытовой фон на нечто нетрадиционное. Страшно вообразить эту свору плохо запрограммированных обывателей из Управления в мире, где начальники вообще никому не нужны, — скажем, на благоустроенной Леониде. Какой-нибудь глуповатый самопадающий археолог — пусть и с оружием — на их фоне смотрится, как добрый гений из будущего. А ведь даже его феноменально проницательному Горбовскому приходится едва ли не насильно обезоруживать, спасая от привычно-обывательской реакции на новое. Как же отнесся бы добрейший Леонид Андреевич к Клавдию

Октавиану Домарощинеру и иже с ним?!.

* * *

Как выясняется ближе к концу книги, биостанция произошла от лагерной зоны. Где и отбывал срок лесопроходец Густав. А стало быть — и великий герой Селиван… На лесоповале. Никаких намеков — все сказано напрямую. Три структуры: лагерное начальство с вохрой, научная часть (шарашка) и собственно зэки, лесоповал… Из этих-то корней и вырос весь социум: с умными дураками в картонных масках, с вечным кефиром и с высокими поэтическими мечтами о светлом будущем — с хрустальными распивочными и с писанием стихов хорошим почерком. Что ж, реализм требует полной правды… Это вам не полуденный мальчик Вадим из «Попытки к бегству»: «— …Однако же нельзя все время работать… — Нельзя, — сказал Вадим с сожалением. — Я, например, не могу. В конце концов заходишь в тупик, и приходится развлекаться».

И в завершение метафоры — безнадежные метания Переца, ставшего в одночасье монархом. В этом — горькое предвидение судьбы любых попыток «изменить структуру» *бывшей зоны* сверху, от ума. Пессимизм строится не на эмоциях, а на холодном и полном понимании. «— История, — хрипло сказал Саул, не поднимая головы. — Ничего нельзя остановить».

Анти-Полдень здесь — вживую. Административный вектор, уходящий основанием в глубь времен…

Приговор.

* * *

Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю…

Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН КАК ФАБРИКА ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА. «Второе нашествие марсиан»

Герой повести не просто здравомыслящий. Он неглуп и эрудирован. Намного разумнее и начитаннее большинства жителей городка. Не простой скучный обыватель, но обыватель с широким кругозором и способностью к философствованию (и вовсе не в том смысле, в каком полагает себя философом доктор Опир). Хороший работник, на отличном счету — и недаром. Добавим к этому грамотные и точные высказывания по педагогической психологии и по психологии вообще. «Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помешать их детям устремиться по стопам родителей», — сказано, между прочим, вполне в духе идей самих АБС.

Ну, побывал в «котле», сломлен, трусоват. Болен, стар, устал до невозможности. А учил-то, похоже, с интересом — когда-то. Астрономия… «Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал: мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров». Четыре тысячи учеников — весь город! И что?..

Да и вообще, ведь это все — лишь характер. А главное? А главное — порядочность. До момента с выдачей партизан — с порядочностью все в полном порядке. Да и выдачей это не назовешь. Он ведь только потом, *когда увидел* их, тех, кого выдал, тогда только *задумался*. А раньше это были для него попросту бандиты. Ну да, да, узость мышления, штампы. Всё — да. Но — не подлость. Бездарный мир…

И в этом же герое заметен контраст между конформизмом обывательского характера и интеллектуально-холодным видением стороннего наблюдателя. Ведь он одновременно и «один из них», со всеми потрохами, и он же — вне серой массы по уму. Раздвоение… «Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки». И буквально тут же: «А по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я читал, что слухи опасны для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение». И — он же: «…какие-то стриженые крикуны… никогда не вытирающие ноги в передней; и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технократии, об

этих немыслимых „измах“, органическое неприятие всего, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность». Обыватель? Трус? Примитив? Сложнее и живее. И — умнее! В точности суждений ему не откажешь. «Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях, мне трудно найти объяснение всему, что сейчас происходит, но я знаю одно. Когда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты… Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа, унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема».

Мир этого городка — далеко-далеко не черно-белый. Это вам, господа хорошие, не Гиганда… Это — ЗЕМЛЯ.

В какой-то момент АБС все же позволяют себе резко завысить и ум, и речевую культуру героя, сделав его едва ли не носителем авторского монолога. Тот, кто произносит отповедь Харону, — воистину собирательный персонаж, а не просто пожилой неглупый человек, добрый усталый обыватель. Он формулирует отношение интеллигенции конформистской к интеллигенции «революционной» — к тем, кто полагает себя элитой… Или все-таки это отношение человека созидающего — к плесени?.. «Экая жалость — цивилизацию продали за горсть медяков! Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медяки! …Я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных образованных людей… воображаете, будто ваша гибель — это гибель всего человечества…»

А в самом деле — кто из них прав? Ведь никакие марсиане для реализации истории «Второго нашествия» вовсе не нужны — как не нужен слег в Стране Дураков. Достаточно всего лишь раз и навсегда устранить необходимость труда за хлеб насущный, в поте лица своего — и… И тогда — что? Исчезнет ли и вправду стремление человечества к некоему никем не определенному «прогрессу»? Или все же потребность в движении для нас важнее, чем наличие у этого движения цели?..

Нет ответа. Писатель не выписывает рецептов и даже не предсказывает течение обнаруженной болезни.

*** * ***

Анекдотический эпизод с незамеченным марсианином — отличная аллегория. И вполне в духе Стругацких. Инопланетянин появился, протянул бумагу, взял пакетик и исчез. Так сказать, вступил в контакт. А они как раз были заняты насущным — спорили о марках. Вот и не

заметили ничего. Делов-то…

*** * ***

А авторский оптимизм… Его не так уж много, и весь он — в словах Харона: «У меня, к сожалению, тоже пока нет слов, а их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем».

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ И ВРЕМЯ КАМНЯМИ УБИВАТЬ. «Сказка о Тройке»

Как известно, очень тяжело читать книгу (смотреть фильм, слушать постановку), где действуют люди, заведомо более глупые, чем читатель (зритель, слушатель). И уж вовсе невозможно всерьез воспринимать художественное произведение, когда оно рассказывает о дураках. Лично мне известно ровно одно исключение из этого правила — «Сказка о Тройке». Причем книга эта — отнюдь не «экшн». Это — повесть эпохи. Повесть державы. И, как показывает наше время (и чего НИКАК не могли предвидеть авторы), державы не одной. Механизм существования Голема,[71] его рефлексы в действии, с полным пониманием всего — от реакций на клеточном, так сказать, уровне до базовых инстинктов — здесь есть все. Персонажи этой повести — не жалкие канализаторы. И даже не «внедрившиеся» ребята из НИИЧАВО. Но именно он, Голем.

Законы его жизнедеятельности впервые напрямую приравниваются здесь к законам природы. Корнеев: «Нельзя ждать милостей от природы и бюрократии».

Что до использования естественно-бюрократических законов в прикладных целях, то главный из этих законов вполне отчетливо сформулировала для Переца Алевтина: «Вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте — это гибель всей административной деятельности». Воевать против законов природы — глупо. А капитулировать перед законом природы — стыдно. В конечном счете — тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Вот единственно возможный подход. Что и делают ученые-маги в финале «Сказки» номер один.

* * *

Эдик в начале «Сказки» — живое воплощение ментальности молодой прозы АБС. Смотрится он, конечно, как пародия, вроде пушкинского Ленского с его «Куда, куда…»

«Глаза у него были такие чистые, такие наивные, и весь он был такой нездешний, такой уверенный в могуществе разума, такой свеженький из своего отдела Линейного Счастья, еще пахнущий яблоками и детским

смехом, такой избалованный — избалованный дружбой с умными и добрыми людьми, избалованный рациональностью и справедливостью, избалованный горним воздухом чистого знания… Витька и Роман тоже были такими две недели назад».

Реакция «долгожителей» Китежграда, имеющих дело с реальностью, с живым Големом, достаточно давно — *целых две недели*, — адекватная: человек, воспринимающий *почти реальный* мир столь наивно, будто перед ним — один сплошной НИИЧАВО, объявляется эгоистом. «— Я не понимаю, ребята, — сказал Эдик. От обиды у него даже припухла нижняя губа…» Соответственно, вместе с Эдиком эгоистичным объявляется и целое мировоззрение. Лозунг которого — понедельник начинается в субботу — потерял свой исходный, немного печальный смысл и превратился в веселенький девиз жизни истинных магов. Нет, лозунг-то сам по себе хорош. Но «работает» он — в сказочном мире… Только и всего.

«Сказка о Тройке» — не просто продолжение «Понедельника», а, как часто случается у Стругацких, — завершение темы сведением к абсурду. И снова — приговором, приговором целой эпохе. Без права обжалования.

*** * ***

В «Тройке» мы наблюдаем сильный и, насколько я знаю, никем и никогда не применявшийся литературный прием: попытку вывести «то, что сойдет за человека» на контакт с прообразами, превратить на время троечников-канализаторов в истинных администраторов с широким кругозором, то есть в тех, кто *теоретически* и должен был бы сидеть на их месте. А за компанию с членами ТПРУНЯ и анекдотический старикашка Эдельвейс тоже выходит на контакт с чистым прообразом, мрачным гением, приносящим человечеству страшный дар — ответы на все вопросы. Разыгрывающаяся перед потрясенным читателем сцена, вызванная к жизни эдиковым реморализатором, лежит, мягко говоря, за пределами жанра, в котором написана «Сказка». Этот эпизод, как ни парадоксально — я не боюсь этого слова, но поймите меня правильно, — научная фантастика. И притом наивысшего качества.

На таком контрасте жанров и стилей предельно ярко работает сатирическое начало повести: становится видно, насколько далеки лубочные картинки китежградской жизни от *оригинала*. То есть, говоря языком Роджера Желязны, — от Янтаря, который единственный существует

РЕАЛЬНО, отбрасывая более или менее искаженные тени. Тени, населенные ничего не подозревающими существами, уверенными, что они *настоящие*… Одна из таких теней предстает перед нами в «Сказке о Тройке» номер один. (Следующая степень упрощения, еще более лубочная картинка — «Сказка» номер два.) Что же в таком контексте представляет собой наш, «реальный» мир? И где бы нам взять Эдика Амперяна с его портативным реморализатором — чтобы *увидеть* настоящее, первооснову?..

Впрочем, можно обойтись и без сказочного прибора. Есть учебное пособие по *умению смотреть*. Творчество Стругацких называется…

*** * ***

Проблема контакта с негуманоидным разумом. Поколения фантастов так и не придумали, как быть с этой задачкой. Тем более смешны попытки ее решения в исполнении канализаторов. «— Национальность, — повысив голос, продолжал комендант. — Вероятно, пришелец. Образование: вероятно, высшее. Знание иностранных языков: вероятно, знает. Профессия и место работы в настоящее время: вероятно, пилот космического корабля. …неизвестное существо (возможно, вещество) с неизвестной планеты (возможно, с кометы) невыясненного химического состава и с принципиально неопределяемым уровнем интеллекта». Суть юмора здесь — в столкновении чисто административного подхода со случаем, не поддающимся ему просто по определению. Какими бы высоколобыми администраторы ни были и какие бы умные инструкции перед ними ни лежали. Здесь, локально, это выявляет самую суть принципа Питера. Тройка уже давно за пределами уровня своей компетентности. В этом же случае планка настолько далеко вверху, что ощущение масштаба канализаторы попросту теряют. В результате чего берутся не просто не за свое дело (это-то им не привыкать), но за дело и вовсе не решаемое — даже в рамках науки, не то что административной структуры…

Напрашивающаяся аналогия — попытки администраторов-троечников «руководить» принципиально неформализуемыми структурами. Культурой, например. Да вот хотя бы той же фантастикой. Получаются сплошные «вероятно»…

*** * ***

Ресурсы, распределяемые Тройкой, не являясь дефицитными (пока их искусственно не сделали таковыми десять тысяч заявок «от науки») и не принадлежа ТПРУНЯ ни юридически, ни фактически, тем не менее олицетворяют «народные богатства», которыми как раз и распоряжались неправомочные юридически лавры федотовичи — в том самом СССР, о котором, фактически, и идет речь. Именно они, вунюковы, тогда, в семидесятые, решали всё. Да что там в семидесятые!.. Нас десятилетиями приучали к тому, что лавры федотовичи мыслят и действуют только так: они — в своем праве. Отсюда и Афган в конце семидесятых, и… Да вообще всё…

Что же дальше? Оптимисты полагают, будто возможен такой финал, как в «Сказке о Тройке» номер два. Но…

«…оба они бессмертны, оба они всемогущи. И чего ссорятся? Непонятно…»

Попробуем сформулировать посылку тех, кто полагает, будто ситуация в противостоянии административного и магического (читай — научного) «големов» может быть так или иначе изменена. Получим: человечество развивается. Вывод из этой посылки: научный «голем» МОЖЕТ БЫТЬ нашим союзником в борьбе с «големом» бюрократическим. Однако, как известно, из неверной посылки — все что угодно. Учитывая, что все патетическое в силу ряда обстоятельств претерпело за последний век решительную инфляцию, я постараюсь быть просто точным. Человечество как таковое вовсе и не думает развиваться. Но — и более того — наука тоже очень давно не делает ничего качественно нового. Иносказательно об этом говорится уже в «Понедельнике» — в виде вариаций на темы магии, из которых видно, как мало продвинулось человечество в работе с Силой… Скорее уж наоборот…

А потому — не будем пытаться воздействовать друг на друга эмоционально. Лучше — логикой. Ведь мы имеем дело с законом природы.

Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы…

СЛЕГКА ПОДРАСТЯНУТЬ СОВЕСТЬ. «Обитаемый остров»

I

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ

Из «Комментариев» БНС: «Всякое мировоззрение зиждется на вере и на фактах. Вера — важнее, но зато факты — сильнее. И если факты начинают подтачивать веру — беда. Приходится менять мировоззрение. Или становиться фанатиком. На выбор. Не знаю, что проще, но хорошо знаю, что хуже. В „Стажерах“ Стругацкие меняют, а сразу же после — ломают свое мировоззрение. Они не захотели стать фанатиками. И слава богу».

Попав на Саракш и следуя недавнему примеру собственных творцов, Максим Каммерер меняет, а сразу же после — и ломает свое мировоззрение. Сначала, еще в символической форме, это выглядит как шутка: «Небо здесь было низкое и какое-то твердое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров, — настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая». Однако позже речь пойдет именно о смене мировоззрения — общего для ранних АБС и молодого да раннего Каммерера. Каковое мировоззрение, будучи уже слегка пошатнувшимся, описывается так: «…воображаешь, будто на неизвестных планетах можно отыскать некую драгоценность, невозможную на Земле». Здесь, на Саракше, Максим находит воистину новую веру, открывая тем самым целое направление для творчества АБС. Отрекаясь от базовых заповедей, впитанных с молоком матери, кристаллизованных ментальностью многих поколений предков-землян, он становится одним из первых истинных миссионеров Человечества — Прогрессоров. А впоследствии — и членом ордена иезуитов, адептов этой веры, существующей отдельно от всего мира Полудня и во многом этому миру перпендикулярной. Пока же он может лишь догадываться о существовании института прогрессорства, хотя кое-что про галбезопасность ему как пилоту известно: «…а на Земле передать материалы угрюмым, много повидавшим дядям из Совета галактической безопасности и поскорее забыть обо всем».

Однако момент, когда Максим увидит очертания новых богов, ощутит, насколько расширились его этические горизонты при отказе от догмата (вместе с «потерей невинности») — этот момент все же настанет чуть позже. Не все сразу. Пока он еще даже не отрекся от старой, детской своей веры, не потерял ощущения, что дом его — на Земле. («…Что же теперь будет? Мама… Отец… Учитель…») Пока он лишь интуитивно прозревает, что попал не просто на очередную скучную неисследованную планету, но — в Новый Мир. Для его чистой души это мир наизнанку, массаракш. Здесь вместо безграничного Космоса — скучная небесная твердь, тупик. Пусть даже и со спрятанным за твердью кумиром по имени Мировой Свет…

Итак, где же оно, то первое отречение от абсолютной веры, от монотеизма (который в данном случае чуть иронически именуется «великолепными изобретениями высшего гуманизма»)? Как ни парадоксально, приходится признать, что задатки ухода от догмата были заложены в душе Максима Каммерера давно, еще на Земле, в самой гуще Полудня: «Максим чувствовал, что здесь вокруг очень много живого мяса, что с голоду здесь не пропадешь, что все это вряд ли будет вкусно, но зато интересно будет поохотиться, и, поскольку о главном ему было думать запрещено, он стал вспоминать, как они охотились с Олегом и с егерем Адольфом — голыми руками, хитрость против хитрости, разум против инстинкта, сила против силы, трое суток не останавливаясь гнать оленя через бурелом, настигнуть и повалить на землю, схватив за рога…» И еще: «…он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил тахорга и как это огромное, грозное на вид и беспощадное, по слухам, животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, тихо, жалобно плакало и что-то бормотало в смертной тоске, почти членораздельно…»

Вот оно, оказывается, как! Коммунару-то вовсе не запрещено убивать. Более того — убивать с удовольствием. Пусть и с соблюдением неких спортивных ограничений — суть от этого мало меняется. Ибо человек, который умеет находить удовольствие в смертельной борьбе, в самом убийстве — будь то убийство оленя ради спорта или голых пятнистых обезьян ради спасения жизни, — такой человек вполне пригоден для «перевоспитания» в Прогрессоры. А точнее, для небольшого толчка — от сказки Полудня к реальности Саракша. Качественная ломка не понадобится. Причастия Буйвола Максим, конечно, не примет. Однако и агнцем его никак не назовешь…

Саракш оказался всего лишь благодатной почвой, которая позволила раскрыться не столь уж глубоко запрятанным рефлексам нормального

спортивного парня, никак не склонного давить в себе то, что относится к разряду «ничто человеческое мне не чуждо». Он чист, он порядочен. Он — ПОКА ЧТО — не способен на ложь… Но он уже умеет быть бойцом. И он как раз такой человек, о котором позже, явно и во много раз преувеличивая, сам скажет: «Тут мало теоретической подготовки, недостаточно модельного кондиционирования — надо самому пройти через сумерки морали, увидеть кое-что собственными глазами, как следует опалить собственную шкуру и накопить не один десяток тошных воспоминаний, чтобы понять наконец, и даже не просто понять, а вплавить в мировоззрение эту некогда тривиальнейшую мысль: да, существуют на свете носители разума, которые гораздо, значительно хуже тебя, каким бы ты ни был… И вот только тогда ты обретаешь способность делить на чужих и своих, принимать мгновенные решения в острых ситуациях и научаешься смелости сначала действовать, а уж потом разбираться. По-моему, в этом сама суть Прогрессора: умение решительно разделить на своих и чужих». Преувеличивал же Каммерер прежде всего ту дистанцию, которую должен пройти сын Полудня (то есть землянин, *выведенный из дома рабства*, казалось бы, окончательно и навсегда), чтобы вновь возникло в нем умение делить мир на своих и чужих. Во всяком случае ему, Каммереру, потребовалось совсем немного времени — менее двух недель. Вот она, вся пройденная дистанция, начиная со старта, когда при виде первого из аборигенов, Зефа, Максим думает: «…Сразу было видно, что ни о высшей ценности человеческой жизни, ни о Декларации прав человека, ни о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме, он слыхом не слыхал, а расскажи ему об этих вещах — не поверил бы». Как видим, налицо и терпимость, и спокойно-иронический взгляд истинного сына Полудня. Но — чуть далее: «У порога грязной кучей клетчатого тряпья ворочался рыжий Зеф. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постанывал сквозь зубы. А Мах-сим больше не улыбался. Лицо у него застыло, стало совсем как обычное человеческое…» Так, парень, похоже, задумался. С иронией стало непросто… И наконец, спустя всего десяток дней: «…он обнаружил, что усатый смотрит на него. Неприятно смотрит, недружелюбно. И если приглядеться, то он и сам какой-то неприятный. Трудно сказать, в чем здесь дело, но он ассоциируется почему-то не то с волком, не то с обезьяной». Все. Готов. Отсюда — всего шаг (и менее часа времени) до того состояния, когда Максим впервые убивает человека сам…

Однако — по порядку. Вернемся на несколько дней назад: нужно ведь еще обменяться с этим вывернутым наизнанку миром хотя бы рисунками,

ибо слов пока нет…

ВТОРАЯ ЗАПОВЕДЬ

«— По-моему, это схема Мира… — Да, возможно… Я слыхал про такое безумие… Такого животного Гай не знал, но он понял одно: это уже не был детский рисунок. Нарисовано было здорово, просто замечательно. Даже смотреть страшновато… А псих не унимался. Теперь он рисовал уже не животное, а явно какой-то аппарат, похожий на большую прозрачную мину. Внутри мины он очень ловко изобразил сидящего человечка…

…Максим рисовал много, охотно и с удовольствием… животных и людей, чертил таблицы и диаграммы, воспроизводил анатомические разрезы…»

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ

«Сейчас бы принять ионный душ, подумал Максим, да выскочить нагишом в сад, да не в этот паршивый, полусгнивший, серый от гари, а в наш, где-нибудь под Ленинградом, на Карельском перешейке, да пробежать вокруг озера километров пятнадцать во весь опор, во всю силу, да переплыть озеро, а потом минут двадцать походить по дну, чтобы поупражнять легкие, полазить среди скользких подводных валунов…»

Мало пользы для душевного состояния нового Робинзона в том, чтобы вот так, напрасно поминать свои святыни, свой рай… Свою веру. Зря он это…

И даже не потому, в первую очередь, зря, что такое вот, суетное поминание рая способно лишь подорвать столь ценимую юным суперменом готовность преодолевать трудности. Главная ошибка в том, что в голове его — уже НЕ воспоминания. Но — МЕЧТА. Ибо идеализированная картина сия ушла из жизни Максима навсегда. Он (как и его создатели) никогда уже не вернется в мир Полудня, где для тренировки молодых сил и эмоций ничего, кроме спорта, просто-таки нет. В Полдень нет и не может быть возврата прежде всего потому, что он более не существует. Нет. Не так. Хуже. Его и не было. Мечта. Вера… «Он попытался представить себе Землю, но у него ничего не получилось, только было странно думать, что где-то есть чистые веселые города, много добрых умных людей, все друг другу доверяют». ТАКОЙ Полдень — пройденный этап. В дальнейшем — и не только в «мире наизнанку», но и вернувшись

на Землю, — Каммерер будет встречаться не с одними лишь веселыми, красивыми и счастливыми коммунарами. Но — с РАЗНЫМИ людьми. В том числе — с плохими. Вредными. Опасными как для Дела, так и для него и его друзей лично. А рай… Что ж, на то и вера, чтобы оставаться в душе адепта светлым и неприкосновенным источником сил и терпения. Мечтой. И не быть поминаемой напрасно…

ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Будучи землянином, Максим не был фанатиком дела, напротив, закончив работу, как мы знаем, он любил и умел со вкусом отдыхать. Здесь же, на Саракше, он отдыхать разучился. Раз и навсегда… «Десять суток я здесь, а ничего еще не сделано…» Максим — больше не коммунар, он — строитель *будущей* коммуны, то есть — борец. Герой… А герой не работает, герой — совершает подвиги. Ему не до отдыха.

ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

«Он все время видел маму, как ей сообщают: „Ваш сын пропал без вести“, и какое у нее лицо, и как отец трет себе щеки и растерянно озирается, и как им холодно и пусто… Нет, сказал он себе. Об этом думать не разрешается. О чем угодно, только не об этом, иначе у меня ничего не получится. Приказываю и запрещаю. Приказываю не думать и запрещаю думать. Все».

Мало, выходит, отринуть и забыть тот рай, откуда ты вышел, мало забыть свою веру. Мало и просто научиться видеть и понимать новых богов… Надо еще железной рукой отрезать себя от тех якорей, которые удерживают твою связь с прошлым, делают слабее. В том числе — забыть отца своего и мать свою…

(Впрочем, ведь и Тот, который не мир пришел принести на Землю, но меч, тоже требовал разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее…)

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Шаг шестой — и последний. Собственно инициация. Причащение к новой вере. Кровью.

«…Он знал, что поступил так, как должен был поступить, и сделал то,

что должен был сделать, — ни каплей больше, ни каплей меньше… и он понимал теперь, что это все-таки люди, а не обезьяны и не панцирные волки, хотя дыхание их было зловонно, прикосновения — грязны, а намерения — хищны и отвратительны. И все-таки он испытывал какое-то сожаление и ощущал потерю, словно потерял некую чистоту, словно потерял неотъемлемый кусочек души прежнего Максима, и знал, что прежний Максим исчез навсегда, и от этого ему было немножко горько, и это будило в нем какую-то незнакомую гордость…»

Итак, Рубикон перейден и мосты сожжены. На этом можно прекратить отсчет, ибо перешагивать через оставшиеся четыре заповеди нет никакой необходимости: новый Прогрессор прошел полную инициацию и готов идти дальше, до конца. Включая и ту часть Пути, которая пройдет по родной Земле. Отныне Максим Каммерер делит людей Саракша (а в дальнейшем — и всех разумных во Вселенной) на своих и чужих. Жестко и однозначно. Он больше не походит на «перепонку» космического корабля землян, которая без разграничения «свой-чужой» пропускает любого гуманоида. На Ковчеге такая преграда оказалась «правильной» — впустила в корабль Малыша. На Саракше она подвела бы своих создателей наверняка. Впрочем, «программа» (иначе говоря — архетип) у землянина заложена от рождения и ничуть не повреждена. Чтобы запустить ее в действие, достаточно было только ударить в его присутствии женщину. И — перепонка закрылась. Не нужны Максиму уже ни прелюбодеяние (собственно, даже специально подготовленный профессионал, дон Румата Эсторский, так и не научился преступать эту заповедь), ни кража (хотя в будущем для Прогрессора Каммерера это уже не проблема, как, впрочем, и лжесвидетельство — даже перед «своими» — ради дела), ни желание имущества ближнего… Начиная с этого момента Мак полностью отрекается от детских (в самом высоком и чистом смысле этого слова) представлений об «интересной жизни», перестает быть человеком играющим и вливается в число тех, кто ищет настоящего дела в реальном, отнюдь не совершенном мире. В мире, который, между прочим, надо еще и спасать. Этот Мир Наизнанку — отныне и надолго — его новый дом. Со своими богами и кумирами, со своей, отнюдь не Полуденной, любовью, с простой и ясной ненавистью. Фантастика кончилась. Наступил час реализма.

II

Итак, с самого начала «Обитаемого острова» фантастичность повествования проявляется фактически только в том, ЧТО принес Мак, новенький, еще не тронутый реальностью Саракша, — оттуда, из сказочного Полудня. А принес он не межзвездный корабль и не позитронные эмиттеры, но — себя самого. Вспомним: Максим Каммерер — вполне обычный землянин, отнюдь не из самых-самых. Даже как бы и второсортный. При этом, однако, не будучи писателем, он обладает чувством языка на уровне приличного журналиста. Не художник, но рисует почти профессионально. Не музыкант, но… А память, а способность к обучению! Не говоря уж о физической подготовке, психомассаже и субаксе — умении «проскальзывать между секундами». И все эти суперменские (с точки зрения жителя Саракша, а следовательно, — и нашей) качества — всего лишь качества самого обычного землянина. (В дальнейшем, уже на той, новой Земле, описанной в «Жуке в муравейнике», картина всеобщего суперменства куда-то, к счастью, девается.) Но главное, разумеется, не в субаксе или умении рисовать. Главное — в моральном кодексе жителя Рая Для Благородных.

Как же получилось у Стругацких, что Каммерер с самого начала книги смотрится естественно и живо — при эдаком-то наборе едва ли не ангельских качеств? Ведь *на самом деле* так не бывает, уж мы-то в курсе… Решение здесь возможно только одно, и АБС нашли его безошибочно. Юмор. Самоирония. Весь язык — и, прежде всего, язык внутренних монологов Максима — пропитан постоянным интеллигентским трёпом пулковско-петербургского разлива. Собственно, ирония — один из фирменных отличительных знаков большинства шестидесятников. Да иначе и быть не могло. Для интеллектуала, способного к холодному критическому анализу действительности (проще говоря — сторонника не ВЕРЫ, но ЗНАНИЯ), возможен лишь один путь выживания в окружении беспощадной реальности — путь иронии. «…Сообразительная такая была обезьяна, шестипалая, — подняла, значит, палубу… Что там в кораблях под палубой? Словом, нашла она аккумуляторы, взяла большой камень — и трах!.. Очень большой камень, тонны в три весом, — и с размаху… Здоровенная такая обезьяна… Доконала она все-таки мой корабль своими булыжниками — два раза в стратосфере и вот здесь…» А ведь герой — в критической ситуации. Говоря честно, он попросту обречен на гибель. И спасти его от отчаяния может только одно. То сдержанно-ироническое отношение к себе, в котором он воспитан с детства.

Сдержанная ирония в соединении с высококлассным русским литературным языком — почти готовое описание «марки» АБС. Что же до

ЖИЗНИ Максима Каммерера, то и здесь слово «ирония» — ключевое. Он остается «полуденным мальчиком» ровно до тех пор, пока ироническое отношение к миру ему еще присуще. Максим же «нового образца» уже, к величайшему сожалению, воспринимает и мир, и себя самого только всерьез…

Вообще, каким бы странным это ни показалось, есть целый набор качеств, объединяющих Каммерера и самих АБС. Это не только постоянная готовность к иронии как «фирменное» средство от цинизма.

Что он за человек, юный Каммерер? Каким он был там, на Земле, еще до Саракша? Мы знаем о нем немного, но главное назвать все же можем: стремление к свободе любой ценой. Да, по идее, это в характере всякого землянина-коммунара, и все же именно он, Максим Каммерер, оказался в Группе *Свободного* Поиска. При всей его любви к родителям, при всей привязанности к друзьям, при явном умении и желании быть человеком компанейским. Не говоря уж о «каких-то девицах»… Пусть ценой одиночества, но — свобода! Нет никаких сомнений: это качество досталось литературному герою от авторов. Оно же нашло свое продолжение и на Саракше. Сначала радость от того, что удалось наконец «потеряться» по дороге из телецентра. Далее — целая цепочка подобных же «отрывов» от любого социума — в одиночное плавание. А ведь Саракш — мир, требующий в точности обратного: быть, как все. Это Максим открывает для себя в первый же день общения с городом. Так что ситуация, в которой он оказался, вполне адекватно моделирует положение писателя-интеллектуала в тоталитарном обществе. Позже названное свойство в сочетании с умением сопереживать сделает Мака «солдатом удачи» — сперва на Саракше, а потом — и в космическом масштабе. Космополитом, который нигде не дома. Точнее, дом его — там, где друзья. И где враги. То есть в том мире, где он востребован. «Смешно и стыдно стало ему думать о собственных неурядицах, игрушечными сделались его собственные проблемы — какой-то там контакт, нуль-передатчик, тоска по дому, ломание рук…»

*** * ***

Тема роста и взросления героя присутствует у АБС постоянно. В «Острове» же — особенно и в особой форме.

Герои Стругацких — почти исключительно взрослые. В том числе и в тех книгах, где отсутствие детей делает картину неполной и даже немного

странной. Как, например, отсутствие темы детей выродков и, особенно, *детей-выродков* — на Саракше. При этом создавать живые детские образы Стругацкие не просто умеют — умеют как никто другой. Но ПОЧЕМУ-ТО редко за это берутся. Посмотрим, однако, на вопрос с иной точки зрения. Глубже. Подавляющее большинство персонажей Полудня по сути своей — мальчишки, просто во взрослом обличье. Лет эдак по двенадцати. Талантливые мальчишки-коммунары, у которых все в порядке с мозгами и темпераментом…

Возможно, именно в этом — странная двойственность, одновременно реальность и непредставимость миров Полудня. Все вроде бы живые, психологически достоверные, порой — узнаваемые, но… Но снять бы еще с них этот взрослый грим!..

И именно это замечает Гаг, парень с Гиганды: они хорошие, сильные, порой — опасные бойцы. Но — немного ненастоящие, с его точки зрения. Примерно как для нас — герой рассказа Рэя Брэдбери «Здравствуй и прощай» — с вечно молочными зубами и так и не прорезавшейся взрослостью (или, если угодно, с атрофированными агрессивными архетипами и основными инстинктами). Взрослые жители Полудня, за единичными исключениями, обретают плоть и кровь лишь в одном случае — озверев. А это никак не устраивает авторов идеи Теории Воспитания. Отсюда и методика перевода стрелок истории, принятая на вооружение мокрецами: за создание нового мира берутся дети. Дети, в одночасье ставшие большими, — минуя взросление как период и как фазу деградации. Тем самым АБС косвенно признают безнадежность попыток построения практической теории воспитания, пригодной здесь, на реальной Земле, — без разрыва «связи времен». Ибо психика взрослого землянина — это не только видимое простым глазом звено цепи, выкованное личным опытом, но и вся цепь целиком — цепь опыта поколений, уходящая в глубь веков, до пещер включительно. А психика ребенка — еще нет. Ребенок и только ребенок может быть *превращен* в человека будущего, как это случилось с Ирмой и Бол-Кунацем. Что и приводит к парадоксу: Миры Полудня заселены большими детьми, и, соответственно, вводить в действие «просто ребенка» имеет смысл лишь в исключительном случае — когда ребенок этот — *личность*, необходимая по сюжетным соображениям. Как, например, обитатели 18-й комнаты Аньюдинской школы. Или как Анка, Пашка и Антон. Как Пьер Семенов или Кир Костенецкий…

* * *

О педагогике.

«Ему приснилась чепуха: будто он поймал двух выродков в каком-то железном тоннеле, начал снимать с них допрос и вдруг обнаружил, что один из выродков — Мак, а другой выродок, мягко и добро улыбаясь, говорит Гаю: „Ты все время ошибался, твое место с нами, а ротмистр — просто профессиональный убийца…“ …И Гай вдруг ощутил душное сомнение, почувствовал, что вот сейчас поймет все до конца…» Здесь — короткий миг снижения уровня работы с учеником. Гай фактически входит в прямой контакт с автором — самими Стругацкими: с ним прямым текстом говорит Учитель. Это — подсказка. Хотя в школе, вообще-то, подсказывать нехорошо…

* * *

Гай — один из интереснейших героев АБС. И очень непростой.

Есть известный афоризм Марка Твена: «Настоящий друг с тобою, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобою». Сказано отменно. Однако многие ли, почитающие себя друзьями, сумели бы пройти такой вот тест на истинность: остаться с другом, когда, по-твоему мнению, он абсолютно не прав?..

Гай эту проверку прошел с блеском.

А ведь он отнюдь не бойскаут. Он, между прочим, расстреливал, и неоднократно. («…Знакомый, очень знакомый проселок, ведущий к Розовым Пещерам… Но тогда почему он не стреляет? Может быть, он повел их дальше обычного места?.. На обычном — слишком сильно пахнет…»)

* * *

Время написания «Обитаемого острова» — конец шестидесятых. То есть ПОСЛЕ оттепели. Время, когда, кроме всего прочего, в дополнение к доброму старому слову «ЗК» в обиходе появилось новое слово — «диссидент».

«Максим, не понимая, переводил взгляд с одного на другого. Они

вдруг сделались очень не похожи сами на себя, они как-то поникли, и в Вепре уже не ощущался стальной стержень, о который сломало зубы столько прокуратур и полевых судов, а в Зефе исчезла его бесшабашная вульгарность и прорезалась какая-то тоска, какое-то скрытое отчаяние, обида, покорность… Словно они вдруг вспомнили что-то, о чем должны были и честно старались забыть». Вот они — диссиденты высшей пробы и высшей степени закалки, стальные «по жизни», но безнадежные пессимисты внутри. Они СЛИШКОМ умны, чтобы верить. Они ЗНАЮТ.

Впрочем, пессимизм тоже бывает разный. Та безнадежность, которую Максим ощутил, узнав от Вепря и Зефа правду про сеть башен, — разве ЭТО безнадежность? Ведь там, на Саракше, башни можно отключить — разрушив Центр. А на что надеяться здесь, у нас, где нет ни башен, ни Центра, а все прочее — как раз присутствует? Архетип стадности — аналог этого самого излучения — передается по индукции от марионетки к марионетке. А вместе с ним — и массовый восторг в заранее отведенные дни и часы, и вся прочая наша многолетняя данность. Без всяких «регулярных сеансов»… Тот, кто достаточно умен и образован, давно устал и потерял надежду. Но — дерется. Как дрались Тик Феску и Аллу Зеф. Как дрался до конца Андрей Дмитриевич Сахаров — ибо иначе и жить не стоит…

И все же — если правда, что ничего нельзя придумать, а можно лишь угадать или предсказать, — где же он тогда, НАШ Центр? Без него картина мира получается слишком уж реальной. А это — страшно.

Здесь, на Саракше, впервые материализована одна чисто человеческая мечта АБС. Не об иных мирах и уж, конечно, не о суперзвездолетах. И даже — не о воспитании нового человека. Как отвлеченны и далеки такие цели по сравнению с простым и осязаемым: взять и *выехать из поля башен* — выехать туда, где все люди — Люди! И вывезти, отманить от стада хоть кого-то, хоть малую часть. Вот где истинный катарсис! Ну а если, как сказал Колдун, «перетаскать все эти миллионы сюда по одному» — тогда и вовсе… Вопрос *всего лишь* в том, где оно, это место, куда надо перетаскивать…

Аналогичный (а на самом деле обратный) пример практического воплощения идеи — департамент Странника. Прогрессор Рудольф Сикорски — в роли воспитателя. Здесь налицо то самое «использование башен для других целей», о котором говорил Максиму Вепрь. СДЕЛАТЬ людей честными и добрыми. То есть именно то, что в Арканаре решили не пробовать. Один из маленьких шагов «растягивания» совести Максима Каммерера на пути от Полуденного Мальчика к Прогрессору. Ведь еще так

недавно, стоя перед Вепрем и Зефом, он полагал, будто его участие в подобном проекте абсолютно невозможно…

*** * ***

Допустимо ли корректное сравнение прозы АБС с МАССОЙ книг, которые в те годы, когда писался «Обитаемый остров», принято было называть «советской фантастикой»? Если да, то лишь по единственному параметру:«…это было больше похоже на бредовую фантазию, чем на реальные миры. На фоне этих видений ментограммы Максима ярко сияли реализмом, переходящим из-за Максимова темперамента в романтический натурализм». Вот, кстати, и самоопределение жанра: реализм, переходящий в романтический натурализм. Длинновато, зато — в самое яблочко.

И еще. Некоторым постмодернистам критики инкриминируют «отталкивание от реальности», боязнь ее. Подобное отталкивание и в самом деле присутствует порой едва ли не как технический прием. Однако это вовсе не прерогатива постмодернизма. Разве не оно, не отталкивание от реального мира делает для жителей Саракша (то есть для нас) столь привлекательными книги, подобные «Обитаемому острову», — с их реализмом, переходящим в романтическим натурализм?..

*** * ***

«Ни на кого здесь нельзя рассчитывать. Только на себя… Может быть, отстраниться? Спокойно и холодно, с высоты своего знания неминуемого будущего взирать, как кипит, варится, плавится сырье, как поднимаются и падают наивные, неловкие, неумелые борцы, следить, как время выковывает из них булат и погружает этот булат для закалки в потоки кровавой грязи, как сыплется трупами окалина… Нет, не умею. Даже думать в таких категориях неприятно… Страшная штука, однако, — установившееся равновесие сил. Но ведь Колдун сказал, что я — тоже сила».

Итак, на новом этапе кредо АБС — уже кредо одиночки. Одиночки, который тоже сила.

НЕ ИМЕЮ ПРАВА ВЕРИТЬ. «Отель „У Погибшего Альпиниста“»

«…Сын мой утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен… Мне хорошо с самим собой…»

Как видим, инспектор Глебски с самого начала заявлен как личность. Более того — как интеллектуал, способный к самоиронии. Наш человек.

Далее. Физик, притом едва ли не великий — Симонэ. И, наконец, третий — настоящий интуитивный психолог, хозяин гостиницы. Налицо набор персонажей для интеллектуального детектива. Осталось добавить «героев противоположного знака».

В дальнейшем заявленный жанр выдерживается достаточно долго. Пример тому — описание «пьянки» (еще до каких бы то ни было происшествий): демонстрация возможностей языка и юмора Стругацких, идеальное ведение темпоритма, абсолютное владение читательским вниманием. Короче говоря, детектив получается весьма приличного уровня. Казалось бы…

В какой-то момент наступает перелом. Хозяин начинает «чуять чертовщину». То есть, по сути дела, находит единственно верное объяснение происходящему. Глебски при этом даже не пытается усомниться в наличии объяснения «обычного» — выйти за пределы жанра. Он по-прежнему умен и точен, но… Но ТАК мыслить он не умеет. Эта планка для него слишком высока.

И вот тут-то, когда чистота жанра утеряна, и начинается настоящий психологический анализ действующих лиц. Точнее, людей. Их на основной сцене ровно четверо — по одному от каждой социально-психологической группы человечества. Хинкус — от массы аморальных потребителей, которых ничем не удивишь, которые, не задумываясь, готовы купить кисточку с хвоста самого дьявола. Хозяин — от группы тех, кто связан серьезными моральными ограничениями и при этом не настолько зажат рамками рационального мышления, чтобы отказаться от достаточно сумасшедшего объяснения происходящего. Третий, Симонэ — *настоящий физик*, тоже способный на правильное восприятие событий, без шор, но совершенно по другой причине: его ум профессионально натренирован для этого и априори готов к невозможному. И, наконец, сам Глебски — умный аналитик, главная особенность которого в данной ситуации —

неспособность выйти за рамки стандарта. («…В этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях…») Что, собственно, и приводит к катастрофе.

Человечество, таким образом, проявляет в сложившихся обстоятельствах все свои качества — как лучшие, так и худшие. Традиционно побеждают последние. Те, что реально сильнее. На «физическом» плане их воплощает мафия, а на психическом — тупость, в том числе тупость очень неглупого человека. Пришельцы, в свою очередь, выступают в качестве зеркала, отражая землянина, каким он выглядит при взгляде извне, без эмоций и оценок. Одновременно они демонстрируют всю опасность прогрессорского стремления делать добро («…где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки?»). Кстати! Арканарское средневековье ни обманом, ни угрозами, ни шантажом не смогло сделать землянина гангстером. А вот Мозес оказался послабже…

По ходу дела подтверждается и одно из положений политической концепции Андрея Дмитриевича Сахарова о том, что адекватно действовать в ЛЮБОЙ ситуации — от простой драки до решения глобальной этической проблемы — может лишь ученый. Желательно, технарь. Что-то вроде Эйнштейна или самого Сахарова. А слуга закона, чиновник… Нет, он хорош. На своем месте. И даже умеет быть самокритичным. Только этого мало. Ситуация требует уровня не просто умного человека, но — уровня Симонэ! Физик выступает на авансцену и становится не просто одним из действующих лиц, но — единственным, кто понимает всё. Именно он говорит от имени авторов: «Никаких вурдалаков. Никакой мистики. Сплошная научная фантастика».

Есть, однако, в этой истории и теневая сторона — с чисто литературной точки зрения. Отходная детективному жанру получилась — в каком-то смысле — противоположной по знаку «Ожиданию» Дюренматта: там игра по *человеческим* правилам, правилам детектива ведется до самого конца (это и приводит героя к катастрофе, ибо преступление совершено душевнобольным и «нормальной» логике неподвластно), тогда как у АБС получился сюжет, который «вытянуть» можно лишь на внечеловеческих допущениях. Собственно, именно этого авторы и добивались, но… «Вы же не мальчик, Симонэ, вы должны понимать: если пользоваться арсеналом мистики да фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет очень логично. Но разумные люди в такую логику не верят». Вот именно…

В итоге книг получилось две. Разных. Детектив, спасти который не удалось, так как действие зашло в глухой тупик. И — научно-

фантастическая часть, концовка. Для которой детективная история была всего лишь прологом, увертюрой… Это интересно, и это заставляет о многом задуматься. И все же… и все же любители детективов остались с носом. А любители фантастики получили коротенький рассказ — остаток от детектива…

БЕСПОЩАДНО ВОССТАНОВИТЬ ЧЕЛОВЕКА. «Малыш»

Книги Стругацких, вне зависимости от «этапа» творческого развития, никогда не страдали одной болезнью — похожестью друг на друга. Да, при желании некоторые из них можно объединять в группы — более или менее условно. Однако немало и таких, для которых, как ни старайся, найти «полочку» нельзя. «Малыш» — одна из них. Несмотря на похожесть декораций, несмотря даже на присутствие Горбовского и Комова, эта повесть — не из «Полуденных». И вообще, вся она «какая-то не такая»… Даже *действующих* лиц в ней, по сути, всего двое: Стась Попов и Пьер Семенов.

«Малыш» — самостоятельное литературное явление. Быть может, прорыв, первый шаг. Пусть небольшой, но именно тот, с которого МОГЛА БЫ начаться дорога длиною не в одну тысячу ли… Вот только жить бы нам в менее странные времена…

* * *

«…Очень холодный, очень неподвижный, очень цельный… как вломился он в этот плоский беззащитный берег сто тысяч лет назад, так и намеревается проторчать здесь еще сто тысяч лет».

Айсберг — символ не только Ковчега, но и Космоса, и мироздания вообще — по отношению к разуму. Вселенная нас *не замечает*.«…Прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы, — тишина огромного, совершенно пустого мира. Я затравленно огляделся…» Еще бы. Человеку такое, конечно, не нравится, он ведь не природа, он не терпит пустоты. Отсюда и отношение к океану Ковчега: противоестественно мертвый. А как же! Мы ведь воображаем, будто нам виднее, что естественно, а что — нет. Пугает нас и Космос — мертвый и равнодушный, и Лес — живой и не менее равнодушный, и Эксперимент — вообще непонятный, но все равно равнодушный. Не говоря уже о «щупальцах будущего»… Словом — *всё объективное*. Вот мы и принимаемся спасать мироздание от пустоты и бессмысленности. Религией — приписывая миру смысл; фантастикой — продлевая и расширяя ареал существования разума; наукой — находя во Вселенной если не смысл, то хотя бы логику. И делаем мы это с начала

времен. Ведь в пустом океане и вправду недолго со страху потонуть… Правда, Вселенная не слишком интересуется всем этим антропоморфизмом. Даже если она вовсе не так пуста, как показалось на первый взгляд — *взгляд человека*.

Особенно неприемлема холодная объективность мироздания для женщины. Увиденное на Ковчеге настолько далеко от всего «естественного» (то есть привычного), что такой мир женская душа попросту отторгает. Майка не приемлет Ковчег так же, как Ангелина — Лес. Ибо они — женщины, хранительницы традиций. В этом же смысле для Майки вне ее морали оказывается тот, кем она заочно так восхищалась, — Геннадий Комов. СЛИШКОМ умен, СЛИШКОМ проницателен. И, главное, СЛИШКОМ объективен — вне эмоций, вне привычного «хорошо-плохо»… Как Камилл для обитателей Радуги. «Не понимаю я его. И вообще он мне не нравится! В жизни больше никогда с ним работать не буду!» Что ж, сказано честно и точно.

Но это все — и боязнь пустоты, и прочая ксенофобия — всего лишь второй план. Главная тема книги иная. Здесь, на Ковчеге, *как бы случайно* смоделированы идеальные условия для практического воплощения Великой Теории Воспитания. (Нечто аналогичное проделано и в «Гадких лебедях», но — сознательно.) Итак, эксперимент по педагогике. Этап первый. Маугли.

«— Во всяком случае, они гуманны в самом широком смысле слова, какой только можно придумать». Идеальное воспитание. Даже «идеальнее», чем в лепрозории, у мокрецов, ибо в жизни Малыша не было и зачатков пресловутого «думай, как я», от которого нужно как-то освобождаться. Его первые «учителя» не столько убирали, сколько добавляли — на чистый лист. Не портя сам этот лист: они нашли в структуре врожденного необходимое и реализовали это. ТОЛЬКО необходимое. («— Нельзя! — почти крикнул он. — Ничего нельзя брать руками в рот. Будет плохо!») При этом сами они ухитрились остаться настолько безликими, что «ученик» не знал даже об их существовании! Налицо сверхчистая проверка Теории Воспитания. Интересно, что фантастика как таковая здесь отсутствует: обычный мысленный эксперимент предельного типа. Объект: формирующийся разум, свободный от какого бы то ни было *личностного* влияния. Итог: разум этот реализован с самым высоким КПД, какой только можно вообразить. «Получился» идеальный маленький человек. Идеальный не только интеллектуально (в начале семидесятых тема сверхвозможностей мозга двенадцатилетнего ребенка всерьез еще не обсуждалась, АБС вышли на нее интуитивно), но и

— нравственно! В частности, не приемлющий лжи как таковой. И не потому, что это «плохо». Малыш не дает моральных оценок поступкам и НЕ УМЕЕТ осуждать людей, их совершивших. Он или приемлет, или отторгает. Словом, вполне обычный ангел.

Этап второй. Земляне.

«Людей четыре. Очень много. Даже один очень много. Но лучше, чем четыре». Это — к вопросу о требуемом Теорией Воспитания количестве Учителей… Что же до количества людей вообще, то замечу: земляне на Ковчеге все до единого были ВЗРОСЛЫЕ. Учитывая же сверхъестественную проницательность Комова, нетрудно предположить, каких именно землян он взял бы с собой на Ковчег — зная заранее, ЧТО ему там предстоит делать на самом деле…

Далее, состав. «Комов по каким-то своим высшим ксенопсихологическим соображениям считал нежелательным присутствие женщины на первой беседе с Малышом». Здесь проявляется не столько проницательность Комова, сколько позиция Стругацких. Посмотрим с этой же точки зрения на «педагогический коллектив» лепрозория («Гадкие лебеди») — и вопрос о том, как АБС относятся к современной, с позволения сказать, школе (где «воспитанием» толпы детей урывками занимается сравнимая по количеству толпа женщин), думаю, отпадет сам собой.

И, наконец, кодекс. Роль Учителя предполагает не только интеллект, но и ту самую «гуманность в широком смысле». Не будь ее у неведомых обитателей Ковчега, вряд ли им удалось бы добиться успеха в формировании и сохранении цивилизации по имени Малыш. Самим спасением мальчика они подписались под квинтэссенцией гуманизма — Золотым Правилом Этики: не делай другому того, чего не желаешь для себя. Подписались заранее, в одностороннем порядке. Соответственно, и земляне обязаны были ответить им (и ответили) тем же. То есть — не стали навязывать свое общество и свое понимание Контакта.

Таковы минимальные требования к Школе, к Учителям. Каков же идеальный Ученик?

Этап третий. Педагогика.

Одно лишь общение с единственным живым представителем племени «идеальных учеников» превращает доселе и не помышлявшего ни о чем подобном Стася Попова — в Учителя. «Сообщение… скрутило Малыша в колобок, развернуло, выбросило в коридор и через секунду снова швырнуло к нашим ногам, шумно дышащего, с огромными потемневшими глазами, отчаянно гримасничающего. Никогда раньше и никогда после не

приходилось мне встречать такого благодарного слушателя». Подобный ученик — мечта любого Учителя. Хочет знать ВСЁ, молниеносно запоминает ВСЁ и НАВСЕГДА, умен, предельно пластичен, не знает лжи, не имеет никакой цели, кроме интереса к познанию («…чешутся вопросы… стараюсь спастись: бегаю, целый день бегаю или плаваю, — не помогает. Тогда начинаю размышлять»). И, наконец, окончательно идеальным в роли ученика делает Малыша то, что ангел он — лишь по сути, но никак не внешне. Внешне он, напротив, уродлив. («С большим трудом я удержался, чтобы не отвести глаза. Страшненькое все-таки было у него лицо».) То есть этот ребенок не рискует вызвать в Учителе ни инстинктивного родительского умиления, ни столь же животной жалости к «бедному крошке», одиноко разгуливающему нагишом по ледяной пустыне, ни прочих фальшивых эмоций, не имеющих отношения к реальному положению вещей. («— Тебе его жалко? … — Почему, собственно, я должен его жалеть? Он бодрый, живой… Совсем не жалкий».) А жалость… «Женские» эмоциональные действия на грани истерики, продиктованные не разумом, но инстинктом, едва не погубили всё. Точнее, многое именно погубили. На месте Майки должна была бы оказаться Анка — она и пожестче, и поспокойнее. (Правда, при таком раскладе мы потеряли бы возможность наблюдать яркую картину из серии «она хотела ему только добра…».) И вообще, что может быть хуже для НОВОГО, чем «наиболее естественное»? Гуманизм, напоминаю, — от слова «человек», а потому истинный гуманист — тот, кто действует не от эмоций, но ОТ УМА: Леонид Андреевич Горбовский. А ведь цель его, между прочим, та же, что у Майки!

Кто знает, может быть, не будь того предательства — и жесткие рамки Контакта могли бы раздвинуться: не только киберу Тому, но и самому Стасю Попову «разрешено» было бы остаться на планете или хотя бы иногда прилетать туда. А потом, глядишь, и еще кому-то. Земляне ведь есть разные; есть, между прочим, и сверстники Малыша. В конце концов, интеллект — интеллектом, а вырасти Человеком, видя живых людей только на экране…

«Педагогическую эстафету» у невидимых обитателей Ковчега принимает Геннадий Комов. Но Учителем в итоге становится все же Стась и только Стась. (Обещание Майки уйти в школу и учить ребят «вовремя хватать за руку всех этих фанатиков», как мы знаем, оказалось лишь благим намерением. Как, впрочем, и всякий чисто эмоциональный порыв, никак не подкрепленный УМЕНИЕМ. Жилин, например, не принимал красивых поз и не устраивал сцен, ломая чужие судьбы, — он просто ушел.) И именно

Стась нашел в Малыше еще одно ЧИСТО человеческое свойство. То, которого не искал Комов и которого не могла найти Майка. «— Тебе плохо без меня? — Да, — сказал я решительно. — Феноменально, — проговорил он. — Тебе плохо без меня, мне плохо без тебя. Ш-шарада! — Ну почему же — шарада? — огорчился я. — Если бы мы не могли быть вместе, вот тогда бы была шарада». И еще: «Я не сержусь. На него нельзя сердиться… Когда Лева беседует с Малышом, околопланетный эфир заполняется хохотом и азартными визгами, а я испытываю что-то вроде ревности». Как видим, родительские чувства в Учителе не только не вредят делу, но и приветствуются в «Школе Теории Воспитания». Это относится и к Жилину, и к Тенину, и к Попову. Родители, таким образом, не устраняются вовсе, просто ячейку *воспитателя* занимает не случайный непрофессионал, но некто с призванием и, главное, — по выбору «учащегося». Если же такого человека в пределах досягаемости не оказывается — ячейку занимает не некто, а нечто. Скажем, книги…

Собственно, Геннадий Комов тоже вполне готов к миссии Учителя — на то он и ксенопсихолог. «…Комов говорил и говорил, точными, ясными, предельно простыми фразами, ровным, размеренным голосом и время от времени вставлял интригующие: „Подробнее об этом мы поговорим позже“». Более того, Комов умеет быть добрым сказочником. Сразу же почувствовав, что имеет дело с ангелом, он идеализирует людей: «— Люди никогда никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо». (Люди однако вовсе не так хороши. Да и невозможно *всем вокруг* желать добра. Чтобы доказать это, далеко ходить не придется — Майка уже тут, под рукой…) Комов и остался бы на педагогической работе, но не вынес потери уникальной возможности настоящего Контакта; да и не был он внутренне готов променять науку на место провинциального учителя — пусть даже учителя целой цивилизации.

*** * ***

Итак, Малыш — абсолютный Ученик. Но человек ли он? Его Учитель, Стась, полагает, что это, по меньшей мере, не совсем так: «Тебе все время бросается в глаза человеческое… Что у него вообще наше? Тебя просто сбивает с толку, что он умеет говорить… все человеческое в нем случайно, это просто свойство исходного материала… не нужно разводить вокруг него сантименты». Отсюда один шаг до простого вывода: идеальный ребенок, НОВЫЙ человек, воспитанный в соответствии с ТВ, без потерь, с

полностью реализованным потенциалом и свободный от дурного влияния традиций, — это уже НЕ ребенок. Как не дети — Ирма и Бол-Кунац в финале «Гадких лебедей». Более того — он и не человек. Сверхчеловек — да, возможно, но — не человек. От человека в нем, кроме внешности и речи, лишь страсть к познанию да Золотое Правило. Хотя… Это ведь и есть необходимые свойства всех истинно разумных, какими бы негуманоидными они ни были.

Здесь — не просто продолженная мысль о том, что будущее не плохое и не хорошее, а лишь чуждое нам. Здесь — фантастика, окончательно отвернувшаяся от звезд к людям. Ибо речь идет о ситуации скорее модельной, нежели фантастической. Ребенка ведь можно воспитать именно так и на Земле, притом сегодня. (Разумеется, подобный эксперимент над человеком может быть только мысленным.) Стоит лишь воспроизвести исходные условия и организовать грамотную изоляцию. И ничто фантастическое не понадобится. Ни следящие «усы» над горизонтом, ни умение ребенка создавать фантомы, ни, скажем, Т-зубец на его ментограмме. Все это — вполне заменимые мелочи. И результатом будет новый Малыш — не человек. Сверхчеловек — если опыт удастся. Может быть, с годами — «человек совсем». Но «просто человек» — уже нет.

Так что напрасно Борис Натанович Стругацкий, отвечая однажды на вопрос в Интернете, сказал об отсутствии Теории Воспитания как таковой. Вот она — в предельном воплощении: полная изоляция от всякого воздействия традиции — раз; техническая возможность неограниченного общения с Учителями — два; сами Учителя — три. Всё.

Разумеется, это пальцы загибать легко, а реализовать подобные условия, мягко говоря, непросто. Но речь ведь о Теории.

*** * ***

Возможно, самый «нефантастический» в портретной галерее АБС образ — образ Майки. Обычная ЖИВАЯ женщина. Молодая, умная, грамотная. Но… Но — женщина. Само по себе это не плохо и не хорошо. Это *правдиво*. Есть расхожее мнение, будто Стругацкие сознательно избегали женских образов, так как те им плохо удавались. Неправда. Они избегали помещать женщин во враждебную среду. Одно дело — эмоционал на своем месте в социуме (будь то Диана или Лола, Кира или дона Окана, Сельма или Амалия, Женя Вязаницына или Аля Постышева, Алевтина или Нава, Рада Гаал или Орди Тадер). И совсем другое — земная до мозга

костей, то есть такая, какой только и может быть *настоящая женщина*, в Космосе. Майя Глумова. Сплошная неприятность — как для нее самой, так и для всех вокруг.

Обратите внимание. Даже Роберт Скляров — и тот постоянно занят рефлексией (и по поводу «глупости» своей, и по поводу подлости совершённого). И Горбовский, как бы он ни был ироничен и спокоен, всегда в курсе собственной «внутренней ситуации». Да что там Горбовский. Малыш! Едва научившись облекать свои переживания в словесную форму, он принимается за самоанализ. И даже — за «плохо — хорошо»… Глумова же — никогда. Основные поступки — не от разума. Видно, именно в экстремальных ситуациях, как нигде больше, «эмоциолисты и логики становятся чужими друг другу».

*** * ***

А впрочем, что там говорить, есть, есть живые герои. И обычные, «почти такие же». И более совершенные — какими быть мы только мечтали. И даже столь идеальные, что, оставаясь живыми и осязаемыми, переходят порой в божественное состояние. Но…

Но, говоря о реалистичности созданных писателем миров и героев, нельзя не упомянуть о великой боли всякого русского писателя и всякого, кто любит и знает русскую литературу. Апофеоз этой боли — в творчестве Льва Толстого, где бесконечно интересные, не устаревающие приключения духа разбавлены — порой до потери вкуса — бесконечно нудными попытками сделать великую прозу еще и Учительской, «приговорив» к этим приключениям нечто морально-поучительное.

Проблема автора, надеющегося хотя отчасти предугадать, как слово его отзовется в душах Учеников, — в поиске того самого, не поддающегося формальному анализу, золотого соотношения между чистым действием и элементами морали. Но как бы мучительно Мастер ни искал эту волшебную пропорцию, поиски обречены как минимум на частичную неудачу. Ибо всегда были и будут читатели высшей квалификации, которым ЛЮБЫЕ пояснения не только не нужны, но и противопоказаны — вплоть до полного отторжения морали вместе с содержащей ее книгой. Сладкое такие читатели переваривают плохо, а уж в сочетании с горьким — тем более. И напротив: каждое новое поколение нуждается в литературе «учебной», каковая без элементов морали попросту немыслима. А следовательно, и в каждой генерации литераторов будут как свои

«наставники», так и свои «чистые зеркала». Большинство же пишущих расположатся в «нишах» между этими полюсами. И лишь счастливым единицам из них удастся нащупать стиль, позволяющий и увлекать действием, и — по ходу — чему-то учить. В идеале — *учить думать*. Примером явных удач в этих поисках золотого сечения могут служить многие книги АБС. И многие их герои. Однако невозможно не заметить тот факт, что герои эти в чем-то всегда немного толстовские. Скажем, Савел Репнин. Будь он более «достоевским» персонажем, разве стал бы он так доходчиво *пояснять* — обращаясь через голову собеседника непосредственно к читателю… А ведь «Попытка» — одна из самых свободных от прямой дидактики книг АБС. И если бы в ней осталось только действие, то читатель-ас порадовался бы *необходимости* додумывать «что такое хорошо и что такое плохо», но… Но тогда многие Ученики книгу бы попросту не поняли! О, безысходность…

И вот — «Малыш». Книга, появившаяся после целой серии разнообразных и в разной степени Учебных повестей — как «Полуденных», так и нет. Книга, в которой сами авторы настолько сильно ощущают себя стажерами Будущего, что попросту не готовы высказать окончательное отношение к заявленным проблемам. Поэтому неангажированность «Малыша» проявляется не только в отсутствии любых привязок к стране и эпохе (хотя и это, возможно, сыграет свою роль в том, что именно «Малыш» переживет многое из созданного в этом веке), но и в отсутствии изложения «идей» — как устами героев, так и в толстовских отступлениях. И в этом же — трудность восприятия «Малыша» для слабо подготовленного читателя, едва ли не бóльшая, чем даже в «Граде обреченном» или в «Улитке». А уж новичку «Малыш» попросту скучен: ну, ничего же не происходит! Да и нет никого. Пустота и тишина. И призраки… Чтобы суметь увлечься подобным ритмом, нужен весьма приличный уровень читательской подготовки. Зато уж, «включившись» по-настоящему, обнаруживаешь, что фантастика (в самом хорошем смысле этого слова!) в этой книге — отличного качества. Ситуация, абсолютно не реальная в жизни и даже не похожая ни на что знакомое, — это раз (ЧУДО), минимум допущений — два (ДОСТОВЕРНОСТЬ), и, наконец, сколько угодно пищи для догадок и размышлений — три (ТАЙНА). Высший балл. Так что горечь, с которой Борис Стругацкий пишет, что, возможно, именно «Малыш» (отнюдь не самое любимое детище Стругацких, книга, едва ли не случайная) проживет дольше других книг АБС, — напрасна. Повесть эта — прорыв в будущее. Она и сегодня преждевременная. И судьба ее — судьба предтечи. Продолжать же эту не-Учебную ветвь выпало не самим АБС, а

кому-то, кто будет жить в более осмысленные времена.

*** * ***

Необходимость додумывать… Конечно же, необходимость эта присутствует не в одном «Малыше». Столь любимая Стругацкими ситуация выбора, в которую они ставят, скажем, Сикорски в «Жуке в муравейнике», тоже должна вызывать в читателе мучительные раздумья. И вызывает. Беда в том, что у «Жука» таких думающих читателей намного меньше, чем хотелось бы. Ибо пресловутая сладкая оболочка, «экшн», часто привлекает НЕ ТЕХ. В то время как «Малыш» отсекает «сюжетников» заранее. Кроме того, в «Жуке» множество линий, множество тем, множество героев. В итоге основной, так и не решенный вопрос, то, что так страшно, непереносимо давит на совесть Экселенца, размывается эмоциями других героев и, главное, как это ни парадоксально, литературным мастерством и авторской жадностью самих АБС. Например, надеждинская эпопея Абалкина и Щекна — это ведь книга, сильная и глубокая, со своим конфликтом, ни на какой другой не похожим. К тому же, книга искрометно-увлекательная. Триллер. Не менее фантастичный, чем сам основной сюжет. Далее. В отличие от Комова в «Малыше», Сикорски в «Жуке» выбор может сделать только сам, не имея при этом реальной картины происходящего. И он этот выбор — двоичный выбор! — делает. Так что читатель может лишь судить его — если вообще имеет склонность к самостоятельному осмыслению прочитанного. А вот Комов решения не принимал. Ему не дали даже подумать. Да и никто там ничего не решил в итоге: остановились на нулевом варианте. Не выбор, а отсрочка выбора. Конфликт по-прежнему налицо, в полном объеме. Очень скоро Малыш все поймет — ведь, зная столько, сколько он уже знает, не понять невозможно. Так что решение Комова было бы всего лишь более острым, чем то, которое осуществил Совет. Все «подвешено», никто не прав, и что дальше — абсолютно неясно. Где еще у Стругацких ТАК?.. Попробуй-ка, дочитав ТАКУЮ книгу до конца, забыть о ней и не думать, чем там все кончится и как быть… Попробуй не ставить себя на место Стася Попова. Да что там Стась — сталкиваясь в реальной жизни с живым земным ребенком, ловишь себя на том, что смотришь на него, как на Малыша. Как на агента Будущего.

И если ЭТО — всего лишь следствие неангажированности, тогда и в самом деле, ну ее, ангажированность эту. Хотя бы в тех немногих книгах,

которые — *не для всех*. Какими бы высшими намерениями она ни диктовалась. Ибо нам нравится думать самим.

*** * ***

Здесь, в «Малыше», единственный раз, Стругацкие неявно формулируют кредо гуманиста. Не в надрывной манере Достоевского — о пресловутой слезинке ребенка, — а спокойно и логично.

Одно разумное существо не меньше и не больше целой цивилизации, но равно ей, ибо само представляет собой целый мир.

Разум — это серьезно. Это и есть Золотое Правило Стругацких.

КАЖДЫЙ ВИНТИК ЭТОГО СМРАДНОГО МИРА. «Пикник на обочине»

Эта повесть — самая «кинематографичная» у АБС. Местами забываешь, что держишь в руках книгу, и уже не столько читаешь, сколько наблюдаешь за ходом действия. Как булгаковский Максудов. Вплоть до того, что потом вспоминаются конкретные лица, помещения, улицы… Будто побывал там. Отсюда — легко заметное разделение содержимого пилюли и ее оболочки. Все то, что авторы хотели сказать *новичку*, сказано прямым текстом. (Другое дело, как Стругацким это удалось сделать, не снижая чисто приключенческих достоинств книги… Но отвечать на подобные вопросы, иначе говоря, пытаться понять тайну творчества — занятие неблагодарное: все равно ничего не получится. Не то многие умели бы ТАК писать.) Есть в «Пикнике», разумеется, и более глубокие слои. В частности, опытный ученик школы Стругацких найдет здесь аллегории, каких нет, пожалуй, больше нигде. Прежде всего — на тему «наука — фантастика — религия».

Детство настоящей фантастики, то, с чего начинались и сами АБС, — простенькая «НФ» первых послевоенных лет. Популяризаторство. Наивные мечты о скором наступлении НТР-овского рая на Земле. Литература, рассчитанная на таких людей, как молодой Рэдрик Шухарт, — с интеллектом, но без образования, — способных поверить в простую схему. «Только сейчас, — говорю, — это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир накачаем, что все переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого будет все, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звездам полетим, и куда хочешь доберемся. Вот такая у нас здесь дыра…»

Ну, а как обстоят дела с верой у тех, кто эти НФ-сказки создает? Уж они-то куда начитаннее Шухарта, слушателя своего. Соответственно, и скепсиса у них поболе — как, скажем, у Валентина Пильмана. Да и страха тоже… «Боятся, боятся, высоколобые… Да так и должно быть. Они должны бояться даже больше, чем все мы, простые обыватели, вместе взятые. Ведь мы просто ничего не понимаем, а они по крайней мере понимают, до какой степени ничего не понимают. Смотрят в эту бездонную пропасть и знают, что неизбежно им туда спускаться…»

И, наконец, уровень третий. Юношеский оптимизм бывшего «любителя НФ» Рэдрика Шухарта ушел в песок. К концу повести Рэд уже

не способен мыслить в таких категориях, как «дыра в светлое будущее». Да и ученые, похоже, не слишком продвинулись в попытках *понять*… Что же остается пессимисту? Выбор невелик: или отчаяние, или вера в чудо. «…В такой яме… в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда — уже не надежда, а уверенность в чуде — заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке…» С этого момента Шухарт — выразитель самых что ни на есть религиозных чаяний человечества. Да и действие повести выходит на ветхозаветные аналогии. Для чего приходится ввести в список действующих лиц совершенно новую фигуру. Агнца.

Что это именно агнец, становится ясно не сразу. Однако к моменту жертвоприношения все ключевые фигуры — на своих местах.

Представим, что Брюн, героиня «Отеля „У Погибшего Альпиниста“», с ее пышными вороными волосами, не то женскими, не то юношескими, и соответствующей фигурой манекенщицы, — и вправду разделяется надвое: на сестру и брата, как это грезилось в пьяном угаре инспектору Глебски. Однако само по себе ЗДЕСЬ это было бы неинтересно. Интересно другое: разделение происходит, так сказать, еще и по знаку: на сестру-стерву и брата-«бойскаута». Артур идет к Богу вовсе не с той целью, какую автоматически приписал ему Рэдрик, не для того, чтобы исполнять детские желания мальчишки-колледжера. Он, оказывается, идет за *всеобщим* счастьем! Оттого и краснеет. Парень сам стесняется того, ЧЕГО хочет просить у Золотого Шара, понимая, что быть в этом мире агнцем — стыдно!«…Впервые за все время существования карьера по этой дороге спускались так — словно на праздник». Идти к Богу не с самоуничижением или во имя уничижения ближнего своего, идти не выпрашивать (для себя благ, а для ближнего бедствий), но — как на праздник. Истинно, не часто бывало ТАКОЕ в истории человечества.

В этом жертвоприношении, в попытке отдать божественной мясорубке жизнь Артура «в оплату» счастья дочери — приговор последнему делу Шухарта. Рэд и сам уже это предчувствует: «…глубоко-глубоко внутри заворочался вдруг беспокойно некий червячок и завертел колючей головкой». Именно приговор — ибо счастье пред очами Всевышнего мыслимо только таким, каким видит его агнец. То есть — даром! И для всех! А ценой жертвы Рэдрику ничто доброе для себя и своих близких купить не удастся. Даже если на донышке его души и вправду есть добро.

«…Если ты на самом деле такой… всемогущий, всесильный, всепонимающий… разберись!» Вот именно. Счастье ребенка ценой жизни другого ребенка… Не сходится. И Шухарт это понимает, забывая в итоге о

том маленьком, личном, с чем шел. И принимая в конечном итоге сказанное агнцем — как свое. Никакой торговли.

Для всех и даром.

ЗНАТЬ, ЧТО НИКОГДА ТАКИМ НЕ БУДЕШЬ. «Парень из преисподней»

Задача: посмотреть на Полдень с «их» точки зрения. На недостижимый сказочный идеал — отсюда, из настоящего. «…Весь этот лукавый обманный мир, где у людей есть все, чего они только могут пожелать, а потому желания их извращены, цели потусторонни и средства уже ничем не напоминают человеческие». И заодно уж — посмотреть на Человека Полудня: «добрые до отвращения глаза великого лукавца».

С точки зрения Теории Воспитания, цель предельно трудная: из вполне готового зверя с пустыми глазами убийцы — вытащить Человека… Есть, правда, в этом молодом звере пятая колонна: высокий интеллект и неординарность личности — он не годится в денщики. Да и как ученик Гаг отнюдь не безнадежен, более того — прошел некую, так сказать, начальную подготовку добром. Весьма своеобразным, со многими оговорками, но — именно добром: недаром же Корней признает в Гепарде задатки великого Учителя. И юный возраст Гага, разумеется, — тоже «за нас».

В более поздних вещах АБС пессимизм станет сильнее попыток найти лобовое решение подобной задачи. Но пока… пока кое-что получается. Правда, для реализации «школьной программы» потребовались воистину фантастические условия: включение в процесс воспитания едва ли не всего мира Полудня… И все же успех — налицо. Да еще за столь короткое время… Позже «просто» успех — даже частичный — даваться не будет. Одно из двух: или длительная многоступенчатая работа (Эксперимент), или же дети и только дети, отделенные от старого мира колючей проволокой. Последнее, впрочем, верно и для Гая с Саракша, и для Гага с Гиганды.

С момента, когда Корней рассказывает Гагу, что война кончилась, герцог бежал, а император расстрелян, начинается та часть повести, в которой содержится, вероятно, последний всплеск оптимизма АБС относительно возможности «положительного влияния» на убежденного сформировавшегося человека. Едва ли не аллюзия на «Как закалялась сталь», только навыворот. Овеществленная здоровая уверенность, что даже фанатика, антиинтеллигента («…безотчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям увечным, ущербным и вообще бесполезным») МОЖНО сделать человеком — только лишь на том основании, что он sapiens! В полном соответствии с теорией позитивной реморализации. Предложенная и опробованная в «Парне из преисподней»

модель воспитания — одна из реплик в старом споре между щенячьей уверенностью Вадима (пять лет — и всё) и горьким пессимизмом Саула (а пятьсот пятьдесят пять не хотите?). И победит в этом споре мудрый Саул. Победит — в том смысле, что АБС в конце концов окончательно примут именно его сторону. Да и как могло быть иначе — два взрослых человека, с их огромным опытом…

*** * ***

Завершение метаморфозы писателя по имени АБС от состояния «сказочник» к состоянию «реалист» — именно здесь, в начале семидесятых.

Есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки.

СЛАБЫМ СРЕДИ СИЛЬНЫХ. «За миллиард лет до конца света»

Концентрация афоризмов в этой короткой повести настолько велика, и жизненное кредо интеллектуала-скептика, отрицающего любую ВЕРУ и признающего лишь ЗНАНИЕ, выводится из этих афоризмов настолько отчетливо, что добавить нечего. Разве что — одно маленькое наблюдение, для этой книги скорее внешнее. А именно: налицо динамика временных отрезков. От столетнего плана Ивана Жилина — к пятистам пятидесяти пяти годам Савела Репнина и, наконец, вот это: «Можно много, очень много успеть за миллиард лет, если не сдаваться и понимать, понимать и не сдаваться». Что ж, возможно, оптимизм выглядит именно так.

Понимать и не сдаваться.

ВСЁ КАК У НАСТОЯЩИХ ВЗРОСЛЫХ. «Град обреченный»

С первых же строк «Град» читается иначе, чем любая другая вещь Стругацких. Многое здесь «как-то не так». Особенно — для Ученика АБС. Антураж не просто реалистичен, но как будто нарочито приземлен. Действие не столько «разворачивается», сколько циркулирует в окружении скромных декораций городского дна. А уж главный герой… Непросто с ходу принять Андрея Воронина после плеяды таких разных, но всегда интересных, умных, самостоятельных «первых лиц». ЛИЧНОСТЕЙ. Жилин, Румата, Перец, Каммерер, Шухарт… Не говоря уж о Горбовском и Комове. А этот… Даже внутри книги, на фоне персонажей второго плана, Воронин смотрится бледновато. Это потом, ближе к середине повести, понимаешь, что герой выбран не без умысла. «На вырост».

И выбор декораций, и даже выбор героя — лишь следствие. Первоисточник же странностей «Града» заключается в том, что здесь авторы в первый (и, конечно же, в последний) раз берутся за систематическое воспитание взрослого человека. Не как с Баневым или Каммерером — походя, между прочим, — но с программой, с переводом из класса в класс, с экзаменами на каждой ступени… Миновали времена «Стажеров» и даже «Обитаемого острова»: Стругацкие уже не верят, что на ТАКОЕ может хватить нескольких лет «реального времени» — в сколь угодно фантастическом окружении. И хотя задачу, решение которой возможно ТОЛЬКО в области фантастики, они предлагают не впервые, на этот раз она решается принципиально иначе. Например, в «Гадких лебедях» ответом на поставленные авторами вопросы стали прогрессоры из Будущего, создавшие в недрах Настоящего локальную область воздействия. Однако ЧТО ИМЕННО мокрецы делали для такого воздействия, фактически осталось тайной, соответственно, и Теория Воспитания так и осталась теорией. В «Граде» же работа с учеником — на виду. Здесь прогрессорское воздействие не только выделено из мира Земли *пространственно*, но, что намного важнее, выведено и из реального потока времени, что позволяет школе Эксперимента уложить в одну человеческую жизнь несколько кругов личностного роста.

И, чтобы быть до конца честными и никаким образом не упрощать задачу, Стругацкие набирают в школу не отборных коммунаров — детей Полудня, — но людей РАЗНЫХ, представив едва ли не полный социальный

срез земного человечества XX века. (Исключение — истинные творцы, которых в Городе не обнаруживается вовсе, ибо ни один из таких, *настоящих*, «уехать» не согласится — в полном соответствии с императивом Савела Репнина.) Вернемся к главному герою. Задача формулируется, что называется, по максимуму: Воронин в начале своего «первого круга» на удивление ограничен. И на удивление восторжен. Восторженно-ограничен… И это видят многие. Дональд, человек тонко чувствующий, относится к нему, как к маленькому мальчику — милому, доброму, но недалекому, — по-отечески, едва ли не с жалостью: что с убогого возьмешь… Андрей — идеальный продукт тоталитарного воспитания, на грани фанатизма (подобно Гаю или Гагу), к тому же и умом особо не блещет, даром что звездный астроном («…с точки зрения любого класса интеллигенция — это дерьмо… Ненавижу… Терпеть не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет, ни веры, ни морали…») Если окажется возможным воспитать такого и в таком окружении, то, стало быть, можно и многих. В этом смысле Эксперимент для землянина — та самая наука, которая сокращает нам опыты быстротекущей жизни; а Город — нечто вроде испытательного полигона педагогических методик, предназначенных для будущих мокрецов и прочих пришельцев, которые пожелают заняться прогрессированием человечества.[72] Точнее — Человека.

Но при этом «Град обреченный» — очередной приговор. По двум причинам. Первая — очевидна: сам метод в реальности технически неосуществим (даже если бы он оказался действенным). Но куда важнее причина вторая. Заметная при внимательном анализе схемы Эксперимента.

Здесь, в Городе, смоделирована идея бессмертия души, в «восточном» ее варианте. И тот, кто знает столь рьяно охраняемую от простых смертных (а точнее — как раз бессмертных) тайну Города, казалось бы, ДОЛЖЕН качественно измениться: бессмертие же, как-никак. Однако ничего подобного не происходит. Каждый остается тем, кем был. Фриц Гейгер и Изя Кацман — в том числе. Хотя при поверхностном взгляде может показаться, будто Фриц за время действия книги в самом деле «сильно вырос». Но — именно и только при взгляде поверхностном. А уж Фриц-то знает тайну «реинкарнации» наверняка… Впрочем, Воронин, который этим знанием не обладает, тоже «повзрослел» лишь весьма поверхностно.

И все же есть, есть здесь повод для оптимизма: надежда на перерастание малых изменений — в качественные. Круге, эдак, на девятом… В конце концов, времени впереди — миллиард лет. И не надо никаких инопланетных чудес. Все необходимое — под рукой. Время,

информация и совесть.

* * *

Совесть… Каковая, как известно, функция бессознательной сферы психики. Столь откровенное, как в «Граде», обращение к теме бессознательного — для Стругацких, несомненно, внове. Начинается работа с подводной, главной частью айсберга. До этого в арсенале Теории Воспитания было многое; чудесное и мифическое — в том числе. И все же — всегда осознаваемое, логически постижимое. Будь то неразменный пятак или даже Золотой шар. Однако АБС — слишком умные наблюдатели и слишком тонкие психологи, чтобы в такой книге, как «Град», остаться в рамках логического анализа и игнорировать эту самую подводную часть. Да, знать ВСЁ, что там творится, нам заказано. Но не делать же из-за этого вид — подобно Андрею в его первый год в Городе, — будто ничего, кроме анализируемого простым умом, в нас не было и нет!

Косвенные отсылки к глубинным уровням психики, конечно же, были всегда. А в «Улитке», в кошмарных полуснах Кандида, архетипы даже обрели некую конкретную форму. И все же только здесь, в «Граде обреченном», образы бессознательного получают *осязаемые* воплощения: это и Наставники, и Красное Здание, и, наконец, целая цепочка в финале: Пантеон, Хрустальный Дворец, Павильон, Башня… Иначе говоря, повествование, при всей реалистичности декораций, строится по законам мифа. Во всяком случае, в отдельных эпизодах. При этом, как ни парадоксально, именно литературный миф помогает герою (а с ним — и авторам, и читателю) навсегда уйти от примитивной мистики. Бродский: «Есть истинно духовные задачи. А мистика есть признак неудачи в попытке с ними справиться…»

Вообще-то, и в «нашей реальности» имеется нечто, аналогичное живым символам мира Эксперимента, и вполне материального свойства. Прежде всего — искусство. Бред взбудораженной совести… Труд Мастера, особенно труд писателя, непременно содержит элемент наставничества: от бесстрастного ношения ЗЕРКАЛА до самого активного педагогического воздействия. Соответственно, всякое явление литературы есть Эксперимент, в том числе — эксперимент над читателем. И далеко не всегда — только мысленный. Выстраиваемый писателем мир — модель реальности, избавленная от многих природных, а главное, исторических и социальных ограничений. Что вполне соответствует идее Города. Именно

отсюда, от модели — образ аквариума. Для писателя — образ вполне обыденный: поместить туда героев и дать им *себя вести*…

Тому, кто имеет дело с бессознательным, не уйти и от религиозных параллелей. За вопросом о том, что есть Красное Здание, следует вопрос, почему в народе вокруг него ТАКИЕ слухи. «…Неведомые силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не застревал, забивал себя в последнюю каменную щель, — а в пустых комнатах с ободранными обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки жутко догнивали раскрошенные кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья…». Именно таким он и бывает — бред взбудораженного бессознательного, если бессознательное это — коллективное, совесть целого поколения. Образ ада так же необходим для веры, как образ врага — для идеологии. И выдумки про Антигород — полный аналог россказней о раскрошенных Зданием костях. Ведь в дореформенном Городе царит самый настоящий тоталитарный космополитизм: нет сегрегации ни по одному признаку, все — винтики. Такого, человечество, пожалуй, и не знало. Именно из-за отсутствия систематизированного образа врага Андрею столь трудно психологически адаптироваться в этом мире. Без врагов «всеобщее братство» не выстраивается, это аксиома любой психологической школы.

Но вот сам Андрей Воронин сталкивается с Красным Зданием, этим абсолютным психоаналитиком, совершенным прибором, способным проецировать в реальность то, чего человек не решается знать о себе. «Музыка у Андрея в ушах ревела с трагической силой… Происходили какие-то огромные похороны, тысячи и тысячи людей плакали, провожая своих близких и любимых, и ревущая музыка не давала им успокоиться, забыться, отключить себя…» Весь эпизод в Здании — отдельная, очень непростая и весьма сильнодействующая литература. Не только потому, что создавали ее талантливые авторы, но и потому, что обращение к символу, к архетипу всегда делает искусство вневременным. Независимо от жанра и прочих мелочей. Анализировать этот эпизод — как и другие ему подобные — можно едва ли не бесконечно, особенно с позиций аналитической психологии, столь близкой по духу символистам всех времен. Здесь, однако, для такого анализа не место.

А Андрей… Он ведь и сам ничего толком не понял, а успел лишь испугаться. И очень скоро попытался на скорую руку обмануть себя привычной паранойей «реального» мира (следствие, агентура, успех…) — и выскочить. «На время». Будто ИЗ ЭТОГО можно выскочить…

Столь чистое проявление взбудораженной совести принять и пережить

непросто. Нужно уметь с собой договариваться. И вот тут, как и всегда в трудных столкновениях с бессознательным, помогает еще одно явление «снизу» — Наставник. Только он умеет найти отпущение каждому греху. Он же следит и за ходом учебного процесса. И он же, сказав, что Эксперимент вышел из-под контроля, делает первый шаг к тому, чтобы «вывести из-под контроля» и мышление Андрея, то есть увести героя из области чисто религиозной (когда и за тебя, и за самое главное вне тебя отвечает некто свыше, сильнее и умнее, чем ты сам) в область страшного одиночества — одиночества атеиста. Где за все придется отвечать только самому. И — только *перед собой*. Осознав такую степень одиночества, Андрей увидит суть Наставника. Что и приведет к исчезновению последнего (во всяком случае — в видимом воплощении и в этом круге Града), ибо вне человека он не существует.

И, наконец, последний выход на контакт с коллективным бессознательным. Момент истины. Видение в Пантеоне. Говоря языком Евгения Шварца, героя спрашивают, что он может, так сказать, предъявить… Это уже не Наставник и даже не Здание. Все куда более серьезно. Оппонент масштаба Истории Человечества, а не собственной совести или даже совести целого поколения. И Андрей остается с этим оппонентом один на один. Ни веры, ни идеологии. Только личность и История.

«…А где же мои тезисы? Вот тебе и на! Как же я без тезисов?..» Тезисы! Герой НЕ ГОТОВ что бы то ни было самостоятельно и серьезно сказать ВСЕМ. Своего — нет. Оттого и боится, что Изя примется говорить за него. Ведь Андрей ищет самоидентификации. Взрослости своей ищет… Ну, вот стоит он голый, один на один с собой — и чего стоит здесь все достигнутое, то самое, которое «все, как у настоящих взрослых»: пост, достаток и то, что сделано якобы для людей?.. И надо говорить, надо хоть что-нибудь говорить — чтобы не потерять самоуважения. А сказать — нечего…

К концу первого круга герой подходит с ощущением, что сил хватило «только на одну свистульку» и что знает он лишь одно: ничего-то он не знает.

Это немало: ведь впереди миллиард лет…

*** * ***

В отличие от ИГРЫ в Красном Здании, где он был одним из игроков и

даже наивно пытался что-то противопоставить неумолимому року, в Пантеоне, перед лицом последних времен, Андрей, потерявший былую чувствительность к голосу совести, воображает властью себя самого. Авторы намеренно остановились на уровне «Советник» — и разорвали непрерывность. Псевдовласть, псевдовеличие… Уже на этом звене цепи Андрей мог бы осознать иллюзорность «власти» в мире людей. Как на предыдущих звеньях, будучи внизу, он осознал бессмысленность «работы каждого на своем месте» — работы против законов больших чисел. Таким осознанием обусловлен и спокойный пессимизм Изи, и отказ авторов от непрерывности сюжета: герой, похоже, созрел, чтобы *начать думать*. Смотреть в завтра по-взрослому. Он еще мечется, еще хочет назад, в колею, но в глубине души уже понял: путь ложный. Мусорщик: убрать в городе грязь не удалось; наоборот, стало хуже… Следователь: снизить уровень преступности — не удалось… Редактор: говорить правду — даже обсуждать смешно… Советник: навести порядок в социально-психологическом плане — тоже никак… А ведь впереди еще сытые бунты, предсказанные Изей. Хотя, как КАЖЕТСЯ господину советнику из его Стеклянного Дома, и грязь, и преступность к моменту разрыва непрерывности убраны. Но цели эти — уже в прошлом, поскольку осознана их вторичность. Работа, активная конкретная деятельность постоянно мешала герою осмыслить мир непредвзято. Увидеть наконец за деревьями лес. Для этого нужно начать искать не «здесь и сейчас», но — выйдя вовне, разорвав непрерывность материального бытия. И, наконец, сделать последний шаг…

Что удержало Стругацких от еще одного звена в сюжетной цепочке? Скажем, отчего бы не сделать Андрея тираном? А незачем уже — он опробовал ВСЁ. Кое-что — гипотетически, наблюдая в ретроспективе, извне. Не одни же они такие — кто пробовал. Были не только милый господин мэр и унтер-недоучка Гейгер. Были тут, похоже, и коммуны, и просвещенные единовластия, и полигамии какие-то неудобопонятные… И тиранов хватало. Да и вообще, не так уж нужен Эксперимент, чтобы понять. Мало ли у человечества истории?

Школа социума в этом мире пройдена. А вот в плане ЛИЧНОМ надо бы кое-что крепко подучить. Показать герою, что он САМ собой представляет. Теория теорией, однако и абсолютную власть хоть на миг пощупать стоит. Вот она — говори, тебя слышат ВСЕ. И одновременно никто. Ибо говорить хочется прежде всего перед Ним. А его-то, похоже, и нету. («…Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность

видеть, кто там — на том конце стола. Видеть его было гораздо более важно, чем этих…») Сплошные уроки тщетности. Авторы упорно не оставляют рядом с Ворониным никого. Кроме Кацмана…

Правда, на какой-то момент на том конце стола появился-таки Он… Нет-нет, не напугавший Андрея призраком Кацмана еврей, едва ли не сам Иешуа… Андрей ведь только еще начинает *понимать*, чувствительность его низка. Да и не готов он пока к ЭТОМУ: принять как данность, что, кроме самого Андрея Воронина, здесь, в Городе, никаких серьезных оппонентов у него нет и не будет. А Кацман — что ж, Кацман есть и в Ленинграде, вот подрастет только…

Итак, можно начинать новый виток спирали. С нуля, с пустого места. Ни цели, ни веры, ни знания. Один ум. Но — УМ же! А в Городе… — что ж, пора и честь знать, зажился… «— Ты мне только стреляться не вздумай! — сказал Изя. — Знаю я тебя… комсомольца… орленка». Изе-то что, ему хорошо говорить. Он знает, что умереть ЗДЕСЬ — это всего лишь вернуться ТУДА, потому и старается задержаться подольше, узнать и понять все, что только можно узнать и понять: «Я подыхать не собираюсь. У меня здесь еще куча дел». Это знание и придает ему сил — ведь только он, Изя, выдерживает все и до конца. Да, с помощью Андрея, упрощенность и невеликое воображение которого спасают его от ужаса местного бытия. И все же *выдерживает* именно Изя и, когда надо, держит не только себя, но и Андрея. «— Трупов он не видал… — ворчал он. — Мира этого он не видал… Баба».

И когда Андрей объединяется наконец со своим спрятанным в подсознании (до поры) двойником, когда он складывает воедино понимание и память — вот тогда он и становится НОВЫМ Андреем Ворониным. Осталось всего несколько штрихов: немного рая с гуриями и немного ада — дабы довести клиента еще и до равнодушия к смерти тоже. А нового Андрея, пожалуй, стоит учить и дальше. В Высшей школе. Это, впрочем, до такой степени ДРУГАЯ история, что искать ее у АБС было бы наивно.

И все же разрыв непрерывности настал не только в жизни Андрея Воронина, но и в жизни — а стало быть, и в творчестве — Аркадия и Бориса Стругацких. Разрыв даже той цепочки, которая вела их от НФ — к Учительству, а от него и далее — к «литературе вообще». Это не значит, что в дальнейшем не будет книг, продолжающих эту цепь. Будут. Но родилось и нечто качественно новое. Не столько новый жанр, сколько уход от жанра вообще.

* * *

Изя Кацман к концу книги, кроме функций учителя и спутника главного героя, берет на себя и еще одну, вполне независимую функцию — символа. Путник, строящий свои маленькие храмчики на пути к «нулевой точке» и закладывающий в них «Путеводитель по бредовому миру», — образ знающего и не могущего молчать. Образ Учителя на все времена. Подобно Изе, завершающему свой путь по первому кругу Эксперимента, и АБС оставили на всем своем непростом пути от «комсомольца-орленка» к философу-одиночке башенки с путеводителями. Для тех, *кто дойдет*. Наука сокращает…

Изя же воплощает, а в самом конце — и прямо формулирует авторское видение истинного Героя. Улисс. Идущий вечно. «Уверяю тебя, дружок, что Улисс не рвался в герои. Он просто БЫЛ героем — натура у него была такая, не мог он иначе. Ты вот не можешь говно есть — тошнит, а ему тошно было сидеть царьком в занюханной своей Итаке. Я ведь вижу, ты меня жалеешь — маньяк, мол, психованный… Вижу, вижу. А тебе жалеть меня не надо. Тебе завидовать мне надо».

ИМЯ произнесено. Истинный человек — вечно идущий и вечно ищущий, тот самый «человек совсем», определения которого требовал Малыш. Не герой-удалец, как в «Багровых тучах», и даже не «всего лишь» Учитель — как Жилин или Тенин. Нет. Мало! Ближе всех — Горбовский. *Пожилой* Горбовский. Жить без движения он не умеет, и все же конкретная цель — ничто. Что дальше, что в финале — все мы знаем… И ладно. Новое. Важнее всего — это.

И все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной…

Жалеть — не надо. Надо завидовать!

С ТАЙНОЙ НА ПЛЕЧАХ — ДО КОНЦА ЖИЗНИ. «Жук в муравейнике»

«Жук» — вероятно, первая вещь, которую можно отнести к области литературы, именуемой в узких кругах «турбореализмом». Ключевой признак — абсолютная невозможность серьезного понимания книги при однократном ее прочтении. Все повести зрелых Стругацких таковы, что лучше бы их читать не менее двух раз. (Разумеется, это относится не только к АБС.) Но именно «Жук в муравейнике» требует неоднократного прочтения не просто потому, что написан умными людьми и содержит «несколько слоев». Здесь есть авторский замысел, делающий книгу в принципе не воспринимаемой полностью с первого раза: сюжет организован таким образом, что понять большую часть недосказанностей может лишь тот, кто знает, «что дальше». Так что при однократном приеме эта пилюля заведомо не сработает.

И поэтому говорить что-либо об «учительской» сути «Жука» не имеет смысла. Читайте внимательно. Раз за разом. Там все есть.

* * *

Не стареет с годами лозунг «главное — на Земле». Соответственно, и выбор точки приложения сил у пишущего Учебную Книгу невелик: или о Земле нынешней — напрямую, или о ней же — аллегорически. Скажем, маленький роман-предупреждение. Вставной. О Надежде. Хотя, если всерьез, какая уж там надежда… «…Самые разные катаклизмы — будь то глобальная пандемия, или всемирная война, или даже геологическая катастрофа — выплескивают на поверхность одну и ту же накипь: ненависть, звериный эгоизм, жестокость, которая кажется оправданной, но не имеет на самом деле никаких оправданий…» На этой площади нам делать нечего. Разве что строить гипотезы и рисовать в воображении картины, одна другой ужаснее. Или, напротив, строить догадки: как бы нам, нынешним землянам, эдак вот вывернуться — чтобы избежать неизбежного?..

Вообще, «вставные книги» не новость в русской литературе. Не единичен такой прием и в творчестве АБС. В «Жуке», однако, воплощено нечто особенное. Каноны «жанра» в каком-то смысле нарушены. Ибо

история Льва Абалкина — не далекая реальность, лишь краем пересекающаяся с основным повествованием (как, скажем, главы о Пилате в «Мастере и Маргарите» и апокрифическое евангелие в «ОЗ») или вовсе отвлеченная (подобно главам о Викторе Баневе). Главы, содержащие отчеты Абалкина, казалось бы, должны вписаться в ткань повести как неотъемлемая ее часть. Однако это не так. Эти главы в «Жуке» разрывают ткань повествования без *видимого* смысла. Да и сама книга, виртуально составленная из этих глав, — не цельная, мягко говоря. Она ни о чем. Ни с чего не начинается, ни на чем обрывается. Казалось бы…

А читать — интересно! Сюжет не просто увлекает, но и вполне органично смотрится внутри «Жука», делая книгу и красочнее, и глубже. Вот и выходит, что каноны сами по себе, а Книги — сами по себе.

*** * ***

Как уже говорилось, одна из издержек литературного учительства, особенно в «странные» времена, приводит к отвлечению на дидактику части энергии, которая могла бы пойти на чисто творческие «нужды». Не у одних Учителей их, так сказать, профессиональная деятельность отнимает часть времени и сил. Порой и тот, кто по роду деятельности занят анализом творчества, сосредоточивается на тонкостях дидактики и хитросплетениях сюжета и отвлекается от Литературы как таковой. А она присутствует, и присутствует постоянно, не надо только смотреть в одну точку, да еще и через лупу… Много и разнообразно говорено о *содержании* книг АБС: о сюжетах, об идеях, о самом Учительстве, наконец. И правильно. Но… Во-первых, порой это доходит до абсурда, до целенаправленного поиска неких «подводных течений», порой — попросту детективных ходов, абсолютно чуждых духу прозы Стругацких. А во-вторых, азарт поиска «намеков и иносказаний» со временем отбивает желание и умение ЧИТАТЬ.

Пример «Жука в муравейнике» — один из наиболее ярких. Вряд ли с какой-нибудь другой книгой АБС ее ВТОРАЯ сущность сыграла такую злую шутку. Книга — умная и многослойная. И требует умного, искушенного читателя. Но именно Читателя! Это не картинка-загадка, это Литература. Прочее — вторично. Не хочется думать, что многие читатели-«фэны» сами себя ставят в положение пресловутого владельца молотка, который в бесконечном разнообразии мира видит только гвоздь. Можно годами жарко дискутировать об «истинном» положении дел в истории с подкидышами. Но кто заметил и описал в «Жуке» хотя бы самое

очевидное: новаторство психологических портретов, новаторство первой «подачи» героя, новаторство выстраивания лоскутного сюжета, который подводит ЛЮБОГО читателя к точке кульминации идеально подготовленным — «в кондиции». Не говоря уже о таких «мелочах», как приемы чисто языковые. К моменту написания «Жука» Стругацкие овладели ими настолько, что способны, например, подбором стиля и ритма читаемых героем «документов» буквально выстроить в восприятии читателя *сочувствие* двум персонажам одновременно: и тому, кто документ читает, и тому, кто его писал, да еще все это — в динамике. Таким образом, известное шизоидное раздвоение читательской психики выходит здесь на новый уровень: «слоев» становится три.

Столь же мало внимания уделено аналитиками перемене, которая совершилась с описываемым миром Полудня от первого его явления, в «Возвращении», — к явлениям прощальным: в «Жуке» и «Волнах». А ведь Полдень стал едва ли не на порядок сложнее! Прежде всего — за счет разнообразия населяющих его людей. На эту тему можно говорить много и серьезно, однако для иллюстрации вполне достаточно одного яркого примера: Лев Абалкин.

Этот литературный образ уникален. И не потому вовсе, что он кроманьонец и Прогрессор. Но именно по цельности характера, не похожего ни на какой другой в истории литературы — с детства и до самой смерти. Это и в самом деле один из тех примеров, когда герой способен выжить, будучи перенесенным из мира описанного — в реальный. «Лев Абалкин был мальчик замкнутый. С самого раннего детства. Это была первая его черта, которая бросалась в глаза. Впрочем, замкнутость эта не была следствием чувства неполноценности, ощущения собственной ущербности или неуверенности в себе. Это была скорее замкнутость всегда занятого человека. Как будто он не хотел тратить время на окружающих, как будто он был постоянно и глубоко занят своим собственным миром. Грубо говоря, этот мир, казалось, состоял из него самого и всего живого вокруг — за исключением людей. Это не такое уж редкое явление среди ребятишек…» (Отметим тонкое и точное понимание психологии одаренного ребенка.) И это описание — лишь один из штрихов, которые в итоге собираются в живой, осязаемый образ человека. При всей немногочисленности таких штрихов. А эта детская любовь в XXII веке! Никто в школе и не замечал… Как это? В *Полуденной* школе, в интернате?.. А когда узнали обо всем, то, конечно же, ужаснулись, идиоты. Проклятые разумные кретины… И все это — в мире Полудня. Не слишком похоже на обычную «детскую» историю, не правда ли?.. Так что многое здесь — куда

сложнее, чем кажется на поверхностный взгляд. Вот и приходится — думать и перечитывать.

Привычнее искать в книгах социологические, политические, детектив — ные проблемы. Разбираться в том, как «на самом деле» развивалось дело Абалкина. Устраивать в пространстве книги «самую увлекательную из охот — охоту на человека…». О темпора, о морес! Ведь и Абалкин, и Каммерер, и Сикорски, и Глумова — прежде всего литературные образы… Поэтому давайте будем видеть в книге — КНИГУ. И пусть уж многое в сюжете ее как было невыясненным, так и останется таковым во веки веков, аминь. Зато кто-то, может быть, читая, зарыдает. Пусть даже от умиления. Это не стыдно, честное слово. Куда хуже, разглядывая жука в расположенном под деревом муравейнике, так и не увидеть, что за этим деревом — Лес…

ЗАПАХ ЛИЛИЙ, СОЛНЦА И СТРЕКОЗ НАД ОЗЕРОМ. «Гадкие лебеди»

— Неужели трудно было что-нибудь придумать, кроме этого вашего испорченного ребенка?

— Трудно, — признался Горбовский.

Говорить что-то поясняющее об ЭТОЙ книге представляется неприличным. Ее недостаточно прочесть некое заданное число раз: один, два или, скажем, дюжину. ЭТУ книгу следует читать с такой регулярностью, чтобы действие ее было постоянным. Как почувствуешь, что стало ослабевать в памяти, — садись и перечитывай. А уж всякого, кто полагает себя родителем или педагогом, следовало бы в обязательном порядке экзаменовать на понимание сказанного в ней — как в обязательном порядке делают учителям прививки от дифтерии. Не сдал — теряешь право называться учителем, воспитателем и — особенно — родителем. Так… опекун, разве что.

И нет в сказанном даже доли шутки.

Возможен, правда, облегченный вариант запоминания. Дело в том, что по насыщенности афоризмами «Гадкие лебеди» — бесспорный лидер в творчестве Стругацких. Язык АБС часто афористичен, порой это очевидно, чаще — замаскировано. Но здесь — нечто особенное, и по «густоте», и по силе. Попытайтесь выписать из «ГЛ» все афоризмы, и вы увидите: ЭТОТ учебник в каком-то смысле поддается конспектированию…

Боже, спаси взрослых, Боже, спаси их родителей, просвети их и сделай умнее, сейчас самое время…

РУКОПИСИ СГОРАЮТ ДОТЛА. «Хромая судьба»

Не бывает, вы говорите?
Это верно. Но мы попробуем.

Видите ли, какая странная история, «Хромая судьба» на самом деле не очень-то книга. Во всяком случае — не одна книга, и даже не две. Дело в том, что в начале восьмидесятых Стругацкие написали о своем коллеге Сорокине роман. И осталась в романе эдакая незаполненная вакансия, Синяя Папка…

Мир, в котором проживает означенный Сорокин, весьма схож с нашим, с тем только отличием, что грань между реальным и вымышленным там порядком размыта: случается как проникновение вымысла в реальность, так и прямое воздействие художника на окружающее. Живущий в этой псевдо-Москве герой и сам в чем-то Стругацкий (более — Аркадий Натанович). В своей тайной, скрытой от людей жизни мастера, он создает еще одного героя, натурально, тоже писателя. Каковой писатель обитает в мире и вовсе причудливом. К примеру, он прорывается сюда, к нам, где тайно общается с бардом, страдающим, как и он, от неумения вовремя прекратить бренчать. Круг, таким образом, замыкается. И становится окончательно понятно, что всяческое разделение на миры есть сплошной обман и надувательство. А существует одна реальность. Прочее же — мираж, и никакого резона нет принимать его всерьез. Что, к примеру, задержалось в ладонях «реалистов», когда весь песок вытек? Халтурщик Рэм Квадрига, пьяница Виктор Банев, падающие маски вместо лиц… А *живописец* Рэм Квадрига живет в ИСТИННОЙ реальности. Вместе с *писателем* Баневым и философом из Будущего Павлом Зурзмансором. Туда-то, в настоящий, неизменяемый мир, и уходят повзрослевшие Ирма, Бол-Кунац и Валерьянс…

На роль Синей Папки метил сперва «Град обреченный». Дело прошлое, и можно сказать, что не клеились у Аркадия и Бориса Стругацких дела с этим вариантом объединения рукописей, и сколько ни старались они улучшить ситуацию, она какая была, такая и оставалась. «Град» не подошел из-за слишком большого объема — по версии самих АБС. Это, конечно же, правда. И все же причина эта не единственная.

Во-первых, герой. Ни в каком случае Андрей Воронин не писатель. А ведь без творца рвется связующая миры нить. Однако еще важнее другое. В

«Гадких лебедях» содержится едва ли не идеальный символ будущего. Вообще-то, роль такого символа может играть все что угодно, хотя бы лес. Трудность в том, что не всякий читатель аллегорию поймет и почувствует… Зато уж в рукописи из Синей папки — именно тот образ, который «срабатывает» сам по себе и всегда, без всякой подготовки. Наше будущее — это дети. Не правда ли, очень свежая мысль!

Короче! Совсем коротко: «…у нас впереди — только они».

* * *

Источник горечи всякого мастера — в невозможности предугадать, как отзовется слово. И стократ это верно для мастера, отнесенного к «фантастике»… Можно писать на языке Пушкина и Булгакова, можно — в порыве озорства — попросту вставить в книгу кусок «из» Александра Сергеевича или Михаила Афанасьевича… Беда в том, что и этого никто не заметит. Половина пропустит странные слова мимо ушей, другая половина сочтет их за неудачную шутку: ведь эти добрые люди ничему не учились и все путают, что им говорили. Исключения столь редки, что их и учитывать смешно. А авторская горечь доходит порой до того, что подобные отсылки снабжаются прямыми пояснениями! Что и случилось в «Хромой судьбе». О безысходность… Если мысль изреченная есть ложь, что уж тогда говорить о мысли еще и поясненной… И сегодня область пересечения множеств, обозначаемых как читательская аудитория Стругацких, читательская аудитория Пушкина и читательская аудитория Булгакова, по-прежнему катастрофически мала. Именно до уровня редких исключений, подтверждающих правило…

* * *

Эстафета извечных поисков света и покоя… «На свете счастья нет, но есть покой и воля…» Что ж, выходит, для Него они все же были… Но на этом все и заканчивается. «Я ищу свободы и покоя…» Именно. Ищу… Ищу вечного сна и беспамятства… Кто там следующий? «…Покой нам только снится сквозь кровь и пыль… Покоя нет…»

Последний выбор — у Мастера: ИЛИ свет, ИЛИ покой.

И, наконец, НИ света, НИ покоя — в мире, где нет и уже не предвидится не только Воланда с его свитой, но и самого Мастера… Мы-то

знаем твердо: нет ничего ДО и нет ничего ПОСЛЕ. Нет ни наград, ни возмездий в предстоящем НИЧТО. Все — здесь и только здесь.

Но и здесь ни совета не будет, ни сочувствия. Не от кого, да и с какой стати. Только ты сам. Всё — сам. Не надо задаваться большими планами, дорогой читатель, право! Кто жил и мыслил, тот не мог не мечтать о свете и покое. Ну, что же, оказывается, это не суждено. Зато осталось — главное. Свободен! Свободен! И в этом — высшая и единственная награда. И смелость. В том числе — смелость писателей, которые от религиозного, по сути, мышления пришли к абсолютному атеизму, чистому и холодному, к отрицанию любых подпорок — включая и такую религию, как вера в светлое будущее, в мир коммунистического рая, на который мы тут якобы работаем.

Вовсе не все люди — добрые. И царство истины — Полдень — никогда не настанет. Ибо тот мир не может быть построен так, как рассказали его авторы. Такой мир может быть только придуман. Впрочем, разве что чудо…

Нет, лгали, лгали обольстители-мистики, никаких планет Синих Песков нет на свете, и не несутся к ним отчаянные Десантники, и не треплют их корабль вихри голубой пыли, не стелется над планетой светящийся след. Нет ничего, и ничего не было! Страшно, да, но богов — тоже нет. Тишина и пустота. Ничего, кроме человека, мира и истории…

БОГИ УХОДЯТ, И ЛЮДЯМ ОСТАЕТСЯ ПОКОЙ… «Волны гасят ветер»

«…Забавный шумный человек никак не мог представить себе, что на Земле… случаются события, способные вызвать страх и панику… Затем, когда его все-таки удалось убедить, что ЧП и в самом деле имело место, он обиделся — расстроился как ребенок, надул губы, ушел от всех».

Этот маленький пассаж — ключ ко многому в повести. Землянин конца XXII века вовсе не «расстроился как ребенок». Он и ЕСТЬ ребенок. Земля (читай «Полдень») — та самая сказка, тот рай, в который он — порождение этого рая — привык возвращаться из *реальности*. В данном случае — с Титана. И вдруг — о ужас! — игрушка испортилась. Как же тут не надуть губы! И он такой не один, он — лишь наиболее яркое воплощение реакции ребенка — обиженного, напуганного или рассерженного. Именно на фоне детского сада, собранного из *истинных* детей Полудня, особенно отчетливо видна маргинальность Тойво, Альбины, Кира… Они ведь вовсе не какие-то особенные. Добрые, умные, вполне, казалось бы, «полуденные» люди. Но — ВЗРОСЛЫЕ. Даже двенадцатилетний Кир реагирует куда более адекватно, нежели большинство окружающих. Пусть они здорово перепугались, жители благоустроенной планеты Земля. На то и тест, в конце концов. Но такая истерика…

Именно из-за этого «возрастного» разрыва Тойво не может найти общий язык даже с любимой женщиной. В точности так же, как он не смог бы объяснить пятилетней дочке, почему надо держаться подальше от большой красивой кисы по имени «тигр». И никакая взаимная любовь ему бы не помогла — просто пришлось бы оттаскивать ребенка за руку. Впрочем, он всю свою взрослую *человеческую* жизнь занимался как раз чем-то подобным.

В сценах с участием Кира видно, как естественно АБС проецируют обыденное Настоящее на не менее обыденное Будущее — лишь слегка искаженное малым фантастическим допущением. Обычный умный мальчик, обычные умные добрые взрослые. С ребенком, хоть и на «ты», но — уважительно и на равных. Сам Кир ведет себя аналогично. Интеллигентные милые люди годов эдак из 60-х. Ну, отборные, конечно… Так для них тот мир и строился. Только и там, в мире Полудня их стало маловато. Большинство отдыхавших в Малой Пеше тест на

интеллигентную реакцию не прошли — разбежались, расплакались, перебили всё… Детский сад. Что ж, бывает. И детская мудрость доступна не всякому ребенку, и старческая — не всякому старику…

Ветер добрых богов угасает.

Полдень уходит. Медленно умирая вместе со своим тотемным воплощением — Леонидом Андреевичем Горбовским. И последние картины уходящего рая для благородных — в этой книге.

Описание счастливого быта Тойво и Аси — это прощание авторов с тем, чего уже не будет никогда. Ни в их воображении, ни в их книгах. И потому в светлом эпизоде звучит подспудная горечь. «— Ты удивительно красивая, — сказал Тойво… — Ты даже не красивая, ты прекрасная. Миловзора. И заботы твои милые. И твой мир милый. И даже Бруно твой милый, если подумать… И вообще мир прекрасен, если хочешь знать…» Рай уходит незаметно, без вреда для обитателей Земли. Как замирающая мелодия. Источник молодой веры исчерпан. И даже для великого Горбовского в нем почти ничего не осталось… Впрочем, ощущение обреченности лишь обостряет вкус счастья, в полном соответствии с законом контраста. Тойво — вместе с АБС и их читателями — прощается с Землей XXII века навсегда. Атос, Бадер, Горбовский. Сикорски и Бромберга уже нет, Каммерер оставляет дела… Цепочка обрывается, ибо уходит теперь и он, последнее звено — Тойво Глумов.

Большое откровение — первое событие за много-много лет (иначе Горбовский не умирал бы от скуки — буквально). И — последнее в жизни человечества. В будущем тех, кто остался, не-метагомов, отработанный материал, ждет то же, что случилось на Тагоре. То есть — ничего. Ни «чертовой дюжины» (после ухода последнего — Камилла), ни Массачусетской машины, ни ГСП, ни Прогрессоров — нет и больше не будет. Странников — в каноническом их понимании — тоже. Каммереру о них не с кем даже попросту поговорить. Земное человечество окончательно успокоилось и вышло на плато. Нет, ему не грозит участь Страны Дураков из «Хищных вещей века». Не грозит ему и ничто извне. Ему теперь вообще ничто не грозит… Роль богов, призванных стоять над пропастью и оберегать этот большой детский сад, сыграна до конца.

На земле остается огромная масса людей, *большинство*. При всем разнообразии все они хорошие, не то что в XX веке. Но ЧТО они делают?.. Ведь уже в «Беспокойстве» был дан первый яркий образ искателя новизны и силы — отжатого на периферию, не востребованного, не вписавшегося в новый спокойный мир. А теперь вот нет и космической экспансии — и где они, эти люди?.. Творчество? Удел единиц. Ну, пусть тысяч… (Вот Ася,

например, — творческий гастроном. Смешно и грустно. Как тут не вспомнить амфибрахиста Константина…) А что же для большинства? Сфера обслуживания? Не нужна, вроде…

Идея исчерпала себя до последней капли. Буря иссякла, паруса опали. Штиль.

Дальше Стругацкие будут писать ТОЛЬКО по-другому и о другом. Как бы ни была велика и мощна эйфория молодости, но и ее запаса не может хватить навечно: нечем подпитывать; ни внутренний источник, ни окружающий мир ничего для этого не дают. Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено…

*** * ***

Многим обидно, но факт: писатели, наделенные воистину уникальным синтетическим даром, Фантасты мирового уровня — в конце концов из фантастики как таковой «выпали» окончательно и бесповоротно. Они умели видеть «поперек», умели ставить вопросы, которых нет и не будет никогда…

Истинная фантастика, как теперь ясно думающему читателю, занималась и занимается вещами, виртуальными по самой своей сути, а вовсе не тем, что когда-нибудь будет. Мир Полудня реален, и все, что Мастера говорили о нем, было сущей правдой. Они описали свой мир верно. Просто это самозамкнутый мир. Как, скажем, мир геометрии Лобачевского. К этому надо добавить еще одно — с уверенностью можно сказать, что он столь же интересен, сколь и недостижим. Зато исключительно полезен для ума, для души, для фантазии. Общение с ним развивает умение смотреть извне и понимать человека.

Однако это же — и уводит: тех, кто принимает такой мир за чистую монету, за *описание будущего*. Уводит подобно наркотику. Ведь и мы хотим жить и летать! И так же, как наркотик, общение с виртуальным раем несет самую серьезную угрозу душевному здоровью, ибо нельзя материалисту надолго погружаться в мир объективного идеализма безнаказанно. Скучно на этом свете, господа! А решать вопросы, которых никто никогда реально не ставил, — увлекательнейшее, неисчерпаемо интересное занятие. Как чистая математика. Как поиск философского камня или внеземных цивилизаций… И, так же точно, не давая ничего «непосредственно», приводит к важнейшим побочным результатам. Каковых человечество не получило бы никогда, не занимайся оно такими вот «бесполезными»

делами.

И все же писатель по имени АБС на этом этапе пути решается ампутировать у себя отмирающую конечность. Сделать это без ущерба для организма оказалось возможным лишь потому, что никогда виртуальность не была для этого автора так уж важна. Боюсь, у многих других подобная операция дала бы едва ли не стопроцентную летальность…

Авторы таких книг, как «Волны» и, особенно, «ОЗ» — это Мастера, которые ничего не боятся. Не боятся потому, что уже все испытали. И на себе, и на своих героях. Героев этих слишком пугали и ничем более напугать не могут. Перечитывая сегодня «полуденные» книги, мы видим Мастеров, какими они были, когда сочиняли то, чего никогда не видели, но о чем наверняка знали, что оно есть. В самих же этих книгах мы находим не только и не столько образ мира, в котором хотели бы жить, сколько ЛЮДЕЙ. Обитателей 18-й комнаты Аньюдинской школы-интерната, Ирму с Бол-Кунацем, Малыша, Лэна с Рюгом, у которого не бывает родителей, маленького конопатого Тойво Глумова, бесстрашного добряка Кира Костенецкого… И тех взрослых, кто рядом с ними, — их Учителей. Во главе с *самым добрым* — дедушкой Горбовским. Проще говоря, учимся в сегодняшнем мире выискивать едва различимые щупальца Будущего. Ведь видят же их сами Мастера — а стало быть, они есть. Ничего нельзя придумать!

И вообще, раз наш мир породил Мастеров — он не безнадежен. Да, человек не изменился к лучшему за тысячелетия своей истории, и тьма не отступила за эти тысячелетия ни на йоту. Но надежда — не в истории большинства, порождаемого тьмой и в нее же уходящего. Надежда — в тех редких вспышках огня, которые распарывают черное варево, и тогда из кромешной тьмы взлетает вверх великая глыба Храма. Огонь угасает во мгновение, Храм погружается в темную бездну, и каждый раз этот провал сопровождается грохотом катастрофы. Но как неистребима тьма, так же неистребимы и противостоящие ей огоньки неимоверно далекого и неизбежного будущего. Вспыхивающие несмотря ни на что. Несмотря на всю их кажущуюся никчемность. Несмотря на гнет. Несмотря на то, что их затаптывают сапогами. Несмотря на то, что они не нужны никому на свете и все на свете против них… И в этом — победа истинной Фантастики и истинного оптимизма — внутреннего. Оптимизма мудрости.

ЗАДУМАЙТЕСЬ — ИБО ДРУГОГО СДЕЛАТЬ ПОКА НЕЛЬЗЯ. «Отягощенные Злом»

Пришел к своим, и свои Его не приняли.

Иоанн 1, 11

Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда можно.

Иосиф Бродский

«Внеполуденная» книга в творчестве Стругацких — явление отнюдь не исключительное. Исключительное явление — ТАКАЯ книга: в ней вообще нет фантастики. И нет оптимизма. Тоже вообще. «ОЗ» — не антиутопия. Хуже. Впервые прямо признается, что Будущего — вот того, с прогрессом в самом Человеке — не будет. Никогда. Ни «хорошего» — как в Полудне и иже с ним, ни революционного — как в «Лебедях», ни полусказочного — как в «Понедельнике», ни даже болотно-тупикового — как в «Хищных вещах». Никакого. А просто будет, что было — настоящее. И только в него для нас приоткрыта дверь.

С этим и надо жить. В реальности.

Ибо человечество не летает в космос. В космос летают отдельные люди. Очень отдельные. Маргиналы. И человечество не прогрессирует другие миры. Как, впрочем, и себя. Плевало оно на прогресс. Оно, человечество, берет велосипедную цепь, обматывает ее изолентой и… В двадцатых годах двадцать первого века, точно так же, как и в двадцатых годах двадцатого, и в двадцатых девятнадцатого… Что же до века двадцать второго, то когда он еще будет, да и будет ли… И в веке ли дело? «Столетие — пустяк», как горько подметил Александр Галич. А цепь хороша в любое столетие — она простая и тяжелая. Независимо от того факта, что маргиналы зачем-то летят к звездам. Впрочем, что звезды: звезды — ерунда. Маргиналы на то и маргиналы, чтобы никого их шебуршение не трогало. Но есть ведь и другие, есть терапевты. Оптимист раннего периода АБС Иван Жилин. Столетняя программа спасения мира дураков… Другие

Учителя. Вплоть до Г. А. Носова — рабби из города Ташлинска. Они-то занимались — ЯКОБЫ в разное время и в разных мирах — не звездами, а именно тем главным — которое на Земле. И что?.. Каковы всходы?..

Прошло двадцать столетий с первого пришествия Демиурга на Землю — и вот он вернулся: «— Какая тоска! — произнес он словно бы сквозь стиснутые зубы. — Смотришь — и кажется, что все здесь переменилось, а ведь на самом деле — все осталось как и прежде». В курсе положения дел и Г. А.: «Вот если бы мы умели с младых ногтей привить ему человечность и милосердие, это было бы самой надежной прививкой и против бездуховности, и против тяги к преступному риску. Да что толку говорить об этом, если мы все равно этого не умеем делать сейчас так же, как тысячу лет назад!» «Пересадить свою доброту в душу ребенка — это операция столь же редкая, как сто лет назад пересадка сердца».

Пессимизм «ОЗ» вполне сопоставим с пессимизмом «Улитки». Только здесь он куда реалистичнее.

Кстати, о реализме. «Все это были словари да энциклопедии, только словари, справочники, руководства и энциклопедии… Видимо, подразумевалось, что я должен стать эрудитом. И я попытался им стать. Без особого, впрочем, успеха». Что ж, реалистическое построение мира рано или поздно неизбежно приводит к честному анализу сказанного фантастом. Пусть даже невольно. Стась Попов СТАЛ суперэрудитом. С помощью фантастических средств и в фантастически короткое время. Здесь же, в ОЗ, герой, имея бессмысленный, нелепый набор справочных средств (а иным он быть и не мог), конечно, ничего с его помощью изменить в себе не в состоянии. Но ведь не так уж она важна, эрудиция… Важнее другое: встретившись с неведомым, герой испытывает не восторг исследователя, но страх и растерянность. А ведь здесь, в отличие от ситуации в НИИЧАВО или на Ковчеге, кандидата отбирали специально…

Страх и растерянность… «Так что пусть никто не удивляется тому ерническому тону, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала…» Уж не зашел ли тут невольно разговор не только о тоне рукописи «ОЗ», но — о литературном стиле вообще? И — к слову — о страхе того, кто *знает правду*?.. Того, кто блуждал в этих туманах, кто много страдал, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз. Этот страх знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки фантазии, зная, что только она одна успокоит его.

Термин «реализм» применительно к этой книге использован лишь для характеристики авторского видения мира. По форме «ОЗ» мало напоминает типичное реалистическое произведение. Герои разных времен, тексты разных эпох, наконец, сами эти эпохи вплетены в столь запутанный узор и так неожиданно пересекаются друг с другом и сами с собой, что нашлись критики, относящие «ОЗ» к постмодернизму. Разумеется, это неверно. В «ОЗ» нет главного, что делает постмодерн постмодерном — ухода от индивидуальности. Да, есть в «ОЗ» и элементы «гипертекстовости», и целые периоды литературного травести. Но это — лишь внешнее, техника. Книги братьев Стругацких были и остаются книгами Учебными, каких бы чисто литературных высот ни достигали Мастера. А Учеба и постмодернизм — две вещи несовместные.

Другое дело, что сложность хитросплетений времен и героев приводит порой к прорывам из реальности описываемой в «наш» мир (как это случилось и в «Гадких лебедях»). Даже умница Агасфер Лукич в какой-то момент настолько запутывается во временах и персонажах, что принимает автора рукописи «ОЗ» за Бориса Натановича Стругацкого. Впрочем, немудрено…

*** * ***

И еще одна вечная тема горечи Учителя: ученики «не берут». Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. «И, уж конечно, ему в голову не могло прийти, что, наказывая этого унылого дерьмоеда, он бесповоротно нарушает волю единственного человека, которого он любил, — из живых и из мертвых».

Аналогично — и с учениками-читателями. Сочувствие — только как благодать.

*** * ***

Нерешаемая задача: как быть с человечеством, лишенным образа врага?«…Какая-то непривычная атмосфера всеобщего подъема, нервического, лихорадочного, нездорового… Атмосфера предвкушения…»

В «Хищных вещах века», где счастливое общество Будущего показано в действующем виде (правда, показано не изнутри, а «с той стороны»), эта проблема решается как бы сама собой: за счет непрерывно действующего

источника «зла» — мещанства. Кроме того, Полдень населяют не «люди вообще», но лишь те, кого туда пустили. То есть не масса, а личности. Им образ врага и не нужен. (Проблема, стало быть, все та же: сделать всех такими, как очень немногие.) Ташлинск же — настоящий. Да, пусть будет прогресс: более сытно, меньше проблем «физического» плана. Пусть даже не будет наркотической зависимости — научимся как-то и с этим бороться. Наконец, и слег сделаем невозможным — наука, как известно, умеет многое. Отлично. А враг — как без него-то?.. Выходит, еще и агрессивность придется как-то «убирать»? Позитивная реморализация? Гипноизлучатели на полюсах?…

Реализм взгляда и оптимизм по-прежнему совмещаются плохо.

* * *

Удивительно поведение Демиурга в нашем времени: он ведет поиск методом простого перебора рецептов с их модельной реализацией. Ныне это называется «ролевые игры». Однако и сами Стругацкие так и только так действовали всегда, с самого начала. Перебор версий, поиск рецепта. Поиск ответа на это вековечное — *что делать*?! А ответа — нет. Точнее, он остался в области *нереализуемой* фантастики: Великая Теория Воспитания, лепрозорий, Эксперимент. Здесь же, в реальности — нет. В науке о человеке, как во всякой науке, отрицательный результат — тоже результат. Горько, но честно.

И вот, на рубеже XX и XXI веков, великие оптимисты братья Стругацкие пишут черным фломастером по белому кафелю тоскливой коммунальной кухни тоскливой коммунальной планеты: «Lasciate ogni speransa». Перебор вариантов завершен. Исследование дало отрицательный результат и закрыто.

Сами же Учителя не ушли с работы не столько из-за оптимизма, сколько из-за природной способности к иронии да из чувства долга перед спутниками — теми, кого они отманили от стада.

* * *

Будущее. Не замкнутый, идеальный мир Полудня, а наше, земное.«… Оплодотворить эту безмозглую пустыню идеей… Неужели Г. А. угадал, и они в конце концов заставят нас потесниться, будучи в полном праве, как

равные, а в перспективе, может быть, и в большинстве… Господи, бедный Г. А.».

Так неужели же АБС угадали, и именно ОНИ — те, кто описан впервые в «Хищных вещах», — и есть будущее? Не Полдень, не мокрецы, не Лес и не Эксперимент — а Флора?.. Господи, бедные АБС…

Но тогда Полдень — даже всего лишь как модель общества, в котором хочется жить настоящему человеку и к которому стоит стремиться, — ошибка? Пусть даже это педагогическая ошибка, но зато какая! Она равна открытию!

Доказательством сказанному, более того — неким итогом всего, служит финал «Отягощенных Злом». Демиург останавливает свой выбор на Учителе Г. А. Носове. Именно он, Г. А. — предтеча Великой Теории Воспитания, а его лицеи — предвестники Школы Будущего. По сути своей методы Носова сходны и с тем, что делал Учитель Тенин, и с тем, что делали мокрецы. Другое дело, что в ЭТОМ мире таким методам попросту нет места. Может быть, ПОКА нет места…

Диплом, однако, как справедливо заметил Владимир Юрковский, всегда достается не тому, кто летит к звездам, а тому, кто занимается Будущим. Детьми.

О ПЕРЕХОДНОМ ГЛАГОЛЕ «ПРОГРЕССИРОВАТЬ». Заключение

Быть сочинителем притч — неблагодарное занятие. По самой природе своего ремесла создатель притч дидактичен, хочет преподать моральный урок.

Люди не любят моральных уроков.

Уильям Голдинг

Незачем стыдливо прикрывать эвфемизмами тот самоочевидный факт, что Учителя пишут не «просто художественную», но — в какой-то степени — публицистическую литературу. На то они и Учителя. Того, кто *уже умеет* читать, вряд ли стоит всерьез учить базовым вещам. А других, начинающих — стоит.

Стоит учить хотеть сразу многого и хотеть работать взахлеб. Не кланяться авторитетам, а исследовать их и сравнивать их поучения с жизнью. Настороженно относиться к опыту бывалых людей, потому что жизнь меняется необычайно быстро. Презирать мещанскую мудрость.

Стоит учить, что любить и плакать от любви — не стыдно. И что скептицизм и цинизм в жизни стоят дешево, что это много легче и скучнее, нежели удивляться и радоваться жизни. Учить, что стоит доверять движениям души своего ближнего. И — что лучше двадцать раз ошибиться в человеке, чем относиться с подозрением к каждому. И — что дело не в том, как на тебя влияют другие, а в том, как ты влияешь на других.

Стоит учить, что нет хуже, чем трусить, лгать и нападать.

И что один человек ни черта не стоит.

Того, кто еще не сознает всего этого, но наделен от природы интеллектом, — учить можно и нужно. Ибо, как известно из теории позитивной реморализации, любое существо, обладающее хоть искрой разума, можно сделать порядочным.

Правильно подобранная доза публицистичности никак не изменяет качество написанного. Она попросту органически присуща учительской литературе как жанру. Другое дело, что с годами Мастер — как это и случилось с АБС — может вырасти из учительской роли, и тогда появляются «просто книги». И это тоже само по себе не хорошо и не плохо.

Это — данность.

Есть, напоминаю, золотой фонд «учебных» книг АБС. А есть книги, которые не «для», а просто книги. Ну вот и славно. Каждому — свое. А лучше всего все же так: дорасти до этих самых «просто книг» (читать которые — ох как непросто) — читая книги «учебные». И получится ШКОЛА.

С чего, собственно, и начинался весь разговор.

Приложение

Беркова Н. М.
ВОСПОМИНАНИЯ

Очень трудно писать о таких писателях, как братья Стругацкие, произведения которых вошли в Золотой фонд всемирной фантастики.

Аркадий и Борис Стругацкие для читателя – единое целое, один талантливый писатель – и говорить отдельно о творчестве каждого из них практически невозможно. И было бы неправильно.

Безусловно, многие были знакомы с известными и любимыми писателями, но тех, кто хорошо знал их, часто с ними общался, можно было пересчитать по пальцам, хотя приходилось слышать от разных людей об их «близком» знакомстве, особенно с Аркадием, который уже не мог подтвердить или опровергнуть этот факт.

Мне, Берковой Нине Матвеевне, очень повезло – я была не только редактором таких произведений Стругацких, как «Понедельник начинается в субботу» («Детская литература». М., 1965); «Полдень, XXII век (Возвращение)» («Детская литература». М., 1967); «Обитаемый остров» («Детская литература». М., 1974), но мы вместе с Аркадием работали в издательстве Детгиз (в 1957 – 58 гг.). Мы были коллеги-редакторы и занимались фантастикой. В то время в издательстве Детгиз (позже его переименовали в «Детскую литературу») существовала большая редакция научно-художественной, приключенческой и научно-фантастической литературы. Книги нашей редакции пользовались огромным спросом: именно здесь выходила так называемая серия «в рамочке», любимый читателями альманах «Мир приключений» и отдельные книги по жанрам.

Прекрасно помню нашу первую официальную встречу с Аркадием. Меня пригласила к себе «в кабинет» заведующая редакцией Мария Михайловна Калакуцкая (Аркадий уже был там) и, торжественно представив мне Стругацкого, объявила, что мы с ним коллеги, будем заниматься фантастикой и почему-то добавила: «Будете, как говорит присказка, «мы с Тамарой ходим парой», – вот вы и ходите».

Я посмотрела на своего напарника: высокий, широкоплечий, темноволосый мужчина без пиджака в темных брюках и черном свитере с зеленым орнаментом. Он приветливо смотрел на меня через очки и улыбался. Кстати, надо сказать, Аркадий терпеть не мог носить рубашки с галстуками, костюмы и прочий, как он говорил, «официоз». Он всегда одевался очень просто: зимой – свитера, летом – рубашки в клетку

(ковбойки), а как только появились джинсы, он предпочел их брюкам.

Мы пожали друг другу руки и отправились в коридор «выяснять отношения». Надо сказать, что в редакции разговаривать было трудно – тесно, и не хотелось никому мешать. Редакция занимала две комнаты, не считая «закутка», где расположилась заведующая редакцией. Перед дверью, ведущей в ее комнатку, сидела секретарша. Остальное жизненное пространство занимало еще четыре человека, в том числе и Аркадий. Вторая комната была также плотно заселена редакторами – нас тоже было четверо, а мой стол находился сразу у двери. Место для всех встреч, разговоров, обсуждений и прочих контактов находилось в тупике, в конце коридора, где стояли два видавших виды кресла. Именно здесь решались все проблемы: спорили, переубеждали, обсуждали рукописи с авторами, вели конфиденциальные беседы или, как теперь говорят, находили консенсус.

Мы с Аркадием дружно зашагали туда и, наверное, представляли для окружающих довольно забавное зрелище: я едва доставала головой до плеча моего спутника. Наверное, поэтому он очень скоро стал называть меня «малыш» – особенно, когда находился под впечатлением более или менее стоящей рукописи, которую он читал.

В конце 50-х – начале 60-х годов был период, когда в издательствах существовал так называемый «экспериментальный фонд». Не знаю, был ли такой фонд во всех издательствах, но в Детгизе имелся. Начинающий автор мог принести в редакцию свою рукопись или даже подробный план-заявку. С нею знакомились ведущие редакторы (по соответствующим жанрам) и, если представленный материал был перспективен, докладывали главному редактору, заключали с автором договор по минимальной ставке и выдавали аванс.

Увлечение фантастикой в то время было велико, и «самотечные» рукописи шли без перерыва, потоком. Мы с Аркадием честно делили их пополам, хотя, надо признаться, что наиболее сложные, связанные с техникой, космосом, научными проблемами и т. д., он старался брать себе, а мне оставлял вещи полегче. Рукописи мы брали домой (в редакции были специальные «творческие» дни для работы дома), а через день мы обсуждали прочитанное и отбирали для дальнейшей работы.

Обычно наши обсуждения с Аркадием происходили таким образом: резко открывалась дверь и на пороге возникала высокая фигура Стругацкого.

– Пошли, – лаконично говорил он и буквально вытаскивал меня из-за стола. Огромными шагами он направлялся к заветному тупику, а я, едва

успевая, семенила за ним.

– Садись, малыш! – командовал он. – Ты не представляешь, какая рукопись! Как парень пишет! Ты только посмотри, вот здесь, например.

Я молча брала очередную «нетленку» и начинала ее листать.

– Вот, вот и вот! – Он тыкал пальцем в почти полностью перечеркнутую страницу, переписанную его, таким знакомым мне почерком. – Видишь, как это здорово!

После чего он вставал во весь свой немалый рост и ходил взад-вперед, искательно глядя сверху вниз на меня.

Каждый раз я восхищалась этим человеком, насколько щедро он, сам того не замечая, дарил свой талант другим и искренне верил, что это написал сам автор.

– Аркадий! Да это же все ты написал! – возражала я, зная, что он все равно будет настаивать на своем. И действительно, он был неумолим.

– Да ты посмотри – какая интересная мысль! – восхищался он. – Нет, надо обязательно помочь парню! Вот увидишь, какая получится классная штука...

В этих словах весь Аркадий – он умел находить крупицу оригинальной мысли и, дополняя ее, доводить до гигантских размеров. Он помогал очень многим, а несколько рукописей сам редактировал.

По существующей у нас с ним договоренности, на редакционных совещаниях всегда докладывала, вернее – представляла рукописи я. Спокойно, без излишней восторженности, скорее сухо, по-деловому, так что всем становилось ясно – это именно та тема и тот автор, что издательству нужны. И почти всегда мы добивались успеха. Ответственный момент представления рукописи доверить Аркадию было нельзя – он так хвалил своего подопечного, что это настораживало окружающих и вызывало ненужный, преждевременный интерес, а так – все тихо, привычно, спокойно... Все мы очень жалели, когда Аркадий ушел из издательства, но это было вполне справедливо – ему надо было заниматься своим прямым делом: создавать вместе с братом произведения, сделавшие нашу фантастику всемирно известной.

Нельзя не сказать о том, что Аркадий всегда старался, в отличие от многих именитых писателей, помочь молодым, начинающим найти себя. Это его качество, уже после работы в Детгизе, очень ярко проявилось в своеобразном семинаре, организованном в 1961 году редакцией фантастики издательства «Молодая гвардия». Заведующий этой редакцией Сергей Георгиевич Жемайтис (сам писал фантастику на морские темы) организовал при своей редакции некое подобие семинара – участники

любовно называли его «посиделками». Помогала Жемайтису редактор фантастики Бела Григорьевна Клюева – его правая рука.

Если перечислить участников семинара, то станет ясно, какую роль он сыграл в истории нашей фантастической литературы. Назову лишь нескольких: Аркадий Стругацкий, Север Гансовский, Анатолий Днепров, Иеремей Парнов, Михаил Емцев, Дмитрий Биленкин, Ариадна Громова, Роман Подольный, Александр Мирер. Кроме них приходили молодые начинающие литераторы, чтобы послушать отрывки из произведений «старших товарищей», поспорить и поговорить. Присутствовали, как правило, редакторы из других издательств, занимающихся фантастикой. Со временем, правда, появилась и новая «разновидность» участников семинара, приходивших с определенными целями – отдать свою «сырую» вещь кому-нибудь из «мэтров», чтобы тот прочитал, исправил... В общем, довел до должного уровня, такого, чтобы рукопись приняли для издания.

Пожалуй, самые отзывчивые были Аркадий Стругацкий и Дмитрий Биленкин, но постепенно и они перестали поощрять такую беззастенчивую эксплуатацию. К счастью, таких людей было немного.

После окончания «посиделок» большинство отправлялось домой к Ариадне Громовой, где уже в более узком кругу продолжалось общение до поздней ночи. Аркадий, как правило, был вместе со всеми. В гостеприимном доме Ариадны всегда было очень интересно, непринужденно, весело. У нее было много друзей; не только москвичей, но и из других городов, причем самых разных профессий. Физики, геологи, математики, путешественники; и все они любили фантастику и иногда сами пробовали себя в этом жанре.

Яркий пример ученого-фантаста – Сергей Александрович Снегов, который, когда приезжал в Москву из Калининграда, обязательно присутствовал в этом доме. Не забывали Ариадну Григорьевну и артисты: частым гостем в этом доме был Владимир Высоцкий, радующий нас своими песнями. А однажды он прочитал написанную им фантастическую повесть, которая так и не увидела свет. Но это, как говорят Стругацкие, – «совсем другая история».

Хотя семинар в «Молодой гвардии» продолжался довольно долго, Аркадий постепенно стал реже бывать на нем, а потом окончательно выбыл, но мы с ним регулярно встречались, а когда началась работа над «Понедельником», то, естественно, стали общаться еще чаще.

Борис Стругацкий в своих комментариях достаточно подробно рассказывает историю замысла и написания этой книги, поэтому не буду повторяться. Она задумывалась, как сказка для научных сотрудников

младшего возраста, и получилось веселое, полное блестящего юмора произведение, которое мгновенно разошлось и много фраз из него стали «крылатыми»: «в таком вот аксепте», «хам-мункулс», «зубом цыкать», «человек, удовлетворенный желудочно», не говоря уже о самом названии – «Понедельник начинается в субботу».

Работать над «Понедельником» было интересно и весело – можно сказать, текст поднимал настроение. Практически никаких серьезных замечаний не возникало. Аркадий был неистощим на выдумки и неоднократно говорил, что необходимо написать продолжение о деятельности НИИЧАВО. Еще тогда возникла идея о «Тройке».

– У нас неограниченные возможности, – мечтательно рассуждал он, – ведь пока не только Саша Привалов, но и другие сотрудники не побывали на верхних этажах, а ведь лифт официально должен идти до сорокового, а возможно, и выше. Вот тут, где-нибудь на сорок втором этаже можно развернуться...

«Сказка о Тройке» задумывалась как продолжение «Понедельника», такая же веселая, с юмором, с уже знакомыми героями и, конечно, со многими новыми персонажами. В мае 1967 года повесть ждали в «Детской литературе» и в «Молодой гвардии», но оба издательства неожиданно для авторов отказались. Причина одна – времена изменились, некоторые персонажи повести стали вызывать нежелательные, недопустимые аналогии, например, один из персонажей курит папиросы «Герцеговина Флор», у другого очень широкие брови и т. д. В общем, получилась не добрая, веселая сказка, а, по мнению оппонентов, вредная в идеологическом отношении и злобная сатира, которую печатать не стоит.

В довершение всего прочего после публикации «Сказки о Тройке» в 1968 году в альманахе «Ангара» №№ 4-5 его главный редактор Ю. Самсонов получил выговор, а затем его уволили с работы. Когда же в 1970 году «Тройку» напечатали без ведома авторов в журнале «Грани», Стругацким пришлось писать письмо, в котором они выступили против этой публикации. Полный вариант «Сказки о Тройке» вышел в нашей стране только через 20 лет после ее написания в 1987 году. Обо всем этом подробнее пишет Б. Стругацкий.

Роман «Возвращение» (первое издание) авторы задумали еще в 1959 году, а вышел он в свет после многочисленных замечаний и переделок в 1962 году. Писать о Будущем, изобразить Мир, где живут добрые, честные, нормальные люди, наши современники, пусть и с присущими им недостатками, а не какие-то бесплотные, ангелоподобные существа, очень трудно, тем более что многочисленные оппоненты предъявили множество

претензий, и главная из них была: откуда возьмутся люди, достойные заселить этот Сверкающий мир Будущего? Ведь развитие – это борьба противоположностей, и если противоречий не будет, то Сверкающий мир зайдет в тупик и превратится в болото. Чтобы убедить своих противников, Стругацким приходилось неоднократно менять текст, а редактору – согласовывать исправления с Главлитом. Наконец, когда все вроде утряслось, вдруг возникло еще одно препятствие: против опубликования романа возразила очень серьезная организация, правда, не имеющая никакого отношения к литературе, – Главатом. Снова надо было идти «в инстанции» и доказывать, что никакого криминала в тексте нет. По существующим в то время правилам, представители официальных организаций не встречались лично с авторами, а делали замечания и давали указания через редактора. В Главатом пришлось идти мне. Аркадий, как обычно, сопровождал меня (вдруг понадобится ответ на какой-нибудь сложный вопрос) и остался ждать в бюро пропусков. Нельзя не отметить следующее: все эти «хождения по мукам» выпали на долю Аркадия. Ведь решались все вопросы в Москве, и приезжать специально из Ленинграда Борису, причем неизвестно на какой срок, было нецелесообразно. Вот и ходили мы с Аркадием, как и предсказала нам заведующая редакцией Калакуцкая, парой, и каждый из нас четко знал, что он должен делать: Аркадий – ждать меня у входа на улице или в бюро пропусков на случай, если где-нибудь надо объяснить или дополнить, а я вступала в «дипломатические переговоры» с начальством или получала соответствующие указания.

Борис Натанович приводит письмо Аркадия о нашем посещении Главатома. Рассказывать об этом визите не буду; скажу только одно, что я была буквально в шоке, услышав, что в книге «низкий культурный уровень» и много сложных технических терминов, непонятных рядовому читателю. На мой вопрос, какие это термины, мой собеседник привел только два примера: «абракадабра» и «кибер»; остальные замечания были такого же уровня...

Заключение нам на руки не выдали, но я очень подробно изложила главному редактору «Детской литературы» Василию Георгиевичу Компаниецу нашу беседу с референтом Главатома, после чего он тут же позвонил в Главлит начальству, взял ответственность на себя и добился немедленного положительного результата. Мы с Аркадием сразу же помчались в Главлит, чтобы получить долгожданное разрешение.

Главлит помещался возле площади Ногина (теперь это Китай-город), а издательство – возле площади Дзержинского (Лубянка). Расстояние между

этими двумя учреждениями совсем небольшое, и наш марафон занял считанные минуты. А потом обычная ситуация: Аркадий внизу в вестибюле и бюро пропусков, а я – на четвертом этаже у цензора. Поставить печать не потребовало много времени, и мы, бесконечно счастливые, выскочили на улицу и... тут же попали под проливной дождь. Аркадий выхватил у меня папку с «Возвращением», снял куртку и бережно завернул в нее многострадальную рукопись. Мы бежали, как угорелые, не выбирая дороги, по лужам и насквозь промокшие, не сговариваясь, свернули в кафе-забегаловку, которое помещалось напротив дома, где находилось издательство. В этом заведении официально продавали кофе, мороженое и минеральную воду. Мокрый, но как всегда неотразимый, Аркадий что-то тихо сказал продавщице и вскоре торжественно принес бутылку шампанского, которую мы тут же выпили...

Такова вкратце изложенная история появления в свет книги «Возвращение». Подзаголовок – «Полдень, XXII век». 1962 год.

На титульном листе этого издания Аркадий написал от души: «Дорогой Ниночке Берковой с благодарностью и в память о днях стойкой обороны. Автор. А. Стругацкий. Август 1962 г.»

Я горжусь, что заслужила такую оценку, это почти то же, если бы со мной сочли возможным идти в разведку...

В переработанном и дополненном издании 1967 года название несколько изменилось. Теперь книга называлась «Полдень, XXII (Возвращение)», и на титуле надпись была другая: «Дорогой Ниночке с любовью и благодарностью от наконец-то почти счастливого автора. А. Стругацкий. 31.07.67».

Последняя книга братьев Стругацких, которую мне пришлось редактировать, – роман «Обитаемый остров». Задумывался он в не самое лучшее время. Сразу два издательства – «Детская литература» и «Молодая гвардия» – отвергли «Сказку о Тройке». Поэтому авторы несколько изменили план своей книги. Вначале они задумывали сатирическую повесть, но неудача с «Тройкой» изменила их планы, и они начали писать, на первый взгляд, остросюжетную повесть, превратившуюся в увлекательный роман. Но во время работы в романе появилось много деталей, которые, без желания авторов, несли в себе подтекст, точно соответствующий нашей действительности. Авторы работали быстро и написали почти триста страниц за тридцать два дня. Окончательно роман был завершен за полгода. «Обитаемый остров» был одновременно отдан в журнал «Нева» и издательство «Детская литература».

И опять появились всевозможные бесконечные требования: некоторые

из них были практически необъяснимы. Наконец, после многочисленных исправлений и дополнений и после почти пяти месяцев кропотливой изнурительной работы в январе 1971 года «Обитаемый остров» вышел.

Современные читатели, особенно молодые, с трудом могут представить, сколько нервов, времени и сил тратили авторы, отстаивая свои позиции. Причем, в большинстве случаев, серьезных поводов для этого не было. А авторы такого уровня, как братья Стругацкие, всегда привлекали внимание к своему творчеству и особенно часто попадали под обстрел неумных, бюрократических чиновников, действующих по принципу «этого не может быть, потому что не может быть никогда» или «этого не может быть, потому что я этого не знаю».

Вполне возможно, что если бы братьям Стругацким не приходилось неоднократно доказывать свою правоту, то они порадовали бы не только любителей фантастики, а просто ценителей настоящей хорошей литературы еще несколькими произведениями...

С Борисом Натановичем я встречалась относительно редко – тогда, когда он приезжал в Москву к брату. Ленинград намного дальше от моего дома, чем Бережковская набережная или Юго-Запад, где жил с семьей Аркадий. Вот с ним мы действительно виделись очень часто: почти ежедневно, когда вместе работали в Детгизе, и продолжали дружить еще многие годы после.

Хотя прошло немало лет, забыть яркую личность и прекрасного человека невозможно. Он навсегда останется в моей памяти, да и, наверное, тех, кто его хорошо знал, человеком щедрой души, принципиальным и отзывчивым, одновременно скромным и с большим чувством собственного достоинства, очень НАДЕЖНЫМ.

Он вполне мог бы жить и работать среди героев романа «Возвращение», в мире Будущего, мало чем отличаясь от них, ответив тем самым на вопрос «откуда возьмутся люди, достойные жить в Сверкающем мире Будущего».

Б. Клюева
ВОСПОМИНАНИЯ

Меня зовут Бела Клюева (а не Максим Каммерер), и «людены» не «написали мне письмо», а по телефону попросили меня написать «мемуар» об Аркадии и Борисе Стругацких. Я не мастер по этой части, да и сам Аркадий мне не раз говорил: «Память у тебя, Белка, плохая». И вот при условии, что все это будет принято во внимание, как и вообще свойство всех воспоминаний быть недостоверными, я попытаюсь сделать это, по меньшей мере, добросовестно.

Все началось с возникновения в издательстве «Молодая гвардия» редакции фантастики, приключений и путешествий в январе 1958 года. Заведующим редакцией тогда стал Сергей Георгиевич Жемайтис, под его руководством работали три редактора и один младший редактор. Сначала все мы занимались без разбора всеми тремя ипостасями нашей редакции (первая рукопись, которую мне дали для работы, принадлежала перу полковника КГБ. Я нашла ее непригодной для публикации и, ничтоже сумняшися, поговорила с автором и вернула ее ему. Без последствий). Вскоре редакторы определили каждый себе свою специальность. Я стала фантасткой и, как позднее называл меня Аркадий, – «матерью советской фантастики».

Для ознакомления с тогдашними авторами НФ (я к тому времени знала в основном из фантастов англичанина Г. Уэллса и советского классика А. Беляева) я предложила выпускать сборник-ежегодник фантастики. Составителем первого сборника «Дорога в сто парсеков» был один из сотрудников журнала «Знание – сила» Анатолий Варшавский (с журналом я сотрудничала все двадцать пять лет своей работы в литературе и о многих членах его редколлегии буду всегда вспоминать с огромной благодарностью). Сборник был подписан в печать 22 августа 1959 года – почти накануне дня рождения Аркадия, – и в нем появилась первая публикация А. и Б. Стругацких в издательстве «Молодая гвардия» – рассказ «Шесть спичек». К тому времени я уже прочитала их «Страну багровых туч», повесть «Извне», рассказы «Спонтанный рефлекс», «Великий КРИ», но самое сильное, ни с чем не сравнимое впечатление произвел на меня рассказ «Частные предположения». Вот это да, подумала я тогда, это наконец фантастика-литература. И далее все, что приносили мне братья Стругацкие, отличалось именно высочайшим художественным уровнем,

свежими, блестящими мыслями и увлекательным сюжетом.

Совершенно не помню, как я впервые воочию познакомилась со Стругацкими – был ли это один Аркадий, или оба они пришли в редакцию, не знаю. Вероятно, это произошло в связи с началом работы над их первым молодогвардейским авторским сборником «Путь на Амальтею». Он вышел в свет в 1960 году. С тех пор каждый год, вплоть до 1968 года, в издательстве «Молодая гвардия» выходило, по крайней мере, одно произведение Стругацких. С 1959 до 1982 года, практически не прерываясь, продолжалась моя работа и, смею сказать, дружба с братьями Стругацкими, особенно с Аркадием и его семьей. С Борисом мы тогда, к сожалению, виделись редко, он, как правило, появлялся в редакции в кульминационный период работы над очередной рукописью и был всегда строг и неуступчив в отличие от Аркадия, хотя, как мне кажется, я не давала особых поводов вступать со мной в конфликт: мое редакторское кредо – быть первым, внимательным читателем произведения, сообщать авторам о том, что вызвало у меня по мере чтения сомнение, или предлагать им более, на мой взгляд, удачный ход, или слово, или выражение. Но ни в коем случае не вмешиваться в суть произведения, не калечить присущий автору стиль и в итоге оставлять тот вариант, который предлагают сами авторы.

Визиты Бориса в Москву были сугубо деловыми, разве что отпразднуем выход книги втроем в ресторане «Пекин» (Аркадий прекрасно разбирался в китайской кухне и любил угостить ею. Благодаря ему я познакомилась с супом из акульих плавников, съедобными медузами, сладкими крабами и прочими экзотическими яствами).

В 1960 году в очередном сборнике фантастики «Альфа Эридана» вышел мой любимый рассказ Стругацких «Частные предположения», «Суета вокруг дивана» (отрывок из «Понедельника начинается в субботу») и авторский сборник повестей и рассказов «Путь на Амальтею». В 1961 г. в ежегоднике «Золотой лотос» были опубликованы рассказы «Белый конус Алаида» и «Великий КРИ». В сборнике «Фантастика, 1962» – повесть «Попытка к бегству» и книга «Далекая Радуга» (вместе со «Стажерами»). В «Фантастике, 1963» – «О странствующих и путешествующих».

В те блаженные годы начальство смотрело на фантастику как на литературу для детей и ни в коей мере не ждало от нее никаких подвохов. Но вот в 1964 году выходит в свет «Трудно быть богом». Помнится, при работе над романом с Аркадием и Борисом я высказала предложение либо совсем снять, либо подсократить светлый «Пролог». Мне показалось тогда, что это дань авторов конъюнктуре (вот до чего я «оттаяла» в те первые

годы «оттепели»!), что не надо затенять главное – мир Арканара, дона Рэбы, Ваги Колеса, Ограбиловок, переименованных в Благодатные, и т. д. Борис горячо вступился за «Пролог», и не потому, что он был необходимой по тем временам ширмой: им с Аркадием дорога была романтика коммунистического мира, и уже тогда проблема воспитания в нем таких людей, как Антон-Румата, Пашка, Анка, чрезвычайно занимала их.

При подписании рукописи в набор главный редактор издательства В. О. Осипов задал мне привычный вопрос: «Это хорошая рукопись? В ней ничего такого нет?» Я привычно заверила его, что все в порядке, рукопись хорошая. Через несколько месяцев книга вышла в свет. Роман «Трудно быть богом» прочитала одна из моих коллег-редакторов и посоветовала: «Суши, мать, сухари». Я к ее совету отнеслась скептически, однако вскоре в газете «Правда» появилась разгромная статья академика Францева, а в «Известиях» не менее яростно набросился на роман В. Немцов, «писатель» (уже, в отличие от Стругацких, тогда член Союза писателей), фантаст, которого я не пускала на порог нашей редакции. Это был первый «звоночек» нам.

Серьезные испытания начались с появления в 1965 году в редакции рукописи повестей «Хищные вещи века» и «Попытка к бегству». Несмотря на вполне еще терпимое отношение начальства к Стругацким, она с самого начала вызывала у самих авторов и в редакции некоторые опасения. Редакция прибегнула к обычному в таких случаях методу – предпослала книге предисловие именитого человека. На этот раз это был Иван Антонович Ефремов. Ефремов не очень одобрительно отнесся к «Хищным вещам», он даже сказал Аркадию, что не туда, мол, они идут. Тем не менее, во имя спасения книги написал предисловие, в котором правильно (для чиновников) расставил все акценты. В «Комментариях» Бориса Стругацкого великолепно отражены и наша тревога за судьбу книги, и наша борьба буквально за ее выживание. Но ни Борису, ни Аркадию я никогда не рассказывала о моих первых «сражениях» с главной редакцией Издательства за спасение ее.

Первые этапы прохождения рукописи – от подписания в набор до подписания ее в печать – прошли гладко. Осипов, как всегда, положившись на мою оценку – «Вещь хорошая», – не глядя подписал ее в набор и в печать (тут обычно редактор вздыхает с облегчением – задержек больше ждать неоткуда). И вдруг, спустя некоторое время, меня вызывает «на ковер» главный редактор и «тычет мне в харю» подписанную в печать сверку, разрисованную красным карандашом цензора, и кричит примерно так: «Вы что наделали? Обманули меня, сказали, что книжка хорошая! А

это что? В «лапшу» прикажете?» (В лапшу в те времена нередко рубили неугодные начальству книги, порой даже изымая их из продажи.) Я, мельком взглянув в сверку, попросила дать мне ее на просмотр. Главред швырнул ее на стол, я взяла ее и пошла в редакцию. Просмотрела подчеркнутые места – не поняла, чем недовольна, чего хочет от меня наша цензорша и что мне делать: сверку было велено вернуть в тот же день. Тут зашла ко мне моя коллега, заведующая редакцией зарубежной литературы Наташа Замошкина. Я ей показала художества нашей цензорши и спросила, как тут быть – ведь книгу загубят! Она согласилась со мной и посоветовала постараться не возвращать Осипову сверку: он пошлет ее в ЦК ВЛКСМ, и там книгу наверняка зарежут. Я положила сверку в стол и, когда вечером Осипов по телефону потребовал ее к себе, я бухнула в ответ: «У меня нет ее», еще не зная, что буду говорить дальше. «Как нет? Где же она?» – «В ЦК партии». – «Что? Каким образом?..» – «Тут у меня оказия случилась, и я передала ее в ЦК». – «Кому?» – «Поликарпову». (Дмитрий Алексеевич, заведующий отделом агитации и пропаганды, в то время величина для нашего начальства недостижимая.) Осипов бросил трубку. Через некоторое время снова требует меня к себе. Я прихожу – он укрепил свои позиции секретарем парторганизации издательства. Началось с дуэта: да как вы посмели, вы давали подписку о неразглашении тайн, вы – много разных слов. Наконец вопрос: «Почему вы так сделали?» Хочу посоветоваться, отвечаю, мне Дмитрий Алексеевич, что отец родной, кохал меня (помню, что именно это слово почему-то взбрело мне на ум, и я упорно повторяла его потом в разговоре), еще когда я была ребенком (и не то, чтобы вру: Поликарпов был другом моих родителей, и они не раз говорили мне о нем, что он был талантливым самородком: не получив в свое время по бедности образования, он сам много читал, был эрудитом, обладая незаурядной памятью, словом, был интересным, образованным человеком, но – увы! – человеком того времени). Тут уж, как говорится, взятки – гладки, отпустили меня без дальнейших разговоров. Некоторое время я ничего не предпринимала, сверка тихо лежала у меня в столе. Наконец встретилась я с директором Издательства Ю. С. Мелентьевым и на его вопрос, как дела с «Хищными вещами века», ответила, что посмотрели их там, наверху, сказали, что ничего страшного в этих произведениях не находят, можно публиковать. Вот тогда только он велел мне вызвать авторов, а о том, как пошел разговор у Стругацких с Мелентьевым, вы знаете из «Комментариев» Б. Стругацкого. Я присутствовала на переговорах директора с моими авторами, но помалкивала, опасаясь своим вмешательством теперь только навредить.

Считаю, что отделались мы «малой кровью»: кое-где по красному карандашу внесли «поправки», и Аркадий предложил предпослать «Хищным вещам» предисловие о Стране Дураков, которое по смыслу своему практически повторяло предисловие к книге И. А. Ефремова, зато для начальства должно было стать свидетельством «правоверности» самих Стругацких. И работа над этим предисловием шла очень туго: от Аркадия требовали вычеркнуть одно, дописать другое, без конца морщили нос и наконец смилостивились. Книга вышла в свет. Правда, В. О. Осипов обещал после этого рассматривать «через микроскоп» каждую отредактированную мною рукопись. Обещание свое он не выполнил, ибо читать да еще фантастику он категорически не мог, но портить жизнь Стругацким и наказывать меня за выходившую в те годы фантастику ему помогали доброхоты-рецензенты, постоянно оплевывавшие эту литературу в солидных газетах и журналах, даже в «Крокодиле».

Небезынтересно и то, что в 1966 году бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление «О неблагополучном положении в редакции фантастики издательства «Молодая гвардия». Как стало мне известно совсем недавно, поводом для этого послужила «Записка отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС о серьезных недостатках в издании научно-фантастической литературы от 05.03.1966 года» за подписью А. Яковлева и И. Кириченко. В ней подробно анализировались и были признаны идейно вредными повести Стругацких «Попытка к бегству» и «Хищные вещи века».

А к Поликарпову в ЦК КПСС я все же потом, когда нас стали здорово прижимать, сходила. Он на мои жалобы отреагировал так: «Ты зря пришла. Разве это беда? Вот когда будет совсем худо, тогда приходи». Он на собственном опыте знал, почем фунт лиха: бывал бит, унижен, возвышен вновь. А к тому времени, когда у нас в издательстве «стало совсем худо», его самого уже не стало.

В 1965 году началось подписное издание «Библиотеки современной фантастики». Планировалось издать пятнадцать томов, вышло под моей редакцией (до назначения заведующим редакцией Ю. М. Медведева) двадцать пять. 7-й том «Библиотеки» (1966 год) составили два произведения Стругацких – «Трудно быть богом» и «Понедельник начинается в субботу».

В 1967 году на моем редакционном столе появилась рукопись новой повести Стругацких – «Второе нашествие марсиан». По объему ее одной не хватало для книги. Не помню, кому пришла в голову мысль объединить ее со «Стажерами». Но издать эти две вещи в форме «перевертыша» придумала я. Чем создала себе лишние трудности и неприятности (ведь с

самого начала ясно было, что по своему содержанию «Второе нашествие» не может понравиться нашим «главным»). Прежде всего, технический редактор не мог понять, чего я от них добиваюсь. Я принесла и показала «перевертыш» американского образца. Техреды поняли и заинтересовались, но «наверху» идея пробивалась с большим трудом. Добившись наконец разрешения на необычное издание, мы с энтузиазмом (в том числе и техред Людмила Куренкова) приступили к осуществлению его. Дабы быть правильно понятыми нашими читателями, мы на обеих сторонах титула напечатали: «В эту книгу входят два очень разных по содержанию произведения. Издательство попыталось отразить это и в оформлении: переверните книгу, и там вы найдете начало второй повести». Казалось бы, все ясно и просто, однако, вскоре после выхода книги в свет (1968 г.) в типографию «Молодой гвардии» стали приходить возмущенные письма читателей – «Зачем нам бракованные книги?» – либо даже сами книги с требованием заменить их на «нормальные». Так провалилась первая – и, возможно, последняя – попытка издать в Советском Союзе книгу-«перевертыш».

И это была последняя книга Стругацких, которую мне удалось пробить в издательстве «Молодая гвардия». Сменился директор Издательства (Ю. С. Мелентьев хотя и был партийным чиновником, тем не менее он отличался от большинства их своим деловым подходом, стремлением получать выгоду для Издательства, способностью рисковать – это он, например, разрешил издание БСФ, хотя при этом предупредил нас: «Пышек не ждите, будут вам одни шишки»).

Именно в эти годы начались настоящие гонения на самих Стругацких. Аркадий рассказывал мне, что на встречах с читателями (он в то время много выступал в клубах, на заводах, в школах) ему стали подавать подметные записки такого примерно содержания: «Когда вы уберетесь из Союза?», «Правда, что вы собрались в Израиль?» – и т. п., в еще более «доброжелательном» духе. Аркадий тяжело переживал все это, не уставал давать отпор провокаторам («Мы никогда не уедем отсюда, как бы вам этого не хотелось!» – отвечал он им), но дело было не в них – в этом я сама убедилась много позже.

В те годы я регулярно включала в издательские планы произведения Стругацких, в том числе «Гадких лебедей» – их судьбу решило их издание в одиозном по тем временам издательстве «Посев». «Улитку на склоне» и «Сказку о Тройке», которые я тоже вставила в редакционный план, опубликовали журналы «Байкал» и «Ангара», за что их редакции были разогнаны, и когда-нибудь опубликовать их в «Молодой гвардии», особенно

ввиду сложившегося определенного отношения главной редакции издательства к авторам, не оставалось никакой надежды.

В «План издательства» 1972 года был включен «Пикник на обочине», и тогда же мы направили в главную редакцию первый экземпляр договора на эту книгу. Договор некоторое время походил между Осиповым и его заместителем И. Ф. Авраменко, оброс резолюциями и затем благополучно лег в «долгий ящик» директора В. Н. Ганичева. В 1973 году мы с С. Г. Жемайтисом снова включили в издательский план «Пикник» и снова направили в главную редакцию экземпляр договора. Его постигла та же участь. В 1974 году мы успели до увольнения С. Г. Жемайтиса направить Ганичеву третий экземпляр договора – с тем же результатом. Зато, когда в 1980 году изуродованный «Пикник на обочине» (читай «Комментарии» Б. Стругацкого) вышел, Медведев заважничал и хвастался: «Вот Клюева с Жемайтисом не могли пробить «Пикник», а я пришел – и пожалуйста». Однако, в 1973 году мне удалось опубликовать отрывок из «Пикника» в 25-м томе БСФ. На этом моя карьера в «Молодой гвардии» закончилась.

Но моя работа и содружество с Аркадием и Борисом продолжались, пока я работала экспертом по художественной литературе во Всесоюзном агентстве по авторским правам с 1974 по 1982 год. В 1973 году СССР вступил в международную конвенцию по авторским правам, и созданный в связи с этим ВААП должен был, по идее, заботиться о соблюдении авторских прав советских писателей, художников, композиторов, ученых и других творческих работников, в том числе и о причитающихся им гонорарах (на деле Агентство больше заботилось о том, как бы побольше содрать для государства и себя с бедных авторов). Первые несколько лет председателем правления ВААП был Б. Д. Панкин, бывший журналист, очень современный человек, умный, энергичный и волевой. Он сделал немало, чтобы поддержать литературу, не котировавшуюся в верхах и среди литературных боссов. Предложить советскую фантастику зарубежным – и, прежде всего, американским – издателям была его идея. В результате меня стали приглашать на переговоры со многими издателями, в том числе и с американским издательством «Макмиллан». В 1976 году издательство «Макмиллан» приступило к изданию серии «Лучшее в советской фантастике».

В первую очередь стали выходить произведения Стругацких. Практически все, что было написано Стругацкими до 1982 года, включая запрещенных у нас «Гадких лебедей», было там издано. Причем, заботами Б. Д. Панкина на «Гадких лебедей» был заключен договор и выплачен гонорар – как это ему тогда удалось, осталось загадкой для меня. Платило

Агентство авторам ничтожно мало: до 85% гонорара уходило в пользу государства и ВААП. Лишь в тех случаях, когда произведение уступалось зарубежному издателю в рукописи, еще не изданным в СССР, из авторского гонорара изымалось всего 15%, а не 85. И мне удалось, благодаря моей дружбе с редакцией журнала «Знание – сила», уступить права «Макмиллану» на две повести – «За миллиард лет до конца света» и «Жук в муравейнике» – в виде рукописи (78 – 79 годы). Но до отправки рукописи зарубежному издателю ее все равно было необходимо провести через Главлит (т. е. цензуру). «За миллиард лет до конца света» мне удалось отправить без хождения в Главлит: повесть уже лежала в редакции журнала с разрешением цензора на публикацию первых глав. Сославшись на это, я благополучно отправила рукопись в Америку. А вот с «Жуком в муравейнике» мне самой пришлось идти в Главлит. Рукопись пролежала у цензора около двух месяцев (я очень боялась, что повесть успеет за это время выйти в журнале, и тогда Стругацкие потеряют немалую сумму). Наконец, мне позвонили, и я отправилась на площадь Ногина – там в огромном, мрачном здании располагался тогда Главлит. Посидела, подождала вызова в приемной, похожей на милицейскую: барьер, за которым сидит страж, окошечко, в который подают принесенные документы, телефон на столе. Спустя некоторое время меня вызвали. Вошла в какую-то полутемную, холодную, продолговатую комнату, в которой едва умещались два больших, тоже темных стола и за ними – по цензору. Вручив мне рукопись со словами – «И чего только находят люди в этой фантастике!», один из них вдруг спросил меня: «А правда, что Стругацкие уезжают в Израиль?» Я пришла в ярость и набросилась на них обоих. «Как вам не стыдно! – орала я. – Вы сидите здесь, чтобы защищать честь советских писателей, а сами распускаете дурацкие слухи!» – и что-то еще в том же духе. Меня постарались поскорее выставить, да я и сама, обняв рукопись с необходимой печатью и росписью, поспешила покинуть это мерзкое заведение.

В 1982 году я ушла на пенсию. К этому времени «Макмиллан» закончил издание произведений Стругацких, но продолжал печатать серию советской фантастики. На английский язык большинство произведений Стругацких перевела Антонина Буис, внучка знаменитых русских купцов Корзинкиных, владельцев многих домов в Москве и Петербурге. Одно из их имений находилось в нынешнем Строгине, в Троице-Лыкове. Сохранился парк, две церкви, и, когда Антонина была в Москве, мы свозили ее в имение ее предков, старый дом еще стоял в полуразрушенном, плачевном состоянии.

Перевел одну из повестей (чуть ли не «Сказку о Тройке», впрочем, могу ошибиться) и редактор серии Роджер де Гаррис. Перевод его был не так хорош, как переводы Буис. (Все корректуры переводов Роджер присылал на просмотр мне.) Публикация книг Стругацких в «Макмиллане» помогла выходу там же произведений Д. Биленкина, А. Днепрова, В. Шефнера, И. Варшавского и других советских фантастов, публиковавшихся в Библиотеке советской фантастики в «М. г.» в 1966 – 74 гг. Вслед за американскими изданиями советской фантастики ею заинтересовались западногерманские издательства, в частности, одно из крупнейших того времени «Таннисман Ферлаг», в котором также вышли почти все произведения Стругацких. И затем с творчеством А. и Б. Стругацких познакомились читатели почти всех стран мира. И заслуга в том не моя и не ВААП – причина здесь одна: талант Братьев.

Да, припомнился мне еще один эпизод из нашей жизни. Первые рукописи Стругацких приходили ко мне напечатанными петитом на той самой машинке, о которой с такой нежностью вспоминает Борис в своих «Комментариях». Однако, в производство рукописи, написанные петитом, не принимали. Поэтому рукописи Стругацких приходилось отдавать в перепечатку в наше машбюро (тогда это делалось бесплатно, и машинистки у нас работали классные). Приблизительно в 1963 году Аркадий попросил меня поменяться с ним машинками, что мы и сделали. Через некоторое время Аркадий вернул мне мою машинку, а свою брать отказался: он приобрел себе новую. И теперь эта реликвия, на которой создавались произведения Стругацких первого периода вплоть до романа «Трудно быть богом», хранится у меня. Я предлагала ее в свое время в музей журнала «Знание – сила», там вроде бы заинтересовались, хотели забрать ее да так и не удосужились. Так она бедняга и остается у меня, никем не видимая, никем не востребованная.

Расскажу еще об одном случае. Выписывая чуть ли не первый гонорар Стругацким – аванс за книгу «Путь на Амальтею» – Наташа Сиднева, младший редактор, так увлеклась разговором с Аркадием, что превысила причитавшуюся сумму на 10 тыс. рублей (сумма весьма значительная и до денежной реформы 1961 года). Авторы, ничего не подозревая, получили свой гонорар и удалились. Ошибка вскоре обнаружилась, законным образом произведенная выплата гонорара обратного хода не имела. Бедной (в полном смысле этого слова) Наталье пригрозили вычислять эту сумму из ее довольно ничтожной зарплаты. Были слезы, было страдание: Стругацких мы тогда еще почти не знали. Я позвонила Аркадию, рассказала ему все как есть. Он тут же примчался в редакцию и отдал эти деньги Наталье.

В 1961 году придумала я все с той же целью – прибрать к рукам побольше фантастов и вообще интересных людей – создать при редакции что-то вроде семинара – «посиделки» назвали мы его. Сначала на наших посиделках мы, как правило, слушали новые рассказы или небольшие повести «посидельцев» – их собиралось человек двадцать, иногда больше, – с последующим обсуждением прочитанного и вердиктом – годится или не годится данное произведение к публикации. Потом мы стали приглашать на посиделки философов (И. В. Бестужева-Ладу, Араб-Оглы и др.), историков с нетривиальными взглядами на историю, публицистов с обзорами текущих событий (в Китае, например). Первый год наших посиделок Аркадий был постоянным и активным их участником и большинство рассказов, особенно молодых авторов, хвалил непомерно: он всегда в этом отношении отличался своим либерализмом. Если произведение ему уж очень не нравилось, он предпочитал либо отмолчаться, либо высказывался весьма туманно. В конце концов ему, видно, наскучило все это, и он перестал ходить на семинар.

Посиделки просуществовали в «Молодой гвардии» до 1966 года. Затем семинар перекочевал в «Дубовый зал» Дома писателей, где его возглавил Е. Парнов.

Ежегодно в октябре месяце издательство «Молодая гвардия» проводило по всей стране декады молодежной книги, то есть группы писателей во главе с одним из редакторов Издательства отправлялись на встречи с читателями в разные уголки страны. В 1962 году и мне предложили поучаствовать в декаде. В мою группу включили двух поэтов-песенников (их имена я, к сожалению, забыла), поэта-русофила Ваню Лысцова и поэта-негра Джима Паттерсона, сыгравшего в кинофильме «Цирк» маленького негритенка. По моей просьбе включили в состав группы и Аркадия Стругацкого. Направили нас в Казахстан (Актюбинск – Уральск – Гурьев). Началась наша поездка с недоразумения: мы прилетели в Актюбинск около четырех часов утра, и нас никто не встретил. Мы оказались в темном, безлюдном, абсолютно незнакомом нам городе и не знали даже, в какой гостинице забронированы нам номера. Единственное, что нам оставалось – найти горком партии и там переждать до утра. С трудом, здорово продрогнув, мы отыскали горком. Дежурный проводил нас в какой-то кабинет, где мы обнаружили электроплитку. Самый «пострадавший» из нас Джим чуть не в обнимку с плиткой скорчился на полу. У кого-то нашлась пачка печенья – стали зачем-то поджаривать его на плитке. «Жарим шашлык!» – объявил Аркадий, и в кабинете горкома начался веселый пикничок. Утром все выяснилось: два поэта-песенника

прилетели в Актюбинск на рейс раньше нас, их подобающим образом встретили и разместили в гостинице аэропорта и на том решили, что с этим делом покончено. Нас расселили в гостинице, в городе, причем я оказалась в номере с девятью койками, восемь из которых занимали артистки из какого-то провинциального театра – они были здесь на гастролях, жили бедно, все время что-то делили и вообще походили на цыганский табор. Ваню и Джима поселили в мужских номерах, не столь многолюдных. А Аркадию достался двухкомнатный люкс. Так его почему-то сразу выделила из всех нас администрация отеля.

Мы выступали по два-три раза в день в школах, клубах, на заводах, даже по телевизору и в газете «Советский Казахстан» (напечатали на русском и казахском языках). Повезли нас и на встречу с механизаторами в довольно отдаленный – километрах в двухстах от Актюбинска – совхоз.

Предварительно директору совхоза по телефону сообщили, что к ним едет группа писателей из Москвы, в числе которых Джим Паттерсон из «Цирка». Была ли плохая связь, или на том конце провода услышали то, что хотели услышать, но уже в пути наш «рафик», разукрашенный яркими наклейками, встречали жители деревень вопросом: «Вы цирк? Вы будете выступать?» В результате в этой поездке мы потерпели полное фиаско: справиться с разочарованием механизаторов, главным образом мужиков с Украины, приехавших на заработки, не мог не только Аркадий, но и все мои поэты вместе с песенниками. Вернулись мы в Актюбинск под утро, наши места в гостинице уже были заняты, свободен был только люкс Аркадия, где мы все кое-как и разместились. Мне выделили гостиную с маленьким диванчиком, а моя «бригада» вся целиком расположилась на двухместной кровати в соседней комнате.

А вообще во всех наших встречах в Казахстане аудитория встречала нас восторженно: удивительно симпатичные, не избалованные вниманием столичных гостей были там люди. Аркадий, молодой, высокий, красивый, рассказывал со сцены о своих произведениях, о работе писателя, о своих взглядах на фантастику. Вероятно, не всё в его выступлениях было близко и понятно слушателям, но провожали его не менее дружными и искренними аплодисментами, чем дуэт поэтов-песенников, чем прелестного Джима Паттерсона с его морскими и лирическими стихами, чем Ваню Лысцова, с некоторым завыванием читавшего свои «народные», заполненные диалектизмами стихи. Однажды, когда в Уральском пединституте мы выступали чуть не до полуночи и нас все никак не хотели отпускать студенты, местная власть в лице молодой, красивой «комсомольской богини» Клары нервозно торопила нас скорее заканчивать встречу.

Оказывается, в это время в одной близлежащей деревне уже вовсю кипели котлы с бешбармаком, стол был уставлен литровыми банками с черной икрой и бутылками с коньяком – дело было лишь за нами. (Такого изобилия на столе я больше никогда не видела.) Только мы прибыли (время было заполночь), за стол уселась местная «знать». Главной персоной, как официальная глава делегации, оказалась на этом застолье я. И поэтому мне вручили голову барана, которую я должна была расчленить на части и распределить эти части между высокопоставленными гостями. Благо, рядом сидела Клара и тихо подсказывала мне: «Глаз – председателю КГБ, ухо – главному милиционеру» – и т. д., в том же духе. Потом ели прямо руками из общей миски вкуснейший, жирнейший бешбармак, пили коньяк, выходили на улицу подышать – и так до пяти утра. Это испытание не выдержал только Джим: его, ухватившегося мертвой хваткой за полюбившуюся ему Клару, внесли в машину, остальные расселись по машинам самостоятельно. Помню, что сама я с трудом разыскала свою койку в двенадцатиместном гостиничном номере: было около шести утра, и было мне муторно. А в 9 утра нас уже ждали ребятишки в одной из школ города Уральска. Мой биологический будильник сработал как всегда точно: в половине девятого мы с Кларой вошли в комнату наших мужчин. Храп там стоял могучий. Надежда наша обнаружить кого-нибудь живого среди этих распластавшихся тел едва тлела. Однако, два «тела» – Аркадия и Джима – оказались весьма сознательными. Они поднялись, и мы блестяще провели встречу со школьниками.

Очень я теперь сожалею, что, будучи знакома с такими замечательными людьми, я в свое время не сделала ничего, чтобы сохранить память обо всех наших встречах, разговорах, о том, как они говорили, шутили, воспринимали окружающее и окружающих, о тех мелочах, деталях, которые составляют живой портрет человека. Что-то еще я могу рассказать об Аркадии – с ним мы встречались гораздо чаще, чем с Борисом. Он жил в Москве, сначала на Бережковской набережной вместе с родителями его жены Елены. Потом Аркадий купил небольшую двухкомнатную квартиру на Проспекте Вернадского. Квартира находилась на последнем, по-моему, семнадцатом этаже, из ее окон открывался вид на Тропарево, на одиноко стоящую там церковь, на зеленый простор. Не знаю, стоит ли говорить в связи с этой квартирой об отношении к Стругацким в Союзе писателей в 60 – 70 годы. Мне кажется, секретари Союза и чиновники от литературы побаивались Стругацких и ненавидели их. Во всяком случае, хотя у Союза были возможности предоставить Стругацкому

квартиру, и неоднократно, ему всегда, под разными предлогами и без них, отказывали в этом, хотя у него были все основания претендовать на жилье. Поэтому Аркадию пришлось покупать квартиру за свои деньги – а платили ему тогда мало и редко, – и поселилась семья Стругацких в составе Аркадия, Лены, их дочери Маши и внука Вани в этой тесной квартирке на Юго-Западе Москвы. Когда – и тоже не единожды – Стругацких приглашали на литературные форумы за рубеж, Аркадию этих приглашений даже не показывали, а приглашающей стороне отвечали, что Стругацкий, мол, болен или в отъезде.

Мы часто общались по делу и просто так, «домами». Аркадий с Леной бывали у меня дома и на даче. Аркадий очень любил моих ребят. Часто спорил по разным предметам с моим мужем. Запомнился мне, например, один их разговор на тему, сможет ли советский человек жить в капиталистическом обществе. Мой Юрий утверждал, что не сможет. Аркадий был убежден, что всякий человек может приспособиться к любым условиям. А мы с Леной лепили в это время пельмени и веселились на кухне.

Аркадий был моим первым редактором. Я начала в шестидесятых годах заниматься переводами НФ с английского языка и свой первый переведенный мною рассказ Рассела «Подарок от дядюшки Джо» попросила прочитать Аркадия. Он очень основательно прошелся по моему переводу, затем объяснил мне каждую свою правку, поделился своими соображениями о переводах вообще и дал мне свое «добро» на дальнейшую работу на этом поприще. С тех пор я довольно много перевела, изданы мои переводы в различных издательствах, но редко кто из современных редакторов знакомил меня со своими правками, даже с изменением названий произведений – все это я зачастую обнаруживала в уже вышедшей книге. А тот, первый рассказ, отредактированный Аркадием, увидел свет совсем недавно: в те годы он был абсолютно непроходим «по идейным соображениям».

Пытаясь хоть как-то оживить в своей памяти образ Аркадия, я обратилась к собственному сыну: «Каким ты помнишь Аркадия?» – «Большим, добрым и очень веселым», – ответил он. Ничего больше вытянуть из него мне не удалось. А дочка, которую Аркадий очень любил и до последнего дня передавал ей приветы, сказала: «Помнишь, он написал китайскими иероглифами: «Мао джуси ши ванбодань» – «Председатель Мао – тухлое яйцо»? А еще помнишь, они с женой приезжали к нам на дачу, в Опалиху. Аркадий все время был хмурый, только когда мы с двумя

дворняжками выходили на лыжах в лес, он становился веселым, дурачился в снегу с собаками, много шутил, рассказывал смешные истории про себя и Лену».

Бывали мы и на днях рождения друг у друга. Когда я приходила к нему, за стол усаживались всегда на кухне. Встречал меня в крошечной передней сам Аркадий. Выходила в прихожую и Елена (последнее время они жили вдвоем). Подолгу просиживали за столом, спорили, Аркадий много рассказывал о своей жизни на Дальнем Востоке, где он служил переводчиком с японского языка.

Последняя моя встреча с Аркадием была очень грустной. Я зашла навестить их незадолго до моей поездки на Юг в августе или сентябре 1991 года. Прихватила с собой бутылку отличного армянского коньяка. Аркадий, как всегда, встретил меня в передней, помог снять плащ. Вышла из своей комнаты и Лена, как-то небрежно одетая, с помятым лицом, с вымученной улыбкой. Обнялись, поцеловались, я стала уговаривать ее пойти куда-нибудь на выставку или на концерт. Она отказалась, сославшись на больные зубы. «Да и вообще, – сказала она, – мы теперь никуда практически не выходим». Аркадий провел меня к себе в кабинет, он же спальня, гостиная. Все стены были стеллажами, плотно уставленными книгами. У окна помещался большой письменный стол, под стеллажами – софа. Вот, пожалуй, и вся мебель. Он достал рюмки, воду – то ли «Тархун», то ли «Байкал». Разлил коньяк – себе пополам с газировкой, – и стал рассказывать мне о своих «хождениях по мукам»: о походах в ЦК ВЛКСМ, где его обманывали, а он верил этим людям, их обещаниям и посулам и затем тяжело разочаровывался в них. О своих письмах и встречах с Демичевым в ЦК КПСС, где его так же вежливо водили за нос. Он показывал мне аккуратно подшитые в папках копии своих писем в ЦК и Союз писателей и несуразные, казенные ответы на них. «Все это стоило бы издать» – сказала я ему. Он согласился, сказал, что времени вот нет заняться этим.

Такого тягостного впечатления, как в то, последнее наше свидание, Аркадий никогда не производил на меня. А 13 октября 1991 года мои дети сообщили мне, что Аркадий умер.

Истинных читателей произведений Аркадия и Бориса Стругацких не убыло: их знает и любит современная читающая молодежь, их теперь часто цитируют по радио и телевидению. Их книги актуальны всегда, и, возможно, только теперь это стало по-настоящему понятно. Меня приглашают в московскую школу на встречи со старшеклассниками и

студентами, бывшими учениками этой школы. Они интересуются всем, что касается творчества и жизни Аркадия и Бориса, я стараюсь удовлетворить их любопытство, знакомлю их с современными писателями-фантастами, верными последователями Стругацких. У ребят есть небольшой литературный музей, в котором немалое место занимают материалы о писателях.

Продолжает свою работу питерский семинар фантастов, семинар Бориса, – когда-то я бывала у него на ленинградском семинаре.

Раз в год на Интерпрессконе питерских фэнов встречаются писатели-фантасты всей страны, их издатели, их поклонники. Ведет эти встречи Борис Стругацкий. Там определяются лучшие фантастические произведения года, их авторам вручаются премии Интерпресскона и «Улитки» Стругацкого.

Во многих точках России и в странах СНГ существуют и активно способствуют изданию произведений Стругацких их поклонники, – «людены», например, – и дай Бог всем им счастья!

17.10.1998

---

notes

Примечания

1

Кончено (*яп.*).

2

Уходите! Уходите! Красный газ выходит! Унесите меня! (*Яп.*) Возьмите меня отсюда, русские черти! Смерть! Смерть! (*Англ.*)

З

Японец? (*Яп.*)

4

Да. Могу говорить и по-английски. (*Яп.*)

5

Это... удобно. (*Яп.*)

6

Машине не удалось подобрать нужного слова. Вариант «зады», предложенный Андреевым, был ею решительно отвергнут.

7

Намек не ясен. Но ясно, что действие происходит не на Земле. На Земле такого деятеля отправили бы сначала в вытрезвитель, а потом по инстанциям.

8

Смех, в общем, понятен, но объяснить, почему ОНИ смеются, трудно.

9

Здесь машина включила все свои красные лампочки и отказалась работать.

10

«Исследование-декларация» (по авторскому определению), написанное в 1962 г. и частично вошедшее затем в статью «О советской фантастике». Эти работы так и не дошли в то время до читателя и были опубликованы лишь много лет спустя — в первой половине 90-х. (Прим. составителя.) ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991 (первопубликация).

11

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1959–1966). — Омск: МП «Цефей»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1991. (Первопубликация: Техника — молодёжи. — 1962. — N 12.)

12

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1959–1966). — Омск: МП «Цефей»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1991. (Первопубликация: Вопросы литературы. — 1964. — N 8.)

13

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация в сборнике: О литературе для детей. Вып. 10. — Л.: Детская литература, 1965.)

14

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация, фрагмент писательской анкеты «Что вы думаете о жизни, времени, счастье?»: Смена (М.). — 1966. — N 1.)

15

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация — одновременно в ряде комсомольских газет, в т. ч.: Смена (Л.). — 1966. — 21 сентября.)

16

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1967–1975). — Омск: Фэн-группа «Людены»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1993. (Первопубликация: Стругацкий А., Стругацкий Б. Полдень, XXII век (Возвращение). — М.: Детская литература, 1967.)

17

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация, фрагмент подборки высказываний фантастов мира «Почему я стал фантастом…»: Иностранная литература. — 1967. — N 1.)

18

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация, комментарий к беседе А. Стругацкого с Кобо Абэ: Иностранная литература. — 1967. — N 1.) Печатается в сокращении.

19

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация: Советский экран. — 1967. — N 3.) Печатается в сокращении.

20

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация, предисловие к книге: Саймак К. Всё живое… — М.: Мир, 1968.) Печатается в сокращении.

21

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация: Литературная газета. — 1970. — 4 февраля.)

22

ИСТОЧНИК: Акутагава Р. Новеллы. Эссе. Миниатюры. — М.: Худож. литература, 1985. (Первопубликация под заглавием «Три открытия Акутагава Рюноскэ»: Акутагава Р. Новеллы. — М.: Худож. литература, 1974.)

23

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1967–1975). — Омск: Фэн-группа «Людены»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1993. (Первопубликация: Советская молодёжь (Рига). — 1974. — 17 ноября.)

24

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1976–1981). — Омск: Фэн-группа «Людены»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1993. (Первопубликация: Литературное обозрение. — 1976. — N 8.) Печатается в сокращении.

25

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна багровых туч: Повесть; Рассказы; Статьи, интервью. — М.: Текст, 1993. (Первопубликация: Комсомольская правда. — 1976. — 20 марта.)

26

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1976–1981). — Омск: Фэн-группа «Людены»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1993. (Первопубликация, фрагмент авторизованной стенограммы: Вопросы философии. — 1976. — N 10; Вопросы литературы (М.). — 1976. — N 11.) Печатается в сокращении.

27

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1976–1981). — Омск: Фэн-группа «Людены»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1993. (Первопубликация: Пионерская правда. — 1978. — 7 февраля.)

28

Глубоководных. — ред.

29

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1976–1981). — Омск: Фэн-группа «Людены»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1993. (Первопубликация: Вечерний Свердловск. — 1981. — 6 июня.)

30

На самом деле это замаскированная цитата из абсолютно запретной в те годы повести «Гадкие лебеди». Откровенная журналистская дерзость, которая могла обойтись интервьюеру весьма дорого. К счастью — не заметили. Или сделали вид, что не заметили… (Прим. сост.).

31

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991 (первопубликация).

32

Так молодые писатели-фантасты называли свои вечерне-ежемесячные сборища в журнале «Знание — сила». Официально это именовалось Московский семинар молодых фантастов. Вели его Дмитрий Александрович Биленкин, Евгений Львович Войскунский и Георгий Иосифович Гуревич. А бессменным хозяином вечеров был заведующий отделом журнала и член редколлегии Роман Григорьевич Подольный, тоже писатель-фантаст. (Примечания В. Бабенко.) ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна багровых туч: Повесть; Рассказы; Статьи, интервью. — М.: Текст, 1993. (Первопубликация в сокращении: под заглавием «Коллективное интервью, взятое у Аркадия Натановича Стругацкого семинаром молодых писателей-фантастов 17 марта 1982 года в редакции журнала „Знание — сила“ („В подвале у Романа“)»: Измерение Ф (Л.). — 1990. — N 3.)

33

Еще более старинное сборище — знаменитый семинар фантастов в «Молодой гвардии». Организаторами его были Бела Григорьевна Клюева и Сергей Георгиевич Жемайтис, а вдохновителем и душой — Ариадна Громова.

34

ИСТОЧНИК: Стругацкие о себе, литературе и мире (1985 и прочее). — Омск: Фэн-группа «Людены»: Омская обл. юнош. б-ка: КЛФ «Алькор», 1994. (Первопубликация: Литературная газета. — 1985. — 7 августа.)

35

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация: Наука и религия — 1986. — N 4. Текст печатался также в качестве послесловия к 2-томнику и 3-томнику Избранного в 1989–1990 гг.)

36

ИСТОЧНИК (фрагмент интервью): Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация полного текста: Уральский следопыт (Свердловск). — 1987. — N 4.)

37

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна багровых туч: Повесть; Рассказы; Статьи, интервью. — М.: Текст, 1993. (Первопубликация под заглавием «Братья Стругацкие: „Жизнь не уважать нельзя“»: Даугава (Рига). — 1987. — N 8.)

38

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна багровых туч: Повесть; Рассказы; Статьи, интервью. — М.: Текст, 1993. (Первопубликация: Блокнот агитатора (Л.). — 1987. — N 14.)

39

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация: В мире книг (М.). — 1987. — N 10.)

40

ИСТОЧНИК: Огонек. — 1987. — N 29 (первопубликация). Печатается с сокращениями.

41

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Куда ж нам плыть? — Волгоград, 1991. (Первопубликация под заглавием «Писатели Аркадий и Борис Стругацкие: Три кита»: Советская культура. — 1988. — 1 января; фрагмент подборки «Спор пессимиста с оптимистом».)

42

ИСТОЧНИК: Литературное обозрение. — 1988. — N 9 (первопубликация).

43

ИСТОЧНИК: День свершений. — Л.: Советский писатель, 1988 (Первопубликация; предисловие к сборнику произведений участников Ленинградского семинара писателей-фантастов). Печатается в сокращении.

44

ИСТОЧНИК: Огонек. — 1989. — N 52 (первопубликация).

45

Время беседы — июль 1989 года.

46

ИСТОЧНИК: Уральский следопыт (Свердловск). — 1989. — N 1 (первопубликация). Печатается в сокращении.

47

Можно спросить: откуда я взял эти две трети? Почему не три четверти или не три пятых? Затрудняюсь ответить. Таково мое впечатление. Кому не нравится — читайте: большинство (А. С.).

48

ИСТОЧНИК: Смена (Л.). — 1990. — 5 июля (первопубликация).

49

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. За миллиард лет до конца света; Пикник на обочине; Гадкие лебеди. — СПб.: Альянс: Позисофт, 1993. (Впервые в сокращении опубликовано под заглавием «Куда ж нам плыть? (Вопросы без ответов)»: Независимая газета. — 1991. — 3 янв.; дополнительные фрагменты: под тем же заглавием: Собрание «Независимой газеты»: Дайджест-приложение. — 1991. — N 1.)

50

ИСТОЧНИК: Стругацкий А., Стругацкий Б. Страна багровых туч: Повесть; Рассказы; Статьи, интервью. — М.: Текст, 1993. (Первопубликация: Завтра: Фантастический альманах. Вып. 1. — М.: Текст, 1991.)

51

ИСТОЧНИК: Фантастика: четвёртое поколение. — СПб.: ИИК «Северо-Запад»; Общество «Библиотека „Звезды“», 1991 (первопубликация). Печатается в сокращении.

52

ИСТОЧНИК: Страна багровых туч: Повесть; Рассказы; Статьи, интервью. — М.: Текст, 1993. (Первопубликация: Литературная газета. — 1991. — 10 апреля.)

53

ИСТОЧНИК: Литератор (Л.). — 1991. — N 23 (первопубликация).

54

ИСТОЧНИК: Собеседник (М.). — 1992. — N 39 (первопубликация).

55

ИСТОЧНИК: Звезда (СПб.). — 1993. — N 4 (первопубликация)

56

ИСТОЧНИК: Свой голос (Красноярск). — 1993. — N 14 (первопубликация).

57

ИСТОЧНИК: Фантастика века. — М. — Минск: Полифакт, 1995 (первопубликация).

58

ИСТОЧНИК: Невское время (СПб.). — 1995. — 8 апреля (первопубликация).

59

ИСТОЧНИК: Невское время (СПб.). — 1995. — 29 августа (первопубликация).

60

ИСТОЧНИК: Полная журналистская версия интервью. (Первопубликация: Если. — 1995. — N 11–12, в сокращении.)

61

ИСТОЧНИК: Литературная газета. — 1995. — 11 октября (первопубликация).

62

ИСТОЧНИК: Коммерсантъ — daily (М.). — 1997. — 16 октября (первопубликация).

63

ИСТОЧНИК: Московский Комсомолец в Питере. — 1998. — N 15. (первопубликация).

64

ИСТОЧНИК: Анизотропное шоссе (СПб.). — 1999. — N 7 (первопубликация полной версии выступления).

65

ИСТОЧНИК: (фрагмент офф-лайнового интервью): Компьютерра. — 2000. — N 11 (первопубликация).

66

ИСТОЧНИК: Компьютерра. — 2000. — N 11 (первопубликация).

67

Позволю себе напомнить: эвакуация шла в дачных, неотопляемых вагонах, температура же в те дни не поднималась выше 25 градусов мороза. – Прим БНС.

68

Правильнее – математико-механический, матмех. – Прим. БНС.

69

(Я) сказал и облегчил (тем) душу (лат.).

70

Статья опубликована в виде послесловия к книге: Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу; Сказка о Тройке. — Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 1992.

71

Слово «Голем» употребляется здесь в том значении, которое придано ему в широко известной работе А. Лазарчука и П. Лелика «Голем хочет жить». А именно — надсущество, наделенное инстинктом самосохранения, а также способностью самостоятельно мыслить и действовать, и представляющее собой некую сумму рефлексов и бессознательных реакций всех людей социума.

72

Именно творчество Стругацких превратило в русском языке (и, главное, в наших умах) глагол «прогрессировать» — в переходный.